



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

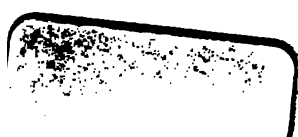
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>











авт. тис.

Всѣхъ

С

СОБРАНИЕ
РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ И РАЗСКАЗОВЪ
П. Д. БОБОРЫКИНА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1897 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1897.





Тпл. А. Ф. МАРИСА, Ср. Подълч., № 1.

МАРИСА, Ср. Подълч., № 1.

МАРИСА, Ср. Подълч., № 1.

МАРИСА, Ср. Подълч., № 1.

МАРИСА, Ср. Подълч., № 1.

МАРИСА, Ср. Подълч., № 1.



ПЕРЕВАЛЪ.

Романъ въ трехъ частяхъ.



ПЕРЕВАЛЪ.

Романъ въ трехъ частяхъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

„Vivit is, qui se utitur“.
Semeca.

I.

Человѣкъ крупнаго роста, въ сибирскомъ ергаѣ и въ войлочной бурой шапкѣ, повернулъ въ Большую Никитскую.

Онъ только что поглядѣлъ на циферблатъ часовъ, на боковомъ корпусѣ „Стараго“ московскаго университета: стрѣлка показывала двадцать минутъ второго.

Стоялъ морозный день. Снѣгъ лежалъ кое-гдѣ; санный путь еще не открылся.

Запахиваясь въ свой легкій и теплый ергаѣ, Лыжикъ—такъ его звали—шагалъ вверхъ по улицѣ лѣнливой и широкой поступью и, на ходу, немного покачивалъ туловищемъ. Изъ-подъ войлочной шапки, сдвинутой слегка къ затылку, на вискахъ, плотно подстриженные волосы примѣтно сѣдѣли—густые и темнорусые. Лицо—длинное и очень худое, загорѣлое, съ впалыми большими глазами—смотрѣло разсѣянно и грустно. Тонкій и хрящеватый носъ, съ нервными ноздрями, дѣлалъ профиль суровѣе, чѣмъ фасъ лица. Подстриженная съ боковъ, узкая борода—съ такой же просѣдью—еще больше удлиняла

его обликъ. Изъ-подъ густыхъ усовъ сквозили хорошо сохранившіеся зубы. Наружность—въ общемъ—была породистая и красивая.

Взглядъ, брошенный Лыжинымъ на широкій подъездъ университетской церкви и на двухъ студентовъ въ пальто съ башлыками, спускавшихся внизъ по лѣвому тротуару, вдругъ вызвалъ въ немъ вопросъ, котораго онъ никакъ бы не ожидалъ еще минуту передъ тѣмъ:

„Полно, пересталъ ли онъ самъ быть студентомъ, сдающимъ какой-то безконечный экзаменъ?“

Онъ шелъ домой, гдѣ черезъ полчаса ему предстоитъ дѣловой и рѣшительный разговоръ, послѣ чего надо будетъ проститься съ тѣми десятинами лѣса и луговъ, которыя все еще держали его въ какой-то нудной связи съ „землей“.

Онъ окончательно рѣшился на это, и рѣшился съ чувствомъ, близкимъ къ радости. Не дальше, какъ часъ назадъ, сидя въ залѣ трактира, гдѣ завтракалъ, онъ смотрѣлъ на этотъ шагъ, хотя бы и рискованный, какъ на средство освободить себя отъ тягостнаго символа связи съ землей и народомъ. Ну, онъ превратится въ презрѣннаго рантѣе, будетъ проѣдать свои купоны, или купить здѣсь домъ, дающій шесть процентовъ въ годъ, или займется промышленнымъ дѣломъ, откроетъ справочную контору, кабинетъ для чтенія; все это лучше, чѣмъ чувствовать надъ собою и подъ собою что-то жуткое; въ себѣ—нѣчто въ родѣ болотной лихорадки: то каяться, то подозрѣвать себя, то приходить къ выводу, что никто ни въ чемъ не виноватъ, и въ пору самому остаться цѣлымъ. Кажется, все было рѣшено, въ принципѣ, и купчая должна быть подписана безъ всякихъ проволочекъ..

И стоило ему пройти мимо университета и взглянуть случайно на двухъ студентовъ,—и въ груди заняло. Душевное недомоганіе снова зашевелилось. Оно подсказываетъ все то же: „ты проигрался на жизни“. Обманывать себя нечего: Лыжинъ—тотъ, что цѣлыхъ двадцать лѣтъ „сдавалъ экзаменъ“—только взадъ смотреть на себя и подводить итоги; по мыслить и чувствовать попрежнему—онъ не можетъ.

На вопросъ, такъ внезапно пришедшій ему: пересталъ ли онъ самъ готовиться къ экзамену, какъ тѣ два студента въ башлыкахъ?—онъ готовъ отвѣтить: „пересталъ“... Но это и замозжило его.

Передъ нимъ начали всплывать лица и разговоры оттуда, изъ тѣхъ заграничныхъ мѣстъ, которыя онъ—всего мѣсяцъ назадъ—посѣтилъ съ такимъ чувствомъ, съ какимъ ходять къ покойникамъ. Да и на одномъ кладбищѣ онъ побывалъ нарочно, точно затѣмъ, чтобы самому похоронить прежняго Лыжина.

Высохшій, сѣдой старикъ, въ старенькомъ халатѣ, подпирая своей высокой фигурой низкій потолокъ мансарды, долго говорилъ ему, глухо и поспѣшно, безъ злобы и унынія, съ вѣрой въ то, что „родина—сфинксъ“, сама разрѣшитъ свою загадку, что въ ея судьбѣ „все возможно“, и правы будутъ тѣ, кто не мѣшаетъ ея невидимой, органической работѣ.

И опять маленькая комната и длинный разговоръ около чугунной печурки—въ другомъ сосѣднемъ городѣ—съ человѣкомъ уже его поколѣнія, „семидесятникомъ“, бывшимъ земцемъ. Онъ молился когда-то на Европу; теперь раскусилъ ее и мистически ждетъ той минуты, когда ему „подадутъ тройку“, и она понесетъ его на родину, гдѣ „все сбывается“, какъ страстно мечтаетъ онъ и тѣ, кто чувствуетъ съ нимъ заодно.

А вотъ и курильная комната отеля, гдѣ онъ остановился на два, на три дня въ томъ же городѣ. И отель-то называется—точно такъ было предопредѣлено свыше—„Hôtel de Russie“, на самой набережной озера.

Послѣ обѣда до поздняго часа длилась бесѣда. Онъ больше слушалъ. Его собесѣдникъ—старый знакомый, съ которыхъ они не видались около пятинадцати лѣтъ—остался все тотъ же студентъ начала шестидесятыхъ годовъ. Языкъ, тонъ, порывистые жесты, шумные возгласы,—ничто не измѣнилось послѣ тридцати лѣтъ заграничнаго подневольнаго житія. Вся панорама „движенія“ протянулась передъ Лыжинымъ, освѣщенная умомъ и великорусскимъ юморомъ, оцѣнками и окриками этого расхажившаго студента начала шестидесятыхъ годовъ.

И какая же нота звучала громче другихъ?.. Нота возмущенія противъ тѣхъ, кто—по доброй волѣ—отрекся отъ своего культурнаго превосходства и ударился въ идолопоклонство „передъ сермягой“.

— Все—къ чорту!—слышались ему раскаты голоса сангвиника, быстро ходившаго по комнатѣ.—Наука, талантъ, искусство, свобода, личное достоинство,—все долой! *Пустиль*

себѣ вошь въ ухо, падѣлъ зипунъ и стучай лбомъ передъ своимъ идоломъ—народомъ!

Такихъ рѣчей онъ не слышалъ, когда въ первый разъ попалъ туда, въ тотъ же живописный городъ на озерѣ, гдѣ столько перекинуло русскихъ душъ, умерло упований и разбилось надеждъ, столько говорилось и писалось въ бреду и въ полномъ самообладаніи, откуда было послано столько лозунговъ и столько исповѣданій вѣры.

Лыжинъ не возражалъ обличителю тѣхъ, кто „пустилъ себѣ вошь въ ухо“ и въ зипунѣ колотить лбомъ передъ идоломъ—народомъ. А вѣдь шестидесятникъ зналъ его прошлое и то, за что онъ могъ пострадать; слышалъ, вѣроятно, и про многое, чѣмъ онъ увлекался впоследствии, не дальше, какъ три-четыре года назадъ. Это не помѣшало старому студенту повторить свою остроту. Оба громко смѣялись, и Лыжину стало тогда еще яснѣе, что вѣры въ тѣхъ, кого обличалъ шестидесятникъ, въ немъ уже нѣтъ.

И все-таки, на другой день, въ тусклыя сумерки, когда холодная „биза“ рѣзала ему лицо и онъ прощался съ городомъ, въ груди у него заняло. Онъ началъ уже тамъ хоронить прежняго Лыжина.

Еще несомнѣннѣ хоронилъ онъ его передъ могильнымъ памятникомъ, когда—недѣлей позднѣе—попалъ подъ лазурное небо южнаго побережья на Средиземномъ морѣ.

Надъ рядомъ мраморныхъ бѣлыхъ гробницъ высится бронзовая, коренастая фигура—точно живая, съ длинными волосами большой головы, съ руками, сложенными въ обычный жестъ—убѣжденности и пылкаго протеста.

Онъ не заплакалъ, когда прикоснулся къ плитѣ пьедестала, не каялся и не клеймилъ себя. Превратись этотъ бронзовый русскій идеалистъ тридцатыхъ годовъ въ человека изъ плоти и крови, онъ сказалъ бы ему:

„На васъ, на вашихъ идеяхъ и упованіяхъ, на вашемъ возмущенномъ чувствѣ гражданина я воспиталъ себя со студенческой скамьи; двадцать лѣтъ искалъ пути, исхода, основы и откровенія, и вотъ теперь руки у меня опустились. Я не предалъ никого; я не продаю и себя никому и ничему; но я не вѣрю въ то, во что и вы увѣровали, съ тѣхъ поръ, какъ, возмущившись фальшью и бездушіемъ западнаго лжерадикальнаго буржуа, вы стали ратовать за мужицкую общинную правду. Я готовъ былъ бы и теперь служить „идеѣ“, но гдѣ она и какъ это дѣлать—

не знаю. Не клянусь васъ и всѣхъ, кто пошелъ еще дальше васъ, за то, что самъ близокъ къ душевному банкротству; но чувствую, что завѣщаннаго вами дѣла я дѣлать не буду*...

Лыжинъ былъ такъ захваченъ этими образами недавно пережитого, что совсѣмъ забылъ, куда онъ идетъ. Только выше здания консерваторіи онъ спохватился, перешелъ улицу и долженъ былъ спуститься опять внизъ по Никитской до перваго поворота направо.

Тамъ, въ концѣ поперечной улицы, помѣщался меблированный домъ, гдѣ онъ нанялъ себѣ отдѣленіе въ двѣ комнаты, помѣсячно.

Какъ онъ проведетъ зиму въ Москвѣ, чѣмъ займется, на чемъ успокоится—онъ еще не зналъ. Отдохнуть, осмотрѣться онъ долженъ былъ, главное—осмотрѣться именно здѣсь, въ этомъ срединномъ русскомъ городѣ, гдѣ протекла и половина его молодой жизни.

Послѣдняя попытка уйти въ новѣйшій духовно-нравственный видъ народничества привела его къ тому, что онъ впервые испугался за самого себя, за то фарисейство, которое начало обволакивать его. Этотъ видъ скопческаго себѣлюбія и эпикурейства сталъ ему просто гадою, точно изувѣрство какого-нибудь грязнаго юродиваго. Да и любовью юродивый, который ходитъ въ морозъ по улицамъ полунагимъ и носить пудовыя вериги, хотъ физически страдаетъ по доброй волѣ, пока не впадетъ въ идіотскую потерю всякой чувствительности.

Онъ хотѣлъ осмотрѣться и понять: куда все идетъ теперь? Не могъ онъ не видѣть, какъ все тронулось, какъ студенческую молодежь точно кто подмѣнилъ, если не всѣхъ, то очень-очень многихъ, какъ бывшіе недавно подъ спудомъ инстинкты просочились наружу и задаютъ тонъ.

Прямо мириться съ тѣмъ, что принесли съ собою послѣдніе годы, онъ не желаетъ, но не можетъ и самъ, по-прежнему, уходить въ твердыню принциповъ и упованій, въ которые извѣрился.

И яркой личной жизни онъ уже не жаждалъ. Молодость прошла. Ему сорокъ лѣтъ. Столько онъ жилъ идеями, столько силъ ушло на порыванія—служить народу и обществу, что теперь онъ въ правѣ былъ бы мечтать о наградѣ, о кусочкѣ счастья, о тихомъ довольствѣ. Фаустъ, во второй части поэмы, отъ бурныхъ наслажденій подни-

мается до чувства высшего долга передъ человечествомъ, а ему, простому смертному, послѣ двадцати лѣтъ почти полного отреченія отъ своей личности, не воскреснуть уже къ опьяняющимъ радостямъ жизни!..

Усталость брала верхъ и подсказывала законное право пожить смиренно для себя, разъ онъ созналъ, что самоотреченіе ни къ чему не привело, кромѣ душевнаго разброда. Голова еще есть на плечахъ, она не разучилась мыслить и наблюдать. Вѣдь ея работа—величайшее благо и наслажденіе, какое человѣкъ можетъ имѣть на землѣ, величайшее и безобидное. Оно не обманетъ, даже передъ концомъ бытія, когда смерть принесетъ съ собою вѣчное, желанное успокоеніе...

II.

— Никто меня не спрашивалъ?

Лыжинъ, на нижней площадкѣ, остановилъ швейцара, молодого малаго, въ длиннѣйшей ливреѣ.

— Постороннихъ никого не было, Юрій Петровичъ. Только одинъ жилецъ изъ нижняго этажа, господинъ Воденягинъ, просилъ сказать, когда вы будете дома.

— Господинъ Воденягинъ?—переспросилъ Лыжинъ. — Кто онъ?

— Они пишутъ.

Швейцаръ какъ-то двусмысленно усмѣхнулся.

— Прикажете имъ сказать?

— Скажите.

Лыжинъ медленно—ему сдѣлалось жарко въ ермолѣ—сталъ подниматься въ третій этажъ, по свѣтлой, широкой лѣстницѣ, съ бѣлымъ половикомъ и съ ясеневыми стульями на площадкахъ.

Меблированный домъ содержался довольно чисто и степенно. Его кто-то прозвалъ „Дворянское гнѣздо“. По зимамъ жили тутъ больше помѣщичьи семьи, снимавшія цѣлыя отдѣленія. Лакеи носили фраки.

Хмурое небо стало раздвигать облака, пока онъ шелъ домой, и въ верхнемъ коридорѣ — прямо противъ двери въ его помѣщеніе—изъ широкаго окна проливался свѣтъ, и золотыя главы Кремля заискрились на прояснившемся небѣ.

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ живетъ здѣсь, по утрамъ онъ то и дѣло останавливается передъ видомъ Кремля и подолгу смотреть на него. Прежде онъ былъ равнодушенъ

къ картинной сторонѣ Москвы; теперь въ немъ что-то каждый разъ затеплится, какая-то смутная смѣсь художественнаго чувства съ потребностью слиться съ родиной болѣе тихимъ и примиреннымъ влеченіемъ.

И теперь онъ остановился на минуту передъ окномъ, любуясь рядомъ главъ церкви „Спаса Золотая-рѣшетка“ и нѣжнымъ колеромъ окраски теремовъ.

Своей квартирой Лыжинъ былъ доволенъ. Она состояла изъ просторнаго кабинета и спальни. Капитальная стѣна отдѣляла его отъ слѣдующаго помѣщенія, и онъ пользовался полной тишиной. И по коридору могъ онъ ходить, по-домашнему одѣтый, рѣдко встрѣчаясь съ остальными жильцами. Онъ чувствовалъ себя дома, а не въ номерахъ.

Повѣсивъ свой еркакъ, онъ остался въ синей парѣ изъ мохнатого шевіота, въ которой смотрѣлъ моложе, чѣмъ въ шубѣ.

Въ кабинетѣ у него прибрали. На столѣ не валялось ничего лишняго. Нѣсколько книгъ лежали въ порядкѣ на полкахъ этажерки. Онъ закурилъ папиросу и хотѣлъ было что-то достать изъ стола, да вспомнилъ, что его жаждетъ видѣть „господинъ Воденягинъ“. Почему-то ему не захотѣлось сразу принять его здѣсь. Онъ привыкъ, чтобы къ нему, подходя, обращались съ просьбами всякаго рода, но въ послѣднее время онъ избѣгалъ просителей особаго рода, изъ тѣхъ, что являлись къ нему, какъ къ человѣку извѣстнаго направленія и репутаціи, какъ бы обязанному помогать каждому, кто считалъ себя достойнымъ поддержки.

Съ папиросой вышелъ онъ въ коридоръ и началъ прохаживаться около двери къ себѣ, останавливаясь передъ широкимъ окномъ, опять привлеченный видомъ Кремля.

Скрипъ сапогъ послышался позади его. Лыжинъ обернулся и сейчасъ же рѣшилъ, что жилецъ, приближавшійся къ нему, и есть тотъ самый господинъ, про котораго докладывалъ ему швейцаръ.

Быстро, на разстояніи двухъ сажень, оглядѣлъ онъ его.

Къ нему подходилъ мужчина лѣтъ за пятьдесятъ—можетъ-быть, и моложе — сутуловатый, плечистый, малаго роста, съ широкимъ лицомъ инородческаго типа, смуглый, еще не сѣдой; нахмуренныя брови выдвигались надъ короткимъ, сдавленнымъ носомъ; борода туго рос-

ла — тоже безъ сѣдины. Узкіе темные глаза смотрѣли вбокъ.

Одѣтъ онъ былъ по-домашнему, въ черную шерстяную блузу, перепоюсанную кожанымъ кушакомъ.

„Должно-быть, изъ такихъ“, — подумалъ Лыжинъ, прежде чѣмъ тотъ подошелъ къ нему.

„Изъ такихъ“ — былъ его обычный терминъ для обозначенія цѣлаго разряда лицъ, съ какими онъ встрѣчался долгіе годы.

— Воденягинъ, — глухо и взглядывая на него снизу вверхъ, проговорилъ человѣкъ въ блузѣ.

— Очень радъ.

Лыжинъ протянулъ ему руку и пожалъ, спросивъ себя: случилось ли ему гдѣ-нибудь встрѣчать этого Воденягина?

Память ничего ему не подсказала. Но онъ тотчасъ сообразилъ, что съ *такимъ* неловко говорить въ коридорѣ. Онъ непременно обидится, больше чѣмъ кто бы то ни было.

— Милости прошу ко мнѣ, — пригласилъ Лыжинъ, растворяя дверь.

Если бъ онъ захотѣлъ прислушаться къ своему тону, онъ долженъ былъ бы сознаться, что годъ, даже полгода назадъ, не было бы въ этомъ тонѣ такихъ звуковъ въжливости, безукоризненной, но сухой.

Зачуявъ сразу, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, онъ внутренно съежился. Ему жутко стало напередъ отъ невозможности попрежнему отнестись къ своему собесѣднику: хитрить и маскироваться онъ еще не умѣлъ и не хотѣлъ сразу выкладывать свою душу, да еще передъ однимъ изъ тѣхъ, кто, можетъ-быть, остается на всю жизнь съ упорнымъ завѣтомъ.

Его предчувствіе оказалось іота-въ-іоту вѣрнымъ.

Воденягинъ, войдя медленно въ кабинетъ, осмотрѣлся и спросилъ:

— Вы здѣсь одни живете?

— Одинъ.

Лыжину извѣстенъ былъ и этотъ пріемъ осторожности.

— Присядьте, — поспѣшилъ онъ пригласить гостя къ столу и самъ сѣлъ.

Сказать ему фразу: „чѣмъ могу служить“ — онъ не рѣ-

— И я въ этихъ же номерахъ, только внизу. Свѣту маловато, да и не совсѣмъ мнѣ по карману.

Говорилъ Воденягинъ туго, точно разставляя слова, и смотрѣлъ не на собесѣдника, а въ сторону—на большую круглую печку около двери.

И такая манера говорить была знакома Лыжину.

„Безъ сомнѣнія—изъ такихъ“,—еще разъ опредѣлилъ онъ, пододвинувъ гостю коробку съ папиросами.

Воденягинъ закурилъ съ молчаливымъ поклономъ и тогда только вынулъ откуда-то — кажется, изъ панталонъ — письмо, уже немного помятое, и подалъ его Лыжину.

— Къ вамъ грамотка—отъ вашего знаконца.

Широкій ротъ Воденягина повела усмѣшка, которую Лыжинъ не нашелъ пріятной.

Письмо было изъ провинціи, отъ одного живущаго тамъ, не по своей волѣ, литератора, занимающагося статистикой. Съ нимъ Лыжинъ встрѣчался и раньше, до „исторіи“, послѣ которой тотъ попалъ сначала въ глухой городишко на крайнемъ Сѣверѣ.

„Вотъ ты изъ какихъ!“—мысленно выговорилъ Лыжинъ, не глядя на своего гостя.

Будь это пять лѣтъ назадъ, человѣкъ въ блузѣ тотчасъ получилъ бы въ его глазахъ ореолъ. Четверть вѣка прошло съ той эпохи и окружило многихъ легендарнымъ обаяніемъ, которое Лыжинъ еще такъ недавно испытывалъ. Десять лѣтъ тяжкаго наказанія и пятнадцать томительныхъ лѣтъ подневольнаго житія по разнымъ захолустьямъ представлялъ собою этотъ человѣкъ, пришедшій знакомиться съ нимъ или, лучше сказать, вручить ему письмо „знакомца“. Но письмо было написано нѣсколько мѣсяцевъ раньше.

— Вы давно перебрались въ Москву?—спросилъ Лыжинъ.

— Съ весны я здѣсь.

— И какъ же устроились?

— Да ничего, пока.

Въ письмѣ Лыжина просили оказать Воденягину поддержку въ отысканіи работы.

— Вы меня развѣ тогда не нашли? А я былъ еще въ Москвѣ.

И теперь они жили въ одномъ гарнѣ уже больше двухъ недѣль.

— Мнѣ сказывали потомъ,—продолжалъ такъ же мед-

ленно Воденягинъ, между затяжками дымомъ папирсы.— Работу я нашелъ—и довольно прочную. Большую книгу перевожу съ англійскаго. Спѣшки, значить, не было. Да и теперь, какъ увидалъ вашу фамилію внизу на доскѣ... знаете... сразу не пошелъ...

Опять его усмѣшка точно кольнула Лыжина.

Но онъ ничего на это не замѣтилъ.

— Вы вѣдь тотъ самый Юрій Лыжинъ, который, въ половинѣ семидесятыхъ годовъ, водился съ кружкомъ пахомовцевъ?

Лыжина опять точно что кольнуло. Онъ тотчасъ все понялъ.

Этотъ прямолинейный человѣкъ, „пострадавшій“ — и такъ сильно—двадцать пять лѣтъ тому назадъ, вотъ что онъ хотѣлъ сказать ему своимъ вопросомъ:

„Ты, молъ, дружилъ съ пахомовцами, а они поплатились. Почему-то ты не былъ даже потревоженъ, хотя и могъ бы оказаться въ числѣ тѣхъ, которыхъ оправдали. Хотя ты и продолжалъ считаться недурнымъ малымъ, но кто тебя знаетъ—во что ты теперь превратился...“

Приди къ нему этотъ человѣкъ еще весной, онъ, зачуявъ такое подозрѣніе, сейчасъ сталъ бы изливаться. Уколъ онъ почувствовалъ и теперь, но изливаться не сталъ.

— Я знавалъ многихъ пахомовцевъ,—выговорилъ онъ сдержанно,—и могъ бы быть привлеченъ, но остался въ сторонѣ. По правдѣ сказать, они меня тогда и не вводили въ свои дѣла.

Воденягинъ поморщился отъ дыма и, все съ той же усмѣшкой, выговорилъ:

— По нынѣшнимъ временамъ — вы понимаете — такіа вездѣ происходятъ превращенія...

Онъ не договорилъ и взглянулъ на Лыжина прямо.

— Вамъ, я думаю, и самимъ,—продолжалъ онъ, улыбуясь только глазами,—приходится убѣждаться въ томъ же?

Неловкость этой фразы только подтверждала то, что Лыжинъ почувалъ въ вопросѣ Воденягина о его собственномъ прошедшемъ.

— Стало-быть, вы вашимъ положеніемъ здѣсь довольны? — спросилъ онъ, переводя разговоръ на фактическую почву.

— Не жалуюсь.

Человѣкъ „съ ореоломъ“ не поднималъ въ немъ желанія разспросить про его испытанія, вызвать въ немъ задушевную рѣчь о судьбѣ его товарищей. Онъ напередъ зналъ, что и какъ Воденягинъ будетъ ему говорить, въ какомъ тонѣ и въ какихъ именно фразахъ. Поддакивать онъ не могъ, а слушать изъ простаго любопытства — не хотѣлъ.

Ему стало нудно; никогда онъ не испытывалъ такой тяжести. Еще легче сдѣлалось для него, что прежняго Лыжина въ немъ нѣтъ — и это уже не могло его таѣть, какъ полчася раньше, когда думы охватили его, на Большой Никитской.

III.

Въ дверь слегка постучались. На окликъ Лыжина вошелъ коридорный и подалъ карточку.

— Просите! — сказалъ Лыжинъ, отпуская лакея движениемъ головы и, обратившись къ Воденягину, добавилъ: — Вы меня извините, пожалуйста... дѣловой разговоръ...

Онъ произнесъ это умышленно мягко и любезно; но ему все-таки стало не совсѣмъ пріятно: точно онъ хотѣлъ отдѣлаться отъ посѣтителя. Иначе нельзя было поступить. Предстоялъ рѣшительный разговоръ по продажѣ имѣній. Лыжинъ упрекнулъ себя за то, что не предупредилъ швейцара, чтобы къ нему сегодня никого не пускать, кромѣ господина, котораго онъ ждалъ къ двумъ часамъ.

Воденягинъ лѣниво поднялся съ кресла и бросилъ папиросный окурочекъ въ плевалъницу.

— Не стѣсняйтесь, сдѣлайте одолженіе, — все тѣмъ же двойственнымъ тономъ выговорилъ онъ. — Мы пока въ одномъ домѣ живемъ... Своими дѣлами я васъ беспокоить не буду... А знаете... на всякій случай... если придется... за кого-нибудь похлопотать... Мнѣ вашъ знакомецъ такъ всегда про васъ говорить...

Не докончивъ фразы, Воденягинъ неловко покачнулся туловищемъ передъ тѣмъ, какъ идти къ двери.

Лыжинъ всталъ и протянулъ-было ему руку въ ту самую минуту, какъ отворилась дверь и вошелъ дѣловой посѣтитель. Онъ видѣлъ его въ первый разъ и не зналъ, какое довѣренное лицо пришлетъ ему покупатель — коммерсантъ Кумачевъ, съ которымъ онъ всего одинъ разъ видѣлся. Переговоры велись сначала черезъ коммиссіонную контору.

Посѣтителъ былъ маленькаго роста, совсѣмъ круглый человекъ, еще молодой. Вадернутый носъ, свѣтлыя курчавыя волосы, русая борода, лоснящіяся щеки и блестящіе свѣтло-сѣрые глаза — все вмѣстѣ дѣлало его сразу похожимъ на конториста, на довѣреннаго приказчика. И одѣвался онъ старательно и франтовато, похоже на то, какъ одѣты обыкновенно кассиры и контролеры въ банкахъ — коротенькій синій пиджакъ, цвѣтной галстукъ съ булавкой, на цѣпочкѣ большой золотой жетонъ съ эмалью, отложные воротнички.

— Кострицынъ, — вполголоса выговорилъ онъ, кинувъ тотчасъ же взглядъ на Воденягина.

— Иванъ Кузьмичъ? — тономъ вопроса сказалъ Лыжинъ, только что прочитавшій его имя и отчество на карточкѣ.

— Такъ точно.

Лыжинъ пожалъ сначала руку Воденягину и сказалъ новому посѣтителю:

— Присядьте. Сю минуту къ вашимъ услугамъ.

Онъ проводилъ Воденягина въ коридоръ.

— Не беспокойтесь, — выговорилъ тотъ, усмѣхнувшись, и въ этой усмѣшкѣ сидѣло: — „Очень ты, братъ, ужъ по-барски вѣжливъ“.

— Вы ко мнѣ по дѣлу? — спросилъ Лыжинъ, вернувшись въ кабинетъ, гдѣ толстенькій блондинъ разглядывалъ на стѣнѣ какую-то гравюру.

— Отъ Захара Лукьяныча, — произнесъ онъ звонко, голосомъ, который также показался Лыжину купеческимъ.

Посланецъ коммерсанта Кумачева, оглянувшись на дверь и блеснувъ своими яркими и узкими глазками, спросилъ:

— Сей блузникъ — господинъ Воденягинъ?

— Вы его знаете? — заинтересованно откликнулся Лыжинъ и повторилъ: — Прошу присѣсть.

— Видѣлъ разъ всего. Только онъ меня врядъ ли узналъ, хотя мы имѣли съ нимъ принципиальную *прю*, — сострилъ Кострицынъ.

— Гдѣ же это?

— У студентовъ... въ одномъ кружкѣ земляковъ, оттуда, съ Волги. Онъ вѣдь тамъ проживалъ въ послѣднія двѣ зимы, передъ тѣмъ, какъ его пустили въ Москву.

Голосъ оставался все такимъ же купеческимъ; тонъ и складъ рѣчи отзывались чѣмъ-то совсѣмъ другимъ, — и Лыжинъ чуть было не спросилъ: какого же званія и профессіи этотъ, по наружному виду, приказчикъ изъ „амбара“

въ Черкасовомъ или Юшковомъ переулкѣ, между Никольской и Ильинкой?

— А вы посѣщаете такіе кружки?—спросилъ Лыжинъ, наклонивъ голову, чтобы не смотрѣть прямо на лицо блондина.

— Ха-ха!.. Я всякіе кружки посѣщаю. Въ свободные часы—а они у меня есть—хожу по Москвѣ и суесловлю. Какъ Сократъ хаживалъ по Афинамъ, задавая вопросы, пустяшные, на оцѣнку его согражданъ.

„Это еще что?“—мысленно спросилъ Лыжинъ и, улыбнувшись, протянулъ ему папиросы, такимъ же точно жестомъ, какъ и Водягинину, за четверть часа передъ тѣмъ.

— Не употребляю, благодарю покорно, хотя ученія о табакѣ, какъ средствѣ притупленія совѣсти, не держусь... Ха-ха!.. Барско-мистической ереси не признаю...

Кострицынъ такъ при этомъ поглядѣлъ на Лыжина, что тотъ сейчасъ зачуялъ намекъ на его недавнее увлеченіе этой самой „ересью“. Тогда онъ временно бросилъ курить и даже пробовалъ быть вегетаріанцемъ.

— Развѣ мы съ вами уже встрѣчались?—осторожно выговорилъ онъ.

— Нѣтъ-съ... такъ, чтобы насъ съ вами познакомили... Но я васъ давно знаю... И частенько видалъ... особенно одну зиму. Въ послѣдній разъ—въ аудиторіи музея.

— Вы, стало-быть?..

— Шатунъ, шатунъ! Могу—разумѣется, въ скромныхъ размѣрахъ—примѣнить къ себѣ то, что Цицеронъ про себя говоритъ: „*me non civem unius urbis, sed totius orbis puto...*“ Хе-хе!

„Кто же онъ?“—недоумѣвалъ Лыжинъ, а сдѣлать прямой вопросъ считалъ не деликатнымъ.

— Извините,—сказалъ онъ,—я немного забылъ по-латыни... Смыслъ этого изреченія...

— Тотъ, что Цицеронъ считалъ себя гражданиномъ не одного города, а цѣлаго свѣта—*totius orbis*.

По-латыни Кострицынъ произносилъ отчетливо, немного педантично, какъ истый словесникъ, учившійся у какого-нибудь нѣмца или онѣмеченнаго чеха.

— А-а... — протянулъ Лыжинъ, и уже нѣсколько иронически.

Ему такой языкъ въ посланціѣ коммерсанта Кумачева показался позировкой.

— Извините,—спохватился Кострицынъ.—Нынче вѣдь поневолѣ позволишь себѣ цитату... Старая привычка...

— Привычка педагога?

— Репетитора... Я еще съ послѣдняго класса гимназій сталъ ходить по барчатамъ и купеческимъ сынкамъ—подготовлять ихъ по древнимъ языкамъ.

— Такъ какъ же вы?..

Лыжинъ досказалъ свой вопросъ взглядомъ.

— Васъ удивляетъ нѣчто?.. Понимаю. Видите ли, я былъ сначала филологъ и кандидатскій экзаменъ сдалъ. А потомъ перешелъ на физико-математическій отдѣлъ. Какъ въ среднѣе вѣка—весь кругъ захотѣлось продѣлать, чтобы потомъ трактовать *de rebus omnibus*... Хе-хе... Потянуло и къ магистерству, только торопиться я не хотѣлъ. Вотъ и сижу за конторкой.

— Вы довѣренное лицо Кумачева?

— Если хотите,—да. Математика пригодилась для бухгалтерской цифири, а филологія послала ученика, который теперь превратился въ моего принципала... Захаръ Лукьяновичъ состоялъ въ моихъ питомцахъ, когда я былъ еще словесникъ на третьемъ курсѣ... А теперь онъ—*самъ*! — подчеркнутъ Кострицынъ и опять засмѣялся короткимъ и жидкимъ смѣхомъ.

Этотъ частый смѣхъ не нравился Лыжину; но личность дѣлового посѣтителя заинтересовала его. Теперь онъ уже распознавалъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло.

— И вы не оставляете науки? — спросилъ онъ оживленно.

— Ни науки, ни мышленія, если позволите мнѣ такъ громко выразиться. Контора беретъ у меня утро до трехъ, да и то не каждый день; а чаще я уже къ позднему завтраку справляюсь. Голова моя отдыхаетъ на цифрахъ контроля и дѣловыхъ письмахъ. Читай себѣ и думай все остальное время. Надъ нами не каплетъ: одной диссертацией больше, одной меньше—не важно. Мыслить свободно только и можно, когда не надѣнешь никакого ученаго мундира.

— Это очень оригинально,—выговорилъ болѣе искренней нотой Лыжинъ, хотя посланецъ покушника что-то не дѣлался ему симпатичнѣе.

— Я въ оригиналы не мѣчу,—возразилъ Кострицынъ.—Гдѣ же?!.. Развѣ то, что мнѣ Господь Богъ изволилъ пожаловать такую гостинодворскую внѣшность? Что жъ! Это

мнѣ тамъ, въ амбарахъ города, не мѣшается, а въ другихъ мѣстахъ знаютъ, кто я... Однако, Юрій Петровичъ, прошу великодушно простить за это отступленіе. Вамъ время дорого не такъ, какъ мнѣ, шатуну, во вкусѣ Сократа... Позвольте вамъ вручить письмо отъ Захара Лукьяновича.

Опъ вынулъ изъ большого бумажника изящный конвертъ, съ огромной монограммой, изъ веленовой бумаги.

— Принципаль мой просилъ васъ пожаловать къ нему завтра, къ пяти часамъ, для окончательныхъ переговоровъ, и откушать у него заодно въ шесть.

— Откушать?

Лыжинъ уже пробѣжалъ записку и спросилъ это, поднявъ голову, съ чуть замѣтной улыбкой въ глазахъ. Она не ускользнула отъ Кострицына.

— Не отказывайтесь, Юрій Петровичъ. По законамъ великосвѣтскихъ приличій ему слѣдовало лично просить васъ. Но, видите ли... онъ все-таки пользуется своимъ правомъ покупщика; да и купеческая традиція къ тому же: безъ угощенія нельзя, хоть и на архи-европейскій манеръ. Вы Захара Лукьяновича видѣли только въ амбарѣ?

— Всего разъ.

— Посмотрите на него и дома. Это новый человѣкъ. И онъ, и супруга его, урожденная княжна Жеребьева...

— Зарайская? — вопросительно договорилъ Лыжинъ и всталъ. — Не родственница ли князи Иларіона... оттуда, отъ насъ, изъ новоземскаго уѣзда?

— Совершенно вѣрно. И, право, — вы увидите сами, — они пара. Рѣзкаго мезальянса въ сущности нѣтъ. Мой бывшій ученикъ, хоть и не особенно усердно зубрилъ *адристы*, но онъ — кандидатъ правъ и, пожалуй, не безъ основанія вырѣзалъ на своей печати латинское изреченіе... Виновать, опять у меня латынь!

— Какое, какое изреченіе? Это интересно!

— Такое-съ: „*Ibo singulariter donec transeam*“ — по-русски: „мы сами съ усами!“... Ха-ха!

Они оба разсмѣялись, и Лыжинъ хотѣлъ было присѣсть опять къ столу, начать дѣловой разговоръ, но Кострицынъ самъ всталъ и взялся за шляпу-котелокъ, оставленную у двери.

— Покончить съ вами, Юрій Петровичъ, я не уполномоченъ. У Захара Лукьяновича есть еще два-три второстепенныхъ пункта, которые онъ желалъ бы выяснить. Я

буду допущенъ присутствовать при вашемъ разговорѣ, потому что долженъ поѣхать съ вами на мѣсто. А больше пока ничего не имѣю, кромѣ полученія вашего согласія на зовъ Захара Лукьяновича.

— И вы будете тамъ обѣдать?

— Буду-съ.

— Какъ же это... парадно?

— Нѣтъ. Полупарадно—въ сюртукахъ. Значить, позволите рассчитывать на васъ?

И на утвердительный жестъ Лыжина Кострицынъ, сдѣлавъ короткій поклонъ, пожалъ протянутую ему руку и быстро вышелъ.

IV.

На срединѣ Пушкинскаго бульвара, не доходя крытой эстрады для музыкантовъ, Кострицынъ, въ пальто съ мѣховымъ воротникомъ, встрѣтилъ носъ къ носу рослаго студента, шедшаго сверху отъ памятника.

— А! Шипилинъ!

— Иванъ Кузьмичъ!

— Съ рукопожатіемъ они вразъ разсмѣялись. И студенту, и „шатуну“ въ сократовскомъ вкусѣ одинаково пріятно было увидеть другъ друга.

Шипилинъ былъ на цѣлую голову выше его ростомъ. На его большой курчавой головѣ брюнета фуражка съ полинялымъ околышемъ сидѣла молодцовато-небрежно, совсѣмъ открывая лобъ. Лицо съ мелкими оживленными чертами—отъ усовъ безъ бороды—смотрѣло по-военному. Каріе глаза, быстрые и веселые, играли. Форменное пальто сидѣло на немъ ловко, поношенное, безъ барашковаго воротника.

— Съ лекціи?—спросилъ ласково Кострицынъ.

— Нѣтъ, я тамъ сегодня и не бывалъ.

— Какъ же вы?.. Вѣдь надо расписываться.

— Это ужъ дѣло педелей, а не мое. Мнѣ-то, старику, да копѣть, безъ надобности, въ аудиторіяхъ?! Для этого не мало юнцовъ... изъ первыхъ учениковъ.

Онъ выговорилъ послѣднія два слова съ особенной интонаціей.

Кострицынъ понялъ ее. Чувствовалось, что онъ хорошо знакомъ съ жаргономъ такихъ студентовъ.

Шипилину пошелъ уже двадцать четвертый годъ. Онъ два года назадъ былъ удаленъ, и только въ сентябрѣ этого



года—не безъ сильныхъ хлопотъ—опять принять. Во всей его посадкѣ сквозило то, что онъ—не изъ нынѣшнихъ первыхъ учениковъ.

— Домой, на Патріаршіе?—любопытствовалъ Кострицынъ.

— Надо еще къ одному человѣчку завернуть, вотъ тутъ, въ Палашовскомъ переулкѣ. Мы кое-что, Иванъ Кузьмичъ, затѣваемъ.

— Смотрите! Опять очутитесь въ Бутыркахъ!

— Нѣтъ, самое невинное. Насчетъ одного изданія.

Шипилинъ былъ естественникъ.

— По какой части?

— Да еще ничего толкомъ не налажено. Вотъ хотимъ собраться... И васъ пригласимъ, Иванъ Кузьмичъ. Вы—мужъ совѣта.

Оглянувшись вбокъ, въ сторону Бронной, студентъ взялъ опять за руку Кострицына.

— Да не зайдемъ ли выпить кружку трехгорнаго? Въ ту портерную... Помните, которую мы когда-то хотѣли упорядочить? Васъ давно не видалъ; а хочется побалакать. Идемъ?.. Съ полчаса? Или вамъ нужно по дѣлу?

— Съ полчаса можно.

Они пошли подъ-руку и вскорѣ свернули съ бульвара.

Къ этому студенту Кострицынъ давно приглядывался. Шипилинъ считалъ себя представителемъ старой генерации студентовъ. Онъ „пострадалъ“ и одно время считался вожакомъ. Теперь въ немъ Кострицынъ замѣчалъ нѣчто болѣе зрѣлое—на его опѣнку, другое отношеніе и къ тому, чѣмъ онъ увлекался: и къ студенчеству, и къ профессора́мъ, и къ наукѣ, и къ „проклятымъ вопросамъ“.

Такія проявленія „здороваго критицизма“—какъ называлъ Кострицынъ—онъ очень цѣнилъ въ молодыхъ людяхъ. Съ Шипилинымъ онъ обходился осторожно, больше слушалъ его, чѣмъ самъ говорилъ, и прочилъ его себѣ въ „ученики“, когда тотъ „еще поумнѣетъ“.

Онъ ему прощалъ нѣкоторое молодечество, любованіе собой и своимъ краснорѣчіемъ, на сходкахъ и вечеринкахъ, за бутылками пива, желаніе дать тонъ и направить массу. Не думалъ онъ, что изъ Шипилина выйдетъ перво-разрядный ученый, скорѣе—журналистъ съ нѣкоторой подкладкой положительныхъ знаній. Но голова у него была цѣпкая, рѣзвая, и онъ хорошо усваивалъ себѣ и отвлеченныя идеи и поговаривалъ, что, покончивъ съ есте-

ственными науками, займется философией. Всего больше привлекали въ немъ Кострицына его жизненные позывы, желаніе найти своему „я“ полный ходъ, не очень задумываясь надъ тѣмъ,—одобрять или не одобрить его тѣ изъ товарищей, кто еще пережевывалъ разное „старье“.

Въ портерной, куда они вошли, было уже довольно народу,—все больше студенты, сидѣвшіе и группами, и въ одиночку, съ газетой въ рукахъ.

Они примостились къ окну во второй комнатѣ. Кострицынъ не нашелъ тутъ знакомыхъ; Шипилинъ перездоровался съ нѣсколькими студентами, шумно переходя отъ стола къ столу.

По манеру держать себя, было замѣтно, что это—малый, привыкшій считать себя „чѣмъ-то“.

Сѣли они поодаль, и когда имъ подали двѣ кружки—оба стали говорить гораздо тише.

— Ну, что жъ, — спросилъ Кострицынъ, наклоняясь надъ столомъ,—теперь, милѣйшій мой, вы искушены опытомъ и постараетесь безпрепятственно дотянуть до государственнаго экзамена?

— Постараюсь, Иванъ Кузьмичъ,—отвѣтилъ Шипилинъ ему въ тонъ, тряхнувъ головой и однимъ глоткомъ отпилъ треть свѣтлаго, пѣнистаго пива.

— Хотя побывать въ бутырской академіи и не бесполезно, — продолжалъ шутливо Кострицынъ, — но, право, шкурка не стоитъ выдѣлки.

— Надо всего отвѣдать... Съ самаго того сидѣнья... съ того сидѣнья,—повторилъ Шипилинъ, лихо оглянувъ комнату,—я и сталъ распознавать, какой у насъ всяческій разбродъ въ честномъ студенчествѣ.

Онъ говорилъ горячо, довольно тихо звукомъ—не изъ боязни, что его услышатъ. Ни отъ кого онъ не скрывалъ своихъ взглядовъ на массу и на ближайшихъ товарищей и ставилъ себѣ это въ немалое достоинство.

— До сихъ поръ, Иванъ Кузьмичъ, помню, какъ настоящіе—то инстинкты взяли верхъ, когда возбужденіе спало. Многіе и оказались не выше юнкеровъ, право!

Онъ разсмѣялся не очень громко и глотнулъ изъ кружки.

— А теперь, вотъ, со вторичнаго поступленія моего,—продолжалъ онъ, ускоряя темпъ рѣчи,—я вижу, Иванъ Кузьмичъ, что еще сильнѣе преобладаетъ *первый ученикъ*.

— Чтò жъ? Развѣ это худо?

— Да вы, небось, сами были въ гимназіи, знаете—что такое первый ученикъ.

— Я и самъ сиживалъ подолгу первымъ.

— Въ ваше время другое дѣло было... Не теперь.. И адѣшніе, изъ мѣстныхъ гимназій, самые патентованные. До жалости! Изъ губерній—менѣе вымуштрованы... Есть милые юнцы. Но масса съ такой торричеллиевой пустотой въ головахъ, что имъ всякое мѣсиво на потребу. Всѣмъ восхищаются! Сегодня попалъ на лекцію, гдѣ профессоръ—научникъ почитываетъ—слушаетъ его, развѣся уши, и радъ. Завтра ему разводить рацемъ самый гнилой метафизикъ—на подкладкѣ мистицизма—хлопаетъ и ему и умиляется! Прямое доказательство, что онъ изъ гимназіи никакихъ опредѣленныхъ не то что идей, а хоть догадокъ не вынесъ.

— И не могъ вынести, — ласково возразилъ Кострицынъ.—И нѣтъ въ этомъ никакой бѣды. Вы такъ, милый мой, говорите по традиціи. И ваше поколѣніе, и мы грѣшныя,—когда поступали въ университетъ,—только брали на вѣру то, что намъ книжки любимыхъ журналовъ говорили.

— А они и журналовъ-то не читали!

— И это не большая бѣда! Вамъ самому сколько надо было лѣтъ, чтобы посмѣлѣе взглянуть на казенщину обязательнаго направленства?

Кострицынъ подмигнулъ ему и протянулъ кружку чокнуться.

— Да здравствуетъ разумъ!

— Да здравствуетъ! — повторилъ Шипилинъ и, взглянувъ на дверь, окрикнулъ:—Сюда, сюда!

Въ дверяхъ—еще въ фуражкѣ—стоялъ студентъ, снявшій въ первой комнатѣ шинель—плечистый, съ большой русой бородой, въ короткой сѣрой „тужуркѣ“. Лицо у него было свѣжее, загорѣлое; глядѣлъ онъ немного хмуро своими красивыми голубыми глазами изъ-подъ густыхъ бровей.

— Вы его не помните, Иванъ Кузьмичъ? — спросилъ Шипилинъ въ то время, когда студентъ въ тужуркѣ пробирался къ нимъ.

— Кажется, видалъ.

— Это Мечъ... Владиміръ Мечъ.

— Тоже былъ въ Бутыркахъ?

— Былъ; только ему легче сошло; онъ предпоследній семестръ дослушивалъ.

Студентъ Мечъ поспѣшно подошелъ къ ихъ столу.

Шипилинъ назвалъ его по имени и спросилъ для него пива. Его товарищъ присѣлъ къ столу молча. Видно было, что онъ не разговорчивъ.

— Ты меня искалъ?—спросилъ его Шипилинъ.

— Не то что искалъ... Къ Тишинымъ пробирался. Теперь уже четвертый въ началѣ.

— Успѣемъ!

— На то совѣщаніе?—спросилъ вполголоса Кострицынъ.

— Вѣдь это въ двухъ шагахъ... Не выпьемъ ли еще по кружкѣ, Иванъ Кузьмичъ?

— Нѣтъ, милый мой... Мнѣ пора.—Онъ вынулъ часы съ тяжелой золотой доской.—И очень пора. Мнѣ еще надо побывать въ городѣ.

— Въ амбарѣ небось? Вотъ, Мечъ, Иванъ Кузьмичъ, магистрантъ, и не пренебрегаетъ мѣстомъ въ конторѣ... А у насъ чуть какой кандидатишко два реферата изъ себя выдавилъ, за которые его похвалили на „семинаріяхъ“—и оставляй его при университетѣ, и за границу шли, и онъ священнодѣйствуетъ! Какъ ему чѣмъ-нибудь, кромѣ слизыванья архивной пыли, заняться?!

Товарищъ Шипилина усмѣхнулся въ свои густые усы и ничего не сказалъ.

— Эй, завяжи на память узелокъ!—проговорилъ, вставъ, Кострицынъ и прикоснулся рукой къ плечу Шипилина.

— Какъ же, Иванъ Кузьмичъ!—удержалъ его тотъ,—позвольте васъ извѣстить, когда у насъ компанія соберется?.. Очень бы одолжили.

— Буду, буду!

Молчаливый студентъ очень крѣпко сжалъ руку Кострицына.

Въ портерной народу прибывало; табачный дымъ и гулкій говоръ густѣли. Кострицынъ, застегивая пальто у выхода, оглядывалъ эту молодежь и тихо улыбался.

Если бы онъ вдругъ собралъ ихъ вокругъ себя и сталъ бы имъ развивать *свою* теорію жизни и правды—за кого бы многіе изъ нихъ его принимали? А тѣ, кто способенъ на работу головы, рано или поздно придутъ къ его же выводамъ. Но когда?—Когда растеряютъ все въ добровольномъ рабствѣ передъ какимъ-нибудь сочиненнымъ принципомъ.

V.

Въ „амбарѣ“ Кострицынъ не засталъ своего хозяина. Захаръ Лукьяновичъ уѣхалъ раньше обыкновеннаго.

Отвѣтъ Лыжина нужно было принести сегодня. Обѣдать онъ у Кумачевыхъ не останется, если бъ его и оставляли: у него сегодня обѣдъ въ трактирѣ — кружковой, молодыхъ медиковъ, больше психіатровъ, съ которыми онъ давно дружить. За обѣдомъ завязываются всегда пренія и длятся иногда до поздняго часа. На послѣднемъ обѣдѣ пришлось даже выбрать предсѣдателя и дать ему колокольчикъ, чтобы не говорили по-трое, по четверо за разъ.

Въ такихъ сборищахъ, гдѣ можно держать „прю“, онъ только и живетъ, и въ этомъ онъ чувствуетъ себя кореннымъ москвичемъ. Здѣсь онъ родился, на Садовой, въ приходѣ Ермолая, здѣсь былъ гимназистомъ и студентомъ, отсюда никуда не выѣзжалъ дальше Серпухова, въ одну сторону, и Новаго Іерусалима—въ другую.

Безъ преній, безъ діалектической игры онъ не понимаетъ жизни и въ потребности къ перегряхиванію вопросовъ науки и устоевъ метафизики полагаетъ самое высшее отличіе москвича отъ всякихъ другихъ русскихъ—петербуржцевъ и провинціаловъ.

Вокругъ него идутъ сѣтованія на „подлое время“, нытье о паденіи идеаловъ, объ опошленіи молодежи, о всеобщемъ бездушномъ изувѣрствѣ, о расовыхъ инстинктахъ нетерпимости, о возмущающемъ душу нахальствѣ охранителей „лже-патріотическихъ“ началъ...

Онъ только посмѣивается себѣ въ бороду и видитъ, что все это — жалкія слова. Для него то, что наступило, должно было случиться, какъ реакція добровольному рабству во имя разныхъ фетишей, передъ которыми „хорошіе“ люди предыдущаго десятилѣтія совершали свои идоложертвенныя требы... А теперь идетъ „дифференціація“, теперь личность хочетъ поднять себя, дерзаетъ противопоставлять свое „я“ обязательнымъ символамъ вѣры, дерзаетъ и посягаетъ.

И мысль не спитъ въ этой „купецкой“ Москвѣ. Нѣтъ! Тотъ слой, гдѣ мозги давно расшатаны, не намѣренъ отрекаться отъ своей привилегіи на высшее духовное достояніе.

Кострицынъ думалъ такъ—и не въ первый разъ,—по-

качиваясь на извозничьей пролеткѣ изъ города черезъ Кремль, въ сторону Пречистенки, гдѣ на одномъ изъ бульваровъ стояли палаты его питомца по части греческихъ „адристовъ“—теперь уже главы миллионной фирмы, виднаго дѣятеля по городскому самоуправленію, попечителя многихъ школъ и пріютовъ, чиномъ надворнаго совѣтника, ожидающаго—не безъ резона—что къ новому году его супруга, рожденная Жеребьева-Зарайская, прочтетъ на карточкахъ своего мужа, во второй строкѣ, то званіе, которое даетъ ходъ ко всему.

Два часа назадъ, когда онъ просилъ Лыжина не отказываться отъ обѣда и заинтересовалъ его личностью коммерсанта Кумачева, вплоть до его латинскаго девиза,—онъ не преувеличивалъ.

Разумѣется, Лыжинъ—этотъ горюнь-семидесятникъ—не найдетъ въ Захарѣ Лукьяновичѣ, пожалуй, ничего, кромѣ нынѣшняго карьеризма „купчишекъ“, почуввавшихъ, что если къ ихъ капиталамъ да прибавить классическое образованіе, да мѣдный лобъ въ городскихъ дѣлахъ, да ловкое подхалимство передъ тѣми, кто даетъ ходъ, то можно всего достичь и на высшій манеръ тѣшить свое чванное и деспотически-купецкое „я“.

И проглядить суть того, что представляетъ собою Захаръ Лукьяновичъ, „горюнь-семидесятникъ!..“

Для него, Кострицына, Кумачевъ—символь, показатель новой фазы общественнаго роста,—и онъ, и жена его, захудалая княжна, захудалая только потому, что папенька и маменька, безумно бросая деньги, остались нищими, но воспитанная отъ дохода въ сотню тысячъ рублей.

Вѣрно онъ опредѣлилъ Лыжину и то, что „мезальянсъ“ тутъ не было. Если бъ его хозяинъ не носилъ фамиліи *Кумачевъ* и не звали бы его *Захаръ Лукьяновичъ*, никто бы не распозналъ въ немъ внука того Сидора Емельяновича Кумачева, который перебрался въ Москву простымъ „горшечникомъ“—какъ зовутъ въ подмосковныхъ деревняхъ мелкихъ фабрикантовъ набивного ситца,—съ капиталомъ въ какую-нибудь тысячку рублей, крестьяниномъ графовъ Струниныхъ, откупившимся отъ крѣпости уже тогда, когда былъ въ сотняхъ тысячъ. Отецъ его, Лукьянъ Сидоровичъ, былъ только грамотенъ и языковъ не зналъ; но мать, воспитанная и ученая по-другому, Раиса Гордѣевна, постаралась о своемъ первенцѣ и единственномъ сынѣ Заха-

рушкѣ, котораго окрестила такъ въ память своего пра-
дѣда.

Въ томъ-то и сказывается прежде всего умъ его ученика, что онъ хоть и будетъ, лѣтъ черезъ пять, много черезъ десять, особой четвертаго класса, а все-таки „прядильщикъ“, и не заброситъ своего многомилліоннаго дѣла; вѣроятно, завѣщаетъ его и сыну.

Нужды нѣтъ, что Раиса Гордѣевна мечтала о другой „душѣ“ для своего сына. Когда она пригласила Кострицына къ Захарушкѣ въ репетиторы, она и тогда уже сътовала на то, что въ сынкѣ мало склонности къ ея „идеямъ“. Она, когда стала взрослой дѣвицей, подпала подъ вліяніе разныхъ „хорошихъ“ мыслей и передовыхъ людей, читала запоемъ книжки и, выйдя замужъ, сразу ушла въ добрыя дѣла, не по-старинному, а съ направлениемъ. Ей мечталось, что ея Захарушка будетъ нѣчто въ родѣ шпильгагенскаго „Лео“ или одного изъ тѣхъ крупныхъ финансистовъ, которые, въ тридцатыхъ годахъ, хотѣли во Франціи пересоздать положеніе рабочаго класса, а затѣмъ и всего человѣчества.

Но теперешній Захарушка—человѣкъ своего десятилѣтія, и этимъ-то онъ и характеренъ въ глазахъ его бывшаго репетитора.

„Такіе нужны для Москвы“, — рѣшаетъ каждый разъ Кострицынъ, думая о Кумачевѣ. Онъ доволенъ всего больше тѣмъ, что въ немъ самомъ нѣтъ и тѣни раздраженія противъ милліонщика Кумачева за то только, что тотъ его „хозяинъ“, а онъ—его „батракъ“. Нигдѣ бы онъ себя не чувствовалъ независимѣе, чѣмъ въ званіи довѣреннаго конториста Захара Лукьяновича. Его личное достоинство принципаль уважаетъ достаточно... Дѣла на него не наваливаются и даетъ понять, что онъ цѣнить въ бывшемъ своемъ репетиторѣ его „умственность“, какъ выражался еще покойный отецъ его, Лукьянъ Сидоровичъ. Ему, вѣроятно, льстило то, что магистрантъ—человѣкъ, прошедшій два факультета, сидитъ въ его „амбарѣ“.

Экая важность!.. Въ древности рабы держали въ рукахъ свѣточни своихъ эпохъ. Кто такой былъ Эпиктетъ?—рабы! и Эзопъ—также! И Сократъ могъ быть рабомъ...

Никакого рабства не испытывалъ онъ „на службѣ“ у Захара Лукьяновича. Въ его домѣ онъ не прислѣшникъ, не мелкій приказчикъ, а довѣренное лицо съ умственнымъ авторитетомъ, который добровольно гораздо больше при-

знаетъ „самъ“, чѣмъ „сама“, — чѣмъ эта роскошная и жизнерадостная Антонина Борисовна. Съ нею ему приходится вести тайную борьбу, парировать ея замаскированные удары, чуютъ ея полубрезгливое отношеніе къ себѣ. Онъ знаетъ, что она находитъ его наружность гостинодворской, вульгарной и тонъ — недостаточно „въ стилѣ“, или, какъ она по-англійски выражается про себя: „по good style“.

На его одѣяку, Антонина Борисовна — болѣе мѣщанка, чѣмъ ея мужъ, Захарушка Кумачевъ. Она ѣжится отъ звука этой „ужасной“ фамиліи, но сама смакуетъ суетнѣе и чувственнѣе, чѣмъ онъ, сладость барышей, доставляемыхъ работой придильщиковъ и ткачей на двухъ мануфактурахъ мужа. Ея тонъ менѣе ровенъ, выдержанъ и своеобразенъ, чѣмъ у Захарушки. Она безъ всякой надобности дѣлаетъ а parte по-англійски при немъ, забывалъ, что онъ понимаетъ, а мужъ ея этого никогда не дѣлаетъ, хоть и говорить и по-англійски, и по-французски, и по-нѣмецки съ превосходнымъ акцентомъ. Французскимъ языкомъ онъ владѣетъ такъ, что можетъ произносить цѣлые речи даже съ блестками остроумія, а ея жаргонъ — дальше барской болтовни неидетъ.

И въ этомъ бракѣ онъ видитъ *показателя* теперешней дорогой ему Москвы — „сердцевины“ русскихъ городовъ, гдѣ вырабатывается русская культура, гдѣ народный трудъ, купецкая мошна, чувственные аппетиты, сословная перетасовка, повальная ѣда и питье, трактиры, картежъ и тотализаторъ, гикъ цыганъ и колокольный звонъ „сорока-сороковъ“ — служатъ той же почвой, откуда вырастаютъ вопросы ума, творчества, красоты, научной истины, полета въ безплотную высь обобщающей философской мысли...

Пролетка, перекаtywаясь справа-налѣво по мерзлой, безснѣжной мостовой, повернула къ подъему, откуда Кремль и дальше вся панорама, вдоль Александровскаго сада до пабережной, открылась въ лучахъ заката, пестрѣла красками церквей, башенъ, домовъ.

„Флоренція! — мысленно вскричалъ Костицынъ, оглянувшись на кремлевскую стѣну, откуда верхи теремовъ весело смотрѣли между двумя башнями старо-италійнскаго стиля. — Флоренція! Аѳины, гдѣ, какъ и я, многогрѣшный, курносый мужъ злобной Ксантиппы бродилъ подъ портиками и задавалъ ехидные вопросы досужаго шатуна“.



Черезъ пять минутъ пролетка подвезла его къ подъѣзду двухъэтажнаго дома, построеннаго въ какомъ-то смѣшанномъ стилѣ изъ краснаго кирпича съ обшивкой тесовымъ камнемъ, со множествомъ поливныхъ изразцовъ, вѣланныхъ въ стѣны, и съ высокой металлической крышей, украшенной переборомъ изъ кованнаго желѣза. Домъ, въ цѣломъ, не казался пестрымъ, несмотря на множество деталей отдѣлки. Крыльцо, умышленно тяжеловатое, съ каменнымъ навѣсомъ, вело къ парадному ходу на возвышеніи. По бокамъ навѣса выглядывали металлическіе завитки, напоминавшіе всегда Кострицыну орнаменты итальянскихъ дворцовъ, которые онъ видалъ на фотографіяхъ.

„Флоренція! — все такъ же весело повторилъ онъ еще разъ про себя. — Палаццо Стрѳици! И тамъ патриціи вышли изъ суконщиковъ и золотыхъ дѣлъ мастеровъ, какъ Захарушкинъ дѣдъ — изъ подмосковныхъ горшечниковъ“.

Въ сѣни онъ вошелъ прямо, не звоня. Его встрѣтилъ швейцаръ.

VI.

Къ великолѣпію палатъ Захара Лукьяновича Кострицынъ достаточно приглядѣлся. Внутри домъ былъ отдѣланъ по-европейски, строго, безъ притязаній на русскій пошибъ.

Изъ обширныхъ сѣней съ лѣстницей во второй этажъ черезъ площадку Кострицынъ вошелъ въ кабинетъ хозяина.

На вопросъ швейцару:

— Захаръ Лукьяновичъ одинъ у себя?

Швейцаръ доложилъ:

— У нихъ Раиса Гордѣвна сидятъ.

Кострицынъ видѣлъ широкій одноконный фаязъ, когда подъѣзжалъ, но не узналъ экипажа Кумачевой-матери.

Она рѣдко бывала у сына, врядъ ли чаще, чѣмъ разъ въ два мѣсяца. Кажется, и невѣстка не чаще того навѣщала ее. Отношенія ихъ держались въ суховатомъ, приличномъ тонѣ, на „вы“. На званныхъ обѣдахъ и вечерахъ Раиса Гордѣвна почти никогда не показывалась въ домѣ своей невѣстки за послѣднія двѣ зимы.

Когда Кострицынъ вошелъ въ кабинетъ, онъ засталъ Кумачева стоящимъ у камина—спиной. Мать его сидѣла въ шляпкѣ и съ муфтой въ креслѣ около письменнаго стола.

Съ прошлаго лѣта Захаръ Лукьяновичъ началъ поднѣтъ, но не казался тохстымъ при его очень видномъ ростѣ и широкихъ плечахъ.

Онъ смотрѣлъ молодымъ бариномъ изъ отставныхъ военныхъ. Смуглое лицо съ крупнымъ носомъ, густые черные волосы, подстриженные безъ погони за модой, довольно длинные усы съ бритымъ подбородкомъ давали ему представительный и бравый видъ. Глаза, длинные, темнокаріе, онъ имѣлъ привычку прищуривать, но рѣше не носилъ. Синюю, плотно застегнутую визитку съ отложнымъ галстукомъ серьезнаго рисунка и широкія панталоны англійскаго покроя носилъ онъ свободно и тоже какъ бы по-военному.

Раиса Гордѣевна передала сыну цвѣтъ своихъ глазъ и волосъ, уже начинавшихъ сѣдѣть, и большой ростъ. Она была худа, блѣдна, съ очень чистымъ оваломъ лица. Приподнятые углы тонкихъ бровей дѣлали выраженіе постоянно грустнымъ, несмотря на сохранившійся блескъ темнокаріихъ глазъ. Ей шелъ пятидесятый годъ, но она смотрѣла моложе и одѣвалась богато, въ темные цвѣта.

Сыну было уже подъ тридцать, но и ему никто бы не далъ его лѣтъ.

— А! Иванъ Кузьмичъ! Я васъ въ амбарѣ поджидалъ...

Кумачевъ руки ему не протянулъ, но кивнулъ головой по-пріятельски.

Раиса Гордѣевна вскинула на Кострицына своими длинными рѣсницами, и ея крупный ротъ раскрылся въ добрую и степенную усмѣшку.

Послѣ рукопожатія, она сказала Кострицыну своимъ тихимъ, нутрянымъ и низкимъ голосомъ:

— Меня совсѣмъ забываете, старуху.

— Виноватъ, Раиса Гордѣевна! Вотъ такъ по Москвѣ чертъшь-чертъшь...

Она продолжала къ нему благоволить и послѣ того, какъ онъ ходилъ репетиторомъ къ ея Захарушкѣ. Въ послѣдніе годы, съ женитьбы Захара Лукьяновича, она уже не говорила съ нимъ о сынѣ такъ откровенно, какъ прежде.

По возбужденности лица Кумачева онъ догадывался, что попадаетъ на какое-то объясненіе между сыномъ и матерью. На лицѣ Раисы Гордѣевны трудно было что-нибудь замѣтить: она привыкла владѣть собою удивительно.



— Очень рада, Иванъ Кузьмичъ,—заговорила она нѣсколько оживленнѣе,—что вы пожаловали... Вы могли бы меня поддержать.

Она повела своими тонкими губами, еще не поблеклыми, и высвободила одну руку изъ муфты.

Сынъ ея сдѣлалъ быстрый жестъ плечами, не ускользнувшій отъ Кострицына.

„Принципалу не очень пріятно будетъ мое участіе въ разговорѣ“, — подумалъ онъ, но не съѣжился. Своихъ мыслей и вкусовъ онъ не привыкъ подгонять къ хозяйскому аршину.

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ онъ тономъ равнаго.

— Вы вѣдь видали у меня Суревичъ, Ольгу Степановну?

— Учительницу городской школы?

— Именно.

— Какъ же, какъ же! Хорошо помню ее.

— Вотъ изъ-за нея мы и воюемъ теперь съ Захаромъ Лукьяновичемъ,—сказала Раиса Гордѣевна съ двойственной и грустной усмѣшкой. — Онъ вѣдь попечитель этой школы, и ни больше, ни меньше, какъ выдаетъ ее тѣмъ, кому она не понравилась. Ее гонять!

Кострицынъ взглянулъ въ сторону Кумачева.

Захаръ Лукьяновичъ уже яснѣе пожалъ плечами и еще шире разставилъ ноги, грѣя спину замирающимъ огнемъ каминна.

Этимъ жестомъ онъ какъ бы хотѣлъ дать понять матери, что не совсѣмъ тактично — вводить въ ихъ объясненіе и дѣлать судьей его поступковъ все-таки же подчиненнаго ему человѣка.

Такъ понялъ Кострицынъ и согласился, про себя, что на мѣстѣ Кумачева и онъ бы не былъ очень доволенъ.

— Дѣвушка — удивительная! — заговорила опять Раиса Гордѣевна и значительнымъ жестомъ правой руки подчеркнула свой отзывъ. — Едва ли не самая достойная. Кончила на педагогическихъ курсахъ въ Петербургѣ. Въ какихъ-нибудь два учебныхъ года успѣла сдѣлать школу образцовой...

— Все это прекрасно, маменька, — перебилъ Кумачевъ и отошелъ отъ каминна. — Кромѣ формальной стороны ученія, есть еще соображенія нравственнаго свойства...

— Ужъ этого я тебѣ не позволю говорить! — остано-

вила его Раиса Гордѣвна и встала.—Дѣвушка рѣдкихъ правилъ.

— Можетъ-быть, — сдерживая себя, возразилъ Захаръ Лукьяновичъ, и тутъ только усмѣхнулся. — Можетъ-быть, маменька; но она... Такихъ радикаловъ намъ не нужно.

— Стало-быть, ты желаешь поддакивать тѣмъ, кто вездѣ видитъ только—какъ это нынче называется, Иванъ Кузьмичъ—нарушеніе основъ, что ли?

Кострицынъ повелъ только губами и ничего не отвѣтилъ.

— Маменька,—началь Кумачевъ въ нѣсколько другомъ тонѣ. — Позвольте мнѣ вамъ заявить, что ни къ чему и ни къ кому я не поддамливаюсь. Повѣрьте мнѣ, я самъ раздѣляю мнѣніе, что такіа педагогички, какъ госпожа Суревичъ, при всей ихъ учености и достоинствахъ, — вредны-сь.

— По нынѣшнему времени?—добавила Раиса Гордѣвна и сдѣлала шагъ къ двери.

— И по нынѣшнему, и по всякому времени. Дѣтей надо учить грамотѣ и закону Божію, а не дѣлать школу средствомъ Богъ знаетъ какой пропаганды.

— Никакой пропаганды нѣтъ! Это чистѣйшая ложь, и мнѣ обидно за тебя... Да и за себя, — прибавила потише Раиса Гордѣвна,—что я пріѣхала просить тебя. Что жъ! Мы не дадимъ такой достойной дѣвушкѣ, какъ Ольга Степановна, остаться безъ мѣста.

— Это наше дѣло, маменька!

— Иванъ Кузьмичъ! — окликнула Кострицына Раиса Гордѣвна опять своимъ плавнымъ, истовымъ голосомъ,—какъ вы разсудите? Вы—умница и всегда были человѣкъ независимый...

Кострицынъ, съ нѣсколько натянутой улыбкой, развелъ руками.

— Отъ роли судьи — избавьте, Раиса Гордѣвна... Вѣроятно, и вы, и Захаръ Лукьяновичъ — правы, каждый по-своему.

— Иванъ Кузьмичъ, — отозвался Кумачевъ, снова отошедшій къ камину, — васъ я достаточно знаю. Вы—первый—не охотникъ до всего этого полуподневольнаго на-правленства, какъ вы частенько выражаетесь. Довольно мы здѣсь терпѣли всѣ эту игру въ радикализмъ, въ умни-чанье всякихъ такихъ госпожъ. Надо и своимъ умомъ жить намъ, представителямъ интересовъ города, да и



простого народа, которому не нужно никакихъ лишнихъ рацей, сбивающихъ его съ толку.

Свою тираду Захаръ Лукьяновичъ признаешь, не поднимая голоса и не дѣлая лишнихъ жестовъ. Онъ такимъ точно сдержаннымъ тономъ привыкъ говорить и въ думѣ.

— И вы въ этихъ взглядахъ? — спросила Кострицына Раиса Гордѣевна.

— Иванъ Кузьмичъ — человѣкъ новый, какихъ намъ нужно вездѣ: и въ городскомъ хозяйствѣ, и въ университетѣ, и въ земствѣ, вездѣ, — стремительнѣе выговорилъ Кумачевъ.

Къ его смуглымъ щекамъ кровь немного прилила.

Кострицыну надо было отвѣтить что-нибудь менѣе уклончивое.

Эту солидную и благожелательную „почетную гражданку“ онъ уважалъ, но вовсе не преклонялся передъ ея „направленіемъ“. Раиса Гордѣевна въ его глазахъ — „выученица“ разныхъ интеллигентныхъ москвичей, которыхъ онъ считаетъ „зашибленными“ мундирнымъ либерализмомъ и гуманизмомъ. Ему не было прямого повода выкладывать передъ нею свои карты, и она не знала его коренныхъ воззрѣній. Они были болѣе извѣстны Захару Лукьяновичу, хотя далеко не вполне.

— Раиса Гордѣевна, — заговорилъ Кострицынъ съ игрою въ глазахъ, — я не могу быть судьей въ этомъ столкновѣніи взглядовъ и симпатій. Но, быть-можетъ, будь я знакомъ, какъ слѣдуетъ, съ особой, о которой идетъ рѣчь, и съ ея преподаваніемъ — я бы не сталъ ни на вашу сторону, ни на сторону Захара Лукьяновича.

— Ни въ тѣхъ, ни въ этихъ, значить? — спросила уже съ безразличной миной Раиса Гордѣевна.

— Во всякомъ случаѣ, — сказалъ немного задѣтый Кострицынъ, — если Захаръ Лукьяновичъ, какъ попечитель школы, считаетъ свое поведеніе честнымъ и послѣдовательнымъ, — онъ долженъ удалить госпожу Суревичъ.

— Будь по-сему! — вымолвила съ грустной ироніей Раиса Гордѣевна и, обернувъ голову къ сыну, прибавила: — Прощай... Мѣшать вамъ не стану... Извини, что обезпокоила... Антонина Борисовна дома?

— Дома, маменька.

— Пройду на минутку къ ней.

Кумачевъ почтительно поцѣловалъ руку матери, про-

водилъ ее до лѣстницы и вернулся въ кабинетъ, гдѣ его ждалъ Кострицынъ.

II.

По лѣстницѣ съ рѣзными дубовыми перилами, по вкусѣ итальянскаго „Возрожденія“, Раиса Гордѣевна поднималась къ невѣсткѣ. Свое художавое тѣло она носила легко и для себя незамѣтно, и держалась очень прямо, такъ что сзади, по ея талии, выступавшей изъ-подъ короткой плюшевой пелеринки, всякій бы принялъ ее за молодую женщину.

Въ первый разъ ее такъ сильно возмутилъ ея Захарушка. Многое она ему прощала и давно уже начала убѣждаться въ томъ, что шпильгагенскаго *Лео* изъ него не выйдетъ, что въ немъ — помимо ея воли и вліянія — засѣли другіе „фасоны“, выпесенные имъ отовсюду — изъ гимназій и университета, изъ книгъ и газетъ — въ особенности изъ нѣкоторыхъ газетъ; заглавіе ихъ Раиса Гордѣевна не произносила никогда иначе, какъ съ грустно-презрительной усмѣшкой; изъ воздуха, наконецъ, изъ теперешняго воздуха — повальнаго служенія одному своему „я“, подъ прикрытіемъ какихъ-то новыхъ взглядовъ, яко бы болѣе здоровыхъ и полезныхъ идей.

Но она была упорна, не менѣе, чѣмъ ея первенецъ и единственный сынъ. Прикрикнуть на него она могла, но знала, что это уже бесполезно. Его не такъ воспитывали. Всегда она уважала его личность, даже держа его въ дѣтствѣ „на англицкій ладъ“, какъ говаривалъ ея мужъ, Лукьянъ Сидоровичъ: онъ самъ жила въ дѣламъ въ Англии и присматривался къ тамошнимъ порядкамъ, хотя и не умѣлъ говорить по-английски. И власти, въ видѣ угрозы и принужденія, у нея также нѣтъ надъ сыномъ. Въ купеческомъ бытѣ, да и во всякомъ другомъ, деньги, хозяйская воля — все. Захарушка остался наслѣдникомъ двухъ огромныхъ мануфактуръ. Ей выдѣлили ея часть по завѣщанію, въ видѣ денежнаго капитала. Она и живетъ на проценты въ своемъ домѣ, небольшомъ особнякѣ на Зубовскомъ бульварѣ... Только что Захарушкѣ исполнился двадцать одинъ годъ, она подала ему счеты, какъ попечительница; сберегла ему за лѣта его несовершеннолѣтія нѣсколько милліоновъ, удвоила его состояніе.

Во всемъ этомъ она поступала по тѣмъ правиламъ,



по которым Захаръ Лукьяновичъ насмѣшливо выражается, иногда и при ней самой: „Это маменька изъ своихъ либеральныхъ книжекъ вычитала“.

И сегодня она сильнѣе, чѣмъ когда-либо, пожалѣла, что не согласилась на то, что ей, передъ смертью, предлагалъ мужъ. Онъ хотѣлъ оставить ей въ пожизненное владѣніе обѣ мануфактуры. Тогда сынокъ поневолѣ прыгалъ бы по ея дудкѣ.

А тутъ еще эта невѣстка. Не соглашаться на бракъ не было никакого повода. Онъ влюбился въ породу, въ красоту, въ умъ, въ образованность, въ таланты. Княжна Керемьева-Зарайская жила своимъ трудомъ, оставшись безъ всякихъ средствъ по смерти родителей, давала уроки пѣнія, рисовала на продажу по фарфору и атласу; одно время должна была, послѣ болѣзни, ѣхать за границу, въ родѣ какъ компаньонка. Все это подкупало Раису Гордѣевну. Не очень смущалась она и тѣмъ, что Захарушка былъ ровесникъ своей невѣстѣ. Ей и тогда шелъ уже двадцать пятый годъ, какъ и ему.

Они—пара, во всемъ—пара. Между ними всегда тайный уговоръ, потому что оба живутъ только въ себя, въ ненасытное тщеславіе, прикрытое личиной. Она тянетъ его все выше и выше, чтобы камеръ-юнкерство ему дали, чтобы выбрали въ „лорды-мэры“, чтобы оттуда, пожалуй, въ губернаторы пробраться, когда ей на конвертахъ будутъ уже писать: „Ея превосходительству“... Начальникъ губерніи—Захаръ Лукьяновичъ Кумачевъ... „И будетъ!“—думала она.

И все-таки Раиса Гордѣевна дѣлала послѣднюю попытку въ своемъ ходатайствѣ за учительницу Суревичъ—повліять на сына черезъ его жену. Невѣстка ея довольно вообще бездушна и въ разговорахъ злоязычна, часто безъ всякой надобности; но у нея есть манера показывать, что дѣла ея мужа—не то что хозяйскія, но и общественныя—до нея не касаются. Она держится пока въ сторонѣ и отъ барскихъ благотворительныхъ затѣй—до поры, до времени, когда состарится и будетъ дама съ высокимъ положеніемъ. Теперь она вся въ любованіи своей красотой и работаетъ надъ превращеніемъ своего муженька въ джентльмена, котораго вездѣ принимали бы не какъ выскочку изъ „купишекъ“, а какъ человѣка, равнаго кому угодно. Она только тайно направляетъ его ходами и чуть что—сейчасъ же скажетъ: „Я ни во что такое не вмѣши-“

ваюсь. Это дѣло *Закки*—такъ она передѣлала имя Захаръ, на англійскій манеръ.

То же можетъ она сказать и сегодня.

Щемило Раису Гордѣвну и то, что невѣстка цѣлый мѣсяцъ къ ней „не жаловала“ и ни разу не попросила запросто обѣдать, съ самой осеи, съ ихъ возвращенія изъ Крыма. А будь Антонина Борисовна немного менѣе суха съ нею, она способна бы привязаться къ ней, какъ къ родной дочери. Она и дѣлала попытки, цѣлый годъ дѣлала—и ничего изъ этого не вышло...

Вдоль амфилады парадныхъ комнатъ, соединенныхъ между собою большими пролетами, Раиса Гордѣвна замедлила шагъ. Лакея въ темно-коричневомъ ливрейномъ фракѣ съ штиблетами она спросила, гдѣ въ эту минуту Антонина Борисовна, и онъ ей доложилъ, что барыня „одѣвались“, а теперь „должны быть“ въ своемъ кабинетѣ.

Отдѣлывали домъ сынъ съ невѣсткой по-своему, положили на него около милліона; но Раиса Гордѣвна не желала заглядывать имъ въ карманъ. Всѣ комнаты — и внизу, на его половинѣ, и наверху—полны дорогихъ вещей, хорошихъ, выбранныхъ съ умѣньемъ картинъ, гобеленовъ, вазъ, бронзы. Что твой музей! Антонина Борисовна сама художница, и Захаръ Лукьяновичъ смыслить въ искусствѣ, холостымъ ѣздилъ даже въ Аѳины и на пергамскія раскопки, толкуетъ увѣренно о всякихъ „антикахъ“ и „школахъ“. Пускай ихъ! Отчего и не тратить—только бы подъ всѣмъ этимъ „европействомъ“ хотя капельку души и нелицемѣрной мысли о тѣхъ, кому не то что тысячныхъ гобеленовъ, а хлѣба ржаного фунтъ—и то не на что купить.

Въ крайней комнатѣ—кабинетѣ—Раиса Гордѣвна остановилась и увидала въ отворенную настежь дверь невѣстку, передъ трюмъ, въ обширной уборной. Она уже кончила свой туалетъ и только охорашивалась, поправляя на головѣ перышко куафюры.

Кабинетъ служилъ и мастерской, и былъ отдѣланъ какъ „atelier à la Sarah Bernhardt“. Надъ восточнымъ диваномъ, съ подушками изъ индійскихъ матерій, двѣ палки поддерживали легкій навѣсъ. Тутъ висѣли: мумія, мечъ, громадное опахало, древнія майолики. Надъ балдахиномъ съ рѣзного карниза глядѣло японское чудище—все изъ чернаго лака съ матовой позолотой. Справа и слѣва кусты



живыхъ азалій выставляли свои цвѣтистыя шапки. На коврѣ, подъ диваномъ—шкура бѣлаго медвѣдя. Стѣны, драпированныя старыми парчевыми и шелковыми полотенцами, были покрыты картинами и скульптурными вещами. Нѣсколько поодаль, у одного изъ оконъ, стояли панно изъ атласа, зарисованнаго Антониной Борисовной присаами. Она иногда рисовала и дарила экраны своимъ знакомымъ.

Комната освѣщалась большимъ китайскимъ фонаремъ.

Раиса Гордѣевна остановилась посрединѣ комнаты и глядѣла въ дверь на невѣстку. Та не слыхала звука ея шаговъ по толстому коври и не могла видѣть, съ своего мѣста, ея отраженія въ зеркалѣ.

Антонина Борисовна ѣхала, вѣроятно, куда-нибудь на званый обѣдъ. Свѣтлое шелковое платье—тяжелое и очень богатое—съ кружевной складкой сзади, шедшей отъ глубокаго вырѣза спины, и съ широкими рукавами, схватывающими руку выше локтя, оставляя остальное обнаженнымъ, съ короткой таліей—дѣлало ея станъ еще стройнѣе и роскошнѣе. Руки были наливныя, и когда она подняла правую руку, чтобы поправить эгретку на головѣ, причесанной съ греческой пирамидой изъ ея золотистыхъ волосъ, цвѣта, средняго между темнорыжимъ и русымъ, Раиса Гордѣевна залюбовалась на нее.

Въ ухахъ блестяли кабошоны, на шеѣ ошейникъ изъ восьми нитокъ крупнѣйшаго жемчуга, и на груди, съ обѣихъ сторонъ вырѣзовъ лифа, по драгоценной броши съ изумрудами и темнымъ жемчугомъ. Она любила брильянты и цвѣтные камни, „какъ истая мучничица съ Устрѣтенки“, — говорила про себя Раиса Гордѣевна; но тутъ помогла нынѣшняя мода, позволяющая надѣвать на себя много драгоценностей.

Антонина Борисовна повернулась вбокъ и, освѣщенная двумя лампами, висѣвшими на той же стѣнѣ, гдѣ стояло и трюмо, и канделябромъ на туалетномъ столѣ, выдѣлилась точно фигура въ живописной картинѣ. Свекровь еще больше залюбовалась ею. Лебединая шея могучимъ стволomъ поддерживала ея молодую голову, съ красивымъ короткимъ носомъ, въ которомъ было что-то хищное, чудеснымъ цвѣтомъ кожи на щекахъ и красными, почти малиновыми губами немного утолщеннаго рта, полуоткрытаго, съ полосой крупныхъ зубовъ. Глаза, темно-сѣрые, кругловатыя, смотрѣли изъ впадинъ, скрашенные густыми

бровями, которыя шли не совсѣмъ правильной дугой. Вырѣзь платя, четверугольный и глубокой, выставлялъ высокую, волнистую грудь, уходившую въ отдѣлку изъ старинныхъ „венецейскихъ“ кружевъ.

Къ такой красотѣ и величавости и Раиса Гордѣвна была чувствительна. Она не могла оторвать взгляда отъ невѣстки и медлила окликнуть ее.

Та отошла отъ трюмъ, скрылась на нѣсколько секундъ въ глубину уборной и показалась въ дверяхъ, со щеточкой, которой отдѣлывала свои розовые, покрытые лакомъ, миндалевидные ногти.

— А!.. Раиса Гордѣвна!.. Какъ вы тихо... Здравствуйте! Голосъ задрожалъ низковатыми нотами.

Она подошла къ свекрови не спѣша, только передала изъ правой руки въ лѣвую свою щеточку и подала свободную руку Раисѣ Гордѣвнѣ, послѣ чего указала на одинъ изъ маленькихъ дивановъ.

— Какъ я рада... Вы видѣли Закки? Онъ готовъ?.. Мы ѣдемъ съ нимъ обѣдать къ Верховцевымъ. Моя пріятельница Напоп... празднуетъ нынче день рожденія своего каплушки-сына.

Они сѣли перемонно на диванчикъ. Раиса Гордѣвна осмотрѣла еще разъ туалетъ невѣстки и сказала, искренно улыбувшись:

— Сейчасъ любовалась вами... Моды, кажется, повернули къ старинѣ... Лифа-то какіе носить—какъ наши бабушки. Къ кому идетъ—красиво.

— Да... Будутъ носить еще выше... Совсѣмъ empire.

„Кажется, я подхождъ дѣлаю къ невѣстушкѣ?“ — подумала Раиса Гордѣвна, и ей стало немного конфузно.

Но говорить такъ, какъ бы она хотѣла, она не могла съ этой блистательной супругой Захара Лукьяновича, настоящей представительницей „конца вѣка“.

VIII.

— Такъ, значить, — спросила Раиса Гордѣвна невѣстку, приподнимаясь черезъ десять минутъ съ дивана, — на вашу поддержку, Антонина Борисовна, я не могу рассчитывать?

Та тоже поднялась и, сдѣлавъ плавный жестъ головой назадъ и вбокъ, выговорила:

— Извините меня, Раиса Гордѣвна, у Закки — свой умъ. Онъ всегда и во всемъ очень справедливъ.



„Подходъ“ свекрови не подѣйствовалъ.

Раиса Гордѣвна хотѣла ей дать понять, въ своемъ ходатайствѣ за учительницу, что такая повадка Захара Лукьяновича можетъ ему повредить. Всѣхъ не заставишь молчать. Но Антонина Борисовна осадилась ее довольно язвительной выходкой противъ „крикуновъ и либераловъ“, передъ которыми ея мужъ не хочетъ „прыгать“. Пускай его бранятъ тѣ, кто нынче „не у дѣла“. Въ такихъ людяхъ они съ мужемъ и не нуждаются.

Невѣстка сегодня выказала себя откровеннѣе, чѣмъ это было до сихъ поръ. Раиса Гордѣвна что-то не помнила, чтобы она этимъ увѣреннымъ и принижющимъ тономъ говорила о „крикунахъ“ и „либералахъ“. Съ такой подругой и руководительницей ея Захарушка далеко уйдетъ „по нынѣшнему времени“.

— Извините, голубчикъ мой, что обезпokoила васъ; вамъ, я вижу, пора, — сказала Раиса Гордѣвна тихимъ голосомъ, съ чуть замѣтной усмѣшкой въ грустныхъ глазахъ.

Она нарочно назвала невѣстку „голубчикъ мой“, чего обыкновенно не дѣлала. Этимъ она хотѣла дать ей почувствовать, что великолѣпная Антонина Борисовна — „по себѣ“ княжна Жеребьева-Зарайская — все-таки жена ея Захарушки, и, благодаря милліонамъ, которые мать ему удвоила, царствуетъ въ этихъ палатахъ и рядитъ себя, дерзко выставляя напоказъ брильянты и жемчуга.

Антонина Борисовна повела вбокъ ртомъ и переступила съ ноги на ногу — привычка, оставшаяся у нея съ дѣтства.

— Вы пройдете еще къ Зайки? — спросила она свекровь, точно отпуская ее съ аудіенціи.

— Нѣтъ... Зачѣмъ же? Вотъ дѣтокъ бы хотѣла видѣть.

— Они еще не вернулись съ прогулки.

— Не поздно ли въ такой часъ? Солнце сѣло, а нынче рѣзкая погода, — замѣтила кротко Раиса Гордѣвна.

— Какіе пустяки! Борю купаютъ каждый день въ холодной водѣ.

— На англійскій манеръ?

— Это — лучшая система.

Онѣ, безъ пожатія руки, простились на порогѣ гостиной.

Раиса Гордѣвна больше двухъ недѣль не видала своихъ впучать. Ихъ привозили къ ней очень рѣдко. Мальчика звали Борей, дѣвочку — Катей, или Китти, опять „на англійскій манеръ“.

Къ сыну она не заходила больше и въ сѣняхъ встрѣтилась съ Кострицынымъ. Швейцаръ подавалъ ему пальто.

— До свиданія, Иванъ Кузьмичъ, — сказала она ему съ тихой усмѣшкой. — Вы, я вижу, стали нынче большимъ дипломатомъ.

— Это почему, Раиса Гордѣевна? Извините, что мое мнѣніе не пришлось вамъ по вкусу, но обратитесь вы ко мнѣ съ-глазу-на-глазъ, а не при Захарѣ Лукьяновичѣ, и отвѣтилъ бы то же самое.

— На здоровье!

Кострицынъ вышелъ съ ней вмѣстѣ и посадилъ ее, вмѣстѣ съ швейцаромъ, въ ея степенный купеческій фая-тонъ.

Наверху, Антонина Борисовна выбрала въ уборной перчатки и платокъ и послала сказать Захару Лукьяновичу, что она готова. Она никогда не заставляла дожидаться себя и сама не торопила мужа. Захаръ Лукьяновичъ и до женитьбы былъ безупреченъ въ соблюденіи всякихъ приличій и приемовъ общежитія, а съ женитьбы сталъ еще болѣе „good style“ — какъ его жена любила выражаться.

Его тактомъ, умѣньемъ одѣваться, манерами, разговоромъ Антонина Борисовна была довольна и признавала даже, что у него бываетъ часто больше выдержки и самообладанія, чѣмъ у нея. Своимъ богатствомъ онъ пользовался просто и серьезно и боялся постоянно того, чтобы кому-нибудь не показаться купцомъ, желающимъ ѣхать „одному въ трехъ каретахъ“. По натурѣ онъ былъ скорѣе прижимистъ, чѣмъ расточителенъ. Домъ у нихъ полонъ цѣнныхъ вещей и солидной роскоши; у нихъ бываютъ обѣды и приемы, но тратить они совсѣмъ немного, и это ей самой пріятно. Она тоже скупенька — на все, что не ея туалетъ и брильянты.

Одно иногда, нѣтъ-нѣтъ, да и кольнетъ Антонину Борисовну. Въ разговорѣ, когда онъ бываетъ въ дворянскомъ обществѣ, Захаръ Лукьяновичъ держитъ себя съ достоинствомъ, даже съ апломбомъ, всегда умно и бойко. И французское произношеніе у него прекрасное, и обо всемъ онъ можетъ, на трехъ языкахъ, выражаться литературно. Но по-русски, нѣтъ-нѣтъ, да и выскочитъ какое-нибудь чисто московское словечко. До сихъ поръ она не можетъ мириться съ такими выраженіями, какъ: „посейчасъ“, или: „страшное дѣло“, или: „одна слеза“, или: „эта пьеса



себя не оправдала“, и нѣсколько другихъ въ такомъ же родѣ.

За собой она многого не замѣчаетъ. Ея тонъ дѣлается все злѣе и безцеремоннѣе, когда она паритъ у себя, въ своей гостиной, или въ кабинетѣ-мастерской, подѣ балдахинѣ. Слова, проскользающія у нея въ русскомъ разговорѣ, часто отзываютъ помѣщичьимъ жаргономъ „демансиаціи“. Ей случается теперь говорить: „горничная дѣвка“ и даже просто „дѣвка“, чего она навѣрно бы не сказала, если бы оставалась, какъ пять лѣтъ назадъ, безприданницей, захудалой княжной, дававшей уроки живописи по фарфору.

Въ половинѣ шестого Захаръ Лукьяновичъ прислалъ сказать снизу, что и онъ готовъ и ждетъ Антонину Борисовну. Горничная поддерживала ея трѣнь по ступенямъ парадной лѣстницы. Выѣздною уже держалъ ея парижскую шубу изъ свѣтлаго сукна, съ оторочкой изъ соболя и съ живописнымъ высокимъ воротникомъ. На голову она накинула легкій платокъ изъ волнистой восточной ткани. Такого „confection“, какъ ея шуба, не было во всей Москвѣ по цѣнѣ и изяществу.

Лакей носилъ ливрею съ капюшономъ, обшитымъ широкимъ басономъ и мѣхомъ, какъ въ самыхъ строгихъ титулованныхъ домахъ.

Другой, официантъ въ ливрейномъ фракѣ, держалъ наготовѣ шинель Захара Лукьяновича, который какъ разъ въ эту минуту показался изъ своей половины.

Взглядъ, брошенный женой на мужа, доложилъ ей, что Захаръ Лукьяновичъ, какъ всегда, безукоризненъ въ туалетѣ. На немъ солидно и красиво сидѣлъ не очень короткій англійской работы „смокингъ“, съ атласными лацканами, при бѣломъ галстукѣ. Это была его обѣденная форма. Иногда онъ прицѣплялъ и цвѣтокъ. Представительность его до сихъ поръ удивляла Антонину Борисовну. Если бы не фамилія „Кумачевъ“—невозможно было бы предположить, что онъ внукъ „горшечника“ — Сидора Емельянова Кумачева.

Наружная дверь сѣней отворилась въ ту минуту, когда имъ подали верхнее платье. Вошла бонна, плотная англичанка, въ кофточкѣ и низкой шляпкѣ, ведя двоихъ дѣтей.

— Почему такъ поздно? — спросила Антонина Борисовна по-англійски.

— Мы прошли далеко, всё бульвары, — отвѣтила та спокойно.

Дѣти—красивыя и пышныя въ своихъ зимнихъ пальто—бросились цѣловать мать и отца, но безъ всякаго шума. Ихъ держали строго и при постороннихъ они никогда не обѣдали. Захаръ Лукьяновичъ поднялъ дочь за плечи и чмокнулъ въ ея полныя и румяныя щеки. То же проделалъ онъ и съ сыномъ, бывшимъ на годъ старше сестры.

Карета подкатила къ подъѣзду беззвучно, на резинахъ, высокая, на восьми рессорахъ, выписанная отъ Биндера, изъ Парижа. Они ѣздили въ шорахъ. Кучеръ былъ изъ финляндцевъ, съ рыжими узкими бакенбардами. Пара свѣтло-гнѣдыхъ, англійскихъ „кровей“, образцово выѣзженная, особенно шла, по своей масти, къ заграничной упряжи.

— Ты покончилъ съ этимъ Лыжинымъ? — спросила Антонина Борисовна, ласково взглянувъ на мужа, когда карета выѣхала изъ-подъ сводчатаго подъѣзда.

— Завтра покончу.

— Онъ будетъ къ обѣду?

— Будетъ.

— Мнѣ о немъ писала Елена Акридина. Она другъ Иды Радиной и погостить у ней передъ прїѣздомъ сюда. Кажется, у Иды былъ съ нимъ романъ... Впрочемъ, не знаю. Онъ вѣдь изъ красныхъ? Былъ замѣшанъ?..

— Не знаю, что-то не слыхалъ... Изъ кающихся, должно-быть, какихъ теперь столько развелось.

Захаръ Лукьяновичъ разсмѣялся.

И она вторила этому смѣху.

— Ранса Гордѣвна, — сказала она, минутъ пять спустя, — очень обижена за ту... учительницу... Какъ ея фамилія?

— Суревичъ. Знаю.

— Прежде она меня не вмѣшивала въ твои дѣла и распоряженія. Съ какой же стати компрометировать себя, какъ попечителя, изъ-за какой-то стриженной?.. Но Ранса Гордѣвна вѣрна себѣ.

— То-есть, „хорошимъ“ книжкамъ, — подтвердилъ Захаръ Лукьяновичъ.

Онъ оглядѣлъ вбокъ всю эффектную фигуру жены, ея голову, задрапированную бѣлой тканью въ рамкѣ соболѣй опушки — и у него радостно ёкнуло на сердцѣ. Его потянуло поцѣловать ея въ щеку.



— Позволяете?—протянул онъ губы.

— Позволяю, — отвѣтила Антонина Борисовна, не поворачивая головы.

Губы его звучно приложились къ твердой щекѣ, отъ которой шелъ блескъ.

„Есть же на свѣтѣ такія роскошныя созданія, какъ жена моя!“—говорилъ его взглядъ.

IX.

Въ комнатахъ Лыжина уже смеркалось.

Онъ, не спѣша, одѣвался въ спальнѣ и, стоя передъ зеркаломъ, поправлялъ галстукъ. Новый скюртукъ, вычищенный и аккуратно сложенный, лежалъ на стулѣ, около постели.

Съ утра онъ чувствовалъ опять тревогу и душевное недомоганіе. Рано принесли заказное письмо — изъ того уѣзда, гдѣ его имѣніе.

Письмо было отъ его сосѣдки и „товарица“, какъ онъ давно зоветъ ее, отъ Иды Радиной, отъ милой, печальной Иды, такого же „обломка“ семидесятихъ годовъ, какъ и онъ, только „по другой части“.

Ида не видалась съ нимъ по его возвращеніи изъ послѣдней поѣздки за границу и, кажется, еще ничего не знаетъ про то, что онъ хочетъ, какъ можно скорѣе, раздѣлаться съ имѣніемъ.

Она разспрашивала его о немъ самомъ, своимъ искреннимъ тономъ, съ чуть замѣтнымъ налетомъ своеобразнаго юмора. По-русски она не научилась еще писать интимныя письма. Но въ ея французскомъ языкѣ заграничной русской, съ его модными словами и условнымъ реализмомъ, была все-таки славянская прелесть, трепетала ея усталая и извѣрившаяся душа.

Черезъ недѣлю открывалась школа, которую Ида выстроила на свои средства, въ верстѣ отъ усадьбы. Она приглашала его на открытіе и погостить къ себѣ, хоть на нѣсколько дней. Поджидала она и пріѣзда своей пріятельницы — Акридиной, съ которой Лыжинъ видѣлся не разъ, и въ Россіи, и за границей.

„Если вы пріѣдете и раньше Лены,—пишетъ ему Ида,—и мы будемъ „подъ одной кровлей“ — это насъ не скомпрометируетъ. Гораздо опаснѣе будетъ, если вы найдете кровь у моей арендаторши. Ея дочь какъ-то особенно поводитъ глазами, когда при ней говорить о васъ. Если бъ

у васъ былъ здѣсь домъ, вы бы, пожалуй, копчили тѣмъ, что женились на этой вдовѣ, которая для васъ—„un narodnik“—должна представлять особое символическое значеніе“.

„Un narodnik!“

Такимъ еще считаетъ его Ида. Полгода и больше тому назадъ, когда они видѣлись, — онъ еще носилъ на себѣ мундиръ полу-толстовца, полу-народника, но уже съ червякомъ недовольства и разброда, который точилъ его. Говорить съ ней тогда объ этомъ разбродѣ онъ не хотѣлъ, и въ письмахъ, какія изрѣдка писалъ ей, не изливался.

Можетъ-быть, и лучше было бы, если бы онъ на самомъ дѣлѣ, годомъ раньше, сошелся съ той вдовой, насчетъ которой Ида шутить въ своемъ письмѣ,—дочерью арендаторши, крестьянскаго рода, здоровой, работающей, веселой; построилъ бы хуторъ и сталъ бы хозяйничать съ поддержкой тещи — умнѣйшей старухи, умѣющей молотить рожь на обухѣ.

Теперь это уже позади. Онъ боится не того, что останется безъ кола, безъ двора, а того, какъ бы его не потянуло опять къ землѣ и народу, разъ онъ попадетъ на это открытіе школы. Отказываться не хорошо, да и это совпадаетъ какъ разъ съ его поѣздкой туда, на осмотръ имѣнія, въ сопровожденіи довѣреннаго лица коммерсанта Кумачева.

И въ томъ же письмѣ Иды онъ совершенно неожиданно нашелъ одну подробность, связанную какъ разъ съ личностью этого Кумачева, женатаго на княжнѣ Жеребевой-Зарайской. Ида ее знаетъ; она приходится не-родной племянницею ея подругѣ Акридиной. Въ учительницы своей школы ей рекомендуютъ изъ Москвы какую-то Суревичъ, которую теперь попечитель городского училища, гдѣ она служитъ, притѣсняетъ и гонитъ, а онъ есть не кто иной, какъ мужъ княжны Жеребевой — „un représentant de la ploutocratie moscovite“—опредѣляетъ его Ида.

И вотъ онъ цѣлый день не можетъ высвободиться изъ-подъ наплыва чувствъ и мыслей, вызванныхъ письмомъ его пріятельницы. Имѣніе онъ хочетъ продать; но ему, чѣмъ ближе подходило время къ четыремъ, тѣмъ не-пріятнѣе становилось отправляться на обѣдъ къ этому Кумачеву.

Въ глубинѣ его „я“, которое, казалось ему, стряхнуло



съ себя всякіе сословные инстинкты и задержки, зашевелился человекъ хорошаго рода, Лыжинъ, сынъ заслуженнаго генерала. А тутъ какой-то купчишка, у котораго столько-то тысячъ веретенъ и сотъ станковъ на двухъ мануфактурахъ, играетъ роль „особы“, живетъ въ чертогахъ, хочетъ, чтобы онъ къ нему пожаловалъ „откушать“, вѣроятно за тѣмъ, чтобы добиться уступки, положить его „объегорить“.

Даже это неизящное слово „объегорить“ пришло Лыжину, когда онъ, стоя передъ зеркаломъ, надѣвалъ галстукъ. Раздраженіе его росло и усиливалось еще болѣе отъ того, что коммерсантъ Кумачевъ—мужъ княжны Жеребьевой-Зарайской, племянницы того князя Иларіона, котораго онъ когда-то ставилъ такъ высоко, а потомъ заподозрилъ его въ чужацествѣ и юродствѣ.

Теперь онъ что-то припоминалъ изъ разговоровъ съ Идой Радиной объ этой княжнѣ. Кажется, она красива и съ талантами, осталась совсѣмъ безъ средствъ, чуть ли не давала уроки. Въ другое время—и не будь онъ приглашенъ обѣдать, какъ продавецъ имѣнія—это бы его заинтересовало, онъ сталъ бы присматриваться къ такой четѣ. Но прежде онъ былъ обличитель, „принципиистъ“, скорбѣлъ о меньшей братіи, презиралъ всякій видъ эксплуатаціи, ненавидѣлъ *буржуа* не меньше, чѣмъ, напримѣръ, какой-нибудь Воденягинъ, явившійся къ нему вчера.

Все это *было*. Такого строя души въ немъ уже нѣтъ, и онъ наканунѣ того, чтобы совсѣмъ покончить со всѣми этими ненужными замашками. Онъ хочетъ доживать въ полной свободѣ отъ всякой прописи, отъ всего, что онъ навязывалъ себѣ поочередно, ища правды и свѣта, въ сущности дѣлаясь кабальнымъ должникомъ выдуманнаго заимодавца—народа, человечества, идеи, общаго дѣла!..

Туалетъ былъ конченъ. Въ двубортномъ сюртукѣ, застегнутый и старательно причесанный, Лыжинъ, съ подстриженной покороче бородой, перешелъ въ кабинетъ, чтобы вынуть изъ ящика письменнаго стола тѣ бумаги, какія ему нужно было захватить съ собою.

Письменный столъ, ящикъ, бумаги тотчасъ же вызвали передъ нимъ фигуру Кострицына, его приказчиье лицо, искристые глазки, его тонъ и языкъ, латинскія изреченія, что-то особенное въ его отношеніи къ своему „припицалу“.

Такихъ Лыжинъ еще не встрѣчалъ. Не могъ же онъ

ему все „нахвастать“ про себя, про два университетских курса, которые прошелъ, про то, что готовится, не спѣша, къ приобрѣтенію высшей ученой степени. Въ немъ онъ почуялъ челоѡѡка другой полосы русской интеллигенціи— и образованнѣе себя, смѣлѣе. Этотъ дерзаетъ *по-своему* относиться къ тому, что теперь дѣлается въ обществѣ, въ народѣ, наверху и внизу.

Сразу онъ ему не очень понравился, въ особенности его короткій приказчиій смѣшокъ, часто заканчивающій его отвѣты и замѣчанія.

Вѣдь съ *такими* русскими людьми, если они только не рисуются, ему и слѣдовало бы водиться *именно теперь*.

Положивъ въ глубокой боковой карманъ бумаги, Лыжинъ продолжалъ думать о личности Кострицына и сталъ спокойнѣе. Его уже не теребило брезгливо-щепетильное чувство неохоты отправляться на обѣдъ. Онъ даже пристыдилъ себя.

Какое ему, наконецъ, дѣло до того, что этотъ Кумачевъ—„дворянящійся купчина“? Развѣ онъ самъ не желаетъ теперь, продавъ землю, устроиться въ Москвѣ? Съ какой же стати фыркать, попрежнему, на всѣхъ, кто не его толка, коли къ такому толку онъ принадлежать уже не можетъ?..

Это значило бы уходить отъ жизни, отъ факта, отъ закона развитія обществъ. Положимъ, онъ не писатель, не романистъ, не социологъ, даже не газетный отмѣтчикъ, а просто образованный баринъ не у дѣлъ, двадцать лѣтъ производившій надъ собою благородные эксперименты.

„Образованный?“—Врядъ ли. Такой Кострицынъ знаетъ, конечно, во сто разъ больше его вещей положительныхъ, знаетъ древніе языки, читалъ, навѣрно, въ подлинникѣ Спинозу и Платона, Эсхила и Светонія, а онъ не можетъ; тотъ сдѣлаетъ сейчасъ какое угодно вычисленіе, а онъ забылъ и тройное правило, да и какъ бывшій студентъ-юристъ не переведетъ тѣхъ пандектовъ, которые двадцать лѣтъ назадъ заучивалъ наизусть.

Окажется, что и „дворянящійся купчина“ Кумачевъ знаетъ больше его.

И ему вдругъ захотѣлось вспомнить то изреченіе, которое хозяинъ философа-шатуна приказалъ вырѣзать на своей печати.

— *Ибо... кажется, ибо?* — мысленно спросилъ себя Лы-

жизнь; а дальше и не могъ возстановить текстъ и сознался, что и смыслъ его онъ отчетливо не схватилъ; помнилъ только еще одно слово „donec“, навѣянное ему изъ римскаго права.

— *Donec probetur!* — выговорилъ онъ громко, и ему стало веселѣе.

Онъ бодро и скоро надѣлъ свой ергакъ и ровно въ четыре часа вышелъ въ коридоръ.

Х.

Пять часовъ уже пробило. Въ кабинетѣ Захара Лукьяновича дѣловой разговоръ отъ разныхъ фактическихъ подробностей — планъ имѣнія Лыжина былъ разложенъ на особенномъ столѣ — переходилъ къ установленію цѣны.

Кострицынъ, сидя въ сторонѣ на диванѣ, только присутствовалъ, но не вмѣшивался въ разговоръ. Всего разъ или два онъ подсказывалъ вопросы своему принципалу. Кумачевъ, въ смокингѣ, но при черномъ галстукѣ — такъ какъ онъ звалъ мужчинъ въ скюртакахъ — откинулся на спинку своего рѣзного стула передъ письменнымъ столомъ и курилъ сигару. Лыжинъ, по-сю сторону стола, въ низкомъ мягкомъ креслѣ, тоже курилъ и у него начинался легкій мигрень; къ нимъ онъ былъ склоненъ.

Кабинетъ Кумачева, высокій и обширный, освѣщенный въ это время двумя лампами — одной на столѣ, другой въ углу, на модномъ штативѣ, — съ его книжнымъ шкапомъ, картинами и темной, артистической бронзой отъ *Барбедьенъ*, изъ Парижа, со всей своей солидной европейской роскошью, немного раздражалъ его, такъ же какъ и струи дыма дорогой сигары, допозавишія до его ноздрей.

Кумачевъ въ дѣловомъ разговорѣ велъ себя солидно и мягко, въ барскомъ тонѣ; но его глаза, нѣтъ-нѣтъ, и усмѣхнутся, и въ ихъ жидкомъ блескѣ мелькнетъ „купецкое“ себѣ на умѣ, инстинктивное желаніе показать, что „мы-де хоть и живемъ какъ настоящіе бары, а на мякинѣ насъ не проведешь, и цѣну мы дадимъ въ обрѣзъ“.

Покупщикъ зналъ, что крайности у Лыжина не было продавать имѣніе: оно не заложено, и онъ можетъ лѣтъ продавать на срубъ. Но это требуетъ споровки и умѣнья; надо жить на мѣстѣ и пользоваться минутой, когда дрова поднимаются въ цѣбѣ. Главное, нуженъ призоръ: въ лѣсной дачѣ и теперь водятся пороюки, какъ о томъ докла-

дываль приказчикъ, котораго Кумачевъ уже посылать туда. Лыжинъ — тяготится имѣніемъ и хочетъ его продать цѣликомъ. Въ уѣздѣ, да и повсюду въ губерніи, продажныхъ имѣній, заложенныхъ въ банкахъ за неплатежъ процентовъ, десятки. Лучшаго покупателя ему не найти.

Все это въ разговорѣ чувствовалъ и Лыжинъ—въ короткихъ фразахъ Кумачева, произносимыхъ имъ какъ бы въ сторону, для Кострицына.

— Захаръ Лукьяновичъ,—сказалъ тотъ, вставая съ дивана,—и васъ оставлю теперь вдвоемъ. Пойду сообщить Антонинѣ Борисовнѣ, что къ шести ваша конференція будетъ кончена?

— Разумѣется!—подтвердилъ Кумачевъ и кивнулъ головой.

Лыжинъ былъ доволенъ тѣмъ, что Кострицынъ оставилъ его вдвоемъ съ Кумачевымъ. Торговаться при немъ ему стало бы неловко, а торговаться неизбежно... Между ними уже состоялся такой уговоръ, что рѣшительная цѣна будетъ окончательно установлена сегодня, съ тѣмъ условіемъ, если лѣсъ окажется, при вторичномъ осмотрѣ его, въ такомъ положеніи, какое опредѣляетъ самъ владѣлецъ.

Поглядывая на Кострицына, до его ухода, Лыжинъ минутами плохо вѣрилъ, что это—одно и то же лицо: контористъ купца-милліонщика и „шатунъ-философъ“, желающій играть роль Сократа древнихъ Аѳинъ. Онъ ему былъ все-таки ближе, чѣмъ этотъ милліонщикъ. Ему разъ пришла даже мысль,—въ самомъ разгарѣ дѣлового разговора,—не надѣваетъ ли на себя этотъ Иванъ Кузьмичъ личины? Врядъ ли онъ довольствуется тѣмъ, что шатается по Москвѣ и вступаетъ, то здѣсь, то тамъ, въ *прю*! Можетъ-быть, это какой-нибудь членъ тайнаго общества, которому поручено обрабатывать купца-милліонера, съ цѣлью служенія „дѣлу“?

Почему же онъ сейчасъ узналъ Воденягина? Кто ихъ вѣдаетъ!.. Быть-можетъ, они служатъ одному дѣлу и только для постороннихъ не знаютъ другъ друга.

Кострицынъ, уходя изъ кабинета, сдѣлалъ легкій поклонъ Лыжину и безшумно отворилъ дверь.

Антонина Борисовна уже съ четверть часа какъ приготовилась къ приему гостей и сидѣла у себя въ кабинетѣ,

освѣщенномъ, кромѣ китайскаго фонаря, еще двумя лампами съ четырехугольными кружевными абажурами.

Когда Кострицынъ подходилъ къ портьеру, она обсуждала, кого съ кѣмъ посадить за обѣдомъ. Изъ дамъ она ждала одну свою подругу—Напон Верховцеву, по-русски: Анну Алексѣевну, безъ мужа — мужъ уѣхалъ на охоту. Мужчинъ будетъ званныхъ, не считая Ивана Кузьмича, своего человѣка,—Лыжинъ, одинъ дѣтскій писатель—онъ ухаживалъ за ней, когда она была дѣвушкой,—ихъ консультантъ, профессоръ Шахматовъ, крупный чиновникъ изъ Петербурга и еще одинъ изъ „habitués“ ея гостиной и столовой, очень хорошей фамиліи, въ родствѣ со всѣми. Злые языки называютъ его „pique-assiettes“, но онъ всегда даетъ прекрасный тонъ общему разговору.

Кажется, ни одного купца! Даже не будетъ дяди Захара Лукьяновича, брата Раисы Гордѣевны, котораго она выносила гораздо больше, потому что онъ тономъ и видомъ похожъ на стараго барина, очень воспитанъ и живетъ часто за границей.

Нѣтъ! Одинъ купецъ все-таки будетъ—вспомнила она. Но этотъ ужъ настоящій парижанинъ и лицомъ очень смахиваетъ на принца Донъ-Карлоса. Онъ спустилъ миллионное состояніе на рулетку и женщинъ, и теперь ему его братъ выдаетъ пенсію по тысячѣ рублей въ мѣсяцъ. Вѣдныя! Онъ считаетъ себя — и совершенно законно — нищимъ.

— А! Иванъ Кузьмичъ! — встрѣтила она Кострицына возгласомъ, гдѣ было что-то безцеремонное, что его тайно задѣвало.

Онъ поклонился ей по-своему — короткимъ наклономъ головы, какъ кланяется народъ, и, подойдя ближе, протянулъ руку.

Ея рука была занята. Она опять полировала ногти и протянула ему свою руку не снѣпша, когда отложила щеточку на столикъ.

Она была въ бархатномъ, пыльнаго цвѣта, лифѣ съ короткими буффами и съ голыми руками, какъ и вчера. Этотъ модный покрой припелся ей особенно по вкусу, и Кострицынъ замѣчалъ, что она имъ злоупотребляетъ. И камней на ней было достаточно. На шеѣ—неизмѣнный жемчужный ошейникъ.

Антонина Борисовна считала Кострицына прежде всего полезнымъ дѣлу своего Закки; но она жалѣла, что у него

такая гостинодворская наружность. И тономъ его она не всегда довольна. Онъ былъ вѣжливъ и держался осторожно, не позволяя себѣ фамиллярности ни съ мужемъ ея, ни съ нею. Но въ его глазахъ, въ короткомъ, частомъ смѣхѣ, въ разныхъ изреченіяхъ она распознавала постоянного наблюдателя и оцѣнщика ея ума, такта, разговора, мнѣній, туалетовъ. Правда, она сама не желала ни баловать его, ни доводить до того, чтобы онъ стоялъ передъ ней „на заднихъ лапкахъ“. Онъ могъ бы и самъ почувствовать безусловное преклоненіе передъ ней, какъ передъ существомъ высшей породы, признать за нею званіе самой красивой и блестящей женщины во всей Москвѣ—и, однако, такого преклоненія она что-то не замѣчаетъ.

Не совсѣмъ нравилось ей и то, что Иванъ Кузьмичъ—бывшій учитель Захара Лукьяновича, и когда зайдетъ какой-нибудь „особенный“ разговоръ, философскій или литературный, приказчикъ даетъ понять и хозяину, и его гостямъ, что онъ магистрантъ, и „Захарушка“ обязанъ ему всѣмъ тѣмъ, что у него осталось изъ классической учености... Что Иванъ Кузьмичъ часто поддакиваетъ Захару Лукьяновичу и какъ бы любитъ имъ, это скорѣе расчетъ, чѣмъ добровольное признаніе превосходства своего хозяина.

— Зѣвки еще въ кабинетѣ, съ тѣмъ господиномъ? — спросила она Кострицына, указывая ему, жестомъ головы, мѣсто на одномъ изъ пуфовъ, стоявшихъ полукружіемъ около ея дивана, подъ навѣсомъ.

— Сейчасъ покончатъ насчетъ цѣны.

— Зѣвки, по-вашему, дѣлаетъ хорошую аферу?

— Это немного округляетъ наши мѣстные угодья.

Слово „наши“ показалось ей чѣмъ-то „лакейскимъ“.

— Этотъ Лыжинъ,—спросила она вполголоса,—кажется, интересный человѣкъ... еще не старый?

— Лѣтъ сорока... вида внушительнаго, барскаго. Хе-хе! Тоскующій семидесятникъ!

— Какъ вы сказали?

Она опять взялась за свои ногти.

— Представитель семидесятыхъ годовъ. Кажется, бывалъ и въ толстопцахъ, и въ болѣе радикальныхъ народникахъ. А теперь тоскуетъ... Ха-ха!

Она пожалѣла, что спросила его о Лыжинѣ. Какое ей дѣло до того, „семидесятникъ“ онъ или нѣтъ? Кто онъ,



какъ мужчина и свѣжій человѣкъ, она и сама разбереть и рѣшить — стоитъ ли его просить бывать у нихъ, или нѣтъ. Если этотъ Лыжинъ красный, Богъ знаетъ съ какими замашками, то она его спуститъ „n'en déplaie, — прибавила она мысленно, — нашей общей знакомой, Идѣ Радиной, его пріятельницѣ“.

Но вѣдь Ида сама, давно, „а un passé compromettant“.

Послышались въ сосѣдней гостиной мужскіе голоса.

Антонина Борисовна окончательно освободилась отъ ногтяной щеточки и пошла навстрѣчу гостю.

Мужъ представилъ ей Лыжина, назвавъ его по имени и отчеству, взявъ его за руку и своимъ увѣренно-гостепріимнымъ тономъ, повернувшись къ нему лицомъ, прибавилъ:

— Просимъ любить да жаловать!

Лыжинъ сухоовато поклонился ей, и когда она протянула ему свою бѣлую, необычайно красивую руку, и пальцы, покрытые кольцами, блеснули, — онъ поднялъ на нее глаза и, выдерживая ее вызывающій, блистательный видъ, про себя выговорилъ:

„Вотъ ты какой экземпляръ!“

И вслѣдъ за тѣмъ по немъ прошло давно имъ неиспытанное чувство чего-то жуткаго — отъ чувственной мощи женщины, которая дошла до точки своего пышнаго расцвѣта.

Онъ не могъ воздержаться про себя отъ французскаго восклицанія:

„Elle est à point“.

XI.

Черезъ двѣ-три минуты они остались вдвоемъ. Кумачевъ незамѣтно увелъ Кострицына, что-то такое сказать ему по поводу покупки имѣнія. Онъ могъ это забыть во время обѣда.

Гостя онъ предоставилъ женѣ, строго держась обычая не угощать собственной особой при женѣ тамъ, гдѣ она должна была царить одна.

— У насъ съ вами, monsieur Лыжинъ, — заговорила Антонина Борисовна, откинувшись въ смѣлой позѣ на одну изъ подушекъ, — есть общія знакомая... и вашъ другъ, если не ошибаюсь.

— Кто это?

— Ида Радина... Вы вѣдь ея сосѣдъ? И не одна Ида... Ея пріятельница—Акридина—моя тетка.

— Ваша тетка?—переспросилъ Лыжинъ.

— Васъ это удивляетъ?.. Но вѣдь она уже не молоденькая.

Она засмѣялась, и рядъ ея зубовъ, красиво и жестко блеснувъ, заставилъ Лыжина еще болѣе сжаться.

— Да, ей подѣ-сорокъ, — продолжала Антонина Борисовна. — Она мнѣ тетка... Очень дальняя... троюродная сестра моей матери... Правда... гораздо ея моложе. Мы ее скоро ждемъ. Но она сначала пройдетъ къ Идѣ... Сюда она на сѣздъ. Вы вѣдь знакомы съ ея учеными трудами?

Косая усмѣшка немного скривила ея властный и сочный ротъ.

— Какъ же... У нея очень почтенное имя.

— Только, кажется, археологія ей уже пріѣлась... хотя нынче это очень модная и выгодная наука.

— Выгодная?

— Да, можно легко составить себѣ имя и быть на хорошемъ счету. Я говорю о мужчинахъ.

Лыжинъ прислушивался къ ея говору. Она выражалась по-русски очень отчетливо и съ музыкальной пѣвучестью, которая противорѣчила жесткому взгляду ея глазъ. Съ мужчинами не изъ особенно стародворянскаго круга она почти никогда не французила. Привычку къ хорошему русскому языку пріобрѣла она, когда давала уроки пѣнія и живописи по фарфору и атласу. Тонъ ея немного отзывался также военнымъ обществомъ; такой бываетъ у молодыхъ командиршъ въ гвардейскихъ полкахъ.

— Елена Константиновна... Акридина, — добавила она, — вѣроятно, будетъ гостить у насъ.

И взглядомъ она пояснила: „Можете заниматься съ моей тетенькой умными разговорами“.

Въ салонѣ у такой эффектной особы Лыжинъ давно не бывалъ. Его начинало стѣснять то, что онъ теряетъ подходящій тонъ съ женщинами, какъ эта, во всякомъ случаѣ, характерная супруга придильщика, Захара Лукьяновича Кумачева.

— Князь Иларіонъ Ивановичъ—вашъ родственникъ?—спросилъ онъ, зная, что князь—ея дядя.

— Князь Иларіонъ? Старшій братъ моего покойнаго отца. Вы видали его?

— Всего одинъ разъ въ жизни. Но много слышанъ.
— Я воображаю! О немъ ходятъ цѣлыя легенды. Такихъ чудодѣевъ нигдѣ не встрѣтишь.

Лыжинъ хотѣлъ что-то возразить, но къ хозяйкѣ медленно подходилъ уже отъ двери плотный брюнетъ, въ очень длинномъ визитномъ сюртукѣ, лѣтъ сорока, съ бородой, стриженной четырехугольникомъ, въ рinсе-пез, съ выраженіемъ полнаго, еще не морщинистаго лица, какое бываетъ у влюбленныхъ въ себя холостяковъ, сознающихъ, что они не только большого ума, но и долго будутъ опасны для женщинъ.

Хозяйка крѣпко пожала ему руку, слегка приподнявшись, и представила ихъ другъ другу.

— М-г Эсауловъ!—назвала она гостя.

Гдѣ-то Лыжинъ встрѣчалъ его, зналъ его и по репутаціи „молодого“ и выдающагося публициста.

Эсауловъ присѣлъ къ Антонинѣ Борисовнѣ очень близко, на пуфѣ, у самаго края дивана, такъ что его колѣни почти касались юбки ея бархатнаго платья. Глаза его прищурились, и носомъ, изъ-подъ рinсе-пез, онъ слегка повелъ.

— Mein Kompliment! — выговорилъ онъ съ шутливой старательностью нѣмецкаго произношенія и рукой указалъ на туалетъ хозяйки.

Та очень ласково улыбнулась и, нагнувшись къ нему, сказала потише:

— Вы сядете рядомъ съ Nanon... довольны вы мною?

— Очень,—оттянулъ Эсауловъ, кладя ногу на ногу.

Они были старые знакомые, изъ того времени, когда Антонина Борисовна, обѣдѣвшей княжной, давала уроки. Она ему очень нравилась, но его ухаживаніе не довело его до женитьбы, и онъ во-время сумѣлъ удержаться въ извѣстныхъ границахъ, лестныхъ для всякой дѣвушки и не опасныхъ. Съ тѣхъ поръ, какъ обѣдѣвшая княжна сдѣлалась богачкой, но купчихой, Эсауловъ началъ новое ухаживаніе, и Антонина Борисовна позволяетъ ему держаться съ нею пріятельскаго тона, дорожить имъ для своей гостини, какъ человѣкомъ хорошаго общества, съ нѣкоторой извѣстностью. Она знала, что онъ не важнаго рода: его отецъ, кажется, изъ выслужившихся чиновниковъ, но мать его была княжна,—правда, изъ тамбовскихъ дворянокъ средней руки и татарской крови.

Лыжинъ считалъ Эсаулова позитивистомъ и либераль-

нымъ доктринеромъ, въ англійскомъ вкусѣ, и въ этомъ смыслѣ онъ его не особенно интересовалъ. Свою теперешнюю душевную „ликвидацию“—какъ онъ выражался—распространялъ онъ рѣшительно на всѣ клочки, кружковые катехизисы и мундирныя отмѣтки—отъ мистическаго народничанья до докторальнаго „направленства“.

— Мы, кажется, встрѣчались у Цыбашева?—небрежно спросилъ его вбокъ Эсауловъ, снимая правой рукой свое рпсе-пез.

— Очень можетъ быть,—отвѣтилъ ему Лыжинъ съ такимъ же отгѣнкомъ.

— Давно я не видалъ старика... Все такъ же пылокъ и бурливъ?

— Вѣроятно... Я самъ давно у него не бывалъ.

Голосъ и манера говорить Эсаулова не нравились Лыжину; но онъ не хотѣлъ давать хода своему брезгливому настроенію.

Разъ онъ принялъ приглашеніе на обѣдъ, глупо было ѣжиться и раздражаться. Надо воспринимать жизнь такой, какой она представляется. Это—*новая* московская жизнь. Домъ Кумачева—въ его теперешнемъ положеніи человѣка, который хочетъ найти самого себя и осмотрѣться—быть-можетъ, настоящая находка.

Личность самого хозяина, его alter ego Кострицынъ, его жена, ея салонъ—все это нѣчто, въ такомъ подборѣ имъ еще не виданное.

— Напои будетъ съ мужемъ?—спросилъ Эсауловъ, нагнувшись еще ближе къ Антонинѣ Борисовнѣ.

— Утѣшьтесь... одна.

— Супругъ боленъ?

— Нисколько. Онъ на охотѣ... на лосей... или на медвѣдей... ужъ не знаю хорошенько!

— А-а!.. Какая пріятная страсть въ мужѣ!

— Смотрите!—погрозила пальцемъ Антонина Борисовна.—Онъ ходитъ на медвѣдя съ рогаминою. Одинъ на одинъ. Такой мужъ опасенъ.

Тонъ этого разговора показался Лыжину сомнительнаго вкуса.

„Это еще кто?“ — спросилъ онъ, увидавъ новую мужскую фигуру справа отъ себя.

Маленькими шажками двигался такого же высокаго роста, какъ онъ, блондинъ, въ смѣкингѣ, съ падающими плечами и женскимъ складомъ бедеръ, держа свои корот-



кія ручки на груди и съ опущенными внизъ кистями. Лицо у этого уже немолодого мужчины было круглое, пухлое, съ налетомъ пудры, бритое, при длинныхъ и тонкихъ усахъ.

Во всемъ его существѣ Лыжинъ зачуялъ что-то тайно порочное и исковерканное.

Къ хозяйкѣ подошелъ онъ, нагибая на особый ладъ свою голову, маленькую, съ рѣдкими, лоснящимися волосами, и когда совсѣмъ нагнулся, чтобъ поцѣловать ея руку, то весь представилъ собою ломаную линію, смѣшную и кокетливую, съ его длинными и сухими ногами, которыя болтались въ широкихъ — по-модному — панталонахъ съ шелковыми лампасами.

Это былъ Ковригинъ, тотъ родственникъ и свойственникъ самыхъ лучшихъ фамилій, котораго поджидала Антонина Борисовна. Она считала его выгодной принадлежностью своей гостиной и столовой, хотя всѣмъ извѣстно, что онъ давно живетъ на чужой счетъ, и его специальное прозвище въ ея кругу: „Kowrigine — le pique-assiettes“.

— Bonjour, bonjour, ma toute belle! — картаво и визко процѣдилъ онъ и опустился около нея на диванъ, не сразу выпустивъ руку.

Она познакомила съ нимъ Лыжина. Эсауловъ подаль ему руку, Ковригинъ протянулъ ему свою, лѣниво и манерно, не покидая развинченной позы между двумя подушками дивана.

„Ахъ ты, животное!“ — выбранился Лыжинъ и сейчасъ вспомнилъ, что это за баринъ и какой *особенной* репутаціей пользуется. На немъ лежало двойное клеймо — и такое, о которомъ говорила вся его внѣшность, и клеймо еще недавняго друга дряхлой, выжившей изъ ума княгини. Онъ ее пустилъ по міру, — это было лѣтъ десять назадъ, — проѣлъ ея состояніе, и теперь опять проживаетъ лизоблюдомъ въ Москвѣ и за границей, куда удаляется каждый годъ въ январѣ.

Изъ гостиной раздался говоръ, и звонкій женскій голосъ покрывалъ другіе — мужскіе голоса.

— Voici Nanon! — назвалъ Ковригинъ, и сдѣлалъ чисто дамскій жестъ кистью правой руки.

Антонина Борисовна встала, за пей и двое гостей; но Ковригинъ оставался въ той же позѣ.

XII.

За столомъ было ровно десять человѣкъ. Лыжина посадила между Кострицынымъ и Эсауловымъ — посрединѣ одного изъ продольныхъ краевъ стола. Хозяинъ и хозяйка сидѣли одинъ противъ другого, на узкихъ краяхъ.

Противъ Лыжина помѣщались двое господъ, съ которыми его не успѣли познакомиться, передъ переходомъ въ столовую — длинную комнату, шедшую параллельно съ двумя парадными салонами.

Эти два гостя составляли центръ. Они вели и общій разговоръ, одинъ — шумно и словообильно, другой — съ меньшей увѣренностью, въ видѣ краткихъ изреченій. Кострицынъ за супомъ шепнулъ Лыжину, что первый — призжій изъ Петербурга, крупный чиновникъ Сидоренко; второй — Шахматовъ, восходящая медицинская извѣстность, годовой врачъ Кумачевыхъ, специалистъ по дѣтскимъ болѣзнямъ.

Сидоренко — съ широкой грудью, плечистый брюнетъ — своими расчесанными бакенбардами, прической и краснымъ, салатымъ лицомъ, смахивалъ на швейцара въ казенномъ домѣ. Шахматовъ смотрѣлъ чиновникомъ, и даже приѣхалъ со службы въ вицмундирѣ: молодой и очень молодой, съ подстриженной бородкой, русой, въ высокихъ воротничкахъ и въ золотыхъ очкахъ, съ постоянной иронической усмѣшкой на безцвѣтныхъ губахъ широкаго и добраго рта.

Кострицынъ же объявилъ Лыжину и кто сидѣлъ рядомъ съ хозяйкой — въ томъ же ряду: прожившійся фабрикантъ-миллионеръ Орѣховъ, похожій лицомъ на Донъ-Карлоса, съдой и въ черныхъ усахъ, съ остатками мужской бороды, также въ смокингѣ, какъ и Ковригинъ, сидѣлъ справа отъ Антонины Борисовны.

Подали „chaud-froid“ изъ дичи, четвертое блюдо меню, написаннаго на атласистыхъ листкахъ съ цвѣтными и золотистыми арабесками.

Все, что подавали, съ самаго начала обѣда, показывало на какой ногѣ стояли кулинарная часть и сервировка в домѣ Захара Лукьяновича Кумачева. Серебро, фарфоръ, хрусталь, вазы съ цвѣтами, все это было и богато, и очень красиво, по всему этому, вѣроятно, прошелся астетическій вкусъ Антонины Борисовны. Для рыбы кла-

у каждаго куверта, особенные ножи—на англійскій ладъ, съ серебрянымъ лезвіемъ, притупленнымъ и матовымъ.

Прислуга, въ своихъ темно-коричневыхъ фракахъ, съ бархатными воротниками и золотыми пуговицами, похожа была на цѣлую команду чиновниковъ. Служила она съ соблюденіемъ самыхъ утонченныхъ пріемовъ, подъ строгимъ надзоромъ дворецкаго, стоявшаго около рѣзного открытаго буфета.

— *C'est exquis!* — промямлилъ противный Лыжину Ковригинъ, отвѣдавъ отъ кушанья, подкатилъ зрачки къ верхнему вѣку и сдѣлалъ два кивка головой въ сторону хозяйки и своей *vis-à-vis*—*Nanon* Верховцевой.

Ей Лыжина представили передъ уходомъ изъ кабинета Антонины Борисовны, но со своего мѣста онъ могъ видѣть только ея профиль и не-роскошныя формы московской барыни, вышедшей замужъ на возрастѣ къ двадцати пяти годамъ. *Nanon*, прозванная такъ въ кругу своихъ пріятельницъ, была некрасива, со вздернутымъ носомъ и узкими глазами, но вообще съ пикантнымъ лицомъ; она брала гибкостью бюста и никогда не измѣнявшей ей бойкостью, говорила много и скоро, звонкимъ голосомъ, много французила и выкладывала свои „штучки“, какъ выражалась про нее, за глаза, и ея первая пріятельница—Антонина Борисовна.

За этимъ обѣдомъ ей не удалось овладѣть разговоромъ. Посаженный рядомъ съ нею Эсауловъ нашептывалъ ей какія-то двусмысленныя любезности и заставлялъ часто смѣяться. Разговоръ—послѣ возгласа Ковригина насчетъ четвертаго блюда „*chaud-froid*“—опять перешелъ къ той темѣ, которую съ особеннымъ усердіемъ поддерживали Сидоренко и Шахматовъ.

Съ первыхъ приступовъ бесѣды Лыжинъ очутился въ воздухѣ самой несдержанной и злорадной травли „жида“. Петербургскій гость—онъ ѣлъ все съ ножа—проглотивъ стремительно два-три куса тонкаго кушанья, изготовленнаго французомъ „шефомъ“, продолжалъ, краснѣя и пыхтя, изложеніе своихъ видовъ и мѣропріятій, особенно любезныхъ его „русской“ душѣ; Шахматовъ, улыбаясь вбокъ, поддакивалъ движеніемъ головы и ѣлъ медленно и опрятно. Аккуратность сквозила во всѣхъ его пріемахъ, и онъ дѣйствовалъ ножомъ, точно производилъ изящную и тонкую операцію передъ аудиторіей пятаго курса студентовъ.

— Стало-быть, — освѣдомился Захаръ Лукьяновичъ съ

своего конца,—вокругъ нихъ будутъ теперь обводить такіе круги... суживать ихъ и суживать?

— Какъ въ нѣкотораго рода чистилищѣ? Ха-ха!..

Шахматовъ поглядѣлъ увѣренно вправо и влѣво, дожидаясь, что всѣ разсмѣются.

Разсмѣялись Орѣховъ и хозяйнѣ. Антонина Борисовна въ эту минуту что-то говорила своей пріятельницѣ и не разслыхала.

Лыжинъ взглянулъ сначала на Эсаулова, потомъ на Кострицына, какъ они отнесутся къ этой суровой расовой травлѣ?

Эсауловъ, съ самаго начала обѣда, ни однимъ словомъ не протестовалъ противъ выходовъ петербургскаго администратора и московскаго практиканта. Точно такъ же и Кострицынъ отдѣлывался только ужимочками и своимъ смѣшкомъ, въ которомъ Лыжинъ ничего опредѣленнаго не распознавалъ.

Теперь онъ поглядѣлъ на него въ упоръ.

Кострицынъ вынесъ этотъ взглядъ и, не пуская своего „хе-хе“, повелъ плечомъ и вмѣшался въ разговоръ въ первый разъ.

— Стало, *ихъ* запрутъ на пространствѣ шести или семи губерній, и никакого хода изъ этого желѣзнаго кордона не будетъ?

Въ тонѣ этого вопроса Лыжину было очень трудно различить, какихъ взглядовъ держится самъ Кострицынъ, и эта двойственность начинала не на шутку раздражать его. Большая рюмка изумительнаго рейнвейна, выпитаго имъ послѣ рыбы, приподняла и безъ того температуру его головы.

— Запрутъ, запрутъ! — разразился Сидоренко, и отъ смѣха его широкая грудь пошла ходуномъ.

Онъ положилъ оба локтя на столъ и безцеремонно нагнулся надъ своимъ приборомъ.

— Знаете... въ одномъ огромномъ ушатѣ. И пусть варятся въ собственномъ соку.

— Фи! Какое сравненіе! — брезгливо отозвалась Антонина Борисовна.

Ея пріятельница громко сказала, обращаясь больше къ Эсаулову, по-французски:

— У мужчинъ теперь только и разговоровъ, что о евреяхъ.

Слово „les juifs“ прозвучало и въ ея извилистыхъ гу-

бахъ съ такой же интонаціей, какъ у Сидоренко и Шахматова.

— А потомъ что?—вдругъ спросилъ Лыжинъ, наклоняясь къ своему сосѣду черезъ столъ.

До тѣхъ поръ онъ упорно молчалъ, хотя хозяинъ раза два хотѣлъ втравить его въ общій разговоръ.

— Потомъ что?—переспросилъ чиновникъ.—Да то же!..

— Пускай варятся въ собственномъ соку!—выговорилъ вкусно и отчетливо Шахматовъ и поправилъ галстукъ на туго накрахмаленной груди рубашки.

— А каково же будетъ мѣстному русскому населенію?

— Тутъ пока ничего не подѣлаешь! Разумѣется, радикальная мѣра—одна!

— Всѣхъ поселить на необитаемомъ островѣ или выбросить въ море?—спросилъ Лыжинъ, впадая, противъ воли, въ насмѣшливый тонъ.

— Вотъ была бы благодать!—такъ же вкусно и отчетливо выговорилъ Шахматовъ и поглядѣлъ на Лыжина своими узкими самодовольными глазами.

Тотчасъ же Лыжину сдѣлалось досадно на себя, зачѣмъ онъ вмѣшался въ такой разговоръ. Добро бы еще изъ желанія подзадорить этихъ господъ и вызвать весь букетъ нынѣшняго преобладающаго настроенія.

Развѣ въ первый разъ слышитъ онъ тѣ же выходки? Прежде этимъ пробавлялись одни „гасильники“, теперь всѣ: чиновники и профессора, офицеры и студенты, художники и свѣтскіе шалопаи, старики и дѣти.

Онъ хочетъ „воспринимать русскую жизнь“, какова она есть въ настоящій моментъ. Нелѣпо возмущаться, если это—„неизбѣжная фаза общественнаго роста“—какъ, навѣрно, скажетъ ему и его хитроумный сосѣдъ слѣва, магистрантъ Кострицынъ. Можетъ-быть, и тотъ съ особеннымъ вкусомъ склоняетъ, при случаѣ, слово „жидъ“, или „нѣмецъ“, или „полякъ“—смотря по сюжету разговора.

— А ваше мнѣніе о земледѣльческихъ колоніяхъ?—освѣдомился Кострицынъ съ тою же двойственною усмѣшкой.

— Какія колоніи?.. Это все пухъ! Они не способны ни на какой честный крестьянскій трудъ. Да если бъ и были способны, все равно—нечистъ одна и та же: за кабацкой стойкой обдуваетъ онъ мужика или самъ сѣно косить.

Опять у Лыжина зашевелился вопросъ: „такъ какъ же съ ними быть?“—но онъ сдержалъ себя и, повернувъ го-

лову влѣво, сказать, обращаясь одинаково и къ Кострицыну, и къ Кумачеву:

— Вы знаете, что французскіе антисемиты заподозрѣли и въ папѣ Львѣ XIII еврея?

— Все возможно,—тонко отвѣтилъ Кумачевъ, съ улыбкой хозяина, который прежде всего желаетъ держаться въ тонѣ общаго разговора, пріятнаго большинству, не скрывая нисколько, что и онъ чувствуетъ, какъ истинный сынъ своей земли, какъ москвичъ, какъ дѣйтель въ томъ городѣ, откуда русская земля „пошла есть“—могъ бы онъ повторить слова лѣтописца.

XIII.

Замороженный пуншъ на чайномъ ликерѣ вызвалъ паузу передъ блюдомъ овощей—крупнѣйшей спаржи, поданной на серебряномъ штативѣ съ широкими щипцами.

Къ сладкому блюду оба vis-à-vis Лыжина—Сидоренко и Шахматовъ—опять попали на ту же зарубку.

Шампанское, послѣ разнородныхъ винъ, которые подносились лакеями въ налитыхъ рюмкахъ, подняло еще выше температуру. Въ дамскомъ углу происходило à parte между Напон, Эсауловымъ и хозяйкой; къ нему присоединялся и Ковригинъ, то и дѣло нагибая голову въ сторону Антонины Борисовны, съ манерностью, все такъ же противной Лыжину.

Вина онъ давно не пивалъ въ такомъ количествѣ. Винные пары не дѣлали его веселѣе, только воспримчивѣе ко всему, что вокругъ него происходило и говорилось.

Голосъ Шахматова, отчетливый и деревянный, съ приглушеннымъ высокимъ звукомъ гласныхъ, врѣзывался въ его ухо.

— Помилуйте... У насъ просто оба царства—іудейское и израильское—водворились-было на семи холмахъ Москвы... Теперь только и отдыхаемъ немного!..

— Вижу,—откликнулся съ игриво-цѣлѣющими глазами петербургскій гость,—вижу, что и у васъ всѣхъ этихъ лже-русскихъ и лже-германцевъ вывели на свѣжую воду... *Зильберляндъ*—портной... Но мнѣ этого мало... Ты—*Мовша Исаевъ*. Такъ ты и долженъ значиться... Или какая-нибудь *Парасенова*—содержательница кассы ссудъ... Какъ бы не такъ! Ты—*Ривка Мордохъева*! Ха-ха!

Оба очень громко засмѣялись. Имъ сдержанно вторилъ и хозяинъ.



Опять взгляды Лыжина обратились влѣво, на Кострицына. Тотъ нагнулся надъ тарелкой севрскаго фарфора и доѣдалъ съ золоченой ложки пирожное — изъ замысловатой смѣси мороженаго, печенья и фруктовъ.

И вдругъ прожившійся купчикъ съ лицомъ Донъ-Карлоса точно про себя выговорилъ, съ кислой усмѣшкой:

— Однако... и *они* кое-гдѣ приносятъ пользу.

— Кто? Какъ? Гдѣ? — озадачилъ его однимъ выстрѣломъ Сидоренко.

— Да хоть бы на Окѣ, около нашей мануфактуры... Цѣлое село, въ три тысячи душъ, только и дышитъ, что работой на большой магазинъ готовымъ платьемъ, здѣсь вотъ, на Тверской, кажется... какого-то тоже Зильберглянца или Мандельбаума. Не все ли равно, какого онъ тамъ закона... А безъ него имъ всѣмъ хоть по-міру идти.

— Извините-съ! — крикнулъ Сидоренко и поднялъ вверхъ золоченный десертный ножикъ. — Это чистѣйшій софизмъ! Если на какой-нибудь промыселъ есть спросъ настолько, что нельзя обойтись безъ крестьянскаго труда, то благодѣтель вовсе не Зильберглянецъ.

— Однако, онъ первый началъ раздавать работу.

— Раскусилъ, что это выгодно. Но раньше-то они тамъ на что-нибудь жили?

— Бѣдствовали!

— Однако жили же! И это только лишнее доказательство соблазна и совращенія. Дать заработокъ, но какой? — совсѣмъ не въ духѣ крестьянскаго труда... Портняжество! И зачѣмъ дать заработокъ? Зачѣмъ, чтобы держать цѣлую округу въ своихъ грязныхъ когтистыхъ лапахъ!

— Ну, ужъ это вы... слишкомъ! — прожившійся въ Парижѣ и въ Монте-Карло милліонеръ не уступалъ, хотя говорилъ точно нѣхотя, съ изнѣженной вилостью: — Послѣ того, и каждый изъ нашихъ, изъ настоящихъ русаковъ — кто заведетъ мануфактуру и станетъ набирать рабочихъ или научить мѣстныхъ крестьянъ у себя въ избахъ ткать миткаль — тоже совратитель?

— То — русскій! У него есть всѣ права. Онъ не втирается въ такое мѣсто, гдѣ ему закономъ запрещено жить... Какъ же можно сравнивать!

Орѣховъ пожалъ плечомъ и, не желая дальше возражать, считая себя слишкомъ по-европейски воспитаннымъ, взялъ стаканчикъ съ шампанскимъ и началъ тихо отхлебывать изъ него.

— Всякія!.. Васъ я еще мало знаю... Юрій Петровичъ. Но то, что слыхалъ, оставляетъ меня въ недоумѣніи...

Совсѣмъ не такой оборотъ думалъ придать разговору Лыжинъ. Но съ этимъ „амбарнымъ Сократомъ“ ему все-таки стало теперь гораздо легче, чѣмъ за обѣдомъ.

— Вы къ дамамъ не пойдете?—спросилъ Кострицынъ.

— Нѣтъ.

— Такъ знаете что?.. Спустимтесь въ кабинетъ Захара Лукьяновича. Тамъ мы будемъ на просторѣ. Кстати же надо намъ условиться и насчетъ поѣздки. Вы вѣдь покончили... Но условно?

— Да,—отвѣтилъ почти нехотя Лыжинъ.—Вы должны будете произвести еще ревизію, и если все найдете такъ, какъ доносилъ управляющій...

— Вамъ это развѣ непріятно?

— Съ какой же стати!

— Я вѣдь не дѣлецъ. Захаръ Лукьяновичъ довѣряетъ мнѣ—вотъ и все. Намъ съ вами судьба свела на почвѣ купли-продажи. Но мнѣ почему-то сдается, Юрій Петровичъ, что мы съ вами поймемъ другъ друга... и знакомство наше не ограничится одной этой дѣловой поѣздкой.

Глаза Кострицына заискрились и ихъ выраженіе не покорило Лыжина.

— Такъ идемъ внизъ?

— А хозяинъ?

— Онъ кабинетъ свой не охраняетъ. Ха-ха! Курильная устроена во второмъ этажѣ только для удобства гостей, хорошо пообѣдавшихъ въ столовой.

Кострицынъ распорядился насчетъ кофе; они прошли на площадку и спустились по парадной лѣстницѣ на половину Захара Лукьяновича.

— Я бы хотѣлъ удалиться по - французски, — сказалъ Лыжинъ.

— И это можно!.. Хозяйка это допускаютъ.

XIV.

Чашки кофе были уже допиты. Кострицынъ ходилъ маленькими шажками по кабинету. Лыжинъ сидѣлъ на турецкомъ диванѣ съ протянутыми ногами и курилъ.

Ихъ разговоръ перешелъ въ ту полосу, когда, послѣ взаимныхъ заподозриваній, два умныхъ человѣка должны выложить карты на столъ. Но Лыжинъ не хотѣлъ сразу вводить „амбарнаго Сократа“ въ собственное „путьро“.



показывать ему безъ особенной надобности свое общее настроеніе, близкое къ индифферентизму, и какъ онъ пришелъ къ нему изъ нежеланія подчиняться такимъ идеямъ и стремленіямъ, въ которыя извѣрился.

Ему хотѣлось сначала заставить Кострицына высказаться, не виляя, безъ прибаутокъ и классическихъ изреченій.

— Какъ же вы относитесь, Иванъ Кузьмичъ,—онъ въ первый разъ назвалъ его по имени и отчеству,—къ этому взрыву расовой нетерпимости?—спросилъ онъ его, не горячася, въ тонѣ простого любопытства.—Полюбуйтесь на сангвиническаго администратора. Вѣдь онъ готовъ проповѣдовать, подъ личиною государственной и національной пользы, чуть не Варооломеевскую ночь! А эскулапъ? Этотъ продуктъ восьмидесятихъ годовъ? Вѣдь онъ, кажется, доцентъ? Стало, онъ въ университетѣ, въ аудиторіяхъ, у товарищей набрался позитивнаго бездушія, цинической манеры выражать свои взгляды и замашки? Вѣдь ото всего этого не пахнетъ, а воняетъ безстыднымъ нахальствомъ и пошлостью.

— Ого! Какъ вы суровы, Юрій Петровичъ!

— Такъ, по-вашему, не такъ?

— Букетъ новѣйшій—это точно. И я не нахожу, чтобы гости Захара Лукьяновича—и господинъ Сидоренко, и терапевтъ Шахматовъ—были какими-нибудь особенно циническими выразителями момента!.. Такихъ теперь сотни—и вездѣ: и въ столицахъ, и въ провинціи, среди людей, у которыхъ есть какой-нибудь вѣсъ въ обществѣ.

— И чтѣ же, вы этому радуетесь?

— Я пока только констатирую. И—попутно—позвольте сдѣлать одно замѣчаніе. Къ чему эти клички и рубрики: шестидесятые года, семидесятые, восьмидесятые?! Дѣло тутъ не въ нихъ, а въ извѣстныхъ инстинктахъ, массовыхъ или сословныхъ—это все равно. Они и не думали замирать, а только лежали подъ спудомъ, и теперь подняли голову и добиваются удовлетворенія.

— Это такъ!—горячо прервалъ Лыжинъ. —Вы у меня точно похитили мысль, когда я слушалъ діатрибы моего визаві. Я думалъ: двадцать лѣтъ назадъ тотъ же чинушъ, а еще болѣе тотъ же доцентъ, не посмѣлъ бы, слышите, не посмѣлъ бы,—Лыжинъ выпрямилъ станъ,—не посмѣлъ бы,—еще сильнѣе повторилъ онъ,—говорить въ такомъ тонѣ. Ему совѣстно было бы.. Онъ зналъ, что тогда ему бы не дали продолжать.

— Ему и теперь возражали.

— Кто?

— Вы слышали, кто... Но почему же вы сами, Юрий Петровичъ, не разгромили его, хе-хе!

Кострицынъ стоялъ передъ нимъ, широко разставивъ свои короткія ноги.

Его искривленныя глазки довольно язвительно усмѣхались.

— Съ какой стати? — вскричалъ Лыжинъ. — Съ какой стати, — повторилъ онъ, — стану я выступать противъ такихъ господъ, да еще въ домѣ, гдѣ хозяинъ, повидимому, сочувствуетъ вполне такимъ, какъ вы изволили выразиться, инстинктамъ? Кстати... вы мнѣ приводили, помнится, у меня, какое-то латинское изреченіе, которое Захаръ Лукьяновичъ взялъ своимъ девизомъ... Какъ бишь это?

— *Ibo singulariter donec transeam...* Изреченіе не плохое.

— И, кажется, вы его перевели тогда: „мы сами — съ усами!“

— Ха-ха! Въ родѣ этого, но въ серьезномъ тонѣ.

— Но не значить ли *singulariter*: — въ духѣ послѣдняго десятилѣтія, рука объ руку съ такими патриотами, какъ петербургскій карьеристъ и московскій аскулапъ?

„Зачѣмъ я все это говорю?“ — вдругъ остановилъ себя Лыжинъ. Ему стало почти противно играть роль самаго обыкновеннаго либерала или радикала въ глазахъ Кострицына.

Положимъ, его тошнило за обѣдомъ отъ всей этой травли, но сиди на мѣстѣ Сидоренка и Шахматова два какихъ-нибудь краснобая изъ тѣхъ „толковъ“, съ которыми онъ прерывалъ сношенія, многимъ ли бы лучше онъ себя чувствовалъ?

— Ни защищать моего патрона, ни нападать на него мнѣ не приходится, Юрий Петровичъ, — заговорилъ Кострицынъ, присаживаясь на край дивана. — Присмотритесь къ нему. Онъ, по-своему, homo novus... И такимъ принадлежить, безъ сомнѣнія, теперешняя полоса русской жизни.

„Съ чѣмъ и поздравляю васъ“, — хотѣлъ-было вслухъ выговорить Лыжинъ и промолчалъ.

Справа, за его спиной, вошелъ въ кабинетъ Эсауловъ.

— А! Вы вотъ куда удалились, господа! — раздался его скрипучій голосъ.

— Вы отъ дамъ? — спросилъ его Кострицынъ.



— Собираюсь уходить... и вспомнилъ, что оставилъ здѣсь шляпу... У васъ, кажется, идетъ какое-то преніе, господа?

Лыжинъ взглянулъ на него вбокъ и сказалъ, не скрывая ироніи:

— Вотъ вы человѣкъ семидесятыхъ годовъ—мой сверстникъ, развѣ въ наше время прошло бы безнаказанно то, что сейчасъ говорилось за обѣдомъ?

— Смотря гдѣ, — отвѣтилъ брезгливо Эсауловъ, понявшій намекъ Лыжина. — Если бѣ теперь протестовать вездѣ во имя цивическихъ идей, — подчеркнулъ онъ, — то пришлось бы съ утра до ночи кипятиться. Мы съ вами не студенты. До свиданія, господа! — такъ же брезгливо раскланялся онъ и, отыскавъ свою шляпу, вышелъ.

Оба помолчали по уходѣ Эсаулова.

— Ну, вотъ, — началъ первый Лыжинъ, — такой представитель европеизма и прогрессивныхъ идей — и опъ поумнѣлъ... Моя хата съ краю — ничего не знаю.

— Стульевъ не хочетъ ломать!

— Зачѣмъ же непременно стулья ломать? Можно однимъ словомъ, однимъ звукомъ очистить воздухъ отъ такихъ благоуханій. Эсауловъ — давнишній гость. У него репутація либерала. Но, должно-быть, хозяева писколько не стѣсняются его либерализмомъ и знаютъ, что онъ сталъ тихонькій...

Лыжинъ не досказалъ и только повелъ рукой.

— Эхъ, Юрій Петровичъ, — заговорилъ Кострицынъ тише и мягче, пододвинувшись къ нему на томъ же диванѣ, — вы, какъ я вижу, желаете держать все то же знамя семидесятниковъ.

— Пожалуйста!.. Вы сами не хотите этихъ рубрикъ и кличекъ.

— Во всякомъ случаѣ, въ васъ говоритъ нѣкоторая прямолинейность взглядовъ и принциповъ.

— Ни то, ни другое... Не нужно быть прямолинейнымъ, чтобы васъ тошнило отъ пошлости, — возразилъ Лыжинъ.

— Да развѣ васъ содержаніе и тонъ такихъ бесѣдъ поразили своей неожиданностью?

— Я этого не говорю.

— Вы ихъ услышите теперь вездѣ — и въ канцеляріяхъ, и въ ученыхъ обществахъ, и между учащейся молодежи. Но вернемся къ Эсаулову. Я думаю, что такой

интеллигентъ, какъ онъ, дѣйствительно поумнѣлъ. Надо же когда-нибудь сбросить иго готовыхъ формулъ, какъ бы онѣ ни были красивы и почтенны. Въ прописяхъ вѣдь и пѣтъ никакихъ другихъ формулъ. Васъ возмущаетъ развалъ расовой нетерпимости? А для меня, Юрій Петровичъ, такой развалъ гораздо лучше, чѣмъ недавнее подхалимство передъ прогрессомъ, гуманностью, народомъ, прямолинейной моралью.

— Вотъ какъ!

— Да-съ. И если мы съ вами не разойдемся сразу—вы кончите тѣмъ, что поймете меня. Не сегодня, такъ завтра. А на сегодня—мнѣ самому надо уходить къ восьми—я скажу вамъ вотъ что: не можетъ быть никакого прогресса—за него вы, конечно, стоите?—до тѣхъ поръ, пока личность не будетъ автономна, пока она не будетъ дерзать и посягать.

— Дерзать и посягать?—повторилъ задумчиво Лыжинъ.

— Да-съ, дерзать и посягать! Пускай она доходитъ до крайняго предѣла своихъ собственныхъ позывовъ и не боится прописей, какъ бы онѣ ни были гуманны и благородны.

— Это что же? Защита хищничества?

— Назовите, какъ хотите. И для меня, какъ для человека, желающаго мыслить, а не охать, Захаръ Лукьяновичъ Кумачевъ, въ теперешней своей фазѣ, гораздо цѣннѣе, чѣмъ если бы онъ подлаживался подъ то, что было двадцать лѣтъ назадъ въ воздухѣ.

— А онъ теперь точно такъ же не подлаживается къ камертону?

— Нѣтъ... самый этотъ камертонъ отвѣчаетъ на позывы его натуры и на запросы его личности. И прекрасно!

— Прекрасно!—повторилъ Лыжинъ, спустилъ ноги на коверъ и всталъ.—Я скрываюсь по-французски. На первый разъ—довольно!

— И на томъ спасибо!

И смѣхъ Кострицына раздался жидкимъ звукомъ въ засвѣжѣвшемъ кабинетѣ.

XV.

По первопутку извозчики саней катились бойко. Мимо мелькали деревья бульвара, слегка уже покрытыя инеемъ. Потомъ пошли переулки съ одноэтажными обывательскими домами.

Тишина стояла полная, точно за-полночь, а былъ всего девятый часъ въ началѣ.

Лыжинъ, не закутываясь въ свой ергакъ, подставлялъ лицо подъ мягкій вѣтерокъ. Снѣжинки садились ему на щеки и освѣжали ихъ. Ему радостно было вдыхать легкій, не очень морозный воздухъ, послѣ долгаго сидѣнья въ столовой, полной свѣта, и въ кабинетѣ, гдѣ онъ разгорѣлся отъ разговора съ Костицынымъ.

Въ передней, когда швейцаръ подавалъ ему шубу, онъ вспомнилъ вопросъ этого „мандарина“—Эсаулова: давно ли онъ видѣлъ старика Цыбашева, у котораго они когда-то встрѣчались.

И его потянуло туда. Какъ разъ это былъ день, когда Цыбашевъ принималъ у себя вечеромъ, запросто, съ семи часовъ, а къ десяти уже всѣ расходились, зная, что хозяинъ ложился непременно тотчасъ послѣ десяти и нигдѣ дольше этого часа не оставался.

Давно не бывалъ у него Лыжинъ, такъ давно, что почти совѣстно дѣлалось снова показаться туда.

Почему больше года не навѣщалъ онъ старика, и до послѣдней побѣдки своей за границу, и послѣ нея?

На это приходилось отвѣтить самому себѣ безъ утайки и ложнаго стыда.

Потому что во время своего временнаго увлеченія „толстовщиной“,—какъ онъ самъ теперь выражался и вслухъ, и про себя,—онъ не хотѣлъ огорчать старика неизбѣжными спорами. Онъ зналъ, что этотъ видъ „сектантства“ именно тогда всего сильнѣе раздражалъ Цыбашева. Онъ помнилъ, изъ болѣе ранней эпохи, какъ тотъ оглашалъ тѣсный кабинетикъ раскатами своего еще молодого, высокаго голоса, какъ тотъ повторялъ знаменитую формулу: „écoutez l'infâme“, примѣняя ее къ этому виду мистическаго народничества.

Теперь же, осенью, по приѣздѣ изъ-за границы, онъ стѣснялся другимъ. Цыбашевъ, узнавъ, въ какихъ онъ мѣстахъ побывалъ, сталъ бы его разспрашивать про тѣхъ, кого онъ навѣстилъ, и узнавать подробности его побѣдки на Средиземное море для поклоненія тѣни того первоначальнаго „учителя“, передъ памятникомъ котораго онъ покончилъ со своимъ „плѣненіемъ“, захотѣлъ получить обратно полную свободу ото всякихъ „прописей“ и символовъ вѣры, извѣрившись въ нихъ.

Тутъ опять пришлось бы или вилать, или огорчать ста-

рика, вызывать въ немъ взрывы негодованія, выслушивать отъ него разносы на тему „отступничества“ и „индифферентизма“.

Онъ побоялся этого, а потомъ и забылъ какъ бы о существованіи Порфірія Алексѣевича Цыбашева и его домика на Плющихѣ.

Это показалось ему сегодня постыдной трусостью. Чтò бы ни пришлось ему испытать въ кабинетикѣ Порфірія Алексѣевича, въ чемъ бы ни привелось покаяться или признаться, его потянуло на Плющиху, послѣ обѣда у коммерсанта Кумачева, этого homo novus послѣдней формации, по толкованію многоумнаго Кострицына.

Такъ задохнешься на первыхъ порахъ, прежде чѣмъ научишься приспособляться къ средѣ, превратишься въ свободнаго „созерцателя“, какъ все тотъ же Кострицынъ.

„Старый человѣкъ“ проснулся въ немъ. Ему пужно было убѣдиться, что въ томъ же городѣ есть еще старцы, оставшіеся вѣрными идеямъ, которыя Сидоренко и Шахматовъ считаютъ устарѣлымъ и непатріотическимъ вздоромъ.

Цыбашева онъ, когда-то, ставилъ очень высоко, какъ писателя и общественную силу, хоть и видѣлъ въ немъ новое доказательство того, какъ даровитый человѣкъ съ прямымъ призваніемъ не можетъ идти по своей дорогѣ. Когда-то этотъ—теперь отставной—чиновникъ былъ украшеніемъ двухъ университетовъ. И не захотѣлъ мириться съ тѣмъ, отъ чего „тошнить“, и долженъ былъ покинуть навсегда дорогія для него аудиторіи. Пришлось состоять въ ученыхъ чиновникахъ. Но перо не выпадало еще изъ его рукъ, и даже въ отставкѣ, въ послѣднія десять лѣтъ—теперь ему за семьдесятъ—онъ не переставалъ пылко и смѣло писать о томъ, чтò было для него дорого въ наукѣ и жизни родной страны.

Къ крестьянству, къ его судьбамъ относился онъ всегда съ особымъ чувствомъ. Онъ когда-то далъ и Лыжину первый сильный толчокъ въ сторону народолюбія. И община стала для Цыбашева несокрушимымъ догматомъ. Ее онъ отстаивалъ когда-то со славою, въ самомъ началѣ шестидесятыхъ годовъ, и съ тѣхъ поръ ни на одну іоту не отступилъ отъ того, чтò требовалъ для народа, какъ залогъ его спасенія отъ пролетаріата.

Въ этотъ „оплотъ“ Лыжинъ давно извѣтрился, и когда ему его временное сектантство сдѣлалось тяжкимъ и онъ

его сбросилъ, онъ вспоминалъ Цыбашева недобрымъ словомъ, упрекнулъ его, мысленно, въ томъ, что тотъ увлекался не въ мѣру тайнымъ славянофильствомъ, въ которомъ, не сознавая въ томъ, пребываетъ до сихъ поръ этотъ даровитый, но упорный старикъ.

Теперь все это уже пережито. Не пойдетъ онъ ни къ кому въ выучку, не будетъ себѣ сызнова „пускать вошь въ ухо“, какъ острилъ его старшій сверстникъ, тамъ, въ Швейцаріи, въ курительной комнатѣ „Hôtel de Russie“.

Положимъ, и старикъ Цыбашевъ тоже не стоялъ никогда за обращеніе въ „звѣриный образъ“; напротивъ, до сихъ поръ способенъ разносить всѣ виды такого „юродства“, и мистическаго, и не-мистическаго, но по головкѣ онъ не погладитъ, если, войдя къ нему въ кабинетъ, черезъ пять минутъ сказать сразу:

— Порфирій Алексѣевичъ, я хочу раздѣлаться съ землей, и не потому, что вынужденъ сдѣлать это; только изъ потребности убѣжать отъ тошнаго повторенія все тѣхъ же „аховъ и оховъ“, при полной невозможности поднять этотъ народъ; а его не поднимешь тѣмъ, что подаришь ему свою лѣсную дачу и поѣмные луга.

Не погладитъ его по головкѣ Порфирій Алексѣевичъ! Онъ каждый годъ — и прежде, когда служилъ, и теперь, въ полной отставкѣ на пенсіи — ѣздитъ въ свое маленькое имѣніице, возится съ „православными“, заведъ тамъ школу и маленькое ссудное товарищество, пишетъ оттуда корреспонденціи о мѣстныхъ нуждахъ.

Не уходилъ старина, и не уйдетъ, пока не забьютъ гвоздями крышку его гроба.

И все-таки, чѣмъ ближе былъ Лыжинъ отъ домика Цыбашева, тѣмъ его больше тянуло къ нему, въ его теплый и уютный кабинетикъ.

— Направо, третій домъ послѣ переулка, — сказалъ онъ извозчику, — въ три окна, одноэтажный.

Цыбашевъ называлъ свой домикъ „избушка на курьихъ ножкахъ“. Онъ ему достался отъ отца, но живетъ онъ въ немъ только съ тѣхъ поръ, какъ сталъ бобылемъ, потерявъ сначала двоихъ дѣтей, потомъ и жену. Смерть сына — красавца и даровитаго писателя — особенно подкосила его. Но онъ все еще держится на ногахъ, подвижный, живой, всегда „дымящійся“, по опредѣленію одного изъ его пріятелей.

Извозчикъ сдержалъ лошадь у калитки. Ворота были заперты.

Лыжинъ, нагибаясь, вошелъ въ калитку. Три окна домика—низкія, съ широкими простѣнками—были освѣщены.

На дворѣ, тѣсномъ и чистомъ, тропка, усыпанная пескомъ по свѣжему снѣгу, вела къ крылечку съ навѣсомъ.

Отворила ему толстая пожилая женщина, еще не сѣдая, въ ковровомъ платкѣ—все та же Авдотья Ѳоминышна, бывшая нянька дѣтей и его эконожка и горничная.

Она ему обрадовалась.

— Давно васъ, сударь, не видать, — ласково говорила она ему, снимая съ него ермолку. — Гдѣ изволили побывать?

— За границу ѣздить, нянюшка, — отвѣтилъ ей въ тонъ Лыжинъ. — Порфирій Алексѣевичъ?

— Похвалить нельзя, — отвѣтила Авдотья Ѳоминышна вполголоса, уставляя въ углу крошечной передней его ботинки.

Слѣва, изъ кабинета, доходили голоса и выше всѣхъ поднимался теноръ Порфирія Алексѣевича, удивительно молодежавый, точно говорить тридцатилѣтній мужчина, а Лыжину извѣстно, что Цыбашеву за семьдесятъ, если не всѣ семьдесятъ три.

Въ узенькой столовой, справа, шипѣлъ самоваръ на столѣ, гдѣ Авдотья Ѳоминышна только что передъ тѣмъ наливала чай.

— Порфирій Алексѣевичъ здоровъ? — спросилъ онъ увѣренно няню.

— Такъ-то... слава Богу!.. всѣмъ корпусомъ... А ножки...

— Что?

— Не дѣйствуютъ, — сказала она еще тише. — Насилу въ спальню переходятъ... вожу, какъ маленькаго.

И въ голосѣ толстухи дрогнули слезы.

— Что же такъ?

Онъ хотѣлъ спросить: ударъ?

— Съ осени правая нога... Подагра, что ли. Теперь ничего, а спервоначалу шибко мучились.

Лыжинъ остановился въ дверяхъ кабинета съ тремя окнами, занимавшаго весь фасадъ домика. Всѣ стѣны были въ книгахъ; слѣва клеенчатый мягкій диванъ, письменный столъ поперекъ, два большихъ портрета дѣтей въ простѣнкахъ. Свѣтъ висячей лампы дѣлалъ комнату очень веселой.

Хозяинъ сидѣлъ въ креслѣ съ пюпитромъ. Ноги были

укутаны пладомъ и покоились на табуретѣ; все въ той же длинной сѣрой визиткѣ, такой же свѣжій въ лицѣ: красноватые щеки не исхудали, сѣдые волосы курчавились, небольшая борода стала бѣлѣе и длиннѣе. Глаза, съ утомленными вѣками, еще блестя и жестъ правой руки былъ, въ разговорѣ, такой же живой и характерный.

XVI.

Вокругъ хозяина сидѣло трое гостей. Никого изъ нихъ Лыжинъ не зналъ или не могъ вспомнить, встрѣчалъ ли гдѣ. Всѣ трое были старые люди; одинъ, вѣроятно, ровесникъ Цыбашева, съ бѣлой бородой и такими же длинными волосами, очень красивый старикъ; другой—врядъ ли на много моложе—съ жиденькой полусѣдой бородкой и въ шелковой скуфьѣ на совершенно голомъ черепѣ; третій—моложе ихъ всѣхъ на видъ—за пятьдесятъ лѣтъ, съ худымъ, спокойнымъ и кроткимъ лицомъ, въ густыхъ русыхъ волосахъ и бородѣ сизобурой сѣдины.

Лыжинъ остановился въ дверяхъ и выговорилъ немного взволнованнымъ голосомъ:

— Порфирій Алексѣевичъ, мое почтеніе!

— А!.. Это вы, Лыжинъ!.. Откуда? Душевно радъ... Берите стулъ—садитесь.

Тотчасъ же Цыбашевъ, двигаясь всѣмъ своимъ широкимъ и мускулистымъ туловищемъ, представилъ Лыжина своимъ гостямъ и быстро назвалъ ему каждого изъ нихъ: красиваго старца—Пехлевановымъ, старика въ скуфьѣ—Заводинымъ и высокаго, худого блондина—Гурьяновымъ.

Ихъ фамиліи ничего не вызвали въ памяти Лыжина.

— Что это съ вами? — спросилъ онъ, когда присѣлъ поближе къ креслу хозяина.

— „Стара стала—плоха стала“... Бисмаркова болѣзнь подкралась. Лѣтомъ еще могъ ходить, а теперь совсѣмъ инвалидъ. Вотъ спросите моего консультанта и друга Андрея Сергѣевича,—указалъ онъ своей маленькой нервной рукой на худого, высокаго блондина. — Онъ это называетъ артритъ, осложненный еще чѣмъ-то. Знаете, какъ старые французы-гувернеры говаривали въ наше дѣтство: blanc bonnet—bonnet blanc. Подагра-матушка!

И, не желая жаловаться на свои недуги, онъ съ той же живостью спросилъ:

— Куда вы пропали, Лыжинъ? Больше года о васъ ни слуху, ни духу. Можетъ-быть, ѣздили за границу?

— Былъ и тамъ... недавно вернулся, — не уклончиво, но очень сдержанно отвѣтилъ Лыжинъ.

— Небось, въ Парижѣ?

— Только проездомъ.

— Для васъ развѣ еще сохраняютъ какой-нибудь престижъ нывѣшніе французы? А?

— Не особенный, — искреннѣе отозвался Лыжинъ.

— Да, — подхватилъ Цыбашевъ, и его глаза блеснули въ болѣзненныхъ вѣкахъ, и весь онъ выпрямился. — Наши друзья — съ тѣхъ поръ, какъ на насъ молятся — стали Богъ знаетъ на кого и на что похожи!.. Просто стыдъ и срамъ! Мы уже стоимъ одной ногой въ могилѣ; но наша молодежь — что она тамъ можетъ взять себѣ въ образецъ, къ кому потянется умъ и душа?.. Какой задоръ шовинизма! Что за гнусное политиканство!.. Одна буланжистская буффонада чего стоить. Въ жоакахъ рабочаго класса — изувѣрство, бессмысленный и циническій анархизмъ!.. Ни въ комъ ни чести, ни совѣсти, и каждый день дули газетчиковъ и политикановъ, у которыхъ нѣтъ ни капли любви ни къ истинѣ, ни къ отечеству, ни пониманія надвинувшейся на нихъ грозной стихіи пролетаріата. Какъ были въ іюльскіе дни въ сорокъ восьмомъ году, таковы и теперь, закорuzлые и лицемерные буржуа, провонявшіе фразой, блудливые и трусливые. Помните, Лыжинъ, когда я вамъ далъ читать экземпляръ „Съ того берега“ — особенный, — прибавилъ Цыбашевъ, и голосъ его дрогнулъ, — вы мнѣ потомъ говорили, что начали прозрѣвать. Червь, который точитъ французское третье сословіе, былъ передъ вами впервые отпарированъ русскимъ человѣкомъ, проникнувшимъ сразу въ самую суть того, что славянофилы звали „гніеніемъ Запада“. Ихъ поднимали на смѣхъ, а они — тысячу разъ правы.

— Да, — отозвался тихо Пехлевановъ, старикъ съ живописной головой, — не въ такую Францію вѣровали мы передъ сорокъ восьмымъ годомъ.

— Когда зачитывались, — подхватилъ Цыбашевъ съ полунасмѣшливой улыбкой въ сторону Пехлеванова, — Петра Рыжаго — Пьера Леру, — объяснилъ онъ остальнымъ, — Луи Блана и нашего любимца Кабё.

— Именно, — съ громкимъ вздохомъ подтвердилъ Пехлевановъ. — Вѣдь и вы, Порфирій Алексѣевичъ, помните, я думаю, кондитерскую Иванова, на углу Моховой и Си-

неоновской улицѣ? Мы вѣдь какъ разъ въ эти года встрѣчались въ Петербургѣ.

— Какъ же, какъ же!.. Я защищалъ тамъ свою магистерскую диссертацию... Помню кондитерскую Иванова. Тамъ получались парижскія газеты.

— И какія! „La démocratie pacifique“, Консидерана... И Прудоновы рѣчи мы поглощали.

Старикъ грустно улыбнулся и покачалъ головой.

— А теперь?! — съ новымъ наплывомъ энергіи вскричалъ Цыбашевъ — онъ сдѣлалъ неосторожный жестъ, заставившій его поморщиться отъ боли въ ногѣ. — У молодежи нѣтъ ни дорогого имени, ни путеводной звѣзды. Или развалъ хищныхъ инстинктовъ, подъ прикрытіемъ анархическаго изуверства, или невыносимая пошлость негѣпаго патріотическаго задора, франко-русская маниловщина во вкусѣ господина Дерулѣда. Что же мудренаго, что даже въ университетскихъ стѣнахъ можетъ происходить шабашъ расовой нетерпимости, одичаніе, какого никто изъ насъ не видывалъ въ самую крутую полосу нашей эпохи. Вотъ у Петра Ильича, — онъ указалъ на старика въ скуфѣ, — двое сыновей. Онъ отъ нихъ знаетъ одну исторію. Это почти чудовищно!

— Слышалъ, слышалъ, — поторопился Лыжинъ подтвердить.

— Каково?! — кричалъ Цыбашевъ. — И Франція теперь охвачена тѣмъ же крестовымъ походомъ. И Германія!.. А для меня это только симптомъ одичанія. Не было бы жидовъ, стали бы опять травить поляковъ, нѣмцевъ, англичанъ, тѣхъ же французовъ, съ которыми лобызаются при звукахъ марсельезы!..

— И дрожишь каждый день, — заговорилъ прерывистымъ и шамкающимъ голосомъ Заводинъ, отецъ двоихъ студентовъ, — дрожишь: вотъ-вотъ разразится какой-нибудь скандалъ и очутятся въ Бутырькахъ.

Страхъ чадолюбиваго старика задрожалъ въ этомъ возгласѣ. Заводинъ женился поздно, и оба его сына учились на разныхъ факультетахъ.

— Просто не знаешь, — продолжалъ онъ такъ же прерывисто и связно, — что теперь для нихъ дорого. Мы восхищались эллинской культурой. Она намъ дала пониманіе и великихъ дальнѣйшихъ эпохъ. Мы зачитывались и Пиндаромъ, и Эсхиломъ. А потомъ — Петрарка, Тассъ, Аріостъ, божественный Аріостъ! — воскликнулъ онъ съ

искренней аффектаціей.—А имъ вдальбливаютъ латиновъ и грековъ — и ни къ чему нѣтъ у нихъ вкуса. Шекспиръ — и къ тому съ кондачка. Напримѣръ, вотъ это, — обратился онъ ко всѣмъ, и глаза его—наивные и разбѣгающіеся — блеснули юморомъ:—мой меньшей сынъ—способный мальчикъ... Но до осьмнадцати лѣтъ не читалъ „Гамлета“!.. „Гамлета“!.. — повторилъ Заводинъ. — И въ театрѣ его не тянетъ. Я насильно сунулъ ему въ руки экземпляръ. Прочелъ. И какъ бы вы думали, чтó онъ мнѣ сказалъ утромъ за чаемъ? „Ну, какъ?“ — спрашиваю.— „Да что,—говорить онъ, отхлебывая изъ стакана,—комикъ!“

— Это кто же? — почти съ ужасомъ вскрикнулъ Цыбашевъ.

— Гамлетъ! Принцъ датскій! На котораго мы всю свою душу клали. Онъ—комикъ!

— Ха-ха-ха!—разсмѣялся умнымъ и добрымъ звукомъ Гурьяновъ, петербургскій пріятель Цыбашева, только что переѣхавшій въ Москву на покой послѣ долгой врачебной службы и большой практики.

— Комикъ!—почти взвизгнулъ Цыбашевъ и даже схватилъ сидѣвшаго рядомъ Лыжина за руку.—Комикъ!

— Чтó за Гамлетъ! Нынѣшнимъ ничего не надо, — полусутоливо и кротко продолжалъ Гурьяновъ. — И ихъ наставники послѣдней формаціи—такіе же. Вотъ хоть бы мой племянникъ—докторъ Шахматовъ...

— Онъ вамъ племянникъ?—перебилъ Лыжинъ.

— Какъ же... А вы изволите его знать?

— Былъ съ нимъ на одномъ обѣдѣ, — отвѣчалъ Лыжинъ, не пожелавшій, однако, рассказать—у кого.

— Значитъ, вамъ извѣстно, какой онъ типическій представитель теперешнихъ позитивныхъ патріотовъ. У него такая манія жидоѣдства, что онъ въ себѣ самомъ, въ своемъ собственномъ происхожденіи не увѣренъ и старательно изучаетъ генеалогическое древо рода Шахматовыхъ. Его и то ужасно обижаетъ, злитъ до жалости, что происходитъ онъ отъ какого-то касимовскаго мурзы, который только при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ былъ крещенъ въ православную вѣру.

И опять онъ покрылъ свою тираду добродушнымъ смѣхомъ.

— Нѣтъ, господа! — воскликнулъ Цыбашевъ и широко всплеснулъ руками. — Не хочу я вѣрить, чтобы въ моло-

дежи все замерло и выродилось. Этого быть не может! Ее нельзя винить!.. Но вѣдь мы сами были студентами. Обезьянить—порокъ молодежи. Каждый изъ насъ проходилъ черезъ него. И въ наше время бывали пошляки, и какіе еще! Не мало было и глупаго фанфаронства, офицерскаго ухарства съ отгѣнкомъ марляшницы. И всѣ эти лейтенанты Бѣлосоры и Амалать-Беки превращались въ ярыгъ и пакостныхъ крѣпостниковъ. Но ядро было, ядро! Оно понимало Грановскихъ и Кудрявцевыхъ! Для него мы жили и работали и готовы были выносить гнетъ и каверзу! Вся эта молодежь считала аудиторію храмомъ, предѣломъ своихъ упованій и духовныхъ радостей!

Лыжинъ закрылъ глаза и прислушался.

„Старичокъ,—думалъ онъ,—ты счастливецъ! Сойдешь въ могилу все тѣмъ же задорнымъ энтузіастомъ, но тебя застраховали книга, кабинетъ, аудиторія. Ты не продѣлывалъ опытовъ на себѣ самомъ, ушелъ отъ того, чѣмъ я и мнѣ подобные кончаемъ!“

— Чай подавать, Порфирій Алексѣевичъ? — раздался отъ дверей жирный голосъ Авдоты Ѳоминишны.

— Давай! давай! — остановился Цыбашевъ и сдѣлалъ экономкѣ знакъ рукой.

— Есть хорошіе ребята, есть, — выговорилъ мягко и вдумчиво Гурьяновъ. — Но кто ими руководить?—Вотъ вопросъ.

— „There is the rub!“ — проговорилъ Заводинъ изъ „Гамлета“ и махнулъ рукой.

XVII.

Послѣ чая — девять уже пробило — совершенно незамѣтно разговоръ опять ушелъ въ даль, къ тѣмъ годамъ, когда Цыбашевъ и Пехлевановъ были молодыми людьми, къ эпохѣ увлеченія Франціей и ея реформаторами. И опять Пехлевановъ, съ блуждающей, полу-жалобной улыбкой началъ вспоминать кондитерскую Иванова, на углу Моховой и Симеоновскаго, газету Виктора (онъ произносилъ Викторъ) Консидерана, „*Démocratie pacifique*“, брошюры Прудона, дебаты въ тогдашней палатѣ.

Дошло и до книги Фурье: „*Le nouveau monde industriel*“.

Лыжинъ слушалъ съ полужакрытыми глазами и ему не вѣрилось, что въ одномъ и томъ же городѣ, въ теченіе какихъ-нибудь трехъ-четыреихъ часовъ, велись бесѣды

такъ глубоко различныя. Точно онъ попалъ въ царство тѣней.

Кабѣ, Прудонъ, Консидеранъ, Фурье—развѣ это не тѣни, не покойники, хотя одинъ изъ нихъ, кажется, до сихъ поръ еще живъ и гдѣ-то дотягиваетъ свой вѣкъ, забытый всѣми и у себя на родинѣ?

— Геніальная мысль по простотѣ,—слышался ему тихій и грустный голосъ благообразнаго старика съ серебристой большой бородой,—построить все не на туманныхъ отвлеченностяхъ, не на метафизикѣ, а на природѣ страстей человѣка.

— Геніальная?!—подхватилъ Цыбашевъ и задвигался въ своемъ креслѣ.—Геніальная!? Не знаю. Новая въ свое время, оригинальная, смѣлая, что вамъ угодно, но не геніальная. Геніально лишь то, что основано на потребностяхъ духа. Только это и вѣчно. Только это и можетъ поднимать человѣчество. Ничто иное. А не система, построенная на самомъ, въ сущности, безпардонномъ сенсуализмѣ и эвдемонизмѣ. Основаніе всему—физическое довольство, роскошь, безконечный комфортъ и механическое сочетаніе производительныхъ функцій, точно на какой-то фабрикѣ, гдѣ вмѣсто колесъ, гаекъ, блоковъ и ремней дѣйствуютъ сначала физическія пять чувствъ, потомъ четыре нравственныя чувства и три страсти—довольно-таки подсочиненныя и когда-то пресловутыя: *cabaliste*, *rapil-lone* и *composite*!..

Лыжинъ—въ первый разъ въ Москвѣ, съ тѣхъ поръ, какъ ходилъ по кружкамъ и „говорильнямъ“—присутствовалъ при перебираніи такой старинны. Изъ людей его поклѣпня, можетъ-быть, кое-кто читалъ Фурье; но, конечно, не всякій изъ нихъ отвѣтилъ бы сразу: чѣмъ страсть *cabaliste* отличается отъ страсти *composite*.

— Такъ нельзя, Порфирій Алексѣевичъ,—возразилъ, немного краснѣя, Пехлевановъ.--Цѣль была прекрасная: доказать, что цивилизація можетъ пойти совсѣмъ другимъ путемъ, если ее основать на гармоніи.

— Да основаніе-то всему что?.. Матеріальные позывы, признаніе роскоши и чувственности—чѣмъ-то архизаконнымъ!

— Гдѣ же это?

— Какъ, гдѣ?

Глаза Цыбашева еще сильнѣе разгорались.

— Лыжинъ, сдѣлайте мнѣ, калѣкъ, маленькое одолже-

ніе: вонъ на третьей полкѣ послѣ большихъ томовъ стоитъ пузатенькая книжка, въ переплетѣ. На корешкѣ заглавіе: „Le nouveau monde industriel“. Пожалуйста, достаньте ее.

Всѣ смолкли, дожидаясь книжки.

Она оказалась на томъ самомъ мѣстѣ. Лыжинъ отряхнулъ ее отъ пыли и подалъ Цыбашеву.

— Вотъ сейчасъ, сейчасъ, милѣйшій мой Семенъ Григорьевичъ!—возбужденно заговорилъ Цыбашевъ, беря толстую, короткую книжку изъ рукъ Лыжина.—Не въ службу, а въ дружбу,—обратился онъ къ нему опять,—дайте мнѣ мои очки... вонъ на письменномъ столѣ.

Гурьяновъ, сидѣвшій ближе къ столу, помогъ Лыжину отыскать футляръ.

— Вотъ, не угодно ли?..

Пальцы Цыбашева нервно перебирали листы.

— У меня есть даже два уголка. Тутъ какъ разъ изложеніе доктрины въ первомъ отдѣлѣ, который называется: „Section première“, съ подзаглавіемъ: „Analyse de l'attraction passionnée“.

Профессоръ, когда-то страстно любившій свое дѣло, проснулся въ старикъ и голосъ сейчасъ началъ вибрировать. По-французски произносилъ онъ чрезвычайно отчетливо и нарядно. Въ этомъ произношеніи слышался баринъ.

— Тэ-тэ-тэ: вотъ какъ разъ на слѣдующей же страницѣ... Не угодно ли прислушать, господа?

Онъ поправилъ очки на крупной переносицѣ и началъ съ разстановкой читать:

— „En tout temps et en tous lieux l'attraction passionnée a tendu et tendra à trois buts“... И какова же первая изъ этихъ цѣлей, къ которой страстная аттракція тяготеетъ?.. „Au luxe“,—продолжалъ онъ читать, все поднимая тонъ.—Вы слышали? „Au luxe ou plaisir des cinq sens“.

— Не къ одному этому!—тревожнѣе прервалъ Пехлевановъ.

— Погодите... Далѣе: „Aux groupes et séries de groupes, liens affectueux“.

— Тутъ и любовь, и дружба, и материнское чувство, и самолюбіе,—быстро и такъ же тревожно выговорилъ Пехлевановъ.

— Позвольте... И въ-третьихъ: „Au mécanisme des passions, caractères, instincts. Et par suite à l'unité universelle“.

— Видите?—вскричалъ Пехлевановъ, поднялся съ кресла и оглядѣлъ всѣхъ возбужденно.

— Никакого всемірнаго единенія, милый мой, нельзя основать на удовлетвореніи брюха и похоти. И вашъ сидѣлецъ-суконщикъ, хоть онъ и даровитый былъ самородокъ, только на Господа Бога клеветалъ, когда разражался такими истинами, какъ слѣдующая...

Цыбашевъ, еще быстрѣе раскрылъ книгу на сдѣланномъ когда-то уголкѣ и весело-задорно, съ игрой въ глазахъ, прочелъ:

— „Dieu, distributeur de l'attraction, donne à tous les enfants le goût des friandises“.

Онъ разсмѣялся очень молодо, высокимъ звукомъ, и его смѣху вторили всѣ, кромѣ Пехлеванова.

Пехлевановъ продолжалъ стоять въ возбужденной позѣ.

— Такъ нельзя, Порфирій Алексѣевичъ. Выхватывать цитаты и представлять все въ смѣшномъ видѣ. Идея великая! Безъ воли Провидѣнія ничего не можетъ быть въ видимомъ мірѣ!..

— Хотя бы и такъ,—серьезнѣе и спокойнѣе заговорилъ Цыбашевъ и положилъ себѣ книгу на колѣни.—Но вашъ учитель, дорогой мой Семенъ Григорьевичъ, плавалъ слишкомъ мелко. У него была манія, въ родѣ какъ у щедринаскаго Іудушки-Кровопивушки,—манія клѣточекъ, цифръ, сложенія и вычитанія, хозяйственныхъ примѣровъ. Нельзя, милый мой, на уходѣ за разными породами французскихъ грушъ, на какихъ-нибудь дюшесахъ тамъ что ли, философски демонстрировать всеобщее притяженіе страстей и мировую гармонію! Но это куда бы еще ни шло! Основаніе-то, ближайшая-то цѣль ограничены и лишены высшего критерія. Роскошь! Удобства! Удешаженіе производства! Пять разъ ѣда до отвалу въ день! Вотъ мы и видимъ, какіе плоды въ Западной Европѣ далъ этотъ натискъ рабочей массы къ матеріальному наслажденію, къ захвату или къ звѣрскому истребленію во имя того же захвата. Порадуйтесь!

Эта негодующая выходка Цыбашева только тутъ звала въ Лыжинѣ желаніе возражать.

— Позвольте мнѣ, Порфирій Алексѣевичъ, вставить одно замѣчаніе,—неувѣренно вымолвилъ онъ.

— Сдѣлайте одолженіе! Пожалуйста. Никому не запрещаю.

— Вы были всегда такимъ безусловнымъ защитникомъ нашей общины.

— И теперь въ этомъ пребываю.

— Прекрасно! Но вы и ваши сторонники прежде всего заботились о матеріальномъ благосостояніи крестьянской массы.

— Всеконечно!

— Въдѣ и это основаніе можетъ показаться, на иной взглядъ, слишкомъ мелкимъ.

— Позвольте-съ!—крикнулъ Цыбашевъ, и щеки его зардѣлись. — Позвольте-съ! Мы стояли и стоимъ за право крестьянъ на землю и за тотъ minimumъ довольства, безъ котораго нельзя ему выбраться изъ звѣринаго образа. Мы клали въ основу всего нравственный правовой идеаль общиннаго быта. Въ основу всего! И если жизнь не подтвердила нашихъ *pia desideria*, то потому только, что другихъ-то факторовъ развитія народной массы нѣтъ еще на-лицо до сихъ поръ... Это надо всѣмъ, въ первую голову, понять.

— Согласенъ,—отвѣтилъ увѣривше Лыжинъ и всталъ,— согласенъ въ абстракціи,—прибавилъ онъ другимъ тономъ,—но, мнѣ кажется, въ томъ ученіи есть одна здоровая сторона, а именно, что всѣмъ людямъ, бѣднымъ и богатымъ, мужикамъ и господамъ, дается программа жизни, сообразная ихъ свойствамъ, инстинктамъ и страстямъ. Другими словами, дается идеаль возможно широкаго развитія личности. А чѣмъ же лучше видѣть, какъ у насъ, изъ-за мистическаго народничества, люди считаютъ своимъ идеаломъ: пустилъ себѣ, съ позволенія сказать, вошь въ ухо, надѣлъ zipунъ—и счастливъ!?

Ему ужасно хотѣлось прибавить, отъ кого и когда онъ услышалъ эти клѣсткія выраженія.

— Развѣ я стою за такое изувѣрство?—крикнулъ Цыбашевъ. — Богъ съ вами! Вамъ прекрасно извѣстны мои взгляды. Дѣлайте для народа то, что считаете залогомъ его добрыхъ судебъ, но не создавайте себѣ изъ него фетиша!..

Въ дверяхъ показалась широкая фигура служительницы. Цыбашевъ увидалъ ее, остановился и выговорилъ:

Авдотья Фоминишна... Первое предостереженіе. Значить, безъ четверти десять. Она неумолима, какъ рокъ!

XVIII.

Раскаты голоса Цыбашева проносились въ головѣ Лыжина, когда онъ возвращался домой съ Плющихи, послѣ горячей бесѣды старцевъ въ „избушкѣ на курьихъ ножкахъ“.

Если бъ не появленіе Авдотьи Ооминишны въ дверяхъ кабинета—*memento dormiendi*—какъ называлъ это Цыбашевъ, онъ бы выложилъ передъ бывшимъ руководителемъ теперешнія свои карты, огорчилъ бы Порфирія Алексѣвича и вызвалъ бы сильный „разносъ“ съ его стороны, что было бы для него причиной припадка подагры ночью.

Его наполняло всю дорогу—Лыжинъ пошелъ пѣшкомъ по пустыннымъ бульварамъ, вплоть до Никитскихъ воротъ—одно чувство, всплывшее поверхъ всего.

Вотъ трое стариковъ. Каждому, по меньшей мѣрѣ, за шестьдесятъ пять, всѣмъ троицъ больше двухсотъ лѣтъ. Въ какое время родились и воспитались они? Въ самое тяжелое. Родились передъ николаевской эпохой, въ полосу мистическаго изуверства и аракчеевщины. Послѣ воспитывались, учились и были молодыми людьми въ самый развалъ реакціи сороковыхъ годовъ.

Какая вѣрность тому, что въ нихъ заложено—вѣрность до гробовой доски!

Цыбашевъ—энтузіастъ общины, другъ крестьянской массы, прогрессистъ, вѣрующій въ безконечный путь совершенства для всего человѣчества, несмотря на его гибельныя выходки противъ теперешнихъ французовъ, вѣрующій и въ русскій народъ не меньше любого славянофила.

Его не сдвинешь съ того камня, на которомъ онъ будетъ сидѣть до смерти, никакими доводами. А онъ не мистикъ! Онъ человѣкъ науки, пострадавшій, столько разъ въ жизни проходившій черезъ тяжкія испытанія гражданина и человѣка, черезъ потерю любимаго дѣла и обожаемыхъ дѣтей.

Гораздо попиже сортомъ его сверстники и пріатели—Пехлевановъ и Заводинъ. Одинъ съ сладковатымъ налетомъ „ученій“, бывшихъ въ модѣ въ концѣ сороковыхъ годовъ, вѣроятно, помѣщикъ и даже отставной чиновникъ, неспособный, конечно, сдѣлаться дѣятельнымъ фанатикомъ какой бы то ни было доктрины, но сохранившій въ сердцѣ мечту о томъ „фаланстерѣ“, гдѣ всѣ будутъ сладко ѣсть,

гдѣ работа превратится въ игру, гдѣ самыя грязныя профессіи окажутся упоительной забавой для цѣлыхъ когортъ подростковъ, склонныхъ къ вознѣ съ нечистотами.

Ничего такой благообразный старецъ навѣрно не со-
здавалъ, не приобрѣлъ: ни состоянія, ни чиновъ, скорѣе—
прожилъ двѣ трети своего наслѣдства „на сельтерской
водѣ“ — Лыжину вспомнилась острота одного злобнаго
холерика точно о такомъ старомъ баринѣ — и никогда
не былъ ни дѣятелемъ, ни борцомъ, ни за идею, ни за
свой интересъ.

Но онъ вѣренъ себѣ и своей эпохѣ. Онъ—тихій, мечта-
тельный, слабый и непослѣдовательный, а все-таки энту-
зіастъ и не знаетъ никакого душевнаго банкротства. И
онъ не извѣрился ни въ человѣчество, ни въ свою родину.

Пришибленнымъ смотрѣлъ третій, тотъ лысый, стран-
наго вида, въ скуфѣѣ, похожій на стараго еврея, хотя
онъ навѣрно такой же столбовой дворянинъ, какъ и
Пехлевановъ, и Цыбашевъ, и воспитался по-барски. Мо-
жетъ-быть, юношей полетѣлъ въ Берлинъ слушать уче-
никовъ великаго метафизика, погибшаго отъ холеры въ
званіи „rector magnificus“, или какого-нибудь великаго
филолога, знатока античнаго искусства. Потомъ бродилъ
по Италіи, переводилъ Аріоста и Петрарку, зачитывался
Винкельманомъ и Куглеромъ, проливалъ слезы восторга
надъ образомъ Беатриче, и передъ божественной головой
Діаны, и передъ Лаокоономъ, и посреди форума, гдѣ
каждый обломокъ камня, всякій кирпичъ, вынутый изъ
храма или триумфальной арки, наполнялъ его трепе-
таньемъ античнаго чувства.

И вотъ онъ теперь—старый, забытый, совсѣмъ присми-
рѣнный, навѣрно прожившійся, дрожитъ за своихъ дѣтей.
И цѣлая пропасть раздѣляетъ ихъ. Онъ не можетъ войти
къ нимъ въ душу, боится только, чтобъ они не попали
„въ Бутырки“ за какую-нибудь исторію, гдѣ скажется
ихъ „направленіе“, въ которомъ онъ умываетъ руки.
Душа его сыновей для него — потемки. Онъ съ ужасомъ
и стыдомъ, смягчая ихъ юморомъ, рассказываетъ людямъ
своего поколѣнія, какъ для его меньшого сына принцъ
датскій—„комикъ“.

Самъ же онъ такъ же вѣренъ себѣ, какъ и кипучій,
ни передъ чѣмъ не насующій Цыбашевъ, какъ и кроткій,
мечтательный Пехлевановъ. Эпоха сквозитъ изъ каждой
его поры—эпоха съ ясными идеалами, съ культомъ кра-

соты, съ проникновеніемъ въ обаятельную даль эллино-римской культуры.

Даже этотъ докторъ Гурьяновъ, человѣкъ почти шестидесятихъ годовъ — ему врядъ ли больше шестидесяти, — ровный и благодушный, безъ рисовки и безъ избыточныхъ общихъ мѣстъ радикализма, показываетъ каждой линіей лица, каждымъ звукомъ голоса, что отдѣляетъ его отъ племянника — этого доцента-практиканта, обирающаго бѣло-лизовыя ассигнаціи съ московскихъ обывателей. Какъ все должно быть ясно и твердо уложено въ его головѣ бывалаго и мыслящаго врача, который, по доброй волѣ, удаляется на покой въ Москву, гдѣ ему вольнѣе дышится съ людьми своего времени, и стыдитъ при случаѣ „племянника“ за его изувѣрское патріотическое чувство и циническое хапанье гонора въ геометрической прогрессіи.

Никто изъ нихъ не зналъ его страданій. И теперь — открой онъ свою душу любому изъ нихъ — онъ выслушаетъ или грозный разносъ, или мягкую отповѣдь сожалѣнія о томъ, что человѣкъ въ его годы, свободный, съ порядочными средствами, не умѣетъ или не хочетъ быть человѣкомъ „съ принципами“.

„И въ самомъ дѣлѣ, какая жалкая фигура: интеллигентъ, продѣлавшій надъ собою всякіе эксперименты и очутившійся „ни въ сихъ, ни въ оныхъ“! — думалъ съ горечью Лыжинъ, подходи по бульвару къ Никитскимъ воротамъ. — Даже не кающійся дворянинъ. Тотъ, по крайней мѣрѣ, до смерти каялся бы и стремился сбросить съ себя ветхаго человѣка, — а я?“

Онъ зналъ, что никакого новаго переворота въ немъ не произойдетъ. Вернется онъ въ свой меблированный домъ, въ одинокую спальню, раздѣнется, что-нибудь почитаетъ и долго-долго будетъ ворочаться въ постели, съ нервами, возбужденными обѣдомъ у Кумачева, виномъ, кофеемъ, разговорами тамъ и на Плющихѣ.

Нѣтъ и для сердца ничего манящаго впереди. Сорокъ лѣтъ уже минуло. Гоняться за приманкой любви уже поздно; а темпераментъ не надѣлилъ одной изъ тѣхъ основныхъ страстей, въ которыя старикъ Пехлевановъ долженъ вѣрить, какъ въ геніальное открытіе автора толстой книжки.

Этой самой раpillone у него нѣтъ, а если бы и была она, съ нею — только идти на постыдную старость!..

Било одиннадцатъ на колокольцѣ Никитскаго монастыря, когда Лыжинъ повернулъ въ свою улицу.

У подъѣзда его гарный стояла карета. Въ какомъ-нибудь помѣщичьемъ семействѣ чай и винтъ. Около самовара идетъ все тотъ же тягучій или обрывистый разговоръ о томъ, какъ „невозможно“ жить господамъ-дворянамъ ни въ усадьбахъ, гдѣ нельзя даже имѣть „порядочной кухни“, ни въ Москвѣ, гдѣ „адская дорогизна“.

Исходъ одинъ—закладывать и продавать.

То же дѣлаетъ и онъ—ни дать, ни взять, какъ всѣ эти ненужныя-существа, проводящія зиму въ этомъ „дворянскомъ гнѣздѣ“, съ нимъ подъ одной кровлей.

На широкой площадкѣ, еще ярко освѣщенной, онъ столкнулся съ Воденягинымъ—въ блузѣ. Тотъ провожалъ молодого человѣка, чрезвычайно худого, въ пальто безъ мѣхového воротника. Черные съ яркимъ блескомъ глаза и кривоватый носъ надъ тонкими усиками Лыжинъ успѣлъ схватить, и лицо это показалось ему не-русскимъ.

Онъ самъ задержалъ Воденягина около зеркала, у подъема наверхъ.

— Кто этотъ молодой человѣкъ?—спросилъ онъ вполголоса.

— Его фамилія—литературная: Огневъ; но настоящая—Хозькинъ.

И, усмѣхнувшись своимъ широкимъ ртомъ, Воденягинъ еще тише выговорилъ:

— Поэтъ... но званіемъ лакей.

— Какъ лакей?—удивленно переспросилъ Лыжинъ.

— Онъ—вы, быть-можетъ, примѣтили—еврей.

— Ну, и что же?

— И, по отсутствію надлежащихъ правъ, не можетъ проживать въ столицахъ. Вотъ, у одного газетчика онъ и значился въ лакеяхъ. А теперь это открылось...

Передъ Лыжинымъ пронесли въ эту минуту лица Сидоренко и Шахматова.

Воденягинъ поклонился ему и пошелъ по нижнему коридору.

„Заключительный аккордъ!“ — подумалъ Лыжинъ, тяжело поднимаясь къ себѣ въ своемъ сибирскомъ ергаки.

XIX.

Вокругъ одноэтажнаго дома въ усадьбѣ тихо завывала метель. Она крутила по пригорку, сметала снѣгъ съ его

боковъ и наваливала сугробы на террасу, такую же бѣлую по окраскѣ, какъ и снѣгъ.

Сзади надвигался на усадьбу съ ея небольшимъ садомъ—внизъ по пригорку—синій боръ, мерцающій сквозь снѣжную погоду.

Изъ трехъ большихъ оконъ, съ закрытыми ставнями, проходили, сквозь скважины досокъ, тонкія полоски свѣта.

Это была тѣсноватая гостиная, занимавшая весь фасадъ по террасѣ.

Беззвучными шагами ходила по засвѣжѣвшей комнатѣ, съ голыми оштукатуренными стѣнами, освѣщенной одной лампой, молодая женщина, въ темномъ домашнемъ платьѣ, съ пелериной, обшитой мѣхомъ; голову ея окутывала кружевная косынка; это была хозяйка усадьбы и окрестнаго участка земли — Лидіа Павловна Радина, пріятельница Лыжина.

Изъ-подъ чернаго кружева выглядывали глубоко-посаженные, огромные глаза,—то блестящіе, съ длиннымъ и ровнымъ блескомъ, то совсѣмъ потухающіе, обведенные темными вѣками. Худое лицо, съ мелкими нервными чертами, продолговатое и чрезвычайно тонкое по очертаніямъ своего овала и лба, блѣднѣло въ складкахъ кружева. Ротъ утратилъ свѣжесть и былъ сжатъ.

Ходила она медленно, какъ бы съ усиліемъ переступая,—съ руками, заложенными за талью, гибкую и еще стройную. Ноги, въ изящныхъ туфляхъ, были маленькія и съ высокимъ подъемомъ.

Она прислушивалась къ гулу метели, подходила къ двери балкона и сквозь щели ставень смотрѣла въ темную снѣжную ночь. Во всемъ домѣ чувствовалась жуткая тишина. Шелъ шестой часъ вечера.

Гостиная стояла съ голыми стѣнами, безъ портретовъ и занавѣсей, съ одиѣми ставнями. И тѣмъ рѣзче выдѣлилась остальная обстановка: коверъ, мебель, піанино, множество вещей, покрывавшихъ круглый столъ, гдѣ горѣла лампа, этажерка и письменное дамское бюро, приставленное къ одному изъ оконъ.

По всей гостиной, въ углахъ и за диваномъ, зеленѣли лучистые и лапчатые листья большихъ латаній и фикусовъ.

Всѣ эти портреты, статуэтки, альбомы привезены были изъ далека, изъ того далека, куда уже не тишетъ больше эту дѣвушку, еще не совсѣмъ отцвѣтшую, но уже съ налетомъ сѣдины на когда-то роскошныхъ черныхъ воло-

сахъ: они порѣдѣли послѣ тифа, бывшаго съ ней два года назадъ.

Въ домѣ всего пять комнатъ: спальня хозяйки, рядомъ съ гостиной, комнаты для гостей и для прислуги—и кухня. Широкий коридоръ раздѣляетъ его на двѣ половины—съ переднимъ и заднимъ крыльцомъ.

Ея горничная—Евгенія, пожилая дѣвушка, ѣздившая съ ней часто за границу, безмолвно сидитъ у себя въ комнатѣ и читаетъ. Она большая грамотейка и любительница газетъ. Готовить ходить „жепщина“, Настасья, жена садовника и кучера Финогена, единственнаго мужчины во всемъ хозяйствѣ. При немъ состояло цѣлыхъ пять псовъ: двѣ овчарки, одна легавая и двѣ шавки.

Иногда, по почамъ, они начинали выть на яркую луну или безпокойно заливаться лаемъ, зачуя волковъ.

Если зима будетъ сурова—появятся и волки около самаго дома. Въ прошломъ году они заходили на террасу.

Прислушиваясь къ метели, Ида вспоминала, какъ прошлой зимой, въ январѣ, она зачиталась, сидя у стола. И вдругъ слышитъ какое-то гудѣніе. Она подумала сначала, что это вѣтеръ. Но звукъ сдѣлался яснѣе и рѣзче. Онъ былъ похожъ на отдаленный паровой свистокъ.

Это ее такъ заинтересовало, что она подошла къ окну и — какъ всегда это дѣлала — приложила лицо къ стеклу, чтобы глядѣть сквозь щель въ ставнѣ. Ночь стояла облачная.

Сначала пара, потомъ двѣ пары угольковъ мелькнули передъ ней — и послышались быстрые и мягкіе прыжки по снѣгу.

Волкъ съ волчицей забѣжали на террасу.

И тотчасъ же пошелъ лай всѣхъ пяти собакъ, не грозный, а раздраженно-страстный и прерывистый. Онъ зачуяли опасность и не выбѣжали за ограду.

Вотъ и сегодня, она не удивилась бы, если бъ музыка метели перешла внезапно въ волчій вой, похожій на гулъ парового свистка.

Она привыкла къ своему почти полному одиночеству, особенно по вечерамъ. Сколько такихъ вечеровъ протекло въ прошлую зиму!

Колокольчику она не бывала рада послѣ сумерекъ, и слѣдила за ними всегда съ недовольнымъ чувствомъ. Кле выносила она „дамскіе“ разговоры о помѣщикахъ, и съ сосѣдями почти не зналась, кромѣ двухъ-трехъ ближай-

шихъ усадьбъ. Бесѣда мужчинъ была ей менѣе тяжка; да и то если они говорили про деревенскія дѣла.

Народъ начиналъ вызывать въ ней жалость и даже любопытство; всего больше дѣти.

Не нужно было никакихъ подговариваній со стороны земскаго начальства, чтобы мысль построить школу — въ верстѣ отъ себя, на шоссе, между тремя деревнями—возникла въ ней. Цѣлый годъ она этимъ занималась, обдумывала планъ, рубила лѣсъ, покупала кирпичъ, ходила все лѣто и осень, пѣшкомъ, на постройку. Изъ-за нѣкоторыхъ формальностей и выбора учительницы открытіе запоздало на два мѣсяца. Но желающихъ наберется, кажется, болѣе ста человѣкъ, — мальчиковъ вдвое больше, чѣмъ дѣвочекъ. Надо будетъ имѣть въ будущемъ двухъ учительницъ. Въ мезонинѣ найдутся двѣ спальни и общая столовая.

Рекомендованная ей изъ Москвы учительница Суревичъ понравилась ей. Завтра она должна придти сюда — готовить съ ней и горничной Женей подарки всѣмъ дѣтямъ: сто картузовъ съ лакомствами. Онѣ ихъ разставляютъ въ кухнѣ.

Отъ пріятеля своего Лыжина Ида ждала депеши. Сегодня, рано утромъ, Финогенъ поѣхалъ въ Москву и долженъ былъ, кромѣ закупки провизіи и винъ для завтрака, узнать, когда Юрій Петровичъ будетъ и гдѣ остановится. Она писала ему:

„Мы съ вами такіе ужъ старые, что, право, вы можете остаться переночевать у меня, если мы заговоримся и вы попадете ко мнѣ поздно. Постель будетъ лучше, чѣмъ въ ужасной гостиницѣ нашего уѣзднаго города“.

До ея тонкаго слуха долеталъ малѣйшій звукъ. Ей послышалось что-то въ концѣ коридора.

Ида вышла въ него и окликнула горничную:

— Жень! Пришелъ кто-нибудь?..

Въ родномъ языкѣ у нея былъ трудно уловимый, но несомнѣнный акцентъ—полу-французскій, полу-англійскій, усвоенный съ дѣтства, проведеннаго исключительно за границей. Голосъ звучалъ утомленно. На букву „р“ она слегка картавила—и по-русски, и на другихъ языкахъ...

Изъ темной глубины коридора раздался въ отвѣтъ мужской голосъ:

— Это я, Лидія Павловна.

— Вы, Финогенъ?

— Такъ точно.

— Все привезли? Подите сюда.

Финогенъ, еще покрытый снѣгомъ, въ высокихъ бѣлыхъ валенкахъ и полупшубкѣ, отряхивался и обтиралъ ноги о половику. Вышла изъ своей комнаты и Евгенія и замѣтила ему:

— Какъ васъ засыпало, Финогенъ Авдѣичъ!

— Погода! — пѣвуче проговорилъ Финогенъ и, отряхнувшись, какъ слѣдуетъ, прошелъ къ дверямъ гостиной, гдѣ Лидія Павловна приняла отъ него докладъ о поѣздкѣ въ городъ.

Коренастый, съ огромной русой бородой и вздернутымъ носомъ, Финогенъ смотрѣлъ подгороднимъ дворникомъ или прасоломъ, былъ очень рѣчистъ и всѣхъ господъ, разговарившихъ съ ними, называлъ всегда „милостивый государь“.

Онъ подаль барынѣ, кромѣ счета, еще пѣсколько нумеровъ газетъ, письмо и телеграмму.

— Позвольте вамъ доложить, сударыня: Юрія Петровича я не засталъ. Они уѣхали.

— Куда?

— Да, должно полагать, сюды... Не отъ нихъ ли и депеша?

Она была дѣйствительно отъ Лыжина и отправлена утромъ. Въ ней онъ извѣщалъ, что можетъ попасть въ Идѣ сегодня, если его не задержать въ уѣздномъ городѣ до поздняго вечера.

— Ah! mon Dieu! — полугромко вскрикнула Ида, по привычкѣ — про себя думать и говорить по-французски.

И тотчасъ же она распорядилась, чтобы Евгенія приготовила комнату для Юрія Петровича, а Финогенъ подмететь парадный подъѣздъ — и ворота не запираетъ до десяти часовъ. Его жена, Настасья, должна придти и быть наготовѣ что-нибудь приготовить горячее къ чаю.

Туалета своего Лидія Павловна не разсудила мѣнять. Ожиданіе Лыжина очень оживило ее.

XX.

Самоваръ весело мурлыкалъ. Они сидѣли за столомъ другъ противъ друга.

Ида угощала Лыжина, извиняясь за стряпню Настасьи. Лыжинъ находилъ все превосходнымъ и ѣлъ съ большимъ

аппетитомъ—ему не удалось пообѣдать ни на станціи, ни въ уѣздномъ городѣ.

Разговоръ ихъ шелъ наполовину по-русски, наполовину по-французски. Больше полугода они не видались. Онъ нашель, что Ида немного поправилась въ лицѣ, и если бъ не замѣтная сѣдина на вискахъ, то скорѣе помолодѣла, чѣмъ постарѣла.

И она похвалила его бодрый видъ, сказала, когда Лыжинъ вылѣзъ изъ своего ергака, засыпаннаго снѣгомъ, что онъ сталъ интереснѣе.

Почевать онъ не могъ у нея остаться сегодня, потому что долженъ былъ, завтра утромъ, очень рано встать; а изъ города ему было ближе къ его имѣнію—на нѣсколько верстъ ближе.

— Вотъ завтра, канунъ вашего праздника — открытія школы—я проведу у насъ, пріѣду подъ вечеръ и останусь ночевать.

Они пошутили и насчетъ того, что Ида писала ему о неловкости холостому проводить ночь въ домѣ дѣвушки, гдѣ не было никого больше: ни дѣтей, ни гувернантки, ни старой родственницы.

— Меня никто здѣсь не считаетъ барышней,—сказала ему Ида, когда они уже сидѣли за самоваромъ, и улыбнулась своей грустной улыбкой, немного вкось.

Говорила она это совсѣмъ просто, безъ ироніи, горечи или задора. Лыжинъ зналъ, что она—„не барышня“, что ея молодость ушла на потребность быть любимой, на исканіе беззавѣтнаго чувства.

Иду онъ сравнивалъ съ собою. Онъ—банкротъ принциповъ и теоретическихъ программъ жизни; она—банкротъ любви и жертва мужской „пакости“, какъ выражался онъ, не въ разговорахъ съ нею, а про себя.

Они подружились въ промежутокъ между двумя полосами ея женской судьбы, когда она была впервые выбита изъ колен. Ранняя свобода сироты, воспитанной въ англійскихъ привычкахъ, отдала ее въ руки увлекательнаго „просвѣтителя“ женщинъ. Тогда она не знала, что такое—не вѣрить кому-нибудь, если какое-нибудь человеческое существо даетъ вамъ слово или говорить: „это такъ“. Ея англійскія подруги не умѣли лгать и не понимали, какъ можно не сдерживать слова. А онъ былъ русскій баринъ, „могучая“ натура, большой актеръ, даже и въ тѣ минуты, когда страсть увлекала его. Ему казалось,

что онъ свободенъ, что онъ можетъ назвать ее женой. Но онъ *былъ* женатъ, онъ презрѣнно лгалъ, даже и тогда, когда признался въ томъ, что женатъ, и клялся, что добьется развода. Она скоро помирилась съ своей долей, не требовала законнаго брака, переносила тяжесть своего положенія—только бы ее любили и не лгали ей. Но ее бросили черезъ два года, и бросили постыдно, нахально; а раньше, чуть не съ четвертаго мѣсяца связи, она испытала, что такое мужчина—развратный, игрокъ, способный въ пьяномъ видѣ быть грубымъ, циническимъ, доходить до полнаго скотства. Она и это выносила изъ-за „миража любви“, по собственному ея выраженію.

Отрезвленіе ея казалось глубокимъ въ ту пору, когда Лыжинъ подружился съ нею. Оба были свободны; она съ разбитымъ сердцемъ, онъ — съ сердцемъ, не знавшимъ страсти, отданнымъ только исканію правды и пути въ жизни. Они могли бы полюбить другъ друга—и дальше дружбы не пошли. Какая-то неизгладимая и неувимая черта залегла между ними. Въ сердцѣ Иды, на днѣ его, была капля любовнаго яда, и Лыжинъ чужалъ, что онъ ее не выгнать. На женщину онъ не могъ тогда отдать всей своей души, даже и на такую привлекательную—съ изыщной вѣщностью, языкомъ, тономъ, съ глубокимъ обаяніемъ женственности, какой въ русскомъ обществѣ онъ рѣшительно не встрѣчалъ.

Друзьями имъ легко было сдѣлаться. У нихъ почти сразу установилась большая простота и смѣлость пріятельской бесѣды—и при личныхъ встрѣчахъ, и на перепискѣ. Ида ничего не скрывала въ своей интимной жизни, не скрывала и не прикрывалась; всегда у нея найдется настоящее слово и вѣрное опредѣленіе.

Познакомились они за границей, откуда Лыжинъ вскорѣ уѣхалъ. Онъ тогда звалъ ее въ Россію, въ деревню,—вотъ въ эту самую мѣстность,—сулилъ ей врачеваніе ея сердечной раны, если она уйдетъ въ какое-нибудь общее дѣло.

Ида, въ то время, была еще слишкомъ мало русская. Ее тянула къ себѣ заграничная жизнь. Она еще не высвободилась изъ-подъ ея авторитета... И года черезъ три опять проснулась въ ней жажда *настоящаго* чувства, ея вѣра въ то, что есть же на землѣ мужчины, способные любить безъ лжи и грязи.

Два года длился новый миражъ—и пробужденіе совѣмъ

ее пришибло. На этотъ разъ просвѣтитель былъ уже не русскій породистый хищникъ, безшабашный и жалкій въ своей дрянности, а европеецъ высшей пробы, парижанинъ, извѣстный писатель — „un aîné“, какъ называлъ онъ самъ себя, настоящій специалистъ по женщинѣ и любви. Тотъ велъ свои кампаніи упорно, съ особеннымъ искусствомъ, могъ, цѣлыми годами, носить личину, только затѣмъ, чтобы, подобно классическому Донъ-Жуану, испытать, хоть на мгновение, „un nouveau frisson“. И вотъ этого-то „frisson“ онъ, должно-быть, и не испыталъ, когда страждущая и обреченная на обманъ женщина предалась ему и тѣломъ, и душой.

Съ тѣхъ поръ пріятельница Лыжина заживо похоронила себя, пріѣхала сюда, выстроила себѣ домикъ и заперлась въ немъ. Народа она раньше не знала и не лънула къ нему, и вдругъ, по своей волѣ, надумала выстроить школу и обезпечить ея содержаніе.

Лыжинъ былъ бы глубоко обрадованъ такимъ „починкомъ“, будь это еще въ прошломъ году; теперь же онъ не могъ хвалить ее безъ оговорокъ, а оговорокъ не хотѣлъ дѣлать. Онъ увидалъ во всемъ этомъ признакъ неизбѣжной скуки и радъ былъ за нее гораздо больше, чѣмъ за самое дѣло.

— Продаете землю? — тихо спросила Ида, послѣ того, какъ они перешли изъ столовой въ гостиную.

— Вамъ жалъ изъ-за меня?

— Жаль... Вы могли бы поселиться здѣсь.

Ида заговорила объ этомъ по-русски. И вообще Лыжинъ нашелъ въ этотъ пріѣздъ, что она значительно „пообрусѣла“.

Ему бы слѣдовало излиться передъ ней, почему онъ хочетъ продать имѣніе, и ему стало не то что стыдно, а какъ бы „тошно“, перебирать все одно и то же. Въ началѣ ихъ разговора онъ ей сказалъ полушутя, полусерьезно, что дѣлается простымъ обывателемъ-буржуа, думаетъ устроиться въ Москвѣ и жить безъ всякихъ затѣй. Она его не разспрашивала и не возражала. У нея было драгоцѣнное свойство — не мѣшать вопросами, не вынуждать откровенности и самой говорить о себѣ тогда только, когда это ведетъ къ еще большому сближенію, когда это — новое доказательство дружбы и довѣрія.

За чаемъ Лыжинъ сказалъ ей, что пригласилъ на открытіе школы Кострицына, съ которымъ пріѣхалъ дѣлать

осмотръ имѣнія. Ей надо было позвать на завтра нѣсколько мѣстныхъ „gros bonnets“, въ томъ числѣ и ближайшую свою сосѣдку—старуху Козлишеву, жившую въ усадьбѣ съ лѣта.

— Vous voyez,—весело сказала Ида,—un vrai type!

Ида узнала отъ него и про то, кому онъ продаетъ имѣние, и разговоръ перешелъ, въ гостиной, на Нину Кумачеву—ея знакомую, еще за границей, когда та была еще подросткомъ, незадолго до смерти ея матери.

— Смотрите, — заговорила она тихо, въ шутиливомъ тонѣ,—не увлекитесь ею.—И прибавила по-французски:—Elle est très suggestiye.

Лыжинъ повторилъ это слово и покачалъ головой.

— А развѣ нѣтъ?—спросила Ида.

— Я думаю,—сказалъ онъ,—что у нея, какъ народъ говорить, не душа, а паръ.

— Да, она—fin de siècle!

— О, да!—вырвалось у Лыжина.

Онъ протянулъ къ ней обѣ руки.

— Мы съ вами—инвалиды,—выговорилъ онъ грустно и медленно.

— Инвалиды?—повторила Ида.

— Обломки крушенія... У васъ—любовь, у меня... скитанья и поиски чего-то.

— Вы—мужчина... Мужчина никогда не можетъ сказать, что жизнь его кончена,—твердо и спокойно вымолвила она.

— А женщина?.. Она въ другое ударится. Сердце въ васъ только замираетъ... временно... И проснется.

— Нѣтъ! Нѣтъ!

Она вырвала свои руки и провела ими по глазамъ.

— Нѣтъ, Лыжинъ! Вотъ здѣсь я хочу прожить всю свою жизнь. Идѣ нечѣмъ уже любить. Мужчина для нея больше не существуетъ. И мнѣ хорошо, увѣряю васъ... Лучше не надо.

— И туда не тянетъ?

— Куда? За границу? О! Нѣтъ!—воскликнула она иностраннымъ звукомъ.—Мнѣ тамъ противно. Кажется, я кончу тѣмъ, что полюблю...

Она остановилась.

— Народъ?—подсказалъ онъ.

— Да... Это что-то совсѣмъ для меня новое... И свои

жизнь кажется теперь... чѣмъ-то въ родѣ сна... Какъ-то стыдно думать о себѣ.

— Вотъ какъ! Ужъ не начитались ли книжекъ?

— Du Tolstoï?—шутливо спросила она.—Oh, non! Я не мистикъ—вы знаете. И потомъ одиночество—такая чудная вещь!

— Не думаете въ монастырь пойти?

— Puisque je ne suis nullement mystique... А когда и сильно захочу говорить съ другомъ—у меня есть вы... у меня есть Елена.

Она назвала имя ихъ общей пріятельницы—Елены Константиновны Акридиной. Лыжинъ вспомнилъ, что Кумачевой она приходится теткой. Ему захотѣлось разспросить о ней, скоро ли она будетъ сюда.

Въ дверяхъ гостиной послышался кашель Финогена. Онъ пришелъ доложить, что лошадей покормили и ямщикъ подалъ тройку къ парадному.

Надо было проститься—до завтра, до вечера.

XXI.

Ровно черезъ сутки, въ чистой и ярко освѣщенной кухнѣ шло приготовленіе подарковъ дѣтямъ на открытіе школы.

Лыжинъ пріѣхалъ къ позднему обѣду, и теперь пришелъ помогать женщинамъ уставлять на полу бумажные картузы съ гостинцами.

Кромѣ Настасьи—огромнаго роста бабы, въ сапогахъ и суконномъ кафтанѣ—и Евгениі, имѣвшей видъ засохшей сидѣлки, въ коричневомъ платьѣ съ пелериной, Лидіи Павловнѣ помогали еще учительница и дочь ея арендаторши. Суревичъ была ростомъ ниже средняго, съ худощавой грудью. Мужественное, доброе лицо, довольно полное, давно потеряло румянецъ. На ней опрятно сидѣло черное люстриновое платье, и свѣтло-русую косу она заворачивала на затылкѣ въ плотный узелъ. Дочь арендаторши, пріятельницы Лыжина, вдова мѣщанина Анисья Прохоровна Козѣхина, станомъ своимъ высилась надо всѣми остальными женщинами, кромѣ Настасьи: съ могучей грудью, блѣлая лицомъ, брюнетка, въ цвѣтномъ шерстяномъ платьѣ, хорошо и по-модному спитомъ. Ея большіе, продолговатые глаза искрились, пряди волосъ лоснились на вискахъ. Надъ верхней губой пробивался пу-

шокъ. Довольно крупный носъ шелъ къ ея лицу народнаго склада.

Она оказалась самой ловкой и проворной въ сортировкѣ лакомствъ и укладываніи ихъ въ бумажные картузы.

Лыжинъ, стоявшій въ эту минуту безъ дѣла, около двери, залюбовался на нее.

— Анисья Прохоровна!—окликнулъ онъ ее.

— Что вы?—пѣвуче спросила она своимъ контрольно-вымъ голосомъ.

— Вы всѣхъ насъ за поясъ заткнете. Не правда ли?—обратился онъ къ Идѣ, успѣвшей устать.

— Еще бы! Анисья Прохоровна такая же, какъ и Хіонія Ивановна.

Эти имена Ида произносила съ своимъ полу-иностран-нымъ акцентомъ и медленно, точно читала ихъ по печатному.

— А что же маменька?—спросилъ Лыжинъ, принимаясь опять помогать вдовѣ.

Они стояли рядомъ и до его слуха достигало дыханіе Анисьи Прохоровны,—дыханіе здоровой женщины, не очень привыкшей къ узкому корсету. На свой пышный станъ она живописно наклоняла голову, укладывая большой пряникъ въ картузъ.

— Маменька?—переспросила она и ласково поглядѣла на Лыжина вбокъ.

— Да, маменька, Хіонія Ивановна? Она здравствуетъ?

— Благодарствуйте. Маменька будетъ завтра... утромъ, туда, прямо въ школу.

У арендаторши Лыжинъ частенько бывалъ и видалъ ея дочь еще дѣвушкой. Она вышла замужъ въ Москву, за приказчика въ суровскую лавку, но скоро овдовѣла. У матери—ихъ четыре дочери и двое сыновей, и всѣ при ней, и всѣ при какомъ-нибудь дѣлѣ. Когда Анисья Прохоровна овдовѣла, то мать ей сказала: „учись швейному мастерству у хорошей мадамы, я за твое ученіе заплачу“. И въ полгода она постигла тайны кройки; теперь, живя при матери, работаетъ на щеголихъ уѣзднаго города, на женъ желѣзнодорожныхъ служащихъ и даже на барынь по усадьбамъ. Платье, которое сидитъ на ней такъ ловко и красиво, она сама и скроила, и сшила.

Взглядъ Лыжина отъ сосѣдки перешелъ къ учительницѣ. Она уставляла на полу, у стѣны, картузы вмѣстѣ съ Идой. Эта, пострадавшая за какія-то свои убѣжденія

дѣвица, жертва „самодурства“ того самаго Кумачева, которому онъ продаетъ землю, не вызывала въ немъ особенной жалости, не вызывала также и никакихъ брезгливыхъ мыслей.

Правда, она попадала изъ поповъ въ дьяконы, но въ этой школѣ, съ такой попечительницей, какъ Ида, ей, конечно, будетъ не плохо. Передъ тѣмъ, за чаемъ, она говорила, безъ фразы и слащавости, что она цѣлыхъ пять лѣтъ провела въ одномъ „медвѣжьемъ углу“, до назначенія въ Москву, и смотритъ на то время, какъ на самое дорогое для себя воспоминаніе.

Въ ней нѣтъ угловатости и рѣзкости настоящей „красной“—и Кумачевъ, устраняя ее, вѣроятно, желалъ передъ кѣмъ-нибудь заявить себя въ надлежащемъ свѣтѣ благонамѣренности.

Лыжинъ подошелъ къ учительницѣ и спросилъ ее ласково:

— Не помочь ли вамъ?

— Мы сейчасъ кончимъ, — весело отвѣтила она, и по ея широкому, некрасивому лицу улыбка расходилась точно ровное, свѣтлое пятно.

Ида бродила по кухнѣ беззвучно, медленно—то переставитъ готовый картузъ на полу, то наложить лакомствъ въ новый, то отдѣлить одинъ большой пряникъ отъ кучи.

— Вы, кажется, товѣ... приустали? — тихо спросилъ ее Лыжинъ.

— Немножко.

Ея глаза—эти чудные глаза въ глубокихъ впадинахъ, когда-то метавшіе искры любовнаго экстаза—мягко улыбались.

„Хорошо, что нашла себѣ игрушку!“ — подумалъ Лыжинъ и оглянулъ еще разъ всѣхъ этихъ женщинъ, занятыхъ однимъ и тѣмъ же дѣломъ, легкимъ и пріятнымъ, потому что завтра оно дастъ сильную радость цѣлой толпѣ ребятишекъ.

„Вотъ такъ бы,—продолжалъ онъ говорить про себя,—и каждому найти свою игрушку или свое неизбѣжное дѣло. Каждая изъ нихъ *живетъ* въ эту минуту, — даже моя бѣдная Ида, обломокъ крушенія, моя родная сестра по духу“...

И какъ бы устыдившись своего бесплоднаго резонерства, Лыжинъ вернулся къ Анисѣ Прохоровнѣ и сталъ помогать ей насыпать въ послѣдніе свободные картузы.

Въ дверяхъ показался Финогенъ, одѣтый по-дорожному.
— Лошади готовы,—объявилъ онъ и тише окликнулъ:—
Лидія Павловна, позвольте вамъ доложить одну вещь.

Ида вышла съ нимъ въ коридоръ, и оттуда можно
было слышать, какъ Финогенъ обстоятельно доклады-
валъ насчетъ завтрашняго дня. Провизія вся готова и по-
варъ доставленъ, также и вина. Самъ онъ довезетъ те-
перь „барышню“, т.-е. учительницу, и Анисью Прохоровну
въ школу, гдѣ онъ и останутся ночевать, и вернется,
чтобы завтра, засвѣтло, отвезти подарки и еще разные
вещи для сервировки стола.

Тихій голосъ Иды, ея односложныя слова: „хорошо“,
„это такъ“, раздавались въ отвѣтъ на докладъ Финогена.
Разъ два онъ ее называлъ „милостивая государыня“.

Черезъ пять минутъ работа въ кухнѣ прекратилась и
всѣ вышли въ коридоръ—проводить уѣзжавшихъ въ школу.
Ида заботливо спросила учительницу: не нужно ли дать
еще пледъ; но та бодро отвѣтила:

— Помилуйте, Лидія Павловна, тутъ два шага.

— А вы, Юрій Петровичъ, — сказала Лыжину вдова,
когда онъ поправилъ ей бѣлый платокъ на головѣ, откуда
ея энергическое и ясное лицо живописно смотрѣло, — вы
завтра, небось, будете къ самому молебну?

— Буду, буду... И съ матушкой вашей облобызаюсь.

— Она васъ очень одобряетъ, — съ усмѣшкой выгово-
рила Анисья Прохоровна и, наклонившись къ нему, при-
бавила: — жаль ей вашихъ угодій.

— Что жъ сама не купить?

— Капиталовъ нѣтъ, а въ расрочку вы не уступите,
небось?

Лыжинъ ничего не отвѣтилъ.

— Вы здѣсь ночевать будете?—спросила Анисья Про-
хоровна, и въ ея глазахъ проскользнули змѣйки.

— Здѣсь,—просто отвѣтилъ Лыжинъ.

И когда они остались вдвоемъ съ Идой, перейдя въ
гостиную, онъ, по-французски, передалъ ей послѣдній во-
просъ вдовы.

Она разсмѣялась.

— C'est ça, — сказала она, подходя къ піанино. — La
belle veuve vous jalouse, ami!

Лыжинъ также разсмѣялся.

— А ваша учительница?—спросилъ онъ и сѣлъ въ глу-
бинѣ комнаты.—По ея понятіямъ, вы свободный человѣкъ

и можете жить, какъ вамъ угодно... Но и она, навѣрно, думаетъ, что я...

— Кто? — откликнулась Ида, взявшая уже нѣсколько аккордовъ.

— Monsieur l'amant.

— Откуда это выраженіе? — спросила она.

Онъ сталъ припоминать.

— Вотъ откуда... Я читалъ книгу о мадамъ де-Сталь.

— Какая старина!

— Подъ конецъ, когда ей было уже за-сорокъ лѣтъ, послѣ несчастной любви,—вы помните, многіе годы героемъ ея романа былъ Бенжаме́нъ Констанъ,—она успокоилась на связи съ молодымъ болѣзненнымъ итальянцемъ... кавалеромъ Рокка. Вотъ его-то ей пріятели и называли „mon sieur l'amant“, когда она была съ нимъ уже тайно обвѣнчана.

— Такъ вы думаете, что m-lle Суревичъ et la belle veuve считаютъ васъ тѣмъ же?..

Она сказала это такъ просто и спокойно, что Лыжневъ тотчасъ же подумалъ:

„Для Иды нѣтъ теперь ничего щекотливаго. Все въ ней перенерво́ло“...

И ему стало менѣе жалко ее, чѣмъ это было даже и вчера. Чего же лучше, какъ не застраховать себя отъ страданій?

Раздались аккорды, и перешли въ горячую, порывистую мелодію, съ аккомпанементомъ, похожимъ на перебивы арфы.

— Откуда? — спросилъ Лыжневъ.

— „Les pêcheurs de perles“.

— Это, кажется, Бизе,—того, кто написалъ „Карменъ“?

— Да,—протяжно отвѣтила Ида.

Изъ-подъ ея нервныхъ, тонкихъ пальцевъ вырывался любовный дуэтъ; мятежная страсть и клокотала, и нѣжилась подъ раскаленнымъ небомъ Индіи.

Кругомъ метель чуть слышно доносилась съ террасы, занесенной снѣгомъ.

XXII.

Пара бойкихъ лошадокъ, съ бубенчиками, поднимала на изволокъ пошеви, покрытыя ковромъ. На облучкѣ сидѣлъ Финогенъ въ полушубкѣ и башлыкѣ.

Лыжина везли въ школу. Было сѣренькое утро, теплое

и тихое, послѣ вчерашней „погоды“. Снѣговая пелена, чистая и нетронутая, облекала все вокруг шоссеиной дороги и только поодаль, справа и слѣва, темнѣли опушки хвойнаго лѣса.

Финогенъ, на полпути, обернуль къ Лыжину свое широкое лицо съ вздернутымъ носомъ и крикнулъ прежде чѣмъ заговорить. Молчать онъ не могъ, разъ онъ вѣхалъ съ бариномъ, кто бы это ни былъ, а тѣмъ менѣе съ человѣкомъ, который находится въ пріятельствѣ съ его барышней.

Насчетъ того, „есть ли у него что-нибудь такое“ съ Лидіей Павловной, Финогенъ не позволялъ себѣ мудрить и подозрѣвать. Этотъ баринъ не былъ у нихъ на хуторѣ нѣсколько мѣсяцевъ, да и прежде наѣзжалъ не надолго. Не помнится ему—оставался ли ночевать. Какая же важность... У нихъ и „допрежъ“ ночевали господа — и молодые, и пожилые, какъ придется, безъ барынь. Барышни его такъ себя держатъ, какъ бы дама, и ее уважаютъ „на всю округу“.

Онъ слышалъ отъ арендаторши, отъ Хіоніи Ивановны Пустовой, и дочери ея Анисьи Прохоровны, что Лыжинъ продаетъ имѣніе купцу. Это его обижало,—и именно то, что купцу, а не барину, хотя онъ и долженъ былъ сознаться, что господа „совсѣмъ отбились“ отъ хозяйства, а купцы „забираютъ силу“ и умѣютъ „вести свою линію“.

— Позвольте васъ обезпечить вопросомъ, милостивый государь,—спросилъ Финогенъ, съ особой боковой усмѣшкой, почтительной и тонкой, — правда ли, что ваша милость продаетъ свою вотчину?

Лыжинъ высвободилъ лицо изъ-подъ воротника своей дахи и кивнулъ молча головой, въ знакъ согласія.

— И, слышно, тому фабриканту, господину Кумачеву?

— Ему.

— Экую силу забираетъ! На сколько верстъ все его угоды. Лѣсъ весь, поди, въ его руки перейдетъ. Вопъ,—Финогенъ указалъ кнутомъ влѣво, — у сосѣдки нашей, госпожи Козлишевой, тоже никакъ хочетъ покупать.

— Не слыхалъ,—откликнулся Лыжинъ.

Ему разспросы Финогена не были особенно пріятны.

— Да она крижиста. У ней деньги водятся. А вамъ, милостивый государь, нешто не жаль своей маютности?

Онъ опять обернулся всѣмъ своимъ фасомъ, и его лицо растянула вширь улыбка большого краснобака.

— Я—не хозяинъ.

— Вотъ бы такую же усадѣбку соорудили, какъ у нашей барышни; у васъ тамъ есть одно мѣсто, на рѣчкѣ,— важное. И стали бы жить да поживать.

Его игривые глаза какъ бы досказывали:

„Да и подъ вѣнецъ бы не худое дѣло встать, благо вы и годами подходите другъ къ дружѣ: она ужъ не очень молоденькая“.

Улыбнулся и Лыжинъ.

— Вамъ, Финогенъ, я думаю,—онъ говорилъ прислугѣ „вы“, а крестьянамъ „ты“, — житьё у Лидіи Павловны, точно у Христа за пазухой?

Финогенъ тряхнулъ на особый ладъ головой въ хорошей котиковой шапкѣ и опять протяжно крикнулъ:

— Барышня — благороднѣйшей души! Довѣрчивы ужъ больно. И всякое снисхожденіе готовы сдѣлать... По осени, — оживляясь, заговорилъ онъ, — арендательша... изволите знать, дѣшлая старушенція, — онъ сдержанно засмѣялся,—плотину у ней прорвало. По условію, ей съ барышни надо было получить сорокъ деревъ счетомъ, на выборъ. А она говоритъ: „миѣ, матушка, надо ихъ двойной комплектъ. Вѣдь ежели вы миѣ запретите, я все-равно порублю ихъ, и вы ни о чемъ не догадаетесь, хоша у васъ и полѣсовщикъ есть“. Видите, ваша милость, безъ главы въ домѣ — неудобно. Такъ, пожалуй, все и растащать.

Онъ ударилъ по коренной, и сани покатили, по новой порошѣ, подъ изволокъ.

За цѣлыхъ полверсты, въ ровной лощинѣ, у самой почти дороги, виднѣлась школа — высокая, съ красной крышей, обшитая тесомъ, веселая и уютная. Впереди — палисадникъ съ зеленой деревянной рѣшеткой. Сзади дворикъ съ сарайчикомъ. Въ мезонинѣ, сбоку, терраса, откуда долженъ былъ открываться красивый видъ на перелѣсокъ и станцію желѣзной дороги, стоявшую меньше чѣмъ въ верстѣ, и на усадьбу помѣщицы Козлишевой, съ бѣлой пятиглавой церковью и стариннымъ, бѣлымъ же каменнымъ домомъ.

Подъѣздъ приходился сбоку. Крыльцо и часть двора, около него, усыпаны были толпой ребятъ, ихъ отцовъ и матерей. У сарайчика урядникъ привязалъ свою верховую лошадь съ казацкимъ сѣдломъ. Въ глубинѣ двора стояли два господскихъ экипажа.

— Вишь кака! команда! — весело указавъ рукой Финогенъ на толпу ребятъ.

Лыжинъ зналъ порядочно эту мѣстность, хотя и не жила въ тутъ, не имѣлъ даже и своей избышки, а когда навѣдывался, то останавливался всегда въ городѣ. Его имѣніе лежало по ту сторону города, верстъ за двадцать пять, и въ другомъ уѣздѣ. Крестьяне окрестныхъ деревень жили не плохо, промышляли огородами и московскимъ легковымъ извозомъ.

Толпа смотрѣла скорѣе городскою, чѣмъ деревенскою; на мужчинахъ—суконные поддѣвки и полушубки; на бабахъ и дѣвкахъ—суконные же кафтаны или пальто, шерстяные платки на головахъ. Никто не носилъ лаптей. Незамѣтно было и оборванныхъ, плохо обутыхъ дѣтей, ни мальчиковъ, ни дѣвочекъ. Много мальчиковъ были въ ваточныхъ, суконныхъ и даже бархатныхъ картузахъ.

Сани подкатили къ крыльцу. Урядникъ, стоявшій тутъ, снялъ картузъ и потомъ крикнулъ:

— Разступитесь, православные... Дайте дорогу!

Финогенъ кивнулъ ему пріятельски и спросилъ вполголоса:

— И земскій начальникъ здѣсь?

— Сейчасъ прибылъ.

— А предводитель?

— И предводитель тутъ.

Изъ мѣстныхъ властей этого уѣзда Лыжинъ никого лично не зналъ. Но слышалъ, что предводитель—новый, изъ бывшихъ мировыхъ судей, и фамилія его Боярцевъ. Про земскаго начальника ему тоже что-то рассказывали, но что именно—онъ очень смутно припоминалъ. Кажется, то, что онъ пошелъ служить „по принципу“ и состояніе у него хорошее.

Протолкавшись, Лыжинъ вошелъ въ обширныя сѣни, гдѣ будущіе школьники и школьницы скучились въ дверяхъ одного изъ двухъ классовъ—самаго обширнаго. Тамъ уже шли приготовленія къ молебну. Шубу принялъ отъ него сторожъ изъ унтеровъ.

Лыжинъ искалъ глазами Кострицына; тотъ долженъ былъ пріѣхать прямо въ школу къ одиннадцати часамъ. Но, вѣроятно, его что-нибудь задержало. Отсюда они вернутся въ городъ и завтра произведутъ осмотръ той части лѣса, гдѣ они еще не были третьяго дня.

Впередъ Лыжинъ не захотѣлъ пробираться и зашелъ

въ другой классъ, стоявшій пустымъ. Оттуда, въ боковую дверь, ему видно было и столъ съ образами и чашей воды, и всѣхъ, кто стоялъ впереди. Священникъ и дьяконъ уже облачились. Кромѣ причетниковъ, нѣтъ пришли еще четверо мужчинъ — видомъ мастеровые; одинъ изъ нихъ былъ еще подростокъ.

Ида, въ темносинемъ платьѣ, съ широкими буффами на плечахъ, съ непокрытыми волосами—занимала уголъ. Она опустила голову и не замѣтила его прихода. По другую сторону стола — Анисья Прохоровна, во вчерашнемъ платьѣ, и рядомъ съ ней ея мать—Хіонія Ивановна, въ черномъ платочкѣ и шелковой темной кацавейкѣ. Лицо ея — морщинистое и загорѣлое, безъ бровей—оживлялось юркимъ выраженіемъ двухъ сѣрыхъ глазокъ, которые такъ и шыряли. Ротъ былъ сжатъ и немного выпяченъ. Она шепнула дочери, и та сейчасъ же повернула лицо къ двери и истово поклонилась Лыжину.

Передъ толпой дѣтей человѣкъ въ восемьдесятъ летъ, въ платьѣ учительницы, и ея широкое ясное лицо сдержанно улыбалось.

Мужчинъ было трое. Лыжинъ въ одномъ изъ нихъ призналъ предводителя—и ошибся. Онъ припалъ за него огромнаго роста барина, съ раздавшимся животомъ, лысаго, румянаго, лѣтъ за-сорокъ, затянутаго въ черный сюртукъ, съ отложными воротничками рубашки, изъ которыхъ бѣлѣла его толстая шея съ длиннымъ подбородкомъ. По формѣ усовъ онъ смотрѣлъ отставнымъ кавалеристомъ.

Ближе къ Идѣ стали двое другихъ: одинъ — большаго же роста блондинъ, курчавый, съ мелкими чертами лица, стройный, близорукій, одѣтый въ темную визитку и сѣрые панталоны, не похожій ни на мѣстное служебное лицо, ни на деревенскаго хозяина. Въ его красивыхъ глазахъ съ темными рѣсницами, въ бородкѣ, округленныхъ плечахъ и поворотѣ головы сквозило что-то совсѣмъ не отзывающееся уѣздомъ. Лыжинъ принялъ его за земскаго начальника—и опять ошибся. Рядомъ съ нимъ—небольшаго роста брюнетъ, худой, хмурый, плотно остриженный, съ длинными и топкими усами, весь въ синемъ шевіотѣ. Это и былъ земскій начальникъ.

Молебень начался. Священникъ, совсѣмъ ушедшій въ ризу, шитую на другой ростъ, сильно по-московски произносилъ „а“, дѣлая свои возгласы; дьяконъ задыхался;

пѣвчіе запѣли съ большимъ усердіемъ, и одинъ изъ причетниковъ, съ дрожащимъ голосомъ, давалъ имъ тонъ, забираясь безпрестанно на верхи.

Лыжинъ, глядя на Иду, въ первый разъ спросилъ себя, какія у нея вѣрованія? Можетъ ли она сливаться, хотя бы и въ видѣ символа, съ крестьянской массой, со всѣмъ этимъ взрослымъ и малолѣтнимъ людомъ, для котораго безъ обряда не можетъ быть никакого начинанія. Лыжинъ никогда не задѣвалъ съ ней такихъ вопросовъ, но думалъ, что она не склонна къ мистицизму, что врядъ ли найдетъ она прибѣжище въ вѣрѣ „своихъ отцовъ“ отъ мучительныхъ испытаній ея скорбной и грѣшной жизни,—грѣшной на взглядъ каждой бабы, дѣлающей теперь поклоны передъ столомъ, гдѣ стоятъ иконы вокругъ миски съ водой.

Позади его послышался осторожный скрипъ сапогъ.

Вошелъ Кострицынъ и всталъ за нимъ, сдѣлавъ ему знакъ рукой, чтобы онъ не беспокоился.

Пѣвчіе между тѣмъ пѣли. Молебенъ былъ въ полномъ ходу.

XXIII.

Къ концу молебна сторожъ, растолкавъ толпу ребятишекъ и крестьянъ, провелъ впередъ даму — высокую, въ черномъ шелковомъ платьѣ и кружевной, черной же, косынкѣ, въ парикѣ, старуху съ крупными и еще не очень позинялыми чертами. Глаза бойко озирались изъ-подъ густыхъ бровей. Фильшивыя челюсти сверкали бѣлизной зубовъ въ ея широкомъ и властномъ рту. Она упиралась на палку.

— Знаете, кто это?—спросилъ Кострицынъ на-ухо Лыжина, подойдя къ нему.—Это знаменитая Катерина Яковлевна Козлишева... Прямо изъ „Горе отъ ума“. Новѣйшая Аяфиса Нидовна Хлестова. Нинѣ Борисовнѣ приходится троюродной бабушкой, что ли... Экземпляръ!

Лыжинъ взглянулъ пристальнѣе въ старуху. Онъ уже зналъ, что она — ближайшая сосѣдка Иды, и слыхалъ — и не отъ одного Финогогена—про нее кое-что. Въ ней владѣльческій типъ сохранился еще въ чистомъ видѣ. И она, по свидѣтельству Финогогена, не уступаетъ своимъ угодіи куцу, хотя и въ Москвѣ, и въ усадьбѣ живетъ больше лѣтомъ и осенью; зимы же часто проводитъ гдѣ-то въ Санъ-Ремо или По.

Владѣльческій элементъ значился на-лицо и въ мужчинахъ. Средняго, купцовъ-помѣщиковъ, не было. Дворяне— и позади народъ. Къ народу принадлежали и двѣ женщины, стоявшія ближе къ господамъ: арендаторша Шустова и ея дочь.

Долголѣтіе дьяконъ возгласилъ томительно и хрипло, задыхаясь и растягивая слова. Идѣ, навѣрно, сдѣлалось жутко отъ того, что имя „болярыни Лидіи“ нужно было дьякону такъ громко выкрикивать.

Она переглянулась съ Лыжинымъ передъ тѣмъ, какъ священникъ пошелъ кропить святой водой оба этажа.

За нимъ двинулись гурьбой всѣ, и топотъ дѣтскихъ ногъ загудѣлъ въ просторныхъ бревенчатыхъ стѣнахъ школы.

Почетные гости остались въ классѣ, и Ида спросила издали Лыжина глазами, хочетъ онъ быть сейчасъ имъ представленъ... Онъ сдѣлалъ отрицательный жестъ головой и ушелъ съ Кострицынымъ въ сѣни, гдѣ они жадно закурили папиросы.

Съ Кострицынымъ Лыжину теперь гораздо легче. Вчера, объѣзжая часть имѣнія, они много говорили о „постороннихъ“ предметахъ, и Кострицынъ сталъ выясняться передъ нимъ. Онъ былъ несомнѣнный „интеллигентъ“, врядъ ли практикъ и карьеристъ. Если онъ и надѣвалъ на себя какой-то мундиръ,—мундиръ, похожій не то на скептицизмъ, не то на позитивизмъ,—въ немъ было что-то менѣе тошное и прѣсное, чѣмъ обыкновенное „направленство“.

Кострицынъ не высказывался насчетъ того, какого онъ мнѣнія о состояніи лѣсного участка, видѣннаго имъ, но въ его тонѣ чувствовалось, что онъ подтвердить докладъ управляющаго, и Кумачевъ не будетъ предлагать „легкую скидочку“.

Наверхъ поднялись только священникъ и нѣкоторые изъ взрослыхъ крестьянъ.

Учительница собрала всю молодую команду въ тотъ классъ, гдѣ служили молебень, и уставляла ихъ — мальчиковъ и дѣвочекъ отдѣльно.

Сторожъ, Филогенъ и двѣ женщины, доставленныя Хіоніей Ивановной, принесли всѣ картузы съ лакомствами и разставили ихъ по цѣлому ряду школьныхъ „парть“ — на столахъ и скамейкахъ.

Дѣтскія головы, блѣлые и темныя, повертывались

безпрестанно въ сторону этихъ картузовъ, и по ихъ лицамъ можно было видѣть, какъ они увѣрены, что тамъ положено.

Священникъ, въ рясѣ, сошелъ внизъ, покончивъ кропленіе водой комятъ верхняго этажа. Ида все съ той же медленностью движеній и съ утомленно-довольнымъ лицомъ пригласила почетныхъ гостей присѣсть и потомъ вошла въ кругъ дѣтей.

Началась раздача гостинцевъ. Учительница подавала ей картузы. Сторожъ и двѣ женщины сдерживали натискъ толпы малолѣтокъ. Съ четверть часа ихъ ручонки протягивались къ картузу и головы отвѣшивали поклоны. Иные, охваченные неожиданной радостью, убѣгали безъ поклона и сейчасъ же засовывали руку въ картузъ и вытаскивали оттуда расписной пряникъ съ глазурью.

Лыжинъ съ Кострицынымъ смотрѣли на все это изъ сѣней. Картина эта забавляла ихъ.

— Въ ожиданіи горькой духовной пищи, — сказалъ Кострицынъ и не выдержавъ — пустилъ свое „хе-хе“.

— По-вашему какъ, — спросилъ его Лыжинъ, — для народа такая пища — роскошь? И особенно та, которую будетъ давать имъ здѣсь госпожа Суревичъ, удаленная вашимъ патрономъ?

Кострицынъ повелъ плечомъ.

— Патронъ мой, по-своему, былъ правъ. Я говорю: по-своему, ибо ему эта дѣвица казалась слишкомъ красной. Здѣсь она, можетъ, и ко двору придется. Ваша пріятельница, Лидія Павловна, кажется, индифферентна насчетъ направленія?

Отвѣтить Лыжинъ не успѣлъ. Ихъ увидала Ида. Она поручила учительницѣ раздать остальные картузы и подошла къ дверямъ въ сѣни.

Лыжинъ представилъ ей Кострицына. Она пожала ему руку, сильно, по-англійски, и тотчасъ же сказала:

— Вы проголодались. Я такая плохая хозяйка. Юрій, — обратилась она къ Лыжину, при чемъ Кострицынъ невольно поглядѣлъ на него, — помогите мнѣ... Закуска должна быть готова. Пришлите мнѣ сказать сверху... А сами, — она глазами улынулась и Кострицыну, — не дожидайтесь почетныхъ особъ.

Они поднялись по свѣжимъ ступенькамъ широкой лѣстницы, построенной, какъ и весь домъ, изъ ядрѣнаго сосноваго дѣса.

Наверху они прошли широкими сѣнями съ русской печкой, гдѣ были устроены низкія нары на десять мѣстъ для дѣтей, которымъ въ суровую погоду далеко будетъ возвращаться домой.

— Умно! — одобрилъ Кострицынъ. — Безъ особыхъ заѣтъ и даже въ пародномъ вкусѣ, — указалъ онъ на печь.

Въ свѣтлой продолговатой комнатѣ, раздѣлявшей спальни учительницъ, все уже было готово къ завтраку. Анисья Прохоровна, раскрасѣвшись, такъ и летала съ одного края большого стола на другой. Ей помогалъ выписанный съ желѣзнодорожной станціи степеннаго вида офиціантъ во фракъ и нитяныхъ бѣлыхъ перчаткахъ. И старуха Шустова не оставалась сложа руки, ставила студы и поправляла на столѣ тарелки съ закуской.

— Хіонія Ивановна! — привѣтствовалъ ее Лыжинъ, подведи къ ней и Кострицына. — Вотъ, Иванъ Кузьмичъ, представительница народной мудрости и домовитости, моя пріятельница Хіонія Ивановна Шустова... арендуетъ у Лидіи Павловны хуторокъ и ведетъ хозяйство, что твоя Марѳа Борецкая.

Тонкая усмѣшка повела морщинистое лицо старухи. Она низко кланялась и разводила руками.

— А поцѣловать можно? — спросилъ Лыжинъ.

— Съ моимъ удовольствіемъ, батюшка.

Они три раза поцѣловались.

Пожелалъ сдѣлать то же и Кострицынъ.

— А вотъ ея дочка! Анисья Прохоровна, — окликнулъ Лыжинъ, — пожалуйте сюда!

Вдова, съ розовыми щеками и блескомъ своихъ густыхъ волосъ, быстро подошла къ нимъ и поклонилась крестьянскимъ поклономъ.

Оба подали ей руку.

— Вотъ этакихъ у Хіоніи Ивановны четыре дочери и два сына, — объяснилъ Лыжинъ, страхнувшій съ себя выматривающее настроеніе, бывшее у него внизу во время всего молебна.

— Мое вамъ почтеніе! — вырвалось у Кострицына. — И всѣ дочери у васъ такіа матерья? — спросилъ онъ у старухи.

— Которыя и поплоче маленько, — отвѣчала она имъ въ тонъ, и ея глазки весело заслезились.

Дочь ея улыбнулась и наклонила голову полу-стыдливомъ, народнымъ жестомъ.

— Анисья Прохоровна, — сказалъ ей Лыжинъ, — вотъ гость проголодался да и выпилъ бы водки. Вы здѣсь наибольшая. Разрѣшите съ позволенія Лидіи Павловны. Мы никакого безпорядка не произведемъ.

— И-и, батюшка, ваша воля, — сказала старуха. — Никто и не замѣтитъ. Мы и рюмочки вытремъ, и закуску поправимъ.

Хіонія Ивановна засуетилась около стола, приглашая ихъ обоихъ присѣсть. Анисья Прохоровна налила имъ водки и подставила два-три сорта закусокъ, приготовленныхъ вкусно и красиво. Лакея онѣ не допускали.

— Такъ, значитъ, все готово? — спросилъ Лыжинъ. — Лидія Павловна просила дать ей знать.

— Мы готовы-разготовы, — отозвалась старуха. — И чай приготовили, и кофей. Анисья, — кивнула она дочери, — сбѣгай, милая, на кухню и спроси повара — можно ли подавать горячее кушанье.

— Слушаю, маменька, — весело и покорно откликнулась дочь и той же величавой и быстрой походкой пошла къ сѣнямъ.

— Не повторить ли? — спросилъ Кострицынъ Лыжинъ, указывая на бутылку съ красной рябиновой настойкой.

— Съ холоду — пожалуй.

Незамѣтно у нихъ установился пріятельскій тонъ, и Лыжинъ былъ рѣшительно доволенъ тѣмъ, что на предстоящемъ завтракѣ около него будетъ умный человекъ, понимающій все по-своему, очень тонко, — родъ партнера, болѣе подходящаго къ нему, чѣмъ всѣ почетные гости, за исключеніемъ, быть-можетъ, того высокаго блондина, котораго онъ все еще считалъ земскимъ начальникомъ.

Внизу застучали сапоги мальчиковъ, двинувшихся гурьбой на крыльцо, и слышались окрики сторожа.

XXIV.

— Все это не то! — вдругъ разразился полный лысый баринъ и поднялъ кулакъ съ ножомъ, которымъ онъ только что рѣзалъ ростбифъ.

Лыжинъ уже зналъ теперь по именамъ всѣхъ троихъ мужчинъ.

Это былъ почетный мировой судья, по фамиліи Кличъ-Обношинъ.

— Почему же? — глухимъ голосомъ, но твердо спросилъ брюнетъ съ короткими волосами, земскій начальникъ

Ястребовъ, про котораго всё говорили, что онъ пошелъ служить „изъ принципа“.

— Ничего до тѣхъ поръ не будетъ у насъ путнаго, пока не убѣдятся, что для арміи нужны особеннаго рода кадры.

— Какъ же это?—съ косою усмѣшкой своего нервнаго рта спросилъ опять земскій начальникъ, служившій въ кавалеріи.

— А вотъ какъ-съ...

Мировой судья прожевалъ сначала большой кусокъ мяса и въ это время обводилъ весь столъ круглыми глазами съ маслянымъ блескомъ.

Завтракъ ужъ подходилъ къ концу, но шампанскаго еще не подавали и никто не собирался произносить спичъ или предложить здравицу. На двухъ концахъ стола сидѣли Ида и старуха Козлишева; около Иды съ обѣихъ сторонъ—Лыжинъ и высокій блондинъ, оказавшійся предводителемъ Боярцевымъ. Мировой судья и земскій начальникъ сидѣли другъ противъ друга. Кострицынъ помѣщался возлѣ предводителя, наискосокъ отъ Лыжина, и дальше учительница и батюшка, съ смуглымъ лицомъ восточнаго типа, въ бирюзовой рясѣ, съ рукавами, подбитыми шелкомъ. Дьякона и причетниковъ угощали особо.

— А вотъ какъ-съ!—повторилъ Кличъ-Обношинъ, прожевалъ окончательно кусокъ мяса и отпилъ краснаго вина.—Необходимы кадры двоякаго рода, чтобы въ нихъ народъ находилъ и духовную выучку, и военную.

— Духовную? —спросила съ своего почетнаго угла Козлишева.—Что это такое, mon cher? Я что-то въ толкъ не возьму.

— Да и мнѣ не ясно, —съ сдержанной ироніей выговорилъ земскій начальникъ.

— Родъ обителей! Чтобы въ нихъ поступали молодые парни болѣе зажиточныхъ семей... и проходили бы тамъ искусь... въ монастырской строгости и безусловномъ повиновеніи... А въ то же время обучались бы строю.

— И конному, и пѣшему? —спросилъ Кострицынъ и поглядѣлъ на Лыжина.

„Qu'est-ce qu'il radote?“—спросила его глазами и Ида, хранившая молчаніе утомленной хозяйки.

Разговоръ, оживившійся со второго блюда, былъ для нея чѣмъ-то совершенно чуждымъ и курьезнымъ; но ея

нервы уже не позволяли ей прислушиваться къ нему съ болѣе живымъ любопытствомъ.

— Да-съ, — громко и вѣсно выпалилъ Кличъ-Обношинъ, — по-конному и по-пѣшему!

— Это было бы нѣчто въ родѣ аракчеевскихъ военныхъ поселеній? — продолжалъ съ безстрастнымъ лицомъ освѣдомляться Кострицынъ.

— А что жъ? — еще побѣдоносно крикнулъ мировой судья. — Въ поселеніяхъ была превосходная идея, непонятая... И потомъ ее глупо охали, осмѣяли... всякіе разрушители.

Лыжинъ смотрѣлъ въ ту минуту на лицо учительницы. Она только что сказала что-то батюшкѣ; но, прислушаваясь къ послѣдней фразѣ Кличъ-Обношина, — какъ-то вся передернулася и удивленно поглядѣла на священника. Тотъ высматривалъ своими смѣющимися черными глазами съ хитрымъ выраженіемъ: „Пускай, молъ, господа суетловать“.

— Вы это серьезно, Теофилъ Теофиловичъ? — съ трудомъ выговорилъ Ястребовъ, и опять косая усмѣшка повела его нервный ротъ.

— Безусловно серьезно! Знаю, это можетъ показаться страннымъ. Но надо вникнуть въ идею. Русскій крестьянинъ всегда былъ и пахарь, и воинъ... Его брали на войну. Служилые люди являлись каждый съ своимъ мужицкимъ контингентомъ пѣшихъ и конныхъ... Конные дѣлились вдвое... И теперь намъ нарочито нужны лошади. Вѣдь скоро настанетъ время, когда на десять дворовъ будетъ по одной запряжкѣ. Развѣ это не вѣрно, Геннадій Николаевичъ? — окликнулъ онъ земскаго начальника.

— Пожалуй... Но въ вашихъ кавалерійскихъ монастыряхъ будутъ на лошадяхъ въ манежѣ ѣздить, а не пахать.

— И то, и другое! На все хватитъ время. И солдаты военныхъ поселеній въ Чугуевѣ и Новгородской губерніи были и земледѣльцы, и уланы. Но это не все! Обратите вниманіе на другую — духовную сторону дѣла. Парень получить не одну выучку солдата и пахаря, но и религіозное воспитаніе въ духѣ народно-государственной церкви — вотъ что важно! Это лучшій оплотъ противъ раскола, противъ штунды и всякой преступной пропаганды, идущей отъ господъ разрушителей.

Онъ обвелъ молодцоватымъ взглядомъ весь столъ, и глаза его остановились на священникѣ.

— Отецъ Антонъ? Развѣ въ этомъ нѣтъ самой плодотворной идеи? Чтò вы скажете?

Батюшка вскинулъ волнистыми прядями, потревоженный въ своемъ пріятномъ настроеніи слушателя и наблюдателя.

— Одно дѣло—идея, другое дѣло—выполненіе... хе-хе!—отшутился онъ, и съ той же лукавой усмѣшкой повелъ головой.—И выполненіе было бы возможнымъ, если бъ у насъ теперь не мудрили изъ города *Санктпетербурха*,—выговорилъ онъ, скандируя слоги,—и понимали бы духъ и потребности русскаго народа. Вы, Романъ Денисовичъ,—повернулся онъ въ сторону предводителя,—насколько я знакомъ... такъ сказать, съ пошибомъ вашихъ идей,—вы должны сочувствовать...

— Такимъ военнымъ обителямъ?—спросилъ Боярцевъ, не мѣняя спокойной и увѣренной позы, и только поднялъ голову молодымъ жестомъ.—Русскій народъ въ тѣ времена, когда онъ жилъ безъ всякой искусственной петербургской муштры, не зналъ казарменнаго устройства. Иноки спасались, а служилые люди жили на своихъ участкахъ, среди черныхъ и бѣлыхъ хлѣбопашцевъ, и тѣ переходили отъ сохи къ дроту и пищалямъ; но никто ихъ, однако, не загонялъ въ остроги для обученія военному строю пополамъ съ иноческою жизнью.

Лыжнинъ опять встрѣтился взглядомъ съ Кострицынымъ. Этотъ предводитель заинтересовалъ его своимъ тономъ и манерой говорить. Въ его отвѣдѣ чужая челоуѣкъ съ характернымъ развитіемъ.

— Господа,—вдругъ заговорила Козлишева густымъ голосомъ и точно вбивая гвозди въ каждый слогъ,—вы удалились куда-то въ сторону. У Теофила Теофиловича—прекрасныя намѣренія. Надо нашего мужичка поднять—это такъ. Онъ не долженъ быть предоставленъ самому себѣ. Бога онъ почитаетъ, но его богочитаніе неидетъ ему впрокъ. Надъ нимъ нуженъ надзоръ, и слѣдуетъ радоваться, что такіе люди, какъ нашъ Геннадій Николаевичъ,—она кивнула головой въ сторону земскаго начальника,—идутъ на службу съ этой благой цѣлью. Правдственности нѣтъ, страха нѣтъ—и работать онъ не хочетъ. Мой другъ, князь Жеребьевъ, не нашъ, не блажен-

венькій князь Иларіонъ,—засмѣялась она зычно,—а двоюродный братъ его, князь Петръ,—тотъ мнѣ прошлой зимой, за границей, читаль записку. Онъ доказываетъ цифрами, что нашъ народъ работаетъ вдвое меньше, чѣмъ гдѣ угодно—у нѣмцевъ, у французовъ, даже у итальянцевъ. Сто слишкомъ дней надо выкинуть изъ года.

— Это вѣрно!—убѣжденнымъ звукомъ пустилъ земскій начальникъ.

— Но, — продолжала Козлишева, и ея голосъ гудѣлъ еще внушительнѣе, — друзья мои, мы забываемъ, что мы здѣсь на открытіи школы. И просвѣщеніе нужно народу. Это—такъ!

Офиціантъ, какъ разъ, началъ разливать шампанское.

— Пускай одинъ изъ васъ, господа, привѣтствуетъ устроительницу школы. Надо пожелать,—при этомъ Козлишева подняла палецъ вверхъ, — надо пожелать, чтобы грамота пошла впрокъ мальчикамъ и дѣвочкамъ. Батюшка,—она кивнула священнику,—наставитъ эту юную паству свою. Это такъ же важно, какъ и всякіе методы.

— По новѣйшему звуковому способу!—задорно подхватилъ Кличъ-Обношинъ.

— И такъ, господа, — продолжала Козлишева, — мы ждемъ... Геннадій Николаевичъ, вы — пѣстунъ народа, вамъ и слѣдуетъ...

— Почему же?—тревожно спросилъ Ястребовъ.—Здѣсь Романъ Денисовичъ. Онъ—представитель сословія, къ которому Лидія Павловна имѣетъ честь принадлежать!

Ида потупилась. Она почти съ замираніемъ сердца ждала какого-нибудь слова, обращеннаго къ ней.

— Романъ Денисовичъ! Мы ждемъ! — торжественно и властно окликнула Козлишева.

Болрцевъ поднялся и взялъ бокалъ.

— Честь и хвала учредительницѣ школы, Лидіи Павловнѣ Радиной! Въ лицѣ ея, — щеки предводителя слегка зарумянились, — отрадно видѣть возвращеніе на лоно родины русской женщины, которая, вообще говоря, такъ часто теряетъ на Западѣ чувство своей связи съ народомъ. Какъ его учить—мудреный вопросъ, но учить его надо, и учить въ духѣ его вѣковыхъ упованій и задачъ. Не создавать себѣ изъ него кумира, не дѣлать его игрушкой своихъ тлетворныхъ и безумныхъ затѣй, а войти въ его духъ и не давать ему камня тогда, когда онъ про-

ситъ духовнаго хлѣба. Здоровье .Ииди Павловны!—закончилъ онъ высокой, вибрирующей нотой.

Всѣ встали и началось чоканье съ хозяйкой. Ида молча улыбалась, и, только послѣ одобрительнаго возгласа Козлишевой, выговорила:

— Vous me comblez!

Съ учительницей она поцѣловалась и, подавая руку .Лыжину, сказала:

— Вы довольны?

— Доволенъ, больше всего тѣмъ,—отвѣтилъ онъ громко,—что вы—такая ясная и милая!

И онъ поцѣловалъ ея руку.

Когда, послѣ пирожнаго, окончательно поднялись отъ стола, то .Лыжинъ замѣтилъ, что изъ всѣхъ мужчинъ, кромѣ батюшки, перекрестился, и очень истоиво, одинъ только предводитель.

Кострицынъ подошелъ къ .Лыжину съ бокаломъ и сказалъ:

— Чокнемтесь, Юрій Петровичъ, и выпьемъ за освобожденіе личности!

.Лыжинъ чокнулся и допилъ до дна свое вино.

XXV.

Узкій проселокъ, между сугробами, вился по перелѣску въ гору. Полдень, съ радостнымъ искристымъ солнцемъ, игралъ на свѣжемъ снѣгу.

Въ рогожной кибиткѣ, безъ верха, .Лыжинъ съ Кострицынымъ, лежа на сѣнѣ, прикрытомъ какой-то дерюгой, тихо разговаривали, подъ звяканье туго привязаннаго колокольчика.

Они ѣхали къ князю Иларіону. Заѣхать къ нему предложилъ Кострицынъ по дорогѣ въ городъ. У него было къ нему письмо отъ Антонины Борисовны Кумачевой съ предложеніемъ погостить у нихъ, такъ какъ князь собирался въ Москву, зимой. .Лыжина давно занимала эта фигура; но онъ не искалъ ближайшаго знакомства съ княземъ, изъ боязни—найти совсѣмъ не то, что представлялъ себѣ.

Кострицынъ тоже былъ наслышанъ о немъ—зналъ даже, что князь—рѣдкій, почти единственный „эпигонъ“ гегеліанской эпохи, оставшійся все такимъ же вѣрующимъ послѣдователемъ берлинскаго философа.

— Да который же ему годъ?—спросилъ Лыжинъ, поворачиваясь лицомъ къ своему спутнику.

— Подъ восемьдесятъ. Онъ если не слышалъ самого Гегеля, то попалъ въ Берлинъ въ первые годы послѣ холеры.

— Холеры?—переспросилъ Лыжинъ.

— Да; вѣдь Гегель умеръ холерой, въ началѣ тридцатыхъ, когда она перекочевала изъ Россіи въ Пруссію. Онъ былъ Rector magnificus.

— Вы видали князя?

— Всего разъ. И въ очень курьезной обстановкѣ. Мнѣ случилась надобность—я еще былъ студентомъ-филологомъ—заказать себѣ недорогую этажерку для книгъ—знаете, такую висячую. Захожу къ столяру, тамъ, на Патриаршихъ-Прудахъ. Столяръ не важный, безъ вывѣски, старичокъ... Мы съ нимъ разговорились. Изъ бывшихъ крѣпостныхъ... И вотъ этого самаго князя Иларіона Ивановича. Захожу къ нему—онъ, разумѣется, въ срокъ вещи не доставилъ—и застаю у него старца. Наружность—точно пророкъ Ильи. Богатырь! Вотъ вы увидите, если только онъ еще сохранился въ прежнемъ видѣ. И что же оказалось? Князь, въ ту зиму, имѣлъ еще свою мастерскую, гдѣ онъ производилъ разные опыты по технической части, столарныя вещи производилъ, изобрѣлъ особый станокъ пилить фанерки изъ цѣнныхъ деревьевъ. И съ своимъ старикомъ онъ водилъ пріятельство и помогалъ ему.

— Вѣдь онъ далъ своимъ крестьянамъ волю?

— Какъ же! Еще до эмансипаціи.

— Подарилъ всю землю?

— Подарилъ! Оставилъ себѣ только кусокъ лѣса, гдѣ стоитъ его избушка.

Они переглянулись, и Лыжинъ, приподнявшись немного, выговорилъ съ особеннымъ выраженіемъ:

— Значить,—господа народники, какъ французы говорить—enfocés? Съ носомъ?

Оба они засмѣялись. Наканунѣ у нихъ былъ большой разговоръ о народѣ и его радѣтеляхъ „изъ интеллигенціи“, и Лыжину дѣлалось ясно, что они съ Кострицынымъ ближе другъ другу по взглядамъ, чѣмъ онъ думалъ; но „амбарный Сократъ“ болѣе выспрашивалъ его, чѣмъ самъ говорилъ.

— А вы какъ смотрите на такой поступокъ?—спросилъ Кострицынъ вмѣсто отвѣта.

— Само по себѣ разумѣется—хорошо.

— Красиво! И въ тысячу разъ скромнѣе и проще, чѣмъ нынѣшніе опростѣлые радѣтели. Тѣ сами въ родство впадаютъ, по части мужицкой жизни, но что-то не слышать, чтобы они вотчину въ нѣсколько тысячъ десятинъ отдавали мужикамъ. Прежде бывали такіе случаи при крѣпостномъ правѣ. И князь Иларіонъ, и его предшественники по той же части дѣлали это, говорю я, въ сто разъ проще, не носились съ своей пра-а-авдой,—растянули Кострицынъ,—и не кичились своей мудростью и евангельской чистотой. Все это такъ! Но, спрашиваю я васъ, помѣщика, прошедшаго, если не ошибаюсь, черезъ народолубіе, что своимъ даромъ земли князь Иларіонъ сдѣлалъ?

— Навѣрно—очень мало.

— Если не ровно ничего! Я слышалъ, и это не трудно фактически узнать, что его бывшіе крѣпостные, которымъ отошли всѣ его угодья, живутъ очень плохо, во много разъ хуже, чѣмъ по ту сторону, тамъ вотъ, гдѣ усадьба Лидіи Павловны; всѣ пропились, въ кабалѣ у мелкихъ просоловъ и кабатчиковъ, слывуть первыми жуликами и плутами, за недоимки постоянная у нихъ идетъ порка и продажа животишекъ... Хе-хе!

— Этотъ аргументъ господа народники не примутъ.

— Мало ли чтѣ! Но онъ—на-лицо. Князь самъ себя ослабилъ, свою личность, свой даровитый и благородный починъ. Вѣдь онъ не такъ, какъ нынѣшніе *пейзанофилы*,—подчеркнулъ Кострицынъ сочиненное имъ слово,—онъ противъ знанія не бунтуетъ. Напротивъ, метафизика не помѣшала ему и точными науками заниматься. Онъ вѣдь и механикъ, и инженеръ, и музыкантъ, и столяръ. Его идея была, какъ я знаю,—а знаю это отъ Антонины Борисовны,—поднять въ крестьянствѣ кустарные промыслы. Кое-какія деньжонки онъ себѣ оставилъ и на нихъ заводилъ въ Москвѣ и мастерскія. И долженъ былъ все это прекратить. Никого онъ не выучилъ и никакой отрасли ремесленного труда не развилъ у себя. На это нужно было, кромѣ денегъ, и земля, и угодья, и вліяніе вотчинника. А онъ въ глазахъ своихъ мужиковъ — „блаженъ мужъ“. Стцы еще были ему благодарны, а сыновья-то, навѣрно, перестали и помнить.

— Я слышалъ, однакожъ,—перебилъ Лыжинъ,—что-то такое... какъ будто все село его кормить?

— Какъ же! Какъ же! Но въ этомъ я и вижу чудачество. Врядъ ли онъ доходитъ до того, что ему ѣсть нечего. Легенда есть очень красивая, какъ князь выходилъ на опушку лѣса и, стоя на пригоркѣ, кричалъ своимъ грозовымъ голосомъ: „хлѣба нѣтъ!“—И ему несли.

— Я что-то въ этомъ вкусъ и слышалъ.

— Можетъ-быть... Сомнѣваюсь: до послѣдняго ли года такъ было? Бывшіе его мужики—пропойцы и полунинцы. Ему, бѣднягѣ, очень плохо приходится. Врядъ ли приносятъ ему все, что слѣдуетъ. Дрова онъ самъ рубить.

Кострицынъ помолчалъ и заговорилъ другимъ тономъ.

— Антонина Борисовна—между нами—и просила меня до всего этого дойти. Ей жаль старика.

— Да и непріятно, изъ дворянскаго гонора,—добавилъ Лыжинъ.

— Не безъ того. И здоровье его, кажется, немного покачнулось. Пржеде онъ, когда въ Москву прїѣзжалъ, у нихъ не живалъ. Она хотѣла бы, чтобы онъ провелъ у нихъ мѣсяцъ-другой... Конечно, Захаръ Лукьяновичъ готовъ былъ бы всячески поддержать его, но старецъ гордъ.

„Для полноты семейной картины, красивый дядя—князь съ наружностью пророка Іліи и въ нѣкоторомъ родѣ приживальщикъ“,—подумалъ Лыжинъ, но вслухъ этого не сказалъ.

— Скоро поворотъ къ селу Сазонову?—окликнулъ ямщика Кострицынъ.

— Верста—не больше. Вамъ къ князю Иларіону Ивановичу?—спросилъ ямщикъ, оборачивая къ нимъ красное молодое лицо.

— Къ нему.

— Знаемъ, ваша милость.

— И самого князя видалъ?

— Видалъ.

— Ну, какъ ты о немъ скажешь?—вмѣшался въ разговоръ и Лыжинъ.

— Да какъ сказать, господа?.. Чудаковаты! Для души спасенія проживаетъ, какъ ровно пустынный.

— Вотъ слышите,—тихо подсказалъ Кострицынъ. — Я вамъ говорю: „блаженъ мужъ“. И его отречение отъ владѣльческихъ правъ въ глазахъ народа—барское юродство. Православные, хоть и той вѣры, что „земля наша“, а будь они, всѣмъ міромъ, на мѣстѣ князя—они полоски бы даромъ никому не отдали.

— Они сами землю пахали, — почти нѣхотя возразилъ Лыжинъ.

— Юрій Петровичъ! Извините. Вѣдь этотъ аргументъ давно выдохся. Будь князь Иларіонъ писатель, заработай онъ трудомъ сто тысячъ и отдай ихъ тѣмъ же мужикамъ— вѣдь этотъ капиталъ былъ бы его кровный, все равно, что распаханная новъ. Это первое. А второе — подарилъ онъ имъ и лѣсъ... Ужъ согласитесь: лѣсъ-то они не распахивали, а только, я думаю, воровали и до воли.

— Конечно!—согласился Лыжинъ.

— И выйдетъ: „блаженъ мужъ“ — для народа, а для насъ съ вами — обломокъ цѣлой эпохи умственного расцвѣта. Родовитому русскому князю, пламенному ученику Гегеля—я поклонюсь, хоть я и не его философскаго толка. И онъ, и ему подобные воздѣлывали свою пиву, какъ подобаешь людямъ, составлявшимъ соль своей земли. Это было главное. А остальное—благородное юродство!

Тройка круто свернула вправо и, оставя въ сторонѣ околицу села, стала подниматься къ лѣсу.

XXVI.

— Вонъ туды идите, — указалъ имъ ямщикъ, когда тройка остановилась у новаго пригорка, совсѣмъ занесеннаго снѣгомъ.

— Да здѣсь завязнешь,—весело замѣтилъ Кострицынъ. Они оба уже вылѣзли изъ саней.

— Тройка есть... По ней и придете.

Свѣжіе слѣды видны были въ снѣгу и вели къ рѣдкой опушкѣ, позади которой на небольшой „плѣшинкѣ“ стоялъ домикъ князя съ дворикомъ, наполовину въ сугробахъ.

Оба были въ высокихъ валенкахъ и безъ особеннаго труда добрались до калитки. Передъ домикомъ шелъ садикъ съ фруктовыми деревьями—саженъ пять въ длину—отъ калитки до крылечка. Бревна домика потемнѣли, но весь онъ смотрѣлъ исправно.

Изъ конуры выскочилъ песъ, шершавый и очень старый, хрипло и злобно залаялъ на нихъ и запрыгалъ на цѣпи.

— Ничего, не страшимся,—пошутилъ Кострицынъ, проникая первый въ калитку.

Она была заперта на задвижку.

Лай собаки и звонъ колокольчика вызвали хозяина домика на крыльцо.

Лыжинъ приостановился у порога калитки, точно за

тѣмъ, чтобы схватить цѣльнѣе и отчетливѣе весь обликъ того, кто, по толкованію Кострицына, только „блаженъ мужъ“ въ глазахъ народа, котораго онъ облагодѣтельствовалъ.

Князь вышелъ на крыльцо, въ сѣромъ домашнемъ казакинѣ, со стоячимъ воротникомъ, въ родѣ такого, какіе носили ополченскіе офицеры въ крымскую кампанію, въ большихъ сапогахъ и на головѣ высокая мѣховая шапка. Она необычайно хорошо—на свѣту, смягченномъ деревьями—выставляла его крупное, загорѣлое лицо съ орлинымъ носомъ и длинной роскошной бородой, шедшей почти до пояса. Брови—темнѣе бороды и вьющихся волосъ на вискахъ—шли острой дугой и были гуще кнаружи. Широкая грудь и посадка головы давали ему, при ростѣ вершковъ въ десять, могучую молодцоватость. Онъ совсѣмъ еще не горбился и, выйдя на крыльцо, отъ солнца защитилъ глаза рукой.

Сейчасъ же Лыжинъ вспомнилъ знаменитаго пѣвца въ роли мельника, въ оперѣ Даргомыжскаго, котораго видѣлъ студентомъ, кажется, на прощальномъ бенефисѣ, попавъ въ Петербургъ. Только князь былъ на полголовы выше ростомъ.

„Нѣтъ, это — не „блаженъ мужъ“, — подумалъ онъ и, пропустивъ впередъ Кострицына, съ такимъ именно выраженіемъ поглядѣлъ на него. Тотъ тоже улыбнулся ему въ отвѣтъ одними глазами и, снявъ шапку, окликнулъ вопросительно:

— Князь Иларіонъ Ивановичъ?

— Онъ!.. Милости прошу.

Голосъ князя звучалъ какъ труба, съ чуть замѣтной старческой шепелявостью.

Оба вошли на крылечко. Хозяинъ приподнялъ шапку, его сѣрые, острые и добрые глаза пытливо и спокойно блеснули изъ-подъ живописныхъ бровей.

— Имѣю честь кланяться, князь... Кострицынъ, Иванъ Кузьмичъ... Съ письмомъ къ вамъ отъ вашей племянницы — Антонины Борисовны. А это — Юрій Петровичъ Лыжинъ, мой спутникъ, давно желающій быть вамъ представленнымъ.

Лыжинъ приподнялъ свою бурую войлочную шляпу и почтительно поклонился.

Старикъ сдѣлалъ широкій жестъ правой рукой, повертываясь къ двери, и повторилъ такъ же зычно:

— Милости прошу.

Входя, онъ долженъ былъ нагнуть голову.

Изъ тѣсныхъ сѣней князь ввелъ ихъ въ комнату съ пятью окнами. Свѣту входило много, комната стояла на юго-западъ, солнце пошло уже на склонъ, но еще высилось надъ деревьями опушки.

Комната, съ кафельной высокой печкой, казалась тѣсноповатой отъ множества разныхъ вещей. На клеенчатомъ диванѣ лежали кожаная подушка и одѣяло; рядомъ—станокъ со столярными инструментами, старинное фортепиано, множество книгъ и на полкахъ, и просто на полу, длинный изъ бѣлаго дерева столъ, заваленный всякимъ добромъ. На немъ выдѣлялся микроскопъ и какой-то химическій аппаратъ.

Пахло травами, табакомъ и столярнымъ лакомъ. Общий видъ этой лѣсной кельи былъ очень своеобразный. Особенной грязи не замѣчалось. Стѣны стояли въ деревѣ и пестрѣли литографіями и картами. Два-три фотографическихъ портрета висѣли въ простѣнкахъ. Блестѣлъ мѣдной оправой круглый барометръ.

— Садитесь, господа, гдѣ можно,—пригласилъ князь и тихо разсмѣялся.—Извините... У меня стульевъ немного... въ моемъ кафернауѣ. Въ этой комнатѣ я и дняю, и ночую. Тамъ, черезъ сѣни, у меня, на лѣтнее время, свѣтлица есть.

— Неужели вы здѣсь совсѣмъ одинъ? — спросилъ Лыжинъ, снимая свой ергакъ.

— По утрамъ приходитъ паренекъ, поможетъ мнѣ прибрать и дровъ принесть. У меня тамъ сажень нарублена. Теперь не тѣ силы, а еще ничего—справляемся.

Въ глазахъ старика заискрилось желаніе пріободрить себя.

— Вотъ и письмо отъ Антонины Борисовны, — обратился къ нему Кострицынъ.—Я бы васъ попросилъ, князь, прочесть это письмо при насъ и дать мнѣ отвѣтъ... какой угодно, письменный или устный.

— Позвольте вздѣть *pince-nez*.

Князь началъ рыться на столѣ въ бумагахъ, нашель *pince-nez* и у окна быстро пробѣжалъ письмо.

— *C'est ça!*—проговорилъ онъ вполголоса.

Письмо было по-французски, и у него самого не пропала привычка думать иногда на этомъ языкѣ и довольно часто употреблять французскія слова и поговорки.

— Что жь!—громко заговорил онъ, кладя письмо на столъ.—Поблагодарите Нину. Я бы ей написалъ сейчасъ же. Да врядъ ли у меня водится почтовая бумага,—онъ широко улыбнулся и показалъ свои рѣдкіе и крупные зубы.—И простой-то бумаги не всегда хватаетъ. Я ее истребляю въ порядочномъ количествѣ.

— Все пишете?—спросилъ Лыжинъ.

— Пишу... Тороплюсь! — старикъ разсмѣялся.— Вѣдь мнѣ нельзя мѣшкать. Я вѣдь—Двѣнадцатаго года.

— Въ Отечественную войну?—воскликнулъ Кострицынъ.

— Какъ же! Матушка испугалась француза. Отецъ былъ въ арміи при графѣ Коновницынѣ, а она впопыхахъ двинулась по владимірскому тракту, и дорогой я произошелъ на свѣтъ, тоже въ избѣ... Такъ мнѣ и на роду было написано—въ бревенчатыхъ стѣнахъ скоротать свой вѣкъ!

Говоръ у князя былъ плавный, и грудной оттѣнокъ голоса съ басовыми оттяжками. Такъ нынче произносятъ только хорошіе актеры старой школы въ бытовыхъ и историческихъ пьесахъ.

— Не будетъ нескромностью спросить: что именно вы торопитесь покончить?

— Да то, надъ чѣмъ сидѣлъ тридцать лѣтъ... не больше, не меньше. Полный и вѣрный переводъ...

— Вѣроятно, вашего учителя?—подсказалъ, скромно усмѣхнувшись, Кострицынъ и поглядѣлъ значительно на своего спутника.

Лыжину вдругъ стало совѣстно: точно они оба репортеры и явились „интервьюировать“ курьезнаго старика по порученію какого-нибудь листка, гдѣ торгуютъ пикантными новостями, съ приложеніемъ воскресныхъ иллюстрацій.

Но князь повелъ рукой по своимъ серебрянымъ кудрямъ — волосы у него сохранились роскошныя — и сразу заговорилъ тономъ челоуѣка, который обрадовался, что можетъ съ понимающими людьми отвести душу.

— Да, *его* подлинныя сочиненія, вышедшія при его жизни.

— Вы застали *его* еще въ живыхъ?

— Нѣтъ. Я пріѣхалъ въ Берлинъ двумя годами позднѣе. Въ Москвѣ, студентомъ, я только на послѣднемъ курсѣ позналъ, что такое его философія.

Кострицынъ не могъ воздержаться—не взглянуть на

Лыжина — отъ этого звука „философія“, съ буквой „з“, который у князя былъ привычнымъ.

— Тогда вѣдь словесный факультетъ назывался, кажется, философскимъ?

— Я былъ по второму отдѣленію, математикъ. Сидѣли мы тогда не четыре, а всего три года... Да годъ я пропустилъ, пролежалъ больной.

— И вы довели до конца свой трудъ? — съ участіемъ спросилъ Лыжинъ.

— Довелъ, но надобны еще примѣчанія. Приглашеніе племянницы, — обратился онъ къ Кострицыну, — мнѣ улыбается... Хотя я — между нами — сталъ тяготиться тамъ, гдѣ большіе приемы. Но надо сдѣлать послѣднюю попытку, найти издателя.

— А Захаръ Лукьяновичъ?

На вопросъ Кострицына князь повелъ бровями и послѣ маленькой паузы выговорилъ:

— Предлагать самъ не буду... Нина пишетъ мнѣ, что вы, — повернулся онъ опять къ Кострицыну, — занимаетесь тоже философіей.

— Немножко, грѣшнымъ дѣломъ.

— И прекрасно!.. Вы мнѣ укажете. Можетъ, и найдется такой чудодѣй, что заново будетъ издавать Гегеля. И это необходимо, безусловно необходимо для подлинныхъ его сочиненій... А остальное, эстетика и прочее... это все лекціи, которыя составлялись слушателями. У меня только несомнѣнно имъ самимъ изданныя вещи. И къ нимъ есть и мое собственное слово — съ того свѣта... слово гегелянца! Въ видѣ отдѣльнаго труда.

Глаза его зажглись и изъ груди вырвался добродушный и раскатыстый смѣхъ.

Засмѣялись и оба гостя.

XXVII.

Громадную голову князя Иларіона окружили клубы дыма. Онъ усиленно раскуривалъ, по-старинному, бумажкой, трубку, изъ короткаго чубука.

— Я позволяю себѣ выкурить трубку, когда кто-нибудь зайдетъ ко мнѣ. Вы чувствуете, какой это табакъ? — спросилъ онъ своихъ гостей, радостно улынувшись.

— Это, кажется, Жуковъ? — осторожно замѣтилъ Лыжинъ; у него изъ первыхъ годовъ дѣтства остался въ памяти запахъ „Жукова“.

— Именно! Угадали! Его можно было доставать только въ одной лавкѣ, въ Зарядѣ, да и тамъ прекратился запасъ. Теперь у меня идетъ послѣдній фунтъ. И когда подойдетъ къ концу—больше не стану курить. Дорого! Да и пора перестать угождать плоти такимъ, въ сущности, дѣтскимъ видомъ чувственности.

— Вы, конечно, сдѣлаете это, князь, не изъ угожденія тѣмъ, кто громить табакъ за то, что онъ будто бы заглушаетъ совѣсть?

— Ха-ха-ха! — громко и продолжительно захохоталъ князь, ходя широкой и развалистой походкой.—Нѣтъ! Я этой ереси не придерживаюсь и скорблю, что съ ней теперь носятся, какъ съ писаной торбой. Совѣсть у меня чиста. Если и дѣлалъ много глупостей, то гадостей—никогда... Вотъ видите,—живо обернулся онъ и близко подошелъ къ Кострицыну...

Передъ тѣмъ у нихъ, совершенно незамѣтно, зашелъ не споръ, но обмѣнъ мыслей о „великомъ откровеніи“,—такъ называлъ старикъ ученіе объ „идеѣ“, какъ началъ всего.

— Вотъ изволите видѣть,—продолжалъ онъ, дымя изъ трубки. — Отчего теперь такое, можно сказать, мизерабельное шатаніе въ умахъ и характерахъ? Оттого, что *идеи* признавать не хотятъ въ ея великомъ, абсолютномъ значеніи!..

Это слово „идея“—князь произнесилъ его протяжно и всей грудью—вдругъ напомнило Лыжину другого старика, недавно умершаго, знакомаго всей мыслящей старой и молодой Москвѣ. И тотъ ужинъ ему припомнился, гдѣ старикъ, проникнутый своеобразной смѣсью метафизическихъ ученій, развивалъ своимъ густымъ, надтреснутымъ и пылкимъ голосомъ одну изъ любимѣйшихъ темъ о красотѣ. И въ концѣ каждаго монолога онъ потрясалъ своими волосами, обводилъ всѣхъ добрыми близорукими глазами энтузіаста и выставлялъ изъ-подъ стола—характернымъ и забавнымъ жестомъ—указательный палецъ и выговаривалъ убѣжденно и торжественно:

— Идея!

— Не всѣмъ, князь, можно признавать абсолюты,—выговаривалъ Кострицынъ, переложивъ ногу на ногу. —И радъ бы въ рай, да грѣхи не пускають.

— Не позволяйте,—горячѣ возразилъ князь. — Ne nous rayons pas de mots! Или система ведетъ къ открытію

истины, или нѣтъ? Средняго термина быть не можетъ. Но кто же повалилъ ее, спрашиваю я васъ?—обратился онъ къ Лыжину.

— Я, князь,—откликнулся тотъ,—въ специальныхъ вопросахъ философіи не компетентенъ. Иванъ Кузьмичъ—другое дѣло!

И онъ указалъ головой на Кострицына.

— Кто же повалилъ ее? — тѣмъ же тономъ непоколебимой вѣры спросилъ князь у Кострицына.— Не Тренделенбургъ ли? Этотъ филистеръ, впитавшій въ себя разные сорта самой жалкой эклектики? И что такое его трояственная формула, которую онъ предложилъ вмѣсто вѣчной, глубочайшей, единой? — нараспѣвъ протянулъ старикъ.— Припомните!..

— Sein, Nicht-Sein, Werden?—по-нѣмецки, съ рѣзкимъ русскимъ акцентомъ и улыбнувшись глазами, подсказалъ Кострицынъ.

— Да-съ! А у него вдругъ *бытію* противопоставлено *движеніе*, а посрединѣ *мысль*. Развѣ это не жалкое смѣшеніе понятій и сущностей? Это все равно, какъ если бы я, напримѣръ, вмѣсто: вода, земля, огонь, сказалъ: вода—льняное масло, молоко!

И опять раздался его могучій и дѣтски-радостный смѣхъ.

— Между тѣмъ какъ у Гегеля: бытіе—небытіе—становленіе! Величайшая философическая...

— Троица!—подсказалъ опять съ тою же усмѣшкой Кострицынъ.

— Именно! Ипостась!.. И остальные категоріи таковаго же абсолютнаго значенія!

Князь взялъ короткій чубукъ въ правую руку и повелѣ имъ въ воздухѣ, точно писалъ на невидимой доскѣ монументальными буквами.

— И все остальное—такъ же ясно, глубоко и гениально найдено: время—пространство и—въ срединѣ—движеніе... А? Или: единство—притяженіе—множественность... А? Или: цѣлое—сила—части... Потомъ: причина—онъ сталъ искать слова—взаимность...

— Взаимодѣйствіе,—какъ бы про себя поправилъ его Кострицынъ.

— Благодарю. Причина—взаимодѣйствіе—слѣдствіе... И, наконецъ,—князь поднялъ плечи и закинулъ голову,—и, наконецъ, бытіе въ себѣ, или по себѣ—и для себя.

— Это и есть знаменитое *an und für sich*? — скромно спросил Лыжинъ.

— Именно! Это и есть то выраженіе, которымъ разныя грошовые писаки такъ злоупотребляютъ... Бытіе въ себѣ— абсолютное, но не сознаваемое; бытіе въ себѣ и *для себя*— такое же абсолютное, но уже сознаваемое, и инобытіе.

„Инобытіе“ долго звучало въ ушахъ Лыжина, вмѣстѣ съ раскатомъ зычныхъ возгласовъ князя и особымъ широкимъ звукомъ „ѣ“ въ словѣ „себѣ“, точно онъ произносилъ иностранное „э“ съ французскимъ акцентомъ.

За тысячи верстъ очутился онъ отъ завтрака у своей пріятельницы Иды Радиной и проекта „кавалерійскихъ монастырей“—почетнаго мирового судьи Кличъ-Обношина. Черезъ нѣчто подобное проходилъ онъ, на-дняхъ, только въ „избушкѣ на курьихъ ножкахъ“ Цыбашева, младшаго сверстника чудака-гегельянца.

— И что такое какой-нибудь герръ Тренделенбургъ?— доносилось до него въ клубахъ ходившаго по комнатѣ дыма отъ жуковскаго табаку.—Кто теперь о немъ помнить? Жилъ былъ берлинскій шмерцъ, покушавшійся повалить гиганта, и нѣтъ шмерца, и даже мокренько отъ него не осталось!

— Ха-ха!—захохоталъ и Кострицынъ.

И Лыжину стало весело, на особый ладъ, отъ обаянія такой изумительной рьяности мозга и всей натуры въ древнемъ старцѣ.

— Прошу извиненія, господа,—сразу сбавивъ діапозонъ, заговорилъ князь и присѣлъ на диванъ, — угостить мнѣ васъ нечѣмъ... не осудите. Я вѣдь живу схимникомъ. И на обязательномъ суходеніи. Опять-таки не изъ мистичесизма—я имъ не зашибаюсь, а такъ легче... И давно я у себя, дома, не знаю, что такое обѣдъ. Даже отъ горячей пищи совсѣмъ отстаю.

Захотѣлось Лыжину спросить: есть ли правда въ легендѣ о томъ, какъ князь выходитъ на опушку и кричить: „хлѣба нѣтъ!“—но онъ удержался.

Кострицынъ мягко и безъ своего „хе-хе“ спросилъ:

— Ваши сосѣди, мужички, навѣщаютъ васъ, князь?

— Я къ нимъ самъ хожу. Особенныхъ дѣлъ у нихъ до меня нѣтъ; а помочь совѣтомъ всегда успѣется.

Брови его немного сдвинулись, и грустная усмѣшка повела его губы.

— Видите, господа, о нашемъ крестьянскомъ людѣ —

до второго пришествія не переговоришь. Вы слышали про меня кое-что... Я просто чудачина... Un paif! „Un idiot intelligent!“—какъ меня звала покойница-матушка. Когда я пожелалъ подѣлиться съ моими крѣпостными чѣмъ могъ — я сдѣлалъ это такъ, безъ всякихъ теорій; но мечталъ—посвятить и имъ половину моей души, поднять ихъ быть, подтолкнуть, направить. Для нихъ и самъ сталъ учиться всякой всячинѣ, надолго забросилъ главную работу моей жизни. Что жъ! Изъ *эстаго*,—выговорилъ онъ, пожавъ плечами, — не вышло ничего. Петръ Великій добился другихъ результатовъ, потому что у него была въ рукахъ всесильная дубинка... А я только предлагалъ и убѣждалъ, и давалъ образцы. Кое-что привилось въ кустарномъ дѣлѣ; но двѣ трети села — когда-то цвѣтущаго, при моихъ родителяхъ—теперь живутъ впроголодь.

— И даровая земля не помогла?—спросилъ Лыжинъ.

— Вѣдь съ тѣхъ поръ втрое больше душъ стало на той же землѣ. Земля-то еще есть кое-какая, а лѣсъ давно перевели и пахать-то не на чемъ. Такой новый мужицкій недугъ водворился повсемѣстно: *безлошадіе*.

— Безлошадіе!—повторилъ Кострицынъ.—Мѣткое слово! Оно ваше, князь?

— Не знаю! Я его не сочинялъ... И ежели придетъ, хоть на одинъ годъ, настоящий недородъ — я не говорю голодъ,—моимъ сазоновцамъ не подняться никогда — на одной землѣ. Тутъ они помянутъ и чудака князя Иларіона Ивановича, когда его не будетъ. Возьмутся, быть-можетъ, за умъ и вспомнить, чему онъ ихъ даромъ училъ.

Старикъ всталъ. Поднялись вмѣстѣ и оба его гостя.

— Стало-быть, князь,—спросилъ Кострицынъ, приближаясь къ нему,—вы сами сознаете, что потрачено слишкомъ много силъ на неразумную толпу, которая и поднять-то вась не хотѣла, — а тѣмъ самымъ вы обдѣляли ровно настолько же вашу собственную мыслящую личность. Служеніе абсолютной истинѣ выше непрощенныхъ жертвъ.

— Положимъ, что оно и такъ,—выговорилъ князь медленно и опять съ грустной усмѣшкой.—Но зато умру съ чистой совѣстью. Каковы бы они ни были,—провелъ онъ рукой въ ту сторону, гдѣ стояло село Сазоново,—передъ ними я чистъ, и они меня лихомъ поминать не будутъ. Нужды нѣтъ, что и у нихъ молодежь—нынѣшняя-то, что

въ *спинжакахъ* ходить и *цыгарки* курить—называетъ меня „блаженненькій князь“.

Кострицынъ поглядѣлъ на Лыжина, и они оба почували, какъ трезво смотреть на себя и на свое „юродство“ этого обломокъ канувшей въ вѣчность эпохи.

XXVIII.

Ида получила отъ Лыжина письмо дня черезъ четыре послѣ открытія школы—уже изъ Москвы.

„Ушелъ я изъ вашихъ мѣстъ, какъ владѣлецъ, совсѣмъ ушелъ, дорогой другъ мой,—писалъ ей Лыжинъ,—и вы за это на меня не попеняете. Къ вамъ я думаю набѣзжать, и чаще, чѣмъ до сихъ поръ это дѣлалъ. Меня не будетъ уже смущать вопросъ: почему я самъ не сажусь на землю и не превращаюсь въ *опростѣлаго интеллигента*—какъ только, бывало, попадалъ къ вамъ. Мужъ великолѣпной Нины, коммерсантъ Кумачевъ, даетъ мнѣ, окончательно, хорошую цѣну. Лучше никто не дастъ. Что я стану дѣлать въ Москвѣ—еще пока не знаю. Я, другъ мой, слишкомъ усталъ отъ возни съ самимъ собой и погони за тѣмъ: какъ жить, что достойно усилій мыслящаго и честнаго человѣка и что недостойно. Просто, хочу *жить* на первыхъ порахъ—хотя бы изо-дня-въ-день, только безъковыринья въ себѣ самомъ. Быть-можетъ, возьму какое-нибудь немудрое дѣло, безъ всякихъ задачъ и громкихъ программъ. Тотъ „амбарный Сократъ“, съ наружностью сидѣльца, котораго я пригласилъ къ вамъ на открытіе школы, господинъ Кострицынъ,—соблазняетъ меня предложеніемъ, котораго я пока еще не принялъ. Случиться можетъ, что пріѣду къ вамъ на-дняхъ, потолковать именно объ этомъ. Если вы скоро ждете пріѣзда вашего друга—Елены Константиновны Акридиной,—жму ей руку и хотѣлъ бы съ ней повидаться, тотчасъ по пріѣздѣ ея въ Москву, гдѣ она остановится, вѣроятно, все у той же великолѣпной Нины, какъ и дядя Нины—князь Пларіонъ.

„Со мной она—на особый ладъ—любезна; только это меня—тоже на особый ладъ—не то что раздражаетъ, а по-калываетъ“.

Ида тихо усмѣхнулась, перечитывая послѣднія строки, и мысленно повторила выраженіе: „на особый ладъ“.

Ей сдавалось, что „Юрій“ начинаетъ подпадать подъ то, что она на своемъ языкѣ называла „*suggestion féminile*“. А у „Нины“—этого было достаточно во всемъ: въ

„великолѣпной“ наружности, въ изящныхъ туалетахъ, въ тонѣ, въ талантахъ.

Она читала письмо у лампы. Шелъ восьмой часъ. На дворѣ не было метели, какъ въ тотъ вечеръ, когда пріѣхалъ, въ первый разъ, Юрій Петровичъ. Стояли послѣдніе дни полнолунія, и сквозь щели ставень, выходившихъ на террасу, видѣлся свѣтъ, отраженный снѣжными глыбами сада.

Свою пріятельницу—Елену Константиновну Акридину—она ждала съ-часу-на-часъ. Наканунѣ пришла отъ той депеша изъ Петербурга, но съ какимъ поѣздомъ она оттуда выѣдетъ—не значилось въ депешѣ. Съ Еленой не видалась она около двухъ лѣтъ. Это было еще за границей. Потомъ Акридина дѣлала ученую экспедицію въ Малую Азію, производила тамъ раскопки, имя ея стало извѣстнымъ и въ Европѣ, ее выбрали членомъ-корреспондентомъ одной заграничной академіи. И она много печатала въ ученыхъ изданіяхъ. Много ѣздила, въ этотъ же промежутокъ времени, и по Россіи, была на Кавказѣ и за Кавказомъ—и тамъ рыла курганы.

Но это все—работа головы. Неужели она совсѣмъ не живетъ сердцемъ, съ тѣхъ поръ, какъ овдовѣла? Вдовѣтъ Елена больше пяти лѣтъ и въ мужа своего не была влюблена, уважала его, считала себя его ученицей—и только. Дѣтей у нея нѣтъ и не родилось. Она еще не стара—онѣ съ ней погодки: ей самой пошелъ тридцать шестой, а Еленѣ—тридцать седьмой. Въ письмахъ, за послѣдніе мѣсяцы, Елена про себя, про свои чувства и настроенія писала мало, всего чаще коротенькія записки или письма побольше—фактическія, полныя именъ и своихъ маршрутовъ.

Врядъ ли въ ней, такой живой и смѣлой по своимъ взглядамъ, съ большимъ самолюбіемъ и жаждой всякихъ впечатлѣній, заглохла потребность любить!

Когда Ида у нея объ этомъ спрашивала, та отговаривалась недосугомъ или повторяла свою характерную фразу: „мой часъ еще не пробилъ“.

Ида этому не вѣрила. У ней сложился въ душѣ особый догматъ: каждая женщина обречена на то, чтобы быть живой жертвой, приносимой ненасытному идолу—любви. Однѣ сразу погибають въ его раскаленномъ жерлѣ; другія до самой смерти ходять съ надрѣзаннымъ сердцемъ, откуда сочится кровь; третьи—и она въ томъ числѣ—до-

живають, отравленные любовнымъ ядомъ, который высосалъ жизненный сокъ изъ ихъ души и оставилъ ихъ дотягивать до смерти, превратясь въ тѣнь того, чѣмъ онѣ были когда-то. Тѣ же, кто устоялъ,—совсѣмъ не женщины...

И Елена не изъ такихъ. Еще два-три года—и она уже старушка, какой Ида и себя считала безъ всякой рисовки.

Она сильно задумалась—и эта дума объ Акридиной заставила ее потянуться къ альбому, гдѣ былъ и портретъ ея, снятый въ какомъ-то полу-мужскомъ восточномъ платьѣ и посланный съ годъ назадъ, съ Кавказа, хотя этотъ портретъ Ида не любила: на немъ Елена смотрѣла старымъ безусымъ мальчикомъ-подросткомъ.

Въ коридорѣ хлопнули дверью и раздались мягкіе шаги въ валенкахъ Финогена; черезъ нѣсколько секундъ и его борода выставилась изъ двери.

— Отъ станціи кто-то къ намъ заворачиваетъ, Лидія Павловна. Чтò прикажете?

— Отчего же колокольчика я не слыхала? — спросила Ида, не смущенная и не обрадованная вѣстью о какомъ-то гостѣ.

— Ъдутъ на легковомъ, въ пошевняхъ, парой.

— Что жъ! Просите и скажите Настасѣ, чтобы самоваръ былъ готовъ.

— Слушаю-съ.

И пяти минутъ не прошло, какъ Ида и Елена уже обнимались въ коридорѣ.

— Sans crier gare!—ласково упрекала Ида, развязывая, при помощи Евгеніи, башлыкъ на головѣ своей пріятельницы.—Я бы выслала за тобой.

— Некогда было, милая! Заторопилась вчера, на скорый поѣздъ не попала. И депешу послать забыла. Прости.

Елена говорила быстро, мало связно, очень высокимъ голосомъ, звукомъ и тономъ молодой дѣвушки.

— Озябла! Сядь къ печкѣ.

Ида ввела ее въ гостиную, поддерживая за талію—она была повыше Елены—и, поставивъ противъ лампы, смотрѣла ее пристально, щуя на нее свои глубокіе и грустные глаза, оживленные пріѣздомъ друга.

— Постарѣла?—спросила Елена, кидая свой башлыкъ на стулъ, и встряхнула волосами.

Голова ея, большая по росту, курчавая, съ черными, густыми волосами, выступала изъ широкихъ плечъ, закинутаая, по привычкѣ, нѣсколько назадъ. Лицо отъ мо-

роза разгорѣлось, еще свѣжее, съ полными щеками. Носъ, крупный, прямой, говорящій о характерѣ, и толстоватыя губы дѣлали ее похожей на молодого мужчину. Но руки и ноги были маленькія, чисто женскія, и грудь полная.

На ней ловко сидѣло дорожное фланелевое платье, полосками, и кофта песочнаго цвѣта. Одѣвалась она не особенно модно, но безъ умышленной небрежности.

— Постарѣла? — повторила она и тотчасъ же, подбѣжавъ къ изразцовой печкѣ, приложила ладони заложенныхъ за спину рукъ.

— Нѣтъ! Совсѣмъ нѣтъ! — серьезно отвѣтила Ида. — Только...

— Будетъ непременно предательское „только“! Чтò же только, Ида, моя милая?

И она еще разъ порывисто обняла ее и поцѣловала въ губы.

— Только ты — какъ на томъ портретѣ — смотришь мальчикомъ.

— Тѣмъ лучше!.. Это сохранять.

Глаза Елены, съ широкимъ разрѣзомъ и голубые, при черныхъ волосахъ, задорно блеснули.

Ея возбужденность пахнула на Иду чѣмъ-то молодымъ. Она еще никогда не видала Елену такой непохожей на женщину, ушедшую въ ученые труды и разѣзды. Прежде, бывало, она сейчасъ же начнетъ говорить, безъ устали, о своихъ работахъ — въ обязательно серьезномъ тонѣ. Теперь ей, впервые, хотѣлось, прежде всего, болтать, по-пріятельски, забывъ, что она — Елена Константиновна Акридина, ѣдущая въ Москву на ученый конгрессъ, гдѣ она будетъ читать блистательные рефераты о своихъ раскопкахъ и разныхъ тонкостяхъ по археологін.

— Чаю, конечно, хочешь?

— О! Чаю, чаю! Поль-царства за самоваръ! — вскричала Елена.

— Сейчасъ будетъ готовъ... Ты надолго ко мнѣ?

— Хотѣла бы на цѣлую недѣлю, да меня потянутъ раньше... До субботы проживу.

— Только?

— На возвратномъ пути опять... дня два, можетъ, и больше.

— Ты у своей племянницы, la belle Nina?

— Да, она проситъ, хотя мнѣ не очень это улыбается.

Ида, стоя против нея, положила ей руки на плечи; та продолжала грѣть свои ладони, прикладывая ихъ къ гладкимъ изразцамъ кафельной печки. Тутъ же рассказала она про письмо Лыжина и, прищурившись, дала понять, что его, кажется, начинаетъ интересовать Нина, и онъ, вѣроятно, будетъ часто бывать у Кумачевыхъ.

— Лыжинъ!.. Въ какихъ онъ теперь? Въ толстовцахъ?

— О, нѣтъ! — протянула Ида. — *Il a liquidé! Il veut simplement vivre.*

— И это всего лучше! — горячо выговорила Елена и, взявъ Иду за талию, заходила съ ней по гостиной.

XXIX.

Было уже поздно; онѣ все еще не расходились спать. Въ гостиной догорала лампа. Ида лежала на диванѣ; Елена прилегла на короткой кушеткѣ, поджавъ подъ себя ноги.

Безъ умолку говорила она, за чаемъ, о своихъ планахъ, разъѣздахъ и работахъ. Въ гостиной тонъ ея сталъ вдругъ совсѣмъ иной, даже въ голосѣ слышались болѣе низкія ноты, и фразы не сыпались такъ быстро, съ обычнымъ, рѣзковатымъ ритмомъ.

Она стала спрашивать Иду про ея послѣдній романъ. Та отвѣчала односложно, не то чтобы нѣхотя, а какъ о вещи, безвозвратно канувшей въ вѣчность.

— Неужели ты похоронила свое сердце? — воскликнула Акридина среди этого разговора.

— *J'ai engraissé!* — возразила Ида, своимъ всегдашнимъ французскимъ терминомъ.

— *Engraissé!* *Engraissé!* — подхватила Акридина. — Это тебѣ только такъ кажется. Еще если бъ на твоемъ мѣстѣ была женщина, способная удариться во что-нибудь другое — въ науку или въ благочестіе, въ дѣтей, въ пропаганду... А вѣдь у тебя такихъ ресурсовъ нѣтъ. Какъ же ты проживешь?

— Живу, — откликнулась кротко и спокойно Ида, — и мнѣ не нужно прежняго постыднаго рабства передъ мужчиной.

Она отвѣчала по-французски. Елена вела разговоръ больше по-русски. У нея не было такой привычки думать на чужомъ языкѣ, какъ у ея друга.

— Рабство! — опять съ какимъ-то новымъ для Иды оттѣнкомъ задора повторила Елена. — Это, милая моя,

фразы! Все рабство! Безъ кислорода воздуха ты не про-
живешь трехъ минутъ. И это тоже рабство? Нѣтъ ни
одного сильнаго ощущенія, ни идей, ни высокихъ чувствъ
и дѣлъ—безъ жертвы; другими словами—безъ преклоненія
передъ чѣмъ-нибудь, выше насъ стоящимъ, безъ боли,
безъ потерь.

— У тебя больше умѣнья говорить, Елена, и я спо-
рить не буду. Ты меня спрашиваешь. Я отвѣчаю: теперь
мнѣ легче, мнѣ совсѣмъ легко. Нельзя любить всю жизнь.
На все—своя пора. И въ мужчинахъ это такъ же; только
они испорченнѣе и менѣе смѣшны, когда влюбляются
съ сѣдыми волосами.

— Ты ошиблась—вотъ и все,—говорила медленно и
вдумчиво Елена, лежа на кушеткѣ, съ подушкою, которую
она обняла одной рукой.—Ты ошиблась, милая,—и же-
стоко ошиблась. Дурной выборъ былъ сдѣланъ цѣлыхъ
два раза. Они могли и совсѣмъ тебя раздавить—такіе
два опыта. Ты не потеряла, однакожь, ничего, кромѣ
призрака счастья.

— Какъ ты можешь знать?

— А ты знаешь?—Акридина приподняла голову и
уперла ее на ладонь руки.—Если ты думаешь, что сердце
твое заморожено наивѣки—ты можешь грубѣйшимъ обра-
зомъ ошибаться! Давно какой-то мудрецъ сказалъ, что
одна жизнь въ состояніи показать намъ, порочны мы
или праведны. Такъ точно и въ дѣлѣ любви.

Ида слушала ее не безъ нѣкотораго удивленія, все съ
возраставшимъ интересомъ. Она не могла отвѣчать ей
иначе; но тутъ дѣло шло не объ одномъ ея счастьи.
Въ своей пріятельницѣ зачуяла она что-то новое, и ей
невольно припомнилось то, что она думала объ Еленѣ,
еще сегодня, у лампы.

— Ты пойми,—доходилъ до нея вздрагивающій голосъ
Елены.—Пойми, Ида: мужчина—только поводъ, или
объектъ, по ученому выраженію. Но отправленіе...

— La fonction?—переспросила Ида серьезно, точно
хорошая ученица на урокъ.

— Ну да, функція, сила, стремленіе, высшій жизнен-
ный позывъ сидитъ въ тебѣ, въ насъ, во всѣхъ насъ—
женщинахъ. И если ты этой функціи не лишилась—ничто
не потеряно... И это не о тебѣ одной, милая... Ты испы-
тала любовь, и она тебѣ дорого обошлась; другія и до
твоей поры дожили, и ничего не испытали. Имъ, быть-

можетъ, сдается, что имъ не дано этой силы души, что они—нравственные уроды. И вдругъ—толчокъ, искра!..

— Un monsieur plein de suffisance et d'égoïsme crasseux,—добавила Ида безстрастно и вѣско.

— Не въ этомъ дѣло! Одинъ—негодяй, другой—герой и праведникъ... Не въ этомъ совѣмъ дѣло! Но онъ—именно онъ, а не другой кто—заронить искру, и женщина сразу познаетъ, какая въ ней дремала сила и сколько эта сила въ состояннн дать радости. Или страданій—это все равно! Но какихъ страданій? Великихъ, захватывающихъ!

Голосъ Елены оборвался и точно всхлипнулъ. Въ этомъ звукѣ далъ себя знать не простой задоръ женщины, любившей „принципіально“ споръ,—что-то иное.

Идѣ припомнился другой, такой же долгій разговоръ, ночью,—это было въ Парижѣ,—и Елена, послѣ утѣшеній, въ ея послѣднемъ любовномъ ударѣ, стала негодовать, какъ женщина срамить себя, точно она неспособна ни на что, кромѣ страсти къ мужчинѣ, что для нея вся суть жизни—въ *этомъ*, въ страсти, и во всемъ, чтó съ нею связано; а какъ только ее не хотятъ больше любить, она—безполезное, никуда не годное существо, безъ идей, безъ таланта, безъ энергін, безъ малѣйшей любви къ труду, къ человѣчеству, къ истинѣ.

Ей припомнилось даже извѣстное изреченіе, которымъ Елена заклеивала женщинъ:

— „Гробы повапленные!“

И тогда она попросила ее объяснить ей это выраженіе: евангеліе она читала по-англійски и славянскаго языка до сихъ поръ хорошенько не понимаетъ, кромѣ самыхъ употребительныхъ молитвъ.

Лампа стала гаснуть.

— Ah, mon Dieu!—слабо воскликнула Ида и торопливо встала съ дивана.

— Погаси ее. Свѣту не нужно. Останемся впотьмахъ... Я люблю.

Ида погасила и вернулась на диванъ. Онѣ продолжали разговаривать, и темнота охватила обѣихъ особеннымъ настроеніемъ, какъ бывало въ дѣтствѣ, впотьмахъ.

— Елена!—окликнула ее Ида вполголоса.—Ты совѣмъ другая... Неужели?..

Она не договорила своего вопроса.

— Ахъ, милая!—Акридина заложила руки за голову и

лежала навзничь, смотри въ темноту, куда чуть-чуть проникалъ свѣтъ лунной ночи и отражался на изразцахъ печи. — По правдѣ тебѣ сказать, я чувствую, что во мнѣ происходитъ...

Она не сразу нашла слово.

— Une crise—quoi?—спросила Ида.

— Пожалуй! Что жъ грѣха таять — я злоупотребляла работой ума... Это хорошо: мужское дѣло — и женщина должна за него браться, если не желаетъ быть вѣчно на правахъ малолѣтней... И вотъ, милый мой другъ, съ нѣкоторыхъ поръ, когда много уже сдѣлано... успѣхъ, репутація — все это идетъ въ гору, совсѣмъ не того хочется!

„Я знаю—чего“, — подумала Ида и улыбнулась; не злобно, а съ горечью за свою подругу.

— Ты понимаешь—археологія, раскопки... все это прекрасно, только сушь это непомѣрная, какъ ни приправляй ее всякимъ гарниромъ.

— Oui, — выговорила шутливо Ида, — *ce n'est pas du dernier drôle!*

— Талантъ хочется выразить въ чемъ-нибудь другомъ... въ краскахъ, въ звукахъ или въ образахъ. Иной разъ меня защемило досада на то, что я не занималась ни живописью, ни музыкой. Даже ни одной повѣсти не написала за цѣлую жизнь.

— Пиши.

— Легко сказать!

— Попробуй. Если есть талантъ—это сейчасъ будетъ видно.

— И не одно это, — продолжала какъ бы вслухъ мечтать Акридина, такъ же вполголоса и гораздо медленнѣе, — не одно это! Встряхнуться, идти на борьбу не съ отвлеченной идеей, а съ живымъ человѣкомъ.

— Avec un mâle, — проронила Ида.

Елена точно не слыхала этихъ словъ.

— Все бросить, хоть на время, и узнать, что такое, когда забываешь себя, когда новал, сладкая сила подниметъ тебя надъ землею и понесетъ, какъ въ сказкѣ.

— Mais, mon vieux, — выговорила громче Ида, — *tu veux aimer!*

— Не знаю, — вымолвила она почти съ горечью.

— Или ты уже любишь?

— И не думаю! — болѣе весело вырвалось у Акриди-

пой.—Однако, пойдѣмъ спать, а то мы—какъ двѣ инстинтутки на вакаціи.

Ида зажгла свѣчу и, взявъ, съ блуждающей улыбкой, свою подругу за талию, повела ее въ ея комнату.

Горничная спала, и онѣ ея не будили.

Дверь комнаты „для гостей“ приходилась наискосокъ спальни Иды. Онѣ оставили обѣ двери открытыми, чтобы можно было переговариваться.

Свѣчи были уже потушены.

— Елена, ты спишь?

— Нѣтъ, совсѣмъ не хочется.

— Здѣсь ночевалъ Юрій Лыжинъ.

— Какое онъ теперь?—спросила возбужденно Елена.— Постарѣлъ? Опустился?

— *Au physique—point. Il peut plaire.*

— Ну, а душой?

— Очень милый, но утомленный... Мы понимаемъ другъ друга.

— Отчего же ты нейдешь за него?

— Онъ не сватается,—полусмѣясь отвѣтила Ида.

— Чего же ему еще надо?

— Мы оба мужчины.

— Не вѣрю,—протянула Елена.—Прощай! Пора, милая.

— Прощай!

Все смолкло; только на дворѣ собака-овчарка тявкнула разъ, другой, и опять забила въ конуру.

„*Cette pauvre Hélène a quelque chose*“,—убѣжденно подумала Ида и стала засыпать.

XXX.

Сосновый лѣсъ стоялъ безмолвно, окрашенный съ одного конца косвенными лучами заката. Тропка, расчищенная вдоль просѣки, вела къ усадьбѣ.

Впереди шли рядомъ Акридина и Боярцевъ.

Онъ поѣхалъ утромъ поблагодарить Лидію Павловну за приглашеніе на открытіе школы и переговорить о какихъ-то формальностяхъ насчетъ училищнаго совѣта. У нея въ домѣ онъ былъ въ первый разъ. За завтракомъ у нихъ съ Акридиной зашелъ разговоръ, до какихъ она была такая охотница, и продолжался на прогулкѣ въ лѣсъ.

Ида уже замѣтила, что этотъ стройный и красивый блондинъ, съ его особеннымъ серьезнымъ тономъ и симпатичнымъ голосомъ, сразу вызвалъ въ ея подругѣ жела-

ніе помѣряться съ нимъ идеями и вкусами. Онъ далъ понять, что знаетъ ее по репутаціи и самъ интересуется русскими древностями. Къ концу завтрака у нихъ вышелъ уже споръ, и Елена сказала ему довольно рѣзко:

— Извините меня, я занимаюсь археологіей, какъ наукой; но руссофильства на деревянномъ маслѣ не придерживаюсь.

Боярцевъ смолкъ и до конца завтрака говорилъ почти исключительно съ Идой. Это задѣло Акридину, и въ лѣсу, когда Ида, двигаясь очень медленно, отстала отъ нихъ, она возобновила разговоръ въ другомъ, болѣе сдержанномъ тонѣ.

Внутренно она волновалась и теперь, идя съ нимъ въ ногу, еще явственнѣе для самой себя, чѣмъ за завтракомъ.

Въ профиль она находила Боярцева еще красивѣе. Черты были, правда, нѣсколько мелки для такого видаго роста. Общій обликъ правился чистотой линій и выраженія. Щеки розовѣли, совсѣмъ какъ у юноши. Она уже замѣтила за завтракомъ, что онъ не разучился краснѣть, хотя былъ совсѣмъ не застѣнчивъ и говорилъ убѣжденно, хорошо владѣя фразой. Она уже сообразила, что Боярцевъ университетскаго образованія и очень начитанъ. Можетъ-быть, онъ даже магистрантъ: нынче не рѣдкость и въ уѣздѣ, въ званіи предводителя, встрѣтить такихъ. Въ немъ—въ его языкѣ, звукѣ голоса, манерахъ, тонѣ, во всемъ—сидѣлъ настоящій москвичъ, „барское дитя“, какъ она мысленно опредѣлила его,—но барское дитя, „вкусившее интеллигенціи“—и въ значительной долѣ.

— Вы, пожалуй, — заговорила Елена и взглянула на него вбокъ, — въ правѣ были счесть меня за нестерпимую сектантку... за нигилистку, можетъ-быть, ха-ха...

Елена уже знала, что его зовутъ Романъ Денисовичъ, но не называла его по имени и отчеству.

Боярцевъ замигалъ—это у него часто бывало въ разговорѣ—и поправилъ рукой бровную шапку. Одѣтъ онъ былъ въ дорожный тулупчикъ, съ таліей, на мерлушкѣ, со стоячимъ воротникомъ, что его еще болѣе моложавило.

— Нисколько, — отозвался онъ, подумавши. — Мы, кажется, не одного лагеря; но развѣ я такъ отрываюсь деревяннымъ масломъ?

— Ха-ха!—Елена разсмѣялась очень молодо и, остановившись, протянула ему руку.—Sans rancune! Я беру свои слова назадъ.

Боярцевъ пожалъ ея руку съ двойственной усмѣшкой. Она почувствовала себя задѣтой. Этотъ „аристократишка“ хочетъ все давать ей уроки такта и обращенія. Вѣдь и она не разночинка и не выскочка. И ее воспитали какъ барышню. Это не помѣшало ей стать тѣмъ, что она есть, и свое душевное и умственное добро защищать всегда и вездѣ по-мужски.

— Можно,—сказалъ Боярцевъ, помолчавъ опять,—не быть ни ханжей, ни даже руссофиломъ, въ извѣстномъ смыслѣ, и чувствовать между собою и народомъ своимъ коренную связь.

И онъ поглядѣлъ на нее вбокъ, съ полуопущенными рѣсницами.

— Я этого не отрицаю.

— И мнѣ кажется,—мягче и задушевиѣе продолжалъ Боярцевъ,—для тѣхъ, кто, какъ вы, изучаетъ, между прочимъ, и нашу старину, тяжело сознавать, что между вами и народомъ—пропасть, во всемъ, чѣмъ онъ духовно живетъ.

„Вонъ ты куда пробираешься!“—подумала она и чуть замѣтно закусил губу.

— Его духовной жизнью мы и занимаемся—его религіей, бытомъ, преданіями и искусствомъ...

— Не спорю. Я васъ... Елена Константиновна,—тономъ полувопроса произнесъ онъ,—недостаточно знаю, въ смыслѣ вашихъ основныхъ идей и вѣрованій; но мнѣ кажется, что у многихъ изслѣдователей народной души отношеніе къ нашему народу—точно къ какимъ паузамъ. Это для нихъ такой же предметъ, какъ и каннибалы, какъ первобытные народы въ эпоху матриархата, полиандрія, общности женъ или кровомщенія.

— Наука стоитъ выше отжившихъ пристрастій и вѣрованій!—выговорила Акридина опять болѣе твердымъ, мужскимъ тономъ.

Въ ней забродило сложное чувство: этотъ „дворянчикъ“, въ званіи предводителя, который и сегодня, за завтракомъ, крестился съ какой-то особой обстоятельностью,—человѣкъ не ея лагеря. Она такихъ уже встрѣчала и въ свѣтскихъ гостиныхъ, и въ интеллигенціи, часто и среди ученыхъ. Многіе ея коллеги по археологіи и первобытной культурѣ „зашибаются“ славянофильствомъ и руссофильствомъ. Пускай бы и этотъ, во всякомъ случаѣ, дилетантъ, хотя и начитанный, вѣрилъ во что ему угодно.

Не это ее теребило, а то, что онъ держится съ ней тона молодого человѣка, ведущаго умный разговоръ съ специалисткой извѣстной репутаціи и извѣстныхъ мыслей.

Дорогой она нѣсколько разъ, незамѣтно для него, взглядывала на Болорцева. Онъ—еще совѣтъ молодой человѣкъ; на видъ ему много двадцать четыре года, хотя Пда и говорила ей, что ему подъ тридцать.

И рядомъ съ нимъ она уже дама, годится ему въ старшія сестры, а злобный шутникъ скажетъ: „и въ тетеньки“. Женщины онъ въ ней точно совѣтъ не замѣчалъ.

Быть-можетъ, въ первый разъ съ тѣхъ поръ, какъ она овдовѣла, испытывала она около молодого мужчины такое раздвоеніе своей личности. И женщина въ ней заговорила сильнѣе специалистки и сторонницы строго научныхъ взглядовъ, не желающей вдаваться ни въ какой мистицизмъ, чѣмъ бы онъ себя ни прикрывалъ.

Съ нѣкотораго времени она стала гораздо больше заниматься своимъ туалетомъ, и Ида уже замѣтила это ей сегодня съ одобреніемъ. Но она пошла гулять въ шубѣ „по талѣ“, отзывавшейся третьегодней модой. Она ей была узковата. Шапочка тоже не особенно шла къ ней. На ногахъ большія калоши—„бахилы“, какъ говорятъ въ Москвѣ.

Все это она должна была обновить, какъ только поселится у своей племянницы, Нины Кумачевой.

— Вы живете въ имѣніи или только наѣзжаете сюда?—спросила она, не безъ желанія перемѣнить тему разговора, чтобы не выдавать себя.

— У меня въ Москвѣ—*pied-à-terre*, зимой, но я больше въ усадьбѣ.

— И ваша должность васъ интересуетъ?

Противъ ея воли вопросъ звучалъ скептически.

— Весьма!.. Должность эта теперь, — онъ протянулъ слово,—очень вліятельная и очень серьезная.

— Будто?

— Увѣрю васъ.

И во взглядѣ его слегка прищуренныхъ глазъ она могла прочесть:

„Какъ же это вы, сударыня, занимаетесь отечествовѣдѣніемъ, а не знаете: какъ живетъ теперь русскій уѣздъ и какую серьезную роль можетъ играть въ немъ предводитель?“

— Вы считаете и земскихъ начальниковъ важнымъ институтомъ?

Не сразу отвѣтилъ Боярцевъ.

— И они могутъ быть очень полезны. Народъ нашъ нуждается въ хорошемъ руководствѣ.

— Но если вы народникъ, какого бы то ни было отънка, вы не должны ему навязывать опеку.

— Я не считаю себя народникомъ, какъ вамъ, быть-можетъ, угодно думать,—медленно выговорилъ Боярцевъ, точно прислушиваясь къ своему голосу.—Правду и добро, все, что есть въ нашемъ крестьянствѣ здороваго и благо-творнаго, — оно воспитало въ себѣ на общечеловѣческой почвѣ...

— Какой же?—нетерпѣливо подхватила Акридина.

— Христовой вѣры.

„Ну да, ну да... такъ и есть“,—подтвердила она, и ей стало досадно на самое себя: она все волнуется въ разговорѣ; а у него—прекрасный тонъ.

— Подождите Иду!—сказала она у опушки лѣса.

Ида догнала ихъ черезъ три-четыре минуты. Она за-пыхалась, и щеки ея порозовѣли. Воротникъ живописно обрамлялъ ей интересную голову.

— Все въ спорахъ?—сказала она, подходя къ нимъ.

— Нисколько!—отвѣтила за обоихъ Акридина.

Боярцевъ сталъ прощаться, не входя въ комнаты; ему надо было попасть засвѣтло на станцію.

— Вы вѣдь знакомы съ Ниной? —спросила Акридина Боярцева.

— Встрѣчалъ.

— Мы еще увидимся... Вы посѣтите нашъ съѣздъ?

— Постараюсь.

— Я попрошу моего знакомаго Лыжина дать вамъ знать о пріѣздѣ Иды.

Боярцевъ молча поклонился и пожалъ имъ обѣимъ руки.

Его сани дожидались тутъ же, у крыльца.

XXXI.

Все было готово къ отъѣзду Акридиной въ Москву послѣ ранняго завтрака.

Ида ходила по гостиной и подносила изрѣдка папи-росу къ своимъ блѣднымъ губамъ. Къ ней иногда воз-вращалось желаніе курить, но чаще въ разговорѣ, чѣмъ въ одиночествѣ.

Наклонившись надъ кожаннымъ дорожнымъ мѣшкомъ, Елена укладывала въ него какія-то брошюры.

— Ты даешь мнѣ слово прїѣхать въ Москву? — живо окликнула она Иду.

— Развѣ это нужно? Вѣдь ты еще заѣдешь сюда?

— Милая! Я не могу ручаться, что меня не начнутъ таскать по разнымъ обществамъ и вечерамъ, и я, противъ воли, заживусь.

— Если такъ... я прїѣду.

— Ты у Нины не остановишься?

— Съ какой стати?

Елена защелкнула замокъ мѣшка и, сдѣлавъ жестъ руками, похожій на тотъ, когда аплодируютъ, подошла къ Идѣ.

— Видишь ли... я сама не очень рада тому, что буду гостить у Нины. Но я не хотѣла ее обидѣть. Въ ол родственныя чувства — между нами — я не очень вѣрю. Она и мужъ ся интересуется мною, потому что я — на виду. Въ нѣкоторомъ родѣ феноменъ,—со смѣхомъ добавила она.

И тотчасъ же, о чемъ-то подумавъ, она остановила Иду и положила ей руки на плечи своимъ любимымъ жестомъ.

— Помнишь, мы видѣли съ тобой въ Парижѣ или въ Петербургѣ... кажется, въ Петербургѣ, какую-то пьесу, она еще меня возмутила... гдѣ главное лицо — женщина-врачъ?

— La doctoresse?

— Да, да! И когда она попадаетъ въ семейство клоуновъ, ей старшая дочь говоритъ: „Vous êtes phénomène... Moi aussi je fus phénomène!“

Онѣ обѣ засмѣялись.

— Вотъ и я для Нины феноменъ,—повторила Елена.

— Тебѣ будетъ тамъ хорошо. Юрій сегодня встрѣтитъ тебя.

— Ты развѣ писала?

— Я послала ему депешу.

— Зачѣмъ?

— Il faut qu'il se dégourdisse un peu.

— Ты думаешь, что Нина... lui donne sur la peau? — кончила она по-французски.

— Peut-être.

— Не надо этого желать, милая. Онъ можетъ увлечься.
А у Нины здѣсь, кажется, ничего нѣтъ.

Она указала на сердце.

— Любить ему—поздно,—сказала Ида.--Онъ слишкомъ утомленъ.

— Отчего? Настоящей жизнью онъ не жилъ, только дѣлалъ опыты. Вы съ нимъ, Ида, слишкомъ рано ликвидировали.

— Не такъ жили. Ты вотъ собираешься, кажется, заново жить?

Ида поцѣловала подругу и взглянула на нее игриво.

— *Le beau blond? Hein?*—вполголоса выговорила она.

— Какой?

— Боярцевъ.

— Вотъ глупости какія!

— Ты покраснѣла!.. Елена, ты покраснѣла!

— И не думала! Если это и герой, то не моего романа.
Онъ еще мальчуганъ. Я ему въ тетки гожусь.

— *Qui sait!*—протянула Ида.

Изъ дверей показалась борода Финогена, съ обычнымъ выраженіемъ, говорящимъ: „все готово“.

— Пора?—спросила его Елена.

— Пора, Елена Константиновна, къ поезду только что такъ.

— Хорошо. Вещи вынесъ?

— Такъ точно.

Елена отдала ему мѣшокъ, въ коридорѣ поспѣшно одѣлась съ помощью Евгени и нѣсколько разъ поцѣловала Иду въ лобъ и въ губы.

— Пріѣзжай. Тебѣ надо встряхнуться. Я не хочу, чтобы ты заживо себя похоронила.

— Хорошо.

Ида укутала ее въ бѣлый пуховый платокъ и хотѣла проводить въ сѣни; Елена остановила ее.

— Простудись. Поклонись отъ меня твоей учительницѣ. Она мнѣ очень понравилась. Толковалъ и скромная.

Елена посѣтила наканунѣ школу и оставалась тамъ до обѣда.

— Чтò въ ней краснаго?—вполголоса спросила Ида.

— Ничего! Я доложу господину Кумачеву, что онъ сдѣлалъ просто гадость. Но ей у тебя не хуже. Ну, прощай.

Онѣ еще разъ обнялись, и Елена бодро сбѣжала со ступеней крыльца и сѣла въ пошевни, покрытыя ковромъ.

Финогенъ погналъ лошадей. Всѣ собаки провожали ихъ съ радостнымъ лаемъ. Дорога была уже укатана, морозъ легкій, и пріятный свѣтъ лился съ блѣднаго неба.

— Что не погостили у насъ подольше, милостивая государыня? — спросилъ Финогенъ, обернувши къ ней улыбающееся лицо.

— Пора въ Москву.

— Барышню нашу не соблазнили попасть въ столицію?

— Пріѣдетъ. Обѣщала.

— Разлюбезное бы дѣло... Авось и женишка. А то все въ одиночествѣ обрѣтаются.

И, не докончивъ, Финогенъ ударилъ по лошадамъ; но внезапно опять обернулся и добавилъ:

— Вы меня не обезсудьте, милостивая государыня... я отъ своего убогаго разумія.

Она весело кивнула ему головой и внутри ея все смѣялось отъ его „милостивой государыни“.

Собаки продолжали скакать по сторонамъ и впереди саней. Лошадки такъ и рвались. Финогенъ пускалъ особое гиканье, и онѣ сбивались тогда вскачь.

До прохода поѣзда въ Москву оставалось всего четверть часа. Финогенъ суетливо сталъ выгружать изъ саней вещи и пригласилъ Елену Константиновну, „пожаловать“ въ пассажирскую залу и поручить ему покупку билета и сдачу багажа.

Онъ со всѣмъ этимъ справился очень быстро. Билетъ онъ взялъ перваго класса, о чемъ Акридина немного пожалѣла; но потомъ подумала, что за ней, вѣроятно, выйдетъ Нина и поморщится, видя, какъ ея тетка вылезаетъ изъ вагона втораго класса.

Совсѣмъ уже смерклось, когда оберъ-кондукторъ усадилъ ее въ дамское отдѣленіе, гдѣ она оказалась одна и одной просидѣла до самой Москвы.

Читать ей не хотѣлось, хотя спальный кондукторъ, заглянувъ къ ней, предлагалъ свѣчу. Она легла на одинъ изъ дивановъ и, съ закрытыми глазами, въ сизомъ полусвѣтѣ, который шелъ отъ фонаря, завѣшеннаго матеріей, раздумалась.

Сначала объ Идѣ. Она уѣзжала отъ нея точно отъ тяжело-больной, не сознающей, что ее давно приговорили къ смерти. Ида не жаловалась, увѣряла ее, что ничего

не желаетъ, кромѣ тишины, свободы и хорошаго одиночества. Школа, правда, занимаетъ ее; но она не кладетъ въ нее всей души. Да и что же такое школа? Развѣ она можетъ такъ захватить? Есть хорошая учительница... Каждый день надзирать и опекать — это только путать безъ толку.

Нѣтъ, она не вѣрила, чтобы Ида покончила жизнь женщины. А если—да, то она—мертвецъ. Безъ любви ея существованіе не имѣетъ смысла.

И это слово „любовь“, выговоренное ею мысленно, какъ-то непроизвольно вызвало въ головѣ картинку. Они идутъ по лѣсной тропѣ съ предводителемъ... Ида напрасно думаетъ, что „le beau blond“ задѣлъ ее. Однако, оставилъ какое-то чувство не то досады, не то задора, не то любопытства, если не яркаго желанія — приглядѣться къ этому „спиритуалисту“: такъ она его и назвала—для себя.

До сихъ поръ вездѣ, гдѣ она играла первую роль, мужчины — даже и не оя лагеря — или говорили общія лестныя фразы, или спорили, въ деталяхъ. Этотъ „дворянчикъ“ едва ли не первый сказалъ ей сразу, что между нею и народомъ, который она изучаетъ, лежитъ пропасть, и до души этого народа—ей дѣла нѣтъ! Это—неправда. Она всегда жалѣла и любила народъ, — разумѣется, не на основѣ „деревяннаго масла“.

Въ родѣ Боярцева она встрѣчала мужчинъ въ послѣдніе три-четыре года; совершенно похожаго — нѣтъ. И по виѣшности—также.

Подъ качающій ритмъ поѣзда она забылась, и ей, въ полуснѣ, опять среди свѣжной природы, видѣлось мужское лицо, съ тонкими, некрупными чертами, съ нѣжной краской щекъ. И голосъ — высокій, почти юношескій — слышался, вплоть до манеры произносить отдѣльные слова.

Какъ иглой проколола ей мозгъ мысль: „Я гоюсь ему въ тетеньки“.

Елена раскрыла глаза и быстро подняла голову.

Поѣздъ въѣхалъ уже подъ сводъ вокзала и электрическій свѣтъ заливалъ все, забираясь и въ полутемноту вагона.

Первый подошелъ къ ней на платформѣ высокій мужчина въ сибирскомъ ермолѣ и бурой войлочной шапкѣ.

Она очень обрадовалась. Лыжину и звонко поцѣловала его въ щеку, когда онъ наклонился къ ея рукѣ.

— Здѣсь Антопина Борисовна,—сказалъ онъ ей, улыбувшись изъ-подъ своихъ длинныхъ усовъ,—и вашъ знакомый—Эсауловъ.

Нина уже подходила къ ней, съ другой стороны, и шуба, свѣтло-гороховая, съ богатымъ шитьемъ, подбитая розовымъ тибетскимъ мѣхомъ, въ первую минуту совѣмъ озадачила ее.

— Ma tante!—музыкально воскликнула Нина, сіяя своимъ чудеснымъ цвѣтомъ лица.—Вы со мною, въ каретѣ. Monsieur Эсауловъ, — указала она на своего пріятеля, — пріѣхалъ привѣтствовать васъ.

— Мы старые знакомые, — замѣтила Елена, и тутъ же почувствовала, какъ она мала ростомъ, не молода и не нарядна рядомъ съ этой „великолѣпной“ Ниной, въ ея шубѣ на розовомъ мѣху, придававшей ей что-то полусказочное въ волнахъ голубоватаго электрическаго свѣта.

XXXII.

Шторы были еще спущены въ тѣхъ двухъ комнатахъ куда Нина помѣстила Акридину, въ первомъ этажѣ, по другую сторону сѣней, гдѣ не такъ давно была дѣтская, переведенная наверхъ.

Наканунѣ Елена вернулась въ третьемъ часу ночи съ совѣщанія, которое затянулось и кончилось очень длиннымъ, чисто московскимъ ужиномъ, съ рѣчками и здравницами. Взглянувъ на часики, поставленные на ночномъ столикѣ, она застыдилась своего „безобразія“ и тотчасъ же вскочила съ постели.

Горничной она не звала. Она привыкла — давнымъ-давно—обходиться безъ прислуги. Все было приготовлено съ вечера на ея умывальномъ столѣ, и платье висѣло въ шкапу, вынутое изъ чемодана.

Обѣ комнаты — спальня и родъ гостиной — составляли особое помѣщеніе и были отдѣланы съ солидной, англійской роскошью. Такъ помѣщаютъ своихъ гостей только въ англійскихъ усадьбахъ. Она даже вспомнила такіа двѣ комнаты, отведенныя ей въ коттеджѣ, въ окрестностяхъ Лондона, у одного богатаго адвоката, имѣющаго имя въ соціальныхъ наукахъ; только тамъ была еще ванна, а въ домѣ Кумачевыхъ она помѣщалась особо.

Все, начиная съ вида и костюма горничной и до последней подробности комфорта, поражало въ русскомъ домѣ своей добротностью и изяществомъ. Ничего подоб-

наго не видала она и въ самыхъ богатыхъ барскихъ домахъ. Тамъ, почти всегда, парадныя комнаты, будуаръ, спальня хозяйки отдѣланы роскошно, а остальное — кое-какъ, даже въ деревенскихъ домахъ, съ десятками комнатъ.

Родители Нины прожили большое состояніе, и она помнитъ, какъ ея мать бросала деньги на разныя затѣи, но если бы ей пришлось у нихъ гостить, въ Россіи или за границей, — ее бы помѣстили въ тѣсную комнату съ желѣзной койкой и плохимъ умывальникомъ.

Послѣшно одѣваясь, Елена не могла не думать о новомъ классѣ русскихъ людей, откуда вышелъ супругъ великолѣпной Нины — купчикъ Кумачевъ, паходлящійся на прямой линіи къ камеръ-юнкерству и къ должности лорда-мэра, когда придетъ его чередъ. И она еще не знала, кто кого перевоспитываетъ на свой фасонъ: Нина — Захара Лукьяновича, или онъ — жену? Кажется, происходитъ, — какъ она вчера замѣтила, засыпая, — органическій „экзосмозъ“ и „эндосмозъ“, проникновеніе взаимно притягивающихся элементовъ.

И вчера же, уѣзжая послѣ обѣда на совѣщаніе, она невольно поставила рядомъ двѣ фигуры и двѣ фізіономіи: коммерсанта Кумачева и предводителя Боярцева. При всемъ ихъ несходствѣ — въ обонхъ есть что-то общее. Они оба — одной полосы и того же десятилѣтія. Въ обоихъ — сознательный и довольно твердый консерватизмъ, съ національной окраской, хотя одинъ, кажется, идеалистъ, а другой — несомнѣнный практикъ.

Еленѣ стало почти непріятно, что Кумачевъ напомнилъ ей о Боярцевѣ.

Она еще вчера, за завтракомъ, спрашивала, знакомы ли Кумачевы съ Боярцевымъ. Нина встрѣчала его въ одномъ строгомъ дворянскомъ домѣ; мужъ ея зналъ его по какой-то комиссіи, гдѣ они оба засѣдали, какъ гласные. Но у нихъ онъ не бываетъ. Нина тотчасъ же предложила ей позвать его обѣдать, на что она отвѣтила, что знакома съ нимъ слишкомъ еще мало.

Съ Ниной онъ на „вы“. Она ей приходится теткой, но самой отдаленной: она была троюродная сестра ея матери, чуть не на двадцать лѣтъ моложе той. На это она обратила вниманіе Захара Лукьяновича, чего съ ней никогда не случалось. Своихъ лѣтъ она никогда не скрывала и даже любила повторять, что ей подъ-сорокъ, когда

ей было только „сильно“ за тридцать. И она ощутила— за тѣмъ же разговоромъ о Боярцевѣ — явственное удовольствіе, когда мужъ Нины на ея замѣчаніе, что онъ „юнъ“, обстоятельно отвѣтилъ:

— Это только такъ кажется... Я полагаю, что ему за тридцать, не меньше тридцати двухъ-трехъ.

Стало-быть, онъ моложе ея на какихъ-нибудь три-четыре года, а можетъ—и ровесникъ.

Въ гостиной, пока Акридина спала, все было готово для утренняго чая—и опять въ англійскомъ вкусѣ—даже и гренки стояли въ серебряномъ штативѣ, и приборъ для бараньихъ котлетъ, и чашечка для яицъ всмятку. Стоило только позвонить — и официантъ сейчасъ все внесетъ и уставить. Нина сама предложила ей пить утромъ чай у себя, „какъ въ отелѣ“, — прибавила она, и если она желаетъ, то у себя же и завтракать.

И какъ въ хорошемъ отелѣ, на одинъ звонокъ являлся лакей, на два—горничная, на три—швейцаръ.

Два официанта въ темно-коричневыхъ ливрейныхъ фракахъ сразу внесли серебряный самоваръ и горячую ѣду.

Одинъ изъ нихъ, уходя, доложилъ ей:

— Господинъ Лыжинъ приказали спросить: могутъ ли они пройти къ вамъ? Они теперь въ кабинетъ Захара Лукьяновича.

Это ее обрадовало. Вчера она мелькомъ видѣлась съ нимъ; а въ этотъ прїѣздъ ей о столькомъ надо было переговорить съ нимъ по душѣ.

Лыжинъ нашелъ ее за ѣдой и шутливо попенялъ ей позднее вставаніе—было уже около двѣнадцати. Отъ чая и яицъ онъ отказался.

Лицо Елены нашелъ онъ несвѣжимъ, съ красноватыми вѣками отъ вчерашняго ужина. Туалетъ ея, хотя она и очень быстро одѣвалась, былъ уже не домашній, а приготовленный къ выѣзду, и онъ шелъ къ ней. Но, какъ всегда, она смотрѣла скорѣе мальчикомъ, чѣмъ дамой за тридцать.

— Спасибо, Юрій Петровичъ, большое спасибо, что зашли именно теперь. И, черезъ полчаса, улечу, и на цѣлый день. А я такъ жажду бесѣды съ вами. Извольте, прежде всего, говорить о себѣ... Чаю хотите?

— Чашку выпью.

Лыжинъ сидѣлъ сбоку стола, наклонивъ голову, и тихо улыбался. Съ Акридиной ему было не такъ легко и по-

койно, какъ съ Идой; но онъ теперь уже не боялся ея „прямолинейности“ и готовъ былъ прямо сказать ей, что считаетъ себя „нравственнымъ банкротомъ“.

На это ему не нужно было никакихъ подходовъ; да и она отъ Иды слышала про его теперешнее настроеніе.

— Что жъ, Лыжинъ,—говорила она ему, прихлебывая изъ чашки послѣ котлеты,—вамъ надо осмотрѣться и просто пожить.

— И это и дѣлаю.

— Но не думать, что вы ликвидируете. Нѣтъ! Вы кончили съ временнымъ сектантствомъ... И прекрасно. Я васъ за это хулить не буду. Довольно! Это все бунтъ противъ науки. Я вотъ не считаю себя падшей душой оттого, что, признавая знаніе, не желаю создавать себѣ кумира не изъ чего—нилотъ до народа.

— У васъ есть наука... а у меня?

— А передъ вами—вся книга жизни. Берите изъ нея что хотите.

Елена оглядѣла его своими близорукими большими глазами, гдѣ заискрилась ласка.

— Да вы еще—интересный мужчина! Нужды нѣтъ, что виски серебрятся. Вы и Ида—„des malades imaginaires“—каждый по своей части, ха-ха! И слѣдовало бы вамъ кончить бракомъ.

— Куда!

Лыжинъ комически тряхнулъ головой.

— Ничего! И вообще, другъ мой, вы мнѣ кажетесь совсемъ не заштатнымъ, убитымъ жизнью. Вздоръ!

Понизивъ тонъ, она спросила его быстро:

— Вы продаете ижѣіе Кумачеву?

— Уже продалъ. Постѣзавтра—купчая.

— И неужели будете простымъ буржуемъ? — подчеркнула она съ усмѣшкой.—Купоны отрѣзывать?

— Представьте...—Лыжинъ еще придвинулся къ ней и сталъ говорить вполголоса. —Этотъ миллионеръ, черезъ своего фактотума, очень курьезную личность — нѣкоего господина Кострицына...

— Я вчера съ нимъ здѣсь обѣдала. Онъ, кажется, изъ интеллигентовъ?

— Еще изъ какихъ! Такъ вотъ Захаръ Лукьяновичъ сначала черезъ него позондировалъ почву—не согласусь ли я принять должность... какъ бы это сказать—оберъ-контролера, что ли—его двухъ мануфактуръ и лѣсныхъ угодій?

— Да развѣ вы смыслите въ фабричномъ дѣлѣ?

— Контроль, понимаете, общій: положеніе рабочихъ, дѣйствія мѣстной администраціи, надсмотръ за лѣснымъ хозяйствомъ — въ немъ я кое-что смыслю, какъ бывшій землевладѣлецъ. И господинъ Кострицынъ — я его прозвалъ: „амбарный Сократъ“ — подошелъ очень ловко: „Въ васъ-де, все-таки, сидитъ до сихъ поръ народолюбецъ, такъ чего же лучше, какъ не быть посредникомъ между капиталомъ и трудомъ?.. Захаръ-де Лукьяновичъ не долюбиваетъ фабричныхъ инспекторовъ, потому что они умничаютъ и носъ во все суютъ. Онъ надумалъ имѣть контроль по своему почину, столько же въ интересахъ хозяйской экономіи, сколько въ интересахъ трудовой массы“.

— Идея хороша... Но нѣтъ ли тутъ подвоха?

— Не знаю.

— Можетъ-быть, — она подмигнула, — тутъ есть починъ моей великолѣпной племянницы?

— Врядъ ли.

— А Ида думаетъ, — выговорила Акридина совсѣмъ тихо, — что она... *qu'elle vous donne sur la peau*, — добавила она по-французски.

— Очень ужъ скоро было бы.

И онъ спросилъ звукомъ ниже:

— Такъ какъ вы находите?

— Попробуйте. Берите. Къ чему васъ это обязываетъ? Вы сейчасъ очутитесь въ самомъ пеклѣ жизни.

— Но вѣдь это, голубушка, опять къ той же приведетъ перазрѣшимой дилеммѣ: народъ, его нужды, заботы или — капиталъ, невозможность повалить его.

— Да, тому Лыжину, который страдалъ исканіемъ абсолютныхъ морали и справедливости, стало бы тяжело; но вѣдь теперешній Лыжинъ сбросилъ съ себя иго всякихъ прописей?

И вмѣсто свободы и простой, тихой жизни, попадетъ въ пекло, какъ вы сейчасъ выразились.

— Попробуйте!.. Одно то, что это васъ сдѣлаетъ своимъ человекомъ въ домѣ Нины. А ея, какъ типомъ, стоить заняться.

— Я не писатель.

— Во всякомъ случаѣ, васъ здѣсь по-своему оцѣнятъ. Она встала и положила салфетку на столъ.

— Мнѣ пора! Такая досада. Завтра я ваша, цѣлый вечеръ.

И какъ бы вскользь, она кинула ему, уходя въ спальню, докончить туалетъ:

— Вы вѣдь познакомились у Иды съ Боярцевымъ? Какъ вы его нашли?

— Онъ интересенъ.

— Не правда ли? Инна предлагала мнѣ просить его обѣдать. Но надо сначала, чтобы онъ заѣхалъ ко мнѣ... Вы, быть-можетъ, встрѣтитесь съ нимъ...

— Если онъ васъ интересуетъ, я вамъ его добуду.

— Мерси! Други!—оживленно откликнулась она и еще разъ кивнула ему головой на прощанье.

XXXIII.

Въ приходѣ „Успенья-на-Могильцахъ“ небольшой барскій особнякъ съ мезониномъ уютно помѣщался на углу переулка. Передъ домомъ шель чистенькій палисадникъ изъ подстриженныхъ тополей, съ широкой дорожкой, покрытой красноватымъ пескомъ. Подъѣздъ былъ со двора, по-старинному.

Часу въ десятомъ утра въ домѣ стояла глубокая тишина; но въ немъ и господа, и прислуга давно уже встали.

Мезонинъ занималъ Боярцевъ, когда жилъ въ Москвѣ; низъ дома—его мать; принималъ онъ менѣе близкихъ знакомыхъ и по дѣлу—въ залѣ.

Сегодня, какъ и ежедневно, мать его, Татьяна Егоровна Боярцева, уже пошла пѣшкомъ къ поздней обѣднѣ. Сынъ проснулся часовъ въ восемь и, до полного разсвѣта, читалъ больше часа у себя въ мезонинѣ, гдѣ онъ изъ тѣлой его половины устроилъ себѣ обширный кабинетъ, весь уставленный книжными шкапами. Письменный столъ, пианино и токарный станокъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими креслами и кожанымъ диваномъ, дополнили обстановку.

Уже много лѣтъ, какъ Татьяна Егоровна Боярцева вдовѣтъ. Ея старшій сынъ живетъ въ другой губерніи и служить тамъ по земству. Дочери она внезапно лишилась два года назадъ, и эта смерть наложила на ея жизнь еще болѣе строгую тѣнь. Она почти нигуда не выезжала, кромѣ одного общества, гдѣ была членомъ совѣта, и двухъ-трехъ институтскихъ подругъ, изъ которыхъ одна понала недавно въ игуменьи. Къ ней Боярцева ѣздила каждую недѣлю.

Цѣлые дни, когда сынъ жилъ въ усадьбѣ, она или чи-

тала—часто духовныя книги, или вышивала воздухи и ковры для своей приходской церкви и въ церкви обоихъ селъ, гдѣ ея сыновья жили. Компаньонки или чтицы она не держала: глаза у нея прекрасно сохранились; она даже не надѣвала очковъ, когда работала за пальцами, и только при лампѣ читала въ очкахъ.

Въ передней сидѣлъ пожилой человѣкъ. При молодомъ баринѣ состоялъ въ камердинерахъ его посыльный изъ уѣзднаго города, гдѣ Боярцеву приводилось бывать каждую недѣлю. Это постоянное переѣзжанье изъ уѣзда въ Москву и обратно сначала утомляло его; теперь онъ привыкъ.

И кабинетъ его, и спальня—въ задней половинѣ мезонина—смотрѣли чинно и скромно, держались въ большой чистотѣ, безъ всякихъ модныхъ излишествъ мебели, бронзы и стѣнныхъ украшеній. Въ спальнѣ, въ углу, стоялъ цѣлый кіотъ и горѣла „неугасимая“ лампада. Ее поддерживала няня Ульяна, выходившая всѣхъ дѣтей Татьяны Егоровны.

Чай сынъ пилъ у себя; но каждый день, какъ только мать вернется изъ церкви, сходилъ внизъ, цѣловалъ у нея руку и оставался нѣкоторое время съ нею въ угловой, гдѣ она пила не чай, а кофе.

Сегодня ему хотѣлось, до выѣзда, кончить статью въ духовномъ журналѣ, по расколу. Онъ вообще имъ очень интересовался. Читалъ онъ, ходя короткими шагами по кабинету, отъ одного шкапа къ другому.

Дома онъ безсмысленно носилъ синюю военную блузу и смотрѣлъ еще моложе, чѣмъ въ сюртукѣ или во фракѣ.

И до смерти отца, и послѣ нея онъ привыкъ чувствовать себя „сыномъ своей матери“—точно онъ все еще носилъ блузу гимназиста и каждый день, надѣвъ ранецъ, бѣжитъ въ ближайшую гимназію, гдѣ высиживаетъ семь полныхъ лѣтъ; или студентомъ, который еще не носилъ формы, и, одѣтый безъ франтоватости, также пѣшкомъ отправлялся къ Арбатскимъ воротамъ и оттуда на Моховую, по Воздвиженкѣ.

Мать воспитывала его гораздо замѣтнѣе и глубже, чѣмъ отецъ—въ послѣдніе годы больной—или школа, или аудитория. Отъ нея перешли къ нему серьезность, интересъ къ вопросамъ нравственнаго „бытія“, религіозное чувство—безъ ханжества, любовь къ родинѣ, уваженіе къ родовымъ традиціямъ, сознаніе долга „просвѣщеннаго че-

ловѣка и дворянина“—передъ всѣмъ тѣмъ, что онъ долженъ поддерживать и защищать и въ своемъ сословіи, и въ народѣ.

Она поощряла его любовь къ нимъ и была бы рада видѣть его на ученомъ поприщѣ. Его оставляли при университетѣ, и онъ серьезно думалъ о магистерскомъ экзаменѣ, но попалъ въ деревню, которой надо было заняться, и это его затянуло въ общественное дѣло. На свою должность смотрѣлъ онъ такъ, какъ говорилъ объ этомъ съ Акридиной, когда они шли по лѣсу. Книга, міръ идей—всего больше религіозно-философскихъ и на почвѣ народно-бытовой исторіи—не теряли своего обаянія на Боярцева. Въ деревнѣ и въ уѣздномъ городѣ, внѣ службы, онъ постоянно читалъ, и бібліотека у него въ усадьбѣ была такихъ же размѣровъ, какъ и здѣсь, въ мезонинѣ.

Въ Москву онъ возвращался каждый разъ съ юношескимъ, почти дѣтскимъ влеченіемъ домой, туда, гдѣ личность его матери служила ему оплотомъ и вѣчно живымъ примѣромъ тихаго мужества передъ натискомъ жизни съ ея утратами и неизбѣжнымъ концомъ. Что бы ему ни готовила судьба, онъ ничего не желалъ, какъ дожить свой вѣкъ такъ же чисто, строго и безобидно, съ такой же ясностью и твердостью души, какъ его мать. У него являлось всегда особенное настроеніе въ Москвѣ, въ своемъ мезонинѣ, чувство той прочности, какое у большинства людей бываетъ только въ дѣтствѣ и въ ранней молодости, когда отчій кровъ защищаетъ какъ бы отъ возможности какого бы ни было удара.

Вотъ и теперь—мраморные часы на письменномъ столѣ показывали половину одиннадцатаго — онъ, доканчивая статью, зналъ, что черезъ десять минутъ раздастся внизу слабый звонокъ въ передней, мать его вернется отъ обѣдни—непремѣнно съ просфорой—и онъ сойдетъ къ ней, въ угловую, гдѣ она будетъ пить кофе, и на ея ясномъ, немного строгомъ лицѣ, въ глубокихъ, до сихъ поръ красивыхъ глазахъ, прочтетъ все ту же убѣжденную покорность Промыслу и вдумчивость, лишенную всякаго малодушнаго страха за свою особу, свое здоровье или посѣщеніе смерти.

Звонокъ раздался нѣсколькими минутами раньше.

Боярцевъ дочелъ статью и минутъ черезъ пять, тихо ступая по нѣсколько скрипучимъ ступенямъ старой деревянной лѣстницы, спустился внизъ и прошелъ въ угловую.

Татьяна Егоровна встрѣтила его на порогѣ своей любимой комнаты, откуда палыды никогда не выносились.

Большого роста, совсѣмъ сѣдая, въ черномъ, съ креловой накаткой на головѣ, она немного горбилась на ходу, но сохранила станъ молодой женщины и не носила ни серегъ, ни браслетъ. Большіе, совсѣмъ черные глаза и прямой носъ дѣлали ея лицо съ мягкимъ оваломъ нѣсколько суровымъ. Ротъ, со свѣжими, довольно крупными зубами, она держала полуоткрытымъ, и это смягчало выраженіе лица.

— Здравствуй, дитя мое.

Она поцѣловала его въ лобъ и слегка дотронулась лѣвой рукой до его плеча. Ея руку онъ цѣловалъ всегда съ такимъ же точно чувствомъ, какъ и пятнадцать лѣтъ назадъ, когда онъ кончалъ курсъ въ гимназіи.

— Вотъ, мамъ, — заговорилъ онъ своимъ высокимъ теноромъ, — статья. Она тебя очень заинтересуетъ.

Татьяна Егоровна взглянула на обертку журнала.

— Опять объ ученіи Толстого? — спросила она своимъ низкимъ голосомъ, котораго не передала сыну.

— Нѣтъ, о штундѣ.

— Прочту.

Кофе она сама себя заварила на маленькомъ столикѣ, на машинкѣ, и въ это время разговоръ съ матерью напомнилъ Боярцеву цѣлый рядъ такихъ бесѣдъ, съ тѣхъ поръ, какъ у него утра стали свободны, по окончаніи курса, и когда отца уже не было въ живыхъ.

— Ты будешь посѣщать засѣданія съѣзда? — спросила Татьяна Егоровна, поправляя спиртовую лампочку.

— По археологій? Да, я, было, готовилъ и рефератъ по обычному праву — въ Купріиновой волости. Да все время ушло на сессіи.

— Что дѣлать!

Должность сына Татьяна Егоровна ставила очень высоко и не считала потерей времени никакихъ, даже и скучныхъ обязанностей. Она всегда разспрашивала его о деревенскихъ и уѣздныхъ дѣлахъ, и серьезность ея тона какъ-то особенно бодрила его, не допускала до лживаго и высокомернаго отношенія къ должности.

И ему тутъ же захотѣлось сообщить ей объ одномъ столкновеніи, которое онъ имѣлъ на-дняхъ, чтобы выслушать ея приговоръ. Такъ онъ поступалъ всегда, и на

душѣ у него не было ни одного важнаго поступка, не извѣстнаго его матери.

— Романъ Денисовичъ, — окликнулъ его отъ дверей степенный и глухой голосъ лакея, — васъ желаютъ видѣть.

Онъ подалъ на подносикѣ карточку.

Боярцевъ прочелъ на ней: „Юрій Петровичъ Лыжинъ“.

Не сразу вспомнилъ онъ фигуру гостя Радиной на открытіи школы.

На карточкѣ внизу приписано было: „Отъ Елены Константиновны Акридиной“.

О знакомствѣ съ этой „ученой“ женщиной онъ вчера не успѣлъ сообщить матери и передать ей разговоры за завтракомъ и въ лѣсу. *Такихъ* женщинъ онъ встрѣчалъ рѣдко и никогда не искалъ ихъ общества, но въ ней ему понравилась убѣжденность и даже мужской складъ фразы. Рѣзкость тона не оттолкнула его.

— Попроси, — сказалъ онъ человѣку, и по-французски пояснилъ матери, кто это и отъ кого.

Онъ принялъ Лыжина внизу, въ залѣ, гдѣ обыкновенно принималъ своихъ посѣтителей.

— Извините, что немного рано, — сказалъ Лыжинъ тономъ человѣка, желающаго поддержать случайное знакомство.

— Помилуйте... Я съ восьми на ногахъ.

— Елена Константиновна просила меня передать вамъ карту на входъ въ ея отдѣленіе. Она слышала, что вы интересуетесь обычнымъ правомъ... Можетъ, не прочтете ли рефератъ?

Боярцевъ покачалъ головой и улыбнулся.

— Во всякомъ случаѣ, Романъ Денисовичъ, — Лыжинъ нарочно справился о его имени и отчествіи у человѣка, — Елена Константиновна надѣется видѣть васъ на засѣданіяхъ... А она дома, въ свободные часы, до обѣда, съ четырехъ.

— А когда она собирается читать?

— Въ концѣ этой недѣли. Объ этомъ будутъ объявленія.

— Если не придется ѣхать въ уѣздъ — постараюсь.

Лыжину тонъ Боярцева показался чопорнымъ. Какъ будто его посѣщеніе имѣло видъ зазыванія. Ему стало несовсѣмъ пріятно и за свою пріятельницу. Онъ и поспѣшилъ сейчасъ же удалиться, показавъ, что самъ

онъ не желаетъ вовсе навязываться съ своимъ знакомствомъ.

— Благодарю васъ и Елену Константиновну.

Боярцевъ проводилъ Лыжина въ переднюю и спросилъ:

— Она гдѣ же квартируетъ?

— У Кумачевыхъ.

— Это—урожденная княжна Жеребьева?

— Елена Константиновна приходится ей родственницей.

— Она у нихъ и гостить?

— У нихъ... занимаетъ отдѣльное помѣщеніе.

И когда Лыжинъ вышелъ на крыльцо, то ему все еще было совѣстно, и онъ спросилъ себя: „хорошо ли я дѣлаю, что сближаю ихъ?“

XXXIV.

Въ трактирѣ, въ Петровскихъ Линіяхъ, подѣ грохотъ машины, гдѣ, кромѣ трубъ, слышалось и механическое фортепіано, Лыжинъ доканчивалъ свой завтракъ.

Отъ Боярцева онъ проѣхалъ къ нотаріусу, у кого писалась купчая по продажѣ имѣнія Кумачеву. Потомъ надо было еще побывать въ одномъ мѣстѣ и застать Акридину. Она просила завернуть къ ней около двухъ.

Дни его начали наполняться сами собою, и, незамѣтно, онъ отставалъ отъ „самоковырѣнія“, — такъ онъ называлъ привычку подводить итоги и сдавать самому себѣ экзамены.

Сейчасъ, визитъ къ Боярцеву, хотя онъ и продолжался всего десять минутъ, заставилъ его подвигнуться. „Дворянчикъ съ направленіемъ“ — онъ вспомнилъ выраженіе Акридиной—во всемъ себѣ вѣренъ. Въ немъ есть что-то несомнѣнно прочное и новое. Этотъ знаетъ, что онъ дѣлаетъ—даже и на предводительскомъ мѣстѣ. И самая зала, гдѣ онъ припималъ его, отзывалась прочными семейными преданіями. И ему нельзя не позавидовать. Вѣроятно, и Акридину привлекаетъ въ Боярцевѣ внутренняя чистота помысловъ и ясность идей и правилъ, исходящихъ совѣмъ не изъ того источника, который она считаетъ единственно вѣрнымъ, какъ „выученица“ своего покойнаго мужа—позитивиста.

Въ послѣднія двѣ недѣли Лыжина затягивала жизнь постороннихъ, и Москва, гдѣ онъ давно не проводилъ зимъ, съ ея теперешнимъ „букетомъ“ — онъ вспомнилъ

при этомъ обѣдѣ у Кумачевыхъ — представлялась ему въ новомъ свѣтѣ. Онъ не хотѣлъ ни особенно возмущаться, ни мирволить тому, что находилъ „пакостнымъ“. Онъ чувствовалъ только, что надо больше знать эту центральную „машинищу“, этотъ городъ, куда стекаютъ всѣ ручьи русской жизни.

И свои дѣла получили въ его глазахъ другой оборотъ, новую окраску. Продажа имѣнія развязала ему руки. Онъ достаточно колебался—продавать его или нѣтъ. Чувство связи съ землей удерживало его до послѣдней минуты; но взяла все-таки верхъ потребность стряхнуть ярмо безплоднаго, набившаго оскомину если не сектанства, то „направленства“; это слово онъ употреблялъ всего охотнѣе, когда думалъ про себя словами, что онъ дѣлалъ почти всегда. Скучающимъ „буржуемъ“, обреченнымъ на отрѣзываніе „купончиковъ“, онъ, ни въ какомъ случаѣ, не будетъ. Капиталь не настолько большой, чтобы на него жить порядочно; а жаться онъ не желалъ, довольствуясь мизерабельнымъ прозябаніемъ какого-нибудь парижскаго рантѣе, считающаго себя на верху блаженства, если онъ можетъ каждый день выпивать свой абсентъ въ четыре часа и ѣсть въ дешевомъ рестораникѣ обѣдъ изъ всякой подозрительной стряпни, за полтора франка.

Сегодня онъ долженъ заѣхать въ Кумачеву въ амбаръ, на Ильинку, и весьма вѣроятно, что тотъ упомянетъ ему о томъ предложеніи, о которомъ онъ говорилъ третьяго дня съ Акридиной. Кострицынъ еще разъ возвращался къ этому вчера, зайдя къ нему поутру.

Съ „амбарнымъ Сократомъ“ у Лыжина установилось нѣчто въ родѣ пріятельства. Кострицынъ продолжалъ интересоваться его. И ему, видимо, хотѣлось, чтобы Лыжинъ пошелъ въ „инспекторы“ къ Захару Лукьяновичу. На счетъ „подхода“ Лыжинъ уже не перебиралъ въ головѣ и сознавалъ, что серьезныхъ доводовъ противъ такой службы нѣтъ. Отъ него будетъ зависеть—сдѣлаться обычнымъ посѣтителемъ дома Кумачевыхъ и кавалеромъ „великолѣпной“ Нины Борисовны. Ея „образъ“ и отталкивалъ, и привлекалъ его. Все равно, тамъ гостить Елена. Тамъ же будетъ жить и князь Пларіонъ Ивановичъ—старикъ, стоящій болѣе близкаго знакомства.

Половой, въ однихъ усахъ и съ короткой стрижкой, подошелъ къ Лыжину дробной походочкой и спросилъ наклонившись:

— Кофею прикажете?

— Хорошо.

— А какой угодно номеръ поставить на машинѣ?

Лыжинъ полуудивленно взглянулъ на него.

— Чтобы не очень барабанила... Изъ „Евгенія Онѣгина“, вальсъ.

— Сію минуту-съ.

Только что отошелъ половой, какъ изъ двери, ведущей въ проходную комнату, показалась приземистая фигура Кострицына.

Онъ первый завидѣлъ Лыжина и быстро, съ перевальцемъ, подошелъ къ нему.

— *Хайрэ полита!*

И съ этими словами онъ протянулъ ему руку черезъ столъ.

— Это по-каковски, Иванъ Кузьмичъ? — весело спросилъ Лыжинъ.

— Извините. . Такая у меня греческая прибаутка образовалась привѣтствовать тѣхъ... кому искренно желаю всего хорошаго.

— Это что же значитъ?

— Буквально—„радуйся, гражданинъ!“ А въ вольномъ переводѣ: „добраго здоровья, землякъ!“

Кострицынъ сейчасъ же присѣлъ къ столу.

— Вы у Захара Лукьяновича еще не бывали?

— Иѣтъ еще,—отвѣтилъ Лыжинъ, кладя салфетку на столъ.

— Онъ васъ навѣрно будетъ ждать къ часу, въ амбарѣ.

— Знаю. И сейчасъ двинусь туда.

— Юрій Петровичъ, — Кострицынъ поднялъ на него взглядъ, гдѣ блеснула ласковая пытливость,—какъ же вы рѣшили? Вчера мой принципаль пощупалъ меня маленько насчетъ того, дѣлать ему предложеніе самолично и какъ—на письмѣ или устно. У него большая амбиція и осторожность... И вы понимаете... Иначе и не можетъ быть. И въ древнемъ Римѣ, equites—всадники, по-теперешнему коммерсанты, отличались большей амбиціей, чѣмъ родовитѣйшіе патриціи.

— Чтò же вы ему сказали?

— То, чтò позволялъ мнѣ нашъ послѣдній разговоръ. Я сказалъ, что вы, повидимому—замѣтите, только повидимому—ничего не имѣете противъ этого въ принципѣ.

— Мнѣ кажется,—мягко возразилъ Лыжинъ,—въ принципѣ-то все и дѣло.

— Почему же? Сколько я васъ разумѣю, Юрій Петровичъ, въ вапемъ теперешнемъ отношеніи къ тому, что творится на Руси, нѣтъ принципиальнаго препятствія.

— Вамъ лично развѣ хочется, чтобы я служилъ вмѣстѣ съ вами у коммерсанта Кумачева?

— Хочется! Идея такой должности принадлежитъ, увѣрю васъ, самому Захару Лукьяновичу. И только...

— Указали на меня?

— Что жъ! Развѣ я васъ этимъ обидѣлъ? Не есть это—съ другой стороны—и *captatio benevolentiae*—какъ бы подходить къ добрымъ чувствамъ. Не такая это благодать. Вы человѣкъ независимый—въ полномъ смыслѣ. Поладите—хорошо; нѣтъ — и мое почтеніе, Захаръ Лукьяновичъ, я удаляюсь.

— Ужъ если пошло на исповѣдь, Иванъ Кузьмичъ, скажите мнѣ, — если вы не смотрите на это какъ на профессиональную тайну, — Кумачевъ сейчасъ же схватился за ваше указаніе?

— Сейчасъ!. Даю вамъ слово и не думаю, что поступаю дурно, разоблачая это. Захаръ Лукьяновичъ—человѣкъ тонкій... вы увидите. И если онъ держится вообще охранительно-патріотическихъ началъ, то, какъ представитель капитала, онъ очень широкихъ взглядовъ на положеніе и даже правъ рабочихъ—только бы они не волновались съ политическимъ оттѣнкомъ.

— Прекрасно,—перебилъ Лыжинъ.—А супруга Захара Лукьяновича?

Кострицынъ усмѣхнулся глазами.

— На это ничего не могу вамъ сказать положительнаго.

— Вѣдь онъ навѣрно говорилъ ей?

— Нина Борисовна даже афишируетъ свое невмѣшательство въ дѣла мужа.

Говоря это, Кострицынъ своей миной какъ бы показывалъ, что онъ не ручается за то, что Нина Борисовна подсказала бы Захару Лукьяновичу такой именно выборъ.

И это почему—то задѣло Лыжина, и въ головѣ его всплыло тотчасъ же восклицаніе:

„Хорошо же!“

Онъ допилъ свой кофе и, вставая, сказалъ:

— Ъду. Если принципальъ вашъ представитъ дѣло такъ, какъ вы мнѣ говорили, можно будетъ посмотреть.

— Въ добрый часъ, Юрій Петровичъ!

Кострицынъ крѣпко пожалъ ему руку.

— Вы, значитъ, туда?.. И я черезъ полчаса. Теперь наскоро закушу.

Онъ довель Лыжина до передней и еще разъ пожалъ руку.

Въ началѣ второго Лыжинъ, на плохенькомъ извозчикѣ, спускался по Ильинкѣ на Красную площадь, мимо новаго гостиннаго двора, еще заставленнаго лѣсами. Онъ приказалъ ванькѣ ѣхать Кремлемъ, въ Никольскія ворота. На минуту онъ хотѣлъ завернуть къ себѣ, чтобы запереть деньги и документы, а къ тремъ заѣхать въ домъ Кумачевыхъ—сказать Еленѣ, что онъ исполнилъ ея порученіе.

Разсѣянно смотрѣлъ онъ по сторонамъ.

Отъ подъѣзда историческаго музея отѣхали парные сани съ сипей сѣткой. Въ саняхъ сидѣла дама.

— Лыжинъ!..—окликнула его дама.

Онъ узналъ Акридину, соскочилъ съ саней и подошелъ къ ней, немного путаясь въ своемъ длинномъ ергаѣ.

— Вы ко мнѣ, другъ?—спросила она его.

На ней была красивая шапочка съ бобромъ и новая шуба съ какимъ-то сѣрымъ заграничнымъ мѣхомъ.

— Къ вамъ—въ три.

— Милый!.. Я не попаду домой къ тремъ. Вы были у Боярцева?

— Былъ и передалъ. Опъ вамъ нанесетъ визитъ.

— Когда?—живо спросила она.

— Я сказалъ, что вы дома въ четыре.

— Спасибо!

— Какая вы нынче блистательная! Въ обывательскихъ грандѣрахъ,—указалъ онъ на сани и лошадей.

— Нина предложила для визитовъ.

— Совсѣмъ по-московски!

— Да!.. А что, другъ,—Акридина весело оглянула площадь,—вѣдь городъ—единственный?

— Единственный!—повторилъ Лыжинъ и кивнулъ ей вслѣдъ, когда пара вороныхъ тронулась по направленію къ Никольской.

XXXV.

На другой день, часу въ пятомъ, Кострицынъ выходилъ изъ кабинета Захара Лукьяновича Кумачева. Тотъ не заѣжалъ въ албартъ въ теченіе дня: вернулся съ тор-

жества въ пріютѣ, гдѣ онъ состоялъ попечителемъ, а теперь собирався тоже на официальный мужской обѣдъ.

Иванъ Кузьмичъ былъ рѣшительно доволенъ разговоромъ, бывшимъ у него сейчасъ съ патрономъ. Лыжинъ принималъ предложеніе Кумачева подъ условіемъ осмотрѣться въ своей должности и черезъ мѣсяцъ — много шесть недѣль — рѣшить: въ состояніи ли онъ будетъ исполнять ее „безъ серьезныхъ недоразумѣній“.

Кострицыну нравился этотъ „интеллигентъ“, пришедшій на распутѣ, послѣ всякихъ надъ собою опытовъ. Къ начинавшейся симпатіи примѣшивалось тайное желаніе: довести Юрія Петровича до полного освобожденія отъ разныхъ „прописей“, какія онъ переписывалъ слишкомъ долго.

Еще глубже лежало и другое желаніе — вдвоемъ переливать Нину Борисовну во всемъ, что не ея женское царство, хотя въ Захарѣ Лукьяновичѣ онъ признавалъ, рядомъ съ влюбленностью въ жену, настоящій характеръ и выдержку.

Швейцаръ подавалъ Кострицыну шубу, когда въ сѣни вошелъ Лыжинъ.

— Юрій Петровичъ! Очень радъ!

Кострицынъ подбѣжалъ и сталъ крѣпко жать руку.

— Очень радъ! — тише повторилъ онъ. — Вы согласны?

И онъ показалъ головой въ ту сторону, гдѣ помѣщался кабинетъ Кумачева.

— Условно, — выговорилъ Лыжинъ, не понижая голоса.

Ему не хотѣлось, ни подъ какимъ видомъ, мѣнять въ чемъ бы то ни было своей манеры держаться и говорить въ домѣ будущаго „принципала“. И это сейчасъ же принялъ Кострицынъ.

— Все равно. Вы будете довольны Захаромъ Лукьяновичемъ. Вы къ нему теперь?

— Нѣтъ, я къ Еленѣ Константиновнѣ.

— Василій! — окликнулъ швейцара Кострицынъ. — Госпожа Акридина у себя?

— У себя-съ.

— Всего хорошаго. И если вамъ меня за чѣмъ-нибудь нужно — пустите депешку. Я забѣгу!

Онъ суетливо запахнулъ въ свою короткую шубу и исчезъ за дверью.

Елена только что пріѣхала, и Лыжинъ засталъ ее въ первой комнатѣ, на кушеткѣ, очень утомленной.

Свѣтъ косвенно падалъ на нее изъ-подъ широкаго абажура лампы. Лицо осунулось; подъ глазами потемнѣло.

— Вы нездоровы? — участливо спросилъ ее Лыжинъ, подсаживаясь.

— Нѣтъ. Я плохо спала и измучена отъ разнаго ученаго вздора, отъ суесловія и пустоболтанія.

— Гдѣ? На засѣданіи?

— Гдѣ же иначе!

Она приподняла голову и рукой оправила волосы.

— Что такъ строго?

— Сколько мертвечины! — продолжала Акридина. — И какіе это ископаемые... нѣкоторые изъ моихъ коллегъ!.. Одинъ въ особенности... чистѣйшій ихтиозавръ!

Лыжинъ тихо разсмѣялся.

— И такъ меня вдругъ охватило сегодня, Юрій, — пронизало меня чувство ужасной пустоты!..

На глазахъ ея блеснули слезы.

— Вдругъ захандрили!

— Такъ сдѣлалось пусто-пусто въ груди!.. Слушаю, и кромѣ тоскливаго чередованья звуковъ — ничего не ощущаю. И говорятъ ужасно, мямлять и топчутся на одномъ мѣстѣ, вяло, безжизненно или со смѣшнымъ задоромъ. Толкуетъ о какой-нибудь суздальской колокольнѣ, точно онъ повѣствуетъ о красотахъ эллинскаго Паронона.

— А какъ же? — весело перебилъ Лыжинъ. — Нынче вѣдь всему своему надо кадить взапуски.

— Постѣзавтра я дѣлаю свой главный докладъ — и нѣтъ у меня ни малѣйшей охоты. Право, я была бы рада заболѣть.

— Неужели трусите?

— Вовсе нѣтъ! — Акридина сдѣлала жестъ правой рукой. — Охота пропала. Вся мертвечина представляется какимъ-то буквоѣдствомъ, какой-то работой маниака, считающаго — сколько приходится на мѣсяць минутъ и сколько въ десять лѣтъ родится телятъ, если въ стадѣ двадцать коровъ.

— Просто вы утомлены. Вамъ бы произвести маленькую диверсію, на тройкѣ, что ли...

— Куда это? Въ „Стрѣльну“? Ха-ха! Елена Константиновна Акридина! Какой скандалъ!

Она не докончила и спросила:

— Вы вѣдь вчера были у Болъцева?

— Вчера.

— Онъ еще не пожаловалъ. Вотъ хоть бы станіе у насъ были. Нужды нѣтъ, что онъ немного на лампадномъ маслѣ. И наши ихтиозавры тоже вѣдь пропахли византійщиной и суздальщиной. Въ немъ что-то есть цѣльное и новое.

— И я того же мнѣнія.

Лыжинъ улыбался глазами, взглядывая на свою пріятельницу.

— Что вы на меня такъ смотрите?

— Ничего—пока. Вотъ жизненная задача для женщины:—обратить такого новаго человѣка изъ его вѣры въ свою.

— Не берусь. И вообще, другъ Лыжинъ, мнѣ порядочно-таки пріѣлись всякія препирательства. Надо жить, а не „выгораживать только свое обличье“, какъ любилъ, кажется, выражаться покойный критикъ Аполлонъ Григорьевъ.

— Будемъ жить,—повторилъ Лыжинъ, все съ той же усмѣшкой въ глазахъ.—Я не успѣлъ вамъ сказать вчера тамъ у музея...

— О себѣ?

— Да. Я ѣхалъ отъ Захара Лукьяновича.

— Имѣніе вы окончательно продали?

— И купчая подписана. Но вы забыли... Я вамъ говорилъ насчетъ предложенія его степенства, — прибавилъ онъ, не опуская голоса.

— Да, да! Помню. Вы соглашаетесь?

— Соглашаюсь условно. Беру мѣсяцъ на испытаніе—и себя, и моего будущаго хозяина.

— Что жъ! И прекрасно, другъ! Пускайтесь въ настоящую жизнь. Это гораздо лучше, чѣмъ пребывать въ неблагоустроенномъ амплу опростѣлаго дворянина, не знающаго, къ чему примоститься.

Она нагнулась къ нему и сбавила тонъ:

— Присмотритесь къ четѣ моихъ родственниковъ. Сдѣлайтесь здѣсь первымъ номеромъ.

— Съ какой стати?

— Это непременно нужно. Пускай они оба прыгаютъ подъ вашу дудку.

— Ну, кажется, ни тотъ, ни другая не изъ такихъ... особенно Нина Борисовна.

Акридина поглядѣла на него пристально.

— Да она вамъ нравится?

.Лыжинъ промолчалъ.

— Какъ наша Ида говорить: *vous donne-t-elle un frisson nouveau*?

— Очень ужъ скоро... да и къ чему?

— Нравится—тѣмъ лучше. Вы предлагаете мнѣ обратиться въ свою вѣру убѣжденнаго предводителя — вотъ и вы бы производили такой же экспериментъ надъ Ниной. Придайте ей лиризма. Она чудовищная материалистка... А у меня нѣтъ охоты исправить ее.

Въ портьерѣ показался лакей.

— Прикажете принять? — спросилъ онъ, подавая карточку.

— *C'est lui!* — быстро и съ блескомъ въ глазахъ кинула .Лыжину Акридина. — Просите.

Она встала съ кушетки и, наклонившись къ .Лыжину, шопотомъ сказала:

— Примите его. Я сейчас... Надо поправить волосы.

И пробѣжала въ спальню. .Лыжинъ улыбнулся ей вслѣдъ.

„Хандру какъ рукой сняло“, — подумалъ онъ, вставая, и прошелся взадъ и впередъ по комнатѣ.

XXXVI.

Оживленіе Акридиной замѣтно усилилось при Боярцевѣ. Глаза ея расширились и стали блестяще, ротъ получилъ игривую складку; вся она какъ-то подтянулась и, сидя у лампы, смотрѣла совсѣмъ молодой женщиной, принимающей въ своемъ салонѣ.

Боярцевъ — въ черномъ сюртукѣ и свѣтломъ галстукѣ — въ нѣсколько церемонной позѣ сидѣлъ по другую сторону стола и положилъ на него одну руку — очень красивую, съ удлинненными пальцами, съ нѣжнымъ окрашиваніемъ кожи.

.Лыжинъ сѣлъ нѣсколько поодаль, у этажерки, и такъ, что оба они были для него видны въ широкомъ пятнѣ свѣта лампы. Минутами онъ закрывалъ глаза и слушалъ ихъ голоса. По тѣмбру голосовъ они казались совершенно однихъ лѣтъ; но онъ считалъ Акридину года на три или на четыре старше Боярцева. У Елены голосъ минутами звучалъ рѣзковато, но и самая эта рѣзкость моложавила ее. Боярцевъ говорилъ высокимъ теноромъ, слабѣ звукомъ и гораздо сдержаннѣе, чѣмъ она.

— Вы читаете послѣзавтра? — спросилъ онъ ее, слегка наклонивъ голову надъ столомъ.

— Да, я вотъ уже говорила другу моему Лыжину,— во мнѣ нѣтъ священнаго огня.

— Почему? Я читалъ программу. Это чрезвычайно живой вопросъ: связь первобытныхъ вѣрованій съ нравственнымъ положеніемъ женщины въ семьѣ и общинѣ.

— Вы будете?—какъ бы вскользь спросила Акридина.

Лыжинъ, въ звукѣ ея вопроса, почувалъ, что для его пріятельницы не безразлично—придетъ ли онъ, или нѣтъ.

— Непремѣнно постараюсь,—отвѣтилъ Боярцевъ тѣмъ же ровнымъ голосомъ.

„Постараюсь“,—мысленно повторилъ за нимъ Лыжинъ, и въ этомъ „постараюсь“ ему почудилась вся дальнѣйшая исторія борьбы, которая можетъ завязаться между Еленой и Боярцевымъ: натискъ пойдетъ отъ женщины; самозащита—отъ мужчины.

„А кто побѣдитъ?—спросилъ онъ вслѣдъ затѣмъ.— Тотъ, кто меньше потратится“.

— Очень лестно,—слышался ему вибрирующій голосъ Акридиной, — но впередъ прошу снисхожденія. Знаю, меня будетъ замораживать ближайшій антуражъ.

— Какой?—не понявъ сразу, спросилъ Боярцевъ.

— Ахъ, Боже мой! Тѣ окаменѣлые собраты по специальности, которые будутъ сидѣть за почетной загородкой, подъ каедрой.

Она засмѣялась немного напряженно, и Лыжину стало почти жутко оттого, что Елена повела разговоръ въ такомъ именно тонѣ. Боярцевъ могъ принять это за невужное кокетство, за желаніе быть остроумной и игривой, что ему могло показаться лишнимъ въ женщинѣ, имѣющей научное имя. Вообще она волновалась, а Боярцевъ не выходилъ ни на минуту изъ своего ровнаго и теперь менѣе сдержаннаго тона.

— Вы къ нимъ относитесь критически.

— Да развѣ археологія,—выговорила она,—не превратилась въ какой-то благонамѣренный спортъ, въ родѣ велюсипеда?

— Почему же—благонамѣренный?

На вопросъ Боярцева, сдѣланный повеселѣе, Лыжинъ замѣтилъ со своего мѣста:

— Елена Константиновна очень вѣрно опредѣлила эту отрасль знанія. Она, по нынѣшнему времени, самая благонамѣренная и поощряемая.

— Можетъ-быть,—отозвался Боярцевъ, опять съ серьез-

ной миной на своемъ красивомъ и ясномъ лицѣ.—Но если оно и такъ, то это только законная реакція...

— Противъ чего?—не дала ему досказать Елена, и на ея полныхъ щекахъ выступила краска.

— Противъ недавняго отрицанія, противъ рабскаго преклоненія передъ всѣмъ западнымъ, противъ равнодушія къ исторіи своего народа, его духа и его вѣковой борьбы съ природой и исконными врагами.

Тираду Боярцева, хотя она и была длинная, Лыжину не нашелъ книжной, заученной. Въ ней только вылился обычный складъ его мыслей и чувствъ къ родинѣ.

— Хорошо, кабы такъ!—воскликнула Аиридина, и вся вострепнулась,—но всего чаще это только мундиръ или признакъ умственной анестезіи,—если выразиться помягче.

Боярцевъ тихо разсмѣялся и спросилъ, наклонивъ голову:

— Вы считаете такое опредѣленіе мягкимъ?

— Конечно! Ха-ха!

Но онъ не сталъ вторить ея смѣху, и снова Лыжину начало дѣлаться непріятно за Елену.

„Теряетъ подпорки“,—подумалъ онъ, видя, до какой степени личное тревожное настроеніе можетъ отнимать у женщины тактъ. Вѣроятно, съ тѣмъ же отсутствіемъ самообладанія повелъ бы и онъ самъ разговоръ съ женщиной, съ которой начинается какая-то „игра“.

Мягкій шумъ портьеръ, въ глубинѣ комнаты, заставилъ его поднять голову.

Вошла Нина въ плюшевой, темно-огненнаго цвѣта накидкѣ съ собольей отдѣлкой. Брильянты въ ушахъ и на кольцахъ рукъ заискрились. Надъ косою высилась золотая узкая гребенка, и ея матовый блескъ придавалъ головѣ ея еще больше живописности.

Оба мужчины встали. Нина, плавно выступая крупнымъ шагомъ, остановилась по ту сторону стола и протянула руку Боярцеву.

— Мы съ вами встрѣчались,—сказала она съ легкимъ величавымъ наклономъ головы.— Очень рада, что вы — гость Елены Константиновны. Надѣюсь, будете и нашимъ.

Боярцевъ молча поклонился низкимъ поклономъ.

— Юрій Петровичъ, здравствуйте!

Когда Нина, пройдя позади кресла Боярцева, пожимала руку Лыжину, отъ прикосновенія этой свѣжей, атласистой руки съ нажимомъ колець по всему его тѣлу про-

бѣжала струйка; мгновенно онъ ощутилъ приливъ къ ушамъ и смутился—замѣтно только для него.

— Мужъ говорилъ мнѣ, — вполголоса выговорила она, благосклонно играя глазами, — что вы согласны. Я чрезвычайно рада, хотя въ его дѣла и не вхожу. Вы дома обѣдаете?—спросила она, отвернувъ тотчасъ же голову къ Еленѣ, и сѣла между мужчинами.

— Нѣтъ, милал, я отозвана на официальный обѣдъ.

— Туда, куда мой мужъ долженъ ѣхать?

— Именно.

— И вы?—спросила Нина, обращаясь къ Боярцеву.

— Нѣтъ. Я не имѣю никакихъ правъ.

— Будто бы меньше, чѣмъ мой мужъ? Вѣдь нынче всѣ—любители старины. Это въ большой модѣ.

— Елена Константиновна сейчасъ сравнила археологію со спортомъ, — замѣтилъ Лыжинъ, сдѣлавъ надъ собой усиліе: онъ вдругъ забоялся, что не сумѣетъ ничего вставить въ общій разговоръ.

— Да?—весело окликнула Нина и, обращаясь больше къ Боярцеву, добавила:—Вы не находите?

— Если это и спортъ, — отвѣтилъ онъ, — то спортъ загородный.

— Во всякомъ случаѣ—патріотическій, а отечество свое надо любить, — выговорила Нина полусмѣя, полунаставительно, и сейчасъ же поднялась.

— До свиданія, ma tante.

При словахъ „ma tante“, соскочившихъ съ яркихъ губъ Нины легко и, кажется, безъ всякой задней мысли, Акринина привстала и косая усмѣшка повела ея энергичный ротъ.

— До свиданія, Нина, — отвѣтила она Кумачевой тономъ подруги.

Это не ускользнуло ни отъ Лыжина, ни отъ Боярцева.

— Въ день засѣданія, когда Елена читаетъ свою работу, — Нина обратилась къ обоимъ мужчинамъ, — не хотите ли отобѣдать у насъ... съ бенефицианткой?..

— Нина!—не то конфузно, не то съ упрекомъ остановила ее Елена.

— Разумѣется, это будетъ вашъ бенефисъ... Мы можемъ разсчитывать на васъ?

Нина, протягивая руку Боярцеву, обволакивала его своимъ холодновато-ласковымъ взглядомъ.

— Благодарю васъ, — утвердительно вымолвилъ онъ.

— И вы, Юрій Петровичъ?

И опять пожатіе ея свѣжей и атласисто-твердой руки прошло съ змѣйкой по спинѣ Лыжина.

Онъ молча поклонился и нарочно нагнулъ низко голову, чтобы избѣжать ея глазъ.

Только ей вслѣдъ поглядѣлъ онъ, и ея голова, съ золотой гребенкой въ античномъ комочкѣ волосъ, мелькнула и исчезла въ портьерѣ дальней двери.

Боярцевъ уже не присаживался и собрался уходить.

— Посидите! — упрашивала его Акридина, нагнувшись всѣмъ станомъ надъ столомъ. — Куда же вы спѣшите? У меня еще много времени. Обѣдъ — поздній. Сядутъ не раньше половины седьмого.

— Теперь уже шесть, — серьезно выговорилъ онъ, поглядѣвъ на часы.

— Вамъ еще надо перемѣнить туалетъ, — прибавилъ и Лыжинъ.

Она съ упрекомъ поглядѣла на него.

Гость сталъ прощаться.

— Гдѣ вы сядете? Хотите поближе?

— За перегородкой... гдѣ ископаемые? — тихо усмѣхнувшись, спросилъ Боярцевъ.

— Это не хорошо — такъ ловить. Это — не по-товарищески.

Она провожала его до самыхъ дверей въ переднюю и два раза пожала ему руку.

Съ Лыжинымъ Боярцевъ раскланялся привѣтливо и, уходя, проговорилъ:

— До свиданія.

Оставшись одни, они съ минуту молчали. Акридина ходила возбужденно по комнатѣ, и ея рука, безпрестанно приглаживала волосы на правомъ вискѣ — ея любимый жестъ.

— Елена Константиновна? — пріятельскимъ полупопотомъ окликнулъ ее Лыжинъ.

— Чтò, другъ?

— Дворянчикъ съ направленіемъ васъ интересуеть?

— Ну, такъ что жъ?

— И вы не боитесь пойматься?

— Я ничего не боюсь!

— Вотъ какъ!

— Вы чтò же хотите сказать этимъ вопроснымъ пунк-

томъ? Что я — стара? Гожусь ему въ тетки?.. И Нина со своимъ „*ma tante*“...

— Это у ней такъ сорвалось... безъ язвы.

— Почему вы знаете?

Акридина подошла къ нему и взяла его за обѣ руки.

— А вы, другъ, не боитесь?

— Чего?

— Что моя племянница, — подчеркнула она съ ироніей, — захлестнетъ васъ? Вы что-то сейчасъ притихли при ней. Такъ притихаютъ только когда женщина даетъ мужчинѣ...

— *Un nouveau frisson?*

— Именно. Не лгите. Признайтесь.

— Не знаю, — тихо и вдумчиво выговорилъ Лыжинъ, и стыдливо-боязливое чувство вползло ему въ сердце. — Намъ такая — не ко двору.

— Вздоръ, милый! Вздоръ! Нечего въ старики записываться. Любите, коли любится, и другимъ не мѣшайте.

И оба они опять смолкли, охваченные, каждый по-своему, чѣмъ-то и жуткимъ, и отраднымъ, точно ощущеніемъ холоднаго лезвея, за которымъ ждешь острой боли.



Часть вторая.

I.

Въ томъ самомъ „Дворянскомъ гнѣздѣ“,—гдѣ Лыжинъ рѣшилъ провести всю зиму,—въ бель-этажѣ, окнами на дворъ, подъ № 13, жила, съ ноября, постоялица, которая значилась на черной доскѣ, вывѣшенной внизу, подъ фамиліей Днѣпровской.

Въ рождественскій сочельникъ, днемъ, въ сѣни этого меблированного дома вошелъ высокій, статный военный.

Бѣлая фуражка и дорогій бобровый воротникъ шинели, на шелковой подкладкѣ, красивый носъ и черныя тонкіе усы,—все это сразу подѣйствовало на молоденькаго второго швейцара, въ длиннѣйшей ливреѣ, и онъ подбѣжалъ къ офицеру, дѣлая подъ козырекъ своего картуза съ галуномъ.

— Госпожа Углова?

— Такой нѣтъ-съ,—удивленно отвѣтилъ швейцаръ.

— Какъ нѣтъ! Она въ этихъ номерахъ. Я знаю.

Голосъ у офицера былъ очень пріятнаго тембра.

— Олимпиада Дмитриевна?—спросилъ онъ менѣе увѣренно.

— А! Олимпиада Дмитриевна Днѣпровская?

— Она подъ этой фамиліей здѣсь значится?

— Такъ точно. Съ самаго перваго дня.

И швейцаръ сдержанно усмѣхнулся, что-то вспомнивъ.

— По паспорту онъ дѣйствительно госпожа Углова. А это по театру-съ.

— Дома?—перебилъ построже гвардеецъ.

— Дома. Пожалуйста. Я проведу-съ. Лѣстницей выше.

Швейцаръ, подбирая полы ливреи, побѣжалъ вверхъ. Офицеръ неторопливо шелъ за нимъ, все еще кутаясь въ богатый серебристый воротникъ своей драповой шинели.

Они повернули налѣво, и швейцаръ постучалъ въ двери тринадцатаго номера и, не дожидаясь отвѣта, пріотворилъ и просунулъ голову.

— Олимпиада Дмитриевна... къ вамъ можно? Господинъ одинъ желаетъ.

— Проси!—довнесся до офицера знакомый ему голосъ.

— Антоша! Антошка! Гадкій! Такъ свалиться съ неба! Не прислать денешни!

Гвардеецъ еще не успѣлъ ни сбросить шинели, ни снять бѣлой фуражки.

— Липа! Отпусти!

Полная, рослая женщина, въ розоватомъ фланелевомъ пеньюарѣ, обнимала его. Она и смѣялась, и хмурила свои густыя темно-русые брови, и цѣловала его. Въ сѣрыхъ огромныхъ глазахъ ея блестѣли двѣ слезинки.

— Дай снять,—просилъ онъ,—шинель... жарко.

Онъ сбросилъ шинель на стулъ, стоявшій въ темной половинѣ первой большой комнаты: она служила гостиной. Безъ фуражки онъ былъ еще красивѣе: лобъ высокій, волнистые черные волосы, коротко остриженные, темные глаза съ полустрогой усмѣшкой, цвѣтъ лица — еще нѣжный, молодецкія плечи, очень высокій воротникъ и золотые погоны. Онъ съ утра надѣлъ вицмундиръ и былъ при шпагѣ, а не съ шашкой на перевязи.

— Садись! Садись! Вотъ сюда!

Липа шумно усадила его на диванчикъ.

— Гадкій! Ничего не писать больше двухъ недѣль, и даже депеши не пустить... И ты прямо оттуда?

— Да, изъ Даниловки.

— Въ городъ не заѣзжалъ?

— Заѣхалъ... на одинъ день.

— Ну, не буду приставать, Антошенька. Красавецъ вы мой! А я безъ тебя изнывала здѣсь... Такая вышла мерзость!

Она чуть замѣтно повела верхней губой.

— Pardon! Извините!—шутовски, по-военному, передернула она плечами. — Ваши баронскія уши оскорбляютъ!.. Нѣтъ, милая моя Антоша является въ самый моментъ. Я тебѣ пропою, какъ Рембѣ въ „Робертъ-Дьяволъ“:

О, мой спаси-и-тель,

Мой искупив-тель,
Мой избавив-тель,
Какъ счастливъ я!

И, сдѣлавъ гримасу, она — по-театральному, въ сторону — пустила басомъ, подражая Бертраму:

Жертва моя!

Офицеръ улыбнулся и сдѣлалъ жестъ свободной рукой, какъ будто онъ хотѣлъ имъ сказать:

„Вѣчно ты съ своими дурачествами, Липа!“

Онъ вѣдь зналъ, что Липа измѣниться не можетъ, и ее надо брать и любить, какова она есть.

— Что же, — серьезнѣе остановилъ онъ ее, — твой дебютъ... не удался?

— Гадость какая! Я тебѣ говорила, что лучше было сразу въ Большомъ. Либо панъ, либо пропалъ. Разумѣется, надо поработать надъ этимъ... А тутъ частная сцена — лавочка! И у нихъ — *сосьете*, — выговорила она нарочно со всѣмъ по-русски. — Дѣла пошли скверно.

— Скверно? — переспросилъ баронъ Гольцъ: такъ звали офицера.

— Теперь немножко получше. Поставили „Игоря“ и „Лоэнгрина“. А въ началѣ сезона было — швахъ. И у нихъ свои премьерши. Завѣдующій рѣшилъ: сейчасъ же назначить мнѣ дебютъ.

— И что жъ?

— Ну, Антошенька мой милый, и вышелъ — куакъ. Горло перехватило послѣ второго акта.

— Ты выступила въ „Карменъ“?

— Да! и приѣмъ былъ превосходный, за первый актъ. А потомъ, Богъ его знаетъ, что сдѣлалось... отъ нервности... Точно мнѣ голосъ подмѣнили.

— Партія сильна. Я тебѣ говорилъ, Липа. Одно дѣло — оперетка, другое — большая опера.

— Пустяки!

Липа махнула рукой рѣзкимъ жестомъ, выбѣжала на середину комнаты и запѣла, зычно и хриловато, изъ того же „Роберта-Дьявола“:

Рембо сказалъ мнѣ: другъ прекрасный,
Клявусъ любить тебя душой!

Глазами и бровями, и ртомъ она гримасничала.

Но баронъ не разсмѣялся. Онъ уже привыкъ къ выходкамъ Липы, и онѣ ему теперь, по прошествіи двухъ мѣсяцевъ, стали нравиться еще меньше.

— Все это пустяки!—сказала она.

— Ты и теперь хрипишь!

— Еще бы! У меня инфлуэнца была форменная. Три дня валялась. А ваша баронская милость и не догадывалась. Ахъ, баронъ, баронъ!

Липа подскочила опять къ нему и взяла за шею своей сильной, бѣлой рукой и, длинными пальцами охвативъ правую щеку, дернула за усь.

— Полно! Чтѣ за дурачество!—почти сердито откликнулся гвардеецъ и даже началъ краснѣть.

— Прощенья просимъ. Антоша, не ломайся! Я бы имѣла право разнести тебя... Истерику на себя напустить, выгнать тебя за такое гнусное поведеніе. Не важничай. Ты—баронъ Гольцъ. Важная персона! И я—дочь генерала... да еще какого... кавказскаго. А Гольцевъ-то много. Тамъ, въ Чухляндіи... гдѣ ревельская килька водится.

И она запѣла мужскимъ голосомъ, дробно и очень забавно:

Бѣжитъ баронъ пѣшкомъ
Съ мѣшкомъ.
Въ Москву пришелъ, ридкомъ
Съ крыльцомъ
Въ трактиръ скромномъ поселился.

— Ну, ладно, ладно!

Она повелъ красивымъ ртомъ, полупокрытымъ усами, съ блескомъ отъ брильянтина.

— Ничего!.. Все это вы, Антошенька, изволите брешить. У меня голосъ есть и въ достаточномъ количествѣ для оперы, особенно на частной сценѣ... Я хочу сдѣлать опытъ и сдѣлаю.

— Школа нужна.

— Мало я драла горло на вокалізахъ! Цѣлое лѣто прокоптѣла въ Парголовѣ и своему итальянцу сколько деньжищъ снесла. А консерваторія-то на что? Вѣдь я въ оперетку-то случайно попала. Мнѣ не сорокъ лѣтъ. Чему я училась—то я помню.

Ей было даже и не тридцать, всего двадцать восемь; но она на цѣлыхъ три года оказывалась старше его и, при ея полнотѣ, смотрѣла уже тридцатилѣтней женщиной.

И это онъ зналъ; она объ этомъ рѣдко думала.

— Въ чемъ же дѣло?—сдвинувъ брови и съ неопредѣленной усмѣшкой спросилъ гвардеецъ.

— Въ томъ, душечка моя, что вамъ слѣдуетъ произвести нѣкоторое давленіе.

— Почему же мнѣ?

— А то кому же? Ты что же, испугался? Денежную взятку давать управляющему труппой или рецензентамъ? Не бойтесь. Не разорю!.. А просто показать свою бѣлую фуражку, баронскую корону на карточкахъ, пожать руку и въ „Эрмитажъ“ или въ „Славянскомъ Базарѣ“ угостить завтракомъ. Они,—прибавила она быстрѣе и безъ дурачества въ голосъ,—не отказываютъ мнѣ въ дальнѣйшихъ дебютахъ. Но непременно въ другой роли.

— Совершенно правильно,—выговорилъ баронъ тономъ серьезнаго кавалериста, обсуждающаго выѣздки лошади.

— А я хочу опять въ „Карменъ“. То былъ не дебютъ, а инцидентъ. Перехватить горло и у Патти, и у Зембрихъ можетъ... И рецензентамъ слѣдуетъ утереть носъ и довести ихъ до сознанія, что они—сволочь!

— Ахъ, Липа!

— Pardon! Извините! — она снова сдѣлала шутливую военную жестъ плечами.—Не угодно ли полюбоваться. Я вотъ покажу тебѣ фельетонку одного такого пасквилянта... господина Сподѣева. Одна фамилія чего стоить!

Липа грустно подбѣжала къ письменному столу.

II.

Пока Липа рылась въ обоихъ ящикахъ стола, гдѣ въ беспорядкѣ валялось множество писемъ, афишъ и всякой другой мелочи, баронъ, привычнымъ движеніемъ военнаго завернувъ короткую полу вицмундира, вынулъ изъ рейтузъ серебряную папиросницу и закурилъ.

Лицо его приняло спокойное, строгое выраженіе, усвоенное еще въ корпусѣ. Такъ смотрѣлъ онъ и на ученѣ, въ манежѣ, и на маневрахъ, когда стоялъ со своимъ взводомъ, занимая „моментъ“; такъ и на медвѣжьей охотѣ, поджидая звѣря у опушки. И тотчасъ дѣлался старше на видъ.

Это выраженіе онъ унаслѣдовалъ отъ покойнаго отца, на него онъ и похожъ; только черные волосы передала ему мать, русская—по себѣ—княжна Тукманова, татарскаго рода. Отецъ былъ уже православный; дѣдъ лютеранинъ—изъ дворянъ Балтійскаго края, и всѣ—изъ поколѣнія въ поколѣніе—военные, кавалеристы.

Въ Москву онъ пріѣхалъ по вызову пріятеля и родствен-

ника—по матери—дожить свой отпуск и „покончить“ съ холостой жизнью.

— Antoine, il faut faire une fin, — говорилъ ему его старшій братъ, изъ лиценстовъ, предводитель въ ихъ уѣздѣ, тамъ, откуда онъ пріѣхалъ, и гдѣ, въ прошломъ году, купилъ Липѣ Угловой цѣлый хуторъ.

Она пѣла въ губернскомъ городѣ, въ опереткѣ. Сближеніе произошло быстро, и въ первую зиму онъ былъ сильно въ нее „врѣзамшись“, — какъ самъ любилъ выражаться въ полку, когда чувствовалъ себя не остзейскимъ барономъ, а настоящимъ русакомъ.

Но онъ не первый обладалъ Липой. У ней оказалось прошлое—и довольно-таки сложное. До поступленія на сцену она побывала и въ „стриженныхъ“, даже привлечена была къ какому-то дѣлу, да успѣла по-время уѣхать за границу. Уже десять лѣтъ живетъ она на своей волѣ, и ее только могила исправить.

Оставшись одинъ, въ деревнѣ, онъ сталъ убѣждаться, что затягивать себя съ нею на неопредѣленное время нельзя. Она слишкомъ—личность, да еще „шальная“—тоже его слово. Когда влюбленность остывала, онъ началъ находить ее слишкомъ рѣзкой, неизящной въ своихъ шутковскихъ выходкахъ, отъ которыхъ ему не было смѣшно, бѣшеной, когда разсердится или начнетъ ревновать, и то и дѣло способной впадать въ „мерехлюдію“, — какъ онъ выражался,—и тогда нести всякую опасную и тошную для него „лухту“—его корпусное слово.

Теперь она опять его окунула въ то же жуткое чувство своимъ тономъ, и свиданіе съ нею его не радовало.

Липа нашла, наконецъ,—много разъ громко выбранившись,—то, что она называла „фельетошкой“, и такъ же шумно подѣла къ барону.

— Вотъ, душечка, не угодно ли полюбоваться?

Онъ зажмурилъ одинъ глазъ отъ дыма папиросы и взялъ изъ ея рукъ длинную и узкую вырѣзку изъ газеты.

— Да это не фельетонъ, а статья.

— Этотъ милашка Спондѣевъ каждый день пишетъ. Видишь, называется: „Слухи и толки“. И обо всемъ болтается, и вретъ, и обливаетъ помоями, вторгается въ закусную и домашнюю жизнь.

Баронъ пробѣжалъ первый параграфъ и пожалъ плечами.

— Съ какой же стати ты хочешь, coûte que coûte — выступать въ той же „Карменъ“?

— И выступлю!

Она ударила кулакомъ по столу.

— Напрасно.

— Это мое дѣло! А твое, Антоша, пустить въ ходъ золотую каску съ птицей и ослатливить всѣхъ этихъ скотовъ своимъ вниманіемъ.

— И этого пасквилянта также?

— Его не нужно. Есть и другіе. Тѣ помягче, не такъ безстыжи.

— Нельзя ли меня во все это не вмѣшивать?

— Не извольте пугаться, баронъ Антонъ Федоровичъ, не впутаетъ васъ ни въ какую исторію. А не пожелаете приласкать кого слѣдуетъ, то и сами обойдемся. Если они мнѣ не дадутъ выступить въ „Карменъ“ — я подписываю ангажементъ въ Херсонъ. Но мнѣ уже обращался агентъ.

— Въ оперетку?

— И сдѣру съ нихъ здорово—тысячу рублей въ мѣсяцъ и два бенефиса—сейчасъ по пріѣздѣ и на масленицѣ.

„Тысячи рублей она не получитъ,—подумалъ онъ,—а по семисотъ въ мѣсяцъ ей платили“.

— Вотъ это—десятое дѣло. Я бы, на твоёмъ мѣстѣ, сейчасъ подписалъ ангажементъ.

— Только бы спустить меня отсюда? — спросила она, бросивъ на него острый взглядъ. — Вамъ, баронъ, безъ меня будетъ здѣсь неизмѣримо пріятнѣе. А то еще какъ-нибудь скомпрометирую, — выговорила она, подчеркнувъ въ концѣ слова букву „н“.

— Ну, пошло!

— Не извольте обижаться. — Она поцѣловала его въ щеку. — Это дѣла, и о нихъ еще успѣемъ. Ваша милость гдѣ остановилась?

— Въ „Дрезденъ“.

— Куда вѣзжають сановники? Такъ вамъ и подобаетъ. Можетъ, невѣсту пріѣхали высматривать?

— Невѣсты еще нѣтъ,—отвѣтилъ онъ съ чуть замѣтной зѣвотой.

Липа положила оба локтя на столъ и, опустивъ голову знакомымъ ему жестомъ, продолжала глядѣть на него вбокъ.

„Вотъ сейчасъ начнется“, — подумалъ онъ и перемѣстилъ папиросу изъ лѣваго угла рта въ правый.

— Антоша, — заговорила Липа ушаннымъ сразу голосомъ,

и ея боковой взглядъ, скользнувъ по его лицу, ушелъ въ пространство,—ты вѣдь никакой вѣры не имѣешь въ меня, не признаешь во мнѣ никакого дарованьишка.

— Кто тебѣ это сказалъ?

— Да, въ опереткѣ, гдѣ нужно юбочкой передергивать, пьяненькую Периколу изображать... Нужды нѣтъ, что у меня голосъ не первой свѣжести, — я это и сама знаю, — но во мнѣ лирическая артистка кроется. Мнѣ драма нужна.

— Иди въ драматическія.

— Ты меня не понимаешь. То—не уйдетъ! Когда совсѣмъ спаду съ музыкальнаго голоса—буду играть Марію Стюартъ, и Медею, и Клеопатру. А пока есть тонъ и красивый звукъ—душа моя просится выразить себя и пѣніемъ, и игрой въ одно время. Эхъ! Антоша! Ты ничего этого не понимаешь.

— Почему же?—сдержанно спросилъ онъ.

— Ты—*фэнъ-де-сёкль*, — выговорила она полудурачливо.—Равновѣсія этого самаго въ тебѣ много... Нѣмецкая кровь пополамъ съ татарско-московской. И вотъ что я тебѣ скажу, любезный другъ: ежели у меня на оперѣ выйдетъ настоящая осячка—прости-прощай.

— То-есть, какъ же это?

Онъ поднялъ голову и поглядѣлъ на нее вбокъ.

— Да ужъ такъ...

— Покончишь съ собой, что ли?

— Это мое дѣло. Очень ужъ, Антоша, тошно дѣлается. Еще пока на драму перейдешь, пока что—оперетка меня совсѣмъ доконаетъ... Такъ пакостно, такъ пакостно!

— Это ты такъ говоришь... а сама очень рада.

— Вотъ какъ ты до сихъ поръ меня понимаешь! Поздравляю!

Въ голосѣ что-то у ней зарокотало.

— Послушай, — остановилъ онъ ее и положилъ свою лѣвую руку на ея плечо,—не будемъ это перебирать сегодня. Ты только разстроишься и наживешь мигрень,—онъ разсмѣялся сквозь свои крупные и бѣлые зубы,—и толку никакого отсюда не выйдетъ.

Онъ вынулъ часы изъ узкой прорѣхи своихъ рейтузъ, тотчасъ подъ таліей.

— Видишь... я долженъ спѣшить.

— Куда?

— Надо сдѣлать обязательно три визита, а теперь уже четвертый...

— Обѣдаемъ гдѣ?

— Я сегодня званъ.

— Антоша! Какъ назвать такое поведеніе?

— Да, милая... Сегодня день рожденія моего пріятеля Верховцева.

— Какого такого? Ты мнѣ о немъ никогда не говорилъ.

— Чтѣ жъ изъ этого?

— Почему же не могъ прислать его ко мнѣ?

— Онъ женатый.

— Скажите пожалуйста. Какія нѣжности!

— Ну, прости, не догадался.

— Значить, совсѣмъ не думалъ обо мнѣ? Впрочемъ, какая мнѣ сухота! Бѣгать за тобой не стану. Ежели желаешь—будемъ завтра обѣдать въ „Славянскомъ Базарѣ“.

— Почему тамъ? Лучше у Тѣстова.

— А вашей милости нельзя нанести визитъ, въ самый этотъ „Дрезденъ“?

Онъ не сразу отвѣтилъ.

— Или это рискованно? Да ты и въ самомъ дѣлѣ не женихъ ли?

Липа вышла изъ-за стола и прочла по-театральному:

— Прошу мнѣ дать отвѣтъ, безъ думы... Полноте смущаться!

За ней поднялся и баронъ, подошелъ къ ней и поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Завтра я заѣду, передъ обѣдомъ,—торопливо выговорилъ онъ, надѣвая шинель.

— Завтра, завтра... Смотри, Антоша! Завтраками кормить тебѣ не пристало.

И равнодушнымъ тономъ она сказала ему вслѣдъ:

— Я сыта... по-уши сыта.

III.

Раннимъ вечеромъ у Липы часто собиралось молодое общество.

И сегодня она, послѣ своего обѣда въ семьдесятъ пять копеекъ, съ одной свѣчой на письменномъ столѣ, въ полусумеркахъ, лежала на кушеткѣ и курила.

Очень рѣдко Липа закуритъ папиросу. Это, каждый разъ, доказательство того, что у ней на душѣ забродило.

„Финтить Антошка!“ — думаетъ она, на разные лады, съ самаго ухода барона.

Она зачуяла, что за нее онъ больше не держится. И она сама должна была сознаться: это не поразило ее, не дало жгучей боли... Къ тому шло.

Она по немъ почти не соскучилась, съ поздней осени, когда они простились. Безъ него ей было даже удобнѣе въ Москвѣ готовиться къ оперному дебюту. И „осѣчку“ легче было испытать—не на его глазахъ. Онъ, навѣрно, по своему баронско-гвардейскому самолюбію, настаивалъ бы на томъ, чтобы сейчасъ же скрыться изъ Москвы. Добиваться своего — онъ это понимаетъ только для собственной особы.

Она писала ему довольно часто; однако, не торопила его, не звала сюда. Обрадовалась она ему искренно, и ее сразу защемило—но не отъ самолюбія ли?—когда она поняла, что онъ „финтить“.

Съ тѣхъ поръ, какъ они сошлись, прошло уже около двухъ лѣтъ. Ему она за многое благодарна. Онъ въ нее влюбился быстро, чѣмъ она въ него. Вскорѣ и въ ней взяло верхъ влеченіе болѣе пылкое. Его мужская красота, молодость, тонъ, особаго рода выдержка взяли свое, и когда онъ, по прошествіи полугода, купилъ ей имѣніе, небольшой хуторъ съ усадьбой, она приняла это безъ всякаго укола совѣсти. О женитьбѣ онъ не обмолвился; да и она никогда не настаивала, и свободой своей дорожила больше всего.

Да онъ и не женился бы на такой! Въ отставку онъ не выйдетъ, а въ его полку нельзя быть мужемъ опереточной пѣвицы. Лгать она не хотѣла и не могла: сошлась она съ нимъ не съ первымъ, и ему не очень-то нравилось, когда она начнетъ вспоминать время, по выходѣ изъ консерваторіи, тогдашнюю любовь—и какую!—и того, кто сталъ ее перевоспитывать, увлекъ въ свое „дѣло“, самъ погибъ, и она еле уцѣлѣла.

Связь съ барономъ Гольцемъ давала Липѣ что-то похожее на опору,—не денежную—она отъ него не получала денегъ—а скорѣе нравственную. Ее ни къ кому не тянуло, и ей не стоило усилий быть ему вѣрной, и въ провинціи, и въ Москвѣ. Онъ считался красавцемъ, былъ въ ея вкусѣ, молодъ, служилъ въ „первомъ“ полку, какъ онъ самъ считалъ его, характера скорѣе ровнаго, воспитанъ, довольно деликатенъ, если сравнить его съ другими мужчинами,

особенно съ такими, которые могутъ всегда имѣть успѣхъ у женщинъ. Нынче всякій актерикъ зазнается выше всякой мѣры и, добившись своего, дѣлается тотчасъ же грубъ и нахалень.

Но и съ барономъ бываетъ тяжело. У него голова съ „загородками“, многого онъ не можетъ понять, боится ея „припадковъ“—такъ онъ называетъ настроеніе, когда вся ея теперешняя жизнь и то, что вокругъ нея, сразу ей „огадить“, и она готова бываетъ бросить все и бѣжать куда глаза глядятъ. Этимъ, конечно, его не привлечешь. Съ нимъ нужно быть всегда ровной, веселой и въ мѣру пускать свои дурачества.

Теперь, передумывая все это, Липа не въ первый разъ чувствовала, что она злоупотребляла своимъ полупутовскимъ обращеніемъ съ барономъ, привычкой звать его „Антошкой“ и „ваша баронская милость“, и пускать въ ходъ всё свои, какъ онъ выражается, „каботинскія“ прибаутки и штучки.

Если все это такъ, то какъ же ей не слушаться зова къ серьезному искусству? Оно—не что другое—ее поддержитъ. Иначе засосетъ тоска, и будешь все падать ниже и ниже.

Липа бросила окурокъ папиросы и съ закрытыми глазами лежала недвижно, сложивъ на груди руки.

Мысли, горькія и всегда въ одномъ и томъ же направленіи, одоляютъ ее сейчасъ же, если ей не имѣть передъ собою какой-нибудь блестящей и притягивающей точки—„бляхи“—называла она. Откажись она теперь отъ оперы или, въ случаѣ полного провала, отъ драмы, что ей останется? Все та же „огадившая“ ей оперетка, кочеваніе по городамъ и ярмаркамъ, случайныя связи. А тамъ не за горами и спускъ къ роковому предѣлу женщины подъ сорокъ.

Любовь всякаго молодого мужчины, особенно такого, какъ ея баронъ—гвардейца, дѣлающаго карьеру—что такое она? Развѣ можно на нее опереться? Уйди она теперь вся въ страсть къ „Антошкѣ“, что бы у ней теперь осталось на душѣ? Вотъ пріѣхалъ бы такой „соколикъ“, и выпустилъ бы изъ нея весь духъ. И глотнула бы она раствора спичекъ или ціанъ-кали. А то и того хуже. Потянулся бы „адъ кромѣшный“ „бабьей дурости“—истерики, ревъ, дикія выходки брошенной женщины, безсонницы, бредъ, галлюцинаціи, быть-можетъ, безуміе.

Теперь у ней есть все-таки „поддержка“.

Это слово: „поддержка“ привело ее къ мысли о разныхъ другихъ поддержкахъ, которыя она допускала, и не въ видѣ однихъ подарковъ въ бенефисы, а просто такъ. Правда, она никогда не брала ничего отъ тѣхъ, кто ей не нравился. Баронъ подарилъ ей цѣлый хуторъ, и сдѣлалъ это мило, деликатно, привезъ ее туда на пикникъ и, ставъ на колѣни, подавъ на подносѣ „дарственную запись“. Хуторъ этотъ доходу почти что не даетъ. Это—усадьба для житья, на какихъ-нибудь два мѣсяца. Но все-таки это имѣннице устроенное, съ фруктовымъ садомъ, съ инвентаремъ. Тысячъ двѣнадцать навѣрно стоить, если продать, „на охотника“. Она приняла это тогда, въ самый разгаръ ихъ влюбленности другъ въ друга. Предлагала выдать ему вексель—онъ не согласился. Говорилъ онъ тогда складно и съ чувствомъ:

— Лина, это подарокъ отъ чистаго сердца. Я не деньги тебѣ предлагаю. Ну, ты меня бросишь, или я къ тебѣ охладѣю—онъ и это сказалъ,—у тебя останется память о нашей любви. Заболѣешь или утомишься—у тебя будетъ свой уголь... un pied-à-terre.

И вотъ эта минута, кажется, близка. Сама она его не бросала и даже въ помышленіи у ней не было сдѣлать ему хоть крошечную невѣрность. А въ Москвѣ случаевъ представлялось не мало.

Все-таки у ней останется подарокъ, цѣлое имѣніе, когда онъ напишетъ ей: „Милый другъ, будь счастлива, я женюсь на княжнѣ Мурзахановой“. Хорошо ли это? Опрятно ли?

— Вотъ еще глупости какія!—вслухъ выговорила Лина и вскинула своими руками, которыми баронъ такъ часто восхищался.

Она не выманила у него это имѣніе. Приняла она его въ даръ уже тогда, когда они сошлись, и она полюбила его не за деньги... Не помнить даже—попадала ли къ ней въ руки отъ него хоть одна радужная ассигнація.

— Олимпиада Дмитриевна?—раздался въ дверяхъ—ихъ отворили очень тихо—молодой женскій голосъ.—Вы спите?

— Нѣтъ! Нѣтъ! Леля, входите. Вы одна или съ Катей?

— Она придетъ позднѣе. И приведетъ студента... Знаете, того, что былъ распорядителемъ на вечерѣ въ пользу акушеровъ, гдѣ мы читали, въ „Докторскомъ клубѣ“.

— Очень рада!

Липа быстро встала съ кушетки и поцѣловала Лёлю Божеярина, слушательницу театральнхъ курсовъ, ея „юную подругу“, какъ она называла ее.

Лёля не успѣла еще снять съ себя кофточку съ мѣховымъ воротникомъ и бѣлую баранью шапочку, подъ шелковымъ платкомъ. Отъ нея повѣяло морозомъ.

— Холодно?—спросила Липа.

— Не очень.

Голосъ Лёли раздавался въ просторной, полуосвѣщенной комнатѣ съ пріятной вибраціей, такой же почти низкій, какъ и у Липы.

Безъ шапки она явилась блондинкой. Пепельные волосы, взбитые на лбу, и маленькая кучка волосъ на маковкѣ дѣлали ея голову живописной, въ античномъ вкусѣ. Она была прекрасно сложена, виднаго роста; цвѣтная шелковая рубашка съ кушакомъ очень красила ее.

— Какая здѣсь темень!—вскричала Липа.

Ея гостыя начала сама ловко заправлять лампу.

— Вы цѣлый день дома?—спросила она Липу.

— Да, валялась... Такая гадость.

О пріѣздѣ барона она ничего ей не сказала. Да и никто изъ ея теперешняго кружка не зналъ о ея связи съ нимъ. Иногда она упоминала о немъ вскользь, какъ о пріятелѣ, котораго ждетъ сюда.

IV.

Къ восьми часамъ цѣлое общество собралось у стола, гдѣ Лёля Божеярина разливала чай, поставивъ лампу на письменный столикъ. Ея товарка по курсамъ, Катя Мухина, сидѣла тутъ же, черненькая, пухленькая, маленькаго роста, въ темномъ платьѣ. Прекрасные блестящіе волосы, пышный ротъ и ямочки на щекахъ дѣлали ее болѣе хорошенькой, чѣмъ Божеярина; но та смотрѣла значительнѣе и болѣе обращала на себя вниманіе.

Катя привела съ собой студента Шипилина. Онъ сразу попалъ въ тонъ этого кружка. Пришло еще двое мужчинъ: худой, высокій брюнетъ, съ ріпсе-пез на короткомъ носу—газетный сотрудникъ Петровичъ—и такой же молодой человекъ, и такой же худой, длинноволосый, молчаливый, съ блуждающимъ взглядомъ голубыхъ глазъ, въ листриновой блузѣ, художникъ Лукошкинъ.

Липа уже больше мѣсяца какъ водила дружбу съ „дѣвочками“—она такъ называла обѣихъ ученицъ и ихъ то-

варокъ. Онѣ молодили ей душу, отъ нихъ вѣяло на нее любовью къ сценѣ, мечтами о славѣ, свѣжестью задора и хорошаго усилія достичь, понять, усвоить себѣ, найти призваніе, опредѣлить свое „амплуа“. Онѣ забѣгали къ ней во всякое время разсказать про свои классы, роли, обиды, интриги, любовныя увлеченія, просили помочь, чѣмъ можетъ, какой-нибудь бѣдненькой ученицѣ. Липа уходила въ жизнь этого молодого муравейника, и это переносило ее самоё къ консерваторскимъ годамъ.

Божеярина уже готовилась къ выпуску. Ее считали самой умной и начитанной, бойкой на разговоръ съ преподавателями. Кто-то въ шутку называлъ ее „мать-казначей“, и это прозвище осталось за ней. По фигурѣ и лицу она могла бы мечтать о „Маріи Стюартъ“, но ее влекло къ бытовой комедіи и къ старушечьимъ ролямъ.

Разговоръ пошелъ прежде всего о сценѣ. Обѣ дѣвушки, Петровичъ и студентъ Шипилинъ, разъ попавъ на тему о „Маломъ театрѣ“, вперебивку хвалили и бранили, сообщали слухи о новыхъ пьесахъ, по ниточкамъ разбирали игру. Имена любимыхъ актрисъ и актеровъ безпрестанно соскакивали у нихъ съ губъ.

Липа, слушая ихъ, понимала, какъ въ Москвѣ сцена захватываетъ всѣхъ—драма гораздо больше оперы. И ее потянетъ къ драмѣ, и она все сильнѣе вѣритъ въ нее, какъ въ прочное убѣжище, если опера „не выгоритъ“. Она училась въ Петербургѣ и тамъ не помнила ничего подобнаго. То же находилъ и литераторъ Петровичъ, южанинъ, жившій въ Москвѣ всего второй годъ. Онъ только что сейчасъ сказалъ, обращаясь къ Шипилину, съ которымъ встрѣтился сегодня въ первый разъ:

— У васъ, въ Москвѣ, три культурныхъ центра. Университетъ, Малый театръ и трактиръ „Эрмитажъ“.

Дѣвушки засмѣялись молодо и звонко.

Художникъ Лукошкинъ не вторилъ имъ, и только глаза его слегка вспыхивали.

— Вотъ, Олимпиада Дмитріевна,—заговорила Катя Мухина,—Шипилинъ у насъ въ родѣ дирижера, когда нужно кого поддержать изъ артистовъ. Такая досада, что мы съ Лелей прежде его не знали. Тогда, на представленіи „Карменъ“...

— Клики мнѣ не нужно, хотя бы и добровольной,—остановила ее Липа.—Студенты всегда меня балуютъ, и въ провинціи.

— Да, мнѣ извѣстно, Олимпиада Дмитріевна, — обратился къ ней Шипилинъ, — что наши васъ все-таки под-держивали.

— Какъ же, какъ же! — подтвердила Божеярина. — Только тогда мало было студентовъ.

Всѣ три женщины, каждая по-своему, чуяли, что студенчество здѣсь сила — вездѣ, гдѣ публика рѣшается.

— Мы, Олимпиада Дмитріевна, — сказалъ Шипилинъ, и голосъ его чуть-чуть вздрогнулъ, — были возмущены выходкой Спондѣева.

— Стоить вспоминать! — отозвалась отъ самовара Божеярина. — Это извѣстный пасквильянтъ. Онъ петербургскимъ ругателямъ подражаетъ. Ихъ выученикъ!

— Павелъ Кирилловичъ! — окликнула Катя Мухина Петровича. — Вѣдь вы въ той же газетѣ пишете, а?

И она плутовато усмѣхнулась.

Петровичъ поправилъ ринсе-пез и, немного смущенный, отвѣтилъ:

— Съ нимъ я не солидаренъ. Господинъ издатель очень за него держится.

— Подписку набиваетъ? — спросила Божеярина.

— Такихъ публика одобряетъ.

Петровичъ говорилъ съ мягкимъ южнымъ акцентомъ и „г“ звучало у него съ придыханіемъ.

Художникъ Лукошкинъ, низко нагнувшись къ стакану съ чаемъ, выговорилъ какъ бы про себя:

— И когда только прекратится все это сквернословіе...

Онъ громко вздохнулъ.

Шипилинъ оглянулъ всѣхъ веселымъ и вызывающимъ взглядомъ.

— До второго пришествія не прекратится! — вскричалъ онъ и тряхнулъ головой. — Пресса извѣстнаго сорта стала силой. Для улицы работаетъ, потому и уличный языкъ явился, и такія же чувства.

— Однако, позвольте!.. — остановилъ его Петровичъ, заволновавшись. — Если бъ сама публика протестовала... и не то, что улица, въ тѣсномъ смыслѣ, а молодежь... Помилуйте, куда ни придите — въ гостиницу, въ кофейную Филиппова, въ любую пивную — студенты зачитываются фельетонами господина Спондѣева. Развѣ это не правда? — спросилъ онъ, кивнувъ въ сторону Шипилина.

— Совершенно вѣрно! — горячо выговорилъ Шипилинъ. — Вы думаете — я стану защищать студентовъ? Мало

ли есть какіе! И ихъ сотни. Въ томъ-то и бѣда, что у насъ теперь тоже завелась толпа, улица. Чтò ей ни дашь—она все потребляетъ, только смѣши ее, паясничай, зубоскаль. Но кто этихъ господъ развращалъ, когда они зубрили аористы? Все та же доблестная уличная пресса.

— Еще бы!—глухо воскликнулъ художникъ, и глаза его сильнѣе вспыхнули.

— Разумѣется!—вырвалось однимъ звукомъ у дѣвушекъ.

— Понятно!—подтвердила и Липа.

Ее, съ самаго начала разговора, подмывало „отдѣлать скандалистовъ“, но она щадила Петровича и сознавала въ то же время, что это „подло“.

Положимъ, онъ порядочный человѣкъ, пасквилями не занимается, и нѣтъ повода накидывать на него. Но ей *надо* было щадить всякаго „писульки“, работающаго въ газетахъ. Напроломъ идти нельзя, когда у тебя нѣтъ такого голоса, который сразу приводитъ въ бѣшеный восторгъ всю залу.

— Павелъ Кирилловичъ, — ласково обратилась она къ Петровичу.—Мы на васъ не нападаемъ. Вы не хозяинъ газеты.

— Да, это такъ,—полуобидчиво перебилъ Петровичъ,—но каждый въ правѣ сказать: почему такой-то пишетъ въ органѣ, гдѣ подобные господа задаютъ тонъ.

— Какъ же не задать подобнаго вопроса? — вдумчиво и мягко спросилъ художникъ, остановивъ взглядъ на литераторѣ.

— Вопросъ неизбежный,—продолжалъ, все сильнѣе волнуясь, Петровичъ.—Но если каждому изъ насъ, начинающихъ и неспособныхъ идти рука объ руку съ господами Спондѣвыми, воздерживаться отъ работы,—пресса будетъ наводнена ими окончательно.

— Разсужденіе — обоюдоострое, — откликнулся Шининъ.—Это еще не извѣстно, чтò въ такомъ случаѣ произойдетъ. Гораздо легче самому поддаться господствующему теченію.

За перегородкой прихожей Липа первая услышала шаги.

— Кого Богъ несетъ?—довольно громко спросила она.

Божеярина приподнялась и поглядѣла черезъ самоваръ.

— Господа!—полушопотомъ выговорила она,—Бранцевъ.

Тотчасъ же и она, и Катя Мухина, какъ-то особенно подтянулись. Мужчины замолкли. Хозяйка шумно отодвинула свое кресло и пошла навстрѣчу гостю.

— Бранцевъ? Артистъ?—спросилъ художникъ студента.
— Да! Левъ Александровичъ. Онъ самый!
— Добро пожаловать! Вотъ это хорошо, что вспомнили меня.

Липа крѣпко пожала руку актера. Она съ нимъ познакомилась только въ этотъ прїѣздъ въ Москву и проходила съ нимъ роль „Карментъ“—„для игры“.

Теля и Катя—обѣ были его поклонницы и прїятно заволновались, безпрестанно переглядываясь между собою.

Бранцевъ, широкій въ плечахъ, рослый мужчина, блондинъ, съ короткими волосами и крупнымъ носомъ, снисходительно улыбался, дѣлая общій поклонъ. Студента онъ зналъ и подаль ему руку.

Липа назвала ему остальныхъ двухъ мужчинъ и ученицъ. Божеярина, бойкимъ тономъ, напомнила ему, что онъ ее видѣлъ на ученическомъ спектаклѣ и одобрилъ.

V.

Въ Бранцевѣ Липа видѣла передъ собой примѣръ того, какъ человѣкъ умѣлъ преодолѣть въ себѣ многое, что ему мѣшало: рѣзковатый голосъ, малую гибкость фигуры и лица, недостатокъ чувства—и въ три-четыре года занялъ самое видное положеніе въ труппѣ. Его знакомствомъ и поддержкой она очень дорожила, только не хотѣла „лебезить“ передъ нимъ и строго слѣдила за собою, не пускала своихъ шутовскихъ выходокъ, даже когда они бывали и съ-глазу-на-глазъ. Какъ мужчина, онъ на нее не дѣйствовалъ, и она жестоко издѣвалась надъ тѣми „дѣвулями“, которыя „скдпомъ“ изнывали по немъ и писали ему огненные признанія въ любви.

— Левъ Александровичъ, вамъ какого прикажете?—спросила Божеярина Бранцева.

— Покрѣпче, если позволите.

Актеръ сидѣлъ съ выпрямленной грудью и красивымъ поворотомъ головы. Держался онъ нѣсколько чопорно, и въ его говорѣ отчетливость произношенія соединялась съ отбѣнкомъ особой вѣжливости, которая устраняла безцеремонное обращеніе собесѣдниковъ?

— Такъ хорошо будетъ?—обратилась къ нему Божеярина.

Онъ отвѣдалъ и съ прїятной улыбкой своихъ карихъ узковатыхъ глазъ выговорилъ звонко:

— Благодарю васъ... Очень хорошо!

Оглянувъ всѣхъ, онъ отпилъ изъ стакана и спросилъ:

— У васъ, господа, была оживленная бесѣда, когда я вошелъ сюда. Я прервалъ ее — извините. Тема, кажется, весьма горячая?

— Вотъ,—пояснила Липа,—литераторъ со студентомъ схватились насчетъ нынѣшнихъ милыхъ газетчиковъ-пасквильнтовъ, и студентовъ тоже задѣли.

— Я за нашихъ безусловно не стою! — выѣхался Шипилинъ и быстро затянулся папирсой. — И я убѣжденъ — и Левъ Александровичъ согласится со мною. Если у насъ завелась „улица“ въ аудиторіяхъ, то ее создала на двѣ трети, а то и на три четверти, вотъ эта самая милая пресса, какъ Олимпиада Дмитриевна сейчасъ выразилась.

Шипилинъ уважалъ въ Бранцевѣ не одного артиста, а также и человѣка съ образованіемъ, и ему хотѣлось, при немъ, постоять за себя.

— Видите ли, — отвѣтилъ Бранцевъ, глядя въ сторону Шипилина, — я самъ былъ студентомъ и не Богъ знаетъ какъ уже давно... Положимъ, десять-двѣнадцать лѣтъ назадъ.

Катя Мухина подъ столомъ — она сидѣла рядомъ съ Божериной — толкнула ее колѣномъ, и обѣ стали слушать актера напряженно, не мигая.

— Если считать съ года поступленія, — поправилъ себя актеръ, — положимъ, пятнадцать лѣтъ, тогда почти еще не было этой милашки, — протянулъ онъ, — уличной прессы.

— Была! — возразилъ Петровичъ.

— Положимъ, была, но мы, когда выходили изъ гимназій, были полны, — онъ не сразу нашелъ слово отъ желанія красиво выразиться, — полны были совсѣмъ другихъ стремленій! Насъ всякая пошлость коробила.

— Помилуйте! — возразилъ опять Петровичъ и пожалъ плечами. — Да еще въ шестидесятыхъ годахъ въ Петербургѣ завелось зубоскальство фельетонистовъ и рецензентовъ... Пошли личности, портреты, пасквильные стихи, издѣвательства. Только — подъ другимъ флагомъ, въ радикальномъ духѣ.

Актеръ одобрительно кивнулъ головой.

— Да, это было. Иногда переступали мѣру. Но мы видѣли въ такихъ выходкахъ нѣчто другое. Мы тогда вѣрили въ искренность чувства памфлетистовъ.

— Они показали потомъ, какова была ихъ искренность... Отъ этихъ радикальныхъ пасквильнтовъ, по пря-

мой линии, идутъ и теперешніе Спондѣвы. Это вѣрно!— вставить отъ себя Шипилинъ.

— Я не спорю, господа. Но мы-то вѣрили въ нихъ, и тогда они смѣялись большею частью надъ тѣмъ, что и намъ было противно.

— Смѣялись и просто здорово-живешь,—возразилъ Петровичъ,—травили людей ни въ чемъ неповинныхъ.

— Но, господа,—актеръ, не оставляя своей сдержанной манеры, нѣсколько поднялъ тонъ,—не отрицаю я этого. Я хочу сказать только, что студенчество моего времени—второй половины семидесятыхъ годовъ—не поддавалось такъ гризенькой и пошленькой печати, какъ теперь. По крайней мѣрѣ, меня завѣряютъ въ этомъ молодые люди изъ моихъ знакомыхъ.

— Я первый заявляю это!—почти крикнулъ Шипилинъ.

— Пресса извѣстнаго сорта,—Бранцевъ презрительно усмѣхнулся,—это чистая египетская казнь: на все, къ чему она только ни прикоснется, прилипаетъ сейчасъ ничто,—онъ выпятилъ губы,—смердное. Мы, артисты, чувствуемъ это сильнѣе, чѣмъ кто-либо.

Катя и Леля переглянулись, и въ ихъ глазахъ мелькнуло восклицаніе: „Вотъ умища!“

Липа невольно поддакнула Бранцеву, кивнувъ головой, и забыла въ эту минуту свою „политику“ съ Петровичемъ; послѣдній, въ концѣ концовъ, могъ обидѣться. А онъ ей нуженъ.

— Никогда еще не было,—Бранцевъ оживился и чопорность его совсѣмъ прошла,—никогда еще не было, говорю я, такого невѣжества и безпардоннаго третированія артистовъ; авторовъ, всѣхъ, кто что-нибудь творить, какъ теперь. Всякій недоучившійся гимназистъ можетъ попасть въ рецензенты, и вы должны безнаказанно глотать всю эту возмутительную болтовню, какую онъ изрыгаетъ послѣ cadaго перваго представленія.

Онъ сдѣлалъ энергичный жестъ правой рукой и, предупреждая возраженіе, повернулъ голову къ Шипилину.

— Весьма печально, что подобная пресса можетъ вліять на учащуюся молодежь; но что уровень и складъ молодыхъ идеаловъ понизился—на это позвольте мнѣ привести одинъ примѣръ, и не изъ самаго послѣдняго времени. Это было года четыре назадъ. Поставили съ полнымъ текстомъ „Донъ-Карлоса“. Не знаю, давали ли его здѣсь за цѣны полвѣка. Признаюсь,—онъ посмотрѣлъ на сту-

дента,—я не безъ смущенія ждалъ сцены маркиза Позы съ Филиппомъ. Впервые съ русскихъ подмостковъ раздались такія слова. Мы—я и мои товарищи—думали, что рѣчь Позы вызоветъ тутъ же взрывъ аплодисментовъ, наверху, гдѣ сидѣло до ста студентовъ. И это навѣрное знаю... И что же?.. Ни одно слово, ни одна пламенная рѣчь не были подхвачены. Послѣ занавѣса вызывали, какъ всегда, шумно, безпорядочно, но вызывали актеровъ, ободряли ихъ, а о Фридрихѣ Шиллерѣ, авторѣ тѣхъ безсмертныхъ словъ и порывовъ, никто и не думалъ. Ни въ этомъ актѣ, ни послѣ, въ той картинѣ, когда Донъ-Карлосъ изливаетъ свою негодующую душу передъ лицомъ деспота-отца, надъ трупомъ только что гнусно убитаго Позы!.. А мы думали, что театръ рухнетъ отъ взрывовъ энтузіазма у молодежи!

Бранцевъ, горячо кончивъ тираду, повелъ плечами и смолкъ.

Дѣвушки не выдержали и захлопали.

— Что жъ!—воскликнулъ студентъ.—Это возможно. Я тогда не былъ на этомъ представленіи. — Онъ усмѣхнулся.—Меня и въ Москвѣ тогда не было, — прибавилъ онъ съ удареніемъ. — Но то, что вы рассказали, не удивляетъ меня. Быть-можетъ, изъ этой сотни студентовъ, что сидѣли наверху, ни одинъ и не читалъ никогда „Донъ-Карлоса“... Нынче такихъ — сколько угодно!.. Изъ самыхъ первыхъ учениковъ!

— Значить, тутъ не одна пресса виновата,—замѣтилъ Петровичъ, мотнувъ головой.

Вышла пауза.

— Эхъ, господа!—вдругъ заговорилъ художникъ,—все это не то!

— Что не то?—спросила Липа.

Всѣ прислушались.

— Да вотъ то, что говорите хотя бы про прессу. И про студентовъ! И про искусство! Не то! — повторилъ онъ и оглянулъ всѣхъ затуманенными глазами. — Не къ тому надо стремиться... Если ты внутренняго челоѣка въ себѣ воспитываешь—ничто не страшно! И все получаетъ смыслъ.

— Эхъ, батюшка! Это толстовщина!—крикнулъ Шининъ и переглянулся съ актеромъ.

— Изувѣрство! Погибель искусства!—подтвердилъ Бранцевъ.

— Не скажите, господа! — пустилъ грудной, высокой

потой Петровичъ и сталъ развивать цѣлую теорію „нугра“, съ которымъ только и есть — въ искусствѣ ли, въ наукѣ ли — спасеніе отъ бездушія и дилетантства.

Разомъ всѣ заспорили. И Липа, охваченная налетѣвшей на нее потребностью забыть, что она „актерка“, стала на сторону Петровича и Лукошкина. Катя и Леля, съ краснѣвшими щеками, тоже заспорили съ художникомъ, а потомъ и между собою.

Бранцевъ положилъ конецъ нестихавшему спору, поднявшись съ мѣста въ двѣнадцать часовъ. Послѣ его ухода остальные, утомившись, стали притихать.

Было около часа, когда Липа, провожая Лелю и Катю, сошла на нижнюю площадку, гдѣ швейцаръ уже спалъ, въ ливрѣѣ.

Выпустивъ барышень, онъ подошелъ къ ней, наклонился и вполголоса выговорилъ:

— Баронъ Гольцъ были.

— Когда? — встревоженно спросила она.

— Такъ, съ полчаса будетъ. Я доложилъ, что у васъ гости... Они не изволили подняться.

— Хорошо! — отвѣтила Липа и вспыхнула.

Она быстро поднялась въ коридоръ верхняго этажа. Сначала она похвалила „Антошку“ за его деликатность: онъ не хотѣлъ являться при гостяхъ такъ поздно. Но второе ея чувство кольнуло ее и заставило горько задуматься у самой двери.

„Какъ съ содержанкой поступилъ! — рѣшила она. — Рыскалъ цѣлый день по барынямъ, а потомъ — сюда. Можетъ, ужинать поѣхалъ, а часа въ три пожалуетъ“.

И она нервно щельнула задвижкой, войдя къ себѣ.

VI.

Вороной рысакъ въ одиночныхъ саняхъ мчалъ Нину Кумачену по Пречистенскому бульвару къ Сивцеву-Вражку.

Ея пріятельница, Напон Верховцева, просила ее сегодня обѣдать и пріѣхать пораньше, засвѣтло. Наканунъ Верховцевъ съ барономъ Гольцемъ были на медвѣжьей охотѣ, убили нѣсколько штукъ и въ томъ числѣ одну огромную медвѣдицу. Вотъ этихъ-то мертвыхъ звѣрей и хочетъ Напон показать ей, вмѣстѣ съ товарищемъ своего мужа — барономъ. Обѣдъ будетъ запросто, вчетверомъ. Захара Лукьяновича позвали больше, кажется, изъ пріличія; но у него случился какой-то офиціальнй обѣдъ.

Дня три назадъ Нина заѣзжала къ Еленѣ Акридиной, и кстати хотѣла сдѣлать визитъ Идѣ. Елена перебралась къ Радиной въ меблированный домъ, гдѣ живетъ Лыжина. Сдѣлалось это подъ тѣмъ предлогомъ, что онѣ хотѣли быть вмѣстѣ. Нина не стала удерживать своей „тетеньки“ и внутренно была рада, не изъ скупости, а потому, что „тетенька“ начала „умничать“, дѣлать ей замѣчанія и пускать въ ходъ „тоны“ въ либеральномъ направленіи. Разъ чуть не дошло и до настоящей схватки.

Племянница очень скоро замѣтила, что Елена увлекается Боярцевымъ, была съ нимъ любозна, приглашала обѣдать. Но какъ-то позволила себѣ подтрунить надъ ея „лассией“ къ добродѣтельному предводителю и пожелать ей „побольше успѣха“. Акридина не выдержала и дала ей отпоръ—рѣзкій и быстрый. Нина обратила все въ шутку и черезъ день заговорила стороной о скоромъ пріѣздѣ въ Москву дяди, князя Иларіона Ивановича, и о желаніи помѣстить его у себя все время, пока онъ проживетъ въ Москвѣ.

Понять было не трудно, и какъ только Ида пріѣхала въ Москву на цѣлый мѣсяцъ, Елена перебралась къ ней въ гарні, гдѣ онѣ обѣ ютятся въ трехъ комнатахъ.

И тамъ же она, проходя по коридору, увидала офицера въ бѣлой фуражкѣ и шинели. Его лицо и ростъ заставили ее оглянуться. Онъ съ кѣмъ-то прощался у полуотворенной двери.

Нина успѣла замѣтить и съ кѣмъ. Молодая женщина, съ полуобнаженными руками, въ свѣтломъ пеньюарѣ, красивая, смахивающая на кокетку!

Эта пара запала ей въ память, и теперь, на пути къ Верховцевымъ, она подумала:

„Не этотъ ли гвардеецъ—баронъ Гольцъ?“

А та женщина? Если ей захотѣлось бы непременно узнать кто она, можно это сдѣлать черезъ Иду Радинову или Лыжину. И онѣ тамъ живетъ.

Глаза и ротъ той женщины, точно живые, всплыли передъ ней.

Конечно, это какая-нибудь содержанка или, много, актриса. Но ей показалась въ лицѣ ея особенная такая устышка, какъ будто она, провожая офицера, только что сказала ему колкость. Такія выраженія бываютъ послѣ сценъ между мужемъ и женой или у любовниковъ.

Ухабъ заставилъ ее встрепенуться.

Было уже очень близко до дома Верховцевыхъ. Повернули на Сивцевъ-Вражекъ. Солнце играло въ стеклахъ одной стороны домовъ. Нинѣ было дѣтски-весело и безпечно на душѣ, что въ послѣднее время она рѣдко замѣчала въ себѣ. Можетъ-быть, переѣздъ отъ нея „тетеньки“ дѣйствовалъ въ такомъ именно родѣ. Тетенька для нея только „femme savante“ въ Мольеровскомъ вкусѣ: читала рефератъ, удостоилась овацій и почетныхъ приглашеній на обѣды въ „Эрмитажѣ“, произносила речи, принимала у себя разныхъ уроковъ по археологiи—Нина вспомнила одного, съ фамиліей „Ѳеопемптовъ“,—а сама, какъ кошка, врѣзалась въ этого предводителя „на лампадномъ маслѣ“—такъ сама Акридина назвала его разъ Нинѣ, раззадоренная тѣмъ, что онъ „не поддается“.

Жалки и потѣшны кажутся Нинѣ женскія претензіи ея „тетеньки“. Она воображаетъ себя чуть не красавицей, съ ея толстымъ носомъ, широкими, часто красными вѣками и этими безвкусными туалетами... И умѣнье одѣваться признаетъ она за собой непогрѣшимое. Всего одинъ разъ Нина и замѣтила ей что-то насчетъ отдѣлки лифа; та сейчасъ зашипѣла на нее:

— Пожалуйста, милая, безъ менторства! Всякая одѣвается, какъ умѣетъ!

А того не понимаетъ, что она, со своими старомодными платьями изъ плохого манчестера, въ которыхъ отправляется на засѣданія, похожа на пѣмку-фокусницу или пѣвицу, дающую концертъ гдѣ-нибудь въ провинціальномъ захолустьѣ.

„И на здоровье!“ — выговорила Нина мысленно, и ея бѣлые зубы блеснули на солнцѣ отъ недоброй улыбки ея вкуснаго рта.

Въ послѣдній визитъ Идѣ она нашла у ней, кромѣ Елены Константиновны, и Лыжина.

Онъ ихъ общій другъ. Кто знаетъ, пожалуй, подѣ шумокъ, состоитъ въ интимныхъ отношеніяхъ съ Идой—такъ, по старой памяти. Вѣдь эта „дѣвица“,—подумала Нина съ веселой злобностью,—конечно, только для виду „забастовала“. Не можетъ быть, чтобы такая особа „съ прошедшимъ“, у которой были, безъ числа, романы по всей Европѣ,—и вдругъ теперь обрекла себя на жизнь затворницы, тамъ у себя, въ имѣніи, и ударила въ либеральную благотворительность, въ устройство школъ и яслей.

Нина была, однако, довольна тѣмъ, что нашла у этихъ „сентницъ“ Лыжина. Онъ и тамъ велъ себя такъ, какъ въ послѣднее время и у нея. Въ немъ она видитъ желаніе держаться съ ней тона равнаго съ равной, а не служащаго у ея мужа. Что жъ! Она это допускаетъ, и Захаръ Лукьяновичъ взялъ его себѣ въ „ревизоры“ съ ея же одобренія. Въ сущности Лыжинъ будетъ принадлежать къ ея штату гораздо больше, чѣмъ къ штату ея мужа. Онъ гордъ, знаетъ себѣ цѣну; однако, менѣе красный, чѣмъ она думала. Кажется, съ Кострицынымъ онъ очень ладитъ, и тотъ на него влияетъ. Въ Лыжинѣ она зачуяла и еще что-то. Онъ, нѣтъ-нѣтъ, да и взглянетъ на нее, и глаза вспыхнуть и потухнуть. И въ голосъ прорываются ноты особенныя.

Пускай! Это ее не стѣсняетъ. Гораздо лучше, чтобы такой „ревизоръ“ чувствовалъ надъ собою обаяніе ея красоты, ея породы, изящества, ума, а то сейчасъ и зазнается, будетъ показывать всѣмъ, что онъ оказываетъ благодѣяніе, принявъ мѣсто у Захара Лукьяновича.

Лыжинъ не очень молодъ, но лицо у него интересное. И тонъ хорошій. Онъ болѣе баринъ, чѣмъ хотя бы ея „приятель“, преисполненный самоуваженія Эсауловъ, съ его говоромъ въ носъ и наружностью регента цѣвчихъ, нѣвшаго съ купчихами „des bonnes fortunes“. Надо только довести Лыжина до другой манеры одѣваться, привить ему употребленіе *смокина*, каждый разъ, какъ онъ обѣдаетъ у нихъ или она позоветъ его вечеромъ. Много труда это не будетъ стоить; слушаться ее онъ скоро привыкнетъ.

Кучеръ лихо направилъ сани, немного паизволокъ, въ широкія ворота. Передъ одноэтажнымъ особнякомъ, подъ слоемъ снѣга, покоились низкорослые кустарники цвѣтника.

Между крыльцомъ и сосѣднимъ заборомъ Нина, выскочивъ изъ савей, не замѣтила экипажа и тотчасъ же подумала, что баронъ Гольцъ могъ и отпустить своего извозчика.

Впустилъ ее мальчикъ въ ливрейномъ полуфрактѣ.

— Кто у васъ? — спросила Нина тономъ близкой знакомой.

— Никого нѣтъ-съ.

— А баронъ Гольцъ?

— Не пріѣзжали еще.

Мальчикъ плутовато глядѣлъ на нее сѣрыми, красивенькими глазами.

Хозяйка встрѣтила ее на порогѣ залы и сейчасъ же увела къ себѣ въ будуаръ-кабинетъ, занимавшій уголъ дома, надъ которымъ поднималась башня съ изразцовой крышей.

— Tonton сейчасъ будетъ, и вѣстѣ съ Гольцемъ.

Мужа ея звали Платонъ Николаевичъ; но за нимъ давно удержалось прозвище „Tonton“, какъ за его женой „Nanon“; ее звали по имени и отчеству Анна Алексѣевна.

— Ravissante, cette robe! On la mangerait!—заговорила Nanon, оправляя своими быстрыми, худыми пальцами пышные бархатные рукава платья Нины.

Обѣ онѣ стояли посрединѣ комнаты и оглядывали одна другую.

Сама Nanon была въ свѣтлой фланели, и ея худощавая фигура, съ маленькой головой и нервно-возбужденнымъ лицомъ, очень шла къ отдѣлкѣ ея комнаты и вообще къ обстановкѣ ихъ дома, гдѣ все смотрѣло молодо, франтовато и изящно-небрежно, съ отбѣнкомъ свѣтской цыганщины. Оба они такъ и жили, проживая много, дѣлая долги и мало сокрушаясь этимъ.

— А мужъ?—спросила Нина.

— Онъ съ Гольцемъ поѣхалъ смотрѣть конюшни у того богача... enfin ce marchand-chic, qui possède un yacht... à Nice.

„Yacht“ Nanon выговорила съ обязательнымъ горловымъ „х“, какъ принято нынче произносить это по-французски.

Слово „marchand“ соскочило у ней съ языка. Она не желала употребить его при Нинѣ, зная, что та этого не долюбиваетъ.

И тотчасъ же она ее обняла и поцѣловала въ щеку цѣлыхъ три раза.

— Ахъ! Какая ты вкусная! И свѣжая! Съ морозу... Мужчины сейчасъ будутъ. А звѣри уже лежатъ на дворѣ, мертвые.

— Comment est-il?—спросила Нина.

— Le baron?

— Oui.

— Très bien. Un beau mâle. И не глушь. Даже, по моему, немножко себѣ на умѣ.

— А-а!—протянула Нина, и обѣ онѣ, взявшись за талию, перешли въ гостиную.

VII.

Дворъ, густо покрытый морознымъ снѣгомъ, блестѣлъ искрами, и блѣдно-голубое небо стояло надъ нимъ мягко и низко.

Въ рядъ, подъ окнами задняго фасада, лежали четыре медвѣжьи туши, уже окоченѣлыя отъ мороза. Одинъ медвѣдь былъ чернѣе, короче и толще другихъ. Длинная, огромныхъ размѣровъ, бурая съ сѣдиной медвѣдица глядѣла пастью вверхъ, и ея глазъ такъ и застылъ въ выраженіи неподвижнаго испуга.

Ими любовались хозяева и гости: баронъ Гольцъ и Нина.

Баронъ былъ въ пальто, съ мерлушковымъ воротникомъ, въ накидку. Онъ улыбался сдержанно и правой рукой накручивалъ усъ. Фуражка сидѣла на немъ немного назадь, какъ онъ носить ее всегда въ полку, и это придавало ему очень молодой и небрежно-молодцоватый видъ.

Нина отвела глаза отъ туши огромной медвѣдицы къ красивому и статному офицеру, но сдѣлала это незамѣтно, въ ту минуту, когда онъ не смотрѣлъ на нее.

Изъ этихъ четверыхъ звѣрей три были убиты имъ—этимъ молодцомъ въ бѣлой фуражкѣ, — въ томъ числѣ и медвѣдица.

Только что передъ тѣмъ Верховцевъ рассказывалъ имъ, какъ Гольцъ, стоя одинъ, безъ егеря, убилъ эту медвѣдицу, тотчасъ за ея сыномъ-подросткомъ, котораго положили рядомъ съ нею, морда въ морду.

— Если бъ осѣчка,—слышался ей голосъ Платона Николаевича,—Антоша бы—капуть. Егеръ былъ занятъ съ убитыми звѣремъ.

Верховцевъ былъ немного влюбленъ въ Гольца; даже охотничья зависть молчала въ немъ. Мужъ ея пріятельницы — на нѣсколько лѣтъ старше барона — сошелся съ нимъ въ полку, куда тотъ поступилъ вольноопредѣляющимся: въ корпусъ онъ не доучился, по болѣзни. „Топ-тон“ смотрѣлъ мужчиной сильно за-тридцать. Въ Москвѣ онъ много ѣлъ, не меньше того пилъ, спалъ до полудня, и только охота да изрѣдка карты подбадривали его. Его смуглое, калмыцкое лицо казалось гораздо старше отъ бороды и широкихъ казацкихъ усовъ, которые онъ запускалъ поверхъ бороды, въ видѣ двухъ атагановъ.

Ростомъ Гольцу по плечо и уже плѣшивый, онъ разжи-
рѣлъ въ туловищѣ.

И теперь онъ смотрѣлъ на медвѣдицу и, подмигивая
женѣ и Нинѣ, восхищался.

— Какова мадамъ? А? Fichtre! Этакая—если бѣ обняла
Антошу... Что бы ты предпринялъ, мой другъ?

— Со мной ножъ былъ,—спокойно и вмѣстѣ съ тѣмъ
очень юпо отвѣтилъ Гольцъ.

— И вы бы сумѣли съ ней справиться? — спросила
Нина, и глаза ея строго и задорно блеснули ему въ лицо.

— Постарался бы...

— *Тэмъ можэ!*—вскричалъ Верховцевъ, хлопнувъ гвар-
дейца по спинѣ.

Эту польскую прибаутку изъ довольно неприличнаго
анекдота онъ употреблялъ часто. Значенія ея ни Напон,
ни Нина, къ счастью, не понимали.

„Да, онъ сумѣлъ бы“, — повторила про себя Нина и
подошла близко къ пріятельницѣ. Напон, въ короткой
мерлушковой кофтѣ, съ платкомъ на головѣ, поглядывала
на нее возбужденно, взглядомъ молодой москвички, любя-
щей все лихое: охоту, опасность, ужины, тройки—и все
съ оттѣнкомъ юмора.

Глаза ея спрашивали Нину:

„Каковъ у насъ Антоша, даромъ что изъ нѣмецкихъ
фронтавъ?“

И Нинѣ стало какъ бы пріятно, что для нихъ — для
мужа и жены—этотъ нѣмецко-русскій богатырь былъ все-
таки „Антоша“, что они, любясь имъ и поднося его ей
на обѣдъ, не церемонились съ нимъ, не поднимали на
пьедесталь.

Ее скорѣе влекло къ такому красавцу — она иначе не
могла назвать его про себя,—влекло и что-то сердило въ
немъ вмѣстѣ.

Не то ли, что этотъ офицеръ держался въ обществѣ
женщины, какъ она, слишкомъ просто, безъ малѣйшаго
желанія прихорашиваться, безъ особыхъ тоновъ и ма-
ленькихъ движеній, въ чемъ сказывается мужское вни-
маніе. Точно онъ гдѣ-нибудь съ товарищами, въ пользо-
вомъ манежѣ, или съ родными. Не грубъ, не безцеремо-
ненъ; но и ничего больше.

Въ ней уже загорѣлось желаніе заставить его „пере-
мѣнить фронтъ“.

„Кажется, онъ — не изъ пущихъ?“ — подумала Нина,

вспомнивъ выраженіе своего мужа Захара Лукьяновича, когда тотъ хочетъ сказать про кого-нибудь, что онъ-де не особенно далекъ.

Такой овалъ лица, лобъ, прямой, немного удивленный взглядъ свѣтлыхъ глазъ и чуть скользящая по свѣжимъ губамъ усмѣшка бываютъ у недалкихъ мужчинъ: она видала.

„Это жалъ!“—тотчасъ же прибавила Цина и сравнила его съ наружностью мужа.

Захаръ Лукьяновичъ, по-своему, не менѣе видный мужчина, и лицо у него, пожалуй, также красиво. Но только „по-своему“. У этого Немврода — она уже назвала такъ барона, когда они шли смотрѣть медвѣдей—складъ лица и стана обличаетъ породу. Въ немъ видѣлся потомокъ какого-нибудь меченосца ливонскаго ордена; только черты смягчала примѣсь барской мягкости, переданной русской матерью.

Сомнѣніе—умень ли онъ—продолжало сидѣть въ ней. Тѣмъ лучше: легче будетъ привести его къ тому, что она желала бы въ немъ видѣть.

— Вагон,—вдругъ обратилась она въ его сторону, посмотрѣвъ на него смѣло и съ полуопущенными рѣсницами, отчего стала сразу очень красива, — *est-ce que vous comptez séjourner à Moscou?*

— Онъ поживетъ, поживетъ, — отвѣтилъ за него Верховцевъ.

— *Je me plais à Moscou*,—сказалъ Гольцъ Нинѣ, безъ торопливости, и улыбнулся ей глазами—опять такъ, какъ будто они уже съ годъ знакомы.

„Мальчишка!.. Избалованъ женщинами... Но какими?“

Сцена прощанія въ дверяхъ, въ меблированномъ домѣ, гдѣ жили Акридина и Лыжинъ, встала передъ ней, и ей захотѣлось поиграть съ нимъ.

Полчаса назадъ, когда Гольцъ вошелъ въ гостиную съ Верховцевымъ, она сейчасъ же узнала его. Сказать объ этомъ своей пріятельницѣ не успѣла ни въ комнатахъ, ни на дворѣ; можетъ-быть, не нашла и нужнымъ.

Теперь у ней былъ козырь въ рукахъ противъ этого „Антоши“ — ей уже нравилось такъ называть его про себя.

— *Le baron a peut-être des raisons particulières pour aimer Moscou*, — сказала она, повернувшись спиной къ медвѣжьимъ тушамъ.

— Vrai? — дурачливо спросила ее Nanon, подмигнувъ ему.—А? Есть что-нибудь?

— Кто его знает? — шумно вмѣшался Верховцевъ. — Онъ скрытенъ. Во всякихъ дѣлахъ, не то что уже въ сердечныхъ... Антоша! Признавайся.

— Нѣ въ чемъ,—отвѣтилъ Гольцъ, но щеки его, хотя и розовыя отъ мороза, измѣнили цвѣтъ.

— Покраснѣлъ, покраснѣлъ! — закричала Nanon и захлопала въ ладоши.

— Вовсе нѣтъ!—уже серьезно и какъ бы съ сердцемъ выговорилъ Гольцъ.

— En êtes-vous bien sûr? — тихо и съ задоромъ въ глазахъ спросила Нина.

— Ну, полноте, Нина Борисовна, не мучьте вы моего барона по первому же абцугу, — даромъ, что онъ изъ такихъ, что первый пардону не попросить... Провофій!—прикнулъ Верховцевъ егерю, стоявшему поодаль, — можешь прибрать! Нина Борисовна, вы позволите поднести вамъ и супругу вашему окорокъ отъ моего медвѣжонка?

— Merci!.. Est-ce que c'est bon?—спросила Нина.

— Excellent! — вскричала Nanon. — А вы, голубчикъ, какое сдѣлаете подношеніе?

И она указала глазами на Нину.

— Если Нинѣ Борисовнѣ угодно будетъ принять отъ меня,—она сама выберетъ.

— Très flattée, baron, — замѣтила Нина приподнятымъ тономъ,—mais pour quoi faire?

— Какъ на что? — подхватилъ Верховцевъ. — Шкуру.. подъ ноги... подъ полость. Или чучелу... въ сѣни.

— Фи!.. Это будетъ отзываться охотничьимъ клубомъ! Однако, господа, мнѣ холодно, идемте! — пригласила хозяйка и пошла первая впередъ.

— Merci! — выговорила замедленнымъ звукомъ Нина, проходя къ крыльцу рядомъ съ Гольцемъ. — Mes compliments! — сказала она на крыльцѣ, прямо глядя ему въ лицо,—votre amie a des bras splendides!

Онъ сейчасъ понялъ, о комъ она говорить, и ничего не сказалъ, только повелъ плечомъ.

Дворъ опустѣлъ. Четыре темныя туши лежали недвижно, дожидаясь возвращенія егеря, поспѣшаго за конюхами.

Небо, такое же ясное и низкое, глядѣло на нихъ.

VIII.

Двѣ извозчичьихъ пары — „голуби“, какъ ихъ зовутъ москвичи,—летѣли къ Триумфальнымъ воротамъ. Въ переднихъ саняхъ сидѣли Нина и Гольцъ. Свади ѣхали Верховцевы. Въ такомъ же порядкѣ отправились они и послѣ обѣда пить чай въ „Яръ“.

Nanon, смѣясь, повторяла, когда они одѣвались въ передней:

— Я съ Tonton! Это не дѣлается—мужъ съ женой. Но я предоставляю Нинѣ молодого человѣка! И барону—моего друга Нину. А tout seigneur—tout honneur.

Когда они неслись туда, разговоръ, хоть и послѣ обѣда, гдѣ выпито было не мало вина, шелъ отрывочно.

Нина не находила „good style“—это было ея любимое выраженіе—опять задѣвать офицера насчетъ той женщины, въ померахъ, съ роскошными руками. Но въ ея тонѣ это сквозило и за обѣдомъ, когда она къ нему съ чѣмъ-нибудь обращалась, и по дорогѣ въ „Яръ“.

Гольцъ какъ будто не понималъ этого или, скорѣе, точно это было уже „извѣстно и переизвѣстно“ и онъ не считалъ нужнымъ ни стѣсняться, ни обѣгать этого самъ. А скажутъ—онъ отвѣтитъ что-нибудь спокойное.

Однако тамъ, на дворѣ, онъ покраснѣлъ. Стало-быть, онъ не циникъ, не любитель женщинъ, давно уже потерявшій способность измѣняться въ лицѣ.

За чаемъ въ „Яръ“—они, разумѣется, занимали комнату съ пушкинскими стихами на стѣнахъ—у нихъ не вышло никакого а рарте, хотя Nanon раза два уходила гулять съ мужемъ по залѣ. Это даже не понравилось Нинѣ.

Разговоръ былъ общій, офицерскій, полковой. Верховцевъ съ Гольцемъ вспоминали разныя смѣшныя вещи, за время ихъ общей службы, вспоминали про полковыхъ дамъ, товарищей, кто когда ушелъ изъ полка, исторіи на маневрахъ. Верховцевъ сводилъ на неприличныя анекдоты. Баронъ его не поддерживалъ. По тону онъ оказывался гораздо выше мужа ея подруги, и въ немъ, въ самомъ дѣлѣ, есть какое-то „себѣ на умѣ“. Или это своего рода фатовство и расчетъ раззадорить „бабенку“. Ей давно извѣстно, что мужчины и свѣтскихъ женщинъ такъ называютъ между собою.

За чаемъ Верховцевъ подливалъ ей ликеру. Она не такъ крѣпка, какъ Nanon. Та можетъ выпить сколько

угодно. Она же очень краснѣетъ, и это ей неидетъ. Ее разбирало чувство задора противъ „Антони“, для котораго женщины точно всѣ равны: и родовитыя княжны, какъ она, и танцовщицы, и кокотки; пожалуй, и горничныя. Не отъ испорченности это, а такая натура. Съ гороромъ... Ревельскій баронъ!

Однако она никакихъ намековъ въ ресторанѣ больше не позволяла себѣ, и даже когда Верховцевъ началъ подшучивать надъ пріятелемъ насчетъ его любовныхъ тайнъ, то она первая завела разговоръ о другомъ и сдѣлала это съ желаніемъ показать, что она-де умѣетъ вести себя съ тактомъ и другихъ поучить.

Теперь, на морозѣ, вѣтерокъ дулъ ей прямо въ лицо, полусащищенное платкомъ. Въ головѣ ея, отъ ликеровъ, немного сильнѣе зашумѣло.

Вѣдь какъ этотъ офицеръ въ бѣлой фуражкѣ ни финти—у него есть связь, и не со вчерашняго дня. Та женщина—его возлюбленная. Можетъ-быть, просто содержанка. Это все равно: надо только знать, держится ли онъ за нее или нѣтъ. Да и наконецъ, въ какихъ бы онъ чувствнахъ къ ней ни былъ, такая „барыня“ не Богъ знаетъ чтѣ за кладъ. Этого еще недостаточно, чтобы вести себя съ такими женщинами, какъ она, точно они десять лѣтъ знакомы, не дѣлать ни малѣйшей разницы между нею и первой попавшейся дѣвчонкой изъ кордебалета. Только съ той онъ бы держалъ себя повольнѣе. И то врядъ ли! Эти нынѣшніе, спокойные, если они не нахалы, ставятъ себѣ въ правило ни съ кѣмъ не „зарываться“, даже и съ-глазу-на-глазъ.

Пара проскакала влѣво отъ Триумфальныхъ воротъ; извозчикъ сдѣлалъ на полномъ бѣгу крутой поворотъ, и сани подскочили къ ухабѣ.

— Тише!—крикнула Нина и не смогла сдержать нервного движенія.

И въ ту же минуту сильная рука легла вдоль ея талии, поверхъ ея модной шубы съ крашенымъ тибетскимъ бараномъ. По дорогѣ туда и назадъ, до воротъ, Гольцъ сидѣлъ рядомъ съ нею, не прикасаясь рукой до ея талии.

Нина нервно вздрогнула, но ничего не сказала. Держать даму въ узкихъ саняхъ принято и въ ея обществѣ, между хорошими знакомыми. Ей стало вдругъ тепло и на особый ладъ покойно. Какую-то прочность ощутила она.

„Онъ силачъ,—подумала она, не оборачивая къ нему

лица.—На медвѣдя можетъ идти одинъ-на-одинъ. Оттого я не хочу ни передъ кѣмъ прыгать“.

— Не бойтесь!—выговорилъ Гольцъ смѣшливой нотой.

Она хотѣла сказать: „Теперь можете отнять руку“—и не сказала. Вѣдь ей, наконецъ, рѣшительно все равно—поддерживаетъ онъ ее за талію, или нѣтъ.

Руку его она продолжала чувствовать сквозь сукно и кѣхъ шубы.

Они вдругъ поглядѣли другъ на друга, и въ его глазахъ промелькнуло что-то новое, но не дерзкое, не похожее на заигрыванье женолюбиваго и увѣреннаго въ себя красавца.

— Вы позволите нанести вамъ визитъ?—спросилъ онъ другимъ тономъ: въ голосѣ была какъ бы шутка.

Ей не нравилось чисто московское выраженіе: „нанести визитъ“. У него это вышло просто, опять почти по-пріятельски. Гольцъ вообще говорилъ хорошимъ русскимъ языкомъ. Видно было, что онъ не мало жилъ и въ деревнѣ. Французить онъ не любилъ, и его французскій жаргонъ былъ не изъ особенно бойкихъ, правильный и, по звуку, жестковатый.

— Пожалуйста! — отвѣтила Нина серьезно, даже строго, но въ ея глазахъ онъ какъ будто что-то прочелъ.

Можетъ-быть, противъ ея воли, во взглядѣ ея промелькнулъ вопросъ:

„А дама сердца позволить?“

— Верховцевъ, — заговорилъ Гольцъ медленно и опустивъ немного голову, —выставляетъ меня какимъ-то хитрецомъ, тайнымъ...

Онъ не сразу нашелъ слово.

— Донъ-Жуаномъ, что ли, — почти смѣшливо кончилъ онъ.

— Et vous ne l'êtes pas? — спросила Нина заинтересованно, но не обернула къ нему головы, хотя ей это и захотѣлось.

— Non, je ne le suis pas, madame, — отвѣтилъ Гольцъ и опять опустилъ голову.

Прибавка слова „madame“ у другого была бы неизбѣжной свѣтской прибавкой въ первый день знакомства. У него отзывалась опять чѣмъ-то полудушливымъ, пріятельскимъ.

Это ее почти разсердило.

— Послушайте, — начала она по-французски, быстро,

довольно рѣзко. — Вы не болтаете о ваших побѣдахъ, чѣмъ наши мужчины такъ грѣшатъ; но въ васъ чувствуется...

Она остановилась, боясь слишкомъ рѣзкаго слова.

— Кто?—спросилъ Гольцъ, хмуро-ласково взглянувъ на нее, и отъ этого взгляда сталъ очень хорошъ.

— Un homme à femme!

— Такъ сказать, красавецъ-мужчина?

— Какъ хотите!

Онъ привелъ ее къ русскому разговору. Это ее не стѣсняло, но дѣлало гораздо менѣе блестящей.

— Вы ошибаетесь, Нина Борисовна, жестоко ошибаетесь.

Нина не выдержала и спросила:

— А дама съ открытыми руками?

— Что жъ дама?

И, не мѣняя спокойнаго, товарищескаго тона, онъ продолжалъ:

— Дама — ничего не доказываетъ. Напротивъ. Развѣ впередъ знаешь, чѣмъ встрѣча съ женщиной можетъ кончиться?.. Думаешь, ничего... и поймаешься.

— Вы и поймались?

— Всегда можно найти средство...

— Разорвать?—подсказала Нина.

— Я никого не соблазнялъ. И не давалъ обѣщаній.

Онъ это выговорилъ какъ бы самъ для себя.

— Насчетъ клятвъ—я не мастеръ. И считаю это порядочной пошлостью.

„Каковъ!—воскликнула про себя Нина.—Вотъ, влюбись въ такого идола! Онъ тебѣ и покажетъ... Il vous roulera comme rien du tout,“—добавила она мысль свою по-французски.

— Но допускали себя любить? — почти злобно сказала она.

— Почему же—„допускалъ“? Развѣ мужчина и женщина не равны... въ такихъ дѣлахъ?

„Въ такихъ дѣлахъ!“—повторила про себя Нина.

Ей онъ показался въ этомъ разговорѣ, несомнѣнно умѣстномъ съ его стороны, рѣшительно „не изъ пущихъ“. Какая-то туповатая простоватость сквозила слишкомъ явно.

И въ то же время въ немъ сидѣло что-то вовсе не глупое и смѣлое, а главное несложное, ясное, съ чѣмъ надо считаться.

Она знавала военныхъ въ такомъ родѣ, петербургскихъ. Но тѣ были болѣе дерзки, влюблены въ себя или „мальчишки“, которымъ она умѣла „давать по носу“.

— И вы разрываете, когда вамъ вздумается?—спросила Нина и засмѣялась.

— Мужчина всегда немножко виноватъ.

— Немножко?—переспросила она.

— Меньше, чѣмъ потомъ начнутъ кричать.

„Оправдывается!“ — съ отгѣнкомъ презрѣнія подумала она.

— Только этимъ смущаться нечего.

— Когда совѣсть чиста?—съ новымъ взрывомъ смѣха подсказала Нина.

— Понятное дѣло, — отвѣтилъ онъ какимъ-то кадетскимъ звукомъ.

„Онъ просто глупъ“, — рѣшила Нина и замолчала. Замолчалъ и Гольцъ.

Сани, вслѣдъ за первой парой, уже повернули къ бульвару, гдѣ стоялъ домъ Кумачевыхъ.

IX.

Въ тотъ же вечеръ, въ отдѣленіи, которое занимала Ида въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“, у самовара сидѣли трое: она, Акридина и Боярцевъ.

Они говорили уже больше получаса; бесѣда все разгоралась и переходила въ споръ между Еленой и ея гостемъ.

Щеки Акридиной разгорѣлись; на лбу у нея—всегда въ горячемъ разговорѣ—чолка поднималась въ своеобразный вихорь. Боярцевъ, отодвинувшись немного отъ стола, съ одной рукой; загнутой за спинку стула, держался, какъ всегда, прямо, и на его губахъ лежала нѣсколько сладковатая усмѣшка.

Ида глядѣла на нихъ изъ-за самовара, курила и, пока, не поддерживала споръ ни съ одной стороны. Въ серьезныхъ вещахъ, особенно съ литературнымъ отгѣнкомъ, русская рѣчь ее все еще стѣсняла. Она боялась сдѣлать ошибку: „dire un mot bête“,—говорила она.

— Помилуйте! Какой же это жоржандизмъ? Вотъ выкопали старье!—вскричала Акридина, вся всколыхнувшись на стулѣ и порывисто отпила изъ своего стакана.

— Конечно, жоржандизмъ, — повторилъ спокойно и

твердо Боярцевъ. — Вы читали, напримѣръ, хотя бы „Лелію“?

Елена подумала немного и повела отрицательно головой.

— Да я вообще мало ее читала. Соціальныя вещи—да. „Ногасе“... И этотъ—какъ его... ты не знаешь, Ида? Гдѣ увірѣшь—членъ рабочаго союза?..

— „Le compagnon du tour de France“, — подсказалъ такъ же спокойно Боярцевъ. — Въ этомъ госпожа Зандъ перелагала въ сказки то, что ей проповѣдывали ея друзья, въ родѣ Пьера Леру. Нѣтъ, возьмите вы ея настоящіе, женскіе романы, гдѣ личность женщины требуетъ реабилитаціи своего я — прежде всего своей плоти, своихъ вожделѣній, прикрывая ихъ порываніемъ въ высшія сферы.

— Почему же непременно плоти? — задорно повторила Елена.

— Духовныя ея стремленія еще печальнѣе. Вы почитайте эту „Лелію“. Что это такое! Господи! Что за чудовищная изломанность и грѣховное озорство женскаго естества!

— Вы начинаете, Романъ Денисовичъ, говорить библейскимъ слогомъ.

— Извините! — Боярцевъ придвинулся къ столу, — какъ умѣю.

— Но къ чему всѣ эти сравненія?

— Въ женщинахъ вашего поколѣнія...

— Оно и ваше! — подсказала Акридина и тотчасъ же разсердилась на себя за этотъ возгласъ.

— Я не спорю, — возразилъ онъ такъ серьезно, что это можно было принять за тонкую иронию.

— Ну, и что жъ?

— Въ нихъ видно то же самое, только съ другой окраской. Наука! Идеи! Протесты! Желаніе играть, во что бы то ни стало, роль. И никакого основанія.

— Въ чемъ же?

Щеки Елены разгорѣлись, и она нервно трясла кончиками ногъ.

— Никакого общенія съ основами народнаго духа, — продолжалъ Боярцевъ тише звукомъ и медленнѣе, съ полувзрытыми глазами.

— Почему же вы думаете, Боярцевъ, что у меня нѣтъ общенія съ народомъ? Развѣ вы взяли привилегію на это? Народъ мы изучаемъ, какъ умѣемъ.

— Да, какъ предметъ любопытства, или сверху внизъ, въ просвѣтительно-доктринерскихъ цѣляхъ, на извѣстный ладъ. Женщина сбилась съ пути, — вернулся онъ съ видимою охотою къ своей главной темѣ, — она мечется и бьется, не знаетъ, куда ей дѣвать свою горемычную голову. На что ей опереться? Вѣры нѣтъ... Бракъ оскверненъ! Даже материнство, и то въ загонѣ или превратилось въ жалкое баловство дѣтей, въ рабство передъ ними, во имя теоріи...

— Все это прекрасно, — менѣе зазорно остановила его Елена, — но — не ново. Мы это слышимъ теперь и отъ людей, которымъ вы, Романъ Денисовичъ, врядъ ли подадите руку.

— Если они говорятъ *это* такъ же искренно, какъ я въ настоящую минуту, — почему же не подать? Я никакихъ книжекъ и лагерей не боюсь, Елена Константиновна, и многое, что кажется ретрограднымъ, признаю.

— Изъ чего? Изъ упорства?

— Почему же не изъ убѣжденія? Но позвольте... Не будемъ переходить на личную почву.

— Безлично я не могу что-нибудь обсуждать и отстаивать.

— Кто говоритъ — безлично? Но *sine ira et studio*... Мнѣ жаль русскую женщину именно вашего поколѣнія — и старше. Она ни въ чемъ почвы не нашла и не могла найти. Мозгъ свой она только сожигаетъ, но ничего создать не можетъ. А вмѣсто призывовъ сердца ея владли инстинкты, безпорядочная страсть, исканіе какого-то искусственнаго эдема, душевный морфинизмъ, наполовину съ настоящимъ. А потомъ — полная прострація, когда еще старость не пришла.

Ида, съ своего мѣста хозяйки, разливающей чай, кивнула ему головой.

— Ты согласна? — кинула ей Акридина.

— Это правда, — выговорила Ида, тихо улыбнувшись имъ обомъ.

— Правда?

— А то развѣ нѣтъ? *Monsieur a raison pour beaucoup d'entre nous*, — прибавила она и опустила голову.

Вошелъ Лыжинъ, и такъ тихо, что Акридина не сразу услышала.

Боярцевъ поклонился ему молча, и тогда только она обернулась.

— Другъ, Юрій Петровичъ!—все такъ же возбужденно обратилась она къ нему, пожимая руку. — Вы попадаете въ разгаръ нашего спора.

— О чемъ?—спросилъ Лыжинъ, подсаживаясь къ Идѣ.

— О томъ, есть ли у женщины... ну, хоть такой, какъ я, почва или нѣтъ.

— Про васъ лично я не говорилъ, — нѣсколько чопорнѣе откликнулся Боярцевъ.

— Къ чему эти оговорки, Романъ Денисовичъ? Разумѣется, вы читали сейчасъ мораль: и мнѣ, и Идѣ. Она съ вами согласилась—это ея дѣло.

— А вы отстаиваете свою позицію?—шутливо спросилъ Лыжинъ, принимая стаканъ изъ рукъ хозяйки.

— Романъ Денисовичъ развиваетъ идеи Домостроя, только прикрытаго спиритуализмомъ... въ ново-дворянскомъ вкусѣ.

Щеки Боярцева стали мѣнять окраску.

— И въ крестьянствѣ тѣ же основы,—выговорилъ онъ, и голосъ его слегка дрогнулъ.

— Да въ чемъ же собственно вопросъ?

Лыжинъ и Ида встрѣтились глазами и поняли другъ друга.

„Зачѣмъ она съ нимъ такъ задорно спорить?“ — подумали они оба разомъ, и имъ стало за нее неловко, а еще болѣе—жалъ эту Елену. Оба они догадывались, что чувство къ Боярцеву захватываетъ ее не на шутку. Если бъ оно было иначе, она, съ ея прямолинейностью и упорствомъ, никогда бы не стала дорожить обществомъ такого „дворянчика на лампадномъ маслѣ“, какъ она, уже на первыхъ порахъ, называла его.

Ида по-женски боялась за свою пріятельницу. Въ Лыжинѣ къ дружескому чувству прилипло и нѣкоторое какъ бы злорадство... Вотъ она—чистѣйшій экземпляръ женскаго „принципизма“—и поймалась, все равно, что первая попавшаяся барышня безъ всякихъ идей и взглядовъ, какъ любая безпутная бабѣнка.

— По-вашему, что же русской мыслящей женщинѣ дѣлать, какъ ей жить? — съ новымъ натискомъ спросила Акридина, встала съ мѣста и начала прохаживаться между столомъ и окномъ. Щеки ея уже пылали.

— Что дѣлать? — медленно, будто смакуя, повторилъ Боярцевъ.—То, что дѣлали доблестныя женщины когда-то, когда устои жизни были одинаковы и у черносош-

наго мужика, и у владыки его, князя. Чтò дѣлала святая Ольга, чтò дѣлала царица Анастасія, чтò дѣлала Марѳа Борецкая, чтò дѣлала Іуліанія Вяземская?

— Это еще какая такая? — со смѣхомъ вскричала Елена.

— Вотъ видите, Елена Константиновна... Вы — ученая женщина, знаете, вѣроятно, этнографію всѣхъ краснокожихъ племенъ, а про Іуліанію Вяземскую не слышали.

— Грѣхъ небольшой! Впрочемъ, теперь вспомнила... Мы ни въ святыхъ, ни въ святоши не мѣтимъ. Женщина жаждетъ живого дѣла и дѣльной мысли.

— Но не можетъ подняться надъ чужимъ толкомъ, надъ тѣмъ, чтò ей навязано, носить мундиръ и страдаетъ въ немъ, вертится, какъ бѣлка въ колесѣ.

— Что жъ! Романъ Денисовичъ правъ вотъ въ этомъ послѣднемъ пунктѣ, — выговорилъ Лыжинъ и, отхлебнувъ, поставилъ свой стаканъ на столъ.

Акридина, съ своего мѣста за столомъ, окликнула его:

— Лыжинъ!

— Что угодно?

— Это вы обмолвились... или такъ, по любви къ парадоксу?

— Ни то, ни другое. Романъ Денисовичъ хочетъ сказать: будьте доблестны, только дерзайте быть настоящими женщинами, а не подпасками мужчинъ.

— Вотъ вы какъ!

Ида поглядѣла на Лыжина, и ея взглядъ говорилъ:

„Ужъ вы ее не добивайте!“

Боярцевъ всталъ и, обращаясь къ обѣимъ женщинамъ, сказалъ ласково, тономъ добраго знакомаго:

— Долженъ васъ оставить. Матушка у меня нездорова. Какъ-нибудь на-дняхъ заѣду.

— Стало, — спросилъ опять шутливо Лыжинъ, — продолженіе диспута впредь?

— Нѣтъ, довольно! — крикнула Елена и пошла провожать гостя въ коридоръ, строго поглядѣвъ на Лыжина.

Х.

Когда она вернулась, Лыжинъ присѣлъ еще ближе къ Идѣ и что-то ей только что сказалъ очень тихо.

Акридина оглянула ихъ бокомъ и, все еще съ раскраснѣвшимъ лицомъ, окликнула:

— Вы это, друзья, обо мнѣ изволите?

— Да, объ васъ, голубушка, — отвѣтилъ за обоихъ Лыжинъ.

Въ первый разъ это слово „голубушка“ показалось ей совсѣмъ неумѣстнымъ.

Положимъ, они пріатели, но все-таки...

— И что же вы, позвольте узнать, — продолжала она, когда съла на свое прежнее мѣсто, — обо мнѣ нашіптывали Идѣ? Въ какомъ вкусѣ?

— Сѣтовали... голубушка, сѣтовали.

— О чемъ это, смѣю спросить?

— Да вы, милая Елена Константиновна, напрасно весь вашъ порохъ такъ сразу изводите.

— Въ какомъ смыслѣ? Я не понимаю вашей остроты, Лыжинъ.

— Будто? Намъ за васъ съ Лидіей Павловной обидно... Право!.. Ужъ вы меня извините пожалуйста... Но вѣдь мы здѣсь... между собою... Три старыхъ пріателя.

— Безъ увертокъ, Лыжинъ. И покороче.

Она начала нервно щипать кончикъ сухарика и потомъ, переломивъ его, стала грызть.

— Право, обидно!.. Не такъ ли, Лидія Павловна?

Ида ничего ему не отвѣтила и наклонила голову съ неопредѣленнымъ жестомъ правой руки, красиво выступившей изъ короткаго рукава ея полуплатья, полупеньюара.

— Почему же? — глуше, сдерживая себя, вымолвила Елена.

— Помилуйте! Видимое дѣло, вы имѣете въ Боярцевѣ человека совсѣмъ не вашего лагеря... Сами вы ему давали оцѣнку... быть-можетъ, слишкомъ жестокую... Онъ малый искренній, не крѣпостникъ, у него есть кое-что за душой.

— Я у васъ не прошу защиты Боярцева.

— Ого, голубушка, на какомъ вы взводѣ! Ну, ничего! Обругайте меня, если я провинюсь; но я свое все-таки скажу. Онъ вамъ не поддастся. Вы его не передѣлаете. Но если бъ вамъ особенно дорого было повліять на его убѣжденія, то не такъ надо вести дѣло. Вы горячитесь какъ дѣвочка. Вы ему показываете свои карты. Вы—умница; а, ей-Богу, онъ былъ въ правѣ чувствовать свое превосходство мужчины и хранителя древне-русскихъ началъ. Когда такъ къ человеку относишься, надо же рассчитывать хоть немного свои ходы.

— Стойте!—почти крикнула Акридина и, поднявъ голову, упорно стала глядѣть на Лыжина черезъ столъ. — Ваши намеки я имѣю право не принимать. Съ какой стати? Чтò вы ими хотите сказать? Никто, даже въ пріятельскихъ отношеніяхъ, не долженъ залѣзать другому въ душу... даже и подъ предлогомъ дружескихъ совѣтовъ и указаній. Это слишкомъ избитый пріемъ.

— Ecoute!—остановила ее Ида,—*tu te monte trop.*

— *Laisse-moi tranquille!*.. — почти со слезами воскликнула Акридина. — Я ненавижу эти вторженія. И оттого, что я женщина, сейчасъ ко всему примѣшиваютъ Богъ знаетъ чтò.

— Чтò же, голубушка? — немного смущенно спросилъ Лыжинъ.

— Пожалуйста, безъ увертокъ!

Лыжинъ переглянулся съ Идой: они оба понимали, что дергается и мутитъ ихъ пріятельницу, *отчего* она и въ спорѣ съ Боярцевымъ, и теперь такъ себя ведетъ.

— Ну, я замолчу!

— И хорошо сдѣлаете. Къ чему тутъ приплетать дружбу, когда вы первый, не замѣчая этого, вдаетесь, съ нѣкоторыхъ поръ, во что-то совсѣмъ на васъ непохожее, на того Лыжина, котораго я привыкла любить.

— И уважать?—прибавилъ онъ.

— Да, и уважать! Иронизировать тутъ не у мѣста. Что это за поддакиваніе—въ вопросѣ о женщинѣ и ея жизненныхъ задачахъ—господину Боярцеву? — съ усиліемъ выговорила она. — *C'est du nouveau, n'est-ce pas?* — спросила она Иду.

— Что жъ! Человѣкъ развивается, — полушутливо откликнулся Лыжинъ.

— Безъ прибаутокъ, Юрій Петровичъ. Вы лучше бы на себя оглянулись... Неужели прекрасныя очи моей племянницы, ея бюстъ и ея женскій престижъ во вкусѣ *fin de siècle*... Знаете, это можетъ далеко завести... И въ нашемъ званіи ревизора на фабрикахъ коммерсанта Кулачева—поставить васъ на сторонѣ машины противъ рабочаго...

Лыжинъ поднялся. Съ лица его сошла усмѣшка. Онъ почти смущенно сказалъ:

— Полноте... Вы волнуетесь. Я уйду.

— Какъ угодно!

— Hélène!—отозвалась Ида, тоже вставая.—Tu es impossible!

— Дайте ручку... Сложите гнѣвъ на милость.

— Не хочу, не хочу я, Лыжинъ, вашего прибауточного тона. Вы меня стали усовѣщивать, и сами налетѣли. Хорошо, если и за васъ, въ скоромъ времени, мнѣ не будетъ обидно.

— Ее ничѣмъ не смягчишь, — обратился Лыжинъ къ Идѣ, цѣлуя у ней руку.—Завтра я ѣду въ уѣздъ на цѣлыхъ три дня. Вы, авось, успокоитесь.

— Желаю вамъ вникать поусердиѣ въ интересы вашего принципала! — крикнула ему вдогонку Акридина и заходила опять между столомъ и окномъ.

Ида позвонила. Пришелъ офиціантъ и началъ прибирать со стола.

Гостиняя служила имъ и столовой.

Онъ обѣ молчали, пока человѣкъ убиралъ. Не сразу начался разговоръ и по уходѣ его.

— Hélène!—тихо, но не своимъ обычнымъ тономъ окликнула Ида.

Она уже сидѣла въ широкомъ креслѣ, около столика, куда человѣкъ поставилъ лампу по ея указанію.

— Что надо?—отвѣтила Акридина, стоя близко лицомъ къ окну.

Ея губы вздрагивали.

— Поди сюда!—продолжала по-французски Ида,—я не могу говорить на такомъ разстояніи.

Молча и медленно Елена подошла къ столику и опустилась на ближайшую кушетку.

— За что ты его обидѣла? — спросила Ида серьезно, почти сурово.

— Онъ мнѣ надоѣлъ.

— Этого мало. Онъ не виноватъ, что ты теряешь голову.

— Пожалуйста!

— Теряешь. И я скажу—мнѣ за тебя обидно... И жаль тебя! Поди! Я не могу такъ.

Ида протянула ей обѣ руки. Въ ея голосѣ задрожали чудесные звуки. Елена вдругъ очутилась у ея ногъ и упала головой ей въ колѣни.

Беззвучно, со вздрагиваніемъ плечъ и шеп, она все сильнѣе прижималась къ колѣнамъ Иды. И не сразу слышались глухія рыданія.

Рука Иды гладила ее по волосамъ, какъ маленькую. На глазахъ у ней не показывалось слезъ: но все лицо, блѣдное и точно прозрачное, очевидно было чѣмъ-то страдающимъ и яснымъ.

— Mon pauvre vieux! — вырвалось у ней ея любимое восклицаніе. — Mon pauvre vieux!

Она такъ любила называть свою пріятельницу.

— Ты любишь, — продолжала она, какъ бы про себя. — Страсть пришла-таки! Пришла... И ты — раба.

— Не знаю! Ничего не знаю! — съ глухимъ плачемъ говорила Елена и отняла отъ колѣнъ Иды заплаканное, красное въ эту минуту, почти искаженное лицо.

— Сядь туда.

— Нѣтъ, не надо.

И Елена сѣла, вмѣсто кушетки, тутъ же, у ногъ Иды и опять положила ей голову, но уже бокомъ, тоже дѣтскимъ движеніемъ. Ида нагнулась и поцѣловала ее.

— Послушай, — начала она кротко и медленно, — вѣдь ты мнѣ вѣришь. Я твой другъ не на однихъ словахъ. И я жила... не такъ, какъ ты. Меня ты можешь спросить, что такое любовь, что такое для женщины мужчина, когда полюбишь его?

— Да, да, — прошептала безпомощно Елена.

— Стало-быть...

— Говори, говори! Ради Бога!

— Ты не огорчайся. Но ему ты не нравишься. Ваши споры... вздоръ! Развѣ это важно въ любви? Одна вѣрить въ одно, другой — въ другое, и все-таки любовь ихъ покоряетъ... И ты ему простишь все, только бы онъ полюбилъ тебя.

— Это гадко!

— Глупости говоришь, Елена. Глупости! Брось его, а не можешь — брось эти споры. Наввно — раздражать любимого человѣка, дѣлаться смѣшной, некрасивой, старой. Да, ты сегодня — я смотрѣла на тебя — постарѣла на десять лѣтъ.

— Я не могу измѣнить тому, что признаю!

— Та-та-та! Ничему ты не измѣнишь! Полюбить онъ тебя, тогда не станетъ спрашивать, чему ты вѣришь и чему нѣтъ. Бѣдная моя! — Ида нагнулась къ ней, обняла ее шею и привлекла къ своему лицу. — Еще есть время. Уѣдемъ отсюда! А лучше совсѣмъ уѣзжай. Ступай въ Це-

тербургъ. Ступай за границу. Ты себя измучаешь. Ты всю свою жизнь изломаешь. Умоляю тебя!

Ида начала цѣловать ее въ голову, и въ этомъ порывѣ вылилась вся душа женщины, заживо скоронившей себя для всякой новой любви.

— А почему же я не имѣю права хоть на кусочекъ счастья!—вскричала Елена и быстро встала на ноги.— Почему? Если этотъ человѣкъ первый далъ мнѣ почувствовать, что я до сихъ поръ не жила какъ женщина, онъ мнѣ еще дороже!

— Хорошо! Успокойся!

Ида встала, взяла Елену за талию и повела ее къ спальнѣ.

— Успокойся, лягъ... Но только не веди ты себя съ нимъ, какъ сегодня.

— Ты права!—съ блескомъ въ глазахъ заговорила Елена у дверей своей комнаты.—Тысячу разъ права! Надо по-другому. Ты слышала, у него мать заболѣла.

— И что же?

— Я навѣщу его.

Ида ничего не отвѣтила и только печально усмѣхнулась.

„Всѣ мы обречены на жертву тому же чудовищу“,—подумала она.

XI.

Лыжинъ проснулся позднѣе обыкновеннаго.

Вчера онъ ушелъ отъ своихъ пріятельницъ довольно рано, но долженъ былъ просматривать разныя бумаги и легъ въ два. Онъ могъ заниматься. Выходка Акридиной только проскользнула по немъ.

Будь это годъ-другой раньше, обида взволновала бы его. А вчера онъ, придя къ себѣ, сказалъ вслухъ:

— Шалай!

И на этомъ успокоился. Когда онъ проснулся сегодня, то еще въ кровати ему вспомнилась вся сцена у Иды, и онъ, безъ раздраженія, пожалѣлъ Елену и ея запоздалую любовь.

Если она, увлекшись, ничего не найдетъ, кромѣ горя, пусть пеняетъ на самой себя. Не это въ ней кажется ему если не возмутительнымъ, то старомодно-задорнымъ, а главное—ея учено-радикальный „мундиръ“. Не только „по-своему“, и вообще Боярцевъ говорилъ вещи совсѣмъ не

глупыя. Такія женщины, какъ она, мечтаютъ, играютъ въ науку; въ сущности, имъ смертельно тошно со всей ихъ антропологіей и археологіей, и онѣ платятъ дорогой цѣною за то, что во-время не умѣли или не хотѣли жить сердцемъ.

Съ такимъ выводомъ онъ и всталъ съ постели.

Его кабинетъ, куда онъ вышелъ пить кофе, смотрѣлъ совершенно такъ же, какъ и за два мѣсяца передъ тѣмъ, когда къ нему, въ первый разъ, явился отъ Кумачева „амбарный Сократъ“—такъ онъ сначала, не безъ язвы, звалъ Кострицына—теперь его пріятель, съ которымъ онъ, не нынче—завтра, будетъ на „ты“.

И миллионщикъ Кумачевъ, фабрикантъ „пунцового товара“—его „патронъ“. Вотъ уже не первая недѣля, какъ онъ его „ревизоръ“. Правда, онъ выговорилъ себѣ право, осмотрѣвшись, придти и сказать:—„Нѣтъ, я остаюсь у васъ, Захаръ Лукьяновичъ, не могу“. Но ему еще не хочется уходить. Онъ только еще приглядывается и начинаетъ находить, что мѣсто интересное, если не повторять задовъ, не плакаться безъ толку надъ долей черной трудовой массы, а узнавать на практикѣ, какъ ей именно живется и такъ ли она несчастна.

Вчерашній обличительный „разносъ“ Акридиной—историческая выходка. Къ Кумачеву онъ поступилъ вовсе не изъ-за однихъ „прекрасныхъ глазъ“ Нины Борисовны. Теперь и Нина интересуется его гораздо больше, чѣмъ это было на первыхъ порахъ. И мужъ ея, и она сама—люди новой формации. Кострицынъ правъ, только у того на Нину взглядъ строгонекъ. Можетъ-быть, въ этомъ именно разночинецъ и выдаетъ себя. Она—личность. Самое ея замужество уже нѣчто такое, гдѣ звучитъ новый камертонъ жизни.

Елена прямо бросила ему въ лицо такъ дерзко и такъ задорно, что онъ уже на заднихъ лапахъ передъ ея роскошной племянницей.

Такъ ли это?

Онъ не слѣдилъ за собой въ послѣднія двѣ недѣли. Просто жилъ. Да ему и посылало всякое „ковыряніе“ въ себѣ, все, что говорило бы ему о прежнемъ Лыжинѣ, съ его вѣчными опытами надъ собственной особой.

Вспомнилъ онъ, принимаясь за первую чашку кофе, недавній эпизодъ своихъ поисковъ „правды“, когда онъ, цѣлые полгода, жилъ на юго-востокѣ Россіи, въ общинѣ

интеллигентовъ, стряхнувшихъ съ себя всякую барскую и культурно-развратную нечисть, продѣлывалъ свое „возрожденіе“.

Тогда онъ уже черезъ недѣлю сталъ, каждый день, шупать себѣ „душевный пульсъ“, не способенъ ли онъ грѣховно вожделѣть къ одной изъ своихъ „сестеръ“ по духу, молодой бабенкѣ, приставшей къ общинѣ Богъ знаетъ зачѣмъ, полной всякихъ совѣмъ не евангельскихъ позывовъ. Работала она и въ полѣ, и вокругъ дома, споро и ловко, и то на первыхъ только порахъ, но, работая, показывала такія „вкусныя“ руки и плечи, и такъ играла огромными глазами, можетъ и не желая того, что двое изъ „братьевъ“ попали въ ея сѣти. Ну, и онъ себя исповѣдывалъ: не вызываетъ ли она и въ немъ любовныхъ помысловъ?

Все это теперь представлялось ему чѣмъ-то курьезно-нелѣпнымъ. Они вѣдь тамъ доходили до еженедѣльной громкой исповѣди. Мало ли до чего еще не доходили... А кончилось: для всѣхъ — печальнымъ разладомъ, для него — полнымъ душевнымъ банкротствомъ. „Община“ была послѣдней каплей яда въ его жизненной чашѣ.

Нѣтъ, онъ не слѣдилъ за собой, да и не желаетъ. Нина — яркое пятно на картинѣ, чтó мечется передъ нимъ въ домѣ Кумачевыхъ. И развивать онъ ее не собирался, приводить къ другимъ взглядамъ, даже вліять черезъ нее на Захара Лукьяновича. Она хочетъ во всемъ занимать положеніе „особы“, не входящей въ дѣла своего мужа. И прекрасно! Это не мѣшаетъ ей играть роль нумера перваго. Съ нимъ, лично, она ведетъ себя умно, не важничаетъ, выказываетъ даже видимое желаніе сдѣлать его членомъ кружка *своихъ* близкихъ знакомыхъ.

Кострицынъ помогаетъ ему проще и смѣлѣе смотрѣть на то человѣчество, съ какимъ ему теперь надо водиться. И за это онъ ему очень благодаренъ. До сихъ поръ, правда, этотъ умный и даровитый парень немножко кокетничаетъ, не показываетъ ему прямо своихъ картъ. Откуда, собственно, идутъ его взгляды, въ какихъ книжкахъ онъ ихъ вычиталъ, у какого нѣмца позаимствовалъ? Складъ его мыслей не похожъ ни на что, около чего грѣлся или охлаждѣвалъ самъ Лыжинъ.

Нужды нѣтъ. Его съ такимъ именно человѣкомъ не напрасно свела судьба.

Кончая кофе, Лыжинъ съ удовольствіемъ сообразилъ,

то Кострицынъ, по дорогѣ въ „городъ“, вѣроятно завернеть къ нему, попозднѣе. Отправляясь въ свой первый, серьезный объѣздъ, онъ весьма радъ будетъ кой-о-чемъ спросить Кострицына.

Какъ разъ въ эту минуту вошелъ, стукнувъ въ дверь. лакей.

Лыжинъ подумалъ сейчасъ же о Кострицынѣ и спросилъ:

— Ко мнѣ кто-нибудь?

Безъ доклада онъ давно уже не приказывалъ принимать.

— Такъ точно.

— Кто же?

— Господинъ Воденягинъ.

— А онъ развѣ все здѣсь еще живетъ?

— Такъ точно.

— Просите.

Выговорилъ это Лыжинъ безъ гримасы, но визиту Воденягина онъ не былъ особенно радъ и не устыдился своего чувства.

— Мое почтеніе!—раздался отъ порога непріятный для него голосъ Воденягина.

И вся его фигура, все въ той же, точно обязательной блузѣ, показалась ему обрюзглою, болѣе ожирѣлою, чѣмъ была два мѣсяца назадъ.

Онъ почти забылъ о его существованіи.

— Здравствуйте!—встрѣтилъ онъ его свѣтскимъ звукомъ, просто и сухо. — Не прикажете чашку кофе?

— Я не охотникъ. А чайничалъ я довольно дома. Вотъ покурить—разрѣшите.

Немного посапывая, Воденягинъ грузно разсѣлся у стола и закурилъ.

— Вы все у насъ?

— Какъ же. Совсѣмъ собрался выѣзжать, да компанія здѣсь нашлась. Хорошій народъ тутъ... у одной артистки. Вы ее не знаете? Днѣпровская она, по театру.

— Нѣтъ, не имѣю понятія.

— Какъ же... Дебютировала здѣсь. Петровичъ бываетъ... Хорошій паренекъ... фельетонистъ.

— Не имѣю удовольствія,—почти перебилъ Лыжинъ.

Въ глазахъ Воденягина онъ, съ первыхъ его словъ, схватилъ такое выраженіе:

„Вотъ, молъ, ты теперь къ буржуямъ въ услуженіе пошелъ“.

А за этим сидѣло, вѣроятно, желаніе сейчасъ же, черезъ него, чего-нибудь добиться, за кого-нибудь просить.

— Вы, я слышалъ, служите у богача Кумачева?—спросилъ Воденягинъ, качнувъ опущенной головой, съ неуловимымъ выраженіемъ лица.

— Пока еще присматриваюсь только, — возразилъ Лыжинъ.

— А-а!—протянулъ Воденягинъ. — Сказывали мнѣ, вы какъ бы инспекторъ будете. Что жъ! Съ его стороны это ловко! Значить, онъ какъ бы хочетъ сказать: я-де самъ предупреждаю казенный надзоръ. Не глупъ! И если только это не для отвода—можно тутъ не мало хорошаго уладить.

— Будемъ стараться, — шутливо и не совсѣмъ своимъ тономъ выговорилъ Лыжинъ.—Но я дѣлаю это безъ всякихъ особенныхъ замысловъ.

Слово „замысловъ“ онъ подчеркнулъ.

— Зачѣмъ непременно замыслы? Просто—не допускать свинства и хозяйскаго грабежа.

Губы Воденягина повела усмѣшка, отъ которой Лыжину стало не по себѣ. Спорить онъ не хотѣлъ; уклонился бы и отъ всякаго принципиаго обмѣна идей.

Къ чему все это?

И весь этотъ Воденягинъ пахнулъ на него чѣмъ-то затхлымъ, такимъ старьемъ жалкихъ словъ и общихъ мѣстъ! Ему трудно сдѣлалось самому оживить разговоръ. Пауза вышла даже довольно томительная.

— Вы, можетъ, торопитесь?—спросилъ Воденягинъ.

— Нѣтъ, я къ вашимъ услугамъ.

— Юрій Петровичъ! Зачѣмъ такъ офиціально? Вѣдь мы съ вами не чиновники... а-съ? Ваше нутро я не имѣю ни намѣренія, ни права зондировать. Но позвольте вѣрить, что въ извѣстныхъ вопросахъ мы одного... толка... что ли?

Лыжинъ отвѣтилъ двойственной улыбкой.

„Такъ и есть,—подумалъ онъ,—будетъ о комъ-нибудь просить—въ *своемъ* направленіи“.

— Конечно,—продолжалъ Воденягинъ скорѣе и отведъ голову, — вы можете и уклониться... Дѣло — пустяковое. Но я къ вамъ подумалъ обратиться не просто... не съ бухта-барахта. Вы теперь въ такомъ именно обществѣ вращаетесь. Первый: вашъ—какъ бы это назвать—принципалъ, что ли...

Слово „принципалъ“ Воденягинъ выговори́лъ скосивъ ротъ, и Лыжинъ про себя сказалъ:
„Зачѣмъ же ты извишь, коли пришелъ просить?..“

XII.

Дверь широко растворилась. Кострицынъ, въ мѣховомъ пальто и калошахъ, съ краснымъ отъ мороза лицомъ, стоялъ на порогѣ.

— Иванъ Кузьмичъ, входите! — крикнулъ ему весело Лыжинъ.

Этотъ приходъ, раньше, чѣмъ онъ ожидалъ, очень его обрадовалъ.

— Я на минуточку. На перепутьѣ озябъ. Ъздилъ, батенька, на Пятницкую.

— Я васъ ждалъ. Раздѣвайтесь скорѣе. Выпъете чашку кофе?

— Не откажусь.

Воденягинъ какъ-то бокомъ поглядѣлъ на Кострицына, и только когда тотъ повернулся отъ вѣшалки, снявъ пальто, глуховато выговорилъ:

— Мое почтеніе... Мы встрѣчались.

— Какъ же! — звонко откликнулся Кострицынъ, на ходу подавая ему руку.

Онъ сейчасъ же сообразилъ, что видитъ Воденягина не проста; пріятельства Лыжинъ съ нимъ не водилъ.

— Я, можетъ-быть, помѣшалъ? — спросилъ онъ, присаживаясь къ круглому столу, у котораго Лыжинъ обыкновенно пилъ кофе.

— Что жъ! Секретнаго тутъ ничего нѣтъ, — заговорилъ Воденягинъ, поводя жирными плечами. — Даже и естатн.

И, взглянувъ пристально на Кострицына, онъ спросилъ:

— Вы, вѣдь, если не ошибаюсь, тоже служите у Кулачева?

— Какъ же.

Кострицынъ поглядѣлъ выразительно на своего новаго пріятеля.

— Господинъ Воденягинъ съ чѣмъ-то хотѣлъ обратиться ко мнѣ какъ разъ въ ту минуту, когда вы вошли.

— Дѣло, господа, вотъ въ чемъ! — Воденягинъ усиленно перевелъ дыханіе и всталъ. — Вы, быть-можетъ, помните, — повернулся онъ къ Лыжину, — какъ-то мы съ вами поздно

встрѣтились на площадкѣ и отъ меня уходилъ молодой малый... черноватый.

— Помню,—подумавъ, выговорилъ Лыжинъ.

— Фамилія его Хозькинъ. Онъ парень чрезвычайно даровитый... Стихотворецъ... Пишетъ подъ псевдонимомъ.

— Въ какомъ родѣ? Въ гражданско-элегическомъ? — спросилъ Кострицынъ, и глазки его заискрились.

— Во всякомъ,—сухо отвѣтилъ Воденягинъ.—Разумѣется, не о вечерней зарѣ и не тоску по милой поетъ, а въ болѣе здоровомъ направленіи.

— Понимаю,—добавилъ Кострицынъ, принимаясь за чашку.

— И что же онъ?—спросилъ Лыжинъ.

— Вы припомните, пожалуй, и то, что онъ еврей?

— А-а! — протянулъ Кострицынъ и сжалъ на особенный ладъ губы.

— И, кажется, успѣлъ вамъ сообщить — онъ ни университета диплома, ни аттестата зрѣлости не имѣетъ... Жить ему здѣсь нельзя.

— Разумѣется! — вырвалось у Кострицына.

— Одно время онъ значился въ услуженіи у своего единовѣрца. Но штуку эту пронюхали, и въ его служительскую профессію не вѣрятъ.

— Фортель слишкомъ извѣстный.

Слова эти Кострицынъ сказалъ въ сторону Лыжина и довольно тихо; но Воденягинъ ихъ услышалъ.

— Не особенно,—возразилъ онъ съ характернымъ пожиманіемъ плечъ, — не особенно... Случай такой, въ литературныхъ, по крайней мѣрѣ, кружкахъ, едва ли не первый... И сестра у него есть.

— Тоже писательница? — спросилъ Лыжинъ безъ особеннаго ударенія въ голосъ.

— Она учиться сюда пріѣхала. Тоже нельзя. Не знаетъ, какъ ей и быть. Просто хотъ пріобрѣтай особаго рода билетъ.

— Какой это? — почти съ беспокойствомъ спросилъ Кострицынъ.

— Прежде его какъ-то особенно называли. Теперь онъ, кажется, обыкновенный. Такъ его же родственница въ Петербургѣ принуждена уже была такъ сдѣлать, чтобы ее оставили въ покоѣ.

— Это анекдотъ! — вскричалъ Кострицынъ и заходилъ по комнатѣ.

— Извините, но апекдогъ, а фактъ.

Воденягинъ посмотрѣлъ на него въ упоръ и выговорилъ эти слова медленно, упирая на каждое слово.

— Вольному воля!

— Вы полагаете?—такъ же въ упоръ спросилъ Воденягинъ, и лицо его сразу пошло пятнами, но онъ себя сдержалъ и, тряхнувъ головой, повернулся къ Лыжину.

— Юрій Петровичъ, позвольте мнѣ обратиться къ вамъ, какъ къ человѣку съ извѣстнымъ прошедшимъ.

Лыжинъ нервно потянулся и остановилъ его движениемъ руки.

— Прошедшее... зачѣмъ же перебирать? — отозвался онъ.—Человѣкъ развивается. Мало ли во что вѣришь и что признаешь даже и не будучи молоденькимъ.

Глаза Воденягина съ упорнымъ выраженіемъ вопроса уставились на него. Лыжинъ чувствовалъ тяжесть этого взгляда, но не смутился. Въ немъ поднялось желаніе дать по носу этому неисправимому обломку того корабля, на которомъ и онъ когда-то собирался плыть.

— Словомъ, — поправилъ онъ себя и выпрямился, не покидая своего мѣста на диванѣ.

— Словомъ, — повторилъ за нимъ Воденягинъ, — вы теперь не считаете себя солидарнымъ съ тѣми, кого когда-то уважали и за кѣмъ...

— Позвольте-съ! — вступился Кострицынъ и близко подошелъ къ Воденягину. — Мое дѣло тутъ сторона. Но это немножко похоже на экзаменъ по части того, что якобы называли „сертификатъ цивилизма“.

— Не знаю-съ, — уже жестче и суровѣе заговорилъ Воденягинъ. — Ежели вы, — онъ сдѣлалъ опять громкую передышку, — ежели вы настроены на особый ладъ въ этомъ вопросѣ, то я полагаю, что Юрій Петровичъ откликнется на мою просьбу.

И, обернувшись къ Лыжину, онъ продолжалъ мягче, съ блуждающей усмѣшкой:

— Что вамъ стоитъ... заинтересовать господина Кумачева? У него большія связи здѣсь... въ городѣ. Мы не просимъ, чтобы онъ взялъ несчастнаго поэта въ свои приказчики, онъ и по закону не имѣетъ на это права, а замолвилъ бы за него словечко кому слѣдуетъ.

— Захаръ Лукьяновичъ на это не пойдетъ! — вскричалъ Кострицынъ съ удареніемъ на словѣ „это“.

— Вы увѣрены? — откликнулся Воденягинъ искренней нотой.

— Насколько я его знаю!.. Ни за что не пойдетъ. Это было бы нарушеніе порядковъ, которымъ онъ сочувствуетъ.

— Сочувствуетъ? — переспросилъ Воденягинъ и опять уперся взглядомъ на Лыжина.

— Конечно, — отвѣчалъ за Лыжина Кострицынъ. — И у него это не блажь, не модный лозунгъ, а убѣжденіе. Онъ человѣкъ „программы“. Если онъ когда-нибудь будетъ баллотироваться по городскимъ выборамъ, то онъ, конечно, явится передъ избирателями съ такой именно программой.

Лыжина начало разбирать нѣчто въ родѣ смущенія. Въ глазахъ Воденягина онъ могъ прочесть:

„И такого *хозяина* ты себѣ выбралъ по доброй волѣ?“

— Наконецъ, — заговорилъ снова Воденягинъ и отвелъ отъ него взглядъ, — кажется, вы близко знакомы съ госпожей Акридиной?

— И что же?

— Она, конечно, будетъ готова посодѣйствовать съ своей стороны. Вѣдь она, кажется, и стоитъ въ домѣ Кумачевыхъ, приходится родственницей женѣ его?

— Елена Константиновна живетъ здѣсь уже съ недѣлю, — отвѣтилъ сухо вато Лыжинъ.

Ему захотѣлось сейчасъ же отвѣтить отказомъ и выпроводить этого „экзаменатора“.

— Все равно... Намъ извѣстно, что она вхожа въ разные барскіе дома... Къ старухѣ Козлишевой, на примѣръ... А тамъ бываютъ разные народы — знаете, какъ здѣсь говорятъ, „сильные въ губерніи“. Первый — генералъ Кишкетовъ. Запасный генералъ... Но мы знаемъ, — прибавилъ Воденягинъ совсѣмъ особымъ звукомъ, — что этотъ генералъ — особа съ самыми специальными ресурсами. Авось, вашей пріятельницѣ и удастся настроить его... Такъ вотъ въ чемъ дѣло.

Сдѣлавъ передышку, Воденягинъ всталъ въ позѣ челоуѣка, готоваго сейчасъ же удалиться, какъ только получить отвѣтъ.

— Весьма сожалѣю, — заговорилъ Лыжинъ, разставляя какъ бы нарочно слова, — я не могу быть посредникомъ въ этомъ ходатайствѣ ни передъ госпожей Акридиной, ни передъ господиномъ Кумачевымъ.

— Почему же, смѣю спросить?

— Съ Акридиной у насъ вышло нѣчто, не позволяющее мнѣ обращаться къ ней съ просьбой. А къ Захару Лукьяновичу я не хотѣлъ бы обращаться, даже будь онъ совершенно такихъ же убѣжденій, какъ вы. Я вступаю съ нимъ въ дѣловыя отношенія и не хочу до поры до времени о чемъ-либо просить его.

— Не очень ли ужъ выгораживаете вы, Юрій Петровичъ, свою неприкосновенность?

— Можетъ-быть! Но это—не капризъ съ моей стороны. Вы сейчасъ слышали, — Лыжинъ указалъ рукой на Кострицына, — вотъ довѣренное лицо Захара Лукьяновича, и онъ прямо объявляетъ, что тотъ ни за что не вмѣшается въ такое дѣло.

— Ни за что! — подтвердилъ Кострицынъ.

— Съ какой же стати я буду нарываться на полнѣйшее фіаско?

— Логично! Прощу извинить, — сказалъ Воденягинъ, переходя взглядомъ отъ одного къ другому. — И то сказать! Москва хоть кого передѣлаетъ. Помните, господа, въ одной знаменитой параллели говорится про Питеръ, что, молъ, тамъ есть мѣстечко, гдѣ передѣлываются не только образы мыслей, но и образы мыслителей? Въ Москвѣ образы мыслителей дѣлаются, пожалуй, благообразнѣе, упитаннѣе; зато мысли подлежатъ еще скорѣйшему превращенію. Хе-хе!.. Доброго здоровья!

Грустно повернувшись, Воденягинъ выдвинулся изъ полуотворенной двери, и его широкая спина, когда онъ исчезъ, еще нѣсколько секундъ виднѣлась мысленно Лыжину.

XIII.

— Браво, Юрій Петровичъ! браво!

Кострицынъ захлопалъ въ ладоши и даже подскочилъ.

— Что такое?

Лыжину сдѣлалось опять неловко—еще сильнѣе, чѣмъ было при Воденягинѣ.

— Такъ и надо! Давно пора! — продолжалъ съ тѣмъ же возбужденіемъ Кострицынъ, отбѣгая къ двери, гдѣ онъ всталъ спиной и схватился одной рукой за ручку.— Подхлбнѣ. И прекрасно!

— То-есть, что же собственно прекрасно?

— Какъ что? Точно вы не разумѣете, добрѣйшій!..

Хвалю васъ, сто кратъ хвалю, что вы не пошли на подстрекательства этого шестидесятника. И еще было бы лучше, если бы вы, Юрій Петровичъ, безъ всякой дипломатіи, не указывая на ваши отношенія къ Кумачеву или Акридиной, прямо отрѣзали: „не желаю, дескать, выручать іудейскаго стихотворца,—имѣй я и полную возможность“.

— Ну, это слишкомъ!

Лыжинъ поглядѣлъ на Кострицына съ вопросительной улыбкой въ глазахъ, почти сконфуженно.

Лицо Кострицына, сначала задорно-веселое, перемѣнило выраженіе. Глаза стали сразу больше, лобъ наморщился. Онъ, все еще стоя спиной у двери, высвободилъ руку и съ широкимъ жестомъ крикнулъ:

— Такъ ихъ и надо!

— Почему же? — уже серьезнѣе и смѣлѣе выговорилъ Лыжинъ.

Онъ могъ не очень плакаться о судьбѣ какого-то тамъ „еврейчика“-стихотворца и его сестры, но до такого грядуса онъ еще не дошелъ. Ему вспомнился первый обѣдъ у Кумачева и раскаты голоса петербургскаго чиновника, отзывавшіеся какимъ-то каннибальствомъ, когда тотъ смаковалъ вареніе единоплеменниковъ этого самаго стихотворца „въ собственномъ соку“.

Неужели и онъ такъ скоро очутился въ такихъ же чувствахъ?

— Такъ далеко я не иду,—выговорилъ онъ мягко, но съ довольно рѣшительнымъ жестомъ.

— Полноте! — Кострицынъ подошелъ къ столу и, разставивъ ноги, подперъ себѣ руками бока. — Въ васъ говорить устарѣлый предразсудокъ. Вы не хотите, добрый Юрій Петровичъ, вникнуть въ то, что съ собою принесла эта раса въ европейскую культуру, въ весь нашъ душевный строй.

— Я знаю что.

— Только формально знаете. Но суть-то, суть-то какая?

Кострицынъ совсѣмъ преобразился: его короткая, приземистая фигура казалась крупнѣе и лицо стало тоньше; голову держалъ онъ высоко и правую руку вытянулъ, нервно издрагивая пальцами.

Такимъ Лыжинъ видѣлъ его впервые.

— Вы мнѣ скажите, суть-то какая? Откуда въ человечество проникла ядовитая струя ненависти, злобы, за-

висти, расхищенія, какъ не отъ нихъ — отъ этихъ поспешителей идеи униженныхъ и оскорбленныхъ, нищихъ и убогихъ, прокаженныхъ и противныхъ, забитыхъ и придавленныхъ?..

— Ну, такъ что же? — спросилъ Лыжинъ, все еще не схватывая того, куда клонить Кострицынъ.

— Вамъ этого мало? Они, ихъ пророки и учителя, поколебали вѣковѣчное и здоровое понятіе о добрѣ и злѣ. По ихъ ученію вышло, что все, что испоконъ вѣку было хорошо, другими словами: сильно, блестяще, богато, даровито, великодушно, храбро, — все это начало считаться зломъ, порокомъ, окантствомъ, кромѣшнымъ мракомъ, за которыми ожидается скрежетъ зубовой.

— Это дѣло вѣрованій!

— Юрій Петровичъ! Батюшка! Да неужели вы меня не понимаете! Что мнѣ за дѣло до религіозной вражды, до того, какого Бога кто почитаетъ. Что мнѣ за дѣло и до того, что они разводятъ по городамъ кассы ссудъ или занимаются еще болѣе темными гешефтами! Не они — такъ другіе. И наши русачки на руку охулки не положить. Вся разница будетъ только въ томъ, что мы опять все дороже станемъ покупать у своихъ. Не это для меня важно, не это я не могу имъ простить и никогда не прощу, а то, что ихъ мораль, сотканная изъ мести и безсильной злобы, ославилъ зломъ и порокомъ все, чѣмъ человѣкъ поднялся надъ звѣремъ.

— Какой же выводъ? — перебилъ Лыжинъ.

— Какой выводъ? А вотъ какой: я радуюсь тому, что вспыхнулъ, наконецъ, повсемѣстный бунтъ противъ этой нищенски-больничной морали. Помните, — еще стремительнѣе заговорилъ Кострицынъ, подсаживаясь на диванъ, — помните обѣдъ у Кумачевыхъ... когда тотъ петербургскій чинушъ...

— Прекрасно помню! — остановилъ Лыжинъ.

— Вы думаете, онъ мнѣ пріятенъ какъ личность! Не хуже я никого разумѣю — какалъ такимъ чинушамъ цѣна! Но онъ — безсознательное орудіе новаго духа.

— Иванъ Кузьмичъ! Какого же новаго! Помилосердствуйте!

— Древняго, если хотите, но обновленнаго. Того, что создало могучее, красивое человѣчество, Элладу, Римъ, эпоху Возрожденія, богоподобныхъ богатирей, мнѣнческихъ героевъ, завоевателей, творцовъ, которые не охали

и не лили слезы, а зпали одно — развивать свое я, держать и посягать, показывать всѣмъ, изъ-за чего стоять на свѣтѣ жить, а не разводить стада ноющихъ „неврастениковъ“, для которыхъ земля—юдоля плача, готовыхъ извести все, что только высоко носить голову, что сильно и безстрашно, и живетъ, прежде всего...

— Для себя?—добавилъ Лыжинъ.

— А то какъ же? Не для себя, а для торжества зиждительнаго начала—вотъ для чего-съ! Этого мало, что человеконенавистникъ, распѣвавшій на рѣкахъ вавилонскихъ, овладѣлъ всѣмъ міромъ. Языческій Римъ — у его ногъ; Римъ христіанскій — у его ногъ! Всѣ аріицы, всѣ потомки безстрашныхъ племенъ пляшутъ по его дудѣ, проповѣдуя разрушеніе всего, повторяютъ его ученіе, одухотворенные его злобой и его ненасытной враждой ко всему радостному, здоровому, могучему и торжествующему. Такіе господа, какъ вотъ этотъ самый господинъ Воденягинъ,—нужды нѣтъ, что они свободные мыслители,—вотъ уже тридцать лѣтъ твердятъ все одно и то же: „покайтесь, падите ницъ передъ отребьемъ челоѣчества, будьте грязны, нищи, ненавидьте красоту и силу, т. е. высшую ступень челоѣческихъ свойствъ и даровъ природы, и добивайтесь того, чтобы всѣмъ было одинаково скверно!“

— Я съ этими господами уже не солидаренъ, — выговорилъ Лыжинъ.

Онъ сидѣлъ точно прихлопнутый потокомъ рѣчей Кострицына.

„Вотъ что,—думалъ онъ,—вонъ онъ куда идетъ“.

И будь онъ менѣе захваченъ горячими и грозными доводами Кострицына, онъ бы спросилъ его:

„А откуда, милый мой, вы это вычитали?“

Можетъ-быть, и вычиталъ откуда-нибудь, но все это звучало не краснорѣчивомъ, не выходкой умника, пожелавшаго поразить пріятеля новизной парадокса.

Кострицынъ еще присѣлъ къ нему и дотронулся рукой до его плеча.

— Послушайте, дружище, — заговорилъ онъ тише и задумчивѣе, — вы думаете, я это—съ бухта-барахта?.. Не мало ночей ушло у меня на бесполезныя, на иной взглядъ, умствованія. И я глубоко убѣжденъ въ томъ, что извращеніе понятій добра и зла идетъ отъ нихъ, не отъ тѣхъ, что маклачатъ въ Зарядѣ, а отъ тѣхъ, что удалялись

въ пустыни и побивали камнями всякаго, кто былъ представитель могущества, красоты, здоровья...

— И хищничества!—добавилъ Лыжинъ.

— Юрій Петровичъ! Батюшка! Въ васъ еще прежній человѣкъ сидитъ—изъ того времени, когда вы изнывали по сказочной царь-дѣвицѣ, которую зовутъ „меньшая братія“. Полюбуйтесь, во что превращается добренькій, умненькій, тихенькій современный человѣчекъ. Отъ него смердитъ! На него тошно глядѣть! Лучше ужъ было, по моему, держаться древне-эллинскаго рабства, какъ твердыни культурной жизни, чѣмъ вырождаться въ слюня, воспитавшаго въ себѣ только одну огромную анестезію духа и плоти.

— Но поэтъ Ходзькинъ-то тутъ при чемъ?

— Я сознательно радуюсь тому бессознательному бунту противъ духа, враждебнаго тому, что я ставлю выше всего въ исторіи человѣчества. Пускай господа въ родѣ петербургскаго чинуши дѣлаютъ свое дѣло! Ихъ резоны возмутительны для васъ, и для меня—не очень красивы; но пускай ихъ! Въ концѣ-то концовъ и здѣсь, и тамъ, и у насъ, и по всему Западу, подниметъ голову начало жизни, а не мертвечины. Народится поколѣніе, которое крикнетъ: „жить хотимъ, а не посыпать главу пепломъ, хотимъ посягать и наслаждаться, а не хныкать и не отдавать все, что сами создали, завоевали и украсили, на съѣденіе грязной, дикой и злобной толпѣ! Никогда!“ И такое поколѣніе уже снова нарождается, другъ Юрій Петровичъ!.. Оно и тридцать лѣтъ назадъ уже народилось. Только его не поняли и совсѣмъ исказили его символъ вѣры.

— Будто бы?—удивленно остановилъ его Лыжинъ.

— А то какъ же? Базаровскія-то слова развѣ не помните насчетъ мужика? Мужичокъ будетъ блаженствовать, а изъ меня „лопухъ“ вырастетъ? А? Что же это такое, какъ не протестъ, который во мнѣ заклокоталъ сегодня такъ неудержимо въ вашемъ присутствіи? И тургеневскій лѣкарь—умѣйшее лицо нашей литературы. Только его умирилъ авторъ, зная, что ему бы все равно не жить. Ха-ха!

Кострицынъ поднялся, вышелъ на средину комнаты и шутливо проговорилъ:

— *Dixi et animam levavi!* А теперь—поѣдемъ завтракать и еще покалываемъ. Вы вѣдь отправляетесь въ объѣздъ.

XIV.

Входя въ переднюю дома Кумачевыхъ, послѣ завтрака въ трактирѣ съ Кострицынымъ, Лыжинъ спросилъ, откушали ли господа.

— Откушали,—доложилъ ему швейцаръ и прибавилъ:— Дяденька барыни прѣхали, князь Иларіонъ Ивановичъ, и теперь сидятъ въ кабинетѣ. Пожалуйста.

— Здѣсь будетъ жить?

— Какъ же. Они ужъ ночевали. Въ тѣхъ комнатахъ, гдѣ Елена Константиновна стояли,—прибавилъ швейцаръ менѣ почтительнымъ тономъ.

Акридину прислуга не долюбивала.

Лыжинъ приказалъ официанту, стоявшему у дверей половины Захара Лукьяновича, доложить о себѣ.

Въ кабинетѣ онъ нашелъ всѣхъ троихъ. Дѣтей только что увела англичанка. Ихъ въ первый разъ показывали дѣдушкѣ.

Войдя, Лыжинъ заглядѣлся на старика.

Онъ стоялъ, въ эту минуту, по самой срединѣ обширной и высокой комнаты. Нина сидѣла на углу турецкаго дивана, поджавъ одну ногу. Мужъ ея курилъ въ своемъ дубовомъ креслѣ, передъ письменнымъ столомъ.

На дворѣ стоялъ ясный день и полоса свѣта упала на фигуру князя съ его живописной сѣдой головой и богатырскими плечами. Короткій свѣтло-сѣрый пиджакъ—онъ былъ одѣтъ по-городскому—дѣлалъ его еще выше ростомъ.

— Здравствуйте!—первый привѣтствовалъ онъ Лыжина.

— Вы меня узнали, князь?—спросилъ тотъ, подавая ему руку.

— Еще бы! Помилуйте! Я вѣдь еще не впалъ въ „рамолисментъ“. Ха-ха!

Смѣхъ, басовой и немного хриплый, разлился по кабинету, и широкая улыбка осталась въ глазахъ; на морщинистыхъ нижнихъ вѣкахъ дрожали капельки пота.

— Вы—у Захара Лукьяновича, я слышалъ... и породовался.

Кумачевъ, приподнявшись надъ столомъ, подаль руку Лыжину. Нина сдѣлала ему пріятельскій жестъ рукой, безъ пожатія.

— Вы, можетъ-быть, съ важнымъ дѣломъ?—продолжалъ князь, ходя поперекъ комнаты грузнымъ шагомъ,

и вскинулъ головой въ сторону Кумачева. — Такъ мы съ Ниной удалимся.

— Особенныхъ дѣлъ нѣтъ. Я ѣду сегодня и пришелъ сообщить объ этомъ Захару Лукьяновичу.

Въ первые дни, когда Лыжинъ говорилъ Кумачеву, при постороннихъ, что-нибудь дѣловое, онъ слѣдилъ за собою, какъ бы у него не вышло тона подчиненнаго. Но теперь онъ уже зналъ, что бояться ему нечего. И вообще въ домѣ и передъ „принципаломъ“ онъ поставилъ себя независимо, и въ его тонѣ всегда чувствовался баринъ, а не приказчикъ „его степенства“.

— Нѣтъ, ничего, князь! — вмѣшался Кумачевъ. — О чемъ надо было переговорить съ Юріемъ Петровичемъ — мы уже переговорили... Этотъ объѣздъ будетъ, пожалуй, рѣшительный.

— Въ какомъ смыслѣ? — спросилъ князь.

— Да вѣдь Юрій Петровичъ еще вглядывается... Ежели что ему покажется не такъ, онъ выговорилъ себѣ право и удалиться.

— Вотъ какъ! Что жъ! Хвалю! Хвалю! Сколько я понимаю: онъ (князь о третьемъ лицѣ употреблялъ мѣстоименіе женскаго рода, третьяго лица) ставитъ себя добровольно въ положеніе живого организма между... какъ бы это выразиться?.. Да! Между молотомъ и наковальней.

— Какъ же это, князь? — окликнулъ Кумачевъ. — Молоть — это кто же?

— Молоть?.. Вы, другъ мой! Вы — капиталъ... Сила! Безпощадная и слѣпая.

— Почему же слѣпая?

— А когда она зрячая, то она отдана стремленію къ призрачному бытію.

— Не понимаю!

— Призрачно, мой милый, то, что не одухотворено высшей идеей, что служить только ограниченному явленію — будь то мошна капиталиста, или чувственная похоть развратника.

— Однако, позвольте...

— Доказывать это — длинная исторія, милый мой... Словомъ, молоть — это мошна, а наковальня — трудъ, спина и руки рабочаго, и его мозгъ въ придачу. Вещь пассивная, видимому; но отъ ея сопротивленія все зависить.

— Какъ же это? — сдержанно волнуясь, спросилъ Кумачевъ.

— А то какъ же? Если бѣ вмѣсто желѣза или стали наковальня была изъ глины—какую же бы ось на ней можно наварить?.. А? Ха-ха!

Смѣхъ князя заразилъ всѣхъ. И Кумачевъ засмѣялся, и раньше его Нина.

Ея взглядъ перехватилъ Лыжинъ, присѣвшій ближе къ дивану. Ея лицо, особенно какъ-то блестящее въ это утро, точно говорило:

„Нужды нѣтъ, что онъ Богъ знаетъ какія вещи говорить и называетъ мужа „мой милый“, какъ я говорю дворецкому. Онъ—князь Иларіонъ Ивановичъ! *Мой* дядя! И его присутствіе въ домѣ даетъ всему оттѣнокъ, котораго Захаръ Лукьяновичъ не придастъ.“

Лыжинъ не сразу отвелъ отъ нея глаза. Она была одѣта не такъ, какъ обыкновенно одѣбалась къ завтраку: въ свѣтломъ суконномъ платьѣ, съ бархатными короткими рукавами, открытыя, отъ локтя, руки въ браслетахъ; въ ушахъ горѣли два камня.

— Такъ слышите, Юрій Петровичъ, — окликнулъ его Кумачевъ, — въ какой передѣлкѣ вамъ придется быть, если согласиться съ княземъ?

— Князь употребилъ сравненіе... И оно, кажется, подходитъ къ дѣлу.

Лыжинъ не договорилъ. Болѣе чувство, чѣмъ мысль, кольнуло его, въ видѣ вопроса:

„Развѣ ты уйдешь по доброй волѣ?“

Взгляни на него Нина — онъ бы смутился, пожалуй сталъ бы краснѣть.

— Дядя!.. Вы зачѣмъ же запугиваете Юрія Петровича?.. Прежде всего, онъ противъ своихъ убѣжденій не пойдетъ.

Эти слова были сказаны съ красивымъ движеніемъ головы и произвели въ Лыжинѣ ощущеніе пріятной щекотки.

— Я не спорю! И всячески сочувствую такой примиряющей роли. Но можно ли примирить эту антиномію? Добрыхъ желаній недостаточно.

— Князь!—остановилъ его Кумачевъ.—Если такъ разсуждать, такъ надо сейчасъ же промысловое дѣло остановить—на всемъ свѣтѣ...

— Дядя!—заговорила Нина, вставая,—Юрій Петровичъ не можетъ вести пренія. Ему надо на вокзалъ. Вы когда ѣдете, съ какимъ поѣздомъ?—спросила она Лыжина.

— Съ почтовымъ.

— Вотъ видите... А миѣ еще надо васъ спросить...—

она не договорила и, обратясь къ князю, продолжала:— Мы оставимъ ихъ на минуту. Пройдемте въ дѣтскую— я вамъ еще не показала, какъ они живутъ. Вы мнѣ сдѣлаете ваши замѣчанія. Я приму ихъ съ благодарностью.

Она какъ бы замѣтила мужу, что съ дядей вступать въ споръ не слѣдуетъ. Надо его выслушивать, что бы онъ ни проповѣдывалъ. Онъ—Жеребьевъ-Зарайскій!

Проходя мимо Лыжина, она сказала ему:

— Вы найдете меня въ моемъ кабинетѣ. Чаю дать вамъ?

— Не откажусь.

Ея тонъ сегодня особенно ласкалъ его. Какъ будто подъ этимъ былъ расчетъ. Совершенно даромъ врядъ ли Нина Борисовна будетъ что-нибудь дѣлать.

Но онъ тотчасъ же отбросилъ эту мысль. Такъ узко и зло смотрѣть на женщину потому только, что она имѣетъ репутацію себялюбивой личности, которую очень не трудно раскусить! Съ какой стати, по первымъ впечатлѣнιάмъ, сейчасъ строить выводъ и считать его непогрѣшимымъ? Кострицынъ ему не указъ. Да и онъ начинаетъ говорить о ней въ другомъ духѣ.

И опять, противъ воли, онъ заглядѣлся на линіи ея шеи и бѣлаго затылка съ круто завернутымъ пучкомъ волосъ и высокой черепаховой гребенкой.

Рука князя опустилась къ нему на плечо—онъ шелъ за племянницей къ выходной двери.

— La suite au prochain numéro... Буду имѣть удовольствіе побесѣдовать съ вами на свободѣ... А тотъ вашъ пріятель... Захаръ Лукьяновичъ!—обернулся онъ въ полъ-оборота къ Кумачеву,—какъ, мой милый, фамилія вашего ученаго бухгалтера?

— Вы про Ивана Кузьмича?—Кострицынъ... Онъ не бухгалтеръ, а завѣдуетъ цѣлымъ отдѣленіемъ конторы.

— А-а!.. Очень радъ... Вѣдь онъ, — князь повернулъ голову къ Лыжину, — кажется, имѣетъ высшую ученую степень?

— Собирается держать, — сказалъ Кумачевъ, — который уже годъ.

— Отчего же все только собирается? Ваша цифирь не позволяетъ?

— Время есть. Онъ только до обѣда занятъ. Знаете, по-московски, съ прохладцей. Надъ нами не каплетъ.

— Какого же онъ толка?—спросилъ князь Лыжина и повелъ своими густыми бровями.—Позитивнаго?

— Не могу вамъ сказать, князь.

— Какъ же это такъ? Пріятель, и не знаете, какого онъ мировоззрѣнія.

— Мировоззрѣнія—положительнаго, — отозвался Кумачевъ.

— То-есть, какъ же это: житейски или философски?

— Житейски. Въ философію я не вдаюсь.

— Мнѣ сдается, что мы съ господиномъ Кострицынымъ еще будемъ имѣть турниръ.

— На это онъ мастеръ! Хлѣбомъ не корми.

Кумачевъ тихо разсмѣялся.

— Однако... Нина ждетъ. Если она желаетъ отъ меня педагогическихъ совѣтовъ... я—увы!—не Песталоцци. До свиданія! Спасибо, что нашли мое сравненіе молота и наковальни не глупымъ.

Князь крѣпко пожалъ руку Лыжина и оставилъ его въ кабинетѣ съ Кумачевымъ...

XV.

— Какъ вы его находите?

Нина сидѣла подъ своимъ балдахиномъ полулежа, глубоко подавшись назадъ, на подушки.

Вопросъ она предложила объ Эсауловѣ.

Лыжину онъ не нравился. Съ того обѣда, когда онъ въ первый разъ увидалъ его, онъ встрѣчалъ его и у Елены Акридиной.

— Какъ нахожу?—переспросилъ онъ и отхлебнулъ изъ чашки.—Недостаточно его знаю, Нина Борисовна.

— Это уклончиво и на васъ не похоже. Онъ не въ вашемъ вкусѣ, скажите?

— Эсауловъ—вашъ пріятель. Вы его давно знаете и успѣли одѣнить.

— Да полноте, Юрій Петровичъ. Вы видите, я съ вами говорю откровенно. Разумѣется, онъ не въ вашемъ вкусѣ. Въ немъ есть сухость. Онъ избалованъ своей репутаціей и потомъ, — она зачялась, — думаетъ, что ни одна женщина не устоитъ, если онъ приласкаетъ ее. Кажется, вашъ другъ и моя тетенька Елена Константиновна не очень съ нимъ ладить.

— У нихъ разговоры особенные.

— Ученые? Ахъ, Юрій Петровичъ!—Нина всѣмъ корпусомъ пододвинулась къ нему, взяла подушку и подло-

жила ее себѣ подѣ грудь. — Скажите, съ вами можно о хой тетенькѣ говорить... совсѣмъ просто?

— Отчего же нѣтъ? Правда, мы съ ней давно считаемся пріятелями.

— Только считается? А въ сущности?

— Во многомъ я уже не тотъ, что былъ прежде, Нина Борисовна, да и она стала въ послѣднее время...

— Тоже другая? Ха-ха! Какъ будто вы не знаете, отчего?

Глаза Нины игриво и злобно заблестѣли.

Лыжинъ усмѣхнулся и промолчалъ.

— Умираетъ?.. А?

Онъ понялъ намекъ, но ему не хотѣлось подтрунивать надъ Еленой.

— Если оно такъ, надо пожелать ей успѣха.

— Полноте, — Нина заговорила почти шопотомъ, — это безуміе. Она ему годится чуть не въ тетки.

— Онъ врядъ ли на много моложе ея.

— Развѣ это не все равно? Вѣдь ей подѣ-сорокъ. А впрочемъ, — она сдѣлала жестъ головой, — любовь можетъ переродить... Придать ей больше кротости... и скромности, — добавила она дурачливо.

Въ первый разъ она говорила съ нимъ въ такомъ тонѣ о своей „тетенькѣ“. Это и было ему немного неловко, и приближало его къ ней. И раньше онъ догадывался: Нина не очень была восхищена тѣмъ, что Акридина гостить у нея.

— И двѣ подруги теперь взаимно изливаются? А?

Она опять злобно повела глазами и еще ближе пододвинулась.

Ея обнаженная съ локтя рука блестѣла своими браслетами и бѣлизной. Что-то было въ этой рукѣ нестерпимо красивое и тревожащее. Смотрѣть на нее прямо ему стало жутко. И онъ тутъ только понялъ, что Нина позвала его къ себѣ пить чай, чтобы о чемъ-то его выспросить.

Но о чемъ же? О любви Елены къ Боярцеву? Такъ она сама знаетъ объ этомъ. Ида, кажется, ее совсѣмъ не интересуетъ. И не настолько она банальна, чтобы вызывать его на сплетническій разговоръ объ этихъ двухъ женщинахъ. Она менѣе мелочна и злобна, чѣмъ, можетъ-быть, опредѣляетъ ее Кострицынъ. Къ Еленѣ она относится недружелюбно. Но, вѣроятно, та ей просто надоѣла своимъ тономъ, замашками, умничаньемъ.

— Ну, хорошо, — заговорила Нина, такъ же тихо, но съ опущенными рѣсницами. — Вы--вѣрный пріятель, и въ васъ я это очень цѣню, Юрій Петровичъ.. Вы живете тамъ, въ гарні, уже давно?

— Съ пріѣзда въ Москву.

— И знакомы и съ другими дамами, кромѣ Иды и Елены?

Тутъ только она подняла рѣсницы и остановила на немъ взглядъ.

— Кажется... ни съ кѣмъ больше.

— Припомните. А какая это красивая брюнетка стоитъ въ бель-этажѣ, въ одномъ коридорѣ съ Идой? Я ее мелькомъ видѣла. Вы не знаете?

Это было сказано отрывисто, совсѣмъ простымъ, пріятельскимъ звукомъ.

Ижинъ сначала подумалъ.

— Не встрѣчалъ.

— Ахъ! Какой вы скрытный!.. Это не хорошо, Юрій Петровичъ.

— Да увѣрю васъ, не встрѣчалъ.

И что-то припомнивъ, онъ сказалъ:

— Можетъ-быть, это та... артистка, актриса, кажется.

Онъ уже вспомнилъ, что Воденягинъ говорилъ ему сегодня про какую-то Днѣпровскую, у которой собирается компания, какой-то „хорошій народъ“, — хорошій на его вкусъ.

— Слышалъ сегодня, — продолжалъ онъ съ улыбкой въ глазахъ, — про госпожу Днѣпровскую. Это можетъ оказаться она. У нея, говорятъ, собирается цѣлый кружокъ.

— Мужчинъ? — слишкомъ порывисто, не выдержавъ тона, спросила Нина.

— Вѣроятно. Но утверждать не могу. А васъ это развѣ интересуетъ, Нина Борисовна?

— Да, я хотѣла бы знать; отчего бы вамъ съ ней не познакомиться?

И она ему подмигнула. Это его неприятно кольнуло — за нее. Съ какой стати предлагаетъ она ему такое именно знакомство?

Смутное чувство мужской обиды защемило его. Стало-быть, онъ для нея совсѣмъ не существуетъ, какъ мужчина, еще не старый, котораго никто уродомъ не считалъ. И она, какъ пріятель, совершенно по-мужски, указываетъ ему на красивую бабенку, предполагая, что та

доступна, и говорить ему: „Что жъ вы, батенька, пло-
шаете—познакомьтесь и добейтесь своего“.

Опять у него начала выступать въ щекахъ краска, но
Нина могла и не замѣтить этого: въ комнатѣ, съ тяже-
лыми портьерами, стоялъ полусвѣтъ.

— Самъ я не имѣю желанія. Да и некогда... Развѣ
вамъ это было бы... нужно?

Онъ набрался смѣлости и посмотрѣлъ на нее довольно
прямо.

Нина откинулась немного на подушку и, вытянувъ ноги,
повела плечами.

— C'est pour rire!—выговорила она.

— И только?—спросилъ Лыжинъ, и тотчасъ же у него
внутри точно похолодѣло: онъ испугался смѣлости своего
вопроса.

— Вамъ надо сначала бросить вашу сдержанность...
Юрій Петровичъ. Я хотѣла бы видѣть васъ среди своихъ
друзей. Тогда у насъ пойдетъ на ладъ... Вы не хотите
простить женщинѣ простое любопытство. А еще такой
умный!

„Ты хитришь, — быстро подумалъ онъ, — тутъ что-то
другое“.

Иъ-за спины его, у дверей въ гостиную, раздался до-
кладъ лакея:

— Баронъ Гольцъ.

Въ одинъ мигъ Нина перемѣнила позу, еще глубже
сѣла на диванъ, такъ что ея ноги приходились на краю
его, и поправила волосы привычнымъ и красивымъ же-
стомъ, въ то время, какъ говорила лакею:

— Проси!

Лыжина она спросила тише:

— Вы его знаете?

— Въ первый разъ слышу.

— Кажется, вы его уже видѣли у Заки?

— У кого? — переспросилъ Лыжинъ, забывъ, кого она
такъ зоветъ.

— У мужа!

— Нѣтъ. А кто это?

— Вы увидите.

— Да мнѣ ужъ и пора.

— Посидите! Такъ нельзя! Вы убѣжите, точно затѣмъ,
чтобы меня оставить...

Она не договорила. Въ сосѣдней гостиной, смягченный ковромъ, раздался звукъ шпоръ.

И въ эту минуту ихъ взгляды столкнулись. Ему показалось, что щеки ея порозовѣли. Тотчасъ же подумалъ онъ, что между тѣмъ, кто носить шпоры, зазвучавшія въ гостиной, и женщиной, про которую она спрашивала, есть связь.

— Bonjour, vaion! — небрежно, совсѣмъ другимъ звукомъ, выговорила Нина и такъ же небрежно кивнула головой вбокъ.

Лыжинъ долженъ былъ встать: около дивана помѣщался только низенькій стулъ, гдѣ онъ сидѣлъ. Офицеръ, выше его ростомъ, на ходу сдѣлалъ общій поклонъ и потомъ приблизился къ дивану, чтобы взять руку хозяйки. Это можно было сдѣлать только сильно нагнувшись.

— Monsieur Лыжинъ,—баронъ Гольцъ, — представила она ихъ.

Лыжинъ нигдѣ не видалъ этого гвардейца, но у него вдругъ явилось соображеніе, и онъ, когда подавалъ ему руку, спросилъ его:

— Васъ, баронъ, я, кажется, уже видѣлъ на-дняхъ?

Онъ выдумывалъ, и эта выдумка ему зачѣмъ-то была нужна. И не глядя на Нину, онъ почувалъ, что она насторожила уши.

— Гдѣ же?—спросилъ Гольцъ совершенно просто.

— Въ garpi, гдѣ я живу.

Онъ называлъ улицу.

— Весьма возможно,—отвѣтилъ Гольцъ.

И тутъ только Лыжинъ взглянулъ на Нину: въ глазахъ у нея что-то промелькнуло.

„Такъ и есть!“—рѣшилъ онъ, и этотъ выводъ его обжегъ. Останься онъ еще—а надо было торопиться—ему будетъ тяжело присутствовать въ качествѣ третьяго лица.

— Куда же вы торопитесь?

Нина поглядѣла на него такъ, что онъ почувствовалъ себя ея „сообщникомъ“. И улыбка была въ ея глазахъ, и желаніе дать ему понять, что она не просто спрашивала про красивую брюнетку.

— Опоздаю на поѣздъ, Нина Борисовна,—выговорилъ Лыжинъ.

Онъ не отвѣтилъ ей такимъ же взглядомъ.

— Возвращайтесь скорѣе!

Она, по-английски, пожала ему руку. Офицеръ еще разъ поклонился, опустивъ одну голову на грудь.

„Такъ вотъ это кто!“—выговорилъ онъ мысленно, спускаясь въ сѣни. Ростъ, профиль, цвѣтъ лица, волосы барона еще мелькали передъ нимъ. И его защемила могучая молодость этого гвардейца.

XVI.

Лакей подаль чашку чаю барону Гольцу и удалился.

Нина и позднѣе, съ четырехъ, не разливала сама, кромѣ средъ, когда у ней бывали большіе „five o'clock“, которые Захаръ Лукьяновичъ называлъ просто „клуби“,— не по незнавію англійскаго: онъ владѣлъ имъ свободно и зналъ гораздо больше про Англію и англичанъ, чѣмъ его жена.

Гольцъ сидѣлъ на томъ же низкомъ стульчикѣ, какъ и Лыжинъ, четверть часа раньше, вытянувъ свои длинныя ноги.

— Изъ какихъ же онъ собственно?—спросилъ баронъ.

Они говорили о Лыжинѣ.

— Я не знаю, какой на немъ чинъ. Онъ былъ помѣщикъ и продалъ имѣніе мужу. А потомъ принялъ отъ него мѣсто... какъ бы сказать?—ревизора.

— Надъ чѣмъ?

Лицо Гольца сейчасъ перемѣнило выраженіе. Оно сначала тихо улыбалось, и тонъ былъ полусутиливый, все съ той же спокойной безцеремонностью, который подзадоривалъ Нину, безъ всякаго желанія показать хоть намекъ на то, что онъ способенъ оцѣнить ее какъ женщину и хозяйку салона. Но какъ только рѣчь зашла о Лыжинѣ и его теперешней службѣ у Захара Лукьяновича, тонъ сейчасъ же перемѣнился у него. И это ее кольнуло, но она продолжала говорить о Лыжинѣ сочувственно и серьезно, какъ бы съ намѣреніемъ.

И вопросъ Гольца: „надъ чѣмъ“ звучалъ совершенно серьезно.

— Онъ будетъ наблюдать, какъ содержатся рабочіе.

— А-а! Вотъ что! Да онъ самъ-то какихъ взглядовъ? Красный?

На красивой переносицѣ барона легла складка.

— Не думаю... Прежде, можетъ-быть, за нимъ это вошло. Но теперь... Il en est revenu!

— Все-таки же... такихъ господъ не совсѣмъ-то без-

опасно пускать... Я знаю это по опыту. Вотъ въ имѣньѣ нашемъ... Мы съ братомъ тоже выписали одного... изъ академіи, ученаго агронома. А онъ, вмѣсто того, чтобы фосфоритомъ заниматься, сталъ мутить батраковъ на фермѣ и насчетъ платы, и насчетъ часовъ работы. Эти господа теперь притворяются, хитрятъ. Они опаснѣе, чѣмъ были прежде, когда прямо выдавали себя, одѣвались Богъ знаетъ какъ и сразу грубили... Умнѣе стали.

То, что онъ говорилъ и какъ это у него выходило, должно бы ей нравиться. И онъ, и ея „Закки“ такихъ же взглядовъ. Не его направленіе задѣвало ее, а его манера говорить съ нею, точно будто передъ нимъ сидитъ самъ Захаръ Лукьяновичъ, да и передъ нимъ онъ будетъ имѣть болѣе свѣтски-почтительный тонъ.

— Это дѣло Закки. Я въ его хозяйство не вхожу.

Она на него взглянула при этихъ словахъ, точно желая ему дать понять, что они оба—люди „du même bord“ и имъ нечего спорить. У нихъ долженъ быть *свой* разговоръ.

Но этого онъ не хотѣлъ понять.

— А вы его... и къ своей особѣ приставили?

— Dans quel sens?—совсѣмъ строго спросила Нина.

— Comme confident... Да нѣтъ,—поправился онъ и полунасмѣшливо поглядѣлъ на нее,—вамъ наперсникъ не нуженъ. Вамъ нечего рассказывать. Знаете... Вотъ какъ въ трагедіи?... Я Сару Бернаръ видѣлъ въ „Федрѣ“.

— Какой примѣръ!

Она рѣшительно сердилась на этого полунѣмецкаго bellâtre.

— Я только такъ... Вѣдь это все равно. Вамъ не то что уже въ любви къ тому... какъ его зовутъ по песнѣ... къ пасынку, что ли... ха-ха! а вообще не въ чемъ каяться.

— Какъ же вы можете знать?

Нина приняла другую позу на краю дивана.

— Это сейчасъ видно.

Гольцъ добродушно засмѣялся и повелъ рукой, въ которой держалъ папиросу: курить она ему разрѣшила.

— Que c'est bête!

Это восклицаніе вышло у нея почти грубо.

— Pardon, madame, ce n'est que franc et flatteur pour vous. Вашъ супругъ можетъ спать спокойно.

— Супругъ мой тутъ ни при чемъ.

Слово „супругъ“, хотя Гольцъ выговорилъ его просто,

показалось ей новой дерзостью. Этотъ „баронъ“ хочетъ показать, что мужъ ея—купчишка, и какъ бы жалѣть ее за „méssaillance“.

— Да онъ и не изъ такихъ,—продолжалъ, не мѣняя тона, Гольцъ.

— Не изъ какихъ это?

Еще одно слово—и она способна была дать на него окрикъ.

— А вотъ изъ нынѣшнихъ... Des maris complaisants. Цѣтъ, онъ не такой. Это тоже сейчасъ видно.

Ей смертельно захотѣлось сказать ему:

„Вы, стало-быть, ухаживаете только за женами тѣхъ, кто вамъ не страшенъ?“

— Вы наблюдательны,—сказала она съ недобримъ смѣхомъ.

— Это чувствуется.

— Да... Закки, прежде всего, человѣкъ съ характеромъ и ни передъ кѣмъ не сниметъ шапки первый. Les titres ne lui en imposent pas,—не выдержала она и даже взглянула на него. — Мой дядя, князь Иларіонъ, гоститъ у насъ.

— Князь?—вопросительно перебилъ ее Гольцъ, и опять лицо его стало серьезно.

— Князь Зарайскій... Братъ моего отца.

— Кое-что, кажется, слышалъ про него. Онъ большой чудакъ?

— Почему же чудакъ?

— Какъ же... Роздалъ все крестьянамъ и живетъ въ шалашѣ... Онъ, значить, толстовецъ?

— И не думаетъ. Онъ еще тридцать лѣтъ до эмансипаціи отпустилъ крестьянъ на волю.

— Они ему, конечно, и показали, какую онъ глупость сдѣлалъ.

Опять она должна была бы согласиться съ нимъ. Развѣ она про себя не считала князя Иларіона полусумасшедшимъ, и если не подсмѣивалась надъ нимъ, то потому только, что онъ — ея дядя, князь Зарайскій, и имъ она желаетъ держать мужа въ еще большемъ уваженіи къ тому, кѣмъ она была, когда выходила за него.

— Это до меня не касается,—сухо выговорила она и, рѣзко мѣняя разговоръ, спросила:—Вы будете у старухи Кобалишевой?

Она знала черезъ Напон, что онъ званъ.

— Явлюсь,—отвѣтилъ онъ, почему-то наклонивъ голову въ видѣ поклона.—Полученный раутъ будетъ...

— Да, ея дочь—довольно противная педантка.

— Ей бы замужъ... Оттого она и въ ученость ударилась.

— Ce sera très disparate... И мою тетку Акридину будутъ фетиловать. Вы ея не знаете?

— Не имѣю удовольствія.

— Un bas bleu.

— Кажется, и дѣвочки будутъ... свѣженькія.

— Дѣвочки?—переспросила Нина и сжала губы.

— Pardon! Мы такъ дѣвицъ зовемъ.

— Гдѣ? Въ манежѣ?

— Вездѣ. Онѣ не обижаются.

Она только повела плечами и подумала: „Да онъ просто—дурачокъ! Хороша и я!“

— Ну, да. Внучки старухи. Незбѣжныя Модъ и Маджъ.

— Англизированные... Ростомъ онѣ вышли!

„И какъ этотъ баронъ мѣтко выражается по-русски: ростомъ вышли!“—подумала Нина.

— Des nullités! — выговорила она уже прямо презрительно.

— Eh, madame, toutes les femmes sont bonnes!

И баронъ махнулъ рукой уже совсѣмъ безцеремонно.

Онъ даже не спросилъ, собирается ли она на этотъ раутъ, а ей, вопреки его глупому поведенію, хотѣлось туда сильнѣе, чѣмъ вчера и третьяго дня.

Онъ поставилъ чашку на восточный столикъ, окуроевъ папиросы бросилъ въ пепельницу и потянулся. Ей показалось даже, что онъ сдержалъ зѣвоту.

Нина чуть не спросила:

„Вы, кажется, зѣваете? Съ нихъ, съ этихъ „конюховъ“ въ пѣвѣнныхъ фуражкахъ, теперь все станется“.

И она горько упрекнула про себя первую свою подругу Напон: въ обществѣ *такихъ* женщинъ всѣ эти мужчины невыносимо балуются и привыкаютъ чувствовать себя вездѣ, какъ въ трактирѣ съ арфистками — хуже, потому что за тѣми они, хоть и пошло, но ухаживаютъ.

Красивый офицеръ сидѣлъ передъ ней, подобравъ ноги въ безукоризненную позу, и падѣвалъ замшевую перчатку на правую руку.

Перчаткой своей онъ занимался съ особенной серьезностью и какъ бы забылъ о существованіи Нины. Это

продолжалось не болѣе полминуты, но впечатлѣніе Нина получила именно такое.

Послѣ того онъ всталъ, слегка отряхнулся, благодушно улыбаясь, протянулъ ей руку и опять поклонился, опустивъ голову на грудь, своимъ форменнымъ поклономъ кавалериста и гвардейца.

— Bonjour, — медленно сказалъ онъ и, повернувшись съ особой, важной тяжеловатостью, пошелъ къ двери.

— Bonjour, — небрежно отвѣтила она ему вслѣдъ.

Ей не удалось кончить разговоръ чѣмъ-нибудь такимъ, что его совсѣмъ бы „приплюснуло“.

Около самой двери, но уже въ гостиной, звукъ шпоръ стихъ и раздался голосъ Захара Лукьяновича. Она не разслыхала фразъ, которыми они обмѣнялись. Вставать ей не хотѣлось. Она, какъ въ разговоръ съ Лыжинымъ, почти легла вглубь дивана и подперла себѣ грудь шелковой подушкой, расшитой золотомъ.

— Нина! Ты здѣсь? — окликнулъ ее мужъ.

— Здѣсь... А что?

Захаръ Лукьяновичъ подскѣлъ къ ней на диванъ. Онъ улыбался и, переждавъ съ полминуты, тихо сказалъ:

— Красивый „калегвардъ“, — и онъ протянулъ это жаргонное слово, вычитанное у Щедрина, — а кажется не изъ пущихъ. Какъ ты скажешь?

— И очень.

— То-то... Однако, производитъ давленіе?

— Какое? — со смѣхомъ спросила Нина.

— Мужскимъ естествомъ?

— Не знаю.

Она взглянула на Захара Лукьяновича, и весь его видъ былъ такой, что слова барона выступили у ней въ головѣ: „да, Захки не изъ нынѣшнихъ мужей“.

„Тѣмъ лучше!“ — почти вслухъ выговорила она.

— А все-таки, Нина, я его позвалъ обѣдать въ субботу. Знаешь, такой офицеръ — въ родѣ какъ каріатида или ваза на столѣ.

„Вотъ какъ!“

Она возмущилась за себя, и сейчасъ же весь „изумительный“ туалетъ, какой она надѣнетъ къ Козлишевой, представился ей. И глаза ея блеснули. Въ нихъ было написано: „посмотримъ“.

Мужъ вѣжно поцѣловалъ ея руку.

XVII.

Извозчикья карета, съ пѣвучимъ свистомъ промерзлыхъ колесъ, тащилась въ гору отъ бульвара на Остоженку. Морозъ былъ градусомъ въ двадцать пять.

Укутанныя въ шали, сидѣли въ каретѣ Ида и Акридина. Старуха Козлишева настояла на томъ, чтобы на ея первый раутъ, по приѣздѣ ея дочери Смоквиной изъ-за границы, Ида явилась непременно. Отъ нея трудно было отвертѣться, когда она чего-нибудь захочетъ. По крайней мѣрѣ пять записокъ получила отъ нея Ида — одна другой курьезнѣе по стилю.

Пришлось уступить ей. Ида больше всего боялась всякой „исторіи“ изъ-за нея. „Выѣзжать“ она не хотѣла, кромѣ театра и музыкальныхъ вечеровъ въ собраніи. У нея и платья не было въ гардеробѣ подходящаго къ такому рауту.

Но старуха въ послѣдней своей запискѣ, дѣлая ошибки на обоихъ языкахъ, писала ей:

„Вечеръ мы съ дочерью даемъ какъ бы въ честь вашего друга, Елены Константиновны, и вамъ, безцѣнная моя, нельзя отказаться. *Vous appartenez aussi à l'intelligence*“.

Она перевела такъ слово „интеллигенція“ и еще два раза его повторила. Обѣ онѣ не мало смѣялись, и Елена послѣ того стала звать Иду изъ одной комнаты въ другую:— „*Chère intelligence, écoute donc!*“

Имъ обѣимъ предстояло и еще удовольствіе — дочь Козлишевой, вдова Смоквина. Она не попадала на съѣздъ, гдѣ Елену такъ принимали, но хотѣла себя „вознаградить“, какъ она выразилась, дѣлая визитъ Акридиной. Этотъ визитъ длился цѣлый часъ, и обѣ онѣ отъ него пострадали. Смоквина считала себя передовой и начитанной женщиной и ставила себѣ въ немалую заслугу то, что у себя въ имѣніи раскопала два кургана и въ одномъ изъ нихъ нашла запястье.

Она называла его „фѣбулой“ по-древнему, и это слово произносила она съ мягкимъ „л“ — фѣбуля — и нараспѣвъ. Не менѣе десяти разъ употребила она его въ теченіе своего визита.

Когда она, наконецъ, уѣхала, то Елена вскинула руками и закричала, забѣгавъ по гостиной:

— Ида! Я отказываюсь отъ археологiи! Это ужасно! Это ужасно! Такая мадамъ!

И между собою онѣ ее прозвали „фйбуля“.

Ида побѣхала и потому еще, что боялась за свою подругу. Она знала, что Боярцевъ будетъ у старухи. Елена, скрывая это, дѣлала большія приготовленія къ вечеру, заказала себѣ новый туалетъ. Ей надо было загладить, во что бы то ни стало, впечатлѣнiе послѣдняго спора съ Боярцевымъ. За собою ей необходимо слѣдить, сдерживать себя... Нельзя ее предоставить самой себѣ. Добрымъ „товарищемъ“ Ида всегда была; а теперь, когда у нея нѣтъ никакой личной жизни чувства, въ дружбѣ она стала еще строже къ себѣ и еще добрѣе съ своими прiателями—и женщинами, и мужчинами.

Какъ Елена ни скрывала свои хлопоты о платьѣ, но Ида и тутъ должна была помочь ей. Благодаря ея совѣтамъ, у ней сегодня очень милый туалетъ, изъ чернаго фая съ бархатомъ и съ большой кружевной бертой, молодить ее и вообще чрезвычайно идетъ.

И себѣ Ида заказала въ магазинѣ „A la ville de Lyon“ темный туалетъ, который ее старилъ: она это знала и почти нарочно выбрала себѣ цвѣтъ матерiи и покрой, чтобы Елена, ея ровесница, смотрѣла моложе ея.

Та поняла это и, безъ словъ, поблагодарила, поцѣловала ее горячо въ лобъ, когда онѣ обѣ, выйдя каждая изъ своей спальни, сошлись въ гостиной.

Дорогой они молчали: и та, и другая боялись простуды—Елена больше Иды. Лакея они не нанимали. Карета была валкая и раскатывалась то и дѣло съ одной стороны улицы на другую.

Съ такимъ же визгомъ колесъ въѣхали онѣ въ ворота длиннаго дворянскаго особняка, ярко освѣщеннаго по всему фасу.

Въ передней, гдѣ пахло смѣсью керосина и курительнаго порошка, еще не сидѣло ни одного чужого лакея.

— Мы первыя,—сказала Акридина вполголоса, охорашиваясь передъ зеркаломъ.

— Я тебѣ говорила, — отвѣтила ей Ида тономъ старшей сестры.

Торопилась Елена, и она не хотѣла ей противорѣчить.

Когда обѣ онѣ входили въ первую комнату, залу, чистую и очень свѣтлую, съ бѣлой старинной мебелью, всякій бы нашелъ Елену гораздо моложе Иды. Та, на-

рочно, одѣлась и причесалась „подъ цвѣтъ своихъ волосъ“, какъ она пошутила, садясь въ карету. Прежняя Ида только и выдавала себя какими-то необычайными духами и парижскими перчатками безъ пуговицъ. На ея худощавыхъ рукахъ онѣ дѣлали множество складокъ.

Елена, въ своемъ новомъ туалетѣ, заказанномъ во французскомъ магазинѣ, и съ прической, которая молодила ее, въ новомъ корсетѣ, какъ-то вся подтянулась, и лицо, слегка напудренное, смотрѣло свѣжѣе; вѣки не были красны.

У старухи, по-заграничному, лакей, стоя въ портьерѣ гостиной, выкрикивалъ фамиліи.

— А-а!.. Мои подруги! — раздался зычный голосъ Катерины Яковлевны.

Но ея самой еще не было видно.

Она сидѣла сбоку на диванѣ, заставленномъ низкими шелковыми ширмами. Гостиная, хоть и освѣщенная люстрой, смотрѣла хмуро съ ея темной триповой мебелью и закоптѣлыми картинами.

Козлишева сидѣла имъ ручкой издали и, не стѣсняясь, продолжала свою сцену съ дочерью.

Смоквина была еще молодая женщина. Небольшого роста, она начала уже толстѣть; атласное сиреневое платье сидѣло на ней въ обтяжку, съ полуоткрытыми руками и большимъ вырѣзомъ на груди.

На всемъ ея бѣломъ и жирномъ лицѣ точно лежалъ слой лака—такъ оно блестѣло.

— Душечка мама,—угovarивала она мать, смягчая до приторности звукъ голоса, — я тебѣ говорю, что тебѣ нельзя здѣсь сидѣть—изъ того окна дуетъ, и ты на самомъ сквозномъ вѣтрѣ. Опять всю ночь будешь кашлять.

— Вотъ... милая моя сосѣдка, — Козлишева притянула къ себѣ Иду и поцѣловала ее въ лобъ, — и вы, дорогая моя Елена Константиновна,—моя дочь изволить муштровать меня.

— Привѣтствую,—торжественно заговорила Смоквина, подавая руку Еленѣ,—въ лицѣ вашемъ...

— Постой! Дай мнѣ кончить!—почти крикнула мать.— Ты еще успеешь душиить ихъ своими фразами. Я вамъ говорю, mesdames, она меня своими приставаньями въ гробъ вгонить! — старуха не разставалась съ клюкой и стукнула ею о коверъ. — Живу я въ деревнѣ, чуть на лыжахъ не хожу—и по вѣтру, по морозу, и на гумно, и

въ лѣсъ... Какъ только Варвара Сергѣевна пожалуется изъ теплыхъ странъ—пойдетъ муштрованье матери.

— Какъ тебѣ угодно! — промолвила Смоквина, сѣла бокомъ и сложила губы бутонъ.

— Да! Мнѣ угодно, чтобы ты меня не мучила.

— Mesdames, prenez place! — пригласила вдова и сдѣлала живописный жестъ рукой.

— Онѣ и безъ тебя сядутъ. Вотъ сюда, поближе! — командовала имъ Козлишева.— Не бойтесь, отъ сквозного вѣтра не схватите воспаления. Нѣтъ! — воскликнула она и обернула къ нимъ свое мужеподобное лицо, въ эту минуту раздраженное не на шутку. — Вы себѣ, дорогія мои подруги, не можете представить, какъ дочь моя способна уходить человѣка только одной своей любовью!

— Матап, я думаю, нашимъ прелестнымъ...

— Помолчи, сударыня! Сама виновата! У меня слишкомъ накупѣло. Ты мужа своего тоже свела въ гробъ любовью!

— Матап!

— Ничего, матушка. Да, сладостью своей и приставаньями. Изъ здороваго мужчины сдѣлать ипохондрика! Такъ ты его пугала, точно на жизнь его покушались всѣ, такъ задерживала! Ну, и кончилось тѣмъ, что отъ чистѣйшаго вздора сошелъ въ могилу.

Старуха, начавъ шутливо, перешла въ обычный тонъ разнosa.

Елена и Ида сидѣли тихо и старались не глядѣть ни другъ на друга, ни на хозяйку съ дочерью.

Но имъ обѣимъ было скорѣе пріятно присутствовать при разностѣ этой слащавой и льстиво-торжественной „бабы“, какъ ее называла Акридина.

Смоквина старалась кротко улыбаться; ее выдавали два круга, выступившіе на щекахъ. Но мать ея не боялась и, по-своему тщеславная, умѣла ее разоблачать и съ глазу-на-глазъ, и при постороннихъ.

— То же будетъ и съ дочерью. Варвара Сергѣевна изволитъ воспитывать принцессу крови, да еще не простую, а вотъ что въ сказкахъ, подъ стекляннмъ колпакомъ. Все по часамъ... Дѣвочкѣ хочется шалить, бѣгать, посмотрѣть на гостей! Помилуйте! Высочайшій регламентъ, и никто не смѣй до ней дотронуться. Никто не смѣй сказать ей „ты“. Боже избави! Она какъ царь-дѣ-

вица! За золотой рѣшѣткой! И всѣ должны падать ницѣ и цѣловать ея ножки!

— Я молчу.

Смоквина повела плечами и посмотрѣла на Иду и Елену съ выраженіемъ жертвы своей дочерней добродѣтели.

— И выйдетъ недотрога-царевна! Безъ крови! Кукла на пружинахъ!

Громкій голосъ лакея прервалъ потокъ рѣчей старухи.

XVIII.

Протянулся цѣлый часъ. Гости разбрелись по тремъ комнатамъ.

Было, въ общемъ, томительно. Еленой овладѣла Смоквина и представляла ее всѣмъ незнакомымъ съ нею, называя непремѣнно: „наша знаменитая соотечественница“ или: „наша звѣзда“. Около нея она усадила въ особый уголъ двоихъ ея „собратовъ“, порядочно надоѣвшихъ ей и на сѣздѣ, специалистовъ. Одного звали Θεопемитовъ, другого — Разказовъ. Первый давно пріѣлся ей своимъ стариковскимъ чудачествомъ, съ разговоръ на „онъ“ и семинарскими шуточками; второй раздражалъ хлѣсткой убѣжденностью „русакъ“ и задорными выходками противъ всего, что не отзывается „чистотой суздальскаго стиля“ и красотами древне-русскихъ колокольных „шатровъ“.

Посидѣлъ около нея и Эсауловъ, погримасничалъ, раздваивнувшись и откочевалъ отъ нея, какъ только явилась Нина Кумачева, вся въ брильянтахъ.

Въ своемъ ученомъ углу Елена томилась. Иду она видѣла далеко отъ себя, въ разговорѣ съ двумя пожилыми мужчинами. Она знала, что высокій — губернаторъ изъ провинціи; другой — маленькаго роста — генералъ въ запасѣ. Смоквина представляла ей обоихъ, но ихъ фамиліи тотчасъ же вылетѣли у ней изъ головы.

Безпрестанно глядѣла она въ сторону двери, въ залу. Боярцева все не было. О чемъ-то оба специалиста заговорили и обращались къ ней. Она имъ отвѣчала невпопадъ или совсѣмъ не отвѣчала.

И такъ она стала себѣ смѣшна, особенно послѣ фразъ Смоквиной, которая ее „продюжизировала“, точно какого рѣдкаго звѣря! Вспомнилось ей, изъ дѣтскихъ годовъ, дурачество ея дяди, когда тотъ представлялъ пѣмца, выхваляющаго звѣрей въ клѣткахъ на ярмаркѣ:

„Это есть большой африканскій левъ, три годъ старъ, ошенъ молёдой“.

Исчезнуть бы отсюда невидимкой и очутиться въ комнатѣ у него, въ мезонинѣ, куда она до сихъ поръ не проиякла. Она была-таки—узнать о здоровьѣ его матери. Боярцевъ принялъ ее внизу, благодарилъ, но казался стѣсненнымъ и наверхъ къ себѣ не попросилъ.

Можетъ-быть, онъ посмотрѣлъ на ея визитъ какъ на простую уловку. Это ее грызло.

И вдругъ ей не удастся сегодня имѣть съ нимъ разговоръ, какого она жаждетъ. Эта Смоквина будетъ опять водить къ ней разный народъ на поклонъ, точно прикладываться къ мѣстному образу.

Никогда еще извѣстность не тяготила ее какъ сегодня. Да и никто тутъ ея, въ сущности, не интересуется, даже и два тошннхъ специалиста, чтò мѣшаютъ ей вырваться изъ того угла, куда ее запихала Смоквина. Хоть бы Ида подошла и взяла ее. Но та на нее не смотритъ.

Недоброе чувство заняло у ней въ груди. Ида хоть и неэффектно одѣлась, но была интересна, и сѣдющіе волосы не мѣшали ей казаться молодой женщиной. Теперь только она вполне поняла: Ида нарочно сдѣлала такъ, чтобы не смотреѣть моложе и интереснѣе ея. Такое великодушіе нисколько ее не трогало; напротивъ, обижало.

Ида замѣтила уже, что Еленѣ совсѣмъ не весело съ своими „собратами“. Ей хотѣлось, чтобы Боярцевъ поскорѣ явился. Можетъ-быть, старуха устроить въ залѣ танцы—молодыхъ дѣвицъ она уже замѣтила нѣсколько—и тогда Елена можетъ улучшить минуту и сѣсть съ нимъ въ уголовой комнатѣ, если только хозяйки, въ особенности эта ужасная Смоквина, оставятъ ее въ покоѣ.

Изъ двухъ ея кавалеровъ одинъ ей былъ очень не-пріятенъ. Онъ остался съ ней сидѣть; другой, пріѣзжій губернаторъ, отошелъ къ Нинѣ Кумачевой. Этого дѣлающаго служебную карьеру барина она нигдѣ до того не встрѣчала, и его тонъ она нашла довольно банальнымъ.

Но того, кто остался съ нею, генерала Кишкетова, она знавала за границей и встрѣтиться съ нимъ никакъ не желала.

Кишкетовъ - худой, небольшого роста, бритый, съ длинными, по-модному растрепанными усами - держался не-много сутуловато, ловко носилъ очень узкій фракъ и не-

вынималъ изъ лѣваго глаза монокль. Трудно было признать въ немъ генерала въ запасѣ. Говорилъ онъ отрывисто, увѣренно, исключительно по-французски. Издали онъ смотрѣлъ еще молодымъ мужчиной. Ему шелъ уже седьмой десятокъ. Онъ красился; по желтоватому лицу ползли тонкія морщины. Зубы были также вставные.

Ида видала его въ Парижѣ, гдѣ онъ бываетъ часто, въ ту полосу ея жизни, когда она была наканунѣ второго крушенія. Онъ зналъ ея француза... зналъ, кажется, и про ихъ отношенія.

У него достало такта, чтобы не начать ее разспрашивать о ихъ общемъ парижскомъ знакомствѣ, но тотчасъ же, какъ они остались одни, онъ, злобно усмѣхнувшись, заговорилъ съ ней на особенный ладъ, какъ говорятъ съ женщинами „безъ устарѣлыхъ предразсудковъ“ изъ одного съ нимъ общества виверовъ, и его узкіе глаза, съ металлическимъ блескомъ, досказывали ей все остальное.

— Зачѣмъ вы здѣсь, въ Москвѣ?— спросилъ онъ, пожавъ плечами.—Почему не тамъ? Изъ экономіи?

Всѣ эти вопросы онъ дѣлалъ быстро, своимъ сухимъ, пронизывающимъ голосомъ.

Идѣ не хотѣлось отвѣтить ему любимымъ словомъ:

— J'ai ennuie!

Ей онъ былъ теперь непріятенъ до-нельзя и сразу напомнилъ ей тотъ Парижъ, откуда она пріѣхала „старухой“, съ холодащей пустотой и равнодушіемъ. А тогда она выносила подобныхъ молодящихся развратниковъ. Они ей не были омерзительны, хотя про Кишкетова она слышала не мало возмутительнаго.

Пересиливъ свое внезапное отвращеніе, Ида сказала ему съ прежними интонаціями:

— Вы теряете время. Идите вонъ туда. Посмотрите, какъ хороша Нина.

— Кто? А!.. Кумачева? Чудесныя плечи. Но она еще глупа. Охраняетъ свою добродѣтель. Злитъ, вѣроятно, на то, что стала купчихой.

— Все равно,—перебила его уже безцеремоннѣе Ида,—идите къ ней.

Въ дверяхъ показался Боярцевъ и увидалъ ее первый. Но его перехватила-было Смоквица и что-то ему отчитывала слащаво и громко. Онъ направился въ сторону Иды.

— Вы съ нимъ знакомы?— спросилъ ее Кишкетовъ съ гримасой.—Онъ пропахъ добродѣтелью.

И когда Боярцевъ подходилъ къ Идѣ, генераль поднялся и сказалъ:

— Уступаю ему мѣсто. Вижу, что мнѣ съ вами не везетъ.

Это было сказано въ томъ же дерзко-фамиллярномъ тонѣ, какого онъ держался со всѣми женщинами, кромѣ нѣкоторыхъ, очень высокопоставленныхъ.

Сухо-въжливо раскланялся онъ съ Боярцевымъ и отошелъ къ Нинѣ.

— Защитите меня!—сказала Ида, протягивая руку Боярцеву.

Она замѣтила, что онъ блѣденъ и разстроенъ.

— Отъ кого?—равнодушно улынувшись, спросилъ онъ и сѣлъ.

— Отъ обѣихъ хозяекъ... Не садитесь около меня. А то одна изъ нихъ увидитъ васъ.

— Я уже говорилъ и съ матерью, и съ дочерью.

— Все равно. Дочь начнетъ намъ объяснять, кто мы такіе.

Боярцевъ тихо разсмѣялся.

— Воображаю, какъ Еленѣ Константиновнѣ уже пришлось натерпѣться.

„Онъ первый о ней вспомнилъ“,—подумала Ида, точно мать или старшая сестра.

— Вы видите, гдѣ она?

— Нѣтъ. Я вѣдь полуслѣпой.

— Вонъ тамъ, въ углу, съ двумя учеными господами.

— Бѣдная!

— Подите ее выручить. Не занимайте меня. Я забьюсь въ уголъ. Мнѣ такъ будетъ лучше. Только скажите,—она остановилась,—вы что-то разстроены... Да? Или я ошибусь?

— Меня беспокоитъ здоровье матушки, — сказалъ онъ по-русски.—Я не хотѣлъ ѣхать.

„Значитъ, онъ общалъ Еленѣ“,—подумала Ида.

— Матушка настояла,—продолжалъ Боярцевъ.

— Но опасности нѣтъ?

— Не знаю, какъ вамъ сказать. Жаръ не спадаетъ... Большая слабость.

Боярцевъ провелъ рукой по лбу и опустилъ голову.

— Подите къ Еленѣ, поспорьте съ ней. Она нынче очень добрая, и споръ будетъ пріятный.

И тотчасъ она замѣтила про себя:

„Вѣдь я точно толкаю его къ ней. Затѣмъ?“

Изъ этой любви не выйдетъ для Елены ничего, кромѣ горя, — такъ она рѣшила. И все-таки она жалѣла свою подругу. Она сама столько потратилась на любовь, и ей какъ бы стыдно стало лишать Елену того же наркотическаго снадобья.

Ида успокоилась только тогда, когда Боярцевъ очутился на другой сторонѣ гостиной. Она забилась совсѣмъ въ уголъ, за трельяжъ, и перестала бояться нападеній Смоквиной. Такъ ей странно, почти смѣшно было смотрѣть на весь этотъ нескладный и скучный вечеръ, гдѣ собрался, неизвѣстно для чего, разный народъ. Въ карты не играли, не собирались еще и танцевать; говорили, по группамъ, какъ будто въ ожиданіи чего-то. Можетъ-быть, старуха угодить музыкой... Но на это не похоже.

Молодежь, нѣсколько дѣвицъ — двѣ были рослыя, въ свѣжихъ туалетахъ, — два офицера, студентъ, два-три штатскихъ болтали оживленнѣе другихъ, разсѣвшись въ угловой. Нина Кумачева окружена была мужчинами: кромѣ Эсаулова, губернатора и Кишкетова, подсѣлъ къ ней старикъ съ сѣдой бородой. Ида и его когда-то и гдѣ-то встрѣчала на водахъ.

Главный пунктъ гостиной занимали обѣ хозяйки; съ ними двѣ старухи и еще сухая, некрасивая барыня среднихъ лѣтъ, кажется, жена губернатора, въ наколѣхъ и съ неизбѣжнымъ черепаховымъ лорнетомъ. Тамъ же ширилась спина ея сосѣда Кличъ-Обношина. Сбоку, въ искривленной позѣ, развалился Ковригинъ, котораго Смоквина уже представляла ей и громко, точно на какомъ торжествѣ, провозгласила:

— Monsieur est l'allié des premières familles de notre pays!

Ида сидѣла неподвижно. Ей хотѣлось задремать.

Все это было для неѣ такъ чуждо и ненужно.

Но громкій басъ изобрѣтателя „кавалерійскихъ обителей“ не давалъ ей забыться.

— Кто сказалъ, — крикнулъ онъ на всю гостиную, — что ихъ родъ происходитъ отъ Камбйлы? У меня спросите. Прозваніе сложилось отъ словъ: „шаръ“ и „метать“. Отсюда — „Шаромѣти“.

— Позвольте! — прервалъ его высокій мужской фальцетъ.

— Oh, mon Dieu! — шопотомъ вздохнула Ида и опять закрыла глаза.

XIX.

Нина сидѣла окруженная мужчинами: тутъ были генераль Кишкетовъ, губернаторъ Баявъ и графъ Дулинъ, изъ отставныхъ посольскихъ, съ длинной сѣдой бородой и восковымъ лицомъ.

Всѣ трое оглядывали ея плечи, шею, ея туалетъ и брильянты, и даже въ поблѣклыхъ глазахъ графа вспыхивали огоньки. Всего ближе примостился къ ней губернаторъ и велъ разговоръ въ игривомъ тонѣ. Генераль вставлялъ свои тирады болѣе испорченнаго волокиты.

— Вы—царица! Мы—ваши рабы!—повторялъ губернаторъ.—Что прикажете, то и сдѣлаемъ... Птичьего молока достанемъ. Только вы насъ не слушаете. Не правда ли, генераль?

Кишкетовъ поправилъ монокль и кивнулъ утвердительно головой.

— *Madame est ailleurs!*

И онъ подмигнулъ свободнымъ глазомъ.

Графъ Дулинъ сжалъ многозначительно губы.

— Вотъ это я хвалю,—продолжалъ губернаторъ, упираясь взглядомъ въ бюстъ Нины,—хвалю, что наши хорошенькіе барыньки оставляютъ мужей у себя.

— *Comme un objet parfaitement inutile!*—добавилъ генераль.

— Вашъ другъ, Nanon Верховцева, такая милая барыня, но точно пришита къ мужу... Ея нѣтъ здѣсь?

— Нѣтъ,—небрежно отвѣтила Нина.

— Навѣрно, у ея Платоши животикъ заболѣлъ, обкушался, а одна она не поѣхала.

Всѣ трое мужчинъ разсмѣялись.

Генераль поглядѣлъ въ тотъ уголъ, откуда виденъ былъ профиль Нды.

— *Dites donc!*—и онъ кивнулъ головой Нинѣ, — *c'est une amie à vous... mademoiselle Radine?*

Онъ протянулъ слово „*mademoiselle*“ и наморщилъ бровь, подъ которой торчалъ его монокль.

— *Mon amie?*—переспросила Нина.—*Non pas!*

— Она нынче, кажется, въ добрыя дѣла ударилась?

Губернаторъ переглянулся съ генераломъ.

— *Une pêcheresse sur le retour,*—началъ генераль.

— *Messieurs!*—перебила Нина и перевела своими роскошными плечами.—*Vous devenez infectes de méchanceté!*

— Hein? Infectes?—повторилъ генералъ и злобно-весело воззрился въ нее.

Она готова была бы оборвать любого изъ нихъ еще болѣе рѣзкимъ словомъ. Ихъ ухаживаніе отзывалось для нея чѣмъ-то слишкомъ безцеремоннымъ. И только сегодня ей становилось ясно, что въ этомъ обществѣ, откуда она родомъ, какъ княжна Зарайская, къ ней относятся не такъ, какъ бы она желала. У себя она этого не замѣчала, а въ двухъ-трехъ стародворянскихъ гостинныхъ, куда она являлась съ визитомъ, не хотѣла замѣтить.

Сегодня это сквозило и въ фамильярной ласкѣ старухи Козлишевой, и въ лстивыхъ банальностяхъ ея дочери, и въ особенности въ жаргонѣ вотъ этихъ трехъ „сатировъ“, какъ она мысленно прозвала ихъ. Она уже не Зарайская, а купчиха Кумачева. Сейчасъ этотъ заѣзжій губернаторъ назвалъ ее „хорошенькая барынька“. И этотъ злой развратникъ Кишкетовъ говоритъ съ ней, точно она актриса, или того похуже. Потому, должно-быть, баронъ Гольцъ и не поддается ей. Даже ея пріятель Эсауловъ, снисходительно улыбаясь, перекинулся съ нею нѣсколькими цроническими фразами, присѣлъ къ „интересной“ дамѣ, и у нихъ идетъ оживленный разговоръ; обрывки его достигаютъ до нея и раздражаютъ.

Эту „интересную“ даму, Лили Бахтурину, она знавала въ дѣвицахъ и считала всегда ужасной „poseuse“ и „краснобайкой“, всегда съ какимъ-нибудь новымъ увлеченіемъ: то спиритизмомъ, то гипнотизмомъ, то еще чѣмъ-нибудь. И теперь она тоже носится съ какой-то новой религіей, вывезенной изъ Индіи.

Ея звонкая рѣчь, то по-французски, то по-англьйски, съ вставкою русскихъ фразъ, сыплется какъ горохъ. Болѣе сухой и глухой голосъ Эсаулова, съ его короткимъ смѣхомъ, идетъ вперемежку.

Въ сущности, Нинѣ нѣтъ никакого дѣла до того, о чемъ они говорятъ; но ее задѣваютъ почтительные фасоны Эсаулова съ Лили Бахтуриной. Не одну „интересную“ женщину онъ въ ней отличаетъ, а жену родовитаго, настоящаго барина, съ большимъ родствомъ, сдѣлавшую „un beau mariage“, послѣ того, какъ она выѣзжала не меньше десяти лѣтъ на послѣднія крохи.

— Je le sens!—долетаетъ до нея голосъ Лили. — Mon âme a déjà habité un autre corps.

Эсауловъ что-то возразилъ. Лили не унималась и пе-

решила на англійскій языкъ, засыпала какими-то мудреными словами.

И Эсауловъ обрадовался, ему бы только показать свое языкознаніе, пустился въ англійскій разговоръ, щеголяя произношеніемъ. Лили не сдавалась, перебивала его и трещала нестерпимо. Ежесекундно выпаливала она: „I say“, точно она играетъ въ крокетъ или кричитъ съ одного конца „Lawntennis’a“ на другой.

Все это Нина находила „отвратительной“ претензіей и готова была послать сказать своему „другу“, чтобы онъ закрылъ клапанъ и пересталъ форсить англійскимъ акцентомъ.

Наконецъ-то въ дверяхъ залы встала высокая фигура съ худыми ногами, и каска блеснула въ рукахъ Гольца. Имъ овладѣла Смоквина.

Нина выпрямилась и вся себя подтянула. Она боялась, какъ бы внезапная краснота не выдала ее. Подъ корсетомъ она почувствовала ускоренное біеніе, и ладони, подъ перчатками, стали вдругъ влажны.

— Это кто? — спросилъ въ носъ и нараспѣвъ графъ Дулинъ.

— Не знаю, — небрежно отозвался губернаторъ.

— Баронъ Гольцъ, — назвалъ Кишкетовъ.

Смоквина повела его черезъ всю гостиную въ угловую, гдѣ скупились „дѣвчонки“ — Нина иначе не называла дѣвицъ, съ тѣхъ поръ, какъ вышла замужъ. И Гольцъ шагаетъ, точно аршинъ проглотилъ, и не смотритъ совсѣмъ въ ея сторону.

Ей до боли захотѣлось сказать одному изъ троихъ „сатировъ“: „Подведите ко мнѣ барона Гольца“.

Но зеленый глазъ генерала, смотрѣвшій изъ-за монокля, удержалъ ее.

Вотъ Смоквина съ барономъ посрединѣ гостиной, въ трехъ шагахъ. Онъ наклонился — Смоквина что-то ему сказала — увидалъ ее, остановился и отдалъ ей военный поклонъ. При этомъ онъ усмѣхнулся, и эта усмѣшка кольнула Нину.

Точно онъ хотѣлъ своей миной сказать:

„Сиди, голубушка, со старьемъ. Я передъ тобой прыгать не намѣренъ“.

Она поклонилась ему горделиво, легкимъ движеніемъ головы.

— А! Генераль!—вскликнулъ губернаторъ.—Каковъ у нашей красавицы поклонъ? Царица!

— Молчите, пожалуйста, Баевъ!—вырвалось у Нины.

Она готова была ударить его вѣеромъ по лицу, такъ его тонъ сдѣлался для нея невыносимъ.

А глаза ея, противъ воли, потянули за длинной и стройной фигурой офицера, въ короткомъ видмундирѣ, съ золотой каской въ рукѣ. Смоквина вела его къ дѣвицамъ.

Оставаться на мѣстѣ Нинѣ было тяжело. Она встала и, не извиняясь передъ своими кавалерами, замѣтила имъ на ходу:

— Съ вами скучно, господа. Вы слишкомъ сладки.

Она быстро пересѣкла гостиную и подошла къ Идѣ, а та сидѣла все въ той же позѣ, съ полузакрытыми глазами.

Нина окликнула ее:

— Vous dormez?

— Presque,—отвѣтила Ида невозмутимо.

— Quelle soirée assomante! Marchons!

Ей надо было съ кѣмъ-нибудь пройти по гостиной, чтобы незамѣтно проникнуть въ угловую.

— Et ma chère tante?—спросила она.

— La voici,—указала Ида.

Акридина сидѣла съ Боярцевымъ въ сторонѣ и что то, въ эту минуту, горячо говорила ему, сдерживая звукъ голоса.

„Даже тетенька обрабатываетъ свой предметъ“,—съ задорнымъ юморомъ подумала Нина, медленно двигаясь подъ руку съ Идой.

Въ другое время она ни за что бы не пошла съ ней подъ руку, какъ пріятельница. Но ей точно нужно было это прикрытіе.

Угловая, освѣщенная фонарикомъ и двумя лампами на штативахъ, занята была, сбоку у дверей, группой дѣвицъ въ свѣтлыхъ платьяхъ. Гольцъ сѣлъ между ними.

Однимъ взглядомъ окинула Нина эту группу: узнала двухъ сестеръ, внучекъ старухи, извѣстныхъ подъ прозвищемъ *Модъ* и *Мэдждъ*. Модъ была ниже ростомъ, блондинка, съ вздернутымъ носикомъ и англійской повадкой, со стрѣлой въ круто задраннымъ пучкѣ волосъ. Мэдждъ—темнорусая, съ плоскимъ бюстомъ, очень высокая. Обѣ, запустивши болтая, безпрестанно двигались на стульяхъ и

дѣлали много широкихъ жестовъ. Ихъ красивенькія лица то-и-дѣло мѣняли выраженіе.

И еще двухъ барышень Пина могла назвать по фамиліямъ, но никогда съ ними не разговаривала. Одна была графиня Тырхова; другая, кажется, Сомова.

Всѣ четыре дѣвицы считались съ приданымъ. Старшей изъ внучекъ старухи тетка, старая дѣва, оставляла, кромѣ того, свое имѣніе.

„Офицеръ прицѣпивается“, — выговорила про себя Пина и беззвучно разсмѣялась.

И быстро перешла она къ тому времени, когда сама была въ дѣвицахъ. Не проживи состоянія ея отецъ, какую бы партію представляла она изъ себя для всякаго гвардейца!

Внутри у ней закипало отъ обиды и желанія сейчасъ же прочитъ этого профессиональнаго красавца, „professional beau“, перевела она почему-то по-англійски, а въ головѣ вертѣлась все одна и та же мысль: баронесса Гольцъ, рожденная княжна Зарайская, чувствовала бы себя иначе. Она бы и не знала о существованіи міра разnochинцевъ, гдѣ такія ужасныя фамиліи, какъ Бумачевъ, играютъ роль.

XX.

У дверей въ угловую Пина сѣла съ Идой, и у ней даже вырвалось слово: Escoutons!

Кружокъ дѣвицъ, съ барономъ посрединѣ, оживленно болтали. Маджъ очень бойко, въ лицахъ, рассказывала, какъ она, съ своими кузенами, ѣздила „въ отъѣзжее поле“. Охотничьи слова такъ и сыпались у ней.

— Будто живого волка брали?—спросилъ ее Гольцъ и поглядѣлъ на нее взглядомъ опытнаго офицера, передъ которымъ корнетъ хвастаетъ въ манежѣ.

— Матерого, понятно, не брала!

„Матерого, — повторила про себя Пина, — вотъ онъ какій!“ — и, наклонившись къ Идѣ, она полугромко сказала:

— Elles sont infectes, ces demoiselles chasseresses!

Гольцъ продолжалъ сидѣть къ ней спиной и, кажется, не догадывался даже, что она тутъ, въ двухъ шагахъ, около двери.

Ида взглядывала на нее сбоку, и чувство жалости опять закралось въ нее, хотя она и не считала Пину способной на такое увлеченіе, гдѣ нѣтъ ничего для тщеславія. Это

знаетъ, и она можетъ пойматься все на томъ же вѣчномъ женскомъ недугѣ—на притягательной силѣ мужчины.

Болтовня дѣвицъ все возрастала. Теперь уже разговоръ перешелъ на живопись, на мастерскія, на натурщиковъ и натурщицъ.

Модъ училась живописи въ Италіи и ходила въ натурный классъ. Она рассказывала про забавные случаи въ мастерской.

— Какъ же,—перебилъ ее баронъ и пододвинулся къ ней.—И мужчины у васъ были?

— Еще бы!

— То-есть, какъ же это... въ натурѣ? Какъ есть?

Всѣ дѣвицы фыркнули.

— Еще бы!

— Мое почтеніе!

Онъ даже мотнулъ головой и щелкнулъ языкомъ.

— Ils ont la culotte!.. — добавила Модъ дѣловымъ тономъ.

— То-то!—наставительно выговорилъ Гольцъ.

Нина жадно прислушивалась.

— Hein? Comment trouvez-vous ces vierges-là? — спросила довольно громко Нина.

Ида только усмѣхнулась.

— Les torses d'hommes n'ont plus de secrets pour elles! И она сквозь зубы разсмѣялась.

Потомъ пошли разныя словечки жаргона, и хохотъ дѣвицъ возрасталъ.

Говорили про какую-то даму, можетъ-быть, про нее, про ея туалеты, волосы, бюстъ, и кто-то изъ дѣвицъ крикнулъ:

— Фа, фа! Тпру!

Гольцъ разсмѣялся и спросилъ:

— Откуда у васъ это?

— Отъ брата!—отвѣтила дѣвица.

Модъ и Маджъ еще разъ съ особымъ выраженіемъ вскрикнули:

— Фа, фа! Тпру!

Нина переглянулась съ Идой и выговорила:

— Sont-elles assez ignobles!

Но она желала бы очутиться въ кружкѣ ихъ, овладѣть разговоромъ, смѣяться и болтать, употреблять слова этого офицерско-дѣвичьяго языка.

О чемъ-то заспорили, и вдругъ Модъ, или сестра ея Маджъ, пустила стремительно:

— И—никакихъ!

Она хотѣла этимъ непонятнымъ, бессмысленнымъ словечкомъ отличиться передъ Гольцемъ.

Онъ захопалъ въ ладоши, и всѣ были въ восхищеніи. Они отлично понимали, что это значить.

„Господи!—воскликнула про себя Нина, — что же это такое?“

„И—никакихъ!“ — повторяла она, беззвучно переводя губами и стараясь запомнить таинственный терминъ.

Въ кружкѣ дѣвицъ перешли къ оцѣнкѣ какого-то сумскаго драгуна или заѣзжаго гусара.

Модъ, особенно сильная по части офицерскаго жаргона, выговорила, сдѣлавъ забавную мину ртомъ:

— Выправка есть; но у него *энь ума*.

— И это знаете? Ха-ха!

Гольцъ былъ въ восхищеніи. Теперь четыре дѣвицы совсѣмъ окружили его и изъ-за ихъ причесокъ и плечъ видна была только его коротко остриженная аккуратная голова пѣмецкаго склада.

Нина старалась понять, что значить „*энь—ума*“... Въ-роятно, студентъ или юнкеръ изъ алгебры вынесъ этотъ „*энь*“, и вмѣсто „*онъ—глуповатъ*“ начали говорить: „у него—*энь ума*“.

И красивый „бѣлофуражникъ“, котораго она не смогла сразу объѣздить,—совершенно въ своей стихіи, болтая съ дѣвчонками, искусившимися во всемъ, что только можетъ сдѣлать ихъ тонъ пріятнымъ для жениховъ.

Ей стало дѣлаться больно за себя. Смѣшно сидитъ она тутъ, точно всѣми забыта. Никогда она еще не вела себя такъ въ обществѣ. У нея недоставало даже духа завести нарочно разговоръ съ Идой и притвориться, что ей особенно пріятно съ ней разговаривать.

Изъ кружка дѣвицъ смѣхъ раскатами врывался въ уши Нины.

Рассказывала теперь третья дѣвица, графиня Тыркова, небольшого роста, пухлая брюнетка, съ высокой грудью молодой женщины и дѣтскими глазами. Она въ Петербургѣ побывала на поварскихъ курсахъ и взяла дипломъ.

— И школилъ васъ поварь порядкомъ? — донесся до Нины вопросъ Гольца.

— Какъ еще! Пришлось разъ дѣлать глазури для пи-

рожнаго. Сахаръ кинить въ кастрюль... Поваръ кричитъ намъ: „ну-ка, барышни, суньте большой палецъ; коли глазурь сейчасъ обсохнетъ корочкой—тогда ладно!“ А сахаръ-то горячій, какъ кипятокъ!

— Молодецъ!—одобрилъ Гольцъ.

Остальныя дѣвицы прыснули.

— „Суньте!—кричить.—Здѣсь дѣло надо дѣлать, а не кочевряжиться!“

— Кочевряжиться!—подхватили остальные.

— И сунули?—спросилъ серьезно Гольцъ.

— И стали опускать... Только я говорю: „надо бы хоть руки-то вымыть“... А онъ ужасная свинюшка, и рукъ никогда не мылъ. Онъ обидѣлся, но пошелъ—вымыть. Только потомъ отомстилъ мнѣ. Мы готовили по очереди. Я ждала и сидѣла. Поваръ подходитъ: „что вы сидите, прохладжаетесь“... „Не моя очередь“... „Нечего, нечего! Этакія здоровыя руки нагуляли“. Взялъ да и ущипнулъ меня около локтя. „Извольте морковь чистить“.

— И ты пошла?—спросила Модъ.

— Пошла.

— А то какъ же?—одобрилъ Гольцъ. — А мы чѣмъ хуже васъ? Я былъ—рядовой. И вахмистръ Чупренко, какъ подопѣетъ, бывало, кричитъ мнѣ на всю казарму: „Ты хоть тамъ и баронъ, а изволь-ка на конюшню отправляться—лошадей чистить!“... И сколько васъ было?—основательно осведомился Гольцъ.

— Семнадцать въ нашемъ выпускѣ. Мы снялись группой, въ курткахъ и беретахъ. Были всякія... одна княжна. И нѣмецкая баронесса была,—курсистки, изъ института, всякія. Три простыхъ... Тѣ намъ сейчасъ сказали: „мы хотимъ въ кухарки“. Очень милыя, мы ихъ любили.

— Навѣрно, толковѣе васъ?

— Одна—да, Даша. И хорошенькая! Очень способная! А другія двѣ—изъ чухонокъ. Тѣ были плохи!

— Будто вы умѣете все готовить?

— Все, что было въ программѣ. И экзаменъ сдавали по нумерамъ. У насъ не вызывали: Тырхова, а номеръ третій—телятина подъ бешемелью!

Тутъ взрывъ хохота дошелъ до припадка. Когда онъ улегся, графиня Тырхова докончила свой рассказъ.

— Экзаменовали насъ всего строже изъ мясовѣдѣнія.

— Какъ? Какъ?—подхватили Модъ и Маджъ.

— Мясовѣдѣнія. Такъ называлось въ нашихъ лекціяхъ. Я получила только четверку.

Нина переглянулась съ Идой не въ первый разъ. Онѣ, каждая по-своему, думали объ одномъ и томъ же: какъ вышшія дѣвицы лѣзутъ изъ кожи, чему-чему не учатся, даже и въ томъ обществѣ, гдѣ не въ почетъ курсы и ученость, ведущая къ нигилизму. Брать самой волка, рисовать съ голыхъ мужчинъ, проходить выучку кухарки— и все это зятѣмъ, чтобы было больше шансовъ изловить кого-нибудь.

„Бѣдняжки! — говорила про себя Ида. — Хорошо, если вы найдете въ такихъ талантахъ утѣшеніе, когда узнаете, что такое страсть и мужчина заставитъ васъ сдѣлаться его рабой!“

Другое чувство саднило въ груди Нины. И она была, когда-то, дѣвица съ талантами: знала языки, рисовала по фарфору, пѣла. Но эти дѣвчонки—новѣе ея. Онѣ скачутъ за волкомъ, онѣ не боятся голыхъ натурщиковъ, онѣ ухѣютъ готовить по-ученому и сдаютъ экзамены изъ „мясовѣдѣнія“, онѣ точно изъ одного класса и одной казармы съ своими женихами—штатскими и военными. Съ ними теперешней молодежи веселѣе и удобнѣе.

Четвертая дѣвица казалась „ничевушкой“, и Нина мягче поглядѣла на нее.

— Вы знаете,—обратилась Модъ къ Гольцу, не называя его „баронъ“, — Маня у насъ играла въ прошломъ году по-гречески.

И она положила руку на плечо „ничевушки“.

Та, блѣлая и не рѣчистая, умѣющая только смѣяться, кивнула головой.

— Быть не можетъ!—изумился Гольцъ.

— Понятно, она—фишерка!.. Въ чемъ ты играла, Маня? Какъ, бишь, заглавіе?

— По-русски—„Умоляющія“.

— Понимаете,—пояснила Модъ,—троянки послѣ взятія Трои. Какъ эта главная?

— Гекуба,—скромно проговорила „ничевушка“.

„Ну да, ну да!“—вскипѣла Нина. — Онѣ и по-гречески знаютъ“.

Она чуть-чуть не расхохоталась.

Оставаться тутъ дольше было невыносимо и недѣло.

Шумно подошла къ угловой дочь хозяйки и объявила, что въ залѣ будутъ танцы. Она поручила Гольцу дири-

жировать, отчего онъ хотѣлъ было отговориться. Увидавъ Нину, Смоквина всплеснула руками.

— Вы, красавица, стали невидимкой. Я васъ ищу, ищу... Баронъ, дайте руку нашей звѣздѣ!

Гольцъ тутъ только подошелъ къ Нинѣ и самымъ простымъ тономъ сказалъ:

— Здравствуйте! Я васъ и не видалъ совсѣмъ.

И повелъ ее черезъ гостиную.

— Вы были въ восхищеніи отъ этихъ дѣвчонокъ?—спросила она.

— Смѣшныя!

— И говорятъ вашимъ жаргономъ. Чтò такое значить, скажите мнѣ Бога ради: „И—никакихъ“?

Онъ, не смущаясь, сталъ ей объяснять значеніе этого возгласа кавалерійской команды, лѣниво ведя ее въ залу.

Ида поднялась вслѣдъ за ними, довольная тѣмъ, что ушла отъ приставаній Смоквиной.

На нее налетѣла Акридина, сидѣвшая все время съ Боярцевымъ, въ томъ же углу, блѣдная, съ измѣнившимся лицомъ.

— Милая! Мы ѣдемъ! За нимъ прислали изъ дому. Матери хуже. Я настояла, чтобы онъ позволилъ мнѣ помочь ему и провести ночь у больной.

— Онъ согласился?—спросила Ида.

— Да! Я такъ счастлива.

Елена схватила ее руку и сильно пожала.

— Онъ уѣхалъ?

— Я предложила ему ѣхать съ нами. Но онъ полетѣлъ. Мы за нимъ. Идемъ... Только чтобы старуха насъ не остановила. Ты меня завезешь. Идемъ, идемъ!

Она стремительно взяла ее подъ руку и потащила.

XXI.

Было не больше половины перваго, когда карета, на восьми рессорахъ, подвезла Нину къ дому.

Она уѣхала послѣ вальса и одной кадрили.

Оставаться дольше на этомъ тошномъ вечерѣ она не могла.

Гольцъ протанцовалъ съ ней кругъ вальса и потомъ пошелъ добросовѣстно „поднимать“ всѣхъ этихъ невозможныхъ дѣвчонокъ, берущихъ волка за уши, сующихъ палецъ въ горячую сахарную глазурь, играющихъ по-гречески какихъ-то тамъ троянокъ и пишущихъ съ итальян-

скихъ натурщиковъ, у которыхъ одна только „culotte“. Она приготовила къ кадрили нѣсколько самыхъ язвительныхъ фразъ,—это было бы еще глупѣе!—но на кадрили Гольцъ пригласилъ старшую внучку старухи. Какъ же иначе могъ поступить такой аккуратный полунѣмецъ?

Единственное, что она получила отъ него, это подробное объясненіе нелѣпаго возгласа:

„И—никакихъ!“

Дѣвицы и ихъ кавалеры употребляютъ его тогда, когда надо сказать:

„Нечего тутъ разговаривать, это такъ, или это превосходно“.

Пошло это съ учений, когда взводу или эскадрону офицеръ кричить:

— „Смирно, и никакихъ движеній!“

Вотъ и она должна бы себѣ приказать, какъ взводу гусаръ или конногвардейцевъ:

— И—*никакихъ!*

Она надѣлала на этомъ вечерѣ слишкомъ много всякихъ „движеній“. Ужъ лучше бы она скромненько попросила объясненія и другого нелѣпаго возгласа:

„*Фа, фа! Тпру!*“

Должно-быть, безъ такихъ казарменно-охотничьихъ словечекъ она не заставитъ Гольца поддаться.

Никогда не презирала она себя такъ, какъ теперь, возвращаясь отъ Козлишевой. И тотъ уколъ, который она испытала своему дворянскому чувству тамъ, на вечерѣ, только еще сильнѣе засадилъ, когда она уѣзжала оттуда. Никто и не обратилъ вниманія на ея ранній уходъ изъ залы. Даже сладкая вдова Смоквина какъ бы забыла о ея существованіи.

— Захаръ Лукьяновичъ вернулся? — спросила Нина швейцара, пока выѣздной снималъ съ ея плечъ шубу съ цвѣтнымъ тибетскимъ мѣхомъ.

— Никакъ нѣтъ!

— А князь?

— Князь только что пріѣхали.

— Онъ у себя?

— У себя-съ.

Ей захотѣлось зайти къ дядѣ—потребность въ чемъ-то излиться, о чемъ-то поговорить со свѣжимъ человѣкомъ—именно вотъ съ такимъ чудачкомъ, который стоитъ внѣ всего того, во что живетъ она.

Къ дѣтямъ она не пошла; даже не подумала въ эту минуту о нихъ.

И всѣ эти палаты „дворяншагося купчишки“ дохнули на нее чѣмъ-то раздражающимъ и унижительнымъ. Точно будто она отдала всю себя въ рабство милліонамъ фабриканта „пунцового товара“.

Осторожно вошла она въ первую комнату того самаго отдѣленія, гдѣ жила передъ тѣмъ ея „тетенька“. Она замѣтила, какъ, послѣ ея „a parte“ съ Боярцевымъ, они исчезли. Можетъ-быть, поѣхали ужинать этотъ святоша и эта ученая радикалка? И теперь, съ бокалами шампанскаго, цѣлуются... въ отдѣльномъ кабинетѣ.

Первая комната стояла темной. Изъ спальни виднѣлся свѣтъ.

— Mon oncle!—окликнула Нина.—Васъ можно видѣть?

— Можно, можно, душа моя. Сейчасъ...

— Да вы собираетесь ложиться?

— Нѣтъ!.. Я раньше пѣтуховъ не ложусь.

Въ дверяхъ показался, со свѣчей въ рукѣ, князь, еще одѣтый; только верхнія пуговицы жилета были разстегнуты.

Нина сѣла, и ея бѣлыя руки, безъ перчатокъ, опустились по обѣимъ сторонамъ кресла. Въ полутемнотѣ комнаты брильянты играли веселымъ блескомъ въ ея волосахъ, на шеѣ и у кистей рукъ.

Князь поставилъ свѣчу на столъ и шутливо, барскими интонаціями его времени, спросилъ:

— Faut-il allumer les flambeaux?

— Нѣтъ, дядя, зачѣмъ? И такъ хорошо.

— Была на вечерѣ?

— Убѣжала... отъ Козлишевой. Такъ несносно! Очень рада отвести душу съ вами.

— Мужъ твой тоже въ гостяхъ?

— Да, — отвѣтила она нѣхотя. — Знаете, у меня отъ разнаго вздору, отъ болтовни женщинъ и дѣвчонокъ въ голову вступило... Хотъ немножко отдохнуть въ вашемъ обществѣ.

Старикъ поглядѣлъ на нее своимъ боковымъ проникающимъ взглядомъ изъ-подъ нависшихъ бровей. Племянница что-то не была съ нимъ до сихъ поръ такъ мила!

Онъ присѣлъ на диванъ и положилъ на круглый столъ обѣ свои могучія руки.

— И вы выѣзжали?—спросила Нина, повернувъ къ нему лицо, съ возбужденнымъ взглядомъ и замѣтной блѣдностью.

— Да, у одного старого знакомого. Отставной профессор Цыбашевъ. Ты не слыхала?

— Нѣтъ, не слыхала, дядя.

— Тряхнули стариной. Но онъ лѣтъ на десять слишкомъ моложе меня. Съ нимъ мы еще можемъ кое-въ-чемъ спѣться. А то я совсѣмъ какъ въ дремучемъ лѣсу среди господъ интеллигентовъ. Такъ вѣдь нынче ихъ зовутъ? Варварское слово!

Домой князь вернулся не очень веселый. Въ Москву онъ пріѣхалъ съ завѣтной мечтой — найти издателя для своей „книги“ и переводовъ „подлинныхъ“ сочиненій „учителя“. Но нигдѣ онъ не находилъ отклика. Настоящихъ единомышленниковъ и совсѣмъ не было. Совсѣстно даже и занкнуться объ этомъ передъ иными господами. Да и денегъ сколько нужно! А у него своихъ нѣтъ. Ну, еще переводы онъ завѣщаетъ Публичной Библіотекѣ; но увидать свою „книгу“ изданной, держать корректуры, сказать свое слово печатно, уходя въ могилу, какъ бы это было превосходно!

Чего ближе бы подѣйствовать на мужа племянницы черезъ нее? Но на это онъ первый не пошелъ бы, хотя Захаръ Лукиновичъ съ нимъ очень почтителенъ и раздѣла самъ заводилъ рѣчь о его „трудахъ“ и оказался даже свѣдущимъ въ основахъ діалектики, помнилъ, по студенческимъ лекціямъ, многое, о чемъ теперь всѣ разомъ забываютъ, какъ только сдадутъ кандидатскій экзаменъ.

Отчего же бы не навести племянницу, именно въ эту минуту, на разговоръ о своей книгѣ?

Онъ колебался. Стыдливое чувство заиграло въ его богатой груди.

— Дядя, — начала Нина и сдѣлала широкій жестъ правой рукой, — несчастный мы народъ.

— Кто, душа моя?

— Да мы, женщины.

— Почему?

— По всему.

— Напрасно, — оттянулъ своимъ жирнымъ басомъ князь Платонъ. — Если только женщина не нарушаетъ сама „амплитуды“ своего существа.

Чего? — переспросила Нина.

Pardon, mon enfant! У меня, знаешь, свой языкъ. Я говорю амплитуды; другими словами — цѣлостности

своего проявленія въ духѣ... Чтò такое женщина, чтò она собою обозначаетъ?

Князь грузно всталъ и заходилъ по ковру.

— Ничтожество! Блажь! Вотъ чтò обозначаетъ!.. Une créature misérable dans tous les sens!..

Слова выходили изъ властнаго и сочнаго рта Нины съ злобнымъ усиленіемъ.

Она клеймила, въ лицѣ своемъ, женщину, оттого, что все ея существо въ ту минуту безповоротно болѣло отъ сознанія, что она уже не племянница вотъ этого Рюриковича, князя Жеребьева-Зарайскаго, а разночинка, жена фабриканта „пунцоваго“ товара, которая должна быть благодарна за то, что ее принимаютъ въ старо-дворянскомъ обществѣ за милліоны ея мужа. Нужды нѣтъ, что этотъ старикъ чудаковатъ, считается полоумнымъ, почти нищій, по доброй волѣ. Но куда онъ ни приди, въ какую угодно гостиную, онъ—„князь Иларіонъ“; свою породу онъ такъ презрѣнно не продавалъ, какъ продала она.

И ея „Закки“—совсѣмъ чужой для нея человѣкъ, хотъ и отецъ ея дѣтей. Онъ просто „Захаръ Лукьяновичъ“, „ваше степенство“...

— Нѣтъ! Не говори этого!—вскричалъ князь и остановился посрединѣ комнаты.—Женщина преобразуетъ собою двѣ идеи: красоту и свободу. Этого и держись! Богъ одѣлилъ тебя благообразіемъ. Это—великій даръ, источникъ радости для всего сущаго, тотъ свѣточъ, безъ котораго мужчина никогда бы не позналъ божественной истины въ формѣ прекраснаго. И свобода женщины также безусловна. Она—царица!

— Царица!..—повторила Нина и нервно расхохоталась.

— Да, царица. Ея „амплитуды“, ея области воздѣйствія никто не можетъ ограничить. Только бы она сама не гналась за воображаемымъ равенствомъ, не уродовала бы себѣ, взваливая на свои плечи мужскую, низменную, разсудочную работу. Но въ тебѣ, дитя мое, я ничего подобнаго не вижу. Ты царишь въ домѣ, радуешь сердце твоего мужа, въ духѣ свободы и красоты, истонныхъ атрибутовъ женщины.

— Ce n'est pas du tout gai, mon oncle!—рѣзко перебила его Нина и выпрямилась въ креслѣ. — Je ne suis qu'une déclassée! Voilà.

— Déclassée! Pourquoi?

— Ахъ, Боже мой!—вскрикнула она нервно и безде-

ремонно. — Вы не хотите понять. Я польстилась на миллионы его степенства Захара Лукьяновича Кумачева, и теперь я — жена купчихи, лѣзущаго въ дворяне.

— *Ei donc, mon enfant!* Къ чему такое низменное, жалкое...

— Ахъ, оставьте!

Нина опустила голову въ полуобнаженные руки и сразу зарыдала. Слезы закапали на ея затканное серебромъ платье, и плечи поводило отъ порывистыхъ подергиваній.

— Полно, полно!

Князь растерялся и заходилъ около нея, не зная, что ему дѣлать.

— Ну, полно же, Нина! Встряхни себя. Это нервы... Душныя залы! Глупые разговоры!

Сдерживая рыданія, Нина старалась найти платокъ, запрятанный сзади тугой юбки, и дрожащими губами говорила съ трудомъ:

— Разговоры!.. Ха-ха! Разговоры! Чудесные! У господъ гвардейцевъ! Фа, фа! Тпру! И никакихъ! Никакихъ!

Слово „никакихъ“ перешло опять въ рыданія, прерываемыя смѣхомъ.

— Я позову твою камеристку. Встряхни себя.

Князь вышелъ изъ комнаты возбужденнымъ шагомъ молодого человѣка. Его племянница прикладывала платокъ ко рту, силясь преодолѣть приступъ истерики.

Припадокъ былъ въ ея жизни счетомъ — первый. Еще этого не доставало: превратиться въ истеричку. Изъ-за чего? Изъ-за того ли, что она „купчиха“, или изъ-за того, что какой-то „бѣлофуражникъ“ не желаетъ признать ее достойной быть его любовницей?

XXII.

У Козлишевой танцы шли тихо.

Баронъ Гольцъ взялъ на себя, не безъ оговорокъ, быть распорядителемъ, но котильонъ не влезся. Онъ сократилъ его насколько возможно.

Ужинали во второмъ часу, очень скудно. Онъ сидѣлъ между Модъ и Маджъ, и ему было бы весело, если бъ не предстояло, прямо съ вечера, ѣхать къ Липѣ.

Когда онъ, у себя въ отелѣ, уже совсѣмъ одѣтый поправлялъ шпагу, ему подали депешу отъ Липы.

„Умоляю пріѣхать сегодня, въ какомъ бы то ни было часу“.

Эта денеша не общала ему ничего добраго. Опять какая-нибудь исторія.

Она была съ отвѣтомъ. Онъ написалъ:

„Буду послѣ вечера у Козлишевой; поздно“.

Въ исходѣ третьяго часа подъѣхалъ онъ къ „Дворянскому гнѣзду“. Ему было неприятно будить своимъ звономъ швейцара, врываться поздно ночью, какъ непорочный человѣкъ, выставять напоказъ свою связь съ „актеркой“.

Но онъ общалъ пріѣхать—и надо исполнить свое слово.

Очень долго звонилъ онъ. Заспанный дневальный, съ пиджакомъ въ накидку, отворилъ наружную дверь.

Ему сдѣлалось просто стыдно проходить мимо этого „хама“.

На цыпочкахъ, чтобы его шпоры не звенѣли по коридору, прокрался онъ къ двери и тихонько постучалъ.

Липа сама отворила, со свѣчей въ рукѣ.

Видно было, что она такъ и не ложилась и не переѣхала платья, надѣтаго передъ обѣдомъ.

Молча повѣсилъ Гольцъ свою шинель и аккуратно снялъ калоши.

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ онъ, садясь на диванъ.

Онъ ее не поцѣловалъ и даже не пожалъ ей руки.

Глаза ее были заплаканы, щеки блѣдны, прическа не въ порядкѣ; крылья ноздрей вздрагивали.

Не присаживаясь къ нему, Липа сдѣлала нѣсколько короткихъ шаговъ поперекъ комнаты и глухо вскрикнула:

— Ты долженъ, наконецъ, вступить за меня!

— Что такое?—медленно и немного въ носъ спросилъ Гольцъ.

— Если меня всякій презрѣнный пасквилянтъ можетъ такъ безнаказанно позорить, то я покончу съ собою! Слышите! Вотъ полюбуйте, баронъ, извольте прочесть!

Липа схватила съ письменнаго столика давно уже скомаканный листокъ газеты и бросила его на круглый столъ передъ диваномъ, гдѣ сѣлъ Гольцъ.

Онъ, не беря листа въ руку, только поглядѣлъ на нее вкось.

— Опять... газетчики... Стоило вызывать меня въ такой часть!

— По-вашему, не стоило? Извольте, извольте прочесть сами... Я требую.

Дрожащими пальцами развернула она скомканный листок и сунула ему въ руки.

Ея горячее дыханіе коснулось его волосъ. Онъ только шевель плечами.

— Тутъ и вамъ наложили столько же, сколько и госпожѣ Дняпровской. Вся Москва узнала! Можете быть благонадежны.

Какъ ему все это надоѣло! И зачѣмъ только бабѣ „дѣзетъ“ къ нему? Иѣтъ у нихъ ни въ чемъ мѣры, ни чувства чести, не могутъ онѣ въ-время понять, когда надо оставить челоуѣка въ покоѣ, ничего не знаютъ, кромѣ своего задора и тщеславія.

Почти съ отвращеніемъ наклонилъ онъ голову и началъ пробѣгать столбецъ, обведенный краснымъ карандашомъ.

Понять было не трудно. Театральная фамилія Липы обозначена прописной буквой Д.; Гольцъ прямо названъ „барономъ“ и „кавалеристомъ“. И хроникеръ-юмористъ, все тотъ же, который уже задѣвалъ Липу, передавалъ слухъ, что баронъ, пріѣхавшій жениться на миллионницѣ, въ видѣ отступного своей содержанкѣ, „отвалилъ кушъ“ дирекціи театра, гдѣ она уже жестоко „провалилась“ на первомъ дебютѣ, и ей даютъ теперь выступить въ той роли, которой она добивалась первоначально.

Замѣтка эта кончалась воззваніемъ къ публикѣ, которая не дастъ себя „провести“, и возмущеннымъ возгласомъ: „пора покончить со всей этой закулисной грязью, вносимой въ искусство жрицами, принадлежащими больше къ явной торговлѣ своими прелестями“.

Протянулась цѣлая минута послѣ того, какъ Гольцъ, прочтя столбецъ, отстранилъ отъ себя газетный листокъ презрливымъ движеніемъ руки.

— Этого мало?—спросила Липа, строго, безъ слезъ въ голосъ, и, стоя по другую сторону стола, она глядѣла на Гольца въ упоръ.

— Чтò же тутъ новаго?.. Это опять то же свистово! Отвѣтилъ онъ и рукой полѣзъ въ рейтузы за папиросницей.

Такой его жестъ точно бросилъ искру въ то, чтò у ней тлѣло въ груди. Она схватила его за обшлагъ, начала трясти и, дрожа всѣмъ тѣломъ, заговорила:

— Да вы развѣ не понимаете, господинъ баронъ, что я тутъ приравнена къ проституткѣ? А вы являетесь милашкой-женихомъ, торгующимъ собою, который бросаетъ

мнѣ передъ свадьбой отступного въ видѣ подкупа дирекціи? Вы этого не понимаете, значить?

— Понимаю! Но плюю.

— Плюешь, когда самъ оплеванъ!

— Прошу безъ этихъ рѣзкостей!.. Я запрещаю вамъ говорить со мною въ такомъ тонѣ.

Въ голосѣ его слышались ноты, ей еще неизвѣстныя; онъ разсердился и сталъ кусать губы.

Липа сѣла къ нему, но не касалась его ни плечомъ, ни рукой.

— Что же это?— глухо и почти растерянно выговорила она.— Выходить, стало-быть, что я для васъ дѣйствительно то, о чемъ этотъ мерзавецъ Спондѣевъ докладывааетъ публикѣ. Вы оставите безъ послѣдствій такое оскорбленіе женщинѣ, которую вы не имѣете права уважать меньше, чѣмъ себя? Вѣдь и вы не праведникъ! И у васъ было прошедшее съ женщинами. Развѣ я продавала себя? Развѣ я васъ подсылала со взяткой къ директору?

— Вы желали вмѣшать меня въ ваши интриги. Дебютировать, во что бы то ни стало, когда у васъ нѣтъ настоящаго таланта... Дѣйствовать черезъ меня!

— Вы лжете!— глухо перебила Липа.— Если вамъ не хотѣлось сдѣлать для меня то, что сдѣлалъ бы первый попавшійся добрый знакомый, и не надо! Но вѣдь тутъ позорящая, гнусная клевета. Господи!.. Да всякій мальчишка — кадетъ, юнкеръ — полетѣлъ бы въ редакцію и обрубилъ бы уши этому нахалу, избилъ бы его до полу-смерти... только чтобы угодить какой-нибудь дѣвчонкѣ, которая мизинца моего не стоитъ! А тутъ вѣдь и васъ топчутъ въ грязь!

— Я это игнорирую.

— Ха-ха! Игнорирую! Чего лучше! А васъ ударятъ въ публичномъ мѣстѣ?

— Это другое дѣло.

— Газета тоже публичное мѣсто. Вся Москва знаетъ геперь кто этотъ баронъ.

— Для общества, гдѣ я бываю, такіе листки не существуютъ.

— Какъ бы не такъ! И я—ваше общество. И ко мнѣ вы обязаны относиться, если въ васъ есть хоть капля порядочности, какъ относитесь къ вашимъ дамамъ и дѣвицамъ. Слышите?

— Я уже сказалъ вамъ, что такого тона не выношу, и уйду сейчасъ.

— Ступайте!.. Съ трусомъ я не хочу марать себя.

— А-а!

Онъ схватилъ ее за руку и такъ сжалъ, что она заматалась на мѣстѣ.

Не выпуская ея руки и процѣживая слова сквозь зубы, онъ проговорилъ тихо, почти шопотомъ:

— Довольно! Вы сами себя до всего довели. И я не намѣренъ ни драться изъ-за васъ, ни бить этого газетчика. Не вамъ судить—трусъ я или нѣтъ. У меня были дѣла на десять шаговъ, и у меня рука не дрогнула, прошу васъ вѣрить этому. Прошу васъ также оставить меня въ покоѣ совсѣмъ! Я передъ вами, послѣ такихъ выходовъ, ни въ чемъ не обязанъ. Ни въ чемъ! Будь на вашемъ мѣстѣ мужчина, онъ не вышелъ бы отсюда живымъ. Женщинъ не вызываютъ. Порядочный человѣкъ и не бьетъ ихъ. Довольно.

Онъ отпихнулъ отъ себя ея руку, быстро всталъ и прошелъ къ двери. Липа кинулась было за нимъ. У нея позелѣло въ глазахъ... Она способна была подбѣжать къ нему и, не помня себя, ударить его, начать душить. Обида, шедшая отъ человѣка, съ которымъ она жила, какъ честная женщина, полюбившая его искренно, затмевала собою все то, что презрѣнный газетчикъ-пасквилянтъ кинулъ ей въ лицо на весь городъ.

Ноги у ней подкосились. Она безпомощно доплелась до постели и опустилась на нее.

— Подлый, подлый!..—беззвучно шептали ея запекшіяся губы.

И все тѣло трепетало. Въ головѣ мутилось. Не было силъ даже подняться, ноги отбило и руки болтались какъ плети.

— Заявляю вамъ,—долетѣли до нея слова Гольца отъ входной двери, — мы другъ друга больше не знаемъ. И вы это вполне заслужили.

Дверь захлопнулась, издавъ знакомый ей мягкій звукъ. По коридору прогудѣли мужскіе шаги съ чуть слышнымъ призываиваньемъ шпоръ; потомъ все замерло. Только на ея бюро бронзовые часы тикали часто и бойко.

Липа двинула руками, заложила ихъ за голову и потянулась. Встать и пройти по комнатѣ она не смогла. Упала на кровать и долго лежала, не раздѣваясь.

Слезъ не было. Въ груди не жгло. Въ глазахъ уже не нестрѣли свѣтлые круги. Въ головѣ вдругъ все прояснилось и она мысленно проговорила:

„Стало, изъ-за такихъ, какъ я, не только не дерутся на дуэли, но и не бьютъ палкой пасквилянтовъ?“

Фактъ былъ на-лицо. Баронъ не трусь. Онъ, дѣйствительно, имѣлъ дуэли. На медвѣдя ходилъ онъ, у себя въ имѣніи, съ простой рогатиной. И здѣсь, еще недавно, убилъ нѣсколько штукъ, въ одинъ разъ.

Онъ не трусь. Но онъ не пожелалъ, изъ-за нея, рукъ марать. Онъ, а не она. Изъ-за чего же, въ самомъ дѣлѣ, будетъ онъ впутываться въ грязную исторію, когда все это, и она первая, ниже его, какъ что-то нечистоплотное, пакостное?

„Ты, послѣ того, кто же? Липа Углова?“—продолжала она допрашивать самое себя.

„Содержанка! Хуже того! За любовницъ, которыя умѣютъ ихъ держать въ рукахъ, мужчины дерутся до-смерти, по малой мѣрѣ — бьютъ оскорбителя палкой. А за тебя не желаютъ!“

Изъ схватки съ барономъ, изъ всего потока рѣчей и возгласовъ, передъ ея умственнымъ взглагомъ выяснились ей собственныя слова:

„Я покончу съ собой!“

Что же это было? Пошлая выходка? Попугать хотѣла? И не удалось. Ей „прописали“ отставку, бросили ее, какъ вещь, отъ которой нѣтъ ни улады, ни покоя, и она осталась валяться на кровати.

Жить послѣ того — гнусность! Дѣвчонки-гимназистки, изъ-за двойки въ алгебрѣ, покушаются на свою жизнь, а она, наглотаившись позору, будетъ опять обнажать себя въ какой-нибудь „Прекрасной Еленѣ“?!

Глаза ея стали рыскать кругомъ, точно ища того, что можетъ ей помочь покончить съ собою.

Револьверъ-бульдогъ дома есть, но онъ безъ патроновъ.

— Все равно,—вслухъ выговорила она,—не нынче—завтра.

И закрыла глаза, тихо переводя дыханіе.

XXIII.

— Иванъ Кузьмичъ здѣсь?

Лыжинъ остановилъ артельщика въ передней городской

конторы Захара Лукьяновича, помѣщавшейся, рядомъ съ „амбаромъ“, въ одномъ зданіи

— Пожалуйте. Здѣсь они.

Во второй, просторной комнатѣ, увѣшанной видами кумачевскихъ мануфактуръ, у широкаго тройнаго окна, Иванъ Кузьмичъ работалъ, сиди на табуретѣ передъ высокою конторкой.

— А!.. Друже! Какъ я радъ! Почеломкаемся!

Они обнялись и три раза поцѣловались.

— Да какъ же вы расцѣли! На морозѣ-то! Кладите шапку... Вашъ классическій ергакъ оставили тамъ, въ передней?

— Представьте, — весело заговорилъ Лыжинъ, съ утра очень старательно одѣтый, — я теперь гарцую въ хоровой шубѣ.

— Какъ же это! Вѣдь вы для меня—„человѣкъ въ ергакѣ“... Ха-ха-ха!

— Былъ, голубчикъ, былъ! Это очень мѣткое прозвище для того, прежняго Лыжина: *человѣкъ въ ергакѣ*! Сбрую эту буду употреблять только въ кибиткѣ, а въ городѣ превращаюсь въ такого человѣка, котораго стоить встрѣчать... какъ бишь это эллинское привѣтствіе, Иванъ Кузьмичъ?

— *Хайрэ, полита!..*

— Именно.

— Вы когда же изъ объѣзда?

— Сегодня только отъѣвился, чѣмъ свѣтъ, — отвѣчалъ Лыжинъ.

— Ну, и что нашли въ этихъ палестинахъ?

Кострицынъ подбѣжалъ къ стѣнѣ, противъ того дивана, гдѣ они сѣли, и провелъ рукой вдоль длинной панорамы одной изъ мануфактуръ.

— Да что!—воскликнулъ Лыжинъ.—Я нашелъ, милѣйшій мой, что, право, господамъ нытикамъ, ругающимъ всячески презрѣнныхъ буржуевъ, придется прикусить язычки. Сдѣлано для рабочаго если не все, то почти все, что только можно. Начать съ того, что лавки и пекарни—просто одинъ восторгъ. Вѣдь вы знаете, какъ у насъ господа народники и милостивцы меньшей братіи скрежещутъ зубами противъ этихъ видовъ эксплуатаціи. На другихъ фабрикахъ, можетъ, и происходитъ эксплуатація, но у Захара Лукьяновича всѣ цѣны такіа, что ниже ихъ ставить — значитъ, на свой счетъ кормить народъ. Все по

оптовымъ цѣнамъ: соль, мука, масло коровье и постное, табакъ, сахаръ, чай.

— И прочая бакалѣя,—подхватилъ, взвизгнувъ, Кострицынъ.—Вотъ видите, друже!

— А устройство пекаренъ просто привело меня въ восхищеніе. Особенно тамъ, на той, дальней мануфактурѣ.

Лыжинъ отодвинулся немного и сталъ, разводя длинными кистями рукъ, помогать своему разсказу.

— Во-первыхъ, самое помѣщеніе. Въ нѣкоторомъ родѣ храмъ: высота потолка, размѣръ оконъ, свѣту масса и воздухъ прекрасный. Когда войдешь—такой вкусный запахъ хорошо пропеченнаго хлѣба... Просто слюнки потекутъ.

— Будто?—какъ бы усомнился Кострицынъ.

— Честной человѣкъ! Печи — заглядѣнье, съ мѣдными заслонками. Чистота образцовая. Все это дѣлается въ строгомъ порядкѣ, безъ всякой лишней возни и пачкотни. Я просто заглядѣлся на самый процессъ печенія, и чернаго, и бѣлаго хлѣба, и саякъ, и баранокъ, и калачиковъ. Папушникъ, вѣсовой, чудесный хлѣбъ, съ румяной коркой, легкой, бѣлый. Корованъ чернаго пропечены превосходно. Я отрѣзывалъ отъ нѣсколькихъ короваевъ.

— И цѣны?

— Цѣны на копейку, на полторы дешевле здѣшней рыночной цѣны; черный хлѣбъ, разные сорта бѣлаго, даже на двѣ и на двѣ съ деньгой ниже базарной, а разнища въ качествахъ—еще больше. Баранки такъ даже роскошны. Я такихъ давно не ѣдалъ. Купилъ себѣ цѣлую вязанку и привезъ сюда.

— Будто заплатили за нихъ? ¹

— А то какъ же!

Оба засмѣялись, и Кострицынъ, слегка хлопнувъ пріятеля по ляжкѣ, выговорилъ, плутовато усмѣхаясь своими глазками:

— Вотъ видите... Изученіе-то дѣйствительности отрешляетъ и бодритъ. А побывалъ бы тамъ какой-нибудь господинъ Воденягинъ, онъ сталъ бы кричать, что хлѣбъ наполовину съ отрубями и лебедой.

— По-моему, папушникъ слишкомъ даже роскошенъ. И если его покупаютъ всѣ почти рабочіе—я справлялся по заборнымъ книжкамъ—значитъ, у нихъ есть на это достатокъ. Да меньшинство ихъ, мастера въ красивой, и тѣ, что стоятъ при набивныхъ машинахъ, все народъ

хорошо одѣтый, грамотны, похожи скорѣе на заграничныхъ рабочихъ.

— Кажется, слишкомъ уже смахиваютъ на „увріе-
ровъ“,—вставилъ Кострицынъ.

— Ну, это я не скажу, насколько я теперь къ нимъ присмотрѣлся.

— И помѣщеніемъ ихъ довольны?

— Семейные живутъ тѣсно. Нельзя сказать, чтобы совсѣмъ скверно, но могло бы быть лучше. Больше, раз-
умѣется, отъ собственной неопрятности. Ребятишки, пе-
ленки, кадушки съ капустой.

— Всѣ атрибуты плодущаго великорусскаго племени.
Хе-хе!

— Для холостыхъ на обѣихъ мануфактурахъ устроены
общія спальни. Въ два этажа, койки на желѣзныхъ стол-
бахъ. Вокругъ стѣнъ столы со шкапчиками, гдѣ у нихъ
ѣда. Конечно, постели первобытныя, и ихъ къ чистотѣ
не сразу приучишь. Тюфяки даются даромъ, подушки свои.
Воздуху достаточно и протоплено хорошо.

— А по части здоровья и духовной пищи?

— Больница, на главной фабрикѣ, въ отличномъ со-
стояніи. Докторъ, холостякъ, душевный малый, мягкій,
любимъ всѣми; и фельдшерица — милая дѣвушка, безъ
непріятныхъ замашекъ. Вездѣ, и въ больницѣ, и въ
лѣсахъ, и въ родильномъ покоѣ — чистота такая, что луч-
ше и желать нечего... Два вечера провелъ я въ клубѣ
для рабочихъ.

— Это была идея матушки Захара Лукьяновича. Онъ
сначала упирался.

— До сихъ поръ, по показаніямъ управляющаго, ни-
чего подозрительнаго не замѣчается.

— Раиса Гордѣевна до сихъ поръ все мечтаетъ о теа-
трѣ, по воскресеньямъ.

— Что жъ! Это не плохая идея! Грамотнаго народа,
въ молодежи, уже огромное большинство. Школа, разнѣ-
рами, съ добрую гимназію, съ параллельнымъ классомъ.
До трехсотъ человѣкъ мальчиковъ и дѣвочекъ.

— Какъ же показался вамъ составъ учительницъ? За-
харъ Лукьяновичъ поочистилъ ихъ въ прошломъ году.

— Прежнихъ замашекъ незамѣтно. Учатъ толково. И
одѣты франтовато, у одной даже стрѣла въ шиньонѣ.

— Вотъ оно куда пошло!

— И двѣ прехорошенькія! На разговоръ очень бойкія...

Даже и не подумаешь, что онъ обѣ изъ поповенъ. Одна завѣдусть библіотекой. И разборъ книгъ большой! Разуѣтся, романы,—любятъ, однако, и путешествія. Первый у нихъ сочинитель какъ бы вы думали, кто?

Господинъ Шпильгагенъ! Знаю! И главный мзрой—Лео, какъ они произносятъ! И это знаю.

Да, да. Одинъ мнѣ даже сказалъ вечеромъ, въ клубѣ: „кабы теперь у насъ объявился такой баринъ!“

Мало шаталось среди рабочаго люда доморощенныхъ Лео!—вырвалось у Кострицына.

Но все это—добродушно. Озлобленныхъ лицъ, грубыхъ отвѣтовъ, разгула съ оттѣнкомъ протеста я что-то не замѣтилъ.

Словомъ, вы вернулись къ тѣмъ выводамъ, что вамъ не надо кривить совѣстью, оставаясь у Захара Лукьяновича!

— Не знаю, что дальше будетъ.

— Да полноте, дружище! Порадуйте и его, и меня. Скажите,—Кострицынъ присѣлъ къ нему ближе и взялъ за руку,—развѣ вы не чувствуете теперь въ себѣ душевную норму, съ тѣхъ поръ, какъ стали брать жизнь, какъ она есть? А? Скажите, дорогой Юрій Петровичъ?

Глаза Кострицына ласково и вопросительно заблестѣли и свободной рукой онъ прикоснулся къ плечу пріятеля.

Лыжинъ опустилъ слегка голову и полузакрывъ глаза. Ротъ его тихо улыбался.

— Нормы больше—это такъ! И я вамъ, голубчикъ, обязанъ моимъ, такъ сказать, перерожденіемъ. Дорогой, туда и назадъ, и съ одной фабрики на другую, я много думалъ о вашемъ пониманіи жизни. Знаете, теперь я и взрывъ вашего гнѣва противъ нѣкотораго племени, помните, по поводу поэта, котораго гонять изъ Москвы, больше понимаю. Сами вы сочинили свою философію или почерпнули ее у какого ни на есть глубокаго нѣмца...

— Узнаете, узнаете! Дайте срокъ!—взвизгнулъ Кострицынъ.

— Только я прозрѣваю... И народъ, и предприниматели, весь этотъ Китай-городъ, ряды, амбары, банки и склады, даже гешефтмахерство, проявляетъ жизнь, и чтобы ее улучшить, надо считаться съ ней умѣло и почтительно, а не уничтожать, не подрывать, не умничать, не ставить поверхъ всего свое книжное резонерство.

Кострицынъ захолопалъ въ ладоши и вскочилъ.

— Позвольте васъ поцѣловать, Юрій Петровичъ! Эхъ! Кабы мы были въ трактирномъ заведеніи, я бы потребовалъ шипучаго вина русской флоры и попросилъ бы васъ удостоить меня, убогаго, выпить со мною брудершафтъ. Нѣтъ! Не хочу нѣмецкаго термина! У насъ есть прекрасное слово—побратимство!

Лыжинъ всталъ.

— Пойдемте въ „Славянской“. Тамъ и выпьемъ на ты. Я душевно радъ. Брудершафтомъ я никогда не злоупотреблялъ.

— Ой ли? А для меня, значить, можно сдѣлать исключеніе? Лестно, дружище! И вдругъ, не пройдетъ года, и вы мнѣ бросите въ лицо: „ты, амбарный Сократъ, наполнилъ оцтомъ гнилого ученія душу человѣка въ ергакѣ. Будь ты проклятъ!“

— Что вы, голубчикъ! Какъ страшно... Въ мои года пора перестать гоняться за огненными языками...

— Болотныхъ хлябей!—подсказалъ Кострицынъ.

И оба разомъ захохотали.

XXIV.

Возбужденные разговоромъ за завтракомъ, возвращавшіеся пріятель, выпившіе на „ты“, изъ „Славянскаго Базара“.

Они должны были завернуть на минуту въ „Дворянское гнѣздо“. Лыжинъ забылъ дома двѣ вѣдомости, которыя нужно было показать Захару Лукьяновичу, вернувшись къ нему въ амбаръ.

Второй швейцаръ, „подпасокъ“, какъ его звали въ номерахъ, отворилъ имъ дверь. Онъ былъ безъ картуза и съ перепуганнымъ лицомъ.

На первую площадку выбѣжала незнакомая Лыжину блондинка—это была Теля Божейрина—и окликнула, свѣсившись съ периль:

-- Пришли изъ антеки?

— Никакъ нѣтъ,—отвѣтилъ швейцаръ.

— Ахъ, Господи! Какъ копаются!.. Это ужасно!

И убѣжала.

Шубы свои они сняли внизу.

— Что у насъ такое?—потинше спросилъ Лыжинъ, наклоняясь къ швейцару.

— Неладно у насъ, Юрій Петровичъ.

— Да что именно?

Онъ сейчасъ подумалъ объ Идѣ, которую не видалъ еще по прїѣздѣ.

— У госпожи Дибровской. Пѣвица въ первомъ этажѣ живетъ.

— Ты ее развѣ не знаешь? — спросилъ Кострицынъ вполголоса.

— Нѣтъ,—протинулъ Лыжинъ.

— Въ одномъ домѣ живете... Она недавно здѣсь де-бютировала... И мелкая пресса ее травить. Меня къ ней все тащить студентъ одинъ, Шипилинъ, мой прїатель.

— Заболѣла, что ли, опасно? — обратился опять Лыжинъ къ швейцару.

— Глотнули никакъ чего,—на ухо доложилъ ему тотъ и сдѣлалъ жестъ головой.

— Вотъ какъ! Докторъ былъ?

— Былъ... Уѣхалъ съ полчаса назадъ. И сидѣлка тамъ.

— А кто эта барышня? Справлялась насчетъ аптеки?

— Онѣ изъ школы... въ актрисы готовятся. Фамилія ихъ Божеярина. Къ госпожѣ Дибровской ходятъ часто.

Прїатели переглянулись. И оба смолкли.

Молча поднялись они въ отдѣленіе Лыжина.

— Исторія эта, кажется, довольно сложная, — заговорилъ Кострицынъ, закуривая папиросу, пока Лыжинъ началъ искать нужную ему бумагу въ письменномъ столѣ.

— Ты развѣ слышалъ?

— Не только слышалъ, но кое-что и читалъ. Тутъ, въ мелкой прессѣ, съ успѣхомъ подвизается нѣкій Спонтѣевъ, кажется, родомъ изъ дворянъ „Господи помилуй“, побывавшій въ университетѣ. Онъ — достойный эпигоны петербургскихъ борзописцевъ, сплетничаетъ и инсинуируетъ на-славу. И вотъ эту самую госпожу Дибровскую — по слухамъ, весьма красивую особу, съ прошедшимъ—онъ пропекаетъ каждую недѣлю. На-дняхъ явилась его замѣтка, въ рубрикѣ слуховъ, о нѣкоторомъ баронѣ, состоявшемъ въ ея покровителяхъ... Тутъ дѣлъ осложняется... Баронъ этотъ—не кто иной, какъ баронъ Гольцъ, новый знакомый Антонины Борисовны.

Кострицынъ остановился и, подмигнувъ на особый ладъ, прибавилъ:

— Сдается мнѣ, что супруга принципала заинтересована этимъ Немвродомъ-медвѣжатникомъ.

Лыжинъ отошелъ отъ стола.

— Да, я его видѣлъ у нея! — воскликнулъ онъ, заку-
ривая о папиросу Кострицына.

— Вотъ и выходитъ комбинація! Любовный мотивъ
перемѣшался съ обидой артистки. Да и офицеру-то на-
несенъ тѣмъ же строчилой немалый аффронтъ. Можетъ,
и дуэль выйдетъ.

Лыжинъ немного встревожился. Всего больше ему стало
непріятно за Кумачеву, какъ бы ее не впутали въ ка-
кую-нибудь грязную исторію. Къ этому заѣзжему гвар-
дейцу онъ ничего враждебнаго не подмѣтилъ въ себѣ.

Нина напрашивалась на его дружбу. Играть роль на-
персника около женщины, въ которую влюбленъ, было
бы жалкой ролью; но онъ въ нее не влюбленъ. За все
время своего объѣзда онъ ни разу о ней не мечталъ, къ
ней его не тянуло. Только она его теперь больше инте-
ресуетъ — такъ, попросту, со стороны, какъ довольно
нахровый экземпляръ дворянской породы, поставленный
въ курьезную среду, и онъ способенъ относиться къ ней
мягче и терпимѣе, чѣмъ философъ Кострицынъ. Весьма
вѣроятно, что она будетъ помогать упроченію его службы
у Кумачева — и только.

— Вотъ оно что! — вдумчиво выговорилъ онъ. — Но мы-
то, голубчикъ, тутъ не при чемъ... Жаль эту актрису.
Должно-быть, очень невкусно ей пришлось.

— Я не противъ спонтаннаго акта воли. Брутъ про-
игралъ битву при Филиппахъ и бросился грудью на мечъ.
Даже Неронъ, покончивъ съ собою, показалъ этимъ хо-
рошую античную традицію. Спартанцы въ прописяхъ
учили: „лучше сейчасъ умереть, чѣмъ постыдно жить“.
Но у насъ, въ послѣдніе годы, и особенно среди моло-
дежи обоего пола, развелась слякоть какая-то... пакостное
самолюбьишко, трусость, кисляйство! А господа психіатры
и терапевты ихъ по головкѣ гладятъ и навизываютъ
ученія слова: абулія, анестезія, невропатія, гиперестезія.
Абулія! Ну, да. Отсутствие энергіи, слякоть. Ничего нѣтъ
примиряющаго въ этомъ греческомъ терминѣ. Слово въ
словъ: *безволіе* — и больше ничего!

Дверь отворилась, и это прервало рѣчь Кострицына.

Горничная Иды, Евгенія, остановилась въ дверяхъ.

— Я къ вамъ, баринъ, отъ Лидіи Павловны.

Въ рукѣ она держала записку.

Лыжинъ прочелъ:

„De grâce! Descendez au premier, chez la dame qui est en danger de mort. Vous m'y trouverez“.

— Ида Павловна внизу?.. У той барыни?

— Такъ точно. Онѣ просили поскорѣе.

— Сейчасъ!

Лыжинъ подошелъ къ Кострицыну и положилъ ему руку на плечо.

— Ты ужъ одинъ поѣзжай въ амбаръ. Извинись за меня передъ Захаромъ Лукьяновичемъ. Я постараюсь поспѣть къ нему сегодня до обѣда... захватить его еще въ фюрдѣ.

— Твоя пріятельница, значить, знакома была съ этой барыней? — спросилъ Кострицынъ вполголоса.

— Не знаю... Тутъ что-то неладно.

— Женское естество... Древніе-то вѣрили, что боги сами указали женщинѣ — знать свой горшокъ и свою прилежъ. А мы ихъ такъ распустили, что придежъ-то мы, вмѣсто нихъ; только пряжа эта—постыдное женолюбіе и рабство передъ женской прелестью. Ступай! Ступай!

Они спустились вмѣстѣ.

Внизу, на площадкѣ второго этажа, Кострицынъ сказалъ Лыжину шопотомъ:

— Захара Лукьяновича въ амбарѣ теперь не захватить.

Извинись за меня. Если опоздаю, буду у него передъ самымъ обѣдомъ.

— Вотъ она Москва!—пустилъ Кострицынъ.—Чревата всѣмъ!

Лыжинъ постучалъ въ двери отдѣленія, указаннаго ему швейцаромъ.

Никто не откликнулся. Онъ пріотворилъ дверь и вошелъ въ первую комнату.

Къ нему выбѣжала Лѣля Божеирина.

— Вы къ Идин Павловнѣ? — быстро спросила она. Глаза ея были заплаканы, но взглядъ рѣшительный и строгій.—Она сейчасъ выйдетъ. Сядьте, пожалуйста.

Дѣвушка скрылась, затворивъ плотно дверь въ спальню. Оттуда раздавались глухіе стоны, и женскій голосъ—это и былъ голосъ Иды — что-то говорилъ просительно. Запахъ лѣкарствъ проникъ уже въ гостиную.

Ида вышла къ нему желтая въ лицѣ, съ впалыми глазами. Она всю ночь не спала и не раздѣвалась.

— Mon ami!

Она порывисто взяла его за руку и отвела въ дальній уголъ.

— La pauvre fille est en danger de mort.

Лыжинъ началъ—было ее спрашивать, какъ она сюда попала, но Ида не дала ему докончить.

— Послѣ расскажу, — продолжала она по-французски же. — Теперь вотъ что... У васъ есть знакомый докторъ... когда-то извѣстный. Онъ теперь живетъ здѣсь. Вы мнѣ говорили... Я не помню, какъ его фамилія.

— Докторъ! А! пріятель Цыбашева, Гурьяновъ... Но я его мало знаю.

— Все равно. Поѣзжайте къ нему, привезите... Ея докторъ плохой! Онъ далъ ей сразу не то противоядіе.

— Стало...

Лыжинъ не договорилъ и выразительно повелъ глазами.

— Да! Да!.. Только молчите, Бога ради! Мы боимся, какъ бы не проникло въ прессу.

И лицо Иды въ эту минуту приняло такой озабоченный видъ, точно она родная мать несчастной, покусившейся на свою жизнь.

— Добрая вы моя!—вырвалось у него, и онъ поцѣловалъ ея руку.—Какъ вы лучше меня!

У нея не было никакой своей жизни, а душа все-таки трепетала. Она точно обрадовалась, что можно ей теперь спасти новую жертву страсти. Она не сомнѣвалась, что тутъ—любовная драма.

— Поѣзжайте! — торопила его Ида, толкая тихонько рукой къ выходной двери.

— Да я не знаю даже, гдѣ живетъ этотъ Гурьяновъ. Надо еще въ адресный столъ.

— Будьте здѣсь какъ можно скорѣе!—мягко приказывала она. И, одумавшись, она прибавила:—Видите, другъ мой... Я могла бы послать къ Нинѣ Кумачевой. У нея, навѣрно, хорошій годовой докторъ. Но и это сдѣлаю, если вы долго не пріѣдете.

Лыжинъ вспомнилъ лицо и фигуру доцента Шахматова, котораго не видалъ у Кумачевыхъ послѣ перваго своего обѣда.

— Дѣлайте такъ, какъ лучше будетъ. Я не стану терять времени.

Онъ попятился къ двери и, взявшись за ручку, шопотомъ спросилъ:

— А Елена?

— Елена!

Ида сдѣлала жестъ рукой.

— Больна? — съ безпокойствомъ спросилъ Лыжинъ. —
Ужъ она не собирается ли продѣлать то же самое?

— Елена поселилась у Боярцева.

— Что вы? Неужели?

Глаза Лыжина изумленно раскрылись.

— Vous n'y êtes pas!

Оба вышли въ коридоръ. Ида въ нѣсколькихъ словахъ рассказала ему, что Елена ухаживаетъ за матерью Боярцева и съ того вечера, когда она полетѣла туда отъ старухи Козлишевой, не выходитъ изъ комнаты больной, все еще очень опасной.

— Ловко! Кончится, пожалуй, законнымъ бракомъ! — весело выговорилъ Лыжинъ.

— Не знаю,—протянула Ида по-русски,—хотя и желаю ей хоть немножко счастья.

Лыжинъ еще разъ поцѣловалъ ея руку и сбѣжалъ въ переднюю, гдѣ, вмѣсто его классическаго ергака, ждала шубка на хорьковомъ мѣху.

XXV.

Войдя, черезъ часъ, въ ту же комнату, Лыжинъ нашелъ въ ней цѣлое общество.

Кромѣ Иды, сидѣли тутъ обѣ пріятельницы Липы—Лѣля Божеярина и ея товарка Мухина, писатель Петровичъ и Воденягинъ.

Всѣ говорили шопотомъ.

Большая заснула, и въ ея спальнѣ осталась только сидѣлка.

— Ну, что? Привезли?

На него разомъ налетѣли всѣ три женщины.

— Сейчасъ будетъ. Я его искалъ и ѣздилъ въ два мѣста.

— Ахъ, Боже мой!—вырвалось у Иды. — А я уже написала Нинѣ... Думала, вы не найдете.

Она говорила теперь по-русски, и Лыжину было странно видѣть ее въ этой обстановкѣ. Но всѣ, и женщины, и мужчины, составляли точно одну семью. Даже Воденягинъ, одѣтый прилично, смотрѣлъ менѣе хмуро и глазами улыбнулся Лыжину, подавая ему руку.

Ни съ дѣвцами, ни съ Петровичемъ его не познакомили, да это и не нужно было.

Божеярина сказала ему первая:

— Вотъ вы какой милый!

Мушина прибавила:

— Поцѣловать стѣбить!

Всѣ тихо разсмѣялись и, продолжая говорить шопотомъ, сѣли кучкой вокругъ стола.

Особымъ тепломъ молодости повѣяло на Лыжина. И онъ видѣлъ, что Ида совсѣмъ ожила съ этой молодежью.

Приходъ Лыжина прервалъ рассказъ Воденягина. Тотъ отправлялся отъ себя, не будучи знакомъ ни съ кѣмъ изъ мелкой прессы, отыскивать Спондѣева и потребовать отъ него, чтобы онъ, въ ближайшемъ номерѣ, назвалъ вздоромъ и выдумкой все, что онъ напечаталъ въ послѣдній разъ про Олимпиаду Дмитріевну.

Петровичъ, блѣдный, пощипывая свою бородку, заговорилъ спѣшно, обиженнымъ голосомъ:

— Но развѣ на выходки господина Спондѣева кто-нибудь обращаетъ вниманіе?

— Вы видите, что обращаютъ.

Воденягинъ показавъ жестомъ головы на дверь.

— Тутъ другіе есть мотивы,—возразилъ такъ же обиженно Петровичъ. — Мы друзья Олимпиады Дмитріевны, мы можемъ это сказать.

— Положимъ, и другіе! — отрѣзала Лѣля. — А главное, мужчины и ихъ подлость.

— Еще бы! — подтвердила Мушина, и ея пышная фигурка вся затрепетала.

Ида не знала еще, какая именно любовная подкладка была во всемъ этомъ, но Лѣля уже проговорила ей, что тутъ замѣшалась „каска съ птицей“, какъ она назвала Гольда. Она проговорила даже, что написала ему негодующее письмо, и нѣсколько разъ въ теченіе утра повторяла:

— Хорошъ! Хотѣ бы носъ показавъ! Хорошъ!

— Вотъ видите! — обрадованно подхватилъ Петровичъ. — Мы всѣ честные работники журнализма...

— Полноте! — перебилъ его Воденягинъ. — Ужъ лучше бы вы, батенька, примолчали.

— Но почему же? — еще обиженнѣе остановилъ его Петровичъ.

— А потому, что вы, честные, не должны бы терпѣть такихъ товарищей. Протестъ нуженъ. Коллективный протестъ!

— Коллективный? Развѣ теперь это мыслимо?

— Вы видите.

— Но если бъ меня здѣсь не просили молчать, я бы первый сказалъ въ моемъ фельетонѣ...

— Плевать онъ хочетъ на всякія обличенія! — заговорилъ сердитѣе Воденягинъ и, обратившись къ Лыжину, продолжалъ:—Вотъ экземпляръ-то, я вамъ скажу! Чистый продуктъ доблестнаго десятилѣтія. Выходить ко мнѣ, видою точно изъ Солодовникова пассажа приказчикъ въ галантерейномъ магазинѣ, капульчикъ на лбу и съ перстенькомъ на мизинцѣ. И хоть бы чуточку смутился. Такого нахальства я отродясь не видалъ. „Вы, говоритъ, братъ, или мужъ, или интимный другъ госпожи Днѣпровской? Желаете просить удовлетворенія?“ Грѣшный человекъ! Я чуть его не скомкалъ подъ себя. Вотъ, молю, чего я желаю! И когда я ему свое требованіе предъявилъ, онъ осклабился и говоритъ, благоразумно удалившись за конторку: „Интимдировать себя я никому не позволяю... Эта госпожа по имени названа не была. Вѣренъ слухъ или нѣтъ—не мое дѣло. Я хроникеръ, и это мое право—сообщать все пикантное публикѣ“. — Даже и завѣдомую ложь? спрашиваю. И безъ разбора грязно клеветать на женщину?—Знаете, у меня въ вискахъ застучало. А онъ только ухмыляется.—„Должно-быть, говоритъ, была тутъ доля правды, коли героиня накушалась какого-то снадобья, а герой до сихъ поръ что-то не защищалъ своей чести и ко мнѣ не являлся“.

— Стало, онъ все знаетъ?—почти крикнула Божеярина.

— Ему не знать! Этакіе хуже сыщиковъ! Со всѣми околоточными въ дружбѣ.

— Господа,—остановила ихъ Ида,—пожалуйста, умоляю васъ, monsieur,—она затруднилась въ фамиліи.

— Воденягинъ.

— Monsieur Воденягинъ... бросьте этого господина. C'est un misérable! И вы также,—она протянула руку Петровичу,—ничего не печатайте.

— Разумѣется, ничего!—сдерживая голосъ, воскликнула Ида. — Вся гадость идетъ отъ этихъ газетчиковъ. Пойдутъ теперь плести... Еще больше грязи нанесутъ!

— Погодите,—перебилъ ее Воденягинъ,—уходя, я къ нему подошелъ и говорю: если вы хоть какую-нибудь сiletню или слухъ пустите еще о госпожѣ Днѣпровской,

то я вамъ, извините, ребра переломая, потому что съ такими, какъ вы, не дерутся. Помните это.

— И онъ ничего?—стремительно спросилъ Петровичъ.

— Съѣлъ! Только засмѣялся въ сардоническомъ вкусѣ!

— Все равно сподличаетъ! Еще злѣе мстить будетъ,— съ презрительной миной сказала Божейрина.

Въ спальнѣ кто-то заговорилъ.

Всѣ разомъ смолкли.

Лыжинъ, сидя въ сторонѣ, прослушалъ всю горячую бесѣду. И ему сдѣлалось какъ бы совѣстно, что онъ не чувствуетъ такого же настроенія. Положимъ, онъ въ первый разъ слышалъ о существованіи какой-то госпожи Днѣпровской. Но развѣ Ида знала ее еще сутки назадъ? Да вѣрядъ ли и Воденягинъ—ее пріятель... Эти дѣвочки, навѣрно, забыли про свои курсы и будутъ проводить дни и ночи около больной.

А кто эта „жертва“? Опереточная актриса, вѣроятно, весьма легкихъ нравовъ, содержанка гвардейца. Если докопаться до самой сути, то все это окажется довольно неоправданнымъ... Но эти дѣвицы не смущаются ничѣмъ, онѣ преданы всей душой своей пріятельницѣ. Ида точно такъ же внѣ всякихъ такихъ чопорныхъ соображеній. Какое ей дѣло, безупречна или нѣтъ эта госпожа Днѣпровская? Она видитъ въ ней женскую страдающую душу. Бѣда этой женщины все изъ того же источника, которымъ и она сама отравлена навѣки.

Всѣ они разомъ слетѣлись сюда: человѣкъ „съ ореоломъ“, мелкій литераторъ, двѣ ученицы и никого изъ нихъ не знавшая Ида. И во всѣхъ этихъ обитателяхъ меблированныхъ комнатъ трепещетъ какой-то общій огонекъ, они понимаютъ другъ друга, они составляютъ одинъ станъ.

Дверь отворилась изъ коридора.

Вошелъ осторожно студентъ Шипилинъ, прямо въ пальто и въ большихъ сапогахъ.

Онъ заговорилъ, возбужденно и быстро пожимая руку Божейриной:

— Неужели правда? Бѣдная Олимпиада Дмитриевна! Этотъ мерзавецъ Спондѣевъ!.. Мы, мой другъ Владиміръ Мечъ и еще нѣсколько однокурсниковъ, хотимъ отправиться въ редакцію этой пакостной газетчечки и потребовать...

— Не надо, не надо!

И Божейрина замахала рукой.

Ида привстала съ мѣста и сказала:

— Пожалуйста... Не дѣлайте ничего. Mademoiselle Углова будетъ тронута вашимъ участіемъ. Но теперь не надо никакой исторіи. Она очень слаба.

Шипилинъ упавшимъ голосомъ спросилъ:

— Есть, значитъ, опасность?

Изъ дверей спальни показалась голова сидѣлки.

— Барышня!

Божеярина бросилась туда.

Всѣ опять смолкли.

Студентъ пожималъ руки Воденягина и Петровича.

Леля вышла тотчасъ же изъ спальни.

— Каждая у ней сильная! И пульсъ ужасно слабъ.— Глаза ея покраснѣли, безъ слезъ, и грудь вздрагивала.— А изъ аптеки все еще не несутъ.

Она выбѣжала въ коридоръ.

— Я пойду къ ней,—сказала, поблѣднѣвъ, Ида, и легкими, беззвучными шагами пошла къ спальнѣ; Мухина— за нею слѣдомъ.

Остались четверо мужчинъ.

— Да что же съ ней?—спросилъ Лыжинъ Воденягина.

Студентъ насторожилъ уши и подсѣлъ къ нимъ.

— Симптомы обыкновенные.

— Чѣмъ же собственно она?—не договорилъ Лыжинъ.

— Должно-быть, препаратомъ опія.

— Захватили во-время?—участливо спросилъ Шипилинъ.

— Кажется.

Влетѣла Леля.

— Докторъ!.. Вашъ!..—сказала она Лыжину.

Онъ всталъ и пошелъ навстрѣчу Гурьянову, котораго онъ не захватилъ ни дома, ни у знакомыхъ, и оставилъ адресъ его женѣ, упросивъ ее тотчасъ же прислать мужа къ больной; въ запискѣ онъ говорилъ о крайней опасности.

Гурьяновъ, съ обычной тихой усмѣшкой, входилъ въ коридоръ, протирая платкомъ замерзлыя стекла своего *pince-nez*.

— Извините... Я позволилъ себѣ обезпокоить васъ... Но такой случай!..

— Ничего!—махнувъ рукой, остановилъ его Гурьяновъ.

Лыжинъ шепнулъ ему на ухо, въ чемъ дѣло.

— Вотъ оно что!—добродушно промолвилъ Гурьяновъ, на цыпочкахъ вступая въ первую комнату.

— Здравствуйте, господа!

Всѣ ему молча поклонились.

Леля успѣла еще разъ побывать въ спальнѣ. Мухина держалась у двери и, въ смущеніи, присѣла доктору, какъ присѣдаютъ въ классѣ танцевъ.

Гурьянова переняла Ида на порогѣ спальни и сказала, шопотомъ, по-французски:

— Она очень слаба... Я боюсь новаго припадка.

Докторъ только кивнулъ головой и ничего не сказалъ, входя въ спальню. Дверь за нимъ затворилась—и Мухина припала къ замочной скважинѣ. Всѣ четверо мужчинъ сидѣли въ тѣхъ же выжидательныхъ позахъ... Первый задвигался студентъ.

Онъ быстро пожалъ руку Воденягину и Петровичу и сказалъ:

— Я забѣгу въ университетъ... Ежели пароль такой, чтобы не давать никакого хода исторіи, я такъ и расписажусь.

И, бросивъ взглядъ на дверь спальни, онъ скрылся.

XXVI.

Лыжину было давно пора въ амбаръ Кумачева, но его удерживала въ квартирѣ Днѣпровской общая тревога сочувствія и неизвѣстности—удастся ли спасти молодую женщину, которую онъ даже ни разу не встрѣчалъ въ коридорѣ „Дворянскаго гнѣзда“.

Черезъ десять минутъ послѣ доктора Гурьянова пріѣхалъ посланный Ниной Кумачевой ея консультантъ Шахматовъ. Онъ приходился племянникомъ Гурьянову; но встрѣча ихъ была неожиданная. Лыжинъ не слыхалъ, какъ они заговорили у постели больной. Но ему хотѣлось бы присутствовать при консультаціи этихъ рѣзкихъ образчиковъ двухъ поколѣній. Онъ вспомнилъ, какъ отзывался про своего „племянника“ Гурьяновъ у Цыбашева.

Воденягинъ и Петровичъ удалились. Лыжинъ сидѣлъ одиѣ въ гостиной. Всѣ женщины были въ спальнѣ вмѣстѣ съ докторами. Черезъ пять минутъ доктора вышли въ гостиную.

Шахматовъ уже раскланивался съ Лыжинымъ, проходилъ къ больной.

Онъ держался чопорно, какъ профессоръ, и видимо былъ не особенно доволенъ тѣмъ, что его, извѣстнаго

специалиста, потрвожили точно перваго попавшагося полицейскаго врача—прописывать банальныя противоядія.

Лицо Гурьянова сложилось въ озабоченную мину. Его племянникъ только двойственню улыбался и поправлялъ золотыя очки.

Они вышли совѣщаться.

— Я вамъ, господа, мѣшаю?—спросилъ Лыжинъ.

— Нѣтъ, что же,—отозвался первый Гурьяновъ.—Вѣдь вы здѣсь—свой человекъ.

Лыжинъ хотѣлъ-было возразить на это—и промолчалъ.

— Я могу и удалиться.

И, не дожидаясь отвѣта, онъ подошелъ поближе къ Гурьянову и, отвѣдая его въ сторону, спросилъ:

— Не встанетъ?

— Богъ милостивъ, если ничѣмъ не осложнится... Но положеніе серьезное.

Его племянникъ разсѣлся въ креслѣ, въ позѣ человека, которому предстоитъ скучная процедура, не отвѣчающая его ученому достоинству.

Гурьяновъ подсѣлъ къ нему, и консультація пошла исполгоса, по-русски, со вставкой латинскихъ терминовъ, однако, такъ, что Лыжинъ могъ бы, если бъ хотѣлъ прислушиваться, все схватить.

Но его удержало совѣстливое чувство.

Мудренаго діагноза не надо было ставить. Признаки ясны, и оставалось только установить болѣе энергичный способъ лѣченія. Отъ лѣченія Шахматовъ отказался, сказавъ, что за нимъ послали „по недоразумѣнію“. Говорилъ онъ пренебрежительно, процѣживая слова. Никакой симпатіи къ больной онъ не выказывалъ: напротивъ, брезгливо и жестко озирался, точно онъ попалъ въ какое-то непристойное мѣсто.

Совсѣмъ иначе велъ себя его дядя. Онъ, все тѣмъ же пугливымъ и скромно-убѣжденнымъ тономъ, набросилъ планъ лѣченія и кончилъ такимъ восклицаніемъ:

— Сильно еще мучится, бѣдняжка! И такая славная барынька!

Шахматовъ пожалъ плечами и выговорилъ:

— Тутъ цѣлая исторія... Не отъ того, такъ отъ другого! Отойдетъ! Тѣла много!

И онъ всталъ, оправилъ свой вицмундиръ и глазами какъ бы освѣдомился, кто ему вручить лиловую ассигнацію за этотъ визитъ.

Изъ спальни никто не показывался.

Онъ спросилъ Гурьянова:

— Кто же здѣсь собственно хозяинъ?

И поглядѣлъ въ сторону Лыжина.

— Не л!—отвѣтили тотъ сдержанно и сухо.

Какъ онъ ни зараженъ уже афоризмами своего друга Кострицына—его симпатіи были на сторонѣ старика, чело-
вѣка шестидесятихъ годовъ, съ характерной складкой
того времени. А его племянника хотѣлось взять за плечи
и вышвырнуть, вмѣстѣ съ его научностью и аккурат-
ностью. Конечно, кромѣ лиловой ассигнаціи и отстаиванія
своего ранга въ городской практикѣ, у него не можетъ
ничего быть за душой.

— Мнѣ пора,—отрѣзалъ деревянно и отчетливо Шах-
матовъ, и щелкнулъ доской своихъ часовъ.

И еще разъ пустилъ особенный боковой взглядъ, какъ бы
желая сказать:

„Значить, здѣсь отпускаютъ консультантовъ съ пустыми
руками?“

Лыжинъ хотѣлъ бы вынуть красненькую, нарочно
красненькую, не больше—и подать ему, но вспомнилъ,
что сейчасъ отвѣтилъ на вопросъ Шахматова.

Ему даже физически стало лучше, когда тотъ скрылся.
Онъ подошелъ къ Гурьянову и не утерпѣлъ—спросилъ:

— Это тотъ племянникъ, о которомъ вы говорили у
Цыбашева, помните?

И оба они переглянулись, какъ люди, хорошо пони-
мающіе другъ друга.

— Да-съ!.. Человѣкъ текущаго десятилѣтія, — выгово-
рилъ Гурьяновъ.— Не намъ чета!—добавилъ онъ, усмѣх-
нувшись глазами.

Ида и Леля вышли изъ спальни и сейчасъ же окру-
жили Гурьянова.

— Eh bien?—упавшимъ голосомъ спросила Ида.

— Встанетъ?—подсказала Леля.

— Встанетъ, встанетъ. Теперь вотъ что — только не
волнуйтесь. Кто у васъ здѣсь главный распорядитель?

— Я, я!—назвалась Леля.

Онъ отвелъ ихъ обѣихъ въ уголъ и обстоятельно все
объяснилъ, прописалъ три рецепта и еще разъ растол-
ковалъ, какъ и что дѣлать.

Тутъ только Леля сказала:

— А какъ же съ лѣкарствомъ, которое первый докторъ прописалъ?

— Вы, сударыни,—мягко сдѣлалъ онъ имъ выговоръ,—должны бы его предупредить. Ну, да онъ меня знаетъ немножко... А ежели обидится—что дѣлать!

— Вы заѣдете, вы заѣдете?—просительно стала спрашивать Лёля.

— Заѣду.

Обѣ пошли провожать его въ коридоръ, и когда вернулись, Божеярина сдѣлала, въ дверяхъ, ручкой.

— Вотъ прелесть—докторы! Лидія Павловна, а?

— Да, очень милый.

— Не то что тотъ важнюшка! Точно женихъ изъ „Дикарки“. И онъ тоже не человѣкъ, а птица!.. Наша Олимпиада Дмитріевна спасена! Я вѣрю!

И что-то вспомнивъ, она опять выбѣжала въ коридоръ.

Въ первый разъ Лыжинъ остался наединѣ съ Идой.

— Вы, голубушка, я думаю, измочалились?—заботливо спросилъ онъ и посадилъ ее на диванъ.

— Нѣтъ, ничего.

Глаза у ней совсѣмъ поблекли. Она не спала съ той минуты, какъ за ней прибѣжала Лёля Божеярина, вся въ слезахъ, и умоляла принять участіе въ Двѣпировской.

И только что онъ хотѣлъ ее разспросить, какъ она попала сюда и знаетъ ли настоящую причину попытки на самоубійство актрисы, опять показалась въ дверяхъ Лёля, и уже не одна. Изъ-за нея выставлялась длинная фигура барона Гольца.

Оба встали и переглянулись.

Теперь Лыжинъ началъ яснѣе понимать, въ чемъ дѣло. Красиваго гвардейца онъ сейчасъ узналъ. Вѣроятно, офицеръ очутился между двухъ женщинъ—актрисой и блистательной Антониной Борисовной.

Ида нервно заморгала. Она тоже узнала Гольца. Его фигура осталась у нея въ памяти, вмѣстѣ со всѣмъ, что она на вечерѣ у Козлишевой замѣтила въ Нинѣ, когда та, взявъ ее подъ руку, повела къ угловой и сѣла слушать разговоръ офицера съ „дѣвчонками“.

— Пожалуйте!—строго поведя бровями, сказала Лёля и, обратясь къ Идѣ, выговорила:—Баронъ Гольцъ, знакомый Олимпиады Дмитріевны.

Гольцъ остановился въ нерѣшительной позѣ, согнувъ немного свою прямую и сухую спину.

Онъ тоже узналъ Лыжина и безстрастно проговорилъ:
— Имѣлъ удовольствіе...

Ида сейчасъ же вышла изъ замѣшательства и тихо спросила:

— Вы желаете ее видѣть?

И такъ при этомъ на него поглядѣла, что нельзя уже было играть роль и притворяться простымъ знакомымъ.

— Я не знаю... можно ли? — гораздо пониже тономъ вымолвилъ онъ и поглядѣлъ вбокъ на Лёлю.

Она „кипѣла“ на него негодованіемъ, но тайно была убѣждена, что Липа будетъ обрадована, и это ускорить ея „спасеніе“.

— Сейчасъ... я скажу.

Лёля пріотворила дверь въ спальню и на цыпочкахъ подошла къ кровати.

Дверь оставила она полуотворенной.

Всѣ трое стояли, въ неловкихъ позахъ, посрединѣ комнаты.

Гольцу было сильно не по себѣ. Уже третій день, какъ онъ не зналъ, чего ему держаться—газетная сплетня проникла всюду. Къ нему еще не приставали съ вопросами; положеніе становилось, однако, „поганнымъ“. Его пріятель Верховцевъ, первый, безцеремонно началъ его науськивать на газетчика; но онъ уперся на томъ, что съ такимъ народомъ не стрѣляются, а бить его онъ не станетъ, какъ перваго попавшагося „хама“.

Письмо Лёли совсѣмъ его ошеломило въ первую минуту.

Онъ не испугался за жизнь Липы, но ему стало совѣстно. Во всякомъ случаѣ, если не вполнѣ, то наполовину онъ былъ причиной ея покушенія на самоубійство.

Въ настоящую минуту онъ готовъ былъ сдѣлать все, чтобы спасти ее; только, опять-таки, не хотѣлъ возобновлять съ ней отношеній. Съ такими „шалыми“ нельзя больше связываться.

Лёля, стоя у изголовья кровати, довольно громко спросила:

— Олимпиада Дмитріевна... Дорогая... вы только не волнуйтесь... не говорите... Лежите молча... Можно войти на минутку барону Гольцу?

Никому изъ стоявшихъ въ гостиной не видно было кровати.

Слабо, но явственно послышался голосъ Липы.

— Зачѣмъ явился этотъ господинъ?—спросила она, медленно выговаривая слова.—Ему здѣсь нечего дѣлать.

Дверь, точно нарочно, не прикрывали изнутри.

Лыжинъ, чувствуя большую неловкость, отвернулъ голову. Ида стояла, не двигая ни однимъ мускуломъ своего утомленнаго лица, съ впалыми глазами.

Баронъ сдѣлалъ движеніе къ двери и, точно онъ ничего не разслышалъ, спросилъ вполголоса въ дверь:

— Нельзя?

— Это вы?—строго и сильнѣе звукомъ спросила Липа.

— Я.

— Вамъ здѣсь нечего дѣлать, баронъ... Только... пожалуйста, не думайте, что я... изъ-за васъ...

Она не окончила.

— Вы этого не стоите!—почти крикнула она и застонала.

Дверь изнутри стремительно заперли.

Ида съ Лыжинымъ уже сидѣли на диванѣ.

Гольцъ пожалъ плечами и, старательно выговаривая, сказалъ, ни къ кому не обращаясь:

— У ней, должно-быть, бредъ. Извините.

И, не ускоряя шага, выдвинулся изъ комнаты.

Ида и Лыжинъ молча поглядѣли другъ на друга.

„Celui-ci est très fort,—подумала по-французски Ида.— Il va rouler beaucoup de femmes!“

„Изъ молодыхъ, да ранній!“ — рѣшилъ по-русски Лыжинъ.

XXVII.

Ночное хмурое небо сѣяло снѣгъ частыми хлопьями и смягчало шумъ санной ѣзды.

На Тверской, противъ пекарни Филиппова, яркая пелена бѣлаго свѣта съ красной точкой большого электрическаго шара, какъ въ волшебномъ фонарѣ, пропускала по всему фону движущіяся фигуры пѣшеходовъ по тротуарамъ и санныхъ ѣздоковъ.

По самой срединѣ улицы лошадь дежурнаго жандарма стояла, изогнувшись и выпята переднія и заднія ноги, неподвижно, въ напряженной посадкѣ. Молодой, безусый парень сидѣлъ, уперевъ правую руку въ бокъ, въ наушникахъ и фуражкѣ.

— Каріатида!—на всю улицу раздался басъ изъ саней, проѣзжавшихъ вверхъ по улицѣ.

Князь Иларіонъ пустилъ этотъ возгласъ, указавъ рукой на жандарма.

Рядомъ съ нимъ, уйдя головой въ ергакъ, сидѣлъ Лыжинъ.

— И зачѣмъ, скажите на милость?

— Для порядка,—отвѣтилъ ему въ тонъ Лыжинъ.

— Или въ видѣ символа?

И князь захохоталъ своимъ зычнымъ, раскатистымъ смѣхомъ.

Они ѣхали на Садовую, въ квартиру одного изъ товарищей Шипилина, на студенческую вечеринку, куда князя и Лыжина пригласилъ Кострицынъ.

Тамъ они должны были его застать. Адресъ онъ далъ самый подробный: доѣхать до перекрестка у Тверской-Ямской, повернуть направо и третій домъ налѣво, пройти мимо палисадника и внизу, изъ сѣней, первая дверь.

— Стой! — крикнулъ Лыжинъ. — Должно-быть, тутъ! Князь, позвольте мнѣ сначала расчистить путь.

— Ничего, душа моя... Я не боюсь сугробовъ.

Снѣгу нанесло цѣлый холмъ и пришлось ступать черезъ него къ двери, тоже занесенной.

Широко шагали они, и тотъ, и другой въ глубокихъ калошахъ, и ихъ шаги слегка хрустѣли по узкой тропѣ, гдѣ виднѣлись слѣды мужскихъ ступней.

Улица стояла безмолвной, съ тусклымъ мерцаніемъ фонарей, занесенныхъ снѣгомъ до самаго верха стеколъ.

— Впору хоть на лыжахъ! — пошутилъ князь, высовывая одну ногу.

— Вамъ, я думаю, не мало приводилось, если вы охотникъ?

— Нѣтъ, я давно бросилъ этотъ видъ хищничества! Старцу не полагается истязать живыхъ существъ!

Добрались они, наконецъ, и до сѣней, совершенно темныхъ. Лыжинъ нащупалъ звонокъ и дернулъ за него.

Имъ сейчасъ же отперли, и кухаркапустила ихъ въ довольно просторную прихожую, съ низкимъ потолкомъ, хорошо освѣщенную стѣнной лампой.

Первый выбѣжалъ къ нимъ въ прихожую Шипилинъ. Онъ и здѣсь былъ какъ бы распорядителемъ. Форменный сюртукъ замѣнилъ онъ тужуркой.

Лыжина онъ видѣлъ у Липы и поздоровался съ нимъ, какъ со знакомымъ.

— Позвольте помочь вамъ, князь, а то она будетъ долго копаться.

Онъ отстранилъ кухарку и стащилъ съ плечъ князя его тулупъ, крытый синимъ сукномъ, на бараньемъ мѣху.

— Иванъ Кузьмичъ здѣсь, — сообщилъ онъ вполголоса. — Пожалуйте. Онъ сейчасъ только что началъ намъ нѣкоторую притчу.

— Какую притчу? — спросилъ Лыжинъ.

— Философскую... И, должно-быть, очень забористую.

Кострицынъ показался въ дверяхъ, вмѣстѣ съ хозяиномъ квартиры — бѣлокурымъ студентомъ съ усиками, въ чистенькомъ вицмундирѣ.

— Много обязали, князь, моихъ молодыхъ друзей, — сказалъ Кострицынъ. — Вотъ и хозяинъ. А это Шипилинъ, мой старый пріятель. Пожалуйте!

Студентикъ застѣнчиво улыбался, подавая руки гостямъ.

Ихъ ввели въ первую комнату, гдѣ посрединѣ комнаты стоялъ самоваръ. Общество разсѣлось гдѣ попало; двое-трое ходили въ углахъ. Лампа хорошо освѣщала только средину комнаты.

— Мы прервали что-то? — спросилъ князь.

— Нѣтъ. Это еще не къ спѣху, — отозвался Кострицынъ.

— Однако, вы начали какую-то притчу. Пожалуйста... Очень любопытно! Прошу.

Князь пригласилъ его рукой и тотчасъ же отошелъ къ печкѣ и опустился на стулъ.

Лыжинъ присѣлъ у дверей.

— Живетъ мудрецъ, — тихо, тономъ сказочника, началъ Кострицынъ. — Живетъ, разумѣется, въ пещерѣ, куда удалился, уязвленный низостью и безуміемъ себѣ подобныхъ существъ. Вамъ не надо имени этого мудреца?

— Нѣтъ, — отозвался кто-то.

— Представьте его себѣ въ видѣ пустынника Антонія... И онъ пройдетъ сейчасъ черезъ искушенія... Живетъ онъ и вѣрить, что рано или поздно его пустыню огласитъ призывъ того, кого онъ называлъ на своемъ жаргонѣ: *Сверхъ-человѣкъ*...

— Сверхъ-человѣкъ? — переспросилъ Шипилинъ.

— Да, существо, поднявшееся надъ всѣми нами, — быть-можетъ, такіа живутъ на планетѣ Марсѣ... Я склоненъ думать, что они возможны. Живетъ пустынный годъ, десять лѣтъ, сто лѣтъ, и вѣрить, что на развалинахъ те-

першняго человѣчества вырастетъ иная раса, и прототи́пъ ея, *Сверхъ-человѣкъ*, явится къ нему и огласитъ пустыню своимъ призывнымъ кликомъ.

— Продолжайте, продолжайте! — прошепталъ Лыжинъ, чувствуя, какъ въ дѣтствѣ, когда ему сказывали сказки, что мурашки пробѣгаютъ по затылку.

— Продолжаю... Вдругъ слышитъ онъ отчаянный крикъ... Нѣтъ сомнѣнія... это Сверхъ-человѣкъ. Мудрецъ умильно и радостно ждетъ его въ свою пещеру, но вмѣсто него явились къ нему цѣлыхъ *девять* выдающихся людей, все изъ того же жалкаго и безумнаго человѣчества. Приходятъ они къ нему, одинъ за другимъ, и каждый — слышите, каждый — умоляетъ его о состраданіи за себя самого и за весь родъ людской.

— Девять человѣкъ? — окликнулъ Шипилинъ.

— Девять, — повторилъ Костицынъ тономъ убѣжденнаго старца, рассказывающаго наивнымъ слушателямъ какое-нибудь дивное видѣніе. — Первымъ пришелъ *Возвѣститель великаго утомленія*, пессимистъ, тотъ нѣмецъ, — прибавилъ онъ, повернувъ голову къ князю и другимъ тономъ, — тотъ самый нѣмецъ, кто влилъ ядъ сомнѣнія и отчаянности въ столько душъ.

Онъ перевелъ дыханіе.

— Возвѣститель утомленія, великой протраціи, если выразиться по-докторски, объявившій ему о безысходномъ отчаяніи. За нимъ слѣдомъ явились *два Властителя*, люди доблестной породы, по крови и духу, и при нихъ осель.

— Осель? Зачѣмъ же осель? — удивился князь.

— Вы увидите зачѣмъ, дайте срокъ. За ними — *человѣчекъ*, невзрачный и замухрышный, крайне болтливый, весь голый, и къ тѣлу его, во всѣхъ мѣстахъ, присосались пиявки, а онъ ихъ не срываетъ — пусть ихъ пьютъ кровь изъ его жилъ, онъ же тѣмъ временемъ будетъ наблюдать этихъ животныхъ и ихъ аппетиты. Вы узнаете, кто онъ?

— Кто? — спросилъ Лыжинъ.

— Нашъ братъ — *человѣчекъ науки*... За нимъ пришелъ *Старый Колдунъ*. Онъ сталъ декламировать стихи, нараспѣвъ, въ вагнеровскомъ духѣ, и призывать къ чувственной похоти, подъ предлогомъ поддержанія отъ всего мірскаго. Вслѣдъ за нимъ — *Первосвященникъ*; но онъ называлъ себя не такъ, а *Безработницей*. Вожеество умерло, и

бѣдному Первосвященнику некого благословлять. Божество умерло, его убилъ *Скаерный Человѣчкики*; не тотъ, лгавшій, что отдастъ пивкамъ свое тѣло, а другой — тиръ отрицанія и упорной крамолы.

— Гдѣ же остальные?—спросилъ кто-то.

— Погодите! Пустынникъ самъ пошелъ искать остальныхъ и набрелъ на молодого человѣка, прекраснаго собою, посреди стада, съ небесной кротостью во всемъ существѣ. Это *Горный Проводникъ*. Люди перестали его слушать. Ему остались неосмысленныя животныя, и онъ говоритъ: „Тѣ, кто на нихъ похожи, тѣ только и будутъ на небесахъ“.

— Остается еще одинъ,—сказалъ Шипилинъ.

— Послѣдній изъ девяти—это онъ самъ, тотъ нѣмецъ, что сочинилъ эту притчу, нѣмецъ глубоко несчастный. Притча была его лебединой пѣснью. Онъ написалъ ее наканунѣ безумія.

— Да и эта параболла обличаетъ уже безуміе,—возразилъ князь.

— Почему? — живо отозвался Кострицынъ. — Въ ней символически изображены всѣ немощи и упованія теперешняго культурнаго человѣчества... Но позвольте кончить... Пустынникъ понялъ, что ни одинъ изъ этихъ высшихъ представителей рода людскаго не заслуживаетъ страданія. Все, что онъ можетъ для нихъ сдѣлать, это—пригласить ихъ поужинать въ свою пещеру и предложить имъ ночлегъ. И тутъ они себя показали: когда хорошенько выпили и закусили, то стали хохотать, пѣть шансонетки и рассказывать скабрёзныя исторіи, и только что отъ нихъ отвернется Пустынникъ, они сейчасъ же всѣ бухъ передъ осломъ, котораго привели два Властителя, и преклоняются передъ нимъ, какъ передъ идоломъ.

— Ха-ха!—вырвался смѣхъ у одного изъ студентовъ.

— Развѣ это не мѣтко и не ядовито, и не глубоко-безнадежно? Но нашъ несчастный нѣмецъ пошелъ дальше и успѣлъ набросить нѣсколько главъ новой посмертной книги подъ заглавіемъ: „Обезцѣненіе всѣхъ цѣнностей“, т. е. доказательство, что вся жизнь, вся вселенная—пуфъ и не стоитъ мѣднаго пятака, что *ничего нѣтъ*. Дальше нигилизмъ уже не пошелъ въ концѣ девятнадцатаго вѣка. Эти главы — *посмертныя* главы нашего пѣмца, ибо онъ умеръ душой: онъ теперь—умалишенный.

По всему тѣлу Лыжина пробѣжала струя внутренней дрожи.

Кострицынъ точно почувалъ это и продолжалъ тише:

— Жутко вамъ, господа? Не правда ли? Тутъ мозгъ человѣка, маленькій органъ, доразвившійся до извѣстной, хотъ и изумительно тонкой стадіи, возмнилъ нѣчто дерзновенное: рѣшать безповоротно общую *нѣтовщину*, въ родѣ нашихъ изуверовъ-раскольниковъ, когда они жгли сами себя на кострахъ и вопили: „Нѣсть на свѣтѣ правды, нѣсть!“—„Лестъ одна на свѣтѣ, лестъ!“

— Таковы выводы страждущей души дѣтей нашего вѣка,—началъ было князь.

— Погодите... Какого еще вамъ отрицателя и проповѣдника всеобщаго отчаянія, какъ нашъ злополучный нѣмецъ, но вѣдь и въ его притчѣ конецъ совсѣмъ не такой. Кого ждетъ его мудрецъ, который называется у него курьезнымъ восточнымъ именемъ, кого? Вы не забыли?

— Того, какъ вы его назвали?..—подсказалъ Шипилинъ.

— Сверхъ-человѣка.

— По-каковски это, Иванъ Кузьмичъ?

— По-нѣмецки *Ueber-Mensch*. Какъ же перевести? Сверхъ-человѣкъ. И пустынный, отказавъ въ состраданіи и даже сочувствіи девяти образцовымъ людямъ, сталъ все такъ же страстно ждать *новаго челоуька*. И до сихъ поръ ждетъ его... Что онъ принесетъ съ собою? — Истину... Правда, нашъ нѣмецъ, послѣ своей притчи, досказалъ нѣчто горькое и про это явленіе новаго челоуька, воплощающаго истину. Она промолвила ему одно слово: „Несчастный“. Нужды нѣтъ, она все-таки явилась, и не ея дѣло кормить насъ райскими яблоками.

Кострицынъ смолкъ.

Всѣ съ минутой молчали.

— Притча, признаюсь! — первый отозвался Шипилинъ и, присаживаясь къ самовару, сказалъ:—Нашимъ гостямъ, съ выюги, чаю хочется?.. Я сейчасъ налью.

Кострицынъ сидѣлъ въ той же позѣ досужаго сказочника, уперевъ ладони рукъ въ колѣни и поглядывая на всѣхъ своими искривленными, узкими глазками.

Слушалъ его притчу, Лыжинъ никого еще изъ студентовъ не разглядѣлъ въ отдѣльности, кромѣ Шипилина и хозяина квартиры.

Тутъ было челоуькъ до двѣнадцати, почти всѣ въ форменныхъ сюртукахъ или въ короткихъ сѣрыхъ пальто.

Двѣ наружности привлекли его раньше остальныхъ, сначала: уже на возрастѣ студентъ, въ „тужуркѣ“, съ густой русой бородой и румянымъ, довольно строгимъ лицомъ.

Это былъ первый другъ Шипилина—Владиміръ Мечъ. Онъ курилъ и стоялъ у печки, и когда слушалъ Кострицына, то часто поднималъ брови, наклоняя своеобразнымъ жестомъ свою большую и красивую голову.

Другой не смотрѣлъ студентомъ; скорѣе—поступающимъ въ университетъ семинаристомъ, въ штатскомъ сюртукѣ, нараспашку, бородатый, кудрявый, съ крестьянскимъ лицомъ. Онъ постоянно двигался въ своемъ углу, подходилъ къ самовару, подливалъ себѣ чаю и встряхивалъ волосами.

— Какое же, позвольте освѣдомиться, толкованіе слѣдуетъ дать этой притчѣ? — громко, волжскимъ говоромъ на „онъ“, спросилъ онъ, разводя руками.

Онъ всталъ противъ Кострицына, по ту сторону круглаго чайнаго стола.

— Это—символическое изображеніе того, какъ мыслящій человѣкъ конца вѣка извѣрился въ людишекъ; какъ онъ, сохраняя свой идеалъ, отрицаетъ всѣ виды того дряблага морализма, до котораго доработались руководители человѣчества.

Кострицынъ остановился и хлебнулъ изъ стакана.

Начало его рѣчи показалось Лыжину недостаточно яснымъ.

— Позвольте!—голосъ князя загремѣлъ, какъ труба.—Во-первыхъ, имя этого нѣмца?

— *Nomina sunt odiosa*, князь!—отвѣтилъ, вставая, Кострицынъ.—Будемъ обсуждать идеи, а не имена.

XXVIII.

— Будемъ!..—согласился князь и присѣлъ къ столу.

Глаза многихъ студентовъ заиграли. Кострицынъ обѣщалъ имъ добыть „чистокровнаго гегельянца“, въ нѣкоторомъ родѣ ископаемаго „плезіозавра“ діалектики. Схватка можетъ выйти перворазрядная—та „пря“, безъ которой Иванъ Кузьмичъ не могъ провести недѣли.

Князь зналъ его очень мало и, кромѣ того утра, когда Кострицынъ съ Лыжинымъ навѣстилъ его въ деревнѣ, не имѣлъ еще съ нимъ никакого разговора, гдѣ бы „ампли-

туда" его идей и приёмовъ діалектики развернулася передъ нимъ.

Но онъ зачуялъ уже по этой притчѣ, взятой у какого-то полубезумнаго нѣмца, нѣчто, уничтожающее его „этику" и „феноменологію" духа... Кострицынъ видимо сочувствовалъ этому отрицателю, ненавистнику человѣка, подрывающему, повидимому, самыя основы морали, которыя для него были утверждены не на легендарныхъ актахъ, а на предпосылкахъ основныхъ положеній его безсмертнаго учителя.

Отъ присутствія цѣлаго кружка молодежи у князя заиграло въ груди. Ему хотѣлось присмотрѣться къ студентамъ, „войти въ общеніе" со складомъ ихъ идей, того, что они считаютъ теперь абсолютами мышленія. Многого онъ не ждалъ. Ему давно уже сдавалось, что нѣтъ у нынѣшнихъ молодыхъ людей никакого философскаго заѣта; что съ непочтительнымъ отношеніемъ къ идеализму и діалектикѣ, которое водворили ограниченные „научники", до сихъ поръ ему ненавистные и обокравшіе, по его мнѣнію, Гегеля, разлилось полное безпринципіе, грубый скептицизмъ, то, что зубоскалы прозвали сами „несуважай-корытствомъ".

Но, кажется, въ самые послѣдніе года всплываютъ признаки чего-то иного. Діалектика опять пробивается въ новыхъ почитателяхъ великаго кенигсбергскаго профессора, предтечи его учителя.

Тѣмъ его, навѣрно, затрепещетъ тамъ, въ области духовъ, отъ скитской „нѣтовщицы", которой уже угостилъ ихъ этотъ Кострицынъ. Но надо сейчасъ же припереть его къ стѣнѣ и потребовать у него „вѣрительныхъ грамотъ". Кто же онъ самъ? Держится ли какихъ-либо общихъ безусловныхъ началъ, которыя одни лишь и способны утвердить лучезарное тріединство: *истины, добра и красоты*?

Почти тѣ же вопросы захватили и Лыжина.

Давно ему не случалось попадать на такой турниръ. Отъ студенчества онъ тоже отсталъ. Идеи и упованія учащейся молодежи какъ-то ушли отъ него, заслонились въ послѣдніе годы личными исканіями. Но и онъ, какъ и князь Иларіонъ, считалъ поколѣнія недавнихъ лѣтъ захваченными въ массѣ духомъ житейскаго позитивизма. По теперешнему его настроенію ему пріятно было бы видѣть въ мыслящихъ „юнцахъ" большую смѣлость, жела-

не добираться до всего своимъ умомъ, меньше того стаднаго увлеченія „последними словами“ науки или полуживѣрскимъ идеаломъ „зипуна“.

Но еще сильнѣе заинтересованъ былъ онъ: чѣмъ же выкажетъ себя его новый другъ, Кострицынъ, на какихъ „устояхъ“ основалъ онъ свое пониманіе жизни? Лыжинъ уже предвидѣлъ, что схватка произойдетъ въ области того, что такое *добро, долгъ*, понятіе *вины* и нравственнаго *совершенства*.

Въ „амбарномъ Сократѣ“ прельщало его освобожденіе отъ всякихъ кличекъ и лозунговъ, при внутренней порядочности, которую Лыжинъ чувствовалъ въ немъ даже когда онъ поддерживаетъ „изъ принципа“ охранительныя замашки своего хозяина или раздражается противъ племени, принесшаго, по его теоріи, въ свѣтлый античный міръ свою злобу, месть и безумное самомнѣніе „избраннаго“ народа.

Изъ студентовъ трое въ особенности оживились: Шипилинъ, его другъ Мечъ и тотъ, видомъ семинаристъ, что говорилъ на „онъ“ и одѣтъ былъ въ штатское.

Тотъ даже подошелъ къ стулу, гдѣ сидѣлъ Кострицынъ, и уперся обѣими руками на спинку.

Студентъ Мечъ, не проронившій ни слова, прислонился къ изразцовой печкѣ и курилъ. Его глубокіе и блестящіе глаза уставились на библейской головѣ князя съ гораздо большей симпатіей, чѣмъ у остальныхъ молодыхъ людей. Шипилинъ зналъ впередъ, что Иванъ Кузьмичъ побьетъ „плезіозавра“ діалектики. Онъ метафизику не уважалъ и считалъ Кострицына „здоровымъ скептикомъ“, хотя и не зналъ въ подробностяхъ—въ чемъ „суть“ его пониманія жизни и ея задачъ.

Для него „при“ общала быть болѣе занимательной, чѣмъ цѣнной для своего собственнаго „нутра“, въ смыслѣ символа вѣры.

— Позвольте васъ спросить, — началъ, откашлявшись, князь, — если вамъ не угодно назвать автора вашей „притчи“, на какой почвѣ возможенъ между нами обмѣнъ положеній—считаете ли вы себя съ нимъ солидарнымъ и въ чемъ состоятъ первоосновы его, въ данномъ случаѣ, этического жизнеразумѣнія?

Последняя фраза заставила нѣкоторыхъ студентовъ переглянуться со сдержанной усмѣшкой.

— Автора притчи, — хлестко, безъ запинки, отбѣчалъ

Кострицынъ,—мы оставимъ въ покоѣ. Но я лично солидаренъ, какъ онъ, съ тѣми, кто не желаетъ повторять „буки-азъ—ба“, старыхъ прибаутокъ, взятыхъ изъ мистическихъ преданій и метафизическихъ абсолютовъ, и идутъ въ самый корень идеи добра, долга и нравственного совершенства, съ тѣми, кто отрицаетъ обязательность и даже реальную допустимость пресловутаго *категорическаго императива*.

Глазки Кострицына заискрились и круглыя щеки блеснули отъ румянца.

Въ комнатѣ сдѣлалось очень тепло.

— Вотъ оно куда!—вмѣсто князя, только тряхнувшего головой, пустилъ искренней и звонкой нотой кудрявый волжанинъ.—Значить, это—*tabula rasa*, въ замѣну всякой морали?—спросилъ онъ весело, но сильно, искреннимъ и холоднымъ звукомъ.

— Дезидеріевъ!—авторитетно остановилъ его Шипилинъ.—Слова тебѣ никто не давалъ. Закрой фонтанъ!

Два-три человѣка фыркнули.

— Извините, — отозвался князь, оглядываясь на семинариста, — я очень радъ, что господинъ студентъ поставить вопросъ такъ опредѣленно!.. — И, повернувъ голову къ Кострицыну, онъ продолжалъ:—Слѣдственно, вы являетесь защитникомъ какой-то, какъ вы сами изволили выразиться, „нѣтовщины“?

— *Comptais-je sans raison!*—возразилъ, усмѣхаясь, Кострицынъ, и Лыжинъ въ первый разъ услышалъ, что у него хорошее произношеніе.—Я употребилъ эту метафору только приблизительно. Но я ставлю сначала такія предпосылки...

Онъ отхлебнулъ изъ стакана и, сложивъ на груди руки, точно читая по-печатному, въ видѣ отдѣльныхъ тирадъ началъ ставить свои предпосылки:

— Прежде всего, зло, наравнѣ съ такъ-называемымъ благомъ, въ высшей степени полезно для развитія человѣка,—я говорю человѣка, отдѣльнаго „я“, въ которомъ вся суть и смыслъ жизни, а не общества—терминъ, годящійся только для передовицъ нашихъ газетъ.

— Ловко!—крикнулъ Шипилинъ.

— И дальше-съ?—совѣтъ уже барской, чопорной интонаціей, выговорилъ князь.

— Поэтому, обязательный альтруизмъ, передъ которымъ всѣ пляшутъ, и притомъ лживо и лицемерно, есть мо-

гила личности, устраненіе ея, обезличеніе, во имя какой-то муштры, гдѣ погибають лучшія дарованія человѣка.

— Далѣе-съ?—напряженно сдерживаясь, подталкивалъ князь.

— Что сидитъ въ обществѣ, въ этомъ вышколенномъ человѣческомъ стадѣ? Не злобность, не яркій порокъ, не разрушительные инстинкты, а страхъ, гнусный страхъ, какъ бы могучая индивидуальность не захватила его врасплохъ.

— Это вѣрно, — про себя, чуть слышно, выговорилъ Мечъ и отошелъ въ уголъ, за печку.

— И вотъ этотъ-то страхъ—главный источникъ ходячей, патентованной морали. Ничто больше, — по крайней мѣрѣ, для массы и для тѣхъ мандариновъ, которые муштрують ее по своему образцу. Страхъ поддерживаетъ понятіе вины и грѣха—этихъ ядовитыхъ снадобій, отравляющихъ жизнь на землѣ. А вина и грѣхъ—происхожденіи самого простого, матеріальнаго: вышли изъ оцѣнки убытка, изъ требованія денежной цени. Противъ этого, если здѣсь есть господа-юристы, трудно спорить.

— Я—кандидатъ правъ,—отозвался Лыжинъ, — но самый плохой!

— Потому и менѣе зараженъ, — весело замѣтилъ ему Кострицынъ.

— Вы изволили кончить?—спросилъ князь.

— Ха-ха! Далеко нѣтъ. Стадная безопасность—вотъ вашъ пресловутый императивъ. И всѣ, кто думаетъ, какъ я, многогрѣшный, желаютъ одного: чтобы настала для человѣка день, когда онъ ничего не будетъ бояться.

— Вотъ благодать-то будетъ!—не выдержалъ Шипилинъ.

— Въ пустыню надо тогда бѣжать!—прибавилъ кудрявый Дезидеріевъ и оглянулъ товарищей въ обѣ стороны.

— Не надо никакой пустыни!—возбужденно подхватилъ Кострицынъ, видимо увлеченный ходомъ своихъ мыслей.— Вся ходячая мораль, первобытная и философская, отзывается стадомъ, торжествомъ посредственности. Шаблонъ и форменный аршинъ—вотъ ея мѣрила.

— Извините,—перебилъ князь, какъ бы въ скобкахъ,—это—общее мѣсто всякихъ сѣтованій.

— Никакъ нѣтъ, князь! — цоръиче возразилъ Кострицынъ.—Всѣ такіа сѣтованія идутъ изъ того стараго, гнилаго источника... изъ разныхъ абсолютовъ, прикрываю-

щихъ страхъ и ненависть людского стада къ личности, къ ея „самости“, если вамъ угодно, терминъ, когда-то бывшій у насъ въ ходу.

— Историческій культъ великихъ людей противорѣчить этому,—отозвался Лыжинъ.

Мысль напросилась ему тутъ же.

— Вовсе нѣтъ, другъ Юрій Петровичъ,—ласково отвѣтилъ ему Кострицынъ. — Великихъ людей стадное чело-вѣчество выносило, когда они бросали ему подачку, пускали ему пыль въ глаза; но мандарины и представители мудрости, въ данный моментъ, всегда были имъ враждебны, строили ковы и радовались ихъ паденію... И вотъ,—заговорилъ онъ стремительно,—я ставлю категорическій вопросъ: гдѣ, вокругъ насъ, чело-вѣкъ, и какъ типъ, и какъ отдѣльная личность, который бы служилъ оправданіемъ такъ-называемаго культурнаго чело-вѣчества? Гдѣ? Дрессировка превратила его въ карлика! Смягченіе нравовъ, дисциплина, гуманность — все это слюннство, вырожденіе, похожее на то, какъ изъ злобнаго волкодава мы дѣлаемъ комнатную собаку, лизоблуда, и восхищаемся дѣломъ рукъ своихъ! И до тѣхъ поръ всѣ наши прописи не будутъ стоить и мѣднаго гроша, пока мы не убѣдимся, что личность, ея расцвѣтъ, ея мощь и смѣлость, даже дерзость — конецъ и цѣль всего сущаго. Теперь же, въ наше безвременье, когда души обезсилены и мозги развращены трусостью и идиотскимъ повтореніемъ задовъ, каждый изъ насъ имѣетъ право создавать себѣ свой кодексъ, мы сами себѣ владыки, мы сами производимъ опыты заново и творимъ жизнь безъ прописей и пугалъ!..

XXIX.

Князь Иларіонъ началъ ерошить свою гриву и нѣсколько разъ порывался возражать.

Но Кострицынъ разошелся и его трудно было остано-вить.

— Вы всѣ, господа, — обратился онъ къ молодежи, — воспитаны на томъ, что за бѣдненькихъ и забитенькихъ надо полагать свои животы.

— А то какъ же? — спросилъ Деидеріевъ, разводя своими широкими ладонями.

И Лыжинъ поглядѣлъ съ недоумѣніемъ на пріятеля.

„Ужъ не очень ли Иванъ Кузьмичъ пустилъ густо?“— подумалъ онъ.

— Вся фальшь ходячей морали та, что она возится съ болью, страданіемъ и ихъ антиподами—удовольствіемъ и наслажденіемъ. Такая основа—самая тлетворная!

У кого-то вырвалось восклицаніе.

— Я вамъ сейчасъ покажу это. Удовольствіе и страданіе—только признаки, показатели. Сами по себѣ они—ничто. Боль нехороша—только когда она бессмысленна. Но когда надо перейти черезъ страданіе, чтобы дать ходъ своей личности, подняться на высшую ступень развитія, тогда страданіе въ расчетъ нейдетъ. Отъ васъ же требуютъ—постоянно копаться въ самыхъ жалкихъ немощахъ человѣка. Въ каждомъ изъ насъ, господя, сидитъ одновременно тварь и творецъ. Тварь ноетъ и плачетъ, кланчить и выставляетъ напоказъ болячки, прося милостины... И вмѣсто того, чтобы идти къ освобожденію себя самихъ отъ твари, мы только съ нею и носимся, на нее и полагаемъ душу! И добро бы еще на могучую тварь, полную хищныхъ, здоровыхъ позывовъ, а то на самую дрянную, разслабленную гуманной культурой. А разъ цѣль нашего бытія на землѣ не можетъ быть ничто иное, какъ возвышеніе—въ каждомъ изъ насъ—творца надъ тварью, ибо человѣкъ самъ себѣ цѣль и ни у кого и ни у чего не обязанъ просить позволенія думать и чувствовать такъ, а не иначе, то изъ этого прямо вытекаетъ, что самое великое дѣло—въ молодыхъ лѣтахъ дать заказъ характеру стать самимъ собою и въ самомъ себѣ найти смыслъ и удовлетвореніе. Единой же спасительной морали нѣтъ и быть не можетъ! Если ты, по натурѣ, злобенъ, то честнѣе быть злобнымъ, чѣмъ фальшиво или по доброй волѣ стучать лбомъ передъ прописями, годными только для уроковъ чистописанія. И когда личность освободитъ себя отъ какихъ бы то ни было цѣпей, тогда только творческая основа и возьметъ въ ней верхъ надъ тварью. Этого нельзя достигнуть, не преодолѣвъ самого себя.

— Позвольте! — громовымъ голосомъ пустилъ князь и всталъ во весь ростъ.—Вся эта доктрина—не чтѣ иное, какъ перифразъ древняго стоицизма.

— Ни мало!—неудержимо продолжалъ Кострицынъ, и тоже поднялся.—Маркъ-Аврелій былъ изувѣръ обязательной терпимости. Онъ всѣхъ оправдывалъ и ставилъ

себѣ въ священный долгъ исполнять тысячу нелѣпныхъ обязанностей, вмѣсто того, чтобы творчески развивать свою душу, хотѣ и носился съ своимъ философскимъ пре-
восходствомъ. Вы меня совсѣмъ не поняли! Стоики—вотъ это были защитники раскольничьей нѣтовщины. Для нихъ не было ничего новаго ни въ природѣ, ни въ исторіи; они повторяли, какъ фанатики-оедостевцы, что все тлѣно и прахъ и не стоитъ личныхъ усилій. Развѣ я то развиваю, господа? — спросилъ Кострицынъ, обернувшись къ дивану, на которомъ сидѣло нѣсколько студентовъ.— Только тѣ эпохи и двигали впередъ человѣка, когда личность жила во всю, кусалась, дралась, производила насилие, не знала никакого другого закона, кромѣ своего творческаго „я“.

— Этакъ, однако, и до Ивана Грознаго дойдешь! — возразилъ кто-то изъ студентовъ.

— До чего бы ни дойти—только бы жизнь была ключомъ и только бы сдать въ архивъ прописную мораль и ея родного брата: признаніе равенства человѣческихъ личностей.

— Ого!..—пустилъ Дезидеріевъ.—И равенство отвергаете?

— Отвергаю,—настойчиво отвѣтилъ Кострицынъ.—Его нѣтъ въ природѣ, нѣтъ ни въ чемъ, что развивается. Въ избранникахъ человѣчества только и находимъ мы оправданіе его жизни на землѣ. А гдѣ избранники—тамъ и различіе, обособленіе, каста, если вамъ угодно. Безъ іерархіи немислимо ничто живое. И торжество гнилого принципа—всеобщаго уравнинія—будетъ концомъ всякой справедливости, смѣшеніемъ въ одной безобразной кучѣ глупыхъ и умныхъ, калѣкъ и бойцовъ, геніевъ и жалкой бездарности, красоты и уродства. Поэтому-то и безуміе—дѣлать генія орудіемъ массы и ставить высшей цѣлью усилій избранниковъ: пошлое благополучіе стада, которое само не въ силахъ даже, безъ указки, пережовывать свою жвачку!

Кострицынъ перевелъ духъ, отошелъ къ печкѣ и вскричалъ:

— *Dixi et animam lævavi!*

Студенты, сидѣвшіе на диванѣ, задвигались и вполголоса заговорили. Шипилинъ подошелъ къ Кострицыну и спросилъ:

— Теперь за княземъ слово, Иванъ Кузьмичъ?

— Съ удовольствіемъ уступаю... Вѣроятно, и изъ васъ найдутся оппоненты.

— Еще бы!—отозвался Дезидеріевъ.—Только надо со-
браться съ мозгомъ. А то вы, какъ обухомъ, ошеломили
насъ.

Всѣ почти разсмѣялись. Лыжинъ внимательно смотрѣлъ
на студентовъ. Ему многія мысли пріятеля были по-
сердцу въ теперешнемъ его настроеніи... И въ немъ,
однако, зашевелился протестъ, когда Кострицынъ сталъ
рвать въ клочки всѣ „прописи“. Но въ послѣднихъ сло-
вахъ онъ опять услышалъ нѣчто такое же, какъ и въ
остротѣ заграничнаго шестидесятника насчетъ тѣхъ, кто
стучаетъ лбомъ передъ сермягой.

Князь не сажился. Онъ закинулъ голову назадъ и послѣ
небольшой паузы началъ тихо и вдумчиво:

— Во всемъ, что вы говорили на тему этики, я не вижу
никакихъ основныхъ, ни абсолютныхъ, ни даже эмпири-
ческихъ началъ. На чемъ все это держится? На какой-то
ограниченной антропологіи? Вы возстааете противъ чело-
вѣческой твари, а ее-то и сажаете въ красный уголъ
избы.

Кострицынъ отрицательно мотнулъ головой, но отъ воз-
раженія воздержался.

Не разбивая положеній своего противника по пунктамъ,
князь сейчасъ же, точно какимъ полетомъ воздушнаго
шара, очутился на высотахъ своего мышленія.

Говорилъ онъ сначала сдержанно и хриповато, потомъ
голосъ его получалъ все болѣйшій размахъ, и слова поли-
лись рѣкой, съ характерными переливами и возвышеніями
голоса.

Студенты слушали его съ особымъ чувствомъ. Онъ для
нихъ былъ „плезіозавръ“ и не могъ говорить иначе, какъ
старомоднымъ языкомъ школы. Убѣжденность его была
красива и располагала ихъ къ себѣ, но головы боль-
шинства не разгорались. Скорѣе въ груди, нѣтъ-нѣтъ,
да пріятно ёкнетъ отъ сочетанія фразъ, отъ полета вели-
кодушной мысли, согрѣтой вѣрой въ безусловную истину
основныхъ положеній.

Вотъ эту-то безусловность никто изъ нихъ и не могъ
признавать безъ возраженій. И тѣ, кто слушалъ лекціи,
гдѣ „система“, любезная сердцу старика, разбиралась
какъ моментъ въ исторіи мышленія, давно сданный въ
архивъ, такъ и тѣ, кто мало зналъ по этой части, но не

могъ и не хотѣлъ поступаться выводами науки и привыкъ употреблять слово „метафизика“ въ насмѣшливомъ тонѣ.

Трудно было и Лыжину, болѣе спокойному и постарше ихъ почти на два десятка лѣтъ, прослѣдить логическое сдѣленіе идей и положеній въ рѣчи князя. Онъ отвѣчалъ не Кострицыну, а цѣлому стану противниковъ системы его безсмертнаго учителя. Долгіе годы онъ не имѣлъ случая пустить „во всю“ самую дорогія для него истины, обратившіяся для него въ изреченія, высѣченныя въ мраморѣ.

Даже Кострицынъ, улыбаясь въ усы, слушалъ его съ нѣкоторымъ художественнымъ удовольствіемъ и давно рѣшилъ, что возражать онъ ему не будетъ. Его дѣло сдѣлаво. Онъ пустилъ „брандера“ въ умы всей этой молодежи, и если кто-нибудь изъ нихъ будетъ задѣтъ его походомъ противъ морали вырождающагося человѣчества—больше ему ничего не нужно.

— Да, господа!—побѣдоносно провозгласилъ князь, широко взмахнувъ обѣими руками.—Мы не утратили нашего завѣта, хотя бы пась, во всей Европѣ, осталось полдюжины. Нашъ основной догматъ тотъ, что *идея* — начало всѣхъ вещей, и она была показана такой, какова она есть, въ своемъ вѣчномъ, абсолютномъ бытіи, нашимъ гениальнымъ учителемъ,—голосъ его дрогнулъ на этомъ словѣ.—Слѣдственно — говорю я — исторія человѣчества и всего міра—наука, искусства, всего, — каково бы ни было ихъ развитіе—эволюція, по-модному, и всѣ многоразличныя формы ихъ—не могутъ быть и двигаться внѣ этой идеи!

Онъ сдѣлалъ два шага къ Кострицыну и уперъ въ воздухъ оба кулака:

— Свобода и расцвѣтъ личности, говорите вы, государь мой, какъ единственная самодовлѣющая цѣль нашего бытія?.. Но коль скоро идея — главный источникъ этого бытія, а совместно съ тѣмъ и правды и добра,—она тѣмъ самымъ—источникъ свободы. И чѣмъ выше поднимется человѣкъ въ сферу идей, тѣмъ онъ свободнѣе!

Лыжинъ сидѣлъ, закрывъ глаза, и ему показалось, что онъ опять въ избѣ князя Иларіона, когда они пріѣхали къ нему съ Кострицынымъ.

Тотъ же голосъ, точно труба, тѣ же истины и тѣ же, кажется, выраженія, или очень близкія.

„Старина повторяется и не можетъ не повторяться“,

подумалъ онъ, и ему захотѣлось, чтобы князь пустилъ что-нибудь болѣе сильное и неожиданное.

— Вы хотите обойтись безъ вышшаго вдохновенія всего сущаго, га-га! — заготовилъ онъ, точно травилъ краснаго звѣря по первой порошѣ. — Но что такое Богъ? Не тотъ личный, котораго мы нечестиво надѣлиемъ своими свойствами, а тотъ, недостигаемый и вездѣсущій? Онъ есть мысль мысли.

— Вотъ такъ формула! — вставилъ Кострицынъ.

— Не я ее сочинилъ, государь мой! Аристотель такъ выразился. За это я отвѣчаю, хотя и не могу сказать — гдѣ именно. Идея идеи! — повторилъ онъ. — Небытію противопоставлено бытіе, путемъ становленія. Великій тройственный ходъ всего сущаго! И когда духъ вашъ, господа, проникнется этой истиной — вы застрахованы отъ шатаній мысли. Вы достигните амплитуды вашей человѣческой личности!..

На этомъ словѣ, дорогомъ Кострицыну, князь смолкъ и опустился въ кресло.

XXX.

Въ дешевомъ ресторанѣ, въ началѣ Пушкинскаго бульвара, засидѣлись пятеро студентовъ, послѣ вечеринки, гдѣ происходило состязаніе Кострицына съ княземъ.

Тутъ были Шипилинъ, Мечъ, Дезидеріевъ и еще двое изъ тѣхъ, что занимали мѣста на диванѣ во время и послѣ схватки, и въ преніяхъ участія не принимали.

Князь удалился раньше всѣхъ, сказавъ на прощанье:

— Друзья мои! На шаткомъ грунтѣ строите вы весь нынѣшній храмъ истины. Она не познается путемъ возмущенія нашего ограниченнаго „я“.

Кострицынъ больше не сталъ ему возражать и уѣхалъ вмѣстѣ съ Лыжинымъ. Они отправились ужинать въ „Эрмитажъ“.

Послѣдній возгласъ князя, произнесенный теплыми ногами, остался у всѣхъ въ памяти. Когда трое „стариковъ“ — такъ студенты называли, про себя, даже Лыжина съ Кострицынымъ — уѣхали, хозяинъ квартиры послалъ за пивомъ, и они еще съ добрый часъ просидѣли. Оживленнаго спора что-то не вышло. Разговоромъ, какъ почти всегда, овладѣлъ Шипилинъ. Онъ хотѣлъ выяснитъ остальнымъ: можно ли то, что Иванъ Кузьмичъ говорилъ о прописной и ходичей морали, согласить съ научнымъ прин-

ципомъ, и показать, что можно. Но самъ ли Кострицынъ все это надумалъ, или вычиталъ цѣликомъ у того нѣмца, который сочинилъ притчу, рассказанную имъ въ началѣ вечера, до появленія князя съ Тыжинымъ.

Это его немного стѣсняло. Ему бы хотѣлось знать это навѣрно. Останься съ нимъ Иванъ Кузьмичъ по уходѣ князя—онъ бы допросилъ его. Его натурѣ, пытливой головѣ и смѣлому характеру правилась эта постановка идеала и смысла жизни, исключительно въ расцвѣтѣ своего „я“, безъ преклоненія передъ тѣмъ, что принято признавать добромъ и высшимъ долгомъ.

Въ такомъ духѣ началась бесѣда и въ ресторани, куда всѣ пятеро—имъ почти было по дорогѣ—зашли „на огонекъ“, хотя оставалось немного времени до закрытія.

Ихъ пустили, но буфетчикъ предупредилъ, что въ два часа будутъ тушить лампы. Они ушли въ дальнюю комнату, съ окнами на дворъ, и спросили себѣ закусить и три бутылки пива.

За ѣдой бесѣда перешла сейчасъ же въ горячій споръ.

— Нѣтъ, братъ!—встряхивая своей косматой головой, заговорилъ Деизидеріевъ, тыча вилкой въ воздухъ,—онъ сидѣлъ противъ Шипилина,—ты напрасно увлекаешься такимъ презорствомъ личности.

— Какъ?—смѣшливо переспросилъ одинъ изъ двухъ остальныхъ студентовъ.

— Презорство!—повторилъ Деизидеріевъ и отправилъ въ ротъ кусокъ ветчины.—Хорошее слово. Вѣдь мы знаемъ такую проповѣдь, въ другомъ только одѣяніи. Это—этический анархизмъ. Какъ Иванъ Кузьмичъ самъ обмолвился—раскольничья нѣтовщина.

— Вздоръ!—обрѣзалъ его Шипилинъ.—Вздоръ говоришь, Елисей!—Деизидеріева звали Елисеємъ.—Напротивъ, это—самое положительное ученіе. Личность утверждается имъ побѣдоносно. Она не уходитъ въ какую-нибудь нирвану, не томится по всеобщему уничтоженію, нѣтъ, а гордо поднимаетъ голову и заявляетъ, что въ ней, и только въ ней, весь смыслъ и цѣль жизни.

Шипилинъ необыкновенно быстро схватывалъ то, что онъ слышалъ, хотя бы въ первый разъ, и проникался этимъ, точно онъ самъ—творецъ извѣстной системы или ученія.

— Знаю, братъ,—остановилъ его не сдававшійся семинаристъ,—ты на діалектику мастакъ и сейчасъ все это

и лишь—въ отличномъ видѣ, но ты вникни хоть самую суть такой проповѣди. Къ чему она

именно!—отозвался Мечъ и значительно поглядѣлъ Шипилина.

Онъ и въ квартирѣ студента Туманскаго нѣсколькими короткими замѣчаніями далъ понять, что Кострицынъ его далеко не убѣдилъ.

Спорить съ нимъ Шипилину не хотѣлось. Онъ очень уважалъ его характеръ, но считалъ слишкомъ „прямолинейнымъ“.

— Положимъ, — продолжалъ Деидеріевъ, все сильнѣе напирая на „онъ“, — положимъ, тотъ старый сіятельный гегельянецъ уже обросъ мхомъ. Рѣчь у него отшибаетъ тридцатыми годами; но развѣ, братцы, въ его убѣжденности нѣтъ чего-то достолюбезнаго? Имѣемъ ли мы резонъ смотрѣть съ кандачка на гегельянство, коли мы знаемъ, что изъ его рядовъ вышли такіа головы, передъ которыми ты первый шапку ломишь?

— Еще бы!—подтвердилъ Мечъ,—Фейербахъ...

— Знаю!—крикнулъ Шипилинъ.—И Лассаль, и Марксъ, и Прудонъ, и наши всѣ столбы російскаго свободомыслія. Да вѣдь не о томъ идетъ рѣчь, господа, поймите вы это. Князь — типъ уже ископаемый, очень курьезный и даже достолюбезный. Я про него кое-что знаю. Душа у него—превосходная, и онъ давнымъ-давно на дѣлѣ показалъ, что любить меньшую братію и надѣлалъ ее своимъ достаткомъ по-царски. Но не въ томъ дѣло! Князь сегодня изображалъ собою хоръ старцевъ, поющихъ нѣчто архаическое, въ родѣ вѣры древнихъ въ рокъ, въ греческое „ананкѣ“. Иванъ Кузьмичъ преподнесъ намъ его въ видѣ гегельянской антиноміи. Но суть-то въ самой моральной ереси, которая вась, кажется, болѣе коробитъ, чѣмъ бы слѣдовало, если вы хотите давать смѣлый ходъ мысли!

— Коробитъ! Это точно! — подхватилъ Деидеріевъ. — Всякій звѣрь, гасильникъ, извергъ естества, такъ сказать, будетъ, по-своему, правъ... Первый—Неронъ!

— Онъ былъ психопатъ!—возразилъ Шипилинъ.

— Ты мнѣ этого доподлинно не докажешь. По-своему, въ его гнустостяхъ была логика, именно логика личности, которая ничего, кромѣ себя, не знаетъ. У него былъ идеаль,—идеаль великаго артиста и тонкаго сладострастника. Пускай пылаетъ Римъ — для меня это нарочитое

зрѣлище, и я буду стоять на балконѣ и пѣть гимнъ пожару, ибо я поэтъ и артистъ и выше своего эстетическаго я ничего признавать не хочу. Онъ вѣрилъ въ себя какъ въ великаго артиста, иначе бы, бросаясь на мечъ, не крикнулъ: „qualis artifex pereo!“

— Дезидеріевъ! Этотъ примѣръ хорошъ для второклассниковъ.

— Выбери лучше. Ихъ не мало! Ты только раскуси такой возгласъ великаго изверга, и въ минуту смерти... У него совѣсть чиста. Онъ оплакиваетъ въ себѣ тенора, или тамъ баритона, что ли... шутъ его знаетъ, какой у него былъ голосъ!

Шипилинъ хотѣлъ-было пустить, какъ ракету, уже готовое возраженіе, но Мечъ, сидѣвшій рядомъ съ нимъ, махъ его за руку.

— погоди, Николай,—выговорилъ онъ вдумчиво и строго,—Дезидеріевъ сто разъ правъ. Ты только оглянись и всмотришься въ то, что теперь дѣлается. Полюбуйся на разнѣ всякихъ инстинктовъ.

— Въ нихъ, въ этихъ инстинктахъ, сидитъ тварь—по толкованію Ивана Кузьмича, а не творческій духъ.

— Это вилами на водахъ писано,—отозвался такъ же упорно Дезидеріевъ.—Кто будетъ судьей, какія во мнѣ поползновенія заиграютъ, въ данный моментъ—животненныя или духовныя? Поймите, братцы, что Кострицынъ выпалилъ: „Лучше, молъ, быть честно злобнымъ, чѣмъ ступать лбомъ передъ тѣмъ, что приказано признавать идеаломъ!“

— Разумѣется!

— Ты это серьезно?—остановилъ Мечъ Шипилина.

— Архи-серьезно!

— Скользкій путь!—все такъ же вдумчиво выговорилъ Мечъ.

Въ комнату вошелъ лакей и вполголоса сказалъ:

— Извините, господа. Заведеніе закрывать надо.

— Да вѣдь отсюда не видно на улицу!—возразилъ Шипилинъ.

— Нынче строгости большія. Никакъ невозможно. Прикажете подать счетъ?

Надо было расходиться. Они просидѣли бы до пѣтуховъ. Теперь только споръ понадалъ на жгучую почву, и Шипилинъ собирался доказать и имъ, и себѣ, что „нѣтошчина“ Ивана Кузьмича есть, напротивъ, жизненное уче-

ніе, за которое стоит вся исторія челоѣчества, и наука оправдываетъ его своимъ безстрашнымъ разумѣніемъ всемірной борьбы за развитіе.

Комнаты ресторана, выходившія на бульваръ, стояли полусвѣщенныя. Прислуга гасила лампы. Послѣдній полуночникъ, какой-то старичокъ въ военной фуражкѣ, надѣвалъ свою шинель. Кутящихъ компаній не было и никого не привелось выводить.

Студенты кучкой вышли на бульваръ и тамъ же простились.

— Продолженіе впредъ, коллега? — крикнулъ Дезидеріевъ Шипилину.

— Когда угодно!

Трое повернули къ памятнику, а Шипилинъ съ Мечемъ отправились по Бронной. Они не жили вмѣстѣ; но сегодня Шипилинъ хотѣлъ переночевать у пріятели—далеко было тащиться домой; на извозчика у него не осталось ни одной копейки.

На тротуары нанесло цѣлыя сугробы, и они шагали по рыхлому снѣгу, съ трудомъ высвобождая калоши. Шли они медленно. На одномъ поворотѣ Мечъ остановился и взялъ Шипилина за рукавъ пальто.

— Нѣтъ, Николай,—сказалъ онъ ему тономъ старшаго, хотя и былъ его помоложе,—нельзя вдаваться въ такое... въ такое...

Онъ искалъ слова. Говорилъ онъ туго и съ какимъ-то неуволнимымъ акцентомъ. Происхожденіемъ онъ былъ сынъ русскаго и польки и уроженецъ юго-западныхъ губерній.

— Чего же бояться?—тише и скромнѣе спросилъ Шипилинъ.

— Помилуй! Такая теперь расовая вражда! И каждый патріотъ можетъ тебѣ объявить: я свое великорусское „я“ долженъ развивать всякими средствами. А потому бей, гни въ бараній рогъ, уничтожай въ другихъ расахъ все, что тебѣ противно.

— Развѣ я съ ними солидаренъ, Володя?

— Можно и до солидарности дойти съ такой теоріей.

Они опять двинулись.

— Миѣ дорогъ въ этомъ свобода личности. Самоопредѣленіе.

— Смотри!—задушевымъ звукомъ протянулъ Мечъ.— Не то что ужъ въ лагерѣ хищниковъ... и у насъ въ ауди-

торяхъ забралась постыдная расовая злоба. Надо это, братъ, хоть немножко на себѣ испытать.

Шипилинъ не возражалъ и, нагнувъ голову, замедливъ шагъ. Они поднимались вверхъ по переулку, гуськомъ.

Все уже спало. На колокольнѣ Страстного монастыря мягко пробило половину третьяго.

XXXI.

— Душка моя! Надо его поддержать. Ты сумѣешь... Право, онъ ни въ чемъ не виноватъ.

Напон говорила это, прощаясь съ Ниной. Она наклонилась надъ нею, стоя у дивана, и держала ее за обѣ руки.

— Alors... la petite?..

Жестомъ головы Нина дополнила эту фразу.

— Пойми!.. У нихъ все уже было кончено. И вовсе тутъ не отъ любви... Развѣ такія мамзели способны на любовь? А просто она провалилась на сценѣ, и ее газеты скандально разбрали.

— Ты куда же такъ торопишься? — спросила Нина, приподнимаясь.

— Въ тысячу мѣстъ! Прощай!

Звонко поцѣловались онѣ, и Нина пошла ее проводить до первой гостинной.

Она сегодня съ утра чувствуетъ себя вяло, съ легкой головной болью и не можетъ согрѣться.

— Къ намъ ты завтра, это рѣшено? И если не будетъ больше пятнадцати градусовъ, мы опять поѣдемъ на голубяхъ? А?..

— Не знаю,—оттянула Нина.

— Пожалуйста... милая!

И, подумавъ, Напон спросила вполголоса:

— Твой мужъ не будетъ въ претензіи... если ты его съ собой обѣдать не возьмешь? Онъ вѣдь не ревнивъ?

— Не замѣчала до сихъ поръ,—какимъ-то особеннымъ тономъ выговорила Нина и потянула на себя короткую плюшевую накидку съ мѣховой опушкой.

Обидѣться за своего мужа она не расположена была. Но ей съ вечера у Козлишевой даже въ тонѣ ея пріятельницы слышались безцеремонныя ноты. Если бъ та не пріѣхала говорить о Гольцѣ и не просила ее „поддержать его“, она бы дала ей это почувствовать.

— У Закки, кажется, есть какое-то засѣданіе... тотчасъ послѣ обѣда, и ему было бы тяжело.

— Вотъ и прекрасно... Ты сегодня до обѣда дома?

— Я не выѣду.

— Стало, мой Антоша застанетъ тебя?

— Est-ce arrangé?—спросила пострже Нина.

— Онъ, навѣрно, сидитъ у Tonton. Я его пошлю.

— Съ какой стати?

Больше Нина ничего не прибавила.

— Такъ будешь?—порывисто сказала Верховцева и еще разъ поцѣловала ее.

— Хорошо, если не расхворюсь.

— Какой вздоръ! А теперь ступай... Тамъ свѣжѣе.

Верховцева легкимъ шагомъ пошла къ лѣстницѣ. Нина замедленной походкой вернулась въ свой кабинетъ.

Ей въ самомъ дѣлѣ что-то нездоровилось. По спинѣ пробѣгали струйки дрожи. Вотъ уже нѣсколько дней, какъ ея нервы развинчены, съ той ночи, когда она у князя Иларіона разревѣлась. И послѣ того всю ночь не спала. На другой день ей было стыдно за себя. Старикъ хотѣлъ было опять прочесть ей цѣлую лекцію на тему о „красотѣ“ и „свободѣ“ женщины; но она не допустила. Мужъ спросилъ ее вчера: отчего она „не похожа сама на себя“. Но приставать онъ не сталъ: она его по этой части достаточно воспитала, да онъ и самъ ведетъ себя всегда съ тактомъ и не позволяетъ себѣ никакихъ ненужныхъ выпрашиваній.

У себя въ домѣ ей впервые сдѣлалось прѣсно. Въ тягость и пріемы. Вчера она отдала даже приказаніе никого не принимать. И визиты ее тяготили. Идти гулять—страшный холодъ.

Свѣту было достаточно въ ея кабинетѣ: морозное солнце играло на краскахъ шолковаго панно, зарисованнаго ею. Но взяться за кисть не тинуло.

Съ книжкой въ рукахъ, валялась она подъ своимъ балдахиномъ. И англійскій романъ какой-то „miss“ раздражалъ ее своей слащавой правоучительностью.

Ничего-то не понимаютъ эти дѣвы въ страсти. У нихъ и мужчины-то точно пряники, обмазанные сахаромъ. Разбираютъ по ниточкѣ душевныя побужденія влюбленныхъ паръ, и такъ-то это безвкусно, наивно или фальшиво!

Вернувшись къ себѣ, Нина опять взяла томикъ Таушницова изданія и стала пробѣгать страницу, гдѣ героиня,

по пунктамъ, разбираетъ, имѣетъ ли она право полюбить какого-то молодого студента теологіи, который нравится ей подругѣ.

— Quelle cruche!

Она бросила книжку на диванъ.

И третьяго дня, и вчера, и особенно сегодня она испытываетъ небывалое еще одиночество. Во всемъ этомъ домѣ съ однимъ княземъ Иларіономъ она еще чувствуетъ какую-то связь. Лучше сказать, могла бы чувствовать... Но онъ слишкомъ чужаковатъ, говорить Богъ знаетъ какимъ языкомъ, витаетъ въ „эмпирияхъ“, не въ состояніи понять того, что въ ней бродить.

Да она и сама больше не станетъ съ нимъ откровенничать. Такой чужакъ способенъ завести объ этомъ какой-нибудь неловкій разговоръ при мужѣ.

Она не желаетъ, прежде всего, чтобы у Захара Лукьяновича былъ хоть малѣйшій поводъ вторгаться въ ея душу.

Вотъ это-то нежеланіе и показало ей, такъ отчетливо только теперь, до какой степени формальна ихъ супружеская жизнь. Она знаетъ, къ чему стремится онъ, какое желаетъ со временемъ занять положеніе. Въ этомъ она его тайно руководила до сихъ поръ. Но сама-то она, развѣ она способна жить только честолюбіемъ Захара Лукьяновича? Для нея необходимо было вытянуть его въ особы четвертаго класса съ придворнымъ званіемъ. Ну, добьются они этого взаимными усиліями.

Все-таки онъ—купчишка, выскочка, а она—вышедшая за разночинца княжна, взятая за красоту и таланты. Не меньше десяти лѣтъ нужно убить на то, что мужъ изъ ея общества имѣлъ бы сразу. И губернаторшей она будетъ себя чувствовать такъ же одиноко.

У нея нѣтъ личной жизни—вотъ что въ эти дни выяснилось ей и начинаетъ засасывать! Ничего подобнаго она еще не подмѣчала въ себѣ.

О баронѣ Гольцѣ она не хотѣла думать,—рѣшила, что онъ „un palefrenier bête“, самаго дурного тона, избалованный интригами „Богъ знаетъ съ кѣмъ“.

Ея мужъ первый, три дня назадъ, сообщилъ ей про газетную сплетню объ опереточной акрисѣ и заѣзжемъ гвардейцѣ-баронѣ. И на попытку Липы на самоубійство былъ намекъ въ одной газетѣ.

Это ее странно взволновало. Гольцъ какъ бы выросъ

въ ея глазахъ, хотя она, на словахъ, способна была бы говорить о немъ какъ о пошлякѣ, о бездушномъ, грязномъ развратникѣ.

Визитъ Верховцевой показался ей чѣмъ-то подстроеннымъ. Гольцъ хочетъ, стало-быть, выставить себя въ другомъ свѣтѣ? Напоп увѣряла ее, что его поведение во всей этой исторіи—самое порядочное.

Она хотѣла-было крикнуть:

— Да мнѣ-то какое дѣло!

Теперь она возбужденно перебираетъ въ головѣ: въ чемъ же тутъ настоящее дѣло? Она чувствуетъ, въ то же время, что ей пріятно сознавать свое нравственное превосходство надъ нимъ. У ней на совѣсти и въ репутаціи нѣтъ ничего похожего на такую, во всякомъ случаѣ, скандальную исторію.

Какъ бы газеты ни сплетничали и ни выдумывали всякіе пасквили, но вѣдь она и безъ газетъ знаетъ, что у него была связь. Эффектная брюнетка въ томъ гарнѣ, гдѣ живетъ ея тетка,—его возлюбленная.

Самый этотъ фактъ не колетъ ее въ сердце.

„Значить, я къ нему равнодушна?“—спрашиваетъ она себя.

Но она не можетъ отвѣтить: „да, значить!“

Ей вѣрится, что онъ дѣйствительно покончилъ съ той, и, быть-можетъ, покончилъ разомъ, послѣ обѣда у Верховцевыхъ и катанья въ паркъ.

Развѣ его небрежно-пріятельскій тонъ съ нею не могъ быть маской, желаніемъ перехитрить? Такія натуры—полунѣмецкія, полурусскія—по доброй волѣ не сдадутся, а сначала продѣлаютъ разные опыты съ собой и съ любимой женщиной.

Она улыбнулась и, сидя на диванѣ, раскинула широко руки поверхъ подушекъ и сладко потянулась.

Потомъ взглянула на свой туалетъ. Плюшева накладка, по цвѣту, шла къ ней; но пенъюаръ ей надобѣ.

Надо надѣть другой, только что сшитый *à la ville de Lyon*... въ видѣ мѣшка или кружевной рубашки. Въ томъ у ней удивительны линіи тѣла.

Ина позвонила своей камеристкѣ и отдала ей приказъ сейчасъ же достать новый пенъюаръ.

Какъ она себя ни настраивала на равнодушный пріемъ гостя, но въ ней зажглось сладкое охотницкое чувство.

Передъ ней всплыла картина медвѣжьихъ тушъ на искристомъ снѣгу, на дворѣ Верховцевыхъ.

Такъ же взвинтить себя долженъ былъ и баронъ, когда, стоя на опушкѣ лѣса, ждалъ появленія страшной медвѣдицы.

Если ей, блистательной Нинѣ, отказывать себѣ въ такомъ „спортѣ“, то какой же женщиной, въ московскомъ обществѣ, онъ больше присталъ? Неужели послѣ шести лѣтъ такой безупречной жизни съ Захаромъ Лукьяновичемъ Кумачевымъ не имѣть... „la plus petite toquade“?—добавила она французскимъ терминомъ.

Она не испугается, если это будетъ и настоящая „toquade“—природа надѣлила ее хорошей головой.

Чего другого, но головы она не потеряетъ до самозабвенія. Закружится голова... быть-можетъ... Это было бы для нея неизвѣданное ощущеніе. На горныхъ обрывахъ въ Швейцаріи у ней голова никогда не кружилась.

Камеристка доложила, что платье готово. Нина уже другой походкой перешла въ свою уборную и начала туалеть, точно она ѣдетъ на балъ, съ тѣхъ „dessous“ изъ батиста и кружевъ, которыми она вообще отличалась отъ всѣхъ женщинъ ея круга. Все было надѣто подѣвъ пеньюара.

Причесала ее камеристка заново, не такъ, какъ она была причесана съ утра.

Передъ трюмо Нина, оставшись одна, долго стояла, оглядывая себя и прямо, и вбокъ.

Кружевной фартукъ придавалъ ей странный видъ дѣвочки огромнаго роста. Но этотъ покрой имѣлъ въ себѣ что-то неожиданное и располагающее.

Лакей постучалъ въ дверь изъ кабинета. Въ первый разъ она не разслыхала — что-то въ головѣ ея ронлось. Глаза ея стали болѣе темными и по щекамъ разлился тонкій румянецъ.

Стукъ раздался во второй разъ. Она откликнулась, зная, что ей доложить, и вышла въ кабинетъ.

— Прикажете принять?—баронъ Гольцъ? Барина нѣтъ—они приказали вамъ доложить.

— Проси! — приказала она суховатымъ звукомъ, медленно подходя къ дивану, гдѣ и легла съ ногами, прилонившись къ подушкамъ спиной.

XXXII.

— Здравствуйте, баронъ,—встрѣтила она его по-русски. Его французскій языкъ ей не нравился.

Гольцъ подошелъ твердымъ военнымъ шагомъ и щелкнулъ шпорами.

Не протягивая руки первый, онъ сдѣлалъ низкій поклонъ головой.

„То-то, — сказала Нина про себя, — такъ-то лучше будетъ“.

И подала ему правую руку, только наполовину прикрытую кружевнымъ рукавомъ пеньюара.

— Садитесь. Расскажите, какъ вы поживаете?

Она взяла, по-русски, его тонъ—небрежный, немножко безперемеженный.

Какъ онъ ни выдерживалъ характеръ всю послѣднюю недѣлю, но исторія съ Липой дѣлала то, что ему стало рѣшительно неловко бывать въ свѣтѣ. Наполеонъ сказала ему третьяго дня:

— Да что же вы это, Антоша, глазъ не кажете къ Нинѣ? Развѣ такъ можно?

Онъ ей первой сталъ говорить о своемъ „неказистомъ“ положеніи. Ни на какой дальнѣйшій скандалъ онъ не пойдеть. Газетчика ни бить, ни вызывать не будетъ, не станетъ и у Липы просить прощенія послѣ того, какъ она такъ дерзко, при постороннихъ, выпроводила его.

Будь тамъ мужчины — они бы поняли, какъ надо, эту выходку полубезумной женщины, рѣшившейся на самоубійство отъ своего дьявольскаго самолюбія. Мотива ревности и любви онъ не допускалъ. Охлажденіе произошло взаимное.

Но тамъ были на бѣду — „бабы“. Онъ всѣ на одинъ ладъ въ любовномъ дѣлѣ: сначала „лѣзутъ“, потомъ производятъ „гадости“. Отъ нихъ пойдутъ опять по городу самыя презрѣнныя сплетни. Для нихъ онъ прежде всего бездушный развратникъ, человекъ безъ стыда и совѣсти, получившій достойное возмездіе отъ любимой женщины: его прогнали съ позоромъ.

И все имъ надо прощать! Потому что онъ „шалый“.

Такъ чувствовалъ онъ до вчерашняго дня. Но его мысль повернула, неожиданно и для него самого, въ сторону Нины. Почему онъ такъ сухо и небрежно повелъ себя съ этой красивой и воспитанной барыней?..

Развѣ она „лѣзла“ къ нему? Въ чемъ же это сказалось? Неужели онъ такой пошлый фатъ? Навѣрно, будь Кумачева его пріятельница, — просто пріятельница, безъ обязательнаго ухаживанья, — она бы давнымъ-давно помогла ему раздѣлаться съ Липой безъ всякой скандальной исторіи.

У Нины открытый домъ. Она навѣрно умнѣе и терпимѣе другихъ „бабъ“. Кто ихъ знаетъ! Можетъ-быть, иная такую при всѣхъ скорчитъ фізіономію, когда пріѣдешь къ ней съ визитомъ, что впору будетъ провалиться на мѣстѣ.

Только сѣвъ на низкомъ стульчикѣ, Гольцъ оглядѣлъ Нину боковымъ взглядомъ. Ея туалетъ привелъ его сначала въ нѣкоторое недоумѣніе. Казалось, точно она въ кружевномъ мѣшкѣ.

„Что же это?—спросилъ онъ себя.—Развѣ нынче такъ носить?“

Но если она надѣла,—значить, это модно и совершенно прилично.

Легкій румянецъ даже пробрался на его щеки, поблѣднѣвшія въ послѣдніе дни.

На нее можно было заглядѣться въ этомъ „мѣшкѣ“, съ полуоткрытой шеей и руками и съ блѣдно-голубоватыми чулками, которые, вмѣстѣ съ туфлями, выглядывали изъ-подъ борта пеньюара, скроеннаго довольно высоко.

Лицо ея смотрѣло разсѣянно, но не надменно.

Такой женщиной онъ обязанъ, передъ самимъ собою обязанъ, показать всю свою порядочность. Она пойметъ!

— Вы ѣздили опять на охоту, баронъ?—низкой музыкальной нотой протянула Нина и кистью руки стала играть бахромою одной изъ японскихъ подушекъ.

Глаза она полузакрѣла рѣсницами и лицо ея выходило отъ этого гораздо добрѣе и привлекательнѣе.

— Нѣтъ, я не двигался изъ Москвы.

„Вѣдь она же все знаетъ! — подумалъ онъ тотчасъ же послѣ своихъ словъ.—Такъ я не хочу!“

— Нина Борисовна, — продолжалъ онъ и опустил голову, не глядя на нее, — вы со мной не хитрите. Вамъ извѣстна, разумѣется, вся эта глупая исторія.

Тутъ только онъ поднялъ на нее глаза.

Взглядъ его былъ открытый и пріятельскій, немножко смущенный. Она его не ожидала.

— Ахъ, Боже мой!

Нина повела въ воздухѣ рукой и подалась къ столику бюстомъ. Изъ-подъ кружевной пелены линіи ея гибкаго стана волнисто колебались.

Баронъ не сразу отвелъ отъ нея взглядъ.

— Однако,—серьезнѣе возразилъ онъ,—никто не знаетъ настоящей правды. Вотъ у насъ съ вами общіе друзья... Nanon и Tonton... Но и онѣ, изъ деликатности, стѣсняются.

— Помилуйте, баронъ, зачѣмъ же?

— Не зовите меня такъ!

Онъ пододвинулъ стульчикъ къ дивану и сѣлъ въ позу, располагающую къ простому, искреннему разговору.

— Почему?—веселѣе вскричала Нина и показала свои бѣлые зубы.

— Это мнѣ напоминаетъ моветонныя выходки особы... изъ-за которой весь сыръ-боръ загорѣлся.

Какъ всѣ почти полунѣмцы, Гольцъ любилъ народныя поговорки.

— Помните,—заговорила Нина все еще съ опущенными рѣсницами,—когда мы возвращались изъ парка, я васъ спросила объ одной брюнеткѣ, оттуда, изъ гарнѣ, гдѣ живетъ моя тетка Акридина?

— Да, да! — совсѣмъ простымъ звукомъ отозвался Гольцъ.—Знаете, я всегда держался такого правила насчетъ женщинъ. Молчокъ!

— А теперь развѣ не держитесь?

— Конечно... и теперь... И вѣрьте мнѣ, — понизилъ онъ голосъ,—я не заикнулся бы ни о чемъ, если бъ не желаніе...

Онъ смущенно не договорилъ.

— Если бъ не желаніе,—досказала она за него,—показать себя мнѣ въ другомъ свѣтѣ.

Тутъ только она подняла на него глаза и прошла по немъ медленнымъ взглядомъ.

Онъ похудѣлъ; усы казались длиннѣе, красиво разрыленные къ концамъ; въ глазахъ было больше выраженія, и чистота профиля выдѣлялась сегодня еще явственнѣе. Его тонъ подкупалъ ее. Вѣдь онъ, въ сущности, принесъ повинную. Зачѣмъ же продолжать быть съ нимъ сухой?

„Пускай попрыгаетъ!“—злобно вскричала она про себя, и ей захотѣлось выместить на немъ все то, что она испы-

тала—цѣлую недѣлю, всего же больше вечеръ у Козлишевой и свой „ревъ“ у князя Иларіона.

— Вы такая умница, — слышался ей голосъ Гольца, — всѣмъ точно другой, отъ котораго по ней проходили сладкія мурашки, — вы все поймете... Я не святой... Въ провинціи такія встрѣчи ведутъ скорѣе къ связи, — онъ сталъ говорить спокойно. — Никакихъ клятвъ не было ни съ той, ни съ другой стороны. Здѣсь я, по приѣздѣ, далъ понять, что не желаю, ни подъ какимъ видомъ, вмѣшиваться въ разныя дразги по театру. Больше ничего и не было... Остальное — дѣло господъ пасквилянтовъ.

— Но ее, кажется, очень оскорбили? — тихо спросила Нина.

„Повертись, мой милый!“ — добавила она про себя.

— Дѣйствительно... Замѣтка была мерзкая. Но скажите, ради Бога, Нина Борисовна!.. Зачѣмъ я пойду въ редакцію бить фельетониста? Я бить никого безнаказанно не желаю. И вызвать его я отказался наотрѣзъ... Даже и послѣ того, какъ онъ позволилъ себѣ назвать меня барономъ.

Губы Гольца сложились въ улыбку искренняго презрѣнія. Онъ всѣмъ своимъ существомъ показывалъ, что баронъ Гольцъ не можетъ вызывать какого-то презрѣннаго газетчика.

Нина это почувствовала, и его натура стала выясняться передъ нею, какъ нѣчто цѣльное и сильное и въ вопросахъ поведенія. Не одной смѣлостью на медвѣжьей охотѣ бралъ этотъ породистый гвардеецъ. Онъ не можетъ быть трусомъ и не изъ боязни не послалъ онъ вызова пасквилянту.

Не захотѣлъ онъ и унижать себя побоями, дракой, гдѣ бы то ни было, въ редакціи или въ публичномъ мѣстѣ. Онъ слишкомъ высоко себя ставитъ.

Ей сдѣлалось не то что жаль его — жалостью она бы его обидѣла, а какъ бы совѣстно: она способна была, еще сегодня утромъ, считать его пошлякомъ, тогда какъ это настоящій „мужчина“. Онъ шелъ на тяжелое испытаніе, способенъ былъ лучше перенести афронть грязной сплетни, чѣмъ поступить не по своимъ правиламъ.

Ея „Закки“ тоже, по-своему, характеръ; но какая же разница: тотъ, попади онъ въ точно такую исторію, навѣрно повелъ бы себя... какъ...

„Какъ амбиціозный купчишка!“—вдругъ вырвалось у ней мысленно, и она себя не поправила.

— Вы были правы,—выговорила она и протянула ему руку.

Гольцъ взялъ ее и почтительно приложился къ ней губами.

— Но, стало, вы ее не любите?—спросила Нина, оставляя свою руку въ его рукѣ.

— Какая же любовь!

Онъ слегка повелъ плечами.

Руку она высвободила.

— Неужели, — спросилъ онъ, вздрагивая, — каждая встрѣча обязываетъ мужчину къ любви? Насъ часто обвиняютъ въ предательствѣ... Кричатъ, что мы циники, обманщики. Но чѣмъ же, иной разъ, виновать человѣкъ?..

На губахъ у него была его обычная фраза:

„Если бабы лѣзутъ“.

— Конечно, — одобрила его Нина. — Наивно считать однихъ женщинъ жертвами! Il y a parmi nous des coquines.

— Я не скажу этого... про ту барыню. Нѣтъ... Она психопатка... Бывшая нигилистка.

— Такая способна подстроить вамъ какую-нибудь новую гадость.

— Я не боюсь.

— Ея покушеніе, быть-можетъ, комедія?—живо спросила Нина, и ея щеки быстро зарумянились.

— Не думаю...

— Вы у пей были? Послѣ ея... ескараде?

Вопросъ этотъ былъ бы безтактенъ, но онъ зазвучалъ у ней молодой, искренней нотой.

— Былъ.

Онъ рассказалъ бы ей и какъ Липа приняла его.

— Она этого не стоить! Вы, право, слишкомъ добры!

Гольцъ наклонилъ голову, въ видѣ поклона, и опять рука Нины протянулась къ нему.

Другой бы, пожавъ, сталъ цѣловать ее. Но его удерживало, такъ ей казалось, стыдливое чувство, высшая порядочность.

Въ ней точно что вспыхнуло въ груди, прошлось огнемъ по плечамъ и отдалось даже въ пальцахъ. Она и хотѣла бы отвести отъ него глаза, но продолжала смотрѣть долго,

съ томленіемъ, ей до того неизвѣстнымъ. Въ глазахъ точно блестяли слезинки. Въ груди сперлось дыханіе.

— Вы—славный!—съ дрожью въ голосѣ проронила она и, какъ въ туманѣ, приблизила свое лицо, а свободной рукой обняла его за шею и поцѣловала въ лобъ.

Черезъ секунду ея алыя, трепетныя губы уже искали его губъ и замерли въ поцѣлѣхъ...

XXXIII.

Въ сумерки Ида, все еще захваченная своими заботами о Липѣ Угловой—той было уже гораздо лучше,—наскоро одѣлась и поѣхала, въ извозчичьихъ саниахъ, отыскивать Елену.

Около недѣли Акридина не возвращалась домой.

Всякая другая, на ея мѣстѣ, могла бы найти, что это выходить за предѣлы всякаго приличія для молодой еще женщины, съ общественнымъ положеніемъ Акридиной, если бѣ она не знала, по короткимъ запискамъ Елены, какъ та живетъ у Боярцевыхъ.

Вчера, посылая за своими вещами, Елена писала ей:

„Мать Романа Денисовича очень опасна. Я провожу около нея всѣ ночи. Завтра ожидается переломъ болѣзни. Она страдаетъ, но духомъ бодръ. Это необычайная натура по кроткому мужеству. Ахъ, Ида, я была бы счастлива, если бѣ не его горе... Но оно-то и сблизило насъ.

„Такъ хочется тебя обнять, милая! Но когда попаду къ тебѣ? Развѣ ты завернешь на минутку?“

Записка дышала почти радостью, несмотря на то, что въ ней стояло объ опасности для Боярцева лишиться матери.

И она, когда-то, знала точно такой же безсознательный эгоизмъ любви. Тогда все, вплоть до крушенія міра, было благословенно, лишь бы оно вело къ сближенію съ нимъ.

Изъ двухъ женщинъ, Елену считала она теперь счастливѣе Липы Угловой. Та пошла на самоубійство не изъ-за отвергнутой любви, а изъ другого оскорбляющаго чувства.

Ѣхала она къ Еленѣ и не боялась никакого внезапнаго огорченія, что бы ни случилось у Боярцева. Умри мать его—все равно они сошлись бы и еще болѣе сойдутся. Его сиротство, ея порывъ спасти для него мать—сдѣлаютъ то, что не могли дать ихъ споры о принципахъ.

Тихонько позвонила Ида на крыльцѣ дома, показавшагося и ей чрезвычайно похожимъ на характеръ самого Боярцева.

Ей отворилъ человѣкъ съ очень грустнымъ лицомъ и посмотрѣлъ на нее строго.

— Вамъ кого угодно?

— Елену Константиновну Акридину можно видѣть?

— Объ васъ какъ доложить? Онѣ тамъ, у барыни. Принимать никого не приказано.

Ида дала свою карточку.

Человѣкъ ушелъ. Она сняла шубу—въ передней было очень натоплено—и своимъ беззвучнымъ шагомъ проникла въ залу.

Тишина стояла полная. Кромѣ боя часовъ—ни единого звука.

Въ полуотворенную дверку, выходившую въ коридоръ, доносился запахъ лѣкарствъ изъ спальни, помѣщавшейся въ концѣ.

Опаснымъ больнымъ дышала эта замершая городская усадьба.

Идѣ пришлось ждать нѣсколько минутъ. Сначала въ дверь показалось старое лицо и тотчасъ же исчезло; но она успѣла замѣтить его: это была нянька Ульяна.

Раздались и шаги Елены. Она выбѣжала къ ней совсѣмъ непричесанная, съ шелковой косыночкой, надѣтой на головѣ, и въ суконной кофточкѣ. Лицо было совсѣмъ землистаго цвѣта.

— Ты спала? — спросила ее Ида, уводя въ дальнѣйшій уголъ.—Прости...

— Немножко прилегла... Милая! Ида!

Елена обняла ее крѣпко-крѣпко и припала головой къ ея плечу.

— Ты счастлива?—шопотомъ спросила Ида.

— Не знаю... Но онъ такъ страдаетъ.

— Старуха опасна?

— Очень! Вчера провела она ужасную ночь. И онъ не ложился. Сегодня утромъ былъ консилиумъ. Даже мнѣ никто не сказалъ правды. Она постоянно бредитъ. Температура поднялась до сорока и двухъ десятыхъ.

Ида покачала головой.

— Но надежда есть... Мнѣ она не кажется при смерти... Разумѣется,—продолжала Акридина, впадая въ свой болѣе задорный тонъ,—медицинскія свѣтила бросили ни-

чего незначашее слово: „кризисъ“! Оно еще болѣе смутило его. Я его упростила проѣхаться... Послала его самого въ аптеку за одной вещью. Надо аппаратъ достать. Насилу согласился.

— На что ты похожа!—остановила ее Ида и привлекла къ себѣ.—Ты сама заболѣешь!

— Это ничего! Развѣ теперь можно заботиться о себѣ, о своей наружности? Онъ выше всего этого!—почти восторженно воскликнула Елена.

— Иди, иди спать! Я на минуту! Только взглянуть на тебя... У насъ тамъ много новаго; но объ этомъ послѣ... Пришли мнѣ депешу, какъ пройдетъ кризисъ.

Елена еще разъ крѣпко обняла ее и не удерживала. Она еле стояла на ногахъ и, какъ только проводила Иду, разбитой походкой пробралась по коридорчику въ свою комнату, съ окномъ на дворъ.

Это была когда-то дѣтская. Теперь въ нее поставили кровать и умывальный столъ. Два шкапа дѣлали ее еще тѣснѣе. Сюда она забѣгала поспать часъ, много два, не раздѣваясь, умыться, переменить бѣлье.

Елена, какъ была, кинулась на кровать и закрыла глаза. Но тотчасъ же ее замозжило желаніе узнать, какъ чувствуетъ себя Татьяна Егоровна. На цыпочкахъ проскользнула она до крайней двери и, задерживая дыханіе, приотворила дверь.

Няня Ульяна сидѣла по-сю сторону ширмъ, раздѣлявшихъ спальню на двѣ неравныя половины.

Она визала чулокъ. Елена сочла это добрымъ знакомъ.

— Нянюшка!—окликнула она ее чуть слышно.

Ульяна поднялась и вышла къ ней въ коридоръ.

— Какъ Татьяна Егоровна?

— Забылись. Сначала все что-то говорили... Нараспѣвъ такъ и не по-русски, а потомъ, вотъ какъ вы тамъ въ залѣ сидѣли, я по дыханію догадалась, что почиваютъ.

— И безъ бреда?

— Безъ бреда.

— Это отлично!

У ней такъ стало на душѣ свѣтло и молодо, что она, въ первый разъ, обняла Ульяну и поцѣловала ее въ лобъ.

— Я пойду, сосну.

— Измаялись вы, какъ же не соснуть!

Ульяна, въ первые дни, поглядывала на нее довольно сурово, зачужавъ въ ней „барышню“, имѣющую виды на

ея питомца, Романа Денисовича. Усердіе Елены проняло ее, и она, почему-то, убѣдила себя въ томъ, что эта „барышня“ приходится господамъ ея дальней родственницей. Елену она продолжала считать не замужней, а дѣвицей, „подлѣточкомъ“.

Вернувшись въ свою комнатку, Елена, съ спокойной совѣстью, разрѣшила себѣ часа два сна.

Глаза сами собой сомкнулись, и она, по своей еще дѣвичьей привычкѣ, свернулась на правый бокъ и тотчасъ же просунула руку подъ верхнюю подушку.

Но сонъ не сразу захватилъ ее. Отъ большой усталости возбужденіе не сразу успокоилось, и голова, послѣ свиданія съ Идой, заиграла ярко и стремительно.

Вѣра въ свой характеръ, въ волю, не знавшую до сихъ поръ преградъ, охватила ее. Вѣдь вотъ она въ ея домѣ! Не случись опасной болѣзни Татьяны Егоровны, она воспользовалась бы чѣмъ-нибудь другимъ.

И ей кажется, что она у себя дома. Эта дѣтская комната точно давнымъ-давно ея спальня. Весь его домъ сталъ ея домомъ, и она не уйдетъ изъ него одинокой, съ разбитымъ сердцемъ, съ обидой женщины, которую не *хотятъ* полюбить.

Они уже какъ родные, какъ братъ и сестра. И когда же тутъ спорить и воевать изъ-за идей и мнѣній у постели умирающей матери? Онъ смирился, тронуть до слезъ ея беззавѣтной преданностью. Если онъ не изливается, то этому мѣшаетъ его сдержанная, цѣломудренная натура. Да и къ чему тутъ изліянія? Такъ, безъ фразъ и возгласовъ, чувство его крѣпнетъ не по днямъ, а по часамъ.

Она весь день передъ нимъ, Богъ знаетъ какъ одѣтая, плохо причесанная, съ испытаннымъ отъ бессонницы лицомъ. И не думаетъ объ этомъ,—знаетъ, что виѣшность для него не существуетъ. А душа его уже задѣта. Въ голосѣ, въ малѣйшемъ словѣ, обращенномъ къ ней, звучитъ ласка, признательность, если не преклоненіе передъ нею.

И какъ ей кажется нелѣпъ ея недавній задоръ! Съ какой стати препираться, выставять напоказъ свой радикализмъ? Развѣ нѣтъ примѣровъ пылкой любви между мужьями и женами двухъ враждебныхъ религій? Они не дѣлаются ренегатами и любятъ другъ друга до гробовой плиты.

Елена прислушивалась къ безмолвію дома. Изъ спальни

ни одного шороха. Значить, Татьяна Егоровна почиваетъ безъ бреда.

„Кризисъ!“—мысленно выговорила она, и что-то зловѣщее послышалось ей въ этомъ докторскомъ словѣ.

Стало, сегодня, когда докторъ пріѣдетъ послѣ обѣда, будетъ рѣшено—жить Татьянѣ Егоровнѣ или нѣтъ.

Онъ лишится матери? Но она тутъ, при немъ. Его горе еще неудержимѣ толкнетъ ихъ другъ къ другу.

На этомъ Елена заснула крѣпко, и безъ малѣйшихъ сновидѣній, какъ трупъ, лежала на узкой постели, все еще свернувшись на-бокъ.

Совсѣмъ темно было въ комнатѣ, когда она, не сознавая ясно, гдѣ она и который часъ, раскрыла глаза и начала смотрѣть въ темноту.

За дверью слышались заглушенные ковромъ шаги. Кто-то говорилъ, голосъ былъ скорѣе мужской.

Она сейчасъ же поднялась, точно ее обрызнули свѣжей водой, и слово „кризисъ“ заиграло въ ея головѣ зловѣще и ярко, какъ огнерасная точка на черномъ фонѣ.

Въ коридоръ свѣтъ проникалъ съ двухъ концовъ—изъ спальни и изъ залы.

Разговоръ вполголоса слышался въ залѣ.

Почти бѣгомъ очутилась тамъ Елена.

Старичокъ-докторъ, давнишній врачъ дома, что-то говорилъ Роману Денисовичу, держа его за руку.

Они двигались мелкимъ шагомъ къ двери въ переднюю.

У ней достало духу подойти къ нимъ и прямо спросить:

— Что, докторъ, какъ?

— Слава Богу! — отвѣтилъ тотъ, подавая ей руку, — встанетъ Татьяна Егоровна.

— Встанетъ?—подтвердилъ Боярцевъ, и глаза его, съ дѣтскимъ выраженіемъ радости, стали вдругъ влажны.

— Непремѣнно!

Возгласъ доктора остался у ней въ ушахъ. И она такъ обрадовалась, что тутъ же опустилась на стулъ подчасами.

— Елена Константиновна!

Окликъ Боярцева заставилъ ее встать.

— Голубушка! Вы ее спасли, больше науки!

Онъ взялъ ее за обѣ руки. Елена вся дрожала и, не высвобождая рукъ, глядѣла на него глазами, совсѣмъ бастерянскими отъ радости.

— Вы!—повторилъ онъ и поцѣловалъ ея правую руку. Всѣ свои силы должна была она собрать, чтобы не упасть ему на грудь.

XXXIV.

Въ кабинетѣ Романа Денисовича лампа горѣла на письменномъ столѣ. Только что пробило семь.

Онъ что-то писалъ, низко наклонившись надъ листомъ бумаги.

На лицѣ его, похудѣвшемъ за послѣдніе дни, уже не было напряженія страха и горечи. Мать его третій день въ опасности, только еще страшно слаба. Онъ упросилъ Елену Константиновну вернуться домой и отдохнуть... Съ трудомъ она согласилась; но и теперь навѣщаетъ ихъ по два раза на дню.

Слабымъ голосомъ мать его благодарила Акридину и даже заплакала.

Сегодня утромъ, когда сынъ вошелъ къ Татьянѣ Егоровнѣ, она взяла его за руку и тихо спросила:

— Она нравится тебѣ?..—И прибавила еле слышно:— Неужели она невѣрующая?

Боярцевъ ничего не отвѣтилъ. Вопросъ кольнулъ его. Не дальше, какъ вчера, когда служили въ залѣ благодарственный молебенъ, Елена Константиновна вошла въ залу и простояла до конца службы.

Но Боярцевъ хорошо замѣтилъ, что она не крестится. Только лицо у ней было съ выраженіемъ теплой радости.

Развѣ она можетъ превратиться, въ нѣсколько дней, изъ „свободной мыслительницы“ въ женщину, исполненную религіознаго завѣта, незапятнаннаго никакимъ лжеученіемъ?

Конечно нѣтъ! Но въ сердцѣ женщины всегда теплится вѣра, чѣмъ бы она ни была пріодѣта, каковъ бы ни былъ налетъ тлетворной игры въ невѣріе. Всѣ задатки любящей и великодушной натуры въ ней на-лицо. И какъ будто нельзя сочетать вѣру съ знаніемъ, которое не боится откровенія? Имена великихъ ученыхъ, оставшихся до гроба благочестивыми, напрашиваются сами на уста.

Такъ думалъ онъ, оставшись одинъ, передъ отходомъ ко сну. Съ такими же мыслями проснулся и теперь.

Подползи къ нему подозрѣніе: да полно, не изъ чувственнаго ли влеченія къ мужинѣ она выказываетъ лю-

блещущую душу христіанки, хотя и не принадлежить еще къ церкви!—онъ бы отогналъ его.

Слишкомъ явную симпатію къ нему этой женщины онъ не могъ не распознавать и уже платилъ ей теплой дружбой.

Съ тѣхъ поръ, какъ у кровати умирающей матери они сливаются въ одномъ чувствѣ—какъ-то дико было бы имъ спорить: ей—нападать на его „лампадное масло“; ему—уличать ее въ желаніи играть тщеславную роль, въ измѣнѣ духу своей земли, ея вѣрѣ и народной исторіи.

Вотъ и теперь, онъ пишетъ въ Петербургъ своему пріятелю и во многомъ учителю—Угличеву, даровитому защитнику его взглядовъ и упованій, и развиваетъ ему, въ письмѣ, идею высокой обязанности каждаго сѣять истину путемъ любовнаго единенія—на почвѣ высшей чело­вѣчности.

Щеки его разгорались, по мѣрѣ того, какъ онъ усердно, движеніемъ руки, подходилъ къ концу письма.

Письмо было дописано и запечатано.

Боярцевъ прислушался. По деревянной лѣстницѣ кто-то поднимался—медленно и тяжело. Старыя половицы поскрипывали.

„Неужели мама?“—почти испуганно подумалъ онъ.

Этого быть не можетъ. Татьяна Егоровна еще слишкомъ слаба, чтобы встать и подняться наверхъ.

Да и шаги—мужскіе, со скриномъ сапогъ.

Онъ всталъ и подошелъ къ двери. На площадкѣ было темно.

— Кто это?—тихо спросилъ онъ.

— Не ждали?—отвѣтилъ ему глухой, синоватый голосъ, который онъ не сразу узналъ.

— Иль не узнали?

— Ахъ, Боже мой! Это вы, Дементій Саввичъ. Милости прошу! Позвольте вамъ посѣтить.

Поспѣшно взявъ онъ со стола лампу и освѣтилъ площадку.

Держась крѣпко за перила, поднимался мужчина, такого же большого роста, какъ Боярцевъ, сѣдой. Испитое, бурое лицо и безпорядочная борода дѣлали его наружность суровой и жуткой по впечатлѣнію на всякаго свѣжаго чело­вѣка. Морщинистый лобъ утолщался надъ густыми щетинистыми бровями. Небрежно одѣтый въ сѣрую пару, онъ носилъ на шеѣ шелковый шейный платокъ поверхъ галстука.

Боярцевъ не ждалъ этого визита. Опъ слышалъ, что Козьминъ съ начала зимы болѣеть, и ему стало немного совѣстно, что онъ, до болѣзни матери, не удосужился навѣстить его.

Ихъ познакомили въ прошломъ году Угличевъ — тотъ самый пріятель и единомышленникъ, къ которому онъ сейчасъ писалъ.

Козьминъ, съ неизлѣчимой болѣзнью печени, доживаетъ въ Москвѣ, послѣ долгихъ странствій по Востоку, славянскимъ странамъ и русскимъ окраинамъ, и страстной защиты въ печати своихъ „устоевъ“.

— Благодарю!.. Свѣту довольно! Задохнулся совѣмъ!

Наверху онъ съ трудомъ отдышался.

— Не ждали?—повторилъ Козьминъ, и его возбужденный крутой взглядъ прошелся по всей фигурѣ Боярцева.

— Присядьте, присядьте, Дементій Саввичъ... Я къ вамъ собирался, да болѣзнь матушки...

— Слышалъ.

Въ кабинетѣ Козьминъ сейчасъ же опустился на мягкій диванъ и болѣзненно поморщился, взявшись за бокъ.

— Опасна была? Приобщали святыхъ тайнъ?—спросилъ онъ тономъ суроваго монаха.

— Думали па-дняхъ. До кризиса была больше въ бреду.

— Это ничего. Развѣ наше сознание что-нибудь значитъ? Послѣ того и младенцевъ не слѣдуетъ допускать до принятія Святыхъ Тайнъ!

Боярцевъ ничего не возразилъ. Козьмина онъ считалъ глубоко вѣрующимъ; но не могъ слѣдовать за нимъ до крайнихъ выводовъ изъ его „первоосновъ“.

— А я, какъ разъ, кончилъ письмо къ Угличеву,—сказалъ онъ ласково, подсаживаясь къ нему на диванъ,—и говорилъ о васъ. Вы вѣдь сильно хворали?

— Да и теперь движусь лишь по инерціи. Что жъ? Человѣку и не полагается, за предѣлами извѣстнаго возраста, услаждаться вождѣлннымъ здравіемъ. Избавуешься. Всякій страхъ потеряешь. Расплывешься въ поганое лжеблагодудіе...

Козьминъ рѣзко повернулъ голову къ столу и кивнулъ ею на письмо, лежавшее подъ лампой.

— Такъ вы состоите въ постоянной перепискѣ съ милѣйшимъ Василюмъ Ивановичемъ?

— Какъ же... Я его очень люблю! И вы, кажется, Дементій Саввичъ, всегда хорошо къ нему относились?

— Пока его не раскусилъ.

— Мнѣ кажется, понять его не трудно.

— Не въ трудности тутъ дѣло,—сердито перебилъ его Козьминъ и положилъ одну ногу подъ себя, сидя въ не-
ловкой, перекошенной позѣ.—Личину онъ, безъ сомнѣнія,
носить, хотя, быть-можетъ, и самъ не разумѣетъ того.
И думалъ прежде, что онъ на пути къ твердому и явному
пониманію того, какъ надо вести и народъ, и интеллиген-
цію въ духъ премудрости, которая дается однимъ стра-
хомъ Божиимъ, а онъ теперь знается съ монастырями и
фарисеями, кокетничаетъ со всѣмъ, что только въ модѣ—
тутъ и социализмъ, и радикализмъ, и критицизмъ, и оби-
женный нигилизмъ.

— Что вы?—почти испуганно выговорилъ Боярцевъ.

— А вы сами не видите этого?

— Нѣтъ, не вижу, Дементій Саввичъ.

Боярцевъ всталъ и отошелъ къ двери. Спорить онъ не
желалъ... Человѣкъ этотъ — больной, озлобленный. Его
вѣра дышитъ жестокостью аскета, схимника, не выдачаго
въ человѣкѣ ничего, кромѣ скверны.

Онъ съ того началъ. Но въ послѣдніе три-четыре года
все безповоротнѣе вдавался въ мрачное инквизиторское
византийство.

Чуткое ухо Боярцева слышало по лѣстницѣ легкіе
шаги Елены Константиновны.

Это его немного смутило. Ему не хотѣлось бы знако-
мить ихъ. Навѣрно Козьминъ знаетъ имя Акридиной и
можетъ сейчасъ на нее накинуться.

— Виноватъ, Дементій Саввичъ, я сію минуту.

Боярцевъ вышелъ на площадку и въ полутемнотѣ
оживнулъ:

— Елена Константиновна, вы ко мнѣ?

— Да,—весело отвѣтила она.—И сейчасъ отъ Татьяны
Егоровны. Ей гораздо лучше... Только она проситъ чаю...
А я боюсь, какъ бы это не лишило ее сна.

— Разумѣется... благоразумнѣе не давать.

— У васъ гости? Дѣловой визитъ?—спросила она полу-
утвердительно.

Солгать Боярцевъ не хотѣлъ и вмѣсто отвѣта спросилъ
ее, стоя у перилъ:

— А вы еще побудете у насъ?

— Побуду... Къ десяти меня ждутъ дома. Но я могу
и опоздать.

Елена стояла на одной изъ нижнихъ ступеней, и ей въ полутемнотѣ видна была голова Боярцева, и его добрые глаза свѣтились.

Сдерживая себя, она послала ему поклонъ и шопотомъ прибавила:

— Ида въ правѣ ревновать меня къ вамъ. Но она добра какъ ангель.

„Падшій“, — хотѣлъ досказать Боярцевъ и устыдился такой злой остроты.

— Идите, идите!—заговорила Елена, точно прикованная къ своему мѣсту.

— Что-нибудь съ матушкой вашей? — все такъ же сурово спросилъ Боярцева Козьминъ.

— Нѣтъ, слава Богу, ей хорошо.

— Сидѣлка, что ли? Поди—изъ нынѣшнихъ? Кресть на перевязи, а въ сердцѣ дьяволъ и повиваніе хребтомъ. Этакую прислали мнѣ тоже. Я въ ужасъ пришелъ. Только личина благодушія, а вся преисполнена фанаберіи и коварныхъ подвоховъ.

— Какихъ же, Дементій Саввичъ?—съ улыбкой спросилъ Боярцевъ, опять подсаживаясь къ нему на диванъ.

— Холостякъ... Нельзя ли угодливостью довести до наложенія на него брачныхъ узъ!

Онъ злобно разсмѣялся.

— Что жъ! Дѣло житейское, Дементій Саввичъ.

— Гнусность великая! Даю я ей читать вслухъ псалтырь—не умѣетъ порядочно выговаривать по-славянски... безграмотно плетется... А разнымъ наукамъ обучена, по которымъ выходитъ, что человѣкъ — червякъ, только не въ смыслѣ ползущаго червя передъ грознымъ Небеснымъ Судьей, а по Дарвину!.. Гоните ее!

— Да это была наша добрая знакомая... дама изъ общества.

Фамилію Елены Боярцевъ умышленно не сказалъ.

— Всѣ онѣ рады болты болтать и суесловить, когда въ болѣзни одна должна быть забота—достойно принять свой вѣнецъ и духъ свой предать въ ужасъ,—протянулъ онъ,—отъ предстоящей достойной кары.

Онъ весь выпрямился, и его вдавленные глаза затеплились огнемъ мрачной смертобоязни.

Боярцеву дѣлалось не по себѣ. Но возражать онъ не хотѣлъ, да и что бы онъ возразилъ противъ проповѣди

этого человѣка, которую онъ обязанъ былъ, въ силу своихъ вѣрованій, считать допустимой?

XXXV.

Елена посидѣла у Татьяны Егоровны, но ее тянуло наверхъ.

— Вы видѣли Романа?—спросила та, открывая глаза.

— Только поздоровалась снизу. У него гость. Какой-то дѣловой визитъ.

— Изъ-за меня онъ совсѣмъ запустилъ свои дѣла... Пора ему въ уѣздъ.

Татьяна Егоровна подняла углы бровей, и лицо сейчасъ же приняло грустное выраженіе.

— Вы еще слабы,—остановила ее Елена,—вамъ говорить еще нельзя.

Она протянула ей руку и пожала.

Обѣ долго глядѣли одна на другую.

— Вы меня спасли,—повторила Татьяна Егоровна,—послѣ Господа Бога... Такъ ли?

— Гдѣ ужъ мнѣ... и послѣ Него! — шутливо отвѣтила Авридина.

Онѣ долго помолчали.

— Послать Ульяну узнать, можетъ-быть, гость уѣхалъ.

Елена ясно видѣла, что Татьяна Егоровна желаетъ еи сближенія съ сыномъ и дѣлаетъ это гораздо открытѣе, чѣмъ бы можно было ждать отъ ея характера.

— Со мной вамъ скучно, добрая моя, — слабѣющимъ голосомъ выговорила Боярцева.

— Пожалѣйте себя! — остановила ее опять Елена и поднялась съ своего кресла. — Я сама узнаю. Сегодня я общалась бытъ дома къ десяти часамъ, но я могу и опоздать.

Боярцева ласково кивнула ей головой.

Наверхъ Елену еще сильнѣе тянуло, и она быстро прошла коридоромъ и залой.

На лѣстницѣ ее остановилъ, точно прокололъ, сверху гнѣвный возгласъ гостя:

— Вѣра въ такъ-называемый прогрессъ есть чистая ересь и хула на Создателя!

„Что это такое?“

И она подумала тутъ же, что у Боярцева сидитъ какой-нибудь старецъ, суровый фанатическій монахъ, бытъ-можетъ, его исповѣдникъ.

Это немного успокоило ее.

Почему же ему не имѣть постоянного исповѣдника, разъ онъ вѣрующій? Вѣдь она, по своей научной специальности, водится же съ лицами изъ духовенства. Нѣкоторыя изъ нихъ, вѣроятно, готовы были бы провозгласить такую же истину, только съ нею они стѣсняются, да и разговоры съ ними вертятся вокругъ древностей.

Смѣлѣ поднялась она и постучала въ дверь.

Откликнулся Боярцевъ и подошелъ отворить.

— Романъ Денисовичъ,—заговорила она своей обычной манерой, — состояніемъ Татьяны Егоровны я очень довольна, но она все порывается говорить со мною, и я отъ нея убѣждала.

— И прекрасно сдѣлали. Вотъ позвольте познакомить васъ... Дементій Саввичъ Козьминъ. Его имя вамъ извѣстно.

— Очень пріятно! — выговорила, какъ можно мягче, Елена.

Она вспомнила, что представляетъ собою этотъ Козьминъ въ ненавистномъ ей направленіи. Но и отъ него она не ожидала возгласа, остановившаго ее на лѣстницѣ.

— Я не мѣшаю, у васъ дѣловой разговоръ?—спросила она, присаживаясь немного въ сторонѣ.

— Никакихъ у насъ дѣлъ нѣтъ,—ослабивъ свой нервный ротъ, возразилъ Козьминъ, — если не считать дѣломъ искорененіе похотей природы человѣческой, которая хочетъ всякими способами облыжно уйти отъ кары и грознаго суда.

Боярцевъ какъ бы избѣгалъ глядѣть на Акридину и сидѣлъ на диванѣ вполоборотъ. Она замѣтила, что онъ не назвалъ ее Козьмину, но приняла это за разсѣянность и тотчасъ же обрадовалась.

Такой изувѣръ, услыхавъ ея фамилію, способенъ былъ нарочно пустить тираду, которую она не въ силахъ была бы пропустить, не возмутившись.

— Прогрессъ! Торжество науки!—продолжалъ, не стѣняясь приходомъ Елены, Козьминъ и весь вздрагивалъ отъ накипѣвшаго въ немъ глубокаго протеста.—Вотъ нашъ милѣйшій Василій Ивановичъ...

— Это мой другъ, Угличевъ, — пояснилъ Еленѣ Боярцевъ.

— А-а!

— Онъ тоже вдается въ это безумное и еретическое

двоевѣріе. Развѣ превращеніе однихъ формъ въ другія есть безконечное развитіе, въ смыслѣ блага, духовнаго совершенства? Господа дарвинисты, самые умные, давно установили, что правъ тотъ, кто душитъ и колетъ другихъ! Вотъ вамъ и прогрессъ! Мы съ вами сочувствуемъ долѣ нашихъ братьевъ славянъ... И Василій Ивановичъ... Было время, когда я за всю славянскую братію душу свою готовъ былъ заложить, и одна только кличка „братья славянинъ“ заставляла меня считать ихъ всѣхъ совершенствомъ, а теперь нѣтъ! Все, что пронахло западнымъ ѣрничествомъ,—онъ даже не поглядѣлъ на даму,—то уже прогнило: всѣ эти культурные сербы, болгары, хорваты, лужичане, венды. О чешкахъ,—презрительно выговорилъ онъ,—и говорить нечего! И имъ не очиститься... Они ушли изъ Византіи, отъ того уклада жизни, которому теперь учиться можно только въ одномъ мѣстѣ во всей вселенной!

— Гдѣ же?—спокойно и тихо спросилъ Боярцевъ.

— На Аѳонѣ, любезнѣйшій Романъ Денисовичъ, на Аѳонѣ. И нигдѣ больше. Какъ я тамъ пожилъ, вся эта маниловщина съ меня слетѣла... Ничего хорошаго для западнаго славянства не предвижу. Ничего! — повторилъ онъ и поморщился, точно что его кольнуло внутри.

Боярцевъ не возражалъ.

„Онъ нарочно“,—подумала Акридина.

То, что этотъ ненавистникъ прогресса сейчасъ выпалилъ, не могло ее серьезно задѣть. Его дѣло считать западныхъ славянъ жертвою гнилого запада. Это было для нея избитое мѣсто любого славянофила; только Козьминъ былъ послѣдовательнѣе, и это ей даже нравилось.

Спорить съ такимъ и Боярцеву было непріятно.

Но онъ все-таки слишкомъ почтительно выслушивалъ его. Вѣдь Козьминъ не сумасшедшій. Онъ говоритъ сильно и увѣренно, фраза литературная и складъ мыслей вполне опредѣленный. Если онъ пришелъ сюда, значитъ онъ считаетъ хозяина дома способнымъ, хоть отчасти, быть его единомышленникомъ.

Такой выводъ сталъ ее тревожить. Она сдерживалась, сколько возможно, но не могла отдѣлаться отъ чувства обиды за себя и любимаго человѣка. Будъ онъ ея стана, развѣ бы она могла найти человѣка такого склада у него, и въ качествѣ знакомаго, который приходитъ безъ зова, просто, въ ранній вечерній часъ?

— Всемогушество науки! — крикнулъ Козьминъ, точно кто-нибудь поднесъ пламя къ его кожѣ. — Соглашеніе съ выводами знанія! Но знаніе-то и показываетъ, какъ культура ведетъ къ полнѣйшему разгулу похоти и разнузданнаго себялюбія. Пресловутая наука ничего и никого не спасетъ, ни въ кого не вложитъ единого спасительнаго начала—страха передъ Вѣчнымъ Судьей! И тоже вѣроваль въ точное знаніе, и кончилъ, какъ видите, тѣмъ, что извѣрился во все, что ухищреніе великой вавилонской блудницы, имя которой—Торжество науки! Эта ересь, и никакая другая, надѣлила насъ всяческимъ юродствомъ, развела всяческую эмансипацію духа и тѣла, дѣтей и слугъ, мужиковъ и баръ, а главное дѣвчонокъ и бабенокъ, мнящихъ себя носительницами передовыхъ идей!.. Ихъ и на Аеонъ нельзя пустить. Тамъ этой пѣчисти не полагается.

Онъ даже сплюнулъ.

Въ щеки Елены разомъ вступило. Она приподнялась и, взглянувъ грустно на Боярцева, поспѣшно сказала:

— Я вернусь къ Татьянѣ Егоровнѣ... проститься.

— Вы совсѣмъ?—спросилъ Боярцевъ, тоже поспѣшно.

— Да, совсѣмъ, до завтра!

Акридина поклонилась Козьмину и скорымъ шагомъ направилась къ двери.

Еще минута, и произошелъ бы взрывъ.

Даже и теперь, въ присутствіи любимаго человѣка, она не была бы въ состояніи вынести, не давъ отпора, такую выходку. Не одна женщина была въ ней оскорблена; но она не могла бы снести, безъ разнosa, самой сути того, что проповѣдывалъ такой фанатикъ, вылѣзшій изъ аеонскихъ пещеръ.

Ей, съ новой силой, сдѣлалось ясно, что Боярцевъ, при всей своей гуманности и честности, все-таки стоитъ на нижнемъ звенѣ той же цѣпи, къ которой прикованы вотъ и такіе Козьмины.

Иначе развѣ онъ выслушивалъ бы его такъ кротко?

Никакая свѣтская воспитанность не была бы въ состояніи дать подобнаго спокойствія и благодушія.

И разомъ она увидала, какъ она была уже близка къ измѣнѣ тому, на что Елена Акридина, та, что недавно воевала съ Боярцевымъ, положила всю свою жизнь.

Ею она не передѣлаетъ; скорѣе онъ ее. Въ нее закралась запоздалая страсть, а не въ него. Ихъ сближеніе

можетъ повести къ серьезной взаимной любви; но подѣ ею пропасть только закрыта, а не заложена.

Сегодня ей надо бѣжать. Даже уйди Козьминъ, и все-таки вспыхнетъ споръ. И кто знаетъ, чѣмъ онъ могъ бы кончиться.

Въ коридорчикѣ нижняго этажа она на цыпочкахъ прошла въ комнату Ульяны, поглядѣть, не тамъ ли она.

— Чтò Татьяна Егоровна? — шопотомъ спросила она няню.

— Започивали.

— Ну, и прекрасно... Я ѣду. Вы меня не провожайте. Въ передней человѣкъ.

Торопливо завязала она передъ зеркаломъ черный пуховый платокъ, и когда человѣкъ подаль ей шубку, стала такъ же торопливо застегивать ее.

Она сама лишила себя цѣлаго часа, а можетъ и двухъ, разговора съ Романомъ Денисовичемъ.

Но страхъ все еще владѣлъ ею.

Съ верку донесся возгласъ Козьмина:

— И да будетъ имъ анаема!—разслышала она.

И засмѣялась.

Этотъ аеонскій изувѣръ былъ ужъ слишкомъ курьезенъ для нея, въ эту минуту, когда она одна, когда присутствіе мужчины, взявшаго надъ нею власть, не превращаетъ ее въ кроткую подругу его, способную вынести все, для того только, чтобы не прогнѣвить и не смутить его.

— Вамъ извозчика, сударыня?—спросилъ человѣкъ.

— Я сама найду... На перекресткѣ.

И бодрой походкой она вышла на улицу.

XXXVI.

Въ ихъ помѣщеніи Елена никого не нашла и послала сейчасъ узнать, дома ли Лыжинъ; если дома, то просить его къ себѣ.

Но его не оказалось тамъ. Снизу ей принесли записку отъ Иды: „Descends chez la petite. Tu nous y trouveras tous“.

Она немного задумалась. Про исторію Лины она уже знала, и когда Ида стала ей говорить, какъ ее оживляло общество молодежи, собирающейся у той, она ни однимъ словомъ не охладила ея настроенія.

Будь это мѣсяцъ назадъ, она бы считала „пошлымъ

мѣщанствомъ“ сторониться отъ такой „жертвы любви“, какой она считаетъ Липу, и сама бы пошла за ней ухаживать, вмѣстѣ съ Идой.

Но теперь это ей представлялось „не совсѣмъ опрятнымъ“. Актриса жила „на содержаніи“ у офицера. Съ нею, вѣроятно, водятся такія же легкія женщины, какъ она сама.

Домъ Боярцевыхъ, Татьяна Егоровна, ея тонъ, правила, строгая религіозность и, поверхъ всего, образъ Романа Денисовича, его чистота, ихъ сближеніе, надежда на полное счастье, желаніе стоять, какъ и онъ, выше какихъ бы то ни было нареканій, брали свое.

Она бы и не пошла, случись это вчера. Но отъ Боярцевыхъ пріѣхала она все съ тѣмъ же осадкомъ недовольства, почти стыда за прежнюю Акридину. Ей хотѣлось попасть въ воздухъ молодыхъ чувствъ и разговоровъ, гдѣ все смѣло и ново, гдѣ не употребляютъ такихъ словъ, какъ тотъ изувѣръ съ Аѳонской горы, гдѣ хозяева не выслушиваютъ дикихъ выходокъ съ искреннимъ или поддѣльнымъ почтеніемъ и благодушіемъ.

Подумавъ немного, она сказала присланной снизу горничной, что сейчасъ будетъ, прошла въ свою спальню, поправила прическу и накинула на себя короткую мантильку съ двумя воротниками, зная, что эта мантилька идетъ къ ней.

У Липы было, дѣйствительно, цѣлое общество. Ее положили на кушетку въ углу, отодвинувъ піанино. Около нея, за самоваромъ, сидѣли Божеярина и Мухина. Ида съ Лыжинымъ — на диванѣ, и ближе къ столу, передъ ними — Петровичъ и художникъ Лукошкинъ. Воденягина незамѣтно было въ лѣвомъ углу отъ двери, за шкапчикомъ.

Елена только мелькомъ, разъ, въ началѣ своего житія въ номерѣ, видѣла Липу на подъѣздѣ и нашла лицо ея „очень интереснымъ“.

Ида сейчасъ же подвела ее къ кушеткѣ.

— Вотъ мой другъ, Елена Константиновна Акридина!

Липа сильно пожала ей руку, приподнявъ голову. Худоба и впалые глаза дѣлали ее еще красивѣе. Она была въ темномъ; волосы лежали на плечахъ, распущенные. И въ тѣлѣ она похудѣла, что дѣлало ея фигуру стройнѣе.

— Вы слишкомъ добры, Елена Константиновна, я, право, не заслуживаю.

Голосъ ея сталъ глуше и тонъ перемѣнился разительно. Ей еще не позволяли много говорить, и она, передъ приходомъ Елены, больше слушала общій разговоръ, изрѣдка вставляя свое слово.

Абридина почувала, что ея приходъ вызвалъ стѣсненіе и въ хозяйкѣ, и въ нѣкоторыхъ гостяхъ.

Поэтому она сейчасъ же, присѣвъ къ Лыжину на диванъ, стала жать ему руку и заговорила:

— Лыжинъ! Какъ я рада васъ видѣть! Точно мы съ годъ не видались.

— Пожалуй! — откликнулся онъ, весело ее обглядывая. — У васъ все хорошо идетъ? — спросилъ онъ ее потише и поглядѣлъ съ выраженіемъ.

— Хорошо! — отвѣчала она. — Я, господа, — она обратилась тотчасъ же къ остальнымъ, — прервала вашу бесѣду. Извините пожалуйста.

— Ничего! — откликнулась Липа и сказала Божеяриной: — Леля, представь же всѣхъ Еленѣ Константиновнѣ.

Божеярина встала и, поводи сначала правой, потомъ лѣвой рукой, съ жестомъ драматической ученицы проговорила:

— Вотъ это писатель Петровичъ и художникъ Лукошкинъ, а это моя подруга Мухина. Тамъ, въ углу, господинъ Воденягинъ.

— Что ты это все господинъ да господинъ? — со смѣхомъ перебила ее Мухина.

Всѣ разомъ разсмѣялись и всѣмъ стало ловко.

— Точно въ переводныхъ пьесахъ съ французскаго! — продолжала Мухина, и ямки заиграли на ея пухлыхъ щекахъ. — Первый любовникъ отступаетъ къ двери со шляпой и съ благороднымъ выраженіемъ восклицаетъ: „Сударыня!“ А первая любовница, на авансценѣ, ему въ тонъ: „Сударь!“

Опять раздался дружный смѣхъ. Липа только улыбнулась.

Съ нея вмѣстѣ съ ея болѣзнью точно слетѣла ея шумность.

— Вамъ чаю угодно? — спросила Божеярина и, круто обернувшись въ сторону своей подруги, выговорила съ особою интонаціей: — Благодарю за репримандъ.

— У васъ здѣсь славно, — сказала Лыжину Елена вполголоса. — Такъ молодого! И я рада за Иду! — прибавила она.

Та разслышала ся слова.

— Да, мнѣ очень хорошо... И ты меня должна вдвойнѣ понимать.

Она наклонилась къ Еленѣ и досказала:

— У тебя тамъ, а у меня здѣсь... Вѣсто смерти — жизнь.

Слово „смерть“ всѣ могли разслышать. Но здѣсь изъ „случая“ съ Липой секрета не дѣлали. Она сама, передъ приходомъ Акридиной, сказала, не приходя въ волненіе и съ тихой усмѣшкой:

— Лидія Павловна, Деля да докторъ Гурьяновъ спасли меня. Нужно ли это было? Если нужно, надо постараться, чтобы они объ этомъ первые не жалѣли.

Она хотѣла показать, что никакого щекотливаго вопроса не дѣлаетъ изъ своей попытки покончить съ собою. Такъ всѣ ее и поняли. Ида и „дѣвочки“ знали уже, что она, когда и совсѣмъ оправится, не будетъ выступать въ Москвѣ и уѣдетъ въ провинцію. О баронѣ Гольцѣ она ни разу не спросила ни у кого и ни однимъ словомъ его не задѣла, точно онъ не существуетъ на свѣтѣ. И видно, что это не стоить ей никакихъ усилій надъ собою.

Елена еще считала ее жертвой любви, и теперь ее интересовалъ исходъ этой драмы. Она кое-что соображала насчетъ барона Гольца и своей племянницы. Кажется, Нина впервые поймалась. И пускай судьба собьетъ съ нея высокомерную увѣренность въ себѣ, весь этотъ вынѣшній позитивизмъ тщеславія и равнодушія ко всему, что не она, не ея домъ, не ея туалетъ, не ея наружность.

— Она гораздо красивѣ Нины, — вполголоса сказала Елена Лыжину.

— Вы находите?

— А вы все продолжаете млѣть передъ моей племянницей?

Вопросъ былъ сдѣланъ игриво, но не злобно.

Тотчасъ она взяла Лыжина за руку и прибавила почти шопотомъ:

— Полюбите, только не ее. Вы изстрадаетесь.

Лыжинъ разсмѣялся.

— Нѣтъ! Даже и въ наперсники врядъ ли гожусь... А такъ, смотрю со стороны, и ничѣмъ не возмущаюсь.

— Даже и гадостями?

— Все вѣдь относительно, другъ мой... Если жена моего хозяина дѣйствительно поймалась,—знаете, что меня будетъ занимать?

— Что?

— Не ея психологія, а то, какъ поведетъ себя Захаръ Лукьяновичъ. Онъ гораздо характернѣе, чѣмъ она. Они разомъ замѣтили, что говорятъ вполголоса.

Общій разговоръ что-то не налаживался, и Еленѣ стало опять неловко. Она же помѣшала, а сама не можетъ оживить общество.

Неужели она такъ вся ушла въ то, что тамъ, въ стародворянскомъ домѣ съ мезониномъ, и нѣтъ у ней въ головѣ ни на что отклика, и въ сердцѣ ничего, кромѣ упорнаго захвата, личнаго счастья?

Вошелъ лакей и у дверей перегородки доложилъ:

— Господинъ Брянцева; прикажете принять, Олимпіада Дмитріевна?

Всѣ переглянулись. Первая вскочила Божеярина и сейчасъ схватилась рукой за свой шиньонъ. Мухина убѣжала въ спальню оправиться. Появленіе такого крупнаго драматическаго „сюжета“ сейчасъ же подѣйствовало на обѣихъ.

— Просите!—отозвалась Липа и спросила Елену:— вы его, конечно, видали на сценѣ?

— Видала,—отвѣтила Елена, немного удивленная тѣмъ, какимъ тономъ Липа говорила о Брянцева, точно будто она сама не принадлежитъ къ этому же мірку.

Брянцева заѣзжалъ разъ во время ея болѣзни, и оставилъ карточку.

Вошелъ онъ грудью впередъ, одѣтый, какъ всегда, съ особой старательностью, съ бѣлымъ жилетомъ и слегка подтянутой.

Онъ пожалъ руку Липы медленно, стоя съ наклоненой головой у кушетки. Потомъ онъ отдалъ всѣмъ круговой поклонъ и низко поклонился Акридиной, когда Липа, со своего мѣста, представила его.

Запахъ тонкихъ англійскихъ духовъ пошелъ отъ него по комнатамъ, смѣшавшись съ дымомъ папиросъ.

Дѣвочки уже вернулись и, возбужденно поздоровавшись съ нимъ, стали угощать его чаемъ. Онъ имѣлъ съ ними особенный, благодушно-поощрительный тонъ.

Брянцева желалъ сначала нащупать почву, какъ здѣсь

вести себя: вполне „игнорируя“ исторію, или какъ товарищъ по искусству, безъ ненужной уклончивости.

Онъ выбралъ средній путь и, глотнувъ изъ стакана съ чаемъ, обратился къ двумъ молодымъ людямъ—писателю и художнику, и началъ:

— Вотъ, господа!.. Помните объѣмъ нашихъ мыслей здѣсь, въ этой самой комнатѣ?

— Какъ же!—живо откликнулся Петровичъ.

Художникъ только мотнулъ головой, и его затуманенные глаза ушли въ тотъ уголъ, гдѣ было изголовье кушетки.

Изъ нихъ всѣхъ, кромѣ женщинъ, онъ всего больше страдалъ за женщину, за нанесенное ей оскорбленіе. Но онъ боялся высказаться. Нервы у него въ такомъ напряженіи, что онъ способенъ былъ и разревѣться.

— Да, господа, — продолжалъ сдержанно и мягко актеръ,—поучительный примѣръ. Съ душой артиста нынче играютъ какъ съ какимъ-то неодушевленнымъ предметомъ. И женщину щадятъ такъ же мало, какъ и мужчину!

— Брянцева! — остановила его Липа и приподнялась станомъ, облокотившись о спинку кушетки. — Спасибо за ваше участіе. Вы здѣсь можете говорить безъ всякихъ умолчаній,—она сдержала горькій смѣхъ,—но, право, не стоить. Чтѣ было—то прошло!

— Зло и низость не заслуживаютъ прощенія, Олимпиада Дмитріевна!

— Мы сами всѣ виноваты.

— Кто же это всѣ?

— Люди того міра, гдѣ и я, грѣшная, до сихъ поръ билась. Слишкомъ актеры и актѣрки, — выговорила она полудурачливо,—падки до того, что про нихъ пишутъ. А кто накидывается на ядовитую приманку славы, тотъ самъ и виновать!

XXXVII.

— Олимпиада Дмитріевна принимаетъ? — раздался отъ дверей молодой звонкій голосъ.

Дѣвочки сейчасъ узнали голосъ Шипилина.

— Принимаетъ, принимаетъ! — крикнула Мухина, бросаась къ нему навстрѣчу.

Дѣля Божеярна уже поддразнивала ее тѣмъ, что она „имѣетъ легкій интересецъ“ къ студенту.

Шипилинъ, не снимая пальто, выставилъ свою голову изъ-за портьеры и окликнулъ Лыжина:

— Юрій Петровичъ!

— Чтò угодно?

— Къ вамъ навѣрхъ прошелъ Иванъ Кузьмичъ.

— Кострицынъ?

— Да. Мы вмѣстѣ шли.

Лыжинъ приподнялся и, обращаясь къ Липѣ, спросилъ:

— Позвольте мнѣ просить сюда моего пріятеля. Я желалъ бы вамъ его представить.

— Очень рада... Мѣста, кажется, хватить,—откликнулась Липа.

— Можно еще послать за стульями,—сказала Мухина и поглядѣла съ лаской своихъ, и безъ того добрыхъ, глазокъ на студента.

Черезъ пять минутъ Кострицынъ уже сидѣлъ у круглаго стола, и Божеярина наливала ему стаканъ чаю.

Его пріятно встряхнулъ этотъ неожиданный визитъ къ Липѣ. Онъ смотрѣлъ на нее со смѣсью любопытства и неяснаго и быстрого сочувствія.

Еще вчера онъ, говоря о знакомствѣ съ ней Лыжина, считалъ ее „прожженой“.

Здѣсь, въ двухъ шагахъ отъ кушетки, гдѣ лежала Липа, такая величавая и тихо задумчивая въ лицѣ, съ него слетѣло всякое дурное отношеніе къ этой женщинѣ, которую онъ совсѣмъ не зналъ иначе, какъ по газетнымъ пасквильнымъ замѣткамъ.

Актеръ овладѣлъ опять разговоромъ на ту же тему.

— Олимпиада Дмитріевна, — началъ онъ въ позѣ лектора, приступающаго къ публичной бесѣдѣ. — Вы отчасти правы, находя, что мы, артисты разныхъ специальностей, слишкомъ отдаемся впечатлѣніямъ отъ прессы и публики. Но, спрашиваю я васъ всѣхъ, господа: развѣ артисту есть возможность уйти отъ прямого воздѣйствія этихъ двухъ трибуналовъ его таланта и умѣнья?

Присутствіе женщинъ заставляло Брянцева говорить красивѣе, употреблять выраженія — „на высотѣ положенія“, какъ онъ привыкъ въ такихъ случаяхъ. Онъ зналъ, что Лыжинъ — „интересный интеллигентъ“, Кострицынъ — магистрантъ, Воденягинъ — человекъ съ политическимъ прошлымъ, Шипилинъ — студентъ, играющій роль въ средѣ своихъ товарищей.

Къ университету и студентамъ Брянцевъ имѣлъ почти

тельно-нѣжное чувство, какъ большинство актрисъ и актеровъ. Студенческая публика вліяетъ на ихъ репутацію, рѣшаетъ вызовы и часто успѣхъ роли или всей пьесы: а провалъ пьесы непременно вліяетъ и на успѣхъ исполнителей.

— Да, вы не только правы, — повторилъ Брянцевъ и осторожно положилъ папиросу на край блюдечка, — такая неизбѣжная впечатлительность дѣлаетъ часто сценическихъ артистовъ мучениками особыхъ условий своего дѣла.

— Въ какомъ смыслѣ? — остановилъ его Кострицынъ, среди большого молчанія.

Онъ мысленно добавилъ одной изъ своей любимыхъ поговорокъ: „Хорошо птица поетъ—гдѣ-то сядетъ!“

— Очень понятно, господа! — груднымъ звукомъ отзывался Брянцевъ и выпрямилъ грудь. — Гдѣ же, въ какой другой области артистъ такъ подвергается свое часто законное самолюбіе ежедневнымъ испытаніямъ?

— Да, вы вотъ въ какомъ смыслѣ!..

— Вы только сравните артиста съ писателемъ или даже съ художникомъ. Писатель написалъ одну пьесу, одну повѣсть въ годъ... Еще драматургъ приходитъ въ прямое столкновеніе съ залой. Его вызываютъ или ему шикаютъ.

— И свищутъ, — добавилъ Петровичъ.

Многіе засмѣялись.

— Но всего разъ вѣдь, господа! Точно то же и живописецъ, выставяющій свою картину. Этотъ даже и совсѣмъ гарантированъ отъ прямого дѣйствія на свои нервы, отъ прямыхъ оскорбленій. На выставкахъ не принято ни шикать, ни аплодировать... Писатель, — продолжалъ Брянцевъ съ жестомъ лектора, блестяще развивающаго по категоріямъ свои доводы, — писатель-беллетристъ и совсѣмъ не видитъ публики. Онъ можетъ абсолютно ее игнорировать, если ему это угодно.

— А господа рецензенты? — отзывался изъ своего угла Воденягинъ. — А милашки, въ родѣ господина... Ну, да именъ не нужно!

Всѣ поняли, что онъ съ трудомъ воздержался отъ имени Спондѣева.

— Такъ вѣдь и для насъ, кромѣ всего остального, есть та же критика, та же брань, клевета, непониманіе, интрига! И поверхъ всего, господа, ежедневное, если хотите, раздраженіе нашего я вызовами. Хорошо, со стороны,

философствовать, но надо быть человѣчнымъ... Сегодня васъ за роль вызвали пять разъ... Завтра, за ту же роль, безусловно одинаковую на вашъ собственный взглядъ, ни хлопка... И рядомъ, товарища, которому вчера шикали, вызываютъ какъ бы вамъ въ пику.

— И очень!—крикнули разомъ дѣвочки.

Въ ихъ сторону Брянцевъ обернулся и наставительнымъ тономъ закончилъ:

— Вамъ, mesdames, предстоитъ все это испытать. И нѣтъ силы, особенно женской душѣ, закалить себя такъ, чтобы зала, приемъ—это роковое актерское слово—не существовало для насъ. Нѣтъ такой силы!

— Нѣтъ!—подтвердила Божеярина и переглянулась съ Мушковой.

Объ онѣ, вразъ, подумали:

Какой же онъ умный! Не мудрено, что такую силу забираетъ на сценѣ.

— Но вамъ, — мѣняя тонъ, заговорилъ Брянцевъ, уже въ сторону Липы, — вамъ, Олимпиада Дмитриевна, еще столько впереди! Вы, конечно, когда вполне оправитесь, будете продолжать свои дебюты, вѣря въ свое дарованіе?

— Нѣтъ! — откликнулась Липа, и лицо ея стало еще серьезнѣе.

— Какъ нѣтъ?

— Очень просто. Съ меня „спала пелена“, Брянцевъ, знаете, какъ вы въ Чацкомъ вскрикиваете. Самой кажется, что всѣ въ стачкѣ противъ тебя, клеветаютъ... И — ни чуть не бывало!

— Помилуйте! — выѣхался Шипилинъ и вскочилъ съ своего мѣста. — Помилуйте, Олимпиада Дмитриевна! Вамъ грѣшно говорить. Вы насъ не подкушали... когда вамъ хлопали... мои товарищи. Ноты у васъ есть — въ душу забираются, ей-Богу!

Его глаза блеснули. И обѣ дѣвочки закивали ему головой.

— „Въ душу забираются“! — повторила Липа, и ея тонъ заставилъ Акридину и Иду прислушаться съ особеннымъ интересомъ.

И Костицынъ значительно поглядѣлъ на Лыжина, отъ котораго отдѣлялъ его столъ передъ диваномъ.

— Этого мало, господа, — продолжала Липа, все еще довольно медленно. — Одного нутра мало.

— Разумѣется! — докторально подтвердила Акридина.

— А ноть нѣкоторыхъ нѣтъ, и на сильныя партіи не хватить регистра. Теперь, — и Липа оглядѣла всѣхъ съ усмѣшкой, — теперь и подавно... И средній-то регистръ можетъ оказаться слабъ... Да и вообще...

Не договоривъ, Липа повела рукой въ воздухъ.

— Если вы, Олимпіада Дмитріевна, — возразилъ Брянцевъ, — чувствуете въ себѣ артистку, то вопросъ голоса — еще не все.

— Какъ же не все, для пѣвицы? — замѣтила Акридина.

Студентъ и дѣвицы тоже вопросительно поглядѣли на актера.

— Не будетъ ноть оперныхъ, найдутся ноты для драмы, — выговорилъ онъ, сложивъ губы въ поощрительную усмѣшку и глазами приласкалъ Липу. — Въ васъ, Олимпіада Дмитріевна, всѣ задатки драматической артистки на крупныя роли — ростъ, фигура, лицо, тонъ, тембръ голоса, движенія. Повѣрьте мнѣ: опера — дѣло рискованное. Виртуозный голосъ въ нашемъ ужасномъ климатѣ — тепличное растеніе. А въ драмѣ женщина можетъ занимать первое мѣсто двадцать, тридцать лѣтъ, иногда всю жизнь... стоить только переменить амплуа.

„Вотъ ты куда пробираешься“, — подумалъ Кострицынъ, и ему вдругъ сдѣлалось жутко отъ мысли, что вотъ этотъ „первый сюжетъ“ займется Липой, станетъ готовить ее на драматическую сцену, съ задней мыслью легкой пофѣды. Такой, небось, не упуститъ случая!

— Нѣтъ, Брянцевъ, — заговорила Липа, и голосъ ея дрогнулъ, — и опера, и драма — все это одна и та же ловушка. Ужасный этотъ міръ! Вы сами сейчасъ набросали намъ картину... всѣхъ гадостей. Жить весь свой вѣкъ въ чадѣ, кипѣть въ котлѣ! И постоянно лгать самой себѣ, цѣпляться за что-то, что отъ тебя предательски ускользаетъ. Все бросить въ эту бездонную пропасть — и тѣло, и душу, и всякое человѣчное чувство, и мысль, и то, что еще такъ недавно считала святымъ, ставила выше собственной особы и воображаемыхъ талантовъ!

Голосъ ея все сильнѣе вибрировалъ и дѣлался теплѣе; но болѣзненной нервности не замѣчалось.

Ида и Елена заслушались ее и взглядывали другъ на друга.

Въ Еленѣ слова Липы особенно отдавались. И она сама близка къ такому же перелому. Ея ученость, забота объ извѣстности, поѣздки, конгрессы, медали, оваціи — все это

тамъ гдѣ-то. Безъ любви, безъ взаимности она не согласна жить. То же говорить и въ этой „актеркѣ“.

Ида знала, что въ „актеркѣ“ есть и еще что-то, и она дѣйствительно близка къ перелому не изъ одной отвергнутой любви.

Задумался и Лыжинъ... Изъ своего угла Воденягинъ, что-то слышавъ „свое“, поднялъ голову. Художникъ Лукошкинъ понималъ Липу больше всѣхъ остальныхъ, и у него вырвался, среди общаго молчанія, возгласъ:

— Это такъ!

Всѣ на него поглядѣли.

— Однако, — возразилъ Кострицынъ, чувствуя новое, незнакомое ему волненіе, — гдѣ же женщина царить, какъ не на сценѣ, гдѣ она можетъ поднять свою личность до высшаго предѣла?

— Царица! — глухо возразила Липа. — Царица! Полноте, господа. Кого прельщать? Передъ кѣмъ бѣса тѣшить? И въ какой странѣ?.. Совѣстно! Гадко!

И она взялась руками за лицо.

Всѣ опять примолкли.

XXXVIII.

По кабинету Захаръ Лукьяновичъ ходилъ большими шагами и курилъ.

Лыжинъ сидѣлъ въ креслѣ, въ глубинѣ комнаты.

— Такъ васъ Питеръ не прельщаетъ, Юрій Петровичъ? А то бы прокатились! Дня въ четыре я бы со всѣми дѣла ми управился.

Только что передъ тѣмъ Кумачевъ предложилъ Лыжину съѣздить съ нимъ вмѣстѣ въ Петербургъ, куда онъ отправлялся, какъ глава депутаціи и, особенно, какъ попечитель нѣсколькихъ благотворительныхъ учрежденій.

Лыжинъ не любилъ Петербурга и, кромѣ того, онъ не желалъ ѣхать „при его степенствѣ“, какъ бы въ качествѣ его домашнего секретаря.

По возбужденному настроенію Кумачева видно было, что онъ надѣялся на особенную награду. Говорилъ онъ съ Лыжинымъ не объ этомъ, а о томъ ходатайствѣ, гдѣ онъ являлся защитникомъ „истинно-русскихъ“ интересовъ.

— Напрасно вы не желаете проѣхаться Юрій Петровичъ. Тамъ бы и вамъ показало нѣсколько образчиковъ

петербургских высокоумныхъ администраторовъ, которые мудрятъ надъ святой Русью.

Лыжинъ зналъ, что предметъ ходатайства все то же— „поощреніе національной промышленности“. Прежде онъ бы посмотрѣлъ на это, какъ на ненасытную погоню за барышомъ русскихъ „буржуевъ“, подъ прикрытіемъ любви къ отечеству. Теперь дѣло представлялось ему иначе, и онъ уже не считалъ такого Захара Лукьяновича „съ товарищи“, жадными кулаками, способными только кланяться о запретительныхъ пошлинахъ и усиленной правительственной поддержкѣ. Фабричный людъ видѣлся ему изъ-за этихъ хозяйскихъ домогательствъ—тысячи рабочихъ, которымъ приходилось бы плохо, на ихъ тощей землишкѣ—не будь тутъ тѣхъ же Кумачевыхъ, постоянно раширяющихъ свое производство... А безъ высокихъ пошлинъ—гдѣ же имъ соперничать съ заграничнымъ товаромъ?

Бхать съ нимъ въ Петербургъ Лыжину все-таки не хотѣлось—не изъ одного только дворянскаго чувства. Здѣсь, въ домѣ Захара Лукьяновича, что-то начинало происходить на половинѣ Антонины Борисовны. Въ ея обращеніи съ нимъ произошла на-дняхъ перемѣна. Она точно колебалась: быть ли съ нимъ совсѣмъ откровенной, или остаться въ тонѣ ласковаго благоволенія, не допуская ни до какой фамильярности.

Онъ себя допросилъ. Никакой претензіи онъ въ себѣ не подмѣчаетъ. Нина, какъ женщина, была бы въ его вкусѣ; но ему любить поздно, да и никогда онъ не склоненъ былъ къ связи съ замужней женщиной. Ему хотѣлось найти въ Нинѣ больше души и ума, чѣмъ предполагалъ пріятель его, Кострицынъ, и, обратись она къ нему искренно за поддержкой въ минуту женскаго кризиса, онъ готовъ былъ поддержать ее.

Кризисъ, кажется, явился. Его занимало также—догадывается ли о чемъ-нибудь „супругъ“.

Захаръ Лукьяновичъ казался совершенно довольнымъ, даже съ особенно приподнятымъ сознаниемъ своей личности. Никогда, слушая его, нельзя бы было примѣнить къ нему прямѣе изреченія, избраннаго имъ самимъ: „*ibo singulariter donec transeam*“.

Или, быть-можетъ, онъ такъ мастерски умѣетъ владѣть собою? Станнымъ могло бы и ему самому показаться хоть бы то, что Нина Борисовна совсѣмъ не участвуетъ

къ его петербургской экспедиціи. Лыжину не было извѣстно, предлагалъ ли Кумачевъ и ей проѣхать въ Петербургъ. Если и не предлагалъ, все-таки она съ своимъ тщеславіемъ должна была бы проявить чѣмъ-нибудь свое сочувствіе его поѣздкѣ и тому, съ чѣмъ она сопряжена.

И самъ Захаръ Лукьяновичъ, со вчерашняго дня, замышлялъ то же. Онъ не приглашалъ жену прямо, но былъ бы очень радъ съ ней поѣхать. Нина сказала ему только:

— Что жъ! Поѣзжай! Я очень рада.

Въ другое время она обо всемъ его, съ-глазу-на-глазъ, обстоятельно бы допросила и дала бы указанія, у кого побывать изъ ея знакомыхъ и родственниковъ. На этотъ разъ—ничего.

Въ ея обращеніи съ нимъ онъ не подмѣчалъ ничего необычнаго; только ему сегодня утромъ, когда они просились, показалось, что она слишкомъ поспѣшно ушла въ свою уборную.

О баронѣ Гольцъ онъ разъ подумалъ съ такимъ чувствомъ, какого прежде не зналъ, и только. Этого, хотя бы и весьма благообразнаго „калегварда“, онъ не будетъ же, ни съ того, ни съ сего, ревновать къ женѣ! Антонину Борисовну онъ слишкомъ высоко ставитъ, да и не считаетъ совсѣмъ склонной къ увлеченіямъ: не такая у нея натура. Даже въ немъ, если его разбередить, найдется гораздо больше темперамента. Слѣдовательно, если онъ за себя можетъ въ-время поручиться, то тѣмъ паче она.

Кумачевъ надавилъ пуговку звонка.

— Есть гости у барыни?—спросилъ онъ вошедшаго камердинера.

— Баронъ Гольцъ сидятъ у нихъ.

Въ лицѣ Захара Лукьяновича не дрогнула ни одна жилка.

Слова лакея: „сидятъ у нихъ“ неприятно промѣлились по нему, точно у него кожу гдѣ-то засадило.

— Не хотите подняться къ Антонинѣ Борисовнѣ?—спросилъ онъ Лыжина, когда камердинеръ вышелъ изъ кабинета.

— Съ удовольствіемъ, только позвольте мнѣ написать у васъ одно письмо.

— Сдѣлайте одолженіе.

Уходя, Кумачевъ обернулся къ столу, куда уже присѣлъ Лыжинъ, и, покачавъ головой, выговорилъ:

— Жаль, что вы не желаете проѣхаться въ Питеръ; право, жаль.

„Питеръ“, вмѣсто „Петербургъ“, онъ говорилъ всегда, желая и въ этомъ держаться коренныхъ русскихъ названій.

Въ третій разъ счетомъ въ теченіе одной недѣли ему приводилось встрѣчаться съ барономъ и всегда въ одно и то же время. Правда, это пріемные часы Антонины Борисовны,—однако, что-то частенько.

И въ первый разъ, когда онъ проходилъ по первой гостиной, ему стало немного тревожно, точно онъ боялся на что-нибудь наткнуться, если войдетъ невзначай въ кабинетъ жены.

Даже захотѣлось кашлянуть.

Онъ отлично зналъ, что ничего подобного никогда не испытывалъ. Да и съ какой стати?

Раздались шпоры по ковру. Баронъ Гольцъ встрѣтился съ нимъ въ дверяхъ второй гостиной и, остановившись, отвѣсилъ ему почтительный поклонъ.

Захаръ Лукьяновичъ задержалъ его руку и спросилъ:

— Куда же вы спѣшите, баронъ? Или много еще визитовъ?

— Есть,—лаконически выговорилъ Гольцъ.

— Долго еще пробудете у насъ, на Москвѣ?

— Еще не рѣшилъ... вѣроятно, до поста.

— Поживите.

Никогда еще Захаръ Лукьяновичъ не чувствовалъ себя такимъ джентльменомъ. И его голосъ звучалъ гораздо барственнѣе, чѣмъ у этого великосвѣтскаго офицера.

Проводивъ его до дверей первой гостиной, онъ спросилъ его на прощанье:

— Прикажете поклониться отъ васъ городу Санктпетербургу?

— Вы ѣдете?

Гольцъ спросилъ его умышленно спокойно.

— Какъ же, и не дальше, какъ сегодня вечеромъ.

Кумачевъ точно хотѣлъ и самого себя увѣрить, что онъ нисколько не смущенъ, да и офицеру показать, что не считаетъ его опаснымъ.

Входя въ кабинетъ жены, онъ подумалъ:

„А если бы вдругъ попросить Нину, чтобъ она поѣхала со мной?“

Средство показалось ему очень вѣрнымъ, только онъ опять-таки считалъ себя и ее выше такихъ подходовъ.

Будь онъ „самъ“ на старо-купеческій ладъ, онъ бы безъ церемоніи приказалъ ей укладываться, разъ его беспокоитъ то, что она остается безъ него.

Развѣ онъ, Захаръ Лукьяновичъ, способенъ на это.

Нина стояла передъ мольбертомъ, гдѣ уже зарисованы были ирисы, и смотрѣла на одинъ изъ цвѣтовъ.

— Это ты, Закки?

Липо ея было ясное, глаза блестящія, на губахъ легкая усмѣшка. Смущенія ни единой капли.

— Ниночка!—онъ иногда такъ ее звалъ,—ты, кажется, не очень рада, что я ѣду?

— Почему?

Она повела своими бархатными бровями.

— Вѣдь ты знаешь,—онъ взялъ ее слегка за талію и прошелся съ нею по комнатѣ,—изъ этого похода твой Закки можетъ вернуться... кое-съ-чѣмъ.

Для нея это было важнѣе, чѣмъ для него самого. Получи онъ давно желанное званіе, онъ имѣетъ входъ всюду, а въ ближайшемъ будущемъ и четвертый классъ, и губернаторство, если онъ этого пожелаетъ.

— Ты надѣешься?—спросила она ласково, но безъ всякаго оживленія.

— Постараюсь вести себя, какъ мальчикъ-пай и заслужить награду, прежде всего отъ моей женушки.

Никогда онъ не называлъ ее „женушка“.

Нина даже поглядѣла на него.

„Ой, попробуй средство!—подсказалъ себѣ Захаръ Лукьяновичъ.—Пригласи ее въ Петербургъ и подмѣчай, какъ она поведетъ себя“.

Пересилило сознаніе своего джентльменства.

— Ты скучать не будешь?—спросилъ онъ и поцѣловалъ ее въ шею.

Нина стояла неподвижно и та же холодная усмѣшка раскрывала ея пышный ротъ.

— Постараюсь не скучать.

Заслышавъ чьи-то шаги, она легкимъ притрогиваніемъ руки освободила свою талію.

— Это Юрій Петровичъ! — успокоительно выговорилъ Кумачевъ.

— А-а!

Она все-таки освободила свою талію и пошла къ ди-



вану, на который опустилась въ свою полулежащую позу. Захару Лукьяновичу было не по себѣ.

XXXIX.

Нина удержала Лыжина, послѣ того, какъ мужъ ея удалился.

Въ ней, на взглядъ Лыжина, была та „игра“ въ обращеніи съ мужемъ, какой прежде онъ не подмѣчалъ, что-то двойственное и трудно уловимое.

Когда они остались вдвоемъ и Нина пригласила подать чай, онъ сказалъ ей:

— Вы, Антонина Борисовна, какъ я же,—Петербургa не долюбиваете?

— Нѣтъ, — промолвила она, игриво поглядывая на него. — Съ Закки я не разсудила ѣхать. Зачѣмъ? Только ему мѣшаты! Онъ цѣлые дни будетъ представляться и развѣзжать по министерствамъ разнымъ... Морозы ужасные. И никого мнѣ не хочется особенно видѣть. Къ Фигнеру я равнодушна, достаточно слушала его и здѣсь... А Михайловскій театръ ужасно упалъ.

„Хитришь ты, голубушка, — весело поправляя ея, про себя, Лыжинъ. — И хитришь довольно ловко, отдаю тебѣ справедливость“.

Въ немъ, противъ собственнаго ожиданія, заговорило не злорадство барина при видѣ того, какъ зазнавагосся купчишку начинаетъ артистически обманывать его жена, родовитая дворянка, — нѣтъ, совсѣмъ противоположное.

Захара Лукьяновича ему становилось жалко, какъ бы обидно за него.

— Вы скучать безъ него не будете, — сказалъ онъ не звукомъ вопроса, а съ интонаціей увѣренности.

Нина поглядѣла на него пристально.

Ея тонъ былъ сегодня не такой, какъ на-дняхъ, проще и съ явнымъ оттѣнкомъ почти пріятельской искренности.

И это онъ отмѣтилъ, про себя.

Лыжина случай посылалъ ей, какъ единственнаго человека, котораго она могла приблизить къ себѣ, ничѣмъ не рискуя. Свою пріятельницу Напоп она не желала дѣлать своей наперсницей. Та придастъ всему банальный характеръ и начнетъ болтать по всему городу, хотя и станетъ божиться и клясться, что тайна умретъ съ ней вмѣстѣ. Къ Эсаулову она охладѣла... Да и ничего нѣтъ

глупѣе, какъ говорить о своемъ любовномъ дѣлѣ мужчинѣ, который когда-то имѣлъ на васъ брачные виды.

Оставаться совсѣмъ одной съ своимъ „секретомъ“ было ей тяжело, чего она и сама бы не ожидала отъ себя. Только Лыжина она считала человѣкомъ „de son bord“ въ своемъ домѣ, и съ того дня, когда, въ этой самой комнатѣ, она поцѣловала Гольца, ей надобенъ былъ сообщникъ-пріятель, съ которымъ она чувствовала бы себя въ своемъ лагерѣ, въ лагерѣ людей родовитыхъ, надѣленныхъ бѣлой костью. Такому сообщнику будетъ лестно ея довѣріе. Онъ его пойметъ, онъ умный и бывалый холостякъ. Хорошія чувства въ своему „принципалу“ онъ врядъ ли можетъ имѣть. Милліоны, себѣ на умъ и напускное джентльменство Захара Лукьяновича должны тайно раздражать такого тонкаго человѣка, какъ Лыжинъ.

Въ глазахъ Нины онъ не прочелъ никакого предвѣщенія скуки одиночества по отъѣздѣ супруга.

— Затѣмъ, Юрій Петровичъ,—шутливо начала Нина,—говорить мнѣ казенныя фразы? Мы съ вами выше этого. Развѣ я сентиментальная Пульхерія Ивановна? Нашъ медовый мѣсяцъ давно прошелъ. И, вообще, мы держимся правила не быть постоянно вмѣстѣ. Развѣ вы не находите, что такъ лучше?

Лыжинъ молча согласился наклоненіемъ головы. Онъ могъ бы сейчасъ же перевести разговоръ туда, гдѣ Нина ждала его... И почему-то медлилъ, съ какой-то полусознательной хитростью.

— Знаете, — продолжала Нина въ нѣсколько иномъ тонѣ, — въ страстныхъ и сентиментальныхъ супружествахъ часто выходятъ такіе перевороты. Вы слышали, Юрій Петровичъ, про Орѣхову, двоюродную сестру нашего знакомаго... вы съ нимъ познакомились у насъ на обѣдѣ... Помните, когда были въ первый разъ?

— Помню, помню.

— Она была сирота и наслѣдница шести милліоновъ.

— Господи!

— Только у купчихъ и могутъ быть такія безумныя деньги. Она еще дѣвочкой влюбилась въ приказчика своего дяди. Жгучая страсть! Опекунъ ей не позволялъ. Она тайно обвѣнчалась... Красавецъ-мужчина, какъ выражается Захаръ Лукьяновичъ.

Лыжинъ замѣтилъ, что она въ первый разъ называла своего мужа по имени и отчеству, а не „Заки“.

— Пожили два года! Любовь такая, ни въ сказкѣ разсказать!.. Un Véruve, quoi! И вдругъ встрѣча съ теноромъ—мужъ получаетъ миллионъ. Это у нихъ,—протянула она съ усмѣшкой,—называется...

— Отступное?—подсказалъ Лыжинъ.

— Ха-ха! Вы знаете? Да, да, отступное. Премилое слово... И разводъ готовъ въ какихъ-нибудь два-три мѣсяца.

— Можно и скорѣе,—прибавилъ Лыжинъ.

— Можно?—спросила она, вдругъ блеснувъ глазами, и вся придвинулась къ нему, полулежа на диванѣ.

— Это зависитъ отъ капиталовъ.

— А что... это стѣитъ обыкновенно? Знаете... не такъ, чтобы глупо бросать... Вѣроятно, существуетъ что-нибудь въ родѣ таксы?

— Не прицѣнивался, Антонина Борисовна... Что-то, однако, приводилось слышать...

— Тысячъ двадцать, тридцать?

— Гдѣ! Это слишкомъ! Даже и для богачей дешевле.

— Неужели не больше десяти?

— Простыхъ смертныхъ и тысячи за двѣ освобождаютъ отъ узъ. Конечно, не такъ скоропалительно, съ нѣкоторой проволочкой. Кажется, дорогой цѣной считается—тысячъ шесть-семь.

— Mais c'est une misère!

Они оба засмѣялись, и Нина, не мѣняя своей полулежащей позы, наклонилась надъ маленькимъ японскимъ столикомъ, гдѣ стоялъ стаканъ Лыжина. И онъ придвинулся къ дивану.

— Особенно для такихъ барынь, какъ та коммерсантка, про которую вы сейчасъ рассказывали.

— Знаете, Лыжинъ,—съ злобнымъ блескомъ въ глазахъ продолжала Нина.—Вѣдь только эти купчихи и живутъ... selon leur fantaisie. Точно дарицы какія-нибудь, въ родѣ Клеопатры. Для нихъ нѣтъ препятствій... Выходятъ замужъ, откупаются отъ мужей, берутъ новыхъ, заводятъ обожателей. Enfin, elles jouissent de la vie, comme personne!

— Кажется, и въ дворянскомъ обществѣ нынче довольно часты разводы?

— Бываютъ! Въ Петербургѣ гораздо чаще, чѣмъ въ Москвѣ. Только,—она пренебрежительно улыбнулась,—все это гораздо трусливѣе... Cela traîne! Нѣтъ смѣлости!

— Потому что капиталы не тѣ.

— Ха-ха-ха! Можетъ-быть. En un mot, c'est plus mesquin! И это—право обидно.

Она не досказала чего-то. Лыжинъ посмотрѣлъ на нее, улыбаясь, и потише спросилъ:

— Вамъ что же завидовать, Антонина Борисовна,—вы далеки отъ всей этой купли-продажи мужей и женъ.

Не безъ задней мысли сказалъ онъ это и ждалъ.

Не сразу отвѣтила Нина. Она потянулась, закинула полюбившія руки за шею движеніемъ, полнымъ нѣги, и промолвила:

— Я никогда никому не завидую. Но, не правда ли, намъ, женщинамъ d'un tout autre monde, — вставила она по-французски, — приходится брать примѣръ съ такихъ вотъ господъ. Онѣ только, повторю, и умѣютъ жить и ставить свои страсти или даже... une simple toquade— выше всего. Онѣ только и умѣютъ кидать милліоны. Ся, c'est crâne! — почти крикнула она и вдругъ подобралась, опустила ноги и торопливо спросила:

— Какой можетъ быть часъ?

— Четыре, — отвѣтилъ Лыжинъ, посмотрѣвъ на свои часы.

— Ah, mon Dieu! Я опоздаю!

Нина вскочила и, протягивая ему руку, — Лыжинъ тоже поднялся, — сказала потише:

— Мнѣ надо быть къ пяти въ манежъ.

— Берете уроки?

— Я ѣзжу съ дѣтства. У насъ репетиція карусели. Вы не ѣздите?

— По-казацки... По-ученому не умѣю.

— Когда у насъ пойдетъ получше — не хотите ли посмотреть?

Лыжинъ поблагодарилъ молча.

Для него все выяснилось. Она заспѣшила въ манежъ, гдѣ будетъ ѣздить съ барономъ. Въ отсутствіе Захара Лукьяновича произойдетъ нѣчто, если уже не произошло, судя по тому, что онъ схватилъ въ ея разспросахъ насчетъ расходовъ по бракоразводнымъ дѣламъ.

„Неужели она уже такая прожженная?“ — спросилъ онъ себя, проходя вторую гостиную, и вспомнилъ, что Кострицынъ этимъ именно словомъ выразился какъ-то про Липу Углову. Нѣтъ, Липа такъ же, какъ и онъ — обломокъ крушенія и способна очутиться теперь за тысячи верстъ отъ

всякой актерской суеты и женской погони за серьезной ли любовью, за мелкими ли интригами.

Ей далеко до Антонины Борисовны. Будь у этой собственной миллионъ, она врядъ ли бы бросила его на отступное мужу; заведя друга, придержала бы свой капиталъ и только въ случаѣ прямой выгоды взять во вторые мужа любовника — начала бы добиваться развода у перваго.

Не ошибается ли она? Захаръ Лукьяновичъ можетъ оказаться посильнѣе ея натурой. Да и капиталы всѣ у него. Дарственной записи онъ еще не сдѣлалъ, въ пользу своей, хотя бы и обожаемой, жены.

Въ уборной Нина, одѣваясь въ амазонку, чувствовала себя гораздо какъ-то „уютнѣе“ послѣ разговора съ Лыжинымъ. Она была убѣждена, что очаровываетъ его своей простотой и смѣлостью. Такого пособника ей необходимо имѣть. Онъ — не „купчишка“, а свой братъ, дворянинъ, и что бы ни случилось — у ней всегда будетъ подъ рукой вѣрный человекъ. Ходы свои съ нимъ она прекрасно разочла. Да и что тутъ мудренаго, когда она и тому, кто ее захватилъ не на шутку, не желаетъ давать ходовъ больше того, какіе она разсудила допустить въ ожиданіи минуты, когда она доведетъ все свое „дѣло“ до желаннаго исхода.

XL.

Князь Иларіонъ съ самаго завтрака не выходилъ отъ себя. Лампа давно уже погасла у него на письменномъ столѣ, съ приѣзда его покрытомъ рукописями и тетрадами всякихъ форматовъ.

Вчера вечеромъ уѣхалъ Захаръ Лукьяновичъ и, прощаясь съ нимъ, — онъ зашелъ къ нему сюда, — нѣсколько разъ пожалъ ему руку и сказалъ:

— Позвольте пожелать вамъ, князь, добраго здоровья и полного успѣха.

Онъ поглядѣлъ при этомъ на столъ съ рукописями... Князь даже покраснѣлъ. Это былъ прямой вызовъ: „обратись, молъ, ко мнѣ; я тебѣ издамъ хоть десять томовъ“.

Но ему опять стало совѣстно воспользоваться этимъ.

Кумачевъ, у двери, прибавилъ и какимъ-то особеннымъ тономъ:

— Спокойствіе моего дома, князь, поручаю вашему до-

броду вниманію. Ваша племянница привыкла почитать васъ; ежели что—прошу не оставить ее вашими совѣтами.

И не сразу ушелъ, а поглядѣлъ на него довольно-таки пристально.

Эти слова запали въ душу князя. Племянницу свою онъ еще сегодня не видалъ. Она дома не завтракала. Онъ съ ранняго утра сидитъ надъ тетрадями. Въ который разъ располагаетъ онъ ихъ въ извѣстномъ систематическомъ порядкѣ, и только сегодня написалъ опъ своимъ крупнымъ живописнымъ почеркомъ полное оглавленіе, раздѣливъ свой трудъ на три отдѣла: общій и два конкретныхъ. Одинъ изъ нихъ—основы этики (онъ вездѣ писалъ по-старинному: *иѣтика*), какъ осуществленіе міровой красоты и свободы и ея олицетворенія въ женщинѣ, ея любви, ея животворной роли въ родовомъ укладѣ, въ семьѣ и обществѣ.

Съ того вечера, когда князь вернулся послѣ пренія съ Кострицынымъ, его „трудъ“ — эти нѣсколько разъ переписанныя тетради — сталъ ему еще дороже. Онъ пугался мысли скоропостижно умереть, даже не прочитавъ ихъ никому, не вызвавъ ни въ комъ отклика, ни въ одномъ молодомъ существѣ. На студентовъ онъ не надѣлся. Они слишкомъ далеки отъ его міропониманія.

Переводъ подлинныхъ книгъ, изданныхъ еще самимъ учителемъ, лежитъ у него въ особомъ сундукѣ, въ спальнѣ. Тамъ уже нечего пересматривать.

Ему сдѣлалось совѣстно, когда онъ подумалъ, что на изданіе тѣхъ книгъ онъ точно поставилъ уже крестъ, а собственныя „измышленія“ все еще надѣется напечатать, найдя издателя. Положимъ, онъ завѣщаетъ весь этотъ многотомный трудъ, трудъ всей жизни, публичному книгохранилищу.

Перечитывая отдѣльные параграфы, князь все разгорался. Ему казалось уже менѣе унизительнымъ предложить Захару Лукьяновичу изданіе его „Введенія“ въ истинное пониманіе системы великаго мыслителя. Это ему будетъ доступнѣе, чѣмъ всѣ томы Феноменологии, Энциклопедіи и другихъ частей ученія, выпущенныхъ самимъ учителемъ, — на это князь особенно сильно напиралъ и считалъ лекціи, вышедшія по смерти его, не подлинными по тексту. И ему сдавалось, что духъ этихъ посмертныхъ лекцій жилъ только въ немъ. Ученіе о прекрасномъ излагалъ онъ въ своемъ собственномъ трудѣ особенно по-

дробно. Надъ изложеніемъ этихъ главъ сидѣлъ всего больше.

Изъ нихъ надо выбрать самыя глубоко продуманныя страницы и, прежде чѣмъ знакомить съ ними Захара Лукьяновича, прочесть ихъ Нинѣ. Въ ту ночь, когда онъ началъ ей излагать идею красоты, претворенной въ естество женщины, она была слишкомъ первна. Но умъ у ней есть, и характеръ, и вѣрное чувство того, чѣмъ должна быть женщина. Она не держится разсудочно-лживыхъ поположеній къ эмансипаціи, не добивается равенства съ мужчиной во всемъ томъ, что и въ немъ самомъ—только проявленіе его болѣе грубой и матеріально-ограниченной натуры. Отъ нея исходитъ на весь домъ дуновение красоты, достолюбезности, граціи и высшей свободы духа, присущей существамъ ея пола.

Съ разгорѣвшимися щеками и повода правой бровью, перечитывалъ князь тѣ мѣста одной изъ тетрадей, гдѣ всего ярче и неотразимѣе представлены доказательства того, на чемъ зиждется духъ женщины, любовь и семейный союзъ, безъ котораго немислимъ никакой общественный укладъ. Вотъ эти мѣста онъ и прочтетъ Нинѣ, можетъ-быть, сегодня же, до ихъ обѣда. А первоосновы ученія о красотѣ, какъ источникъ добра, повезетъ прочесть къ Цыбашеву, которому онъ еще ничего не читалъ... Пускай тотъ скажетъ свое слово, если не о самомъ ученіи — спорить съ нимъ ему будетъ тяжело, — то объ языкѣ, методѣ и силѣ діалектическихъ „предпосылокъ и королларіевъ“.

Чѣмъ онъ внимательнѣе просматривалъ, тѣмъ сильнѣе увлекался самой формой изложенія и незамѣтно началъ читать вслухъ все громче и громче. Перелистывая медленно свои фоліанты и пропуская цѣлыя страницы, онъ выговаривалъ медленно своимъ музыкальнымъ басомъ, съ легкой хрипотой:

— „Красота женщины есть сладкое и непреодолимое плѣненіе, производимое ею на все окружающее. Ей все безгранично подчинено; никто и ничто не хочетъ сбросить съ себя ея плѣнительнаго ига. Въ ней красота — божественное сліяніе необходимости и свободы. Она есть чудо, и только грубый реализмъ не понимаетъ его“...

Тутъ князь закинулъ голову назадъ и, съ тихой восторженностью оглянувъ комнату, повторилъ:

— Великое чудо!

Страницы собственной прозы неудержимо привлекали его.

Онъ продолжалъ, пропуская по цѣлымъ страницамъ, выговаривать вслухъ:

— „Красота женщины есть сочетаніе несочетаннаго“...

— Разумѣется, — остановилъ онъ себя, — теперешніе разсудочники поднимутъ меня на смѣхъ за такое выраженіе, но лучше не придумаешь.

— „Сочетаніе несочетаннаго“, — съ наслажденіемъ и убѣжденно повторилъ онъ и продолжалъ выхватывать изъ рукописи:

„Только одна красота — истинно реальна; матеріальная же реальность есть несообразность, полная противорѣчій. Сфера красоты — величайшая поэма человѣчества, ибо человѣкъ дѣйствительно живетъ лишь въ образахъ прекраснаго. Женщина согрѣла красоту на своей груди. Мужчина — грубый и жалкій умникъ“!..

Эту фразу князь раскатисто пустилъ по просторной комнатѣ и тряхнулъ сѣдыми кудрями.

„Для женщины сама жизнь есть цѣль; все же остальное — подспорье жизни. Нравы создаетъ только женщина. Она — великій художникъ и творить въ себѣ, собою, и себя самою, а черезъ то — семью, общество, все человѣчество. Она все въ себѣ самой вдохновляетъ и живетъ абсолютнымъ образомъ божественной красоты“...

Въ головѣ князя естество женщины окружило въ ту минуту сіяніе, и онъ былъ убѣжденъ въ томъ, что нельзя ярче и значительнѣе выразить всѣ эти для него лучезарныя истины.

„Она сама себя похищаетъ и тѣшитъ, и гонитъ изъ себя во внѣ то, что кроется въ тайникахъ ея естества. Въ силѣ ея любви — вся безпредѣльность бытія“...

Остановившись, князь быстро перевернулъ листъ и торжественно воскликнулъ:

„Ибо нельзя любить человѣка вообще или общечеловѣка внѣ проникновенія въ его духъ, внѣ великой тайны общенія мужчины и женщины“...

Онъ всталъ отъ волненія, отеръ влажный лобъ и нѣсколько разъ прошелся широкимъ шагомъ по комнатѣ.

Тетради все еще прельщали его. Онъ разохотился, и ему пришла тутъ же мысль: „если онъ такъ же горячо и вѣско прочтетъ эти мѣста племянницѣ — она будетъ захвачена и повліяетъ на мужа. Вѣдь она, какъ большин-

ство женщинъ, не догадывается, какую „идею“ она собою изображаетъ въ брачномъ союзѣ.

На бракъ и семью князь держался взглядовъ въ строгой послѣдовательности съ своими „первоосновами“. Ему противны были всѣ новѣйшіе протесты, ведущіе къ торжеству ограниченнаго и безнравственнаго договорнаго начала.

„Любовь родовая, — слово: „половая“ онъ не хотѣлъ ставить, — началъ онъ опять читать вслухъ, — высшій вдохновенный актъ воли. Не разумѣя глубочайшаго смысла бытія, нельзя и любить, нельзя и создавать брачнаго союза. Женщина и мужчина — высочайшія антимоніи. Женщина — осуществленная мечта дѣйствительности, и мечты этой не увидишь на торжищахъ возможности вещественной жизни“...

Восхищенный послѣднимъ опредѣленіемъ, онъ еще разъ повторилъ его.

„Въ своемъ домѣ женщина представляетъ собою самое дыханіе жизни. Сила родового начала претворяется въ ней въ ангельскую чистоту, въ радость, милосердіе, свободу и нетлѣнную красоту“...

Слезы задрожали въ могучихъ перекатахъ голоса.

Медленно и тихо проговорилъ онъ послѣднія тирады, dokonчивая пересмотръ отдѣла.

„Первая *ипостась* добра и есть семья. Говорить о якобы рабской неволѣ семейнаго союза — все равно, что нападать на жизнь за то, что въ ней есть самаго коренного и закономѣрнаго“...

Этотъ аргументъ показался ему сегодня еще несокрушимѣе.

„Все существуетъ только въ своемъ предопредѣленіи, — сталъ онъ читать болѣе заorno. Безъ обязательствъ ничего создаться не можетъ. — Бракъ есть проявленіе абсолютной свободы, актъ воли, упоенной глубочайшимъ смысломъ жизни“...

Его переполнило вслѣдъ за этимъ умиленіе отъ величія идей, навѣянныхъ на него тѣнью великаго учителя.

„Мужчина и женщина одинаково стремятся къ союзу; а то, къ чему стремишься, не въ нашей волѣ. Въ семьѣ совершается духовная жертва, въ мірѣ же вещественныхъ реальностей нѣтъ ничего священнаго, какъ нѣтъ и ничего истинно-животворнаго. Только въ мірѣ дѣйствитель-

ности духа, красоты и свободы то, что согрѣто любовью, безусловно нерасторжимо“...

Нерасторжимость брачнаго союза являлась передъ его умственнымъ взглядомъ твердыней, которую по существу никто и ничто не одолѣетъ.

„Брачный союзъ, — читалъ онъ восторженно, забывая, гдѣ онъ, — несокрушимъ. Договоръ и разводъ — жалкое безобразіе. Отнять жену у мужа — значитъ, лишить его дѣйствительнаго бытія. Отнять мужа у жены — лишить ее руководящаго разума. Вспыхнетъ огонь семейнаго очага, и безпутный просторъ холостяка превратится въ чудный храмъ съ алтаремъ неугасимой любви. Въ брачномъ союзѣ вѣчность удваивается: происходитъ божественное сліяніе двухъ вѣковѣчныхъ стремленій“...

Закрывая тетрадь, князь произнесъ такимъ же умиленно-торжественнымъ звукомъ:

— Въ супружеской любви человѣкъ и природа взаимно проникаются въ одно цѣлое, утверждаютъ себя и находятъ себѣ высшее оправданіе.

Онъ такъ былъ захваченъ своимъ чтеніемъ, что, взявъ тетрадь, быстро вышелъ съ себя, поднялся наверхъ и изъ полуосвѣщенной первой гостиной направился къ племянницѣ.

Въ дверяхъ ея кабинета, на болѣе свѣтломъ фонѣ, онъ увидѣлъ ее и рядомъ высокаго офицера.

Князь не узналъ Гольца.

Ему показалось—онъ вдаль видѣлъ еще прекрасно, что Нина, прощаясь съ офицеромъ, прильнула къ нему.

Князь сталъ какъ вкопанный и правой рукой взъерошилъ волосы. Тетрадь упала на коверъ. Онъ въ большемъ смущеніи поднялъ ее и тѣмъ же быстрымъ шагомъ пошелъ назадъ съ пылающими щеками.

XLI.

Въ избушкѣ Цыбашева гости и хозяинъ только что отпили чай.

Противъ кресла Порфирія Алексѣевича, сидѣвшаго съ покрытыми одѣяломъ ногами, помѣщался князь Иларіонъ. Правѣе, ближе къ письменному столу, въ покойной, сторбленной позѣ, курилъ докторъ Гурьяновъ.

Больше гостей не было. Передъ чаемъ князь уже читалъ—взволнованнымъ голосомъ, безъ увѣренности—общую часть „Введенія“.

Онъ все еще не могъ оправиться: своимъ дальнор-
кимъ глазамъ онъ довѣрялъ. По-старинному, ему слѣдо-
вало бы, выпроводивъ того офицера, накинуться на пле-
мянницу, погрозивъ сообщить обо всемъ мужу, если она
не прекратитъ тотчасъ же свои шуры-муры.

И безъ гнѣвнаго разноса можно было бы поговорить
съ ней. На это онъ имѣлъ родственное право, да и долгъ
человѣка и мыслителя приказывалъ подѣйствовать сло-
вами разума и любви.

Не пошелъ онъ ни на то, ни на другое. Въ него за-
кралась неувѣренность. Онъ могъ и ошибиться. Въ гости-
ной стоялъ полусвѣтъ. Съ поличнымъ онъ ихъ не захва-
тилъ бы: они услышали бы его сильные шаги. Нина,
пожалуй, обрѣзала бы его словами:

— Вы, дядя, подсматриваете за мною?

Обѣдать съ нею съ-глазу-на-глазъ онъ не былъ въ
состояніи, ушелъ со двора, поѣлъ за кухмистерскимъ
общимъ столомъ, гдѣ-то на бульварѣ, потомъ все еще въ
волненіи часа два ходилъ по сильному морозу, дошелъ
до Дѣвичьяго Поля и оттуда уже отправился на Плю-
щиху, къ Цыбашеву.

Онъ ухватился за это чтеніе. Быть-можетъ, онъ най-
детъ у него одобреніе. У Цыбашева большое знакомство.
Поговорить съ какимъ-нибудь издателемъ или купцомъ,
играющимъ роль мецената: такихъ теперь довольно на
Москвѣ; торгуютъ чаемъ или хлопкомъ, а издають на-
учныя и даже „философическія“ книжки.

Когда онъ подходилъ къ домику Цыбашева, его взялъ
новый приливъ стыда.

Къ чему непременно добиваться появленія въ печати
его „Введенія“, когда онъ уже помирился съ тѣмъ, что
„подлинныя“ книги учителя останутся, и послѣ его смерти,
въ видѣ рукописи?

„Вѣдь надо и честь знать! — повторялъ князь, шагая
по неровнымъ, узкимъ тротуарамъ московской окраины. —
Просто хочу слышать живое слово человѣка, хорошо зна-
комаго съ ученіемъ, не такого софиста и декадента, какъ
тотъ рѣчистый приказчикъ Захара Лукьяновича“...

Кострицына онъ, послѣ того, видѣлъ раза два въ домѣ
племянницы, но въ пренія больше съ нимъ не вступалъ,
чувствуя совершенную ихъ бесполезность.

Чтеніе длилось до чаю, съ добрый часъ. Онъ цѣли-
комъ прочелъ двѣ главы, въ которыхъ полагались пред-



посылки всего того сооруженія діалектики, откуда онъ, сидя у себя, такъ вдохновенно декламировалъ самыя вѣскія положенія.

Цыбашевъ слушалъ внимательно, но съ утомленнымъ лицомъ. Наканунѣ у него былъ сильный припадокъ, и докторъ Гурьяновъ, при князѣ, сказалъ ему:

— Пожалуйста, Порфирій Алексѣевичъ, ровно въ десять гоните насъ... Не увлекайтесь разговоромъ, особенно на отвлеченныя темы.

Авдотья Ѳоминышна, не очень дружелюбно поглядывая на князя, за его долгое чтеніе, унесла въ послѣдній разъ подносъ съ чашками.

Развернувъ опять свою рукопись, князь тихимъ голосомъ и осторожно поглядывая изъ-подъ своихъ бровей на хозяйина, сказалъ:

— Позвольте продолжать... или имѣете сдѣлать мнѣ замѣчанія насчетъ отдѣльныхъ мѣстъ? Я буду вамъ, Порфирій Алексѣевичъ, много обязанъ, если не по существу, то въ смыслѣ діалектическомъ.

Цыбашевъ слегка нахмурилъ лобъ.

Ему было не особенно пріятно огорчить князя.

— Видите ли, Иларіонъ Ивановичъ,—какъ бы нехотя началъ онъ,—вы, какъ вѣрный поборникъ системы, вѣрны и языку вашего учителя.

— А то какъ же?—наивно спросилъ князь и оглянулъ обоихъ собесѣдниковъ.

— Я и не дѣлаю вамъ изъ этого ни малѣйшаго упрека. Но вѣдь вы желаете, конечно, чтобы васъ прочло возможно большее число?

— На пониманіе массы, грамотной черни... тѣхъ, что я называю чернью... рассчитывать не должно.

— А специалистовъ по философіи и вообще людей въ ней очень начитанныхъ сколько во всей Россіи? Сотня—много двѣ. Ихъ вы не убѣдите.

— Постараюсь.

— Массу можно только оттолкнуть изложеніемъ. Съ ней надо говорить ея языкомъ. Нѣкоторые термины, которые намъ, старикамъ, съ перваго разу понятны, имъ покажутся тарабарщиной.

Князь жалобно усмѣхнулся и тряхнулъ головой.

Иначе я писать не умѣю, — смиренно выговорилъ онъ.



— Позвольте мнѣ на минутку самому прочесть! Андрей Сергѣичъ, дайте мнѣ очки.

Гурьяновъ поглядѣлъ вбокъ на своего пріятеля и какъ бы желая ему сказать: „напрасно вы будете напрягаться, дружище“.

Цыбашевъ не обратилъ вниманія на взглядъ доктора, и какъ только надѣлъ очки и приблизилъ рукопись къ свѣчѣ—оживился; глаза его заиграли.

Онъ началъ пробѣгать ими по страницамъ.

— Вотъ! Сейчасъ!.. Вы позволите, князь?

— Поклонюсь въ ножки за всякое доброе слово.

— Напримѣръ, эта фраза,—Цыбашевъ кинулъ взглядъ на Гурьянова:—„Мертвенная потуга всяческихъ пополюзовеній“... Согласитесь... Молодежь сейчасъ...

— Подниметь на смѣхъ?—подсказалъ князь.

— Да, будетъ глумиться непременно. Вашу мысль можно понять; но выборъ словъ... отзывается именно потугой. Ха-ха! Извините за каламбуръ. Или, напримѣръ, такой серьезнѣйшій для насъ аргументъ: „Въ разсѣянности явленій данъ разуму смыслъ бытія“.

— Какъ же можно иначе выразить?—строже спросилъ князь.

— Но вѣдь это мы съ вами понимаемъ, въ какомъ смыслѣ вы ставите тутъ слово „разсѣянность“.

— Разбросанность?

— А масса вашихъ читателей сразу этого не пойметъ. Или, напримѣръ, идущая въ концѣ той же страницы фраза: „Бытіе, разумъ, любовь—суть образы одного и того же умонапряженія“. Грубнѣйшій человѣкъ... и я этого не поймалъ.

— Какъ же иначе?—крикнулъ князь и заходилъ по комнатѣ.—Коль скоро отъ идеи идетъ все, то мы только напряженіемъ нашего идейнаго „я“ можемъ возсоздавать такія категоріи, какъ бытіе, разумъ или любовь.

— Помилуйте... Это тавтологія, и притомъ неудобоваримая... Умъ, напрягаясь, рождаетъ разумъ. Это даже и по-гегельянски невѣрно. Умъ есть по-нѣмецки *Verstand*, а разумъ—*Vernunft*, и умъ, разсудокъ, находится въ подчиненіи у разума?

... Да-а,—озадаченно вымолвилъ князь и засунулъ пальцы правой руки въ волосы.

— Или вотъ еще: „Красота есть дѣйствительный образъ“. Вѣдь это только начетчикъ по діалектикѣ идеализма пой-

метъ, что вы хотите тутъ сказать словомъ *дѣйствительный* въ противоположность всему случайному и преходящему, недѣйствительному.

Щеки Цыбашева разгорѣлись. Въ немъ профессоръ и знатокъ языка проснулся и заигралъ.

Князь облокотился объ уголъ шкапа и стоялъ въ позѣ экзаменующагося студента.

— И рядомъ съ этимъ — чрезвычайно мѣткія старинныя слова. Напримѣръ, хоть бы такая строка: „на́вечеріе нашего земного бытія“. Прекрасно: „на́вечеріе“...

Лицо князя сейчасъ же распустилось въ улыбку.

— Затѣмъ есть просто вещи, способныя сбить съ панталыку всякую молодую нетвердую голову.

— Боже меня избави!

— Помилуйте! Вдумайтесь только въ рядъ такихъ изреченій...

Цыбашевъ сталъ читать, подъ-рядъ, дѣлая короткія паузы между отдѣльными фразами.

— „Видѣ человѣка все научное—безсмысленно. Человѣкъ творитъ жизнь силою своего вдохновенія, и его призваніе—побѣдить свою реальную судьбу. Красота доступна человѣку—и она лишь реальна; реальность же преходящаго вещества есть несообразность, полная противорѣчій“. Каково, Андрей Сергѣичъ?

— Слышу, слышу!

— „Посему,—продолжалъ горячѣе читать Цыбашевъ,— посему красота не нуждается въ услугахъ знанія; знаніе же должно быть утверждено и озарено красотой“...

Онъ положилъ тетрадь на колѣни и всплеснулъ руками.

— Батюшка! Ваше сіятельство! На чемъ же могутъ держаться такіе афоризмы? Вѣдь это въ юной головѣ произведетъ, извините меня, чудовищный кавардакъ.

— *Еже тисахъ—тисахъ!*—выговорилъ князь упавшимъ голосомъ.

— Кто сказать эти слова? Уклончивый римскій чиновникъ! Вамъ они врядъ ли пристали. Искренность вашу я безусловно признаю; по одной ей мало, князь. Вы вотъ, двумя страницами дальше, изволите опредѣлять три сорта мыслителей и обращаетесь съ ними... *trois cavaliers*.

— Гдѣ же, скажите на милость?

Князь подошелъ къ креслу Цыбашева и заглянулъ, черезъ голову его, въ рукопись.

— А какъ же! Извольте. Чтò же это такое: „Одни,— то-есть крайніе спиритуалисты,—пояснилъ онъ въ сторону Гурьянова,—впадаютъ въ ложное притязаніе своей облыжной свободы“. Ну, это еще куда ни шло, хотя и очень туманно выражено. „Другіе—и это всѣ мы, кто держится знанія и опыта — довольствуются механическимъ безмысліемъ!“ Благодарю покорно! За всѣ наши труды и стремленія, за все, чтò намъ пришлось испытать горькаго и тяжкаго—человѣкъ вашихъ лѣтъ и вашего душевнаго благородства кидаетъ намъ такой приговоръ!

— Я разумѣю фанатиковъ узкаго позитивнаго духа.

— Вы не оговариваетесь! Даже вашъ приговоръ эклектикамъ, что они „пытаются все склеить своей разсудочной глупостью“, я считаю глубоко-несправедливымъ. Есть всякіе эклектики, и нѣкоторые изъ нихъ принесли вашему же гегельянству большую услугу! Первый—блаженной памяти Кузень.

— Не надо его! Не надо его!—гнѣвно крикнулъ князь и даже замахалъ руками.

Цыбашевъ собрался возразить, но изъ двери показалась голова Авдотьи Ѳоминышны.

— Довольно, Порфирій Алексѣевичъ, довольно! Властью ипѣ данной объявляю преніе законченнымъ! — сказалъ Гурьяновъ и взялся за шапку.

Десять минутъ спустя, князь шагаль по безмолвному бульвару, и жесты рукъ его показывали, что онъ горячо думаетъ.

Цыбашевъ — даромъ, что когда-то зашибался самъ Гегелемъ — доканаль его. Куда же тутъ издавать свою книгу? Только вызывать гомерическій хохотъ мальчишекъ и вреднѣйшихъ суеслововъ, въ родѣ господина Кострицына.

Дома ему также жутко. Съ племянницей ему противно будетъ объясняться. Она загрязнила сразу образъ красоты и свободы—„на алтарѣ семейнаго храма“.

„Пора уходить со всѣту,—повторялъ онъ.—А пока земля не приберетъ, лучше возиться съ мужичками“...

И онъ вспомнилъ, что подъ Москвой живетъ его ученикъ, крестьянинъ, выписавшійся въ мѣщане, котораго онъ выучилъ дѣлать сыръ „на манеръ сестера“, какъ тотъ выговаривалъ.

„Поѣду къ нему въ гости, на двое сутокъ“, — рѣшилъ старикъ, переставъ разводить руками, и пошелъ спокойнѣе.

XIII.

Парныя четвероимѣстныя сани подъѣхали къ крыльцу гостиницы „Дрезденъ“.

На переднемъ сидѣньѣ Нина помѣстила англичанку-бонну съ дѣтьми, Борей и Китти.

Дѣти, нарядно и тепло одѣтыя, держались по обѣимъ сторонамъ бонны.

— Мы выйдемъ всѣ, — сказала ей Нина по-англійски, — никакого другого языка та не понимала. — Боря, выльзай!

Она сама разстегнула полость саней и первая вышла на крыльцо.

Стояла ясная, не очень морозная погода. По Тверской и по площади оживленно мелькали сани и пѣшеходы. Шелъ третій часъ.

Лакея она нарочно не взяла. У швейцара, отворившаго имъ дверь, она ничего не спросила и прошла наверхъ. Бонна и дѣти поднимались за ней слѣдомъ.

Дѣтей взяла она кататься. Дорогой она какъ будто что вспомнила и сказала англичанкѣ:

— Я должна сдѣлать визитъ... Это въ отелѣ, и дѣти могутъ подождать въ коридорѣ и отогрѣться.

Англичанка, очень молчаливая особа, только наклонила голову. Она ничего не знала и не подозрѣвала, кого могла Нина встрѣтить въ этомъ отелѣ и кто у ней бывалъ изъ молодыхъ людей. Кромѣ дѣтей, она ничего не знала въ домѣ и цѣлые дни проводила въ дѣтской.

— Дѣти! Вы посидите здѣсь. Вотъ тамъ диванъ. Только не шумѣть!

Она скорымъ шагомъ повернула вправо.

У проходившаго официанта спросила, въ концѣ коридора:

— Гдѣ стоятъ Игумновы?

Фамилію Нина не выдумала. Она знала, что такая помѣщицья семья живетъ, по зимамъ, въ Москвѣ и, кажется, въ этой гостиницѣ.

Официантъ взглянулъ на нее и, подумавъ, отвѣтилъ:

— У насъ такихъ нѣтъ, сударыня.

— Вы навѣрно знаете?

— Нешто сегодня утромъ прїѣхали... Я справляюсь у швейцара.

Онъ побѣжалъ внизъ, по другой лѣстницѣ.

Нина оглянулась и, что-то вспомнивъ, пошла назадъ, повернула влѣво и у одной изъ дверей постучалась.

Оттуда тотчасъ же вышелъ Гольцъ.

— Bonjour! — вызывающимъ тономъ выговорила она. — Me voilà!

Онъ, немного смутившись, протянулъ ей руку и взялся за дверь.

— Voulez-vous entrer? — спросилъ онъ вполголоса.

— Je ne suis pas seule.

И она пошла маленькими шагами по коридору.

Гольцъ взглянулъ на нее и улыбнулся.

— Я не считаю, — сказалъ онъ по-русски, — что вы выиграли пари.

— Какъ же нѣтъ?

— Это уловка.

— Но я у васъ. Вы видите...

— Ха-ха! Въ коридорѣ! Это все равно, что встрѣтить въ театрѣ или на бульварѣ.

— Oh! que non!

Они остановились у окна, въ короткомъ колѣнѣ коридора, гдѣ никто не могъ имъ помѣшать.

Вчера, когда она въ дверяхъ первой гостиной прильнула къ нему, онъ первый шепнулъ ей:

— Il y a quelqu'un!

Она узнала фигуру князя, быстро пошедшаго назадъ, и тревожно спросила:

— A-t-il vu quelque chose?

На это Гольцъ только пожалъ плечами.

Онъ находилъ, про себя, что мѣсто для прощальнаго поцѣлуя было выбрано не совсѣмъ удачно.

Передъ прощаньемъ, еще въ ея кабинетѣ, онъ поглядѣлъ на нее пристально и выговорилъ:

— Вы воображаете себя очень смѣлой; а хотите пари держать, что вы не рѣшитесь быть у меня?

— Въ отелѣ?

— Да, въ отелѣ.

Нина выдержала его взглядъ и сказала, подзадоривающимъ звукомъ:

— Извольте... Я принимаю пари.

— На чтò?

— На что хотите... хоть на фунтъ конфектъ.

Сегодня имъ обоимъ стало неловко; но Гольцъ скорѣе овладѣлъ собою и разсердился.

— Такъ нельзя,—глухо выговорилъ онъ, закусивъ губы.

— Вы хотите невозможнаго, — начала Нина, кутаясь въ шубу.—Князь Иларіонъ уѣхалъ на два дня изъ Москвы. Онъ навѣрно видѣлъ и не желаетъ возвращаться до приѣзда моего мужа.

Больше недѣли прошло, какъ она его поцѣловала въ первый разъ.

Цѣлый день, послѣ того, Нина не вѣрила сама этому факту. Она, Антонина Борисовна, умѣвшая всегда такъ блистательно управлять собою, съ ея гордостью, съ ея знаніемъ мужчинъ,—и вдругъ, какъ первая попавшаяся дѣвчонка, чмокнуть офицера потому только, что онъ не сдавался!

Должно-быть, знанія-то мужчинъ у ней и нѣтъ никакого. Да и откуда ему быть? У ней не было серьезнаго романа. Она никого не любила. Случай съ Гольцемъ показалъ ей, что она и не думала любить своего „Закки“.

И стоило офицеру явиться на другой день, и ее опять потянуло. Какой-то незнакомый ей задоръ овладѣлъ ею. Какъ мужчина, мужъ уже не существовалъ для нея. Это произошло быстро, въ одинъ, въ два дня. Впервые охватила ее сладкая прелесть тайнаго чувства. Ей сдѣлалось весело, такъ, какъ никогда не бывало, точно она взбирается на вершину снѣговой горы, по краю бездонной пропасти.

И со второго же интимнаго визита Гольца она показала ему, что такъ, „en passant“, онъ ею не будетъ обладать.

Это онъ понялъ и выказалъ настолько ума и порядочности, что не разсердился.

Нина допускала, что онъ ей дороже, чѣмъ она ему; но въ себѣ самой она чувствовала достаточно силы, чтобы протянуть ихъ теперешнія отношенія такъ долго, какъ она находила нужнымъ.

Ни разу въ теченіе этой недѣли ее не схватилъ за сердце страхъ потерять его. Она говорила себѣ: „Такой человекъ, какъ Гольцъ, упоренъ... Онъ будетъ добиваться полной побѣды и поймается...“ Въ какомъ видѣ поймается?

Она еще не выяснила себѣ этого во всѣхъ подробно-

стяхъ, но вѣрила въ свою натуру и въ свой умъ. Если ей написано на роду связать свою дальнѣйшую судьбу съ этимъ человѣкомъ, она это сдѣлаетъ только послѣ того, какъ все въ ней будетъ стоять за такой исходъ.

Одно она знала уже и теперь: Гольца она чувствуетъ равнымъ себѣ.

„C'est l'homme de mon bord!“ — повторяетъ она; а ея мужъ, какъ только начался ея романъ, точно совсѣмъ пересталъ существовать для нея.

Ей никакого душевнаго усилія не стоило сейчасъ же начать съ нимъ „игру“, по замѣчанію Лыжина.

Пока ея сердце и темпераментъ молчали, она еще могла имѣть какія-нибудь „scrupules“ съ Захаромъ Лукьяновичемъ; но теперь онъ только „подробность“ ея положенія, препятствіе къ полной свободѣ. Съ нимъ она себя не выдастъ; все равно, если бъ онъ былъ ея приказчикомъ.

Осторожность, однако, нужна для себя самой, чтобы не давать лишникъ ходовъ мужчинѣ, который, не желая того, вызвалъ въ ней „un coup de passion“, какъ она называла свое влеченіе къ Гольцу.

Медленно проходили они по коридору.

— Завтра у Верховцевыхъ?—спросила Нина.

— А сегодня вечеромъ?

Они опять остановились.

— Лучше не видаться.

— До приѣзда супруга?—выговорилъ Гольцъ шутливо.—

Такъ, разумѣется, благоразумнѣе... Но только...

— Только, что?—задорно повторила Нина.

— Это игра въ прятки.

— Можетъ - быть... Вы должны меня понять. Вы джентльменъ.

Безъ словъ онъ поклонился. Лицо его говорило: „Я порядочный человѣкъ. Благодарю за оказанное вниманіе и настаивать не буду“.

— Пари я все-таки не считаю выиграннымъ,—сказалъ онъ весело и, мѣняя тонъ, спросилъ: — Вамъ не угодно, чтобы я провожалъ васъ?

— Не угодно. Тамъ дѣти съ бонной.

— У! какая вы!

Они пожали другъ другу руку, и, уходя, Нина обернулась и проговорила чуть слышно:

— А demain!



Дѣти смирно сидѣли на площадкѣ. Бонна, конечно, была въ полной увѣренности, что ихъ мать дѣлала визитъ какой-нибудь дамѣ.

— Ну, ѣдьте!—возбужденно окликнула дѣтей Нина.— Я васъ завезу и сдѣлаю еще два визита,—прибавила она въ сторону англичанки.

Гольцъ не сразу ушелъ въ себѣ въ комнату. Нѣсколько разъ прошелся онъ по своему коридору, закуривъ папиросу.

На губахъ блуждала усмѣшка.

Всякаго мужчину, на его мѣстѣ, раздражилъ бы такой женскій „фортель“. Онъ въ правѣ былъ ждать чего-нибудь совсѣмъ другого.

Она схитрила—и это ему понравилось. До сихъ поръ онъ еще не сходилъ съ свѣтской женщиной красивѣе и блестящее Нины. Правда, она первая его поцѣловала. Но онъ не нашелъ, что она „лѣзетъ“. Это его тронуло, почти сконфузило. Самодовольства онъ не ощутилъ и на другой день не выказалъ съ нею никакого фатовства.

Они еще до сихъ поръ не на „ты“. Въ ней онъ не видитъ ни разврата „бабенки“, ни бездушія кокетки, желящей одурачить и вытолкать вонъ.

Эта женщина имъ искренно увлеклась, но выдерживаетъ свой „гбноръ“, и это ему въ сущности нравится. Иначе вышло бы похоже на интрижку, которой „цѣна—грошъ“. Приятно ему и то, что Нина не падаетъ въ восторженность, не стала сразу приставать съ вопросами: „m'aimes-tu? me jures-tu de m'aimer toujours?“... Она вѣдь знала, что у него была связь, и нисколько этимъ не смущалась. Если у нихъ выйдетъ что-нибудь прочное—связь съ нею будетъ, навѣрно, самое пріятное, что онъ только испыталъ въ своей холостой жизни.

Не очень ему по вкусу состоять въ друзьяхъ дома при самомъ мужѣ—онъ никогда этого не долюбивалъ. Но развѣ этого Захара Лукьяновича, какъ онъ ни лѣзъ въ господа, можно считать себѣ равнымъ? И она не ставитъ ихъ на одну доску. Это сейчасъ чувствуется.

Ни съ кѣмъ еще не бывало ему такъ ловко съ тѣхъ поръ, какъ онъ оцѣнилъ ее. Разумѣется, онъ, для того, чтобы быть около нея, не броситъ службу и не поселится здѣсь безъ дѣла.

Да такая умная женщина и не потребуетъ этого. Изъ Петербурга будетъ онъ наѣзжать.



Пора ему туда. Еще нѣсколько дней — и она будетъ у него въ гостяхъ уже безъ всякой хитрости.

Въ головѣ Гольца все это укладывалось довольно стройно и отвело его отъ „пакостной исторіи“, испортившей ему его жизнь въ Москвѣ.

XLIII.

Потемнѣвшій отъ ѣзды снѣгъ взбивался клубами изъ-подъ копытъ вороной пары.

Нина, кутаясь въ свою шубу съ собольей оторочкой, ѣхала по направленію къ Воздвиженкѣ.

Она только что завезла дѣтей и въ домъ сама не заходила.

Въ шапочкѣ съ собольей оторочкой, она глядѣла впередъ весело и смѣло. На душѣ у ней было какъ-то особенно молодо. Эта „escapade“ съ посѣщеніемъ Гольца въ отелѣ удалась ей чрезвычайно; по крайней мѣрѣ она такъ думала.

Нюгетка она не завязила, а пари выиграла. Она теперь ясно долженъ видѣть, съ какой женщиной имѣетъ дѣло. И онъ не фатъ. Съ каждымъ свиданіемъ она все сильнѣе убѣждается въ этомъ.

И какъ ловко все обдумала, вплоть до малѣйшихъ подробностей. Если бы ее встрѣтили въ коридорѣ, до номера Гольца, она сказала бы, что была съ визитомъ; увидаль бы кто-нибудь, когда они вдвоемъ шли къ выходу — онъ ее провожаетъ внизъ: она съ дѣтьми заѣзжала и вызвала его въ коридоръ. А заѣзжала она — пригласить къ себѣ.

Что-то дѣтски-радостное и плутоватое наполняетъ ее. Какая это „славная“ вещь, когда тебя сильно влечетъ къ мужчинѣ, и ты настолько владѣешь собою, что можешь продлить время!

Развѣ она можетъ сравнить это съ тѣми мѣсяцами, когда она „состояла“ въ невестахъ Захара Лукьяновича? Потому только тогда и не было скучно, что они цѣлые дни ѣздили по магазинамъ. И это, внутренно, ее обижало, хотя она и видѣла впереди обладаніе милліонами.

Теперь она и о милліонахъ совсѣмъ забыла.

Гольцъ не богатъ, но у него хорошее дворянское состояніе. Хватить и на нихъ обоихъ, и даже на дѣтей.

Вся ея жизнь — дома; въ гостяхъ, на улицѣ — весь городъ, эта Москва, начинавшая пріѣдаться, окрашены дру-

гамъ цвѣтомъ. И ей хотѣлось, чтобы чувство запретнаго плода, опасность, рискъ увеличились. Она уже слишкомъ осторожна; но такъ, до поры до времени, умнѣе и пріятнѣе.

Ей нужно было сдѣлать визитъ въ титулованный домъ, гдѣ хозяйка ужасно важничаетъ и все еще, въ сорокъ лѣтъ, считаетъ себя молоденькой. Нина терпѣть ее не могла; но поддерживать связи надо.

Нина вспомнила о своей „тетенькѣ“, Еленѣ Константиновнѣ Акридиной. Сколько времени она къ ней не кажетъ глазъ. Сегодня она способна быть съ ней по-родственному. Если та дѣйствительно „втюрилась“ въ своего предводителя,—пускай наслаждается. Она готова даже позвать ихъ обоихъ обѣдать, и пусть они у ней объяснятся въ любви.

— Въ переулочъ, первый подъѣздъ направо! — приказала Нина кучеру.

Въ „Дворянскомъ гнѣздѣ“ она сейчасъ же почувствовала себя особенно. Здѣсь вѣдь, до сихъ поръ, живетъ недавняя возлюбленная „Антоши“. Она не умерла отъ яда. Вѣроятно, опять появится на сценѣ и опять ее будутъ ругать.

Ревности и безпокойства въ ней не было ни малѣйшихъ. Чего же ей еще бояться? Развѣ за него? Если бъ та особа позволила себѣ шантажъ—она сейчасъ обратится къ генералу Кишкетову. Тотъ сумѣетъ удалитъ „cette drôlesse“, — мысленно выразилась Нина, поднимаясь на крыльцо.

Ни Акридиной, ни Иды не было дома. Нина вынула изъ бокового кармана шубы книжечку, и когда она отдавала двѣ карточки швейцару, въ переднюю вошелъ Кострицынъ.

— Антонина Борисовна! Мое почтеніе!

— Къ кому вы?—спросила Нина, запахиваясь въ шубу и не подавъ ему руки.

— Я-то?..

Онъ почему-то не сразу отвѣтилъ и предпочелъ спросить ее:

— У вашей тетушки изволили быть?

Нина, прищурившись, взглянула на него и, отвѣдя немного въ уголъ, спросила:

— Вѣдь здѣсь и Лыжинъ?

— Какъ же... Я собственно къ нему и зашелъ.

— Et la dame en question? — Нина сдѣлала жестъ головой вверхъ.—Comment va-t-elle?

— Не знаю,—отвѣтилъ Кострицынъ какъ-то нетвердо.

— Вы знаете, что Закки пробудетъ еще два дня въ Петербургѣ?

— Какъ же... Захаръ Лукьяновичъ далъ депешу.

„Даль депешу! — повторила Нина, садясь въ сани.— Какой этотъ Иванъ Кузьмичъ гостинодворецъ, хоть и ученый!“

Кострицынъ оставилъ свое пальто внизу и, когда швейцаръ вернулся въ сѣни, посадивъ Нину, онъ вполголоса спросилъ его:

— Лыжинъ у себя?

— У себя-съ.

— А госпожа Днѣпровская?

— Онѣ никуда еще не выѣзжаютъ.

— Ихъ можно видѣть?

— Я доложу... Да, онѣ принимаютъ.

— Ну, такъ докладывать не надо. Кто-нибудь сидитъ у ней?

— Никакъ нѣтъ. Была госпожа Божеярина, да ушла еще передъ завтракомъ.

— Такъ вы не безпокойтесь, голубчикъ.

Антонинъ Борисовичъ онъ солгалъ. Пришелъ онъ не къ одному Лыжину. Къ нему онъ поднимется послѣ визита къ Липѣ Угловой.

Визитъ онъ обязанъ ей сдѣлать. Иначе это будетъ „порядочное свинство“. Но онъ не признался бы даже самому себѣ, что его какъ будто, третій день, тянуло сюда. И въ то же время онъ стѣснялся чего-то; хотѣлъ, еще вчера, завернуть къ Лыжину и попросить провести его къ госпожѣ Днѣпровской, какъ будто онъ самъ какой-то дикій гимназистъ,—онъ, Иванъ Кузьмичъ, про котораго злые языки давно поговариваютъ, что онъ у самого Юпитера табачку бы попросилъ.

Тихонько постучался онъ у дверей Липы.

Оттуда донесся явственно ея голосъ, изъ первой же комнаты. Это его порадовало. Значитъ, она не больна и сидитъ въ гостиной.

— Олимпиада Дмитриевна принимаетъ?—спросилъ онъ, просовывая голову.

— Принимаетъ. Кто это? — окликнула Липа голосомъ здоровой.



Небольшая хрипота слышалась въ немъ азвственнѣе, чѣмъ это было до ея болѣзни.

Липа лежала на кушеткѣ, одѣтая, и читала.

Кострицынъ сейчасъ же узналъ обложку журнала.

— А! Садитесь! Садитесь! Спасибо за память... Какъ васъ зовутъ, извините... У меня память куриная.

— Иванъ Кузьмичъ... Можетъ, и фамилію забыли?

— Не хочу лгать. Не совсѣмъ тверда.

— Кострицынъ. Отъ кострига... Народное слово. Знаете, то, что отлетаетъ со льна. А „г“, по общимъ фонетическимъ законамъ, смягчено въ „ц“.

— Вонъ вы какой мудреный. До всего доходите.

Кострицынъ слегка покраснѣлъ, садясь поодаль, въ кресло. Его учительская болтовня показала ему архипедантской и просто глупой.

— Извините,—пролепеталъ онъ, чувствуя, что продолжаетъ краснѣть.

— Въ чемъ?—спросила Липа, широко раскрывъ глаза.

Эти глаза его и смущали. Онъ находилъ ее еще красивѣе, чѣмъ въ тотъ вечеръ. Цвѣтъ лица желтовато-матовый, точно мраморъ. Темнота подъ глазами прошла. Волосы небрежно причесаны, но такъ чудесно драпируютъ ея лицо! И что за бюстъ, что за руки!

Одѣта она все такъ же скромно, и, кажется, не безъ умысла скромно. А какова же она на сценѣ, съ обнаженной шеей и руками!

Великолѣпную Антонину Борисовну и сравнивать съ ней нельзя. У той злые глаза, все лицо жесткое и слишкомъ гладкое; голосъ самъ по себѣ не плохой, но дерзко-повелительный или нахальный.

„Ну, и пускай его, дурака!“—выбранилъ весело Кострицынъ, подумавъ о „калегвардѣ“, который бросилъ такую женщину.

И сейчасъ же ему стало обидно за Липу. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, она была просто его „содержанка“ и мирилась съ такимъ положеніемъ?

— Скажите мнѣ, Иванъ Кузьмичъ,—заговорила Липа и повернула голову въ его сторону, книгу она положила рядомъ, на столикѣ,—вы чѣмъ занимаетесь?

Такой вопросъ показался бы ему отъ другой или чезрезчуръ наивнымъ, или безцеремоннымъ.

— Вы извините,—тонъ у нея былъ самый искренній и



она не улыбалась, — ни вашъ пріятель Лыжинъ, ни студентъ Шипилинъ не сказали мнѣ тогда толкомъ.

— Я просто шатунъ, Олимпиада Дмитриевна.

— Какъ же это? Однако, вы очень учены... Профессоръ, можетъ-быть?

— Нѣтъ! Куда! Если хотите, имѣю степень, даже двѣ... А живу частной службой.

Онъ не хотѣлъ досказать, у кого онъ служить. Наверно, она знаетъ про Кумачеву.

— И изъ какихъ вы?—продолжала допрашивать Липа, все такъ же искренно и серьезно, почти строго.

— Въ какомъ же это смыслѣ?—отозвался Кострицынъ, уже спокойнѣе, но все еще не овладѣвъ вполне собою.

— Видите, Иванъ Кузьмичъ, когда я съ хорошими людьми встрѣтилась впервые, и они меня пригрѣли... за ихъ дѣло я готова была всю себя отдать. Только они меня пожалѣли. А сами всѣ почти погибли.

Голосъ Липы оборвался. Онъ слушалъ съ опущенной головой и старался проникнуть въ суть того, о чемъ она говорить въ общихъ выраженіяхъ.

— Что же это за люди были, Олимпиада Дмитриевна?

— Объ этомъ послѣ... если мы съ вами поближе познакомимся. А мой вопросъ, изъ какихъ вы сами, не примите за дерзость. Когда я, какъ народъ нашъ выражается, „дьявола тѣшила“ и была актрисой, для меня всѣ мужчины были равны. На всѣхъ вѣдь у актера одинъ взглядъ—хищный. Да иначе и быть не можетъ. Теперь,—протянула она,—такъ мнѣ не полагается. И я каждого, кто ко мнѣ приходитъ, спрашиваю. Я знаю, что вы порядочный человѣкъ. Васъ представилъ Лыжинъ; онъ — другъ Иды Павловны. А она сама—прелестъ. По нынѣшнему времени, Иванъ Кузьмичъ, одной общей привязанности мало. Да и отчего неловко поставить вопросъ: изъ какихъ вы? И ловко, совсѣмъ ловко, спросить: вы въ какомъ вѣдомствѣ служите, или на какомъ вы амплуа?

— Вы желаете, стало, знать, какого я направленія?

— Да.

— У меня его нѣтъ — въ обычномъ смыслѣ. Я хочу мыслить самъ по себѣ, а не повторять зады.

— Вотъ оно что!—откликнулась Липа и смолкла.

Кострицыну стало очень жутко.

XLIV.

— Нѣтъ, Иванъ Кузьмичъ, нельзя быть ни въ сикхъ, ни въ оныхъ,—говорила Липа, уже ходя по комнатѣ съ заложенными назадъ руками.

Кострицынъ сидѣлъ въ неловкой позѣ и курилъ. Онъ съ удивленіемъ чувствовалъ, что его смѣлая рѣчистость куда-то ушла. Онъ не находилъ въ себѣ всегдашней увѣренности. Сталь-было развивать теорію „личности“ — и какъ-то ничего не вышло ни красиваго, ни вразумительнаго.

— Нѣтъ, — повторила Липа и подошла къ нему, — вы это такъ, Иванъ Кузьмичъ, себя только тѣшите.

— Почему же-съ?—почти сконфуженно спросилъ онъ.

— Не можете быть, чтобы васъ не возмущало то, что теперь въ ходу и въ модѣ. У Некрасова-то помните стихъ: „Бывали хуже времена, но не было подлѣй“...

— Помню. Такъ, въ обличительномъ вкусѣ, про всякое время можно сказать.

— Нѣтъ, не про всякое. Даже десять лѣтъ назадъ со всѣмъ не то было.

Въ ухахъ у него застрялъ возгласъ Липы: „ни въ сикхъ, ни въ оныхъ“. И онъ вспомнилъ, что мать Захара Лукьяновича, Раиса Гордѣевна, въ началѣ зимы сказала ему, да еще гораздо извѣстнѣе, ту же почти фразу, въ сѣняхъ дома Кумачева, послѣ своего столкновенія съ сыномъ изъ-за учительницы Суревичъ.

— Позвольте, Олимпіада Дмитріевна, я на первое же знакомство съ вами не хочу спорить. Да и вообще рѣчь идетъ не обо мнѣ.

— А о комъ же, Иванъ Кузьмичъ?

— Если позволите—о васъ. Тогда вечеромъ... вы были въ такомъ настроеніи... въ прострати, такъ сказать, не столько физической, сколько душевной. И я, слушая вашу бесѣду съ Брянцевымъ, искренно жалѣлъ, что вы не желали сдаться на его доводы. Онъ, положимъ, хвостъ выпустилъ въ родѣ павы. Безъ этого господи артисты не могутъ держать себя. И очень ужъ любить красиво выражаться... опять дѣло понятное: изъ ролей выхватилъ.

— Это вѣрно!—веселѣе воскликнула Липа.

— Но онъ дѣло говорилъ.

— Обо мнѣ, что ли?

Липа опять остановилась.

— О васъ... Съ какой же стати, Олимпиада Дмитриевна, бросать на вѣтеръ дарованіе? Что же есть самаго цѣннаго въ человѣческой личности? Талантъ все замѣняетъ—умъ, волю! Онъ только и позволяетъ стать выше всего, умаляющаго наше „я!“

— Ахъ, полноте!

И сдѣлавъ еще нѣсколько шаговъ къ двери, Липа вернулась и присѣла, опустивъ руки на колѣни, на кушетку, около Кострицына.

— Для нашей сестры театръ — прямой путь къ торговлѣ собою. Вотъ что, Иванъ Кузьмичъ!

— Помилюте!

Кострицынъ весь встрепенулся.

— Знаю, что вы мнѣ возразите. Есть талантъ — тогда дорога широка и безъ всякихъ сдѣлокъ! Фразы! Будь у васъ талантъ, не будь, оперетная вы или оперная, — на сто женщинъ девяносто пять не обойдутся безъ поддержки!.. Вы слышите: слово, кажется, приличное, а что оно значить? Хорошо было здѣсь Брянцеву ратовать. Мужчины — другое дѣло... Да и то, сколько изъ нихъ вышло въ люди — кѣмъ? — Женощиной! Начнетъ съ провинціи, смазливый мальчикъ... къ презрѣлой премьершѣ поступить подъ крылышко. Она его и пустить въ ходъ. Контрактъ не подписываетъ иначе, чтобы и его на первое амплуа. Потомъ въ столицу. Когда она состарится — онъ ее бросить... А дѣвушкѣ, хоть расчестной, если ей не повезетъ сразу, какъ это бываетъ разъ въ двадцать лѣтъ, нельзя не продать себя, не въ томъ, такъ въ другомъ видѣ!

„Зачѣмъ это она говоритъ? — почти съ болью въ сердцѣ спросилъ мысленно Кострицынъ. — Можетъ-быть, оно и такъ, но къ чему объ этомъ распространяться?“

— Мнѣ не хотѣлось только при моихъ дѣвочкахъ, Лелѣ и Катѣ, выставить напоказъ всю гнусность этой дороги, по которой я, еще мѣсяцъ назадъ, шагала. Самого-то Брянцева спросите! Развѣ теперь вездѣ, вы слышите — вездѣ, и въ привилегированныхъ театрахъ, каждая дѣвочка, хотя бы расчестная и талантливая, не ищетъ руки въ сильномъ персоналѣ, въ первомъ актерѣ? Это нынче у нихъ программа такая! А что это значить? Не продаетъ себя за деньги, такъ за протекцію.. Это рѣшительно все равно.

— Но васъ это уже не касается, Олимпиада Дмитриевна.

— Ха-ха! Какъ не касается! — Липа всплеснула ру-



ками.—Какъ не касается! У меня былъ и голосъ, и наружность, и смѣлость — все. Я не нуждалась въ кускѣ хлѣба. И все-таки вышло то же, что съ сотнями выходныхъ дѣвочекъ. Иначе нельзя на подмосткахъ, которые господа рецензенты такъ обсахариваютъ. Все въ васъ выѣстъ жадность къ приему... Вся ты —одно безпардонное любованіе собою и суетность до мерзости! Тутъ какія же могутъ быть задержки? Сколько ни получай жалованья — хватать не будетъ: на костюмы, на всякія погрешности. Содержанія не хватаетъ, да еще изъ двухъ сезоновъ одинъ навѣрно васъ надуетъ антрепренеръ. Поддержка и является, —только мы себя сами морочимъ, думаемъ, что это любовь... и что нами не только увлекаются, но и уважаютъ, ставятъ, за талантъ, выше всѣхъ остальныхъ женщинъ! Какъ бы не такъ!

Липа пододвинулась къ нему и, уперевъ руки въ колѣни, вызывающе спросила его:

— Вы думаете, потому я хотѣла съ собой покончить, что гвардейскій офицеръ, считающійся красавцемъ-мужчиной, бросилъ меня?

На этотъ вопросъ Кострицынъ сначала только повелъ плечами и потупился.

Ему еще больнѣе стало за нее.

Зачѣмъ она такъ говоритъ о себѣ?

— Олимпиада Дмитриевна! Дорогая! Не разстраивайте себя!

Обѣ его руки протянулись къ ней.

— Никакого тутъ разстройства нѣтъ, —возразила Липа и, не мѣняя позы, продолжала, такъ же сильно, но по-глуше: —Этотъ поручикъ не хотѣлъ продолжать комедіи, да онъ ея и не игралъ. Это я воображала. Онъ мнѣ преспокойно показалъ, что всякій сверчокъ долженъ знать свой пестокъ — и сверчокъ этотъ я... Глупое насѣкомое! Должно-быть, такое же тщеславное, какъ и всѣ актеры! Это меня ударило прямо... не въ сердце, а въ душу... Я душу особо ставлю, Иванъ Кузьмичъ. Женская натура не выдержала. Сейчасъ за склянку со снадобиемъ и схватилась. Ничего! Какъ видите — жива осталась!.. И прозрѣла.

— Прозрѣли? — повторилъ Кострицынъ и смѣлѣе поглядѣлъ на Липу. — Въ какомъ смыслѣ?

— А вотъ первымъ дѣломъ —поставила крестъ на артисткѣ Дѣвировской. Знаете, какъ кавалеристы часто го-



ворять: и по копному, и по пѣшему строю. Такъ и я скажу: и на вокальную, и на драматическую актерку Дибровскую поставила крестъ—и баста.

— Это—то же самоубійство, Олимпиада Дмитріевна.

Кострицынъ всталъ. Липа опустила голову въ руки и молчала.

— Нѣтъ!—вырвалось у нея послѣ паузы.— Не самоубійство, а воскрешеніе личности, о которой вы такъ сильно хлопочете.

— Но какую же дорогой?

— Видите — непременно дорога. Ха-ха! Гочно мы всѣ отмѣчены божественнымъ перстомъ... А сотни миллионноу только о томъ бьются, какъ бы имъ съ голоду не умереть...

— Да... Стало, спастись желаете?

— Пожалуй, если вамъ нравится это слово.

Возбновлять бесѣду онъ не могъ. Онъ точно боялся, что Липа начнетъ опять изливаться, и отъ этихъ разоблаченій ему сдѣлается опять больно.

— А пока, — сказалъ онъ, — позвольте пожелать вамъ добраго здоровья.

— Чтѣ мнѣ сдѣлается! Я—двужилная.

Она встала съ кушетки и, протянувъ руку, спросила:

— Вы что же такъ торопитесь?

— Долженъ зайти еще къ Лыжину.

— Онъ милый! Поклонъ ему отъ меня.

Наверхъ Кострицынъ входилъ ускоренной походкой, охваченный настроеніемъ, которое ему поскорѣ захотѣлось страхнуть съ себя у Лыжина.

Тотъ собирался куда-то обѣдать.

— Откуда?—спросилъ онъ.

— Снизу, — отвѣтилъ Кострицынъ страннымъ тономъ и сейчасъ же присѣлъ на диванъ.

— Былъ у Дибровской?

— Былъ.

— Она здорова?

Лыжинъ поглядѣлъ на него, прищуривъ одинъ глазъ,— и усмѣхнулся.

— Иванъ Кузьмичъ! Милѣйшій мой Сократъ! Что вы... по-гречески я не знаю, какъ это называется, а французы говорятъ: „tout-chose“?

— А что?

Кострицынъ тряхнулъ головой.

— Да знаешь, друже, эту женщину. мѣ стало жалко...



не потому, что съ ней случилось... А она во что-нибудь ударится. Ты ничего не слыхалъ про ея прошлое?

— То же, что и ты.

— Нѣтъ, не любовное... или тамъ актерское, что ли... А раньше, до поступленія на сцену, не было ли у ней такой полосы...

— Что-то нѣтъ Ида говорила.

— Не зналась ли съ нелегальнымъ народомъ?.. Боюсь я, что старья дрожжи опять забродили.

— Бойшься?

Лыжинъ подошелъ къ нему и положилъ руку на плечо пріятеля.

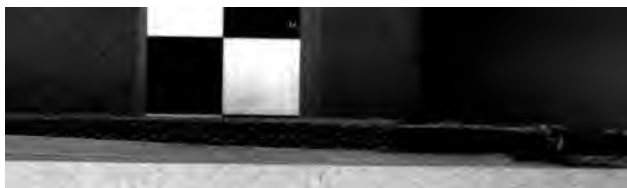
— Она тебѣ нравится, какъ женщина?

— Не хочу лукавить—нравится.

И онъ чего-то не досказалъ. Лыжинъ вспомнилъ свой разговоръ съ Еленой Акридиной, когда онъ поступилъ на службу къ Кумачеву, о Нинѣ. Тогда и онъ самъ точно побаивался за себя, допускалъ возможность увлеченія ею. Теперь онъ знаетъ навѣрно, что Нина для него не опасна.

Неужели въ Кострицына зашла другая искра? Настоящая?





Оглавление VII тома.

	стр.
ПЕРЕВАЛЪ. Романъ въ трехъ частяхъ.	
Часть первая	5
Часть вторая	166



СОБРАНИЕ
РОМАНОВЪ, ПОВѢСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ
П. Д. БОБОРЫКИНА

въ 12 томахъ.

ТОМЪ ВОСЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „НИВА“ на 1897 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1897.



Тип. А. Ф. МАРКСА, Ср. Подъяч., № 1.





ПЕРЕВАЛЪ.

(Романъ въ трехъ частяхъ).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

Ψυχὴς γὰρ ἐστὶν οὐδὲν τιμωτέρων *).

Деринидъ.

I.

Паровозъ курьерскаго поѣзда съ воемъ сигнала входилъ подъ своды николаевскаго дебаркадера въ Москвѣ.

Въ отдѣльномъ купѣ сидѣлъ Захаръ Лукьяновичъ — въ ильковой шубѣ и бобровой шапкѣ. Онъ былъ не одинъ. Противъ него возбужденно сталъ у окна и вглядывался, вправо и влѣво, иностранецъ — въ короткомъ пальто съ мѣховымъ воротникомъ женскаго покроя. И шапка на немъ сидѣла какъ-то странно, съ наушниками, завернутыми вверхъ.

Тщедушный и сухой въ лицѣ, онъ смотрѣлъ южаниномъ. Подстриженная на щекахъ бородка, монокль, усы щеткой кверху выдавали въ немъ француза. На видъ ему было подъ-сорокъ.

Разглядѣть онъ могъ мало сквозь полузамерзлое стекло.

— Il fait bigrement froid, — картавя, пропѣлъ онъ и обернулся къ Кумачеву, послѣ чего сталъ доставать свои дорожныя вещи.

Кумачевъ уже снялъ мѣшокъ-несессеръ — онъ лежалъ около него, на диванѣ — и взглянулъ на француза; его

*) Нѣтъ ничего драгоцннѣе души.

жидкая фигура въ высокихъ мѣховыхъ калошахъ вызвала на его красивыя губы усмѣшку снисходительнаго превосходства.

Этого „французика“ онъ подцѣпилъ въ Петербургѣ на одномъ патріотическомъ обѣдѣ, гдѣ тотъ произносилъ трескучую здравицу во имя „la grande alliance des deux nations-sœurs“.

Фамилія его была—Moucillac и произносилась по-парижски: *Мусильякъ*. Захаръ Лукьяновичъ прозвалъ его про себя: „мусьякъ“, и остался очень доволенъ такой остротой. На томъ обѣдѣ онъ самъ говорилъ небольшой притѣстственный спичъ, въ отвѣтъ на рѣчь француза, и показалъ, какъ онъ ловко и даже остроумно владѣетъ французскимъ языкомъ; разумѣется, безъ всякаго излишняго модничанья по части разныхъ „копюршиковъ“ жаргона и произношенія.

Ему отрекомендовали Мусильяка какъ корреспондента нѣсколькихъ журналовъ, пріѣхавшаго съ цѣлью „изучить настроеніе русскаго общества въ интересахъ великаго подъема чувствъ“. Онъ самъ себя выдавалъ и за представителя „Лиги“. Но дѣловые люди шепнули Захару Лукьяновичу, что этотъ Мусильякъ явился нащупать почву насчетъ одной концессіи, желаетъ войти въ сношенія съ нѣкоторыми московскими воротилами.

„Жидкій вы народъ, — говорили сановитые глаза Захара Лукьяновича, продолжая оглядывать спину и ноги француза. — Дружбу-то вашу мы достаточно раскусили, но—честь честью—мы брыкаться не желаемъ. Вы намъ: „цыпъ-цыпъ!“—и мы вамъ такимъ же манеромъ. Нѣмцы пускай, денно и ночью, пережевываютъ, что противъ нихъ у насъ здоровенный договоръ, подъ семью печатами и съ сотней статей. Они васъ, пожалуй, и теперь поколотятъ, если дѣло дойдетъ до драки, а мы подумаемъ и поглядимъ — какъ-то вы будете себя вести. Въ такомъ размѣрѣ мы вамъ и аттенцію окажемъ“.

— Nous y voilà!—вскрикнулъ Мусильякъ и застегнулъ первую верхнюю пуговицу пальто съ чудной дамской перелировкой, не мало забавлявшей, всю дорогу, Захара Лукьяновича.

— Nous y voilà!—повторилъ Кумачевъ и самъ поднялся.

Француза онъ обласкалъ, предложилъ сѣсть въ свое отдѣльное купе-салонъ, позвалъ и обѣдать на послѣзавтра. За обѣдомъ онъ его кое-кому покажетъ. Того хлѣбомъ

не корми, дай только ему пустить свои рапи о „grand patriote moscovite du Strastnoi boulevard“ и „l'antique Kremlin — ce pandemonium des gloires ineffables de la sainte Russie“. Пожалуй, онъ сведетъ его и на могилу „du grand citoyen“. Тотъ уже заговаривалъ о вѣнкѣ, и гдѣ его купить по сходной цѣнѣ.

Два артельщика вбѣжали разомъ съ двухъ сторонъ и, толкаясь, начали забирать вещи.

— Slavianski Bazar! — жалобно выговаривалъ французъ, остановившій за рукавъ полшубка своего артельщика.

Кумачевъ объяснилъ ему, что за „этимъ господиномъ“ пріѣдетъ переводчикъ изъ „Славянскаго Базара“.

На платформѣ они пожали другъ другу руки. Французъ приподнялъ свою шапку съ наушниками и обнажилъ лысый черепъ съ жидкой косицей волосъ посрединѣ.

Въ эту минуту онъ показался Кумачеву такимъ „ми-зурнымъ“ — онъ нарочно употребилъ, про себя, мужицкое слово, — что его забрало сомнѣніе: полно, настоящий ли онъ журналистъ. И послала ли его какая-нибудь компанія „маклатить“ насчетъ концессіи и привлеченія капиталовъ? Вдругъ, какъ онъ окажется просто „voyageur en vins de Champagne“, помѣщающій вино плохенькой новой фирмы, со скидкой тридцати процентовъ номинальной цѣны и съ кредитомъ отъ одной макарьевской армарки до другой?

Вѣхали они съ Ниной, года два назадъ, изъ-за границы, по осени. Съ ними въ одномъ вагонѣ сидѣлъ французъ — не этому чета — изящный, бравый, видный, рѣчистый, съ какимъ барскимъ тономъ!.. Примешь за герцога Рогана или Монморанси. И что же! Когда, послѣ Пскова, они разговорились, и оказался онъ — „voyageur“, промышленящій продажей „en gros“ бутылочныхъ этикетовъ. Захару Лукьяновичу всучилъ-таки пачку ярлыковъ — черные съ золотыми буквами...

Кумачевъ оглинулся на станціи. Онъ искалъ кого-то глазами. Его камердинеръ подбѣжалъ къ нему.

— Барыни не видать, — вполголоса доложилъ онъ.

— Знаю!

Захару Лукьяновичу показались неприятными эти слова камердинера, хотя онъ не требовалъ и не ожидалъ того, что Нина выйдетъ къ нему навстрѣчу.

Морозъ стоялъ градусовъ за двадцать. Съ какой стати будетъ она студиться?

Вспомнилось ему, однако, что не дальше какъ въ про-

пломъ году Нина сама выѣхала его встрѣтить, и морозъ былъ никакъ не меньше сегодняшняго.

Писемъ онъ ей изъ Петербурга не писалъ, зато посылалъ большія телеграммы. Въ нихъ онъ, не называя именъ, въ видѣ прозрачныхъ намековъ и по-французски, сообщалъ о своихъ успѣхахъ. „Предстательство“, котораго онъ былъ ходатаемъ, во всѣхъ частяхъ уважено. Самъ управляющій вѣдомствомъ благодарилъ его. Къ Пасхѣ, навѣрно, повѣсятъ ему крестъ на шею. И въ другомъ вѣдомствѣ ему дали понять, что представленіе о его наградѣ—въ видѣ званія, такъ давно желаемого Ниной,—будетъ взято въ „серьезное вниманіе“.

И она даже на это почему-то ничѣмъ особеннымъ не откликнулась. Въ послѣдней ея депешѣ стояло только: „Merci. Heureuse. Les mioches vont bien“.

Будь это въ прошломъ году, она навѣрно бы прилетѣла на дебаркадеръ.

— Иванъ Кузьмичъ!..—доложилъ опять камердинеръ.

Къ нему торопливо подходилъ Кострицынъ.

— Извините, Захаръ Лукьяновичъ! Чуть—было не опоздалъ!

— Спасибо! Зачѣмъ беспокоились въ такую стужу!

— Антонина Борисовна просила меня встрѣтить васъ. Она невозможно утомлена.

— Что такое?—тревожно спросилъ Кумачевъ.

— Ничего. Она второй день сидитъ дома. Кажется, раздраженіе горла.

Кострицынъ присочинилъ это отъ себя. Въ нездоровье Нины онъ не вѣрилъ.

— Она на ногахъ,—успокоительно добавилъ онъ.—Я сюда пріѣхалъ въ вашихъ саняхъ. А отсюда возьму извозчика.

Кумачевъ еще разъ пожалъ ему руку.

— Все у насъ благополучно?—спросилъ онъ хозяйскимъ тономъ.

— По мануфактурамъ и въ амбарѣ все,—отвѣтилъ коротко Кострицынъ.

И этотъ отвѣтъ почему-то показался Кумачеву уклончивымъ.

„А дома?“—спросилъ онъ про себя.

И не желая останавливаться дальше на этихъ разспросахъ, онъ бодро подозвалъ камердинера.

— Ты повезешь вещи. Я на одиночкѣ... Иванъ Кузь-

ничь,—повернулся онъ къ Кострицыну,—сегодня я буду въ амбарѣ. И послѣзавтра прошу откушать... Знаете, по-параднѣе... Увидите Лыжина—и его просите! Онъ не въ отъѣздѣ ли?

— Нѣтъ, здѣсь въ Москвѣ. Передамъ... Мос почтеніе!

Кострицынъ простился съ нимъ на ступеняхъ широкой лѣстницы пассажирскаго подъѣзда. Артельщикъ закричалъ его кучера и подаль ему маленькій сакъ, гдѣ у него были бумаги и деньги.

Сѣрый рысакъ вылетѣлъ изъ воротъ вокзала и помчалъ Захара Лукьяновича по площади и дальше по Уланскому переулку, переполненному легковыми извозчиками и лодовиками. Съ обѣихъ сторонъ пестрѣли передъ нимъ, убѣгая взадъ, вывѣски питейныхъ и трактировъ, и неслись запахи постнаго дня.

Всегда онъ возвращался въ Москву съ радостнымъ чувствомъ и любилъ самую ея грязь, азіатское неустройство и безшабашность ея уличныхъ правовъ.

Сегодня этого чувства—почти дѣтскаго—не было въ немъ. Морозный вѣтеръ дулъ ему въ уши и глаза. Онъ ушелъ въ воротникъ.

Входя къ себѣ въ сѣни, онъ сейчасъ же спросилъ:

— Какъ барыня?

— Слава Богу... Онѣ тамъ, на лѣстницѣ.

Онъ поднялъ голову и увидалъ Нину на площадкѣ второго этажа въ короткой плюшевой мантилькѣ.

— *Zacchi! Bonjour!*—крикнула она ему оттуда и указала на свое горло, какъ бы говоря: „внизъ, въ сѣни, я боюсь“.

И отъ этого оклика на Захара Лукьяновича повѣло холодежомъ.

II.

Въ столовой, полной свѣта и пряныхъ испареній ѣды, дѣлалось душно. Приближалась минута силичей.

Захаръ Лукьяновичъ оглянулъ весь столъ. Сидѣло четырнадцать человѣкъ. Онъ успокоительно улыбнулся.

И онъ, и Нина смертельно боялись числа *тринадцать*, и оба скрывали это. Когда, передъ прїездомъ француза, половина гостей была уже въ сборѣ, вдругъ оказалось, что столъ накрытъ на тринадцать особъ. Оба они всполошились. Какъ быть? Совѣстно сказать Кострицыну, какъ своему человѣку: „вы не будете обѣдать“. Самому хозяину

не садиться—также неловко. Нина выручила: она позвала англичанку, обѣдавшую всегда съ дѣтьми, и приказала ей одѣться въ самое нарядное платье. И опять вышло тринадцать: князь Иларіонъ все еще не возвращался изъ своей поѣздки за городъ. Англичанкѣ велѣли тогда остаться съ дѣтьми.

Противъ хозяина былъ посаженъ французъ, между двумя дамами—Ниной и Верховцевой. По правую руку, рядомъ съ Ниной, сидѣлъ генералъ Кашкетовъ, а слѣва, около Напоп—дядя Кумачева, Лука Гордѣичъ Курмышевъ, только что пріѣхавшій изъ „чужихъ краевъ“—какъ онъ привыкъ, по-старинному, выражаться. Его ростъ, бритое лицо, сѣдая подстриженная голова, сдержанно-пріятная усмѣшка, *rinse-nez* и умѣнье носить фракъ дѣлали его похожимъ на породистаго стараго барина. И Нина его жаловала. Не будь онъ „Лука Гордѣичъ“—никто бы не призналъ въ немъ купца, пожалуй, еще менѣе, чѣмъ въ его племянникѣ.

Остальные гости были тѣ же, что и на обѣдѣ, когда Лыжина въ первый разъ пригласили „откушать“. Недоставало только петербургскаго чиновника и Орѣхова.

Всѣ мужчины надѣли бѣлые галстуки и большинство—фраки. Самъ хозяинъ и Ковригинъ, „*le pique-assiette*“, были въ смокингахъ.

Французикъ даже въ бѣломъ жилетѣ, по парижской модѣ, безъ умолку болталъ съ дамами, и его маленькое лицо, съ сѣро-бронзовымъ оттѣнкомъ кожи, безпрестанно подергивалъ чуть замѣтный тикъ, особенно когда онъ вставлялъ свой монокль. Захару Лукьяновичу не очень нравилось то, какъ этотъ „мусьякъ“ держитъ себя съ его женой и ея пріятельницей. Онъ со второго блюда сталъ слишкомъ близко къ нимъ наклоняться и глядѣлъ на нихъ, прищуривая одинъ глазъ, другимъ—слишкомъ уже какъ-то „подло“.

Нина сіяла и блескомъ своей наружности, и брильянтами. Она перекидывалась съ Напоп частыми взрывами смѣха—и тогда французъ пускалъ визгливую ноту, отъ удовольствія закидываясь назадъ и начиналъ качать головой.

„Считаютъ себя самой галантерейной націей, — думалъ Кумачевъ, —а воспитанія никакого. Самонительные парикмахеры!“

Сердиться онъ не хотѣлъ, хотя его сегодня съ утра

что-то точно показывало. Вчера, въ часъ приѣма жены, онъ нашелъ у нея барона Гольца. Чрезвычайно ему не понравился этотъ офицеръ, и почему—онъ не могъ себѣ отдать отчета. Нина вела себя съ нимъ обыкновенно, даже суховато, что показалось ему страннымъ. Когда тотъ ушелъ, и онъ спросилъ Нину: желаетъ она пригласить его обѣдать „на француза“—она отвѣтила, поведя губами: „особенной надобности нѣтъ“. И это опять показалось ему страннымъ.

На остальныхъ гостей Захаръ Лукьяновичъ глядѣлъ свысока, кромѣ генерала Кичкетова,—пригласить его просила Нина. И сегодня она съ нимъ очень любезна и то и дѣло обращается къ нему. У нея, вѣроятно, какіе-нибудь виды на него. Человѣкъ онъ вліятельный, значится „въ запасѣ“, но всѣ говорятъ, что онъ—на дѣйствительной службѣ, и на такой, что съ нимъ ухо востро держи.

Приѣхалъ и онъ въ штатскомъ, хотя имѣетъ право быть и въ формѣ. Это онъ дѣлаетъ чтобы молодиться. Густыя эпюлеты старятъ, а для вида были бы нелишними пара эпюлетъ и владимірскій крестъ на шеѣ. Французику внушено: какая птица „son excellence le général de Kichketoff“. Онъ, когда его представляли, изогнулся колесомъ: кланяться сановникамъ они всѣ мастера, даромъ что республиканцы.

Свою здравницу Захаръ Лукьяновичъ на бумажѣ не писалъ. Онъ въ себѣ увѣренъ. Ему приводилось говорить по-французски на большихъ парадныхъ обѣдахъ, и послѣ его спичи, записанные „газетчиками“, ходили по всей Москвѣ. Дома онъ подавно будетъ превосходно владѣть собою.

Мужчины оцѣнять его умѣлость и знаніе языка. Изъ нихъ только Кострицынъ не можетъ вполне свободно объясняться по-французски, да, кажется, и ни на какомъ иностранномъ языкѣ. Этотъ фактъ Захаръ Лукьяновичъ смаковалъ съ особымъ удовольствіемъ. Умственное превосходство своего бывшаго учителя онъ любилъ тонкимъ образомъ посократить. И никто изъ остальныхъ, даже постоянно французившій Ковригинъ, не въ состояніи импровизовать спичъ, какъ онъ: ни генералъ, ни Верховцевъ, ни Лыжинъ, ни его дядя Курмышевъ, ни докторъ Шахматовъ. Можетъ-быть, Эсауловъ... Онъ рѣчистъ съ женщинами. Но это не одно и то же.

Захаръ Лукьяновичъ слегка постукалъ въ свой бокалъ,

когда шампанское, передъ блюдомъ овощей, было розлито.

Всѣ притихли. Послѣдній замолчалъ французъ, и его вопросъ: *Monsieur va parler?*—раздался среди общей тишины.

Поднимаясь, Захаръ Лукьяновичъ привѣтствовалъ заѣзжаго „друга Россіи“ наклоненіемъ головы и жестомъ лѣвой руки, и, не возвышая голоса, мягкимъ, очень пріятнымъ звукомъ, началъ:

— *Mesdames et messieurs!*

Французъ разсудилъ положить локти на столъ и податься впередъ такъ, какъ будто онъ зналъ, что хозяинъ будетъ говорить исключительно ему.

Сразу Захаръ Лукьяновичъ взялъ полусутильный тонъ. Онъ указалъ на трескучіе морозы, которые не пугаютъ друзей его родины—проникать въ нее, не въ качествѣ хищныхъ завоевателей, какъ было въ Двѣнадцатомъ году, а со словами сочувствія и удивленія ея могуществу, съ увѣренностью, что русское гостепріимство согрѣетъ и развеселитъ ихъ душу. И онъ пожелалъ, чтобы морозы эти постояли еще подольше. Холодъ вызоветъ подъемъ духа. И путникъ, являющійся съ далекаго Запада, попавъ въ вихрь нашего веселья и жизни, не захочетъ разстаться съ поэзіей русской зимы. Онъ еще сильнѣе почувствуетъ, какія сердца бьются подъ снѣжнымъ пологомъ. Если эти сердца сумѣютъ привлечь къ себѣ—никакой врагъ не опасенъ!

Заключительный возгласъ Захара Лукьяновича прозвучалъ такъ:

— *Je bois à la santé du français venu à Moscou en ami convaincu et fidèle!*

Всѣ захлопали, даже Лыжинъ, который шепнулъ Кострицыну:

— Ученичокъ твой молодцомъ!

Съ мѣстъ, однако, никто не вставалъ, чтобы чокаться съ французомъ. Чокнулись съ нимъ только дамы.

Генералъ Кишкетовъ сдѣлалъ ручкой хозяину. Шамаховъ, сидѣвшій рядомъ съ Кумачевымъ, шепнулъ ему:

— Прекрасно! Пускай знаетъ нашихъ. И безъ излишней сладости!

Эсауловъ кисло улыбался. Ему непріятенъ былъ успѣхъ „дупчишки“. Говорить послѣ него онъ не станетъ. Но и онъ почувствовалъ себя облегченнымъ. Ожидалъ онъ расшаркиванья передъ французомъ и нашелъ, что Захаръ

Лукьяновичъ справился со своимъ спичемъ весьма не глупо.

Бросивъ салфетку, Мусильякъ весь нервно подернулся, взялся одной рукой за бокаль, а другую запустилъ за вырѣзь жилета.

— Mon ami Koumatchèff,—началъ онъ; Захара Лукьяновича кольнуло это вступленіе: „Какой я его ami?“—подумалъ онъ сейчасъ же.—Mon excellent ami,—повторилъ Мусильякъ,—me confond de paroles cordiales que les russes seuls sont capables de proférer dans les épanchements de leur généreuse nature slave!..

— Замолола мельница!—шепнулъ Кострицынъ Лыжину.

— Oui, mes amis!—заливался Мусильякъ. — Sous ses neiges profondes et vivifiantes—votre antique capitale cache des richesses inouies! Elle n'est pas seule—cette renversante Moscou! D'autres villes rivalisent avec elle de prospérité et de trésors, pudiquement enfouis sous la virginale hermine de leurs steppes!.. Parlez-moi de ces soeurs puînées de vorte sainte cité! Parlez-moi de Toulá, parlez-moi de Kalouga!..

— Что онъ, калужскаго тѣста, что ли, захотѣлъ?—не удержался Кострицынъ и поглядѣлъ на Кумачева.

Тотъ сидѣлъ съ опущенными глазами; на губахъ его скользила усмѣшка.

— Parlez-moi de Novgorode la Petite, cette perle du commerce russe!

— Это еще чтò? —спросилъ и Лыжинъ сидѣвшаго съ нимъ рядомъ Эсаулова.

— Такъ они, почему-то, до сихъ поръ зовутъ Нижній и въ своихъ учебникахъ.

— Parlez-moi de cette foire miraculeuse, où—des confins des Indes roulent par le majestueux Volga des caravanes pleines de produits rares—éclos parmi les peuplades, aspirant à la protection tutélaire et civilisatrice de votre noble pays—vaste comme le monde!

— Не закрыть ли клапанъ? —спросилъ опять Кострицынъ и сдержалъ себя.

Онъ почувствовалъ, что и патронъ его что-то конфузится отъ спича заѣзжаго „друга Россіи“.

— Puissé-je,—вскрикнулъ французъ и поднялся на цыпочкахъ,—en portant ce toast à la fraternité des deux peuples—au milieu de cette superbe ville où reposent les cendres du grand patriote moscovite—puissé-je évoquer les

plus glorieux souvenirs de ma chère patrie—gages suprêmes de sa réhabilitation imminente!

Первыя захлопали дамы, за ними Кумачевъ. На этотъ разъ онъ пошелъ чокнуться съ французомъ.

— Здоровье и хозяевъ могъ бы провозгласить! — выговорилъ довольно громко Шахматовъ, когда Захаръ Лукьяновичъ чокался съ французомъ.

— Имъ главное—свой реваншъ взять,—съ тихой улыбкой выговорилъ дядя Захара Лукьяновича, Курмышевъ.

Генераль, желая дать урокъ французу въ вѣжливости, всталъ и провозгласилъ:

— La santé de nos chers hôtes, qui représentent ici, si largement, l'hospitalité russe!

Мужчины повскакали съ мѣстъ, и всѣмъ стало гораздо веселѣе отъ того, что француза проучили.

III.

Послѣ обѣда, въ кабинетѣ Нины, дамы посадили Мусильяка опять между собою, у столика, гдѣ стоялъ подносъ съ кофе и ликерами. Хозяйка разрѣшила ему курить. Изъ мужчинъ оставались только генераль и Ковригинъ.

Щеки Нины порозовѣли, глаза блестѣли, шея и руки выставляли свою матовую бѣлизну, выступая изъ густого колера цвѣтного атласа. Рядомъ съ ней Nanon казалась дурнушкой. Она выпила лишній бокаль шампанскаго и сидѣла съ пылающими щеками, слишкомъ много смѣялась и уже позволяла французу маленькія вольности, отъ которыхъ онъ еще воздерживался, обращаясь къ Нинѣ.

Мусильякъ съ ногой—вздернутой на другую, въ черныхъ чулкахъ и открытыхъ башмакахъ, развалился на диванѣ и, пуская колечки дыма, поворачивалъ голову то вправо, то влѣво, склоняясь къ плечу дамы.

— La Gorousskà, — лепеталъ онъ, отуманенный двумя рюмками ликера, — la Gorousskà,—такъ онъ произносилъ фамилію одной графини, извѣстной всему Парижу, — elle a des goûts à part...

И, наклонившись къ уху Нины, онъ шепнулъ ей что-то.

— Dites, dites-moi! Monsieur Moucillac! De grâce!

Nanon потянулася къ нему ухомъ.

— Et bien, elle est pour...

И онъ досказалъ ей также на ухо, и такъ близко, точно хотѣлъ укусить ей кончикъ уха.

Nanon взвизгнула.

— Pas possible!

Ни она, ни Нина не нашли этого сообщенія непристойнымъ.

— C'est si bien porté! — выговорилъ французъ и повелъ бровью, подъ которой у него утверждень былъ монокль.

И генераль, сидя немного поодаль, смотрѣлъ на нихъ въ свой монокль. Онъ еще съ обѣда сердился на Мусильяка и на обѣихъ дамъ, которыя только имъ и занимались. „Французишка“ — онъ такъ мысленно называлъ его — казался ему нахаломъ, и если не проходимцемъ, то какимъ-то мелкимъ газетнымъ „щелкоперомъ“, который выдаетъ себя за патріота, посланнаго съ разными серьезными цѣлями.

То, что онъ сейчасъ началъ болтать о скандальныхъ нравахъ этой графини, Кишкетовъ отлично зналъ; былъ и съ графиней знакомъ. Онъ, какъ истый любитель женщинъ, удилъ въ Парижѣ рыбу въ самыхъ мутныхъ водахъ, но въ обществѣ держался всегда особаго изысканно-игриваго или тонко-двусмысленнаго тона.

Генераль наклонился къ сидѣвшему около него Ковригину и сказалъ ему вполголоса, по-русски:

— Какія пакости говоритъ этотъ фертикъ!

— У нихъ тамъ это — первый разговоръ.

Кишкетовъ зналъ давнымъ-давно, какая за Ковригинымъ установилась репутація и здѣсь, и за границей. Мало ли что! Никто не имѣетъ права допытываться, какія тайныя слабости и даже пороки имѣетъ „порядочный“ человекъ и „дворянинъ“. Другое дѣло — вести разговоръ на подобныя скандальныя темы!

Оба они, проживая подолгу во Франціи, относились къ ней или свысока, или просто презрительно. Презирали и такихъ вотъ Мусильяковъ, и все, что въ ней самого цѣннаго: ея исторію, учрежденія, свободу, мысль, науку, — все это они оба и съ ними сотни такихъ же „знатныхъ иностранцевъ“, бѣгающихъ по Парижу и Ривьерѣ, считали опаснымъ и вреднымъ безначаліемъ и безпутствомъ. Они прекрасно понимали, что между теперешней Франціей и тѣмъ, что они собою представляютъ, не можетъ быть никакой прочной дружбы. Но если „французишки“ сами лѣзутъ и прыгаютъ передъ ними на заднихъ лапахъ — пускай ихъ! Такъ пріятнѣе, чѣмъ было двадцать

пять лѣтъ назадъ и больше, когда весь Парижъ бѣгалъ смотрѣть на пьесу „Les cosaques“, и имя русскаго было синонимомъ варвара и безсердечнаго хищника. Пускай ихъ! Отъ этого „чихнется“ нѣмцу, а нѣмца мы терпѣть не можемъ и обязаны показывать ему, во всякое время, кулакъ и прямо, и косвенно.

Дамамъ до всего этого мало дѣла. Французъ принесъ съ собою воздухъ забавнаго и смѣлаго безпутства. Вѣдь онѣ не могутъ же ѣздить въ нѣкоторыя мѣста, куда проникаютъ только мужчины, а тутъ одинъ такой парижанинъ сразу опускаетъ васъ на самое дно тайныхъ нравовъ свѣта.

Нина, оставивъ Напон „вратъ“ съ Мусильякомъ, присѣла къ мужчинамъ.

— Il est du dernier bateau! — выговорила она, довольная тѣмъ, что употребила самое настоящее парижское словечко.

— Даже слишкомъ! — брезгливо и по-русски отозвался Ковригинъ, лѣниво качая ногой.

— Женщинамъ такое вранье—коврижки! — выговорилъ, поведя своими злыми глазами, Кишкетовъ.

— Полноте! Не ворчите, господа! Надо ихъ брать, какъ они есть. Они только и цѣнятъ въ женщинѣ то, что въ ней есть самаго лучшаго.

— А мы не цѣнимъ, Антонина Борисовна? — возразилъ Кишкетовъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, русскіе мужчины n'aiment pas la galanterie pour elle-même. И даже всякій такой французъ, — продолжала Нина, понизивъ голосъ, — если онъ въ кого влюбится, какъ слѣдуетъ, гораздо опаснѣе русскаго, который умнѣе и красивѣе его.

— Почему же это? — спросилъ Ковригинъ.

— Потому что у него упорство есть, хитрость, уловки.

— Est-ce que madame a essayé de tout cela? — тонко улыбаясь, спросилъ генераль.

— Eh bien, oui! — такъ же смѣло и даже задорно отвѣтила Нина. — J'ai une fois passé par cela à Biarritz. И я васъ увѣряю, что это хорошая школа. Послѣ того... никакой русскій не опасенъ.

Кишкетовъ поглядѣлъ на нее съ особеннымъ выраженіемъ. Нина не сконфузилась.

Она его поняла сейчасъ же.

„Ты ничего не знаешь, — говорили ей ликующіе глаза. —

Ровно ничего, хотя, быть-можетъ, подозрѣваешь кое-что. Я тебя не боюсь, ни тебя, ни того, что про тебя разсказываютъ. Ты мнѣ окажешь всякую услугу, когда ты мнѣ понадобишься, стѣбитъ только приласкать тебя, и ты, воображая себя еще молодымъ, будешь надѣяться.“

Ей было въ эту минуту особенно весело. Она ничего не боялась и тѣшила себя тѣмъ, что свою „линію“—какъ иногда выражался еще Захаръ Лукьяновичъ—повела такъ ловко.

Обѣдать она не пригласила Гольца. И Напон, даромъ что считаетъ себя „ужасно“ опытной, дала себя провести. Она сдѣлала ей упрекъ за Гольца, тогда какъ это было по уговору съ нимъ. И Напон тоже ничего не знаетъ. Гольцъ неспособенъ проговориться. Онъ не фатъ. Напон, можетъ-быть, думаетъ, что у нихъ начался флѣртъ. Но какой? Нынче флѣртъ—значить простое ухаживаніе.

Наканунѣ пріѣзда мужа она, уже съ болью въ горлѣ, не утерпѣла и заѣхала во второй разъ въ отель. И свиданіе не ограничилось уже разговоромъ въ коридорѣ. Входя къ нему, она сказала:

— Vous voyez bien, que je ne vous crains pas!

Что между ними было—никто никогда не узнаетъ. Но она ему все-таки не отдается такъ, какъ онъ, быть-можетъ, воображаетъ.

Ничего болѣе сладкаго и задорно-молодого не испытала еще Нина, какъ это охотничье чувство опасности и игры высшаго любовнаго спорта, съ постояннымъ и подмигивающимъ сознаніемъ своего ума и своей ловкости.

Изъ курильной стали подходятъ мужчины. Первымъ явился Эсауловъ и подсѣлъ къ нимъ.

— Французъ въ своей сферѣ,—брезгливо сказалъ онъ, уязвленный тѣмъ, что за обѣдомъ Напон ни разу не обратилась къ нему.

Нина пригласила его съ задней мыслью—какъ онъ будетъ бѣситься, если французъ овладѣетъ разговоромъ съ дамами.

— Кто жъ вамъ мѣшаетъ! — небрежно сказала ему Нина, указавъ головой въ ихъ сторону.—Подойдите, Напон нынче d'une verve endiablée! Не уступайте ее французу.

Всѣ они нисколько не церемонились съ иностранцемъ и, какъ это всегда бываетъ, говорили, точно парочно, на

своимъ языкомъ, что вездѣ за границей было бы крайне невѣжливымъ.

Точно и хозяйка, и ея гости, кромѣ Напоп, продолжавшей взвизгивать отъ пикантностей француза, хотѣли показать ему: „Чего тебѣ еще? Накормили, сказали спичъ, напоили до-отвалу, а церемониться съ тобой не стоить: ты все-таки—куафферъ“.

Будь тутъ самъ Захаръ Лукьяновичъ, онъ бы держалъ себя гораздо „корректнѣе“—слово, которое особенно любилъ употреблять Эсауловъ.

Тихо вошли и Лыжинъ съ Кострицынымъ. Они оставили Кумачева въ курильной, вмѣстѣ съ Верховцевымъ, сильно поналегшимъ на ликеры, Курмышевымъ и Шахматовымъ.

Вѣрный своимъ правиламъ, Захаръ Лукьяновичъ появлялся всегда позднѣе гостей на половину своей жены.

Нина кивнула издали Лыжину и указала на столики съ ликерами.

— Хотите?—кивнула она ему.

Онъ отказался и сѣлъ рядомъ съ Кострицынымъ у двери. Оба они, не обмѣниваясь своими мыслями, думали почти одно и то же.

Своимъ принципомъ были оба довольны. Его на мякинѣ не проведешь. Спичъ свой онъ произносилъ не этому „шмерцу“, а для себя, какъ сынъ своей земли, умѣющій показать, что ни предъ кѣмъ ни онъ, ни такіе же патриоты, какъ онъ, прыгать не намѣрены. Но и французъ, не будь его смѣшноватаго паѳоса, сказалъ спичъ, гдѣ все было, какъ и быть слѣдуетъ, вплоть до возгласа: „Parlez-moi de Kalouga!“ Почему онъ знаетъ, какой это городъ! Имя звонкое—вотъ онъ и всунулъ его въ свой пицероновскій періодъ. И „chère patrie“ свою онъ высоко ставитъ, и „fraternité“ ему нужна съ „sainte Russie“, и нужна на самый существенный ладъ, только онъ, какъ и всѣ его компатриоты, великій мастеръ морочить и себя, и другихъ. А теперь онъ вретъ съ барынями, какъ ему и полагается.

И оба пріятеля, благодушно усмѣхнувшись, поглядѣли въ его сторону.

IV.

Въ курильной Кумачевъ, Шахматовъ и Верховцевъ разсѣлись на длинномъ турецкомъ диванѣ; только дядя За-

хара Лукьяновича сидѣлъ въ креслѣ и маленькими глотками допивалъ ликеръ.

Онъ разспрашивалъ племянника о поѣздкѣ. Лука Гордѣичъ говорилъ ему „ты“, а тотъ ему „вы“—по-купечески. Но „Захарушкой“ Курмышевъ давно уже не звалъ его, даже съ-глазу-на-глазъ, что Захаръ Лукьяновичъ очень цѣнилъ.

— Стало, во всѣхъ частяхъ можно тебя поздравить съ полнымъ успѣхомъ?—спросилъ Курмышевъ своимъ мягкимъ, барскимъ тономъ.

— Дяденька! Улита ѣдетъ—скоро ли будетъ?..

— Мы этихъ питерскихъ чинушей знаемъ!—вскричалъ Верховцевъ голосомъ человѣка, довольно-таки подвыпившаго. — Они на словахъ золотыя горы посулятъ, а потомъ—и шишъ!

Ему давно обѣщали почетное мѣсто по благотворительнымъ заведеніямъ—и до сихъ поръ водили.

— Значить, тамъ господа министерскіе умники раскусили,—замѣтилъ Шахматовъ,—что Москва—всей русской землѣ голова, и ея ходатайства никогда зря не бьются.

— Господа фабриканты—всѣ канючатъ!—перебилъ Верховцевъ, находившій, что съ купцомъ слишкомъ посятся.

— Почему же?—спросилъ Кумачевъ и выпрямился.

— Да ужъ нечего, милѣйшій Захаръ Лукьяновичъ! О чемъ ни попросите—вамъ сейчасъ:—на тебѣ, батюшка, только не канючь!

— Ими теперь столько сотенъ тысячъ народа живетъ,—сказалъ Курмышевъ съ тихой усмѣшкой.

— Вѣдь и господамъ дворянамъ оказываютъ всякую поддержку,—продолжалъ Кумачевъ. — Если выходить мало толку—чья же вина, Платонъ Николаевичъ, чья же вина?

Онъ похлопалъ его по жирному колѣну.

Верховцевъ мотнулъ головой и крикнулъ:

— Толкуйте! Поднимать нашего брата спохватились, когда уже ничего исправить нельзя, когда положеніе цѣлаго сословія въ корень подорвано.

— Пожалуй и такъ,—отозвался Шахматовъ, дававшій всегда понять, что онъ—изъ столбовыхъ дворянъ родомъ.

— Ну, да что тутъ Лазаря пѣть!—пьянящимъ голосомъ протянулъ Верховцевъ.—Вы лучше скажите мнѣ,—

обратился онъ къ Кумачеву,—что Петербургъ, веселится? При васъ не было никакого костюмированного бала, въ собраніи, съ француженками?

— Былъ, да я всего на полчаса заглянулъ туда.

— Были красивыя женщины?

Верховцевъ пододвинулся къ Кумачеву, ёрзая по дивану.

— Одна актриса изъ Михайловскаго. Фамилію забылъ...

И лицомъ—красотка, и бюстъ—мое почтеніе!

— Слышалъ я, слышалъ. Еще фамилія какая-то точно итальянская. Что жъ, аллегри, что ли, продавала?

— Какъ водится.

— И на много васъ наказала?

— Нѣтъ. Я выпилъ одинъ бокалъ шампанскаго.

— Прижимисты, батенька!

Верховцевъ отдалъ Кумачеву его безцеремонный жестъ—потрепалъ его по плечу,—и Захаръ Лукьяновичъ это понялъ.

— Вы вѣдь, батюшка, съ хитрецей,—продолжалъ Верховцевъ, раскидываясь по дивану,—небось, въ Петербургъ съ собой жену не взяли, а одинъ слетали и, поди, тамъ охулки на руку не положили. Бѣдная Антонина Борисовна здѣсь въ одиночествѣ обрѣталась.

— Это ея добрая воля была,—отвѣтилъ Кумачевъ, начиная чувствовать раздраженіе отъ тона Верховцева.

— Рассказывайте, добрыйшій!

— Антонинѣ Борисовнѣ все вѣдь нездоровилось?—спросилъ Шахматовъ, ни къ кому не поворачивая головы.

— Она къ памъ не показывалась ни разу,—вставилъ Верховцевъ. — По такимъ морозамъ, разумѣется, благо-разуміе сидѣть дома.

— Неосторожна она немножко,—выговорилъ Курмышевъ и поставилъ рюмку на столикъ.—Я ее видѣлъ, дня три назадъ, въ какой морозъ.

— Гдѣ?—спросилъ Кумачевъ и быстро обернулъ голову въ сторону дяди.

— Да она, должно-быть, дѣлала визитъ какой-нибудь пріѣзжей барынѣ. Показалось мнѣ, что сани ея отѣхали отъ гостиницы „Дрезденъ“.

— Кто же бы тамъ остановился?—спросилъ Верховцевъ и, что-то сообразивъ, неловко замолчалъ.

Это не укрылось отъ Захара Лукьяновича. Ему тоже пришло на память, что въ „Дрезденъ“ стоялъ баронъ Гольцъ.

Нѣсколько секундъ онъ испыталъ ощущение, точно у него въ головѣ что-то вспыхнуло, какая-то спичка.

Лицо его и безъ того было возбуждено отъ ѣды, произнесенія спича, вина и ликера; но его ударило въ краску, что онъ самъ тотчасъ же замѣтилъ.

— Нина выѣзжала и простудилась немного какъ разъ наканунѣ моего пріѣзда,—выговорилъ онъ тономъ, въ которомъ ему самому слышалось усиленіе не выдать себя.

И вслѣдъ за тѣмъ онъ всталъ съ дивана, прошелся по курительной и, приблизившись къ Курмышеву, сказалъ ему шутливо:

— Вы что же не пожурили Нину за неблагоразуміе?

— Да я издали видѣлъ сани. Самъ я поворачивалъ въ Столешниковъ переулокъ, а сани Антонины Борисовны ѣхали черезъ площадь на Тверскую... И мнѣ показалось, что отъ „Дрездена“.

„И зачѣмъ я опять объ этомъ заговорилъ?“—далъ на себя мысленный окрикъ Захаръ Лукьяновичъ и, отряхнувшись, громко сказалъ:

— Господа! Пора и къ дамамъ, если вамъ не угодно еще пройти по ликерамъ.

Чего съ нимъ никогда не бывало — онъ пошелъ впередъ всѣхъ, и когда подошелъ къ дверямъ комнаты Нины, то остановился въ портьерѣ и кинулъ взглядъ на жену, точно онъ хотѣлъ узнать сразу: обманываетъ она его или нѣтъ.

Подозрѣніе вошло въ него клиномъ и такъ быстро! Это его выбило изъ колеи и показало ему, что увѣренности въ своемъ супружескомъ счастьѣ и спокойствіи въ немъ не жило.

Онъ никогда не ревновалъ ея; ему это показалось бы слишкомъ низменнымъ, недостойнымъ, прежде всего, его самого. Довольно того, что она была его жена. Бызало, перебирая въ памяти классическія изреченія, которыхъ всего больше получилъ онъ отъ Кострицына, онъ любилъ про себя повторить: „Жена кесаря не можетъ быть даже подозрѣваема“.

Онъ зналъ, однако, и то, что излишнее благодушіе и довѣрчивость и на кесаря налагали печать неизгладимаго срама. Императоръ Маркъ-Аврелій былъ мудрецъ и праведникъ и слишкомъ вѣрилъ въ добродѣтель своей Фаустины. Ему докладывали во-время о ея шашняхъ, а онъ все медлилъ и повторялъ: „одно изъ двухъ — или она

оклеветана, или виновна". Такъ вѣдь онъ былъ „блажен-
ненскій“, чудакъ, стоикъ. Да, должно-быть, и кровь-то
въ немъ текла молочная, даромъ что онъ былъ коренной
римлянинъ.

Въ кабинетѣ Нины уже не было ни Лыжина, ни Ко-
стрицына. Французъ хотъ и слишкомъ себя развязно велъ,
но вспомнилъ, что послѣ обѣда нельзя засиживаться до
позднихъ часовъ, если нѣтъ въ домѣ въ этотъ день того,
что въ Парижѣ называется: „réception ouverte“.

Что потомъ говорилось и долго ли сидѣли остальные
гости — Захаръ Лукьяновичъ не помнилъ. Даже и то,
что онъ самъ говорилъ, скользило по немъ. Душой онъ
ни въ чемъ какъ бы не участвовалъ; но наружный видъ
оставался тотъ же, и лицо пріятливо, по-хозяйски,
улыбалось.

Ушли всѣ. Сталъ собираться и Лука Гордѣичъ Кур-
мышевъ.

— Дяденька! Вы бы минуточку посидѣли... Чайку жел-
тенькаго не пожелаете? Вы вѣдь любитель.

Курмышевъ былъ очень польщенъ такимъ вниманіемъ
племянника.

Нина скрылась на время въ уборную и, вернувшись,
легла съ ногами подъ балдахинъ.

— Ты, Нина,—заговорилъ мягко и глухо Кумачевъ,
ходя по комнатѣ,—очень ужъ рискуешь, разтѣзая съ
простуженнымъ горломъ по морозу.

— Какія разтѣзанья?—откликнулась утомленно Ни-
на.—Я дома сижу—ты знаешь.

— А какъ же дяденька видѣлъ тебя наканунѣ моего
пріѣзда?

— Гдѣ?

Нина измѣнила позу.

— Ты отъ гостиницы „Дрезденъ“ отѣзжала днемъ.
Вотъ и поймалась. Ха-ха!

Онъ засмѣялся съ усиленіемъ.

— У кого же ты была? Съ визитомъ, что ли?

Не сразу отвѣтила Нина и, проведя ладонью руки по
волосамъ, выговорила небрежно и вяло:

— Что-то не помню. Я могла подниматься отъ Сто-
лешникова.

Вышло молчаніе.

„Она была у него“,—подумалъ Кумачевъ и весь захо-
лодѣлъ.

Раньше обыкновеннаго Захаръ Лукьяновичъ приказалъ заложить лошадь и допивалъ чай, ходя медленно по кабинету. Онъ смотрѣлъ, опустивъ низко голову, на разводы восточнаго ковра, и сигара лѣниво дымилась въ его лѣвой рукѣ.

Что-то онъ долженъ былъ сдѣлать и не находилъ, что именно. И вчера на ночь, и сегодня утромъ у него не вышло того разговора, который онъ страстно желалъ начать съ женой.

Желалъ и боялся.

Допрашивать ее онъ не станетъ. У него хватило бы голоса и тона начать допросъ. Въ немъ течетъ крестьянская кровь. Дѣдъ его былъ въ домѣ—„Иванъ Грозный“. Да и отецъ, хоть и мягкаго обхожденія, позволялъ своей женѣ Раисѣ Гордѣевнѣ читать книжки и вводить, на фабрикахъ, „всякую филантропію“, потому что былъ въ нее влюбленъ, но если бъ онъ ее заподозрилъ, и онъ показалъ бы себя.

Разбудить звѣря можно и въ немъ; только онъ самъ не хочетъ ничего ни звѣрскаго, ни глупаго. Всякаго скандала онъ бѣгаетъ, какъ чумы. Особенно въ своемъ домѣ, въ той супружеской „святой святыхъ“, куда онъ никого не пускаетъ.

Посоветоваться ему не съ кѣмъ. У него нѣтъ друга. И къ матери онъ не обратится. Къ ней меньше, чѣмъ къ кому-либо. Она вѣдь до сихъ поръ, внутренно, не одобряетъ его выбора. И невѣстка съ ней дѣйствительно суха. Что жъ онъ поѣдетъ изливаться къ ней... Да и въ чемъ?

Просить совѣта, какъ ему изловить жену? Это „подлость“, да и никакой нѣтъ серьезной улики. Прямой не было, но косвенныхъ какъ-то сразу, въ полсутокъ, накопилось нѣсколько.

Съ утра онъ ихъ перебираетъ. Офицеръ, самъ по себѣ, не подалъ ему повода даже спросить себя: опасенъ ли такой красивый „верзило“, или нѣтъ? Слишкомъ ужъ онъ былъ увѣренъ и въ женѣ, и въ самомъ себѣ. Ничего онъ не подмѣтилъ и въ Нинѣ, въ тѣ разы, когда находилъ Гольца у нея съ визитомъ. Но вчера она смутилась, это несомнѣнно, хотя и довольно ловко прикрыла это. Въ

гостиницѣ „Дрезденъ“ стоитъ Гольцъ. Онъ ему отдавалъ визитъ до поѣздки въ Петербургъ и не засталъ.

Вчера, когда они ложились, Нина, сколько онъ помнитъ, въ первый разъ, съ тѣхъ поръ какъ они обвѣнчаны, стала жаловаться, что у нея разболѣлась голова. Свѣчу она на своемъ столикѣ потушила тотчасъ же и притворилась спящей, когда онъ ее окликнулъ. Доказать онъ себѣ не можетъ, что это было притворство, а все-таки онъ увѣренъ въ томъ. И сегодня утромъ она еще спала, когда онъ вставалъ. Это бывало и прежде, только почти всегда она на минуту проснется и приласкаетъ его.

Вотъ уже больше двухъ недѣль, какъ Нина, не мѣняя съ нимъ тона, въ сущности избѣгаетъ его. Только сегодня это ему совершенно ясно.

Конечно, лучше всего бросить всякую тревогу и забыть. Легко сказать! Душа „не пиджакъ“, не пережъишь въ одну минуту. Нужно что-нибудь такое надъ собой сдѣлать, какую-нибудь „душевную диверсію“... Онъ вспомнилъ выраженіе Ивана Кузьмича.

Къ нему онъ тоже не обратится. До этого онъ себя не допуститъ. Какъ бы ни жутко ему приходилось, онъ обязанъ все взять на себя. Если ужъ не пройдетъ сегодня-завтра, надо будетъ уѣхать, что ли, на фабрику.

Это слишкомъ прѣсно. Думскія дѣла постоянно его занимаютъ, но поглотить заново и безъ остатка не могутъ. Дѣла даже прибавилось. Онъ теперь председатель одной изъ самыхъ важныхъ комиссій. Вечера будутъ у него уходить на это. И днемъ надо во многихъ мѣстахъ побывать.

Недостаточно этого.

Вспомнилось ему, что до женитьбы его начала вдругъ забирать крупная игра. Онъ тогда испугался, найдя въ себѣ игрецкую жилку.

Послѣ того и пить можно начать, тоже для „диверсій“.

Захаръ Лукьяновичъ подошелъ къ камину, бросилъ въ пламя окуркъ сигары, весь выпрямился и потеръ руки.

„Одно малодушіе!“ — мысленно вскричалъ онъ и позвонилъ.

— Готова лошадь?—строго спросилъ онъ камердинера.

— Готова-съ.

— Я дома завтракать не буду. Доложить барынѣ.

Къ Нинѣ онъ не разсудилъ заходить. Она и вообще

не любить, когда ее въ уборной или спальнѣ застаютъ еще неодѣтой.

Войдя въ переднюю, Захаръ Лукьяновичъ встрепенулся и громко спросилъ швейцара, подававшего ему шинель съ бобрами:

— Это что такое?

Въ одномъ изъ угловъ возвышалось буро-сѣдое, огромное медвѣжье чучело, отдѣланное въ видѣ мебели, для сѣней, на которую можно положить пладъ или пальто. Животное поставлено было на всѣ четыре лапы и въ полуоткрытой пасти держало японскій подносикъ, вѣроятно, для визитныхъ карточекъ или для щетки.

— Откуда это?

Кумачевъ быстро подошелъ къ чучелу и ударилъ его по спинѣ.

— Принесли... отъ барона Гольца,—доложилъ швейцаръ.

— Кому?

— Барынѣ, официантъ докладывалъ. Онѣ сказали: „Хорошо, поставьте внизу“.

Все сразу опять забурило въ головѣ и груди Захара Лукьяновича.

Первыя нѣсколько секундъ у него совсѣмъ вылетѣло изъ памяти, что Нина, уже давно, говорила ему про подарокъ барона: медвѣдицу, убитую имъ на охотѣ съ Верховцевымъ.

Кажется, онъ сказалъ ей тогда:

— Что жъ? Они оба охотники. А Верховцевъ—мужъ твоей подруги. Отчего же не принять?

И она еще замѣтила на это:

— Только не ставить чучелу на заднія лапы. Это такъ банально.

И съ этимъ онъ согласился.

— А барыня видѣла? —спросилъ онъ, подавляя опять тревогу.

— Никакъ нѣтъ, —отвѣтилъ за швейцара камердинеръ, стоявшій тутъ.—Антонина Борисовна изъ столовой идетъ.

Кумачеву хотѣлось спросить у швейцара: „Было письмо къ барынѣ?“ Онъ воѣжалъ по лѣстницѣ и окликнулъ:

— Нина!

Она дѣйствительно шла по площадкѣ, уже одѣтая къ выѣзду. Это его тоже удивило—въ такой часъ.

— Ты видѣла медвѣдя отъ барона Гольца? — спросилъ Кумачевъ, подходя къ ней.

Руки ея онъ не поцѣловалъ, какъ дѣлалъ это всегда по утрамъ.

— Нѣтъ,—протянула Нина лѣниво и небрежно, очень похоже на то, какъ она вчера начала говорить по уходѣ гостей.

— Съ какой стати ему тамъ торчать?

Въ возгласѣ его слышно было раздраженіе.

— Comment est-il? — остановила его Нина. — Sur les deux pattes ou sur toutes les quatre?

— На четырехъ лапахъ. И что-то нескладно: не то диванъ, не то вѣшалку изъ него сдѣлали.

— Поставимъ къ дѣтямъ. Они будутъ очень рады.

— Что же это ты такъ рапо въ туалетѣ?

Онъ оглянулъ ее всю, избѣгая останавливаться взглядомъ на ея глазахъ.

— Мнѣ надо на воздухъ. У меня опять високъ разбаливается. Я тотчасъ послѣ завтрака выѣду.

— А-а! — протянулъ онъ и, уходя, сказалъ, съ первой ступени лѣстницы: — Я завтракать дома не буду и ѣду сейчасъ.

Все обошлось тихо. Онъ боялся выходки, могъ себя выдать по поводу этого подарка. Собою она владѣетъ „дьявольски“, если только есть между ними что-нибудь. У какой, впрочемъ, „бабы“ отъ природы нѣтъ искусства морочить мужчину? Во лжи и притворствѣ онѣ могутъ доходить до высокаго мастерства: дѣвчонки, а не то что такія опытыя и владѣющія собою женщины, какъ его жена.

Но между ними что-то „покачнулось“. Для этого ему не надо никакихъ уликъ. Никогда еще не встрѣчались они утромъ такъ сухо. Она, правда, частенько бывала „съ холодкомъ“, но всегда пошутитъ или скажетъ ему что-нибудь пріятное... Въ мигрень ея онъ тоже не вѣритъ.

„Куда она поѣдетъ?“ — неотвязно думалъ Захаръ Лукьяновичъ уже въ саняхъ. Спросить ее онъ воздержался. Онъ зналъ давно, съ первыхъ дней супружества, что она этого не любила, и сама никогда не беспокоила его подобными вопросами.

Кучеръ, ѣздившій съ нимъ на одиночкѣ, былъ не тотъ, съ которымъ выѣзжала барыня. Если она попадала въ

гостиницу „Дрезденъ“ уже не одинъ разъ, знаетъ ли старшій кучеръ, что тамъ стоитъ офицеръ?

Вопросъ выскочилъ въ мозгу Захара Лукьяновича и сталъ дразнить его.

И опять онъ весь захододѣлъ, какъ вчера вечеромъ. Жена, Антонина Борисовна, первая красавица по Москвѣ, урожденная княжна Жеребьева-Зарайская, слишкомъ дорога для него. Лишиться ея!..

Его начало душить не то отъ волненія, не то отъ сильнаго мороза.

Въ амбарѣ, на его половинѣ, Кумачева встрѣтилъ старшій приказчикъ и подалъ нѣсколько писемъ.

— А вотъ это, Захаръ Лукьяновичъ,—сказалъ онъ другимъ тономъ,—рано утромъ принесть послынный и оставилъ. Отвѣта не требовалъ и самъ сейчасъ же удалился.

Пакетъ былъ большого формата.

Кумачевъ вскрылъ его и, взглянувъ на то, что въ немъ лежало, быстро прошелъ въ кабинетъ, гдѣ онъ всегда работалъ одинъ.

Онъ даже захлопнулъ изнутри задвижку.

Изъ конверта вынулъ онъ маленькій батистовый платокъ, съ кружевомъ и монограммой. Духи онъ сейчасъ же узналъ, поглядѣлъ на шифръ—и въ немъ переплетались между собою буквы А. и К.—Антонина Кумачева... И ея духи—японскій *корилѣнсисъ*.

Въ вискахъ у него задержало и пальцы вздрагивали.

Къ конторкѣ присѣлъ онъ въ неловкой позѣ и не сразу высвободилъ почтовый листъ изъ конверта, только наполнивъ разодраннаго.

Дамскій платокъ лежалъ тутъ же, на конторкѣ.

„Да что же это я?—пристыдилъ себя Захаръ Лукьяновичъ.—Чего же проще? Обронила гдѣ-нибудь—и прислази“.

Но почему же сюда, а не въ домъ, и не прямо ей?

Пальцы продолжали вздрагивать, когда онъ пробѣгалъ глазами по строчкамъ. Письмо было анонимное.

„Примите этотъ платокъ,—писалъ авторъ письма, тонкимъ почеркомъ, видоизмѣненнымъ,—какъ классическую улику, вызвавшую въ Отелло взрывъ трагической ревности. Но венеціанскій мавръ впалъ въ ловушку, подставленную ему не женой. Вы же, почтеннѣйшій супругъ, сопричислены всѣми московскими рогносодами къ ихъ ордену на основаніи положительныхъ фактовъ. Прилагае-

мое вещественное доказательство подобрано было въ коридорѣ отеля „Дрезденъ“, куда супруга ваша прїѣзжала, въ ваше отсутствіе, утѣшать себя въ объятіяхъ красавца-офицера, имя котораго вы, конечно, знаете“.

Голова закружилась у Захара Лукьяновича, и онъ, вскочивъ, побѣжалъ къ столу, гдѣ стоялъ графинъ съ водой.

VI.

Метель крутила, снѣгъ больно хлесталъ въ глаза и вѣтеръ дулъ прямо въ лицо, когда Захаръ Лукьяновичъ, на сильныхъ рыскахъ, ѣхалъ по дорогѣ къ Ваганькову кладбищу.

Направо и налево пестрѣли, сквозь снѣговую пелену, мелкія обывательскія постройки. По шоссе не было почти никакого движенія. Время похоронъ уже прошло.

На кладбищѣ онъ приказалъ сторожу повести его къ фамильному склепу „рода Кумачевыхъ“. Одинъ зимою онъ могъ запутаться. Заупокойную обѣдню онъ слушалъ каждый годъ; годовщина кончины его отца приходилась весной, въ началѣ мая.

Сторожъ повелъ его по тропинкамъ, занесеннымъ рыхлой крупой. Кумачевъ шелъ въ шинели и бобровой шапкѣ; лицо его морщилось отъ ударовъ метели, но полужакрытые глаза смотрѣли грустно и сосредоточенно.

Выпала же такая погода какъ разъ для посѣщенія кладбища!.. Но что онъ разъ рѣшилъ, то исполнить. Завтра, быть-можетъ, закрутитъ такая же метель и цѣлить въ противника, гдѣ-нибудь на опушкѣ лѣса, будетъ не очень-то удобно... Не откладывать же дуэли!

Надъ склепомъ Кумачевыхъ возвышается мавзолей въ видѣ часовни, въ индѣйскомъ стилѣ съ витыми колоннами и главой, поднимающейся посрединѣ многограннаго основанія. Все изъ тесоваго камня, который успѣлъ уже потемнѣть. Мавзолей этотъ соорудилъ онъ—вопреки желанію матери — и онъ же настоялъ на золотой надписи по мраморной доскѣ: „Усыпальница рода Кумачевыхъ“.

Сторожъ остался на дорожкѣ, а Захаръ Лукьяновичъ спустился внизъ, въ склепъ, гдѣ горѣла неугасимая лампада. Внутреннія стѣны были окрашены въ темно-красный античный колеръ. Въ нишахъ стояло нѣсколько памятниковъ: тутъ лежали его дѣдъ, отецъ, бабушка, рано умершій дядя съ отцовской стороны и его сестренка — „младенецъ Клавдія“, шести мѣсяцевъ.

Онъ уже давно назначилъ мѣсто себѣ, рядомъ съ отцомъ. По другую сторону оставалось еще нѣсколько незанятыхъ впадинъ.

Вотъ сюда его, быть-можетъ, положить черезъ три дня, если „калегвардъ“ попадетъ въ него, какъ въ ту медвѣдиду, изъ которой сдѣлалъ чучело для поднесенія въ даръ Антонинѣ Борисовнѣ.

Передъ памятникомъ отца изъ черного мрамора Захаръ Лукьяновичъ, безъ шапки, преклонилъ колѣни и долго молился. Въ душѣ его задрожала смутная надежда на то, что его, такого почтительнаго сына, Господь „осѣнитъ Своей десницей“.

И поднимаясь изъ склепа онъ подумалъ, что хорошо было бы, завтра же, въ часъ дуэли, отслужить панихиду по отцѣ и дѣдѣ, только надо сдѣлать это безъ огласки и не въ кладбищенской церкви.

Пока сторожъ коченѣющими отъ сѣверки руками заперъ огромнымъ ключомъ замокъ съ металлической фигурной отдѣлкой, Захаръ Лукьяновичъ поднялъ голову— онъ стоялъ уже внѣ бронзовой рѣшетки— и смотрѣлъ снизу вверхъ на мавзолей „рода Кумачевыхъ“.

Если суждено ему остаться въ живыхъ и прожить долгій вѣкъ—къ этому мавзолею двинется когда-нибудь Москва, провожая своего голову. И фонари зажгутъ среди бѣлаго дня, и безчисленные депутаціи будутъ слѣдовать за катафалкомъ, утопающимъ въ вѣнкахъ.

Сюда же принесутъ, когда придетъ ее часъ, и жену его. Судить ее и публично отвергать, если бѣ она и оказалась „безусловно виновной“, онъ не будетъ. Въ семействѣ Кумачевыхъ не должно быть развода. Дѣтямъ онъ сохранить мать. Пускай она сама казнится сознаниемъ того, что потеряла любовь и уваженіе мужа. Раздѣлять съ ней „брачное ложе“—такимъ именно выраженіемъ подумалъ онъ—онъ не будетъ, но и въ разгулъ не ударится, не унизитъ себя до этого. Пускай всѣ тѣ „дворянчики“, кто считаетъ его выскочкой, возьмутъ примѣръ съ его чувствъ, съ его первосортнаго джентльменства.

Ему стало легче отъ такихъ возвышающихъ душу мыслей, и на возвратномъ пути онъ не испытывалъ никакого щемленія въ груди.

Кучеру онъ сказалъ, садясь въ сани:

— Къ Рансѣ Гордѣевнѣ!

Съ матерью Захаръ Лукьяновичъ видѣлся послѣ того

дня, когда у нихъ выпала размолвка изъ-за учительницы Суревичъ, всего одинъ разъ. Конечно, изъ-за жены, ослѣпленный любовью къ ней, онъ держалъ себя съ матерью слишкомъ сухо и даже и по внѣшности—не такъ, какъ бы слѣдовало. Положимъ, Раиса Гордѣевна постоянно показывала ему, что онъ „ретроградныхъ“ понятій. Все-таки надо было настоять на томъ, чтобы Антонина Борисовна, хоть разъ въ двѣ недѣли, аккуратно навѣщала его мать и приглашала ее, когда у нихъ бывали гости, по меньшей мѣрѣ разъ въ мѣсяць.

Останутся сироты — кому же поручить ихъ, какъ не матери съ дядей? Не пройдетъ года — и госпожа Кумачева можетъ очутиться „баронессой Гольцъ“.

Сегодня онъ написалъ завѣщаніе, гдѣ выражаетъ свою волю. Если его жена выйдетъ замужъ за того, съ кѣмъ онъ завтра будетъ драться, или вообще своимъ поведеніемъ вызоветъ, со стороны его матери и дяди, серьезныя нареканія — онъ поручаетъ имъ дѣтей до истеченія срока ихъ малолѣтства.

Раиса Гордѣевна была дома, на то онъ рассчитывалъ. Она ласково удивилась его визиту и стала ему предлагать чаю съ ромомъ—согрѣться. Она была все такая же молодежавая, съ утра аккуратно одѣтая. Сынъ засталъ ее, какъ всегда, съ книгой журнала въ рукахъ.

Зная своего „Захарушку“, она сейчасъ же сообразила, что ему отъ нея что-нибудь нужно экстренное; иначе онъ не прикатилъ бы къ ней въ такую погоду. Но Захаръ Лукьяновичъ не сразу заговорилъ о цѣли своего посѣщенія. Главную цѣль — проститься съ нею — онъ отъ нея скрылъ. Она не должна ничего знать, какъ не будетъ знать о дуэли и жена, вплоть до той минуты, когда ей подадутъ письмо, гдѣ онъ ее предупреждалъ, что можетъ вернуться съ дуэли смертельно раненымъ.

На ея вопросы о женѣ, ея здоровьѣ, выѣздахъ, дѣтияхъ—Захаръ Лукьяновичъ отвѣчалъ, стараясь выдержать веселый тонъ.

Онъ самъ заговорилъ о своемъ новомъ инспекторѣ Лыжинѣ, о которомъ Раиса Гордѣевна была слышана, какъ о человѣкѣ „передовыхъ идей“.

— Вы видите, маменька,—сказалъ онъ еще шутливѣе,— я выборъ сдѣлалъ точно по вашему указанію. Юрій Петровичъ, положимъ, отъ прежнихъ своихъ увлеченій отказался, но все же онъ человѣкъ гуманнѣйшій и, кажется, съ

народническимъ пошибомъ. Пускай! Мы не боимся и его контроля. Онъ самъ, по возвращеніи изъ своего перваго объѣзда, расхваливалъ мнѣ содержаніе рабочихъ и все, что для нихъ было сдѣлано, благодаря вашему настоянію: я этого никогда не отрицалъ и готовъ и теперь, и на предбудущее время улучшать ихъ быть, только бы они оставались благодарными и подчинялись дисциплинѣ, безъ которой — одинъ шагъ до бунтовъ, погромовъ и полной анархіи.

— Ну, что жъ, я душевно рада, Захарушка, — отвѣтила Раиса Гордѣвна и пристально взглянула на него.

„Должно-быть, у него что-нибудь вышло съ женушкой, — вдругъ подумала она, наведенная на эту мысль материнскимъ инстинктомъ. — Что-то онъ ужъ очень мягокъ и лицо у него съ небывалымъ выраженіемъ“.

— Маменька! — началъ Кумачевъ, подсѣвъ къ ней и взявъ за руку, чего не дѣлалъ уже нѣсколько лѣтъ, такъ что она даже покраснѣла. — У меня къ вамъ просьба.

„Вотъ-вотъ“, — досказала она про себя, обрадованная, что онъ къ ней обратился.

— Видите, завтра у меня одно очень важное дѣло для меня рѣшается — какое, позвольте умолчать до времени.

— Я не любопытна, ты знаешь.

— Все узнаете, только позднѣе. И вотъ, хочется мнѣ заупокойную обѣдню заказать. Въ вашемъ приходѣ батюшка жилъ. Не возьмете ли на себя заказать? Я самъ не могу попасть. А если завтра погода будетъ хорошая — вы за меня помолитесь.

Онъ взглянулъ на нее такими глазами, какъ бывало въ дѣтствѣ. Раиса Гордѣвна наклонилась и горячо поцѣловала его въ голову.

— Изволь... Спасибо, милый мой!

Ее считали „вольнодумкой“, но она и въ себѣ, и въ немъ поддерживала всегда „вѣру отцовъ“.

— И больше ничего? — добавила она, когда онъ поднялся.

Встала и она.

Захаръ Лукьяновичъ, не выпуская ея руки изъ своей, нагнулся и поцѣловалъ два раза.

— Вы бы меня благословили, маменька, — сказалъ онъ, чей голосъ его перехватило волненіе.

— Да ты что-то отъ меня скрываешь, Захарушка? — строже спросила Раиса Гордѣвна.

водомъ, если не будетъ доведенъ до него страстью, наскочившей на отказъ: сдѣлаться его любовницей, какъ первая попавшаяся барынька, ищущая интриги.

Она ему достаточно показала, что *такой* побѣды онъ не добьется. Но ей это стоило большой борьбы съ самой собою—во второй разъ, какъ она была у него.

Второй визитъ въ отель все испортилъ. Во-первыхъ, это было крайне рискованно и она поймалась передъ мужемъ... А главное, она выдала свою слабость. Всякій мужчина, на мѣстѣ Гольца, сдѣлаетъ такой выводъ: „во второй разъ явилась и еле устояла, а въ третій—ты моя, и я тебя не пощажу!“

Третьяго дни мужъ пригласилъ обѣдать купца Спѣшанова, съ наружностью цыгана-дирижера, игрова съ очень дурной репутаціей, красавца, получившаго разными темными путями большой капиталъ отъ старой жены, скоропостижно умершей. И Захаръ Лукьяновичъ, какъ бы съ умысломъ, рассказывалъ про сильную игру ихъ въ Охотничьемъ клубѣ. Точно всѣмъ этимъ мужъ хотѣлъ показать ей, что онъ желаетъ мѣнять свои привычки, водить пріятельство съ кѣмъ ему угодно, играть въ большую игру, возвращаться въ четыре часа утра и позднѣе.

Она никакихъ замѣчаній ему не дѣлала. Ей было впору выиграть время. Въ тотъ же день, утромъ, ея камеристка пришла ей сказать, что она не досчитывается одного изъ ея платковъ. Она не обратила на это вниманія. Передъ обѣдомъ Захаръ Лукьяновичъ вдругъ спрашиваетъ ее:

— Это твой платокъ, Нина?

И показываетъ ей уже скомканный платокъ, обшитый кружевомъ.

Ее пронизала мысль: „А если я выронила его тамъ, въ отелѣ? И кто-нибудь меня выдалъ?“

— Мой,—отвѣтила она смѣло.

Въ глазахъ мужа она прочла вопросъ, отозвавшійся въ ея груди холодомъ.

Такъ, спроста, онъ не спросилъ бы ее. И ничего не прибавилъ онъ, отдалъ ей. Выдержать роль до конца и осадить его вопросомъ: гдѣ онъ его нашелъ?—у нея не хватило силъ.

Гдѣ?.. Дома или тамъ? Тамъ — немыслимо, потому что онъ былъ въ Петербургѣ. Но она-то могла обронить его... Камеристку она допросила, и та рѣшительно заявила, что платокъ былъ съ платьемъ, которое она надѣвала въ тотъ день.

Такая улыбка не шуточная. А выхода она не видала еще. Гольцъ не ѣхалъ; она сама его предупреждала объ этомъ. Напоп простудилась и не выѣзжаетъ; да она и не хочетъ открываться ей. Изъ мужичинъ только одному Лыжину она могла бы довѣриться. И то—кто его знаетъ. Вдругъ вломится въ амбицію, скажетъ: „мои принципы не позволяютъ мнѣ играть роль приспѣшника въ обманѣ мужа, котораго я считаю честнымъ человѣкомъ“.

Сегодня она просто не знаетъ, какъ ей быть. Ёхать къ Гольцу—нечего и думать. Вызвать его сюда—значить, навязываться ему, точно клинчить, какъ милости, чтобы онъ поддержалъ ее. Въ чемъ? Въдѣ исторіи у нея никакой не было съ мужемъ. Такъ зачѣмъ же „нарываться на скандалъ?“—способенъ онъ выразиться по-офицерски.

Безпомощность давила ее, совершенно такое чувство, точно она арестантъ, въ одиночной тюрьмѣ, котораго поведутъ, черезъ полчаса, къ допросу, и онъ не знаетъ, кто изъ его сообщниковъ выдастъ его, и кто будетъ говорить заодно съ нимъ.

Плохая примѣта и то, что Захаръ Лукьяновичъ опять былъ въ клубъ и вернулся поздно, однако не очень, около двухъ, и она еще не спала. Къ ней онъ не пришелъ.

Дядя ея пріѣхалъ третьяго дня, но видимо избѣгаетъ быть съ нею съ-глазу-на-глазъ. Вчера Захаръ Лукьяновичъ сидѣлъ у него въ сумерки, а сегодня оба они уѣхали рано.

Ей объ этомъ доложила горничная.

Опять заходила она вдоль амфилады парадныхъ комнатъ. Была въ дѣтской, сдѣлала, невпопадъ, замѣчаніе англичанкѣ; та обидѣлась. Дѣтей даже не поцѣловала хорошенько. И такъ они ей показались чужды и „не нужны“ въ теперешнемъ ея положеніи. Только „лишнее осложненіе“,—скажетъ ей баронъ, если дѣло дойдетъ до развода.

Во второй гостиной, идя къ двери на верхнюю площадку, Нина увидала, что кто-то поднимается изъ сѣней. Дежурный официантъ не стоялъ еще на своемъ мѣстѣ.

— Раиса Гордѣевна! — удивленно оыликнула она свекровь.

Своей обычной легкой поступью поднималась Кумачева. Она пріѣхала не одна. За ней всходилъ, нѣсколькими ступенями ниже, братъ ея, Лука Гордѣичъ.

Въ рукопожатіи Раисы Гордѣвны Нинѣ было что-то особенное. Пальцы у той вздрагивали, она силилась улыбнуться, но глаза были красны и въ лицѣ блѣдность.

Курмышевъ, получивъ письмо племянника, сильно перетрусилъ и не могъ не предупредить сестру. Съ ней сдѣлался обморокъ, сегодня утромъ, и сейчасъ она сама вызвалась ѣхать къ невѣсткѣ; что она уже не застанетъ сына—она знала.

— Откуда вы?—спросила Нина и пристально оглянула свекровь.—Лука Гордѣичъ, здравствуйте!

Она ихъ провела во вторую гостиную и усадила церемонно.

Выдавать тайну сына Раиса Гордѣвна не смѣла: такъ ее просилъ и братъ. Если сына привезутъ убитаго, ея обязанность—быть при вдовѣ. О причинахъ дуэли она ничего не знала; братъ клялся ей, что и самъ ничего не знаетъ и не догадывается. Племянникъ не называлъ даже имени своего противника.

Сердце подсказывало Раисѣ Гордѣвнѣ, что поводъ—„жѣнушка“. Но и' та, видимо, ничего не знаетъ.

— Мы съ братомъ съѣхались, — заговорила она медленно, точно взвѣшивая каждое слово. — И ему, и мнѣ надо было повидать Захарушку. Да онъ сегодня раньше обыкновеннаго выѣхалъ.

— Да, очень рано.

— Не на фабрику ли? — спросилъ Лука Гордѣичъ, добросовѣстно исполнявшій роль свою, скрѣпя сердце, — въ племянникѣ цѣнилъ онъ почтительность.

— И не знаю куда, — сказала Нина.

„Они что-то скрываютъ, — вслѣдъ затѣмъ подумала она. — Или къ чему-то хотятъ меня подготовить“.

Мысль о самоубійствѣ мужа промелькнула въ ея мозгу. Она вспыхнула. Ей стало больно. Самоубійство! Изъ-за нея? Она не хочетъ этого. Если бъ оно было такъ—стало, онъ страстно любилъ ее. Разумѣется, любилъ, и всегда любилъ и преклонялся. Развѣ въ этомъ есть какое-нибудь сомнѣніе?

Напряженные ея нервы услышали внизу, въ сѣняхъ, что кто-то говоритъ съ швейцаромъ.

Она тотчасъ же позвонила.

— Кто пріѣхалъ?—спросила она лакея.

Лицо Раисы Гордѣвны все потемнѣло. Это ее озарило: тутъ дѣло идетъ о жизни или смерти.

— Иванъ Кузьмичъ и господинъ Лыжинъ, — доложилъ лакей. — Они прошли въ кабинетъ, Захара Лукьяновича ожидаютъ.

„Дожидаются!“ — повторила Нина про себя. — Что же это значитъ, наконецъ?“

Слѣдующія пять минутъ прошли въ безсвязномъ разговорѣ. Она уже не прислушивалась. Ей хотѣлось бы крикнуть имъ:

„Оставьте меня одну. Уйдите!“

И вдругъ на порогѣ показался Захаръ Лукьяновичъ и за нимъ князь и купецъ Спѣшановъ. Всѣ трое шумно разговаривали еще съ лѣстницы.

— Ты здѣсь?! — крикнулъ Кумачевъ, и глаза его весело и злобно блеснули. — И маменька! И дяденька!.. Очень радъ... Нина, у насъ за завтракомъ много гостей будетъ. Князь, Спѣшановъ — Кононъ Титычъ. А снизу подойдутъ Лыжинъ и Кострицынъ.

Не подходя къ ней къ первой, онъ поцѣловалъ руку у матери. Раиса Гордѣевна схватила его голову и поцѣловала.

„Была дуэль — и цѣль онъ! — пронизало Нину. — А Гольцъ?“

Она сидѣла, прикованная къ креслу.

VIII.

— Готова карета? — спросила въ третій разъ Нина, хода большими шагами по уборной.

— Сію минуту узнаю-сь.

Горничная убѣжала.

Нина совсѣмъ уже одѣлась къ выѣзду. На головѣ — шапочка съ бобровой оторочкой и пуховый платокъ; въ горлѣ у ней все еще стрекочетъ отъ простуды.

Не могла она дольше ждать.

Завтракъ прошелъ для нея какъ что-то отвратительное. Она догадывалась, что мужъ пріѣхалъ съ дуэли, что князь и игрокъ Спѣшановъ были его секундантами, что Раиса Гордѣевна и ея братъ прискакали, зная про дуэль. По-нимали, въ чемъ дѣло, и Лыжинъ съ Кострицынымъ, пріѣхавшіе почти въ одно время.

Она, точно скованная, не могла предложить вопроса: откуда пріѣхалъ мужъ. Всѣ сидѣвшіе съ ней за столомъ были въ стачкѣ противъ нея — каждый по-своему. И всѣ

знали или предполагали, что поводомъ дуэли—она, и поводомъ, разумѣется, не шуточнымъ. Грудь свою не станетъ подставлять мужъ, да еще человѣкъ, какъ Кумачевъ, изъ такого слоя общества, гдѣ вмѣсто дуэли пускаютъ въ ходъ кулаки или вымещаютъ свою обиду не на обидчикъ, когда онъ выше своимъ положеніемъ, а на „самой“, на „супружницѣ“, глядя по тому, какой „стихъ“ нападетъ: въ видѣ побоевъ, ругательствъ, или запиранія въ чуланъ, или другой какой экзекуціи.

Разговоръ даже оживился къ концу. Игрокъ началъ рассказывать анекдоты изъ Охотничьяго клуба, между прочимъ, какъ компанія засидѣлась въ баккара до восьми часовъ утра, и когда явился директоръ оштрафовать ихъ, то офицеръ въ синемъ сюртукѣ и въ густыхъ эполетахъ очутился за портьерой при общемъ хохотѣ.

Никто ей не говорилъ ничего неловкаго. Дядя Кумачева пускалъ даже любезности. Лыжинъ нѣсколько разъ взглядывалъ на нее какъ будто съ сочувствіемъ. И Раиса Гордѣевна — вся исполненная материнской радости, что сынъ спасся отъ смерти,—была особенно привѣтлива, даже „медоточива“.

И она не смѣла спросить, до самаго конца, о другомъ человѣкѣ, кто изъ-за нея подставлялъ себя подъ пулю. Видѣ онъ принять же вызовъ, и безъ колебаній, если это случилось такъ быстро, что она и не взвидѣлась. Она бы полетѣла сейчасъ къ нему. Не суетѣрное предчувствіе, не „бабьи“ нервы подсказывали ей, что Гольцъ, если не убитъ, то серьезно раненъ. Такой человѣкъ, какъ Захаръ Лукьяновичъ, ужъ если самъ вызвалъ,—а вызовъ, конечно, послалъ онъ,—то не ограничится обмѣномъ пуль, какъ въ Парижѣ, на дуэляхъ журналистовъ и депутатовъ. Онъ будетъ драться „до крови“.

Взглядывала она на мужа, и новое чувство, въ видѣ нервныхъ вздрагиваній, начало шевелиться въ ней. „Дворянящійся купчина“ сидѣлъ противъ нея, бравый, съ открытымъ и энергичнымъ лицомъ, красивый, очень барственный, и такъ удивительно владѣлъ собою. Онъ шелъ почти на вѣрную смерть — Гольцъ такой чудесный стрѣлокъ! — и ни однимъ нервнымъ движеніемъ или словомъ не выдалъ себя передъ нею. Можетъ-быть, до него дошло, что баронъ говорилъ о ней въ публикѣ непочтительно. Это невѣроятно, но что-нибудь въ такомъ родѣ. Онъ могъ просто погорячиться, принять слова самодовольнаго офи-

пера за обиду. И этого было достаточно, чтобы вызвать его на pistolетахъ.

А убѣдился онъ, что она его обманываетъ, что Гольцъ—ея любовникъ или близокъ къ тому—тѣмъ больше. Много ли дворянъ, самыхъ раститулованныхъ поведутъ себя съ подобной выдержкой? Негодовать на него, презрительно и злобно относиться—она не могла. Онъ внушалъ ей неизвѣданное еще ею уваженіе и страхъ.

Ей вспомнилась—какъ-то сразу—дуэль Пушкина. Тотъ тоже приревновалъ къ офицеру. И жена ничего не знала до того момента, когда его, смертельно раненаго, привезли домой. Она любила когда-то читать и говорить объ этой дуэли. Поэта считала она самымъ несноснымъ ревнивцемъ и знала, что въ тогдашнемъ свѣтѣ всѣ жалѣли его жену. И та была только заподозрѣна... Можетъ-быть, у ней уже началось сближеніе съ французомъ, но связи не было—это теперь несомнѣнно извѣстно.

„Вѣдь французъ служилъ въ такомъ же полку, гдѣ носить кирасы“,—подумала она.

Насилу кончился этотъ ужасный для нея завтракъ.

Захаръ Лукьяновичъ—какъ ни въ чемъ не бывало—простился со всѣми—„cavalièrement“—сдѣлавъ общій поклонъ рукой, и уѣхалъ въ амбаръ; за нимъ Кострицынъ. Лизина она не рѣшилась удержать. Раиса Гордѣевна и „дяденька“ тоже скрылись, видимо уклоняясь отъ всякаго объясненія, чему она была рада.

Одна Напон Верховцева могла ей все раскрыть теперь, послѣ дуэли. Застать ее она должна: та не выѣзжаетъ. Онѣ не видались больше недѣли.

— Напон! De grâce. Qu'est-ce qu'il-y-a?

Нина обняла ее и не выдержала—разрыдалася.

Верховцева не выѣзжала, но была на ногахъ, и Нина застала ее въ гостиной, тоже въ безпокойствѣ.

И въ первыхъ же словахъ пріятельницы зазвучало почти недовольство и что-то еще новое.

— Ты отъ меня все скрывала!—сказала ей Напон съ тревожнымъ и недобримъ лицомъ; она увела ее къ себѣ въ спальню.—Скрывала отъ меня!—повторила она съ такимъ же недобримъ смѣхомъ.

— Что? Что такое?

— Постыдись!—крикнула Напон.—Ты такъ понимаешь дружбу?!

Тутъ Нина, вся красная, едва справившись со слезами, встала и, въ тонъ пріятельницѣ, кинула ей вопросъ:

— Ты, можетъ-быть, думаешь, что я въ связи съ нимъ? Это ложь!

Напон засмѣялась.

— Ты не смѣешь мнѣ не вѣрить! — крикнула Нина внѣ себя.

Въ эту минуту она ненавидѣла эту „бабѣнку“, которая обидѣлась отъ того, что ей не дали играть роль наперсницы и не нуждались въ ея услугахъ.

— Такъ изъ-за чего же вышла дуэль? — возразила Напон, не смягчая своего голоса. — И Гольцъ, можетъ-быть, въ эту минуту умираетъ?

— Онъ раненъ?

— Вотъ это мило!

Напон всплеснула руками.

— Это безподобно! За нее онъ принялъ дуэль и такъ благородно — даже мужу не сказалъ ничего до послѣдней минуты, а она спрашиваетъ раненъ ли онъ? Платонъ скрывалъ отъ меня вчера. Онъ былъ увѣренъ, что на барьерѣ останется не Антоша, а мужъ твой. И первая же пуля — они стрѣлялись до серьезной раны — попала Антошѣ... сюда! — Напон показала на бедро, ближе къ животу. — Платонъ заѣхалъ ко мнѣ на минуту, совсѣмъ убитый, и поскакалъ въ клинику, на Дѣвичье Поле, къ профессорамъ. Докторъ, бывшій при нихъ, не беретъ одинъ дѣлать операцію.

— Онъ опасенъ?

Нина схватила Верховцеву за руки и прижалась къ ней.

— Напон, душечка! Не будь со мной такой жесткой! Я ничего не знала... Клянусь тебѣ!

И порывисто, но не путаясь въ словахъ, она рассказала ей все, что было у ней въ домѣ.

— Я ничего, ничего не знала... Я только вчера утромъ послала Гольцу денешу о подозрѣніяхъ мужа.

— Ты видишь, стало, у васъ было что-нибудь?

— Не то, что ты думаешь! — стремительно крикнула она. — Ну, да, онъ меня захватилъ. Я первая показала ему это... Я была у него.

— Тѣмъ болѣе его жаль! — возразила Напон. — Тѣмъ болѣе! Ты съ нимъ пококетничала, и онъ долженъ за это умирать въ ужасныхъ мученіяхъ. Чего же еще нужно было для мужа, какъ твой, съ такимъ желѣзнымъ харак-

теромъ? Ты была въ отелѣ, и тебя видѣли. И это было поводомъ вызова; такъ допускаетъ и самъ Антоша, такъ объясняетъ и Платонъ. Милая моя, если ужъ ѣздить къ мужчинѣ въ гостиницу, днемъ, чтобы вся Москва объ этомъ знала, то не очень-то благородно только водить мужчину и потомъ хвалиться тѣмъ, что ты ему еще не отдалась!

Все это было сказано по-французски, но слова и ихъ звуки такъ и били Нину прямо по лицу. Она сидѣла въ напряженной позѣ, съ остатками слезъ на лицѣ, которое утеряло свою величавость и красивую нарядность.

— Я поѣду къ нему! — растерянно выговорила она и встала.

— Нѣтъ, ты этого не сдѣлаешь! И тебя не примутъ. Зачѣмъ? Волновать его? Когда у него и теперь температура, можетъ-быть, выше сорока. Ты пойми, если задѣты внутренности—воспаленіе и конецъ.

— Зачѣмъ ты мнѣ все это говоришь? Это жестоко! Это...

Нина хотѣла сказать: глупо! Ея горделивая и властная натура воспрянула. Чтò бы она ни надѣлала, она и въ отвѣтъ, и не такой бабѣнкѣ, какъ Nanon, играть передъ ней роль судьи и обличителя.

— C'est bon! Je sais ce que j'ai à faire!

И она солгала: вотъ этого-то она не знала, и не могла знать. До объясненія съ Гольцемъ, если онъ выздоровѣетъ, она не могла ни вызывать объясненія съ мужемъ, ни отвѣчать ему умно и выгодно для себя, когда онъ самъ заговорить.

— Это Платонъ! — перебила ее Верховцева, услыхавъ мужскіе шаги.

Она отворила дверь въ гостиную и крикнула:

— Tonton! Viens ici! Nina est chez moi.

Верховцевъ съ разстроеннымъ и сразу опавшимъ лицомъ, все еще въ двубортномъ сюртукѣ секунданта, какъ былъ съ ранняго утра, вошелъ быстро и, не поклонившись Нинѣ, сказалъ:

— Пулю вынули.

Обернувшись къ Нинѣ, онъ сухо вато проговорилъ:

— Здравствуйте, Нина. Вотъ у насъ какое дѣло!

И онъ былъ противъ нея, и онъ способенъ сейчасъ же дерзить ей и вымещать на ней и обиду—за что?—и бѣду товарища, котораго онъ баловалъ и считалъ во всѣхъ статьяхъ молодцомъ.

— Онъ опасенъ?—вырвалось у Нины.

— Пулю вынули. На одну десятую сантиметра она была отъ брюшины. Да-съ, — раскатисто и вѣско выпалилъ онъ,—отвратительный ударъ! И, кажется, вашъ благодарный, Нина, умышленно мѣтилъ ему въ животъ. Самый коммерсантскій прицѣлъ!

Нинѣ захотѣлось заставить его замолчать какимъ-нибудь окрикомъ. Но она не смогла. Ея положеніе было черезчуръ жалкое въ собственныхъ глазахъ.

— Къ нему нельзя? — неопредѣленнымъ звукомъ спросила она.

— Вамъ? Нѣтъ, барынька! Извините-съ! У него температура тридцать девять, а къ ночи, навѣрно, и за сорокъ перейдетъ. И безъ того онъ какъ куръ во щи попался!

„Барынька!“ — рѣзнуло Нину по ушамъ. Она близка была къ припадку.

IX.

Въ спальнѣ, узкой комнатѣ, гдѣ шторы единственнаго окна были спущены, по воздуху расходился запахъ іодоформа.

Гольцъ, укрытый фланелевымъ одѣяломъ выше талии и въ вязаной фуфайкѣ, лежалъ съ полузакрытыми глазами.

Онъ не спалъ. Ему было гораздо лучше. Температура опустилась почти до нормальной. Вчера доктора позволили посидѣть въ креслѣ и почитать газету.

Кромѣ Верховцева и Напон, къ нему никого не принимали. Много карточекъ лежало въ первой комнатѣ, въ вазочкѣ, на столѣ. Его дуэль очень быстро разнеслась по городу, и это было ему неприятно.

Конечно, теперь рассказываютъ, что мужъ „накрылъ“ ихъ съ Ниной и выставляютъ его какъ охотника за чужими женами. И это ему особенно неприятно. Его роль была во всемъ этомъ дѣлѣ страдательная.

„Что жъ тутъ дѣлать,—часто повторялъ онъ про себя,—если бабы лѣзутъ?“

Нина очень соблазнительная женщина, но грѣшныхъ мыслей онъ не имѣлъ на нее. Она его поцѣловала—первая. А развѣ это пойдешь звонить по Москвѣ, или сдѣлаешь объявленіе въ газетахъ, вотъ какъ печатаютъ раз-

ныя оправданія и уничтоженія довѣренностей? И такъ уже довольно было грязи въ газетахъ по поводу попытки самоубійства Липы Угловой и раньше еще — изъ-за ея слосчастныхъ дебютовъ „Карменъ“. Отъ нея все и пошло.

Онъ на нее не сердится. Ему даже ее жаль. Можетъ, она теперь опасно больна: ядъ—не то, что пуля... И онъ былъ опасно раненъ; такъ вѣдь то же могло случиться и на охотѣ.

Вспоминается ему огромная, буро-сивая медвѣдица, когда она шла на него, съ ревомъ, на заднихъ ногахъ. Сдѣлай двѣ остъки—и содрала бы кожу съ черепа, прежде чѣмъ онъ успѣлъ бы всадить ей въ грудь ножъ. Еще вопросъ: какъ такая „мадамъ“ облапить. Если скоро и высоко подъ мышки, такъ и ножа не смогъ бы выхватить.

Пожалуй, и про дуэль были уже замѣтки въ газетахъ. Платонъ Верховцевъ общалъ ему, въ день дуэли, объѣхать редакціи и попросить ничего не печатать. Но развѣ нынѣшнихъ „милашекъ“ удержишь: ему пришло на память слово Липы. Даже и фамилія пасквилянта, котораго онъ не хотѣлъ ни бить, ни вызывать, отчетливо представилась ему: „Спондѣевъ“.

Когда они учили въ корпусѣ русское стихосложеніе, то онъ зубрилъ, что такое „спондей“; теперь не могъ бы отвѣтить, изъ сколькихъ долгихъ и короткихъ онъ состоитъ. Вотъ этакій „спондей“ и начнетъ опять, въ ближайшемъ воскресномъ фельетонѣ, вышивать по канвѣ, ничего не называя, въ видѣ разсказа, и все будетъ про-
зрачно.

За кого стоитъ публика: за мужа или за него, „похитителя“.

Гольцъ тихо усмѣхнулся. Какой же онъ похититель? Давно уже онъ тяготится своей холостой жизнью, хотя ему всего двадцать шесть лѣтъ. Вѣроятно, здѣсь бы и не ашелъ невѣсту, не случись этихъ двухъ исторій.

Насчетъ своего чувства къ Нинѣ онъ рѣшилъ еще въ тотъ день, когда она къ нему во второй разъ пріѣхала и сидѣла вонъ въ той комнатѣ. Они много цѣловались. Какъ же иначе? И ему понравилась такая смѣлость, нужды нѣтъ, что онъ сказалъ ей: „это слишкомъ рискованно“.

Будь онъ безумно въ нее влюбленъ или притягивай она его хоть такъ, какъ онъ ее, развѣ она ушла бы отъ него, не отдавшись ему? Никогда! Это быть не можетъ.

Онъ довелъ бы все до развязки, и если бъ они поймались, сталъ бы первый требовать развода.

О разводѣ ему и на мысль не приходило. Что у нея была задняя мысль довести его до предложенія—онъ смутно сознавалъ. Вотъ это-то его и охлаждало. Ему казалось, что у Нины больше игра какая-то съ нимъ, чѣмъ беззавѣтная страсть.

Въ городѣ могутъ теперь ему сочувствовать: раненъ, опасно, раздуютъ опасность, поди уже приговорили его къ смерти. Если бъ не жалѣли, столько бы народу не „загнуло“ карточекъ. А мужъ, его степенство, господинъ Кумачевъ, велъ себя „лихо“, только злобно. Онъ хотѣлъ его уложить, потому что жена для него все: княжна, красавица, съ тономъ, тянетъ его вверхъ.

Второй секунданта — Гольцъ нашелъ здѣсь товарища по корпусу, въ штабѣ округа, изъ академіи—тотъ всякую штуку знаетъ и говоритъ ему:

— Тебя этотъ купчина вызвалъ въ родѣ, какъ Пушкинъ Дантеса, по однимъ подозрѣніямъ. Вѣроятно, и онъ получилъ анонимное письмо.

Его секунданты настаивали, чтобы стрѣлять разъ, но покончили на томъ, что стрѣлять будетъ каждый, когда захочетъ, отъ мѣста, гдѣ ихъ установили, до барьера. И на дистанціи Кумачевъ настаивалъ на „сурьезной“. Первый выстрѣлъ мѣтилъ ему прямо въ грудь и попалъ въ бедро, прежде чѣмъ онъ успѣлъ спустить курокъ.

Дуэли, такой серьезной, у него еще не бывало, и ощущение, когда на васъ, какъ на звѣря, наводитъ дуло, „почище“, чѣмъ поджидать хотя бы и разъяренную медвѣдицу.

Много онъ ломалъ себѣ голову — кто ихъ выдалъ съ Ниной. Видѣли ее въ отелѣ и донесли. Отговариваться послѣ письма Кумачева нельзя было: въ немъ прямо говорилось, что у него есть „фактическое доказательство“. Можетъ, сама призналась. Женщины всѣ „шалыя“, даже и такія „павы“, какъ Нина. Крикнуть на нихъ — онѣ и разболтаютъ все.

Его безпокоила мысль, что Нина можетъ считать его „пошлякомъ“. Она тамъ мучится, а онъ, хотя бы на словахъ, черезъ Напон, могъ передать что-нибудь. Сегодня силъ достало бы и написать нѣсколько словъ.

Мужъ и жена Верховцевы прямо запретили ему давать о себѣ хоть признакъ жизни. Напон говорила, что мужъ

никакого скандала не сдѣлалъ, издѣтъ себя джентльменски и до сихъ поръ у нихъ съ женой никакого объясненія не вышло. Къ нему Нина порывалась, но Верховцева ей запретила.

Надо ждать и, когда дѣло выяснится, поступить, какъ приказываетъ долгъ дворянина и офицера въ „первомъ“ полку. Мужъ можетъ ее и выгнать. У нея нѣтъ никакихъ средствъ. Тогда онъ увидитъ. Лгать онъ себѣ не желаетъ. Все отдать за любовь этой женщины — такого чувства въ немъ нѣтъ. И если онъ поддался ей порывамъ — а кто бы на его мѣстѣ устоялъ? — за то и наказанъ достаточно.

Профессора, вынимавшаго пулю, онъ сейчасъ же спросилъ:

— Буду ѣздить верхомъ?

Тотъ отвѣтилъ уклончиво:

— Во всякомъ случаѣ, баронъ, не раньше, какъ черезъ три-четыре мѣсяца.

А вдругъ сведетъ жилу и будешь хромъ, а хромымъ ни въ пѣхотѣ, ни въ кавалеріи не полагается, не то что уже въ ихъ полку. Довольно и того, что приходится брать долгосрочный отпускъ, а то такъ и перечисляться въ запасъ.

И все это изъ-за двухъ „бабенокъ“.

Сидѣлка, съ наручной перевязью сестры милосердія, тихо постучалась.

— Войдите! — откликнулся Гольцъ и, раскрывъ глаза, поправилъ одѣяло, выпрямилъ спину и легъ повыше.

Ею онъ очень доволенъ, только находитъ, что она слишкомъ уже „шикарна“. Звали ее Надежда Адольфовна — дочь нѣмца, но по матери православная.

— Антонъ Ѳедоровичъ, — доложила сестра, просовывая свою голову блондинки, въ бѣломъ уборѣ. — Я не знаю... Швейцаръ пустил... Дама желаетъ васъ видѣть.

— Какая? — сдерживая волненіе, спросилъ Гольцъ.

— Молодая... Красивая такая, — прибавила она шопотомъ. — Очень просить.

„Нина!“ — рѣшилъ онъ, и имъ овладѣло еще большее волненіе; даже руки вздрагивали.

— Профессоръ не позволилъ постороннихъ посѣщеній, — мягко напомнила сестра.

— Знаю... На одну минуту можно... Поднимите, пожалуйста, штору, наполовину.

— Неторопливо, разсчитаннымъ движеніемъ, сестра подняла штору и, выходя, спросила:

— Больше вамъ ничего не угодно?

— Благодарствуйте... Извините—скажите, что я приму въ постели.

По лицу сестры прошла легкая тѣнь. Она что-то сообразила. Войдя въ первую комнату, она такъ же тихо сказала:

— Баронъ проситъ васъ на минуту. Много говорить имъ опасно.

И, пропустивъ гостя, она затворила плотно дверь спальни и черезъ минуту, взявъ свое ручное шитье, выскользнула беззвучно въ коридоръ, гдѣ и осталась.

— Липа!

Голосъ Гольца вздрогнулъ и замеръ.

Липа стояла у дверей, въ шапочкѣ и башлыкѣ, и простомъ, ненарядномъ платьѣ.

— Извините,—проговорила она.—Я на минутку... Только я съ холода... Морозъ большой. У дверей я и сяду.

Онъ глядѣлъ на нее вбокъ, очень пристально, пріятно смущенный ея появленіемъ. Мысль, какъ бы она не выстрѣлила въ него или не пустила въ лицо кислотой, ему не пришла. Счеты ихъ покончены. Онъ не вѣрилъ въ то, что она изъ любви и ревности хотѣла покончить съ собою. Ихъ связь шла „на нѣтъ“. И въ сущности, она — „добрый малый“.

Липа похудѣла, и ея лицо было совсѣмъ не прежнимъ, гораздо строже и красивѣе. Какою она была теперь—она ему нравилась больше Нины, и что-то у него зашевелилось въ груди товарищеское, близкое. Двухлѣтняя связь сказывалась.

— Спасибо,—выговорилъ онъ, сдѣлавъ ей привѣтствіе лѣвой рукой.

— Въ городѣ говорятъ...

— Что я смертельно раненъ, небось?—добавилъ онъ за нее.—Нѣтъ, мнѣ лучше. Я скоро встану, только буду ли годенъ въ строй—это еще неизвѣстно.

Они избѣгали употреблять мѣстоименіе.

— Спасибо,—повторилъ онъ.—Что жъ... если я виноватъ передъ...

— Какіе счеты!—перебила Липа.—Каждому своя слеза солона.

— Какъ?—веселѣе переспросилъ Гольцъ.

— Такая есть поговорка: каждому своя слеза солона. Прежней артистки Днѣпровской во мнѣ нѣтъ. Все выгорѣло. Я ликвидирую, Антонъ Ѳедоровичъ.

Ему захотѣлось сказать ей:

„Называй меня Антошей“, — но чувство, скорѣе стыдливое, чѣмъ уклончивое, удержало его.

— Какъ такъ?

— Ликвидирую... Вотъ я и пришла... Если нужно — я бы подежурила здѣсь.

Онъ могъ бы подумать: „Э! Ты на меня опять закидываешь сѣти“ — и не подумалъ этого.

Она хотя и „шалая“, но слишкомъ прямая натура, чтобы пускаться въ ходъ такой „аллюр“, — выразился онъ про себя по-кавалерійски.

— Только, пожалуйста, вы, Антонъ Ѳедоровичъ, позвольте мнѣ распорядиться одной вещью, какъ я надумала.

— Съ какой же стати...

Онъ не договорилъ.

— Хуторъ, который вы мнѣ подарили... я бы хотѣла отдать на одно хорошее дѣло.

— Онъ ваша собственность...

— Нѣтъ, ужъ позвольте...

Липа встала и, сдѣлавъ шагъ впередъ, протянула руки очень милымъ, просительнымъ жестомъ.

— Пожалуйста... Только на что же жить?

— Проживу.

„Вотъ она какая! — подумалъ онъ. — Не хочетъ ничѣмъ пользоваться, разъ между нами все покончено“.

— Липа!.. Мы вѣдь не враги? — онъ протянулъ ей руку. — Что жъ намъ такъ сухо... на *вы*? Ты — славная... Поди сюда, сядь... сядь на кровать. Ничего... теперь отъ тебя холодомъ не вѣетъ, да у меня и нѣтъ уже лихорадки.

— Нѣтъ, нѣтъ... Я уйду. Если тебѣ скучно будетъ... вечеромъ почитать... пока я здѣсь. Лучше за больнымъ походить, чѣмъ на сценѣ, передъ разными уродами, выкрикивать изъ „Меден“.

Гольцъ взялъ ее за кончики пальцевъ и притянулъ къ себѣ.

Что-то скрипнуло. Въ дверяхъ стояла Нина.

Х.

Краска бросилась въ лицо Кумачевой.

Хуже этого ничего не могло выйти.

Опять ея глупая неосторожность! Ее еще сильнѣе истинно видѣть Гольца. Она не послушалась Верховцевыхъ. Въ коридоръ она никого не встрѣтила. Войдя въ первую комнату, она услышала разговоръ, но подумала, что это съ сидѣлкой.

Липа быстро встала съ края постели и протянула руку Гольцу.

— Поправляйтесь!.. По вечерамъ скучно будетъ—дайте мнѣ знать. Я приду, почитаю.

Тонъ ея былъ совсѣмъ простой. Она нисколько не стѣснялась и, проходя мимо Нины, спокойно посмотрѣла на нее.

— C'est elle?..

Вопросъ Нины прозвучалъ рѣзко, почти злобно, когда они остались вдвоемъ.

Гольцъ, не особенно смущенный, медлилъ отвѣтомъ.

— Вы ее знаете?—спросилъ онъ, обернувшись къ ней всѣмъ лицомъ, и тихо усмѣхнулся.

Они были еще на „вы“. И это „вы“ сдѣлало сейчасъ разговоръ неловкимъ, съ первыхъ словъ. Развѣ такъ слѣдовало свидѣться? Въ ней всякій порывъ сразу упалъ. Онъ казался скорѣе недовольнымъ ея внезапнымъ появленіемъ.

Нина услышала, какъ тихо отворили дверь изъ коридора—вдругъ это посторонній мужчина? Зачѣмъ она будетъ себя афишировать, если онъ опять сошелся „avec cette fille“,—выговорила она про себя, вся съежившись.

— Это сестра,—успокоилъ онъ ее.

Они еще не подали другъ другу руки.

— Хорошо... Я уйду туда.

Не могла же она объясняться съ нимъ, запершись въ спальнѣ. Довольно и того, что выйдетъ отсюда, отъ молодого мужчины, лежащаго въ одной фуфайкѣ.

— Сестра! — позвалъ Гольцъ въ дверь, оставленную Ниной полуотворенной. — Вы хотѣли сходить куда-то... Мнѣ теперь совсѣмъ хорошо.

Сестра поняла, что имъ нужно остаться однимъ.

— И пожалуйста скажите швейцару, чтобы никого ко мнѣ не пускать.

„Ça, c'est archibète!“—подумала Нина, отходя къ окну, куда стояла спиной.

Она прибѣжала пѣшкомъ, оставила свои сани у Голофтьевской галереи, со стороны Неглинной, и вышла на Петровку, а оттуда Столешниковымъ переулкомъ сюда... Никого изъ знакомыхъ она не встрѣтила. Но вѣдь и въ послѣдній разъ, какъ была здѣсь, она тоже думала, что ея „escarade“ пройдетъ ей даромъ, а ее видѣли. Не одинъ Лука Гордѣичъ проболтался. Теперь она увѣрена, что мужу прямо донесли или написали анонимное письмо.

Сестра удалилась, а Нина все еще стояла лицомъ къ окну, не зная, какъ ей быть... Бѣжать къ нему, схватить его за голову, покрыть поцѣлуями, расплакаться отъ радости—все это и было бы такъ, если бъ не встрѣча съ той „госпожей“.

— Вы тамъ?—ослабшимъ голосомъ спросилъ Гольцъ.

Нина сдѣлала нѣсколько шаговъ къ двери, нерѣшительно, и остановилась посрединѣ комнаты.

— Вы слабы... вамъ запрещъно говорить?

— Ничего... Пожалуйста!

Въ этомъ „пожалуйста“ тоже не было никакой безумной радости.

Кто ихъ знаетъ! Можетъ-быть, они запово сошлись. Та, узнавъ о его дуэли, прилетѣла сюда, и онъ растаялъ. У мужчинъ тщеславіе всегда сильнѣе чувства. Только чтобы изъ-за нихъ безумствовали. Вѣдь она уже отравлялась и увѣрила его, конечно, что изъ бѣшеной страсти къ нему. Иначе какъ же бы она очутилась здѣсь?

Въ груди Нины сжало, точно комокъ какой. Она не могла стряхнуть съ себя всѣхъ этихъ обидныхъ вопросовъ. Свое поведеніе показалось ей такимъ жалкимъ и нелѣпнымъ. Впору хотъ бѣжать отсюда, безъ оглядки.

Куда? Домой? Тамъ ей еще хуже. Мужъ продолжаетъ разыгрывать роль все въ томъ же топѣ, точно ничего не случилось, и восхищенъ, должно-быть, побѣдой надъ „калегвардомъ“, собственнымъ характеромъ и умомъ. И онъ даетъ чувствовать слишкомъ ясно, что царству Антонины Борисовны пришелъ конецъ: онъ сталъ совсѣмъ по-другому жить и распоряжаться тѣмъ, что, до сихъ поръ, зависѣло отъ нея, приглашать своихъ родственниковъ и разныхъ „купчишекъ“ изъ клуба, играть по большой, проводить вечера неизвѣстно гдѣ. Вотъ уже который день онъ ночуетъ у себя въ кабинетѣ.

— Пожалуйста!—повторилъ Гольцъ.

Она проникла въ спальню.

— Извините,—заговорилъ Гольцъ все такимъ же слабымъ голосомъ,—за непріятную встрѣчу.

Его слова сочла она безтактными. Теперь она еще менѣе способна кинуться къ нему, или хоть шутливо приласкать его словомъ, жестомъ.

Обоимъ было до-нѣльзя неловко. Оба чувствовали что-то жесткое и недоброе, и ни у одного не доставало смѣлости показать, что, въ ту минуту, происходило въ немъ.

— Я такъ мучилась!—начала Нина, подходя поближе къ кровати.

Гольцъ взялъ ея руку и поцѣловалъ.

Поцѣлуй этотъ не согрѣлъ ее что-то. Она нагнулась и приложилась губами къ его головѣ. Отъ всей постели и отъ его тѣла шель лѣкарственный запахъ, ей непріятный. Въ своей вязаной фуфайкѣ у него былъ солдатскій видъ.

Но все-таки имъ стало ловчѣе.

Нина сѣла на стулъ. Цѣловать его въ губы ей совсѣмъ не хотѣлось.

— Et voilà!—вырвалось у ней со вздохомъ. — C'est du regret!

Тонъ былъ раздраженный, а не тронутый.

— Oui, — отвѣтилъ онъ мягче, и вялая усмѣшка пропала по его поблѣднѣвшимъ губамъ.

Ей хотѣлось, прежде всего, знать: какъ мужъ вызвалъ его, имѣлъ ли онъ доказательство ихъ близости. Но ей стало немного стыдно. Что же его допрашивать? Вѣроятно, онъ столько же знаетъ, сколько и она сама. Не будетъ же она допытываться, не началъ ли онъ самъ болтать про свою побѣду?

— Et la demoiselle?—выговорила Нина, жестомъ правой руки показывая на дверь, куда ушла Липа.

Онъ пожалъ плечами.

Оправдываться онъ не сталъ. И что же ему оправдываться? Липа его тронула. Какого-нибудь „фортея“ онъ въ ея поведеніи не видитъ. А если и есть, то онъ не изъ такихъ, которыхъ можно вертѣть какъ угодно... Его безпокоило въ эту минуту одно: положеніе Нины въ домѣ. Если она скажетъ ему въ упоръ: „мнѣ оставаться женой Кумачева нельзя“, онъ обязанъ такъ или иначе устроить ея судьбу.

— Берегитесь, — начала Нина, но совсѣмъ не о томъ, что его беспокоило, — эта особа можетъ опять впутать васъ въ исторію... Отъ нея надо избавиться. Вы добры... Она, конечно, явилась показать чистоту своихъ чувствъ, ха-ха?

— Напрасно, — остановилъ онъ ее и щелкнулъ языкомъ. — Никакой опасности тутъ нѣтъ.

На губахъ у него былъ вопросъ: „Вы лучше мнѣ скажите, какъ у васъ въ домѣ?“

— Ну да, ну да, — раздражалась Нина. — Всѣ мужчины таковы. Тщеславіе ослѣпляетъ ихъ.

— О васъ, а не обо мнѣ поговоримъ, — остановилъ онъ ее жестомъ руки.

Говорить дѣлалось ему трудно, и она этого не замѣчала.

— Что жъ обо мнѣ?

Какъ бы она крикнула ему: „Развѣ вы такъ должны вести себя со мною?“

Нужды нѣтъ, что онъ еще боленъ. Однимъ словомъ онъ могъ бы показать ей, что сейчасъ готовъ назвать ее своей женой. Развѣ она не приноситъ ему жертву? Что же такого „особеннаго“ представляетъ онъ изъ себя? Такихъ бароновъ — сотни, а кавалерійскихъ поручиковъ — тысячи. Состоянія у него, навѣрно, нѣтъ и на одну пятую того, что есть у Захара Лукьяновича. Ея мужъ въ почетѣ, добьется всего, будетъ головой, будетъ губернаторомъ, ~~можетъ-быть~~, министромъ. Нынче все это возможно! Она царила въ своихъ чертогахъ, беззаботная, обожаемая мужемъ, мать милыхъ дѣтей, первая въ Москвѣ по красотѣ, изяществу и богатству.

— Однако, — медленно продолжалъ Гольцъ, — какъ же онъ, вашъ благовѣрный?

„Благовѣрный!“ — повторила Нина про себя, и это пошлое офицерское слово кольнуло ее.

— Мой благовѣрный, — отвѣтила она полусмѣливо, — какой-то сфинксъ.

— Сфинксъ? — переспросилъ, оживляясь, Гольцъ.

— Да. Что въ немъ происходитъ, какъ онъ думаетъ ~~держатъ~~ себя дальше — я не знаю. Ни одного вопроса, ни одного намека. *Cela devient assomant!* — вырвалось у него съ рѣзкимъ жестомъ правой руки.

— Тонкій человекъ!

— Mais, à coup sûr, il prépare quelque chose.

— Еще бы! — подтвердилъ Гольцъ по-русски.

Вдругъ онъ поморщился и сжалъ руки. Неосторожнымъ движеніемъ онъ развердилъ рану.

— Vous souffrez?

Гольцъ ничего не отвѣтилъ Нинѣ и закусилъ губы, чтобы не застонать.

— Я уйду!.. Но какъ же васъ оставить одного? Сестры нѣтъ.

Ему настолько было больно, что онъ даже не протянулъ ей руку.

Нина немного постояла у кровати и видя, что онъ лежитъ съ закрытыми глазами, беззвучно вышла изъ спальни.

Черезъ четверть часа, въ саняхъ, проѣзжая по площади Большого театра, она думала объ одномъ: чѣмъ бы ни разрѣшилась ея „исторія“, сейчасъ надо устранить эту Днѣпровскую, „cette fille rouée et astucieuse“. Не застанъ она ее у Гольца, развѣ свиданіе было бы такое?

Но какъ же устранить ее? Не стрѣлять же въ нее изъ револьвера или захватить и запереть куда-нибудь? Она уже думала о ней и раньше. Надо обратиться къ генералу Кишкетову. Онъ дастъ дѣльный совѣтъ, или самъ сдѣлаетъ такъ, что Днѣпровскую вышлютъ изъ города. Не даромъ же у него репутація человѣка съ огромными связями по этой части.

И тогда уже надо будетъ самой рѣшить: кого выбирать себѣ въ мужья.

„А вдругъ, — подумала она, и ей стало холодно въ груди,—вдругъ Захаръ Лукьяновичъ первый распорядится ея судьбой и... выгнать изъ дому, отниметъ дѣтей, какъ у „развратной“ матери, и броситъ ей подачку въ нѣсколько тыщонокъ?“ Прежде чѣмъ она ротъ откроетъ для оправданія, онъ скажетъ ей: „вы изволили быть въ номерѣ у офицера, можете и совсѣмъ поселиться тамъ“. Какъ бы онъ прежде ни любилъ ее, такой человѣкъ ничего не проститъ.

XI.

Липа прощалась со своими „спасительницами“, такъ она называла, кромѣ Лёли и Кати, Иду и Елену.

Акридина уѣзжала въ Петербургъ на недѣлю. Ида хотѣла подождать ее въ Москвѣ, не переселяться въ деревню. Обѣ ласково болтали съ Липой у дверей. Имъ не хотѣлось уходить. Особенно Елена была бойка и весела.

Липа догадывалась, почему Акридина такая веселая. По намекам Кострицына—онъ сталъ у нея бывать очень часто—она кое-что знала про любовь „ученой женщины“, какъ она еще, не безъ ироніи, называла ее. И должно-быть у нихъ дѣло идетъ на ладъ; можетъ, скоро и свадьба будетъ.

Съ Еленой она чувствовала себя немного стѣсненной, какъ будто та ее до себя только допускала, не то, что Ида. Къ Идѣ она привязывалась съ каждымъ днемъ. Ей было то жаль ее чрезвычайно, точно Ида себя „заживо похоронила“, то она считала ее счастливницей именно потому, что въ ней перегорѣло все въ душѣ, и „подлецы мужчины“ не имѣютъ для нея никакой привлекательной силы.

Сейчасъ она все имъ рассказывала „по душамъ“: и про свое твердое рѣшеніе съ театромъ проститься, ѣхать въ провинцію, хуторъ отдать на „хорошее дѣло“, самой жить уроками пѣнія или „чѣмъ придется“.

Ида спросила ее:

— А вдругъ увлечетесь... и пойдете въ пропаганду, вернетесь къ старому?

Про это „старое“ она же вспоминала въ долгіе вечера, когда Ида сидѣла около ея кровати съ работой или книгой.

— Не знаю! Если заберетъ какое дѣло,—отвѣтила она,—лучше пострадать, чѣмъ такъ только мамонѣ служить.

— Позвольте васъ проводить?—спросила Липа Акридину, выходя въ коридоръ вслѣдъ за нею.

— Благодарю... Только не нужно. Холодно. Я и ей не позволяю,—прибавила она, указавъ головой на Иду.

Липа поняла: значить, будетъ онъ. А можетъ, не хочетъ, чтобы видѣли, какъ актерка съ „исторіей“ ее провожаетъ. Это немножко кольнуло Липу, но она тотчасъ же дала на себя окрикъ: „А кто же ты была?! Ну, и терпи!“

Не успѣла она вернуться къ себѣ, какъ вошелъ Кострицынъ.

Она не удивилась. Знакомы они не больше десяти дней, а точно давнишніе пріатели. Сразу онъ ей не очень понравился своимъ тономъ и складомъ разговоровъ. И пошли у нихъ споры нескончаемые. Уходя отъ нея, онъ каждый разъ смягчался и даже просилъ извиненія за свое упорство и „дикія мнѣнія“.

Ему она любила выкладывать все, что у ней на душѣ. Сначала онъ пытался уговаривать ее не бросать искусства. Теперь пересталъ, умолялъ только объ одномъ, когда уѣдетъ туда, на Волгу, воздерживаться отъ близкаго знакомства съ разнымъ „нелегальнымъ народомъ“. И онъ зналъ отъ нея, что у нея есть кое-какое прошедшее, отъ котораго она скрывалась за границу съ чужимъ паспортомъ.

Вчера она ему рассказала и про свой визитъ Гольцу. Кострицына это передернуло замѣтно, и онъ сталъ было не то что возмущаться, а жалѣть. Но и тутъ она его разомъ успокоила, весь ея тонъ показывалъ, что „Антошка“ больше для нея не опасенъ. Все-таки Кострицынъ взялъ съ нея слово, что вечеромъ она къ нему читать не поѣдетъ.

Про свою встрѣчу съ дамой—она сообразила, что это Кумачева—Липа умолчала, не считая себя въ правѣ быть нескромной.

Онъ заѣзжалъ къ ней передъ обѣдомъ и всегда извинялся, что беспокоить.

На этотъ разъ извиненія не было.

Онъ подаль ей неразрѣзанную книжку толстаго петербургскаго журнала.

— Только что получили... Захватилъ у Карбасникова,—сказалъ Кострицынъ.—Продолженіе романа.

— А, вотъ это отлично! Хотите, сегодня будемъ читать вслухъ? Я за дѣвочками своими пошлю. У нихъ вечеръ свободный.

Кострицынъ чуть-чуть поморщился.

— Да онѣ васъ развѣ стѣсняють?—серьезнѣе спросила Липа.

— Онѣ—очень милыя,—заговорилъ Кострицынъ кротко, совсѣмъ не своимъ обычнымъ тономъ, — только, право, лучше будетъ... Имъ серьезное чтеніе не то что въ гость, а все-таки: хи-хи, да ха-ха!..

— Ну, какъ хотите.

Слишкомъ выходило ясно, что онъ желаетъ быть съ-глазу-на-глазъ. Но она не хотѣла разбирать его чувства къ ней. Никакого кокетства она въ себѣ не допускала и въ обращеніи съ нимъ держалась такого же точно тона, какъ съ Лелей или Катей.

Кострицынъ сѣлъ на свое любимое мѣсто, около изголовья кушетки, куда Липа прилегла.

Послѣ ея „случая“ она сдѣлалась гораздо слабѣе на ноги.

— Сейчас прощалась съ Акридиной. Ёдетъ въ Петербургъ... Очень веселая.

Кострицынъ подмигнулъ съ лукавой усмѣшкой.

— Питаетъ надежды на побѣду?

— Не знаю... Вы, Иванъ Кузьмичъ, покумить, я вижу, любите?

— Посплетничать, другими словами?

— Да... Есть грѣшокъ?

— Болтать лишнее—склоненъ, это точно. И, кажется, у меня, такого отчаяннаго классика, должна быть всегда на памяти притча...

— Вотъ и притчами говорить тоже есть замашка.

— Ха-ха! Дорогая Олимпіада Дмитриевна... Вѣдь притча-то прямо для меня, изъ міеологіи. Про Тантала, конечно, слышали?

— Муки Тантала?

— Вотъ-вотъ! А за что онъ былъ Юпитеромъ такъ ехидно наказанъ?..

— Почему же я знаю?.. Меня этакимъ глупостямъ не обучали.

— Глупости? Не скажите! Иксіонъ и Танталъ были допущены за небесную трапезу. Они оба тамъ и урѣзали нектара и стали болтать всякія непутѣвыя вещи. Вотъ отецъ-то боговъ оттуда ихъ обоихъ и выпшвырнулъ вверхъ тормашками?..

Липа тихо засмѣялась.

— Какой вы молодой, Кострицынъ! — выговорила она задумчиво. — Гораздо моложе меня. Даромъ, что суесловите и выдаете себя за человѣка, который подо все подпускаетъ подковырку.

— Подковырку!.. Хе-хе!

Имъ обоимъ дѣлалось очень весело.

Кострицынъ наклонился къ изголовью кушетки и началъ говорить тише звукомъ:

— Сплетникъ я—это точно. И если вы меня исправите, я вамъ въ ножки поклонюсь. Однако, позвольте покумить, какъ вы выражаетесь, Олимпіада Дмитриевна. Тутъ я—въ вашемъ интересѣ.

— Чтѣ еще такое?—откликнулась Липа, безъ тревоги, скорѣе лѣнивымъ тономъ.

— А вотъ что. Супруга моего принципала, Захара Лукьяновича...

— Знаете, Иванъ Кузьмичъ, — перебила его Липа, — мнѣ не нравится, что вы его такъ называете, хотя бы и въ шутку. Точно онъ въ самомъ дѣлѣ баринъ вашъ...

— Позвольте... — Кострицынъ замѣтно покраснѣлъ. — Такъ вотъ Антонина Борисовна вдругъ произвела ко мнѣ подходъ на вашъ счетъ.

— Что ей отъ меня нужно?

Липа сдвинула брови.

— Да вы развѣ ничего не знаете?—съ удареніемъ выговорилъ онъ и поглядѣлъ на нее.

— Это насчетъ Гольца... Что изъ-за нея дуэль была?

— Я этого не сказалъ.

— Вотъ это нехорошо, Кострицынъ... Это уклончивость.

— Ей-Богу нѣтъ, Олимпиада Дмитріевна, — голосъ его просительно дрогнулъ. — Клянусь вамъ, нѣтъ, а просто порядочность. Я болтунъ, но я не сплетникъ, особливо въ такихъ дѣлахъ... Эта женщина—безъ сердца. Она не даромъ разспрашивала о васъ... Съ тѣмъ же подѣзжала она и къ Лыжину. Ради Бога... не вышло ли чего у васъ, я умоляю васъ не скрывать отъ меня!

Липа была тронута, въ первый разъ, тономъ его словъ.

— Такъ и быть, я вамъ скажу. А не говорила тоже—вы поймете почему. У Гольца она при мнѣ вошла къ нему прямо въ спальню.

— Она?

— Да, теперь я въ этомъ увѣрена.

— Те-те-те... Мнѣ все понятно. Берегитесь, голубушка. Теперь ей надо кашу съ муженькомъ расхлебывать, а онъ выказываетъ себя въ этой исторіи съ такимъ характерцемъ, что — ой-ой. И у ней могли явиться комбинаціи.

— Не боюсь я ея. Да и что ей со мною дѣлать?

— Однако, она васъ нашла у него тоже въ спальнѣ, — выговорилъ Кострицынъ, скользя по словамъ. — Этой причины слишкомъ достаточно.

По лицу Липы пошли тѣни.

— Разумѣется... если она злющая. Да пустяки!.. Черезъ недѣлю меня здѣсь не будетъ.

Кострицынъ замигалъ и спросилъ быстро и нетвердыми нотами:

— Вы серьезно уѣзжаете?

— Серьезно, голубчикъ, серьезно.

— Пока чтѣ, а я васъ долженъ былъ предупредить.

— Спасибо!

Она протянула ему руку. Кострицынъ взялъ и, въ первый разъ, поцѣловалъ.

— Знаете, Иванъ Кузьмичъ, все это — тамъ гдѣ-то, вдали... И госпожа Днѣпровская для меня — точно покойница.

Кострицынъ ничего не промолвилъ и сидѣлъ, не выпуская ея руки.

Въ дверь постучали.

— Войдите! — крикнула Липа и отняла руку, но не постыжась, безъ всякаго смущенія.

Второй швейцаръ, путаясь, какъ всегда, въ длиннѣйшей ливреѣ и стоя въ портьерѣ перегородки, доложилъ:

— Желаетъ васъ видѣть, Олимпиада Дмитриевна, по дѣлу... генераль...

Онъ запнулся.

— Кто? — переспросила Липа.

— Какъ фамилія? — добавилъ тревожище Кострицынъ и всталъ.

— Они назвали... Кажется, Мушкетовъ.

— Такого не знаю!

Кострицынъ сказалъ это въ сторону Липы.

— По дѣлу-съ, — повторилъ швейцаръ.

— Примите, голубушка! — Кострицынъ подошелъ къ ней поближе и договорилъ шопотомъ, — и помягче будьте... Мало ли кто это можетъ быть. Я удалюсь, мѣшать не буду.

— Съ какой стати! У меня никакихъ тайныхъ дѣлъ нѣтъ.

И, поднявшись, Липа сказала швейцару:

— Просите!

XII.

— Я сію минуту, Иванъ Кузьмичъ.

Липа пошла въ спальню накинуть на себя короткую **мантію** и немножко поправить волосы.

Кострицынъ прошелся мелкими шажками, потирая руки, **что** у него означало душевное волненіе. Онъ боялся чего-то за Липу. Кто этотъ генераль? Можетъ-быть, ее при-**путали** къ дуэли Гольца и хотятъ прижать? Онъ долженъ **былъ** сознаться, что „по нынѣшнимъ временамъ“ — это воз-

можно“, и даже не папелъ, что слова: „нынѣшнія времена“, умственно имъ выговоренныя, были въ противорѣчїи съ складомъ его идей.

Гость вошелъ очень тихо.

„Вотъ кто!“ — воскликнулъ про себя Кострицынъ, воззрившись въ генерала.

— Мое почтеніе! — сказали онъ первый.

Генераль могъ надѣть свою форму, но онъ хотѣлъ и сегодня казаться молодымъ. Онъ только воткнулъ въ петлицу сюртука, плотно облегаващаго его сухощавую фигуру, красную розетку французскаго ордена.

— А!.. Monsieur...

Онъ искалъ фамилію.

— Кострицынъ — къ услугамъ вашего превосходительства.

Это было сказано съ улыбкой. Генерала онъ не долюбивалъ, безотчетно, хотя и не допытывался никогда, на чемъ основывается репутація, заставлявшая въ обществѣ бояться его.

„Дѣло дрянъ, — подумалъ онъ, и спросилъ себя вслѣдъ затѣмъ: — оставаться или уходить?“.

— Олимпиада Дмитріевна сейчасъ выйдетъ.

— Благодарствуйте.

Генераль поклонился ему вѣжливо, но руки не подалъ. Не дожидаясь приглашенія, онъ сѣлъ у стола, вынулъ изъ жилетнаго кармана гребенку и поправилъ волосы на вискахъ.

Монокль неизмѣнно торчалъ у него въ глазной впадинѣ.

— Извините...

Липа, на порогѣ спальни, не договорила. Она сейчасъ же узнала генерала, и быстро-быстро ей все припомнилось изъ того времени, когда она знавала Кишкетова, сначала въ Петербургѣ, потомъ въ провинціи.

Ей ударило въ виски. Она зачуяла серьезную опасность. На Кострицына она не глядѣла, боясь выдать себя.

— Генераль Кишкетовъ.

Онъ приподнялся и протянулъ ей руку.

— Очень рада, — глухо промолвила Липа, и ей хотѣлось крикнуть: „Ступайте вонъ!.. Я знаю, что вы за человекъ!“

Она сѣла на край кушетки.

— У васъ есть до меня дѣло? — суше и тверже выговорила Липа.

— Оно подождетъ, — усмѣхнулся генералъ тонкимъ и безкровнымъ ртомъ.

Кострицынъ чувствовалъ, что между ними что-то есть затаенное, и не хотѣлъ проникать въ это. Ему слѣдовало уйти изъ простаго приличія. Своимъ присутствіемъ онъ только мѣшаетъ Липѣ. Въ концѣ концовъ, если этотъ молодящійся женолюбецъ съ чѣмъ-нибудь „подѣдетъ“, она сумѣетъ его „спустить“.

Онъ сталъ прощаться и Липа его не вдерживала, только сказала:

— До свиданія!

И дѣйствительно, при немъ ей было вдвое тяжелѣе. Она могла себя выдать. Генералъ могъ заговорить какъ старый знакомый, и Кострицынъ счелъ бы ее за притворщицу, за пошлую актерку, у которой въ каждомъ городѣ были, похода, интриги.

Кишкетовъ, по уходѣ Кострицына, нагнувъ голову нѣсколько вбокъ и поглядѣвъ на нее.

— Вы, кажется, меня не сразу узнали? А я сохранилъ очень живое воспоминаніе о госпожѣ Угловой. Вѣдь это ваша настоящая фамилія?

— Да, я по театру Дибровская.

— Знаю, знаю.

Съ кресла Кишкетовъ поднялся и пересѣлъ на то мѣсто, гдѣ сидѣлъ, около кушетки, Кострицынъ.

— Вы меня... Олимпиада Дмитриевна... вѣдь такъ васъ зовутъ?

— Такъ.

Липѣ загло въ груди. Но она поглядѣла на Кишкетова быстро и смѣло.

Этимъ взглядомъ она ему показала, что знаетъ, кто онъ и чего отъ него ждать.

— Мнѣ кажется,—заговорилъ онъ, разставляя слова,—вы не очень рады возобновленію нашего знакомства? И напрасно!

Короткій смѣхъ прервалъ его рѣчь.

— Напрасно! — повторилъ онъ. — Я не позволилъ бы себѣ явиться къ вамъ такъ, съ улицы, если бъ не желаніе оказать вамъ услугу.

— Какую же?—все такъ же сухо спросила она.

Ей очень трудно дѣлалось сдерживать себя и еще труднѣе взять любезный тонъ. Этотъ человѣкъ былъ для нея невыносимъ. Разъ она уже бѣжала изъ того губернскаго го-

рода, гдѣ онъ съ ней познакомился и гдѣ онъ проживалъ, на выборахъ. Ея прошлое ему извѣстно, и онъ, еще тогда, хотѣлъ поиграть на немъ.

— Только я прошу одного,—продолжалъ Кишкетовъ,—полной откровенности.

„Съ какой это стати?“—чуть не крикнула она.

Опустивъ голову, она сжала ротъ и ждала, чтó онъ выпустить, какую предательскую гадость.

— Васъ можетъ постичь нѣчто весьма неприятное.

— Меня?—спросила она и повела плечами.

— Позвольте мнѣ досказать... Исторія дуэли одного пріѣзжаго гвардейца разнеслась по городу... Есть особы, принимающія въ немъ особое участіе, и онѣ будутъ хлопотать о томъ, чтобы васъ потревожили. Ваше пребываніе въ Москвѣ кажется имъ вреднымъ для этого молодого человѣка...

— И еще чтó?—уже рѣзче прервала Липа.

— Незадолго до этой дуэли и здѣсь была тоже исторія,—Кишкетовъ оглянулъ комнату. — Я не желаю, какъ французы выражаются, *surprendre votre religion*, но газетныя шавки все достаточно разгласили или дѣлали прозрачныя намеки. Вы, надѣюсь, этого отрицать не будете.

— Это мое личное дѣло.

— Знаю-съ. Но одно къ одному. Васъ, повторяю, могутъ побеспокоить.

— Выслать, что ли? Пускай!

— Позвольте... Извѣстно воть, на примѣръ,—кому надлежитъ вѣдать, все извѣстно,—что вы проживаете съ ненадлежащимъ видомъ?

— Вздоръ! У меня законный видъ.

— Вамъ такъ только кажется... Вы живете по аттестату консерваторіи... И это—пущеніе полиціи. Надо имѣть настоящій, общедворянскій видъ.

„Какъ же вы-то все это знаете?“—хотѣла она презрительно кинуть ему въ лицо.

— Положимъ, это не очень важно. Но если васъ обезпокоятъ,—Кишкетовъ все замедлялъ свою рѣчь,—могутъ обратиться до нѣкоторыхъ подробностей вашего прошлаго.

„Такъ и есть! Воть куда ты мѣтишь, гадина!“—вскричала про себя Липа и замѣтно поблѣднѣла.

Кишкетовъ протянулъ руку. Она своей не давала.

— Милая моя!—еще тише звукомъ заговорилъ онъ.—

Въ вашемъ прошломъ есть кое-какіе счеты уже не съ простымъ городскимъ надзоромъ.

„Если ты его сейчасъ оборвешь—онъ предательски отомститъ! Зачѣмъ глупо попадать въ ловушку? Передъ тобой еще цѣлая жизнь для того же самаго дѣла, на которое ты когда-то пошла съ такой вѣрой. Перехитрить его надо, а не брыкаться!“

Все это мгновенно пронеслось въ ея головѣ.

— Мнѣ нечего больше дѣлать въ Москвѣ, — довольно сдержанно выговорила Липа. — Я никому не хочу досаждать своимъ присутствіемъ и никому, увѣряю васъ, не опасна... ни тому офицеру, ни тѣмъ, кто дрожитъ надъ нимъ.

— Бѣжать въ эту минуту была бы огромная ошибка. Вы мнѣ не довѣрите—это ясно. Когда-то мы встрѣтились. Я былъ вашимъ искреннимъ поклонникомъ. Но—насиленно миль не будешь,—съ мягкой усмѣшкой добавилъ онъ.—Зла я не помню... когда дѣло идетъ о женщинахъ. О! мужчины—другое дѣло! Случаю угодно было поставить меня опять на вашемъ пути. Я совсѣмъ собрался уѣзжать за границу, и на цѣлые полгода; но для васъ я останусь, сколько нужно будетъ. И мой совѣтъ былъ бы, если васъ ничего особенно не придерживаетъ въ любезномъ отечествѣ, отправиться на югъ... напимѣръ, на Ривьеру... Вы должны поправиться послѣ того, что съ вами было.

„Дьяволъ!.. Съ тобой на Средиземное море! И за свою протекцію ты потребуешь вознагражденія“, — задыхаясь, думала Липа.

Будь это мѣсяць назадъ, она, и зная, что онъ можетъ „нагадить“ ей,—разнесла бы его и выгнала вонъ. Тогда она была увѣрена въ себѣ, въ силѣ обаянія красивой женщины, опереточной пѣвицы, съ репутаціей легкой особы. Она бы нашла защитниковъ и противъ такого генерала.

Теперь она безпомощна. Она покончила со своимъ актерствомъ. Ни къ какому старому сановнику она не пойдетъ и не позволить трепать себя по щекѣ и приговаривать:

— „Мы васъ въ обиду не дадимъ, душечка“.

— Напротивъ, — закончилъ свои доводы Кишкетовъ, — вамъ скрываться такъ порывисто не слѣдуетъ. Мы найдемъ средство отвести отъ васъ все непріятное. А черезъ

недѣлю-другую выправимъ вамъ такой видъ, по которому вы можете получить и заграничный паспортъ.

На нее нашель точно какой столбнякъ. Она все блѣднѣла и блѣднѣла.

Генераль замѣтилъ это и всталъ.

— Вамъ, я вижу, не по себѣ! Не пугайтесь ничего. Позвольте охранять васъ.

Онъ нагнулся, взялъ ея руки и медленно поцѣловаль два раза. Мурашки гадливости пошли по всему тѣлу Липы.

— Не дальше, какъ завтра, въ это же время, я заверну къ вамъ.

Она даже не сказала ему ничего на прощанье.

XIII.

Лыжину попался дрянной ванька и тащилъ его шагомъ въ гору, черезъ Кузнецкій, на Мясницкую.

Вчера ночью—онъ только что легъ—его разбудилъ телеграфистъ, поднявшійся къ нему самъ, для полученія на чай.

Телеграмма пришла отъ Кострицына.

„Умоляю быть у меня завтра утромъ. Нашу знакомую надо спасать отъ козней ея соперницы“.

Онъ понялъ сразу, что дѣло шло о Днѣпровской и Кумачевой.

Сходя внизъ, онъ хотѣлъ постучаться у Липы, но было еще слишкомъ рано для нея—въ исходѣ девятаго.

Догадывался онъ, что Антонина Борисовна пустила какую-нибудь интригу противъ той, которую считала, вѣроятно, причиной исторіи, разразившейся надъ нею.

Не дальше, какъ вчера, она начала съ нимъ разговоръ, гдѣ стала его слегка допрашивать о Липѣ и ея жизни. Онъ не поддавался и, оставаясь съ ней любезнымъ, далъ ей понять, что наушника она въ немъ не найдетъ.

Между мужемъ и женой онъ не желалъ играть никакой роли. Насколько онъ зналъ исторію — ему поведеніе „самого“ казалось слишкомъ ужъ „купецкимъ“. Нина давала ему понять, что съ Гольцемъ она не въ „связи, что все сводилось къ простому флёрту“.

Она сильно помякла, и ему стало ее вчера жаль, въ первый разъ, какъ женщину, очутившуюся въ совершенномъ одиночествѣ. Князь—ея родной дядя—видимо уклонялся отъ роли посредника и примирителя, что удивляло Лыжина. Идеалистъ-гегельянецъ долженъ былъ бы пока-

затъ возвышенность своихъ воззрѣній. Князя по цѣлымъ днямъ не было дома. Да если бъ онъ и пожелалъ поговорить съ Ниной о ея „положеніи“—сама Нина считала его ни къ чему негоднымъ и во всякомъ случаѣ имѣла поводъ быть недовольной: вѣдь онъ согласился пойти въ секунданты Кумачева, не предупредилъ ее наканунѣ и пропадалъ передъ тѣмъ на нѣсколько дней, стало, вель себя скорѣе какъ врагъ, чѣмъ какъ другъ.

Подъѣзжая къ квартирѣ Кострицына, — онъ ѣхалъ къ нему въ первый разъ, — Лыжинъ чувствовалъ, что придется дѣйствовать противъ Нины, и ему дѣлалось неловко, — и не отъ того вовсе, что у него слабость, похожая на увлеченіе. Разойдись она съ Кумачевымъ и выйди замужъ за Гольца, даже убѣги она съ нимъ, онъ бы нашелъ, что такъ оно все-таки выходитъ симпатичнѣе: по крайней мѣрѣ, хоть увлеклась, полюбила и не продаетъ себя, безъ любви, въ формѣ законнаго брака съ миллионщикомъ.

Депеша Кострицына давала ему понять, какъ „взвинченъ“ милѣйшій Иванъ Кузьмичъ. Должно-быть и для его натуры скептика, разлагающаго все своей діалектикой, наступилъ кризисъ. Тутъ сильно пахло увлеченіемъ... Кто его знаетъ! быть-можетъ, и настоящей страстью.

Мудреный адресъ далъ Кострицынъ въ депешѣ: „Кривое Колѣно, домъ Полукетова“. Онъ никогда ему не писалъ по городской почтѣ, ни депеши къ нему не посылалъ.

О *Кривомъ Колѣнѣ* Лыжинъ что-то помнилъ, но гдѣ оно — доподлинно не зналъ. Извозчикъ началъ путать и пришлось обратиться къ городовому. Нашлось и Кривое Колѣно.

Кострицынъ жилъ во дворѣ большого дома, во флигелькѣ, гдѣ занималъ нижній этажъ, изъ четырехъ комнатъ. Это была квартира. Онъ держалъ старую женщину; она ему и готовила.

— Пожалуйте, батюшка! — впуская, сказала она Лыжину. — Иванъ Кузьмичъ васъ ждутъ.

Кострицынъ выѣхалъ къ нему въ маленькую зальцу съ обѣденнымъ столомъ и повелъ его въ кабинетъ, весь уставленный шкапами, съ небогатой отдѣлкой рабочей комнаты учителя.

— Голубчикъ! Спасибо!

Онъ обнялъ Лыжина и усадилъ на клеенчатый диванъ. На немъ, распахнутымъ, сидѣлъ сѣрый драповый халатъ. Видно было, что онъ еще не умывался.

— Въ чемъ дѣло?—спросилъ полушутливо Лыжинъ.

Лицо пріятеля поразило его: оно потемнѣло, глаза были красны и тревожно бѣгали.

— Я бы прилетѣлъ къ тебѣ, друже, но ты живешь въ меблировкѣ... У тебя изъ спальни дверь хоть и заколочена...

— Да что мы... заговорщики, что ли?—перебилъ Лыжинъ, не желая впадать въ тревожный тонъ пріятеля.

— Да, заговорщики!—вскричалъ Кострицынъ и вскопчилъ.—Олимпиаду Дмитріевну надо сегодня же увести и скрыть.

— Отъ кого?

— Дай досказать.

Онъ опять присѣлъ, взялъ Лыжина за обѣ руки и прерывающимся голосомъ началъ ему передавать то, что узналъ отъ нея вчера. Отъ нея онъ поднимался къ Лыжину, но не засталъ его дома и боялся оставить письмо.

— Ты понимаешь?—спросилъ онъ и вздрогнулъ весь.— Ты понимаешь, чѣмъ это пахнетъ? Тотъ сикофантъ въ запасѣ,—онъ говорилъ про Кишкетова,—прямо ей поставилъ дилемму: или, дескать, вы меня осчастливите, или очутитесь кое-гдѣ, ибо въ моихъ рукахъ документки изъ вашего прошлаго, и на этотъ разъ вы не удизнете безнаказанно за границу, какъ было это пять лѣтъ назадъ.

— Пять лѣтъ... этакая старина!

— Давности въ такихъ дѣлахъ, милый другъ Юрій Петровичъ, нѣтъ! Такой злобный сатиръ способенъ на всякую гнусность. Онъ можетъ въ коварствѣ и бездушіи превзойти самого Одиссея, предательски ослѣпившаго одноглазаго Циклопа пылающимъ деревяннымъ коломъ, напоивъ его предварительно зельемъ.

— Ахъ, классикъ, классикъ!

Лыжинъ разсмѣялся.

— Не до шутокъ тутъ, другъ Юрій Петровичъ. Я сейчасъ подумалъ: у Лыжина, навѣрно, найдется такая засада. Онъ знаетъ всякихъ женщинъ... Къ Лидіи Павловнѣ въ усадьбу хорошо бы, но и тамъ есть урядникъ... У меня одно мужское знакомство, холостежь... студенты, учительки...

И, перебивая себя, онъ опять схватилъ Лыжина за обѣ руки и закричалъ:

— Нѣтъ, какова наша великолѣпная Антонина Борисовна? Это—гетера послѣдней формаціи! Ея дѣло! Гене-

радь—ея посланецъ, ея ангель! А?! Ниже такой гнусности ничего быть не можетъ!

И онъ забѣгалъ по кабинету.

Лыжинъ не вѣрилъ своимъ ушамъ.

— Погоди, однако, Иванъ Кузьмичъ,—остановилъ онъ Кострицына.—Ты разыгрываешь роль спасителя; но для тебя,—онъ протянулъ это слово,—такіе прокурорскіе обвинительные возгласы, по крайней мѣрѣ, непослѣдовательны.

— Это почему?

Кострицынъ остановился и строго посмотрѣлъ на него.

— Какъ почему? Освѣти всю эту бабью исторію твоей философій. Вѣдь ты, братецъ, проповѣдуешь, что цѣль жизни человѣка на землѣ—личность, ея расцвѣтъ, успѣхъ, наслажденіе и ничего больше.

— Развѣ есть теперь время! Побойся Бога!

— Те-те-те! Есть, братъ, всегда время глядѣть чорту въ глаза и быть выше того, что ты самъ считаешь рабствомъ и кислотой, т.-е. признанія разныхъ выдохшихся видовъ жертвы, благородства, гуманности, милосердія. Нина Борисовна желаетъ устранить соперницу—чего же проще? Она боится, что Липа Днѣпровская отниметъ у нея опять того, въ кого она влюбилась. Она и пустила въ ходъ интригу. И по-своему тысячу разъ права! Да и почему мы ей должны менѣе сочувствовать? Хочетъ ли она помириться съ мужемъ или, разведясь съ нимъ, выйти за Гольца—она въ полномъ правѣ достигать счастья всѣми способами.

— Но не подлостью! Не такимъ предательскимъ подвохомъ! Подсылать сикофанта, который вымогаетъ: или будь его любовницей, или держи ухо востро!

Въ Лыжинѣ, начавшемъ съ шутки, разрасталось желаніе поддѣть Кострицына, показать ему, какъ жизнь сверху внизъ переворачиваетъ голыя выкладки разсудка или расходившагося протеста.

— Подлость?—иронически повторилъ онъ.—Нѣтъ, ужъ ты бы объ этомъ помолчалъ, Иванъ Кузьмичъ! А твои герои—Цезарь Борджіа и Иванъ Грозный? Они,—ты скажешь,—только благородно боролись со своими врагами? Ты обмолвился... Сократъ. Ха-ха!

Кострицынъ, блѣдный, съ взъерошенными волосами, подбѣжалъ къ дивану.

— Но развѣ ихъ можно поставить на одну доску?

— Кого? Борджіа и Грознаго?

— Нѣтъ, этихъ двухъ женщинъ! Въ одной, вмѣсто души, одинъ инстинктъ татуировки, какъ у какой-нибудь фиджійки... А въ Олимпіадѣ Дмитріевнѣ...

— Что жъ въ ней-то?—спокойно спросилъ Лыжинъ.—
Добрая барынька, но, между нами, безъ царя въ головѣ. Пѣвицей она не будетъ.

— Ей на сцену надо, въ драму! Въ ней всѣ данныя.

— Иванъ Кузьмичъ! Достопочтенный другъ мой! Да васъ никакъ захлеснулъ нѣкоторый божокъ съ колчаномъ? Вы бы такъ и сказали.

— Грѣхъ, братъ, брызгать струей сарказма! Грѣхъ! —
еще горячѣе заговорилъ Кострицынъ, и, опустивши одно колено, онъ сталъ трясти Лыжина и повторять: — Для меня, во имя нашей дружбы, выручи! Рабомъ твоимъ буду, въ кабалу пойду!

— Стало, теории по боку?

— Оставь теории! Тутъ борьба, и мы, становясь на сторону прекрасной женской личности, только помогаемъ ей расцвѣту. Пускай предательницу покараетъ ея сожигатель Захаръ Лукьяновичъ! Ей одного довольно! Да шутъ съ ними! Съ ихъ степенствами! Голубчикъ, Юрій Петровичъ! Выручай!

Кострицынъ началъ его цѣловать и прослезился.

XIV.

Послѣ пріятнаго обѣда и кофе, князь Иларіонъ, уйдя въ глубокое кресло, сидѣлъ съ полужакрытыми глазами въ углу второй гостиной дома Кумачевыхъ.

Вдали отъ него, за столикомъ, допивая свои ликеры, развалились на диванѣ и въ двухъ низкихъ кресельцахъ похожій на Донъ-Карлоса Орѣховъ и двое молодыхъ людей: одинъ въ студенческомъ сюртукѣ съ бѣлой подкладкой, другой—въ смокингѣ. Между ними свозило сходство—оба были несомнѣнно купеческой породы; только студентъ ниже ростомъ и толще въ корпусѣ; штатскій поселилнѣе и волосы у него уже рѣдѣли на лбу.

Князь не дремалъ. Онъ думалъ на цѣлый рядъ не-пріятныхъ для него темъ. Въ ушахъ его, оставшихся очень чуткими, гудѣлъ разговоръ у столика.

Надо ему убраться во-свояси!

За послѣднія двѣ недѣли онъ чувствовалъ себя безъ всякой душевной „амплитуды“. Не легко было встрѣтить вездѣ—и у молодыхъ людей, въ родѣ Кострицына и его

пріятелей-студентовъ, и у младшаго сверстника, Цыбашева — такое отрицательное отношеніе къ тому, что онъ унесетъ въ могилу, какъ высшую мудрость.

И, рядомъ съ этимъ, здѣсь, въ домѣ родной племянницы, онъ очутился въ роли, которая кажется ему если не „подлой“, то довольно-таки двойственной.

А между тѣмъ никакой двойственности онъ себѣ не позволилъ, съ той минуты, когда увидалъ, какъ Нина обняла, въ дверяхъ гостиной, барона Гольца. Онъ уѣхалъ, на цѣлыхъ три дня, не желая вмѣшиваться, не по уклончивости, а въ силу всѣхъ своихъ правилъ и нравственныхъ навыковъ.

Если это страсть, хоть онъ и абсолютно противъ развода, — навязывать онъ ничего не можетъ. Пользоваться авторитетомъ старшаго родного — тоже не въ его правилахъ. Во всю свою жизнь онъ признавалъ и освящалъ „абсолютную свободу духа“.

Онъ ждалъ, что все это можетъ разрѣшиться по закону антиноміи: тезисъ, антитезисъ, синтезисъ. И противорѣчіе будетъ „снято“. Можетъ-быть, оно и теперь идетъ такъ между супругами.

Мужъ Нины обратился къ нему умно и съ достоинствомъ, не жаловался на невѣрную жену, а сказалъ, приглашая его быть свидѣтелемъ дуэли, что поручаетъ ему племянницу, на случай своей смерти. Всякое насиліе, кровь, война или дуэль еще признаки варварской культуры; но принципиально нельзя ихъ отрицать, когда они проявляютъ собою, хоть и въ дисгармонической формѣ, подѣмъ самыхъ благородныхъ свойствъ возмущенной души... Мужъ защищаетъ честь свою, своей подруги, своего очага, имени дѣтей своихъ.

Онъ надѣялся, что тотчасъ послѣ дуэли Нина сама чистосердечно во всемъ повинится мужу. Что-то не похоже на настоящее примиреніе. Снаружи все прилично; по „огонь супружескаго очага“ готовъ померкнуть. Оба выдерживаютъ характеръ. И поведеніе мужа гораздо достойнѣе, для него самого, по крайней мѣрѣ. Мужъ, видимо, хочетъ довести ее до того, что она почувствуетъ его характеръ и права.

Служить между ними посредникомъ онъ можетъ тогда только, если кто-нибудь изъ нихъ обратится къ нему. Разъ душа Нины до сихъ поръ „омрачена“ чувственнымъ влеченіемъ къ другому мужчине, зачѣмъ помогать чисто

внѣшнему сближенію, до тѣхъ поръ, пока правда супружескаго союза во „временномъ омраченіи“?

Однако, продолжать жить у нихъ некрасиво. Онъ сегодня за обѣдомъ самъ себѣ сталъ гадою.

Кумачевъ держится теперь какъ истый купецъ, показывающій своей „супружницѣ“, что она для него больше не царица, какой еще недавно была. И въ гостиной, и въ столовой, и у себя въ кабинетѣ онъ полный хозяинъ. Сегодня на обѣдъ пригласилъ онъ, кромѣ Эсаулова,—да и тотъ съ нимъ любезнѣе, чѣмъ съ Ниной,—своихъ двухъ кузинъ съ ихъ сыновьями. Обѣ всѣмъ извѣстны по Москвѣ своей широкой жизнью. Одни ихъ имена и отчества чего стоятъ въ фашенебельномъ салонѣ Нины: Меланья и Соломонида Давыдовны. Игрокъ Спѣшановъ засѣлъ съ Захаромъ Лукьяновичемъ внизу въ тысячный „безикъ“, тотчасъ послѣ обѣда. Теперь Нина у себя должна занимать обѣихъ купчихъ. Какъ она ни виновата,—онъ не былъ увѣренъ, отдалась ли она барону,—все-таки ея положеніе дѣлается унижительно: точно ее въ домѣ только терпятъ.

Она вѣдь дочь его покойнаго брата, и онъ обязанъ ее направить, освѣтить ей то „распутіе“, на которомъ она очутилась.

Князю дѣлалось все жутко.

Чтобы уйти немного отъ своихъ мыслей, онъ сталъ прислушиваться къ разговору.

Толстенькій, краснощекій студентъ былъ сынъ Меланьи Давыдовны Визяевой; штатскій—сынъ ея сестры, Соломониды Давыдовны Пересоловой. По пуговицамъ студента князь, сидѣвшій съ нимъ рядомъ за обѣдомъ, узналъ въ немъ мѣстнаго лицеиста. Судя по разговору, и его родственникъ вышелъ изъ того же заведенія.

Орѣховъ, при полномъ безденежѣ, не пошелъ въ кабинетъ хозяина, гдѣ непременно бы увлекся игрой; а на мѣлокъ играть стыдился. Онъ оживленно разговаривалъ съ молодыми людьми.

До слуха князя, все еще сидѣвшаго въ своемъ углу, съ полускрытыми глазами, стали доходить обрывки фразъ и восклицанія. Всѣ трое собесѣдниковъ были любители спорта.

Жирный и раскатистый голосъ студента Визяева преобладалъ.

— Нѣтъ, братъ,—возражалъ онъ Пересолову.—Только

и можно положиться, что на Воронкова. Это настоящий трепёръ.

— Какъ сказать!—скептически откликнулся Орѣховъ.

— Вы переберите только лошадей. Первымъ дѣломъ: „Кражъ-Быстрый“... Или опять: „Услада“, „Фарсёръ“, „Работа“, „Бережливая“, „Первыня“...

„Господи!—вдругъ воскликнулъ про себя князь,—неужели это студентъ? Да еще, быть-можетъ, словесникъ, который обязанъ знать, когда надъ горизонтомъ мышленія взошла звѣзда великаго берлинскаго учителя, разрѣшившаго задачу бытія“.

— „Первыня“ своя,—перебилъ Пересоловъ,—точно, хорошо принимаетъ: только на послѣдней четвертушкѣ всегда у ней пренепріятный перехватъ. А помнишь, послѣ Крещенья, она шла совсѣмъ тупо, съ плохимъ сбоемъ и на одну вожжу залегла.

— Никогда не залегла!—задорно и звукомъ настоящаго заводчика крикнулъ студентъ.—Никогда не залегла! Она вѣрнѣе ходомъ твоего прославленнаго „Укора“.

— „Укоръ“—лошадь съ пространнымъ ходомъ,—мягко замѣтилъ Орѣховъ и щелкнулъ языкомъ.—Да и чистота кровей кака!

„Чистота кровей“, — повторилъ князь, раскрылъ глаза и повернулся въ ихъ сторону.

— Да, вопросъ сочетанія кровей—это цѣлая теорія,—выговорилъ важно Пересоловъ.—Возьми ты хоть „Банкиренка“.

— Ну, и что жъ?—наскочилъ на него студентъ.

— Какъ, что? Высокій поставъ! Правда, длина рычаговъ нѣсколько мала. Но какая грандіозная линия верха!

Разомъ всѣ трое заспорили.

И чувствовалось, что для нихъ это только и есть настоящая жизнь. Самыя имена лошадей произносились ими любовно, особенно женскія: „Лада“, „Молнія“, „Работа“, „Зарѣза“, „Наина“...

Студентъ, въ жару спора, отрѣзалъ своему кузену:

— Да что ты, Кузя, толкуешь! Я самъ на ней проигралъ до трехъ тысячъ... А ты со своими глупостями. Я тебѣ говорю: плохой сбой, нигуда негодный.

И, обращаясь къ Орѣхову, онъ продолжалъ:

— Развѣ вы не помните?.. Мы еще съ вами стояли у барьера. Я вамъ говорю: „смотрите, она разодолжитъ всѣхъ, кто за нее держалъ; лошадь разлаживается“. Ходъ

тупой, тупой, тупой! — вскрикнулъ онъ и повернулся на каблукѣ.

— Ну, нѣтъ! Можетъ, тамъ, въ перебѣжкѣ и въ перехватѣ — я не спорю. Случается, залегаетъ на одну вожжу. Но какой поставъ! Какой поставъ! Верхняя линія — просто влюбиться можно.

Смутно, изъ того времени, когда и ему достался конскій заводъ, припоминалъ князь охотничьи термины. Нѣкоторые совсѣмъ забылъ.

Въ ухо ему, то и дѣло, врывались слова и возгласы: „заѣздъ“, „перебѣжка“, „удружилъ“, „какъ оконченный, былъ оставленъ“, „проминка“.

Онъ вспомнилъ недавній вечеръ съ диспутомъ, на Садовой. Тамъ были тоже студенты. Тѣмъ онъ изливалъ свою душу, хотя, быть-можетъ, и всуе...

Споръ вдругъ сразу пресѣкъся; точно они предавались спорту только до извѣстной минуты.

Говорили уже о какой-то „грандіозной“ свадьбѣ. Князь понялъ, что вѣнчался студентъ, товарищ Бизяева.

— По сколько шаферовъ? — спросилъ Орѣховъ.

— По шести штукъ съ каждой стороны.

— А цвѣтовъ на сколько?

— Тысячи на двѣ.

— Ну, и самъ Прокустовъ провозгласилъ многолѣтіе.

— Чтѣ ему за это отвалили?

— Три радужныя! Я думалъ, — воскликнулъ студентъ, — или утроба его лопнетъ, или университетская церковь рухнетъ.

Всѣ громко разсмѣялись.

Черезъ пять минутъ разговоръ перешелъ на университетъ. У обоихъ — и у студента, и у его родственника, вышедшаго изъ одного заведенія, — сейчасъ же зазвучала какая-то особенная нота, когда они заговорили о своихъ товарищахъ „простецахъ“, не учившихся тамъ, гдѣ они имѣютъ счастье учиться или окончили курсъ.

Бизяевъ былъ словесникъ и сталъ прохаживаться въ шутивно-злбномъ тонѣ насчетъ нѣкоторыхъ профессоровъ.

— И ты на „семинаріи“ ходишь, Мити? — спросилъ его Пересоловъ.

— Реферать, братъ, намереніи соорудить. Знаешь, меня взорвало! Тѣ, лохматые, важничаютъ! Точно будто мы тоже не умѣемъ вычитать, чтѣ нужно, въ первоисточникахъ? Вотъ я и предложилъ господину либеральному за-

щитнику прогресса тѣмъ насчетъ связи между процвѣтаніемъ наукъ и искусствъ и сильнымъ кулакомъ. Эпоху Перикла взялъ. И эпиграфъ выбралъ изъ Платона. Помнишь? — спросилъ онъ звукомъ бывалаго гимназиста, — мы еще зубрили въ синтаксисѣ изреченіе: *Тѣмъ какіонъ азій дѣй колядзейнъ ийна амэймонъ?*

— Ловко! — взвизгнулъ Кузя Пересоловъ.

— Что же эта тарабарщина значить? — смѣшливо окликнулъ Орѣховъ.

— „Нужна всегда лупка для исправленія гнуснеца!“ — перевелъ по-своему студентъ.

Опять всѣ закатились смѣхомъ.

„Периклъ... Платонъ... — смущенно повторялъ про себя князь. — Платонъ — великій предшественникъ моего учителя! Жеребецъ „Фарсѣръ“! Кобыла „Лада“! Вопросъ сочетанія лошадиныхъ кровей!“

XV.

Насилу поднялись обѣ купчихи — кузины Захара Лукьяновича.

Бизьева — еще очень моложавая, маленькаго роста брюнетка, съ измятымъ румянымъ лицомъ и блестящими глазами — за обѣдомъ пила много и громко, шепеляво говорила, точно она дѣйствительно „у своихъ“. Туалетъ на ней сидѣлъ ловко, очень богатый, много брилльянтовъ. Это кольнуло Нину, въ первый разъ, еще за обѣдомъ.

Сестра ея, Соломонида Давыдовна Пересолова, по-старше лѣтами, худая, вся въ кружевахъ свѣтлаго платья, носила лорнетъ на дворянскій ладъ. Она считалась страстной вагнеристкой.

Нина проводила ихъ до дверей гостиной.

— Митя! Митя! — окликнула Бизьева сына-студента. — Пора, пора! Засиживаться не полагается.

Говоръ у нея былъ совсѣмъ „рядскій“. Она точно сыпала горохъ низкимъ, бабьимъ голосомъ, отъ котораго Нину все время поводило, и за обѣдомъ, и у себя.

— Все у братцевъ споры, — чопорно замѣтила Пересолова, отличавшаяся тонкостью обращенія. — Навѣрно о лошадяхъ. Мой Кузя считаетъ себя знатокомъ, а ничего-то не понимаетъ.

Кузины были уже одни — Орѣховъ не утерпѣлъ, спустился поглядѣть игру, и опять тѣ заспорили о „бровяхъ“ какого-то „Батыя“

— Маменька,—обратился дурачливо Кузя къ Нинѣ,— все изъ меня вагнериста желаютъ соорудить, а для меня это горше, чѣмъ отбывать воинскую повинность.

Нина стояла заходѣлая, усталая, съ поблѣкшими глазами, и на ея лицѣ было написано: „Господи! Когда всѣ эти уроды уберутся?“

Они убрались, наконецъ, и въ ея кабинетѣ остался одинъ Эсауловъ. Дяди она не замѣтила въ темноватомъ углу второй гостиной, когда провожала своихъ „кузинъ“.

Ее душило отъ всего этого разночинскаго родства, отъ разговоровъ, смѣха, тона, отъ сознанія своей жалкой, унижительной роли. Захаръ Лукьяновичъ продолжалъ вести свою „линію“ и держать себя какъ хозяинъ дома, не желающій нисколько стѣсняться тѣмъ, что его супруга— „рожденная“ княжна Жеребьева-Зарайская.

Эсауловъ сталъ съ ней прощаться.

— Вы, кажется, совсѣмъ разомлѣли отъ всего этого... монда, — выговорилъ онъ брезгливо, и его некрасивые глаза точно договорили остальное: „ты, молъ, милая, попрыгаешь-попрыгаешь, да и позъмешься за умъ — меня выберешь въ постоянные друзья; я тебя не впутаю въ скандальную исторію“.

— Vous savez, — вскричала она и зло на него поглядѣла, — vous êtes infecte... ma parole d'honneur!

Онъ пожалъ плечами и проговорилъ, отвѣщая пренебрежительный поклонъ на французскій манеръ:

— Madame a ses nerfs!

Нина готова была броситься на расшитыя подушки дивана съ балдахинномъ и разрыдаться.

Такъ дальше идти нельзя! Лучше сбѣжать внизъ, забрать дѣтей и увести ихъ туда, въ „Дрезденъ“, гдѣ живетъ ея „дѣда“—этотъ глупый и деревянный баронъ, и потребовать отъ него—нужды нѣтъ, что онъ боленъ—высказаться такъ или иначе.

И тотчасъ же все безуміе такого поступка представилось ей.

Идти на новый срамъ?! Видно, мало того, что она пережила около его кровати? Довольно и того, что та актриса на всю Москву чернитъ ее. Ну, ее вышлютъ изъ города — генералъ Кишкетовъ взялся за это дѣло, но что она выиграетъ?

Не сидѣлось ей. Она пошла разбитой походкой, съ опущенной головой.

Во второй гостиной кто-то громко дышалъ. Она разглядѣла князя; онъ задремалъ, вытянувъ по ковру огромныя ноги. Голова его покоилась на низкой спинкѣ обширнаго кресла.

Злость ее разобрала на эту „старую лису“. Гостить у нея и, зная, каково ей теперь, поддѣляется къ „купчишкамъ“. Былъ секундантомъ у мужа и теперь играетъ роль наемнаго генерала на купеческихъ свадьбахъ. Захаръ Лукьяновичъ всѣмъ показываетъ: „вотъ-де, родной дядя моей провинившейся жёнушки мою руку держитъ и ко мнѣ—съ полнымъ уваженіемъ.“

Нина подошла къ креслу и окликнула строго:

— Mon oncle!

— Чтò, чтò такое?—пробормоталъ онъ спросонья.

— Vous faites un somme?

— Pardon, ma chère.

Князю было непріятно, что его застали, спящимъ: признавъ дряхлости онъ не хотѣлъ показывать никогда и нигдѣ.

Нина присѣла къ нему.

— Послушайте, дядя, — заговорила она по-русски, чтò у ней выходило въ тѣхъ случаяхъ, когда другіе прибѣгаютъ къ иностранному языку,—такъ дальше это идти не можетъ.

— Чтò такое, мой другъ?

— Неужели вы считаете меня идіоткой? Вамъ все извѣстно, и вы держитесь въ сторонѣ, точно будто меня тутъ нѣтъ... меня, вашей племянницы. Вы—человѣкъ съ такими высокими идеями и чувствами!..

— Ты о чемъ? — спросилъ князь и выпрямился. — О томъ, чтò вышло?

Онъ затруднился продолжать.

— Какъ будто вы не знаете... когда я убѣждена, что вы были его секундантомъ.

Нина кивнула головой по направленію двери на площадку.

— Былъ,—густымъ басомъ пустилъ князь.

— А я вамъ чужая?

— Нѣтъ, мой другъ! Но я не могу и вмѣшиваться. Ты должна это понять.

— Вы могли, — заговорила стремительно Нина и приблизила къ нему свой стулъ, — вы могли предупредить эту глупую дуэль. Вы, какъ князь Жеребьевъ, мой дядя,

должны были просто пугнуть Захара Лукьяновича, потребовать у него доказательствъ, что онъ имѣетъ поводъ защищать свою честь... ха-ха! И онъ бы потерпѣлъ фіаско. Потому что ничего нѣтъ, слышите вы, ничего нѣтъ!

Князь медленно повелъ глазами, глядя на нее вбокъ.

— Ничего нѣтъ? — повторилъ онъ и тряхнулъ слегка своей серебристой гривой.

— *Puisque je vous le dis!*—крикнула Нина.

— Есть, мой другъ, такая заповѣдь: „не свидѣтельствуй ложно“.

И, наклонившись къ ней ниже, онъ выговорилъ вполголоса:

— *Ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce n'était pas un mirage, je pense?*

Головой онъ указалъ на дверь, и Нина безъ словъ поняла, что онъ видѣлъ, какъ она прильнула къ груди Гольца.

— *Par conséquent!* — тихо вымолвилъ князь и правой рукой выразительно провелъ по воздуху.

Но она не смутилась.

— *C'était un simple flirt...*

— Какъ ты сказала? *Flirt*? Да, вы теперь такъ зовете любовь въ сухую, по-американски?.. Милая моя!.. Въ нашихъ мѣстахъ дѣвки до замужства живутъ на волѣ... На посидѣлки ходятъ съ парнями... И правы у нихъ весьма свободные. Народъ смотреть на это по-своему. Случится, что дѣвица и понесетъ плодъ. На нее это не ложится пятномъ. Берутъ и съ приплодомъ.

„*Quel viel idiot!*“—выбранилась Нина про себя.

— Я это къ тому говорю тебѣ, Нина, что въ дѣвицахъ законно пользоваться свободой выбора. Извини меня... Вышла ты замужъ уже подлѣточкомъ, по доброй волѣ. Мужъ твой—молодецъ, натура цѣльная. Въ дворянскомъ быту немного найдешь такихъ. И я радовался. Нужды нѣтъ, что я—Жеребьевъ-Зарайскій. Я вѣрилъ тому, что ты своей породой, красотой, образованіемъ и женскимъ изяществомъ внесешь высшую идею въ такой союзъ. А вышло совсѣмъ не такъ.

— Мнѣ нужна ваша поддержка,—остановила его Нина и чуть не добавила: „а не пустыя правоученія“.

— Какъ говорить тебѣ твое сердце, такъ и поступай! Виновата ты серьезно—ты понимаешь какъ—или только въ видѣ флѣрта—по твоей модной номенклатурѣ—исходъ

одинъ: полная искренность. Неужели это такъ трудно? Чего же ты ждешь? Развѣ твой мужъ долженъ просить у тебя прощенія?

— А то вѣтъ? — живо спросила Нина и поднялась со стула. — И такая азіатская хитрость! Все подъ шумокъ! Осрамить жену на весь городъ!

— Погоди, милая! — князь поднялъ тонъ. — Никто насъ не можетъ осрамить, если мы сами вѣрны тому, что для насъ свѣтъ и правда, въ чемъ идея нашего бытія. — Онъ сдѣлалъ жестъ указательнымъ пальцемъ. — Но въ томъ-то и видно духовное вырожденіе нашего сословія, въ этомъ всеобщемъ паденіи всякаго основаначала. Печально и больно видѣть, что и нашъ родъ, вмѣсто выполненія своей, завѣщанной Богомъ, задачи: вести народъ къ просвѣтленію ума и воли, все глубже и глубже погружается въ тину себялюбивой косности.

— Довольно, дядя! — не вытерпѣла Нина. — Я не того отъ васъ жду.

— Чего же тебѣ угодно? Хочешь ты, чтобы я предстательствовалъ за тебя передъ твоимъ мужемъ?

— Онъ мнѣ ни слова до сихъ поръ не говоритъ. Изводитъ своимъ молчаніемъ.

— Тѣмъ паче! Да и то, другъ мой, не по уклончивости старика я бы не взялъ на себя роли примирителя. Женщина сама должна все просвѣтлять силою своей любви и духовнаго благообразія. Желаю, чтобы и то, и другое въ тебѣ проявилось... И чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Я вижу, что зажился у васъ. Мнѣ пора домой. Можетъ-быть, мы съ тобой въ послѣдній разъ видимся, такъ утѣшь меня передъ отъѣздомъ.

Князь протянулъ къ ней руки. Нина не бросилась къ нему на шею. Она отошла къ одному изъ дивановъ и сѣла въ напряженной позѣ.

„Красота — сіяющее добро!“ — повторялъ князь, сходя съ лѣстницы и съ горечью думая, какъ въ его племянницѣ и то, и другое враждуютъ между собою. Онъ считалъ, вмѣстѣ со многими, слова эти за подлинное изреченіе Платона, и еще болѣе огорчился бы, если бы узналъ, что великій идеалистъ врядъ ли когда произносилъ ихъ.

XVI

Вечеромъ того же дня, когда Лыжинъ былъ вызванъ къ Кострицыну, часу въ седьмомъ онъ доѣхалъ до Цвѣтного бульвара и повернулъ въ переулочъ, шедшій въ гору.

Онъ всматривался внимательно въ деревянные домики по лѣвую руку. Вотъ и садикъ, и домъ, и антресоль въ шесть оконъ по фасаду, съ крутой старинной крышей.

Снѣгъ высоко залегъ передъ воротами. Видно было, что давнымъ-давно никто не въѣзжалъ во дворъ. Къ калиткѣ протянулась чуть замѣтная тропа.

Переступивъ черезъ дощатую перекладину калитки, Лыжинъ поднялся на крылечко, все въ снѣгу. Изъ оконъ передней виднѣлся свѣтъ.

Онъ позвонилъ и довольно долго ждалъ.

Отворила горничная, и въ темнотѣ узенькихъ сѣней Лыжинъ не могъ ее разглядѣть.

— Наталья Николаевна у себя?

Горничная не сразу отвѣтила.

— Мнѣ очень нужно, — выговорилъ Лыжинъ, запахиваясь въ ергакъ: онъ его опять надѣлъ, отправляясь въ „экспедицію“.

— Сию минуту... Какъ о васъ доложить?

— Лыжинъ, Юрій Петровичъ.

Горничная побѣжала, оставивъ дверь незапертой. На дворѣ стоялъ порядочный морозъ, и Лыжинъ защищалъ лицо воротникомъ ергака.

Больше двухъ лѣтъ не бывалъ онъ здѣсь, у Натальи Николаевны Шатилиной. Онъ зналъ ее еще дѣвушкой. Одно время она ему правила, когда осталась сиротой, вотъ въ этомъ наслѣдственномъ домикѣ, съ капиталцемъ, на полной свободѣ. Только тогда она казалась ему еще слишкомъ юной. Уѣзжалъ онъ надолго изъ Москвы, и когда вернулся—нашелъ ее уже замужемъ и матерью двухъ дѣтей. Мужъ оказался изъ кавалерійскихъ офицеровъ, бросившихъ службу, красивый, щеголеватый. Тогда она еще увлекалась его глазами и пріятнымъ характеромъ. Онъ пустился въ какія-то мелкія аферы на ея деньги, много въѣзжалъ, покучивалъ, игралъ, что до нея начало уже доходить.

Въ послѣдній разъ Лыжинъ нашелъ Шатилину одну. Мужъ уѣхалъ на нижегородскую ярмарку, будто бы какъ агентъ какой-то фирмы. Въ ея тонѣ уже сквозило при-

ближеніе той минуты, когда она проснется—увидить, съ кѣмъ она связала свою судьбу. Домъ былъ заложенъ, капиталъ наполовину ушелъ на платежи его старыхъ холостыхъ долговъ. Лыжину стало ее до боли жаль, но онъ воздержался отъ роли утѣшителя. И опять упустилъ ее изъ виду.

— Пожалуйте! — пропѣла горничная, явившаяся уже со свѣчей въ рукѣ.

Пришлось сильно обивать свои боты, войдя въ тѣсную переднюю, гдѣ все было по-старому, только вѣшалка стояла пустая.

— Наталья Николаевна сейчасъ придуть... Въ гостиную пожалуйте.

И горничная торопливо и неумѣло начала зажигать лампу.

Лыжинъ сейчасъ же почувствовалъ, что въ комнатахъ холодно. Отдѣлка гостипой когда-то была хороша: мебель, много растений; стоялъ рояль, этажерка съ вещами. Теперь одинъ уголъ напоминалъ прежнее время, да и въ немъ матерія на диванѣ и креслахъ выгорѣла. Рояль исчезъ, также и растенія. Ковра тоже не было. Все смотрѣло точно наканунѣ переѣзда.

— Юрій Петровичъ? Вы ли это?

Они пожимали другъ другу руки посрединѣ кочкаты. Лыжинъ оглядывалъ ее, улыбаясь.

Все то же милое лицо съ голубыми глазами, правда, уже не съ такой прозрачной кожей и нѣжнымъ румянцемъ, прядь каштановыхъ волосъ, не поддающаяся щеткѣ, брови нервно приподнимаются, какъ и прежде, тонкій носъ, родимое пятнышко около лѣваго уха и бѣлая шея съ округленнымъ подбородкомъ.

Въ бюстѣ она пополнѣла. На ней была накинута вязаная темная косынка. Ни прическа, ни туалетъ не показывали прежнихъ привычекъ, когда она жила барыней.

— Позвольте васъ оглядѣть, — сказалъ Лыжинъ, не выпуская ея руки.

— Что на меня смотрѣты!.. Я уже старуха!

— Присядемъ къ лампѣ, я тогда и скажу, правда ли это.

— Нѣтъ, здѣсь ужасная стужа. Пойдемте въ столовую, я васъ и чаемъ угощу. Пройдемте передней. Тѣ комнаты,—она указала на дверь,—стоятъ пустые, и я ихъ не топлю. Сплю навѣрху, съ дѣтьми.

Все это она сказала ему, точно онъ уже знаетъ, какъ она теперь живетъ.

Спросить о мужѣ онъ затруднился, что-то подозрѣвая.

Въ столовой, небольшой четырехугольной комнатѣ съ буфетомъ, висячая лампа давала сильный свѣтъ.

— Вотъ сюда, Юрій Петровичъ! Груша, давай поскорѣе самоваръ!

— Забылъ я васъ, это точно, Наталья Николаевна, — началъ Лыжинъ. — Но видите, вспомнилъ — и когда? Когда къ вамъ пришлось обратиться, къ вашей хорошей душѣ.

Въ глазахъ ея промелькнула тревога.

— Помочь, кому?.. — спросила она. — Только не деньгами, голубчикъ, не деньгами. Я вѣдь теперь...

И она добавила жестомъ.

— Да вы, я вижу, — продолжала Шатилина, заваривая чай, — ничего не знаете обо мнѣ?

— Каюсь. Ничего! — кротко и полуплутиливо вымолвилъ Лыжинъ.

— Вѣдь я вотъ уже годъ какъ соломенная вдова.

— Какъ такъ?

Знакомымъ Лыжину движеніемъ одна ея бровь поднялась и губы сложились въ двойственную усмѣшку.

— Такъ! Мой мужъ уѣхалъ... искать счастья. Куда — я не знаю. Кажется, въ Среднюю Азію. Онъ уже больше полугода ничего не пишетъ.

Черезъ десять минутъ Лыжинъ зналъ повѣсть ея супружества. Она говорила безъ раздраженія, въ грустномъ тонѣ. Ей было совѣстно, до сихъ поръ, за человѣка, увлекашаго ее, такую умную, чуткую, хорошо учившуюся, начитанную, съ прекрасными задатками.

Безпутство мужа сразу обважилось передъ нею: долги, любовницы, исторіи въ клубахъ и съ разными темными личностями. Домъ пришлось перезаложить, изъ капитала все ушло на уплату по векселямъ.

— И вотъ я осталась одна съ дѣтьми, безъ копейки, только съ долгами. Воспитали барышней меня, хотя и съ идеями, милый Юрій Петровичъ. Туда-сюда! Какая же можетъ быть поддержка, если не искать ея въ чемъ-нибудь темномъ? Что жъ! Я не растерялась. Стала учиться... ремеслу... да! И вотъ я хозяйка цѣлаго заведенія... Хотите, покажу? У меня восемь мастерницъ, тамъ, во флигелѣ. Цѣлые дни я или надзираю, или ѣзжу по заказчикамъ работы, по магазинамъ и по поставщикамъ товара, кото-

рый намъ нуженъ. Тяжело, но кусокъ хлѣба есть... Только домъ меня сокрушаетъ. Платить проценты слишкомъ тяжело. Продать его необходимо.

— А дѣти ваши?—спросилъ Лыжинъ, тронутый ея рассказомъ.

— Они тамъ, наверху. Оба больны. Боюсь—не корь ли... Ничего! Они у меня хорошія дѣти, хоть и великіе шалуны.

— И заведеніе у васъ... цѣлое?

— Вы точно не довѣряете. Хотите взглянуть? Вамъ будетъ забавно.

— Почему же забавно? Вы—молодецъ!

— Знаете, Лыжинъ, мнѣ казалось всегда, что я—великая демократка. А какъ стала я возиться съ рабочимъ людомъ, со всѣми этими Оенями и Парашами, и убѣдилась, что мы ихъ, въ сущности, за людей не считаемъ, даже и самые либеральные изъ насъ. Такъ хотите пойти?

— Пойдемте!

— Накиньте шубу!.. Мы можемъ пройти черезъ парадное крыльцо.

Ночь стояла звѣздная и морозный вѣтеръ ударилъ въ лицо Лыжина. Наталья Николаевна выбѣжала первая на крыльцо, какъ была, даже не накинувъ на себя платка.

— Голубушка! Какъ же вы это?—почти испуганно вскричалъ Лыжинъ, остановивъ ее за руки.

— А что? Я такъ по десяти разъ на дню бѣгаю.

— Даже безъ калошъ?

— Какія тутъ калоши!

Въ тѣсномъ флигелѣ, въ трехъ комнатахъ, помѣщалась мастерская.

Спертый воздухъ обдалъ Лыжина, когда онъ, нагибаясь, вошелъ въ первую комнату. Тутъ же стояли и кровати работницъ. Двѣ дѣвочки-подростки, въ свѣтѣ дешевой височей лампы, сидѣли за работой, у стола. Въ средней комнатѣ—побольше—еще пять-шесть дѣвушекъ, производя на своихъ машинахъ несмолкаемый шумъ.

Лыжинъ остановился у дверей, немного смущенный.

— Вотъ, — обратилась Шатилина къ дѣвушкамъ, — на работу вашу хотятъ взглянуть.

Всѣ были молодыя; одна только съ поблекшимъ лицомъ и красными глазами—уже подъ сорокъ лѣтъ. Сит-

цѣвыя блузы, подержанныя кофточки, двѣ-три смѣшныхъ прически съ лохматыми головами и руки, руки съ красными и нечистоплотными пальцами, замелькали передъ нимъ. Онъ подошелъ къ одной изъ работницъ и спросилъ, сколько она штукъ фуфасъ сработаетъ въ день.

Остальныя переглянулись между собою и смѣшливо взглядывали потомъ на него.

Наталья Николаевна въ третьей комнатѣ кому-то сдѣлала выговоръ дѣловымъ, но мягкимъ тономъ.

Когда они вернулись въ столовую, Лыжинъ присѣлъ опять къ самовару.

— Въ васъ много истиннаго мужества. Можетъ-быть и другого рода смѣлость найдется.

— Какаѣ, голубчикъ?

Онъ ей въ двухъ словахъ разсказалъ, въ чемъ дѣло.

— Спрятать надо эту особу?

— Да!

— У меня можно бы, но ей буквально негдѣ спать; развѣ въ гостиной на диванѣ. Остальныя комнаты у меня пустыя, мебель вся продана... Пойдите!.. Нашла!

Она возбужденно прошла по столовой.

— Нашли?

— Къ моей пріятельницѣ—женщинѣ-врачу. Туда... въ вѣ тѣ край, гдѣ Дѣвичье Поле. Она найдетъ и сдѣлаетъ. Особенно—у такого генерала вырвать изъ когтей!.. Сла-собо, Юрій Петровичъ, что вспомнили обо мнѣ.

Лыжинъ подошелъ къ ней и поцѣловалъ ей руку.

XVII.

Молодой смѣхъ раздавался по аллеѣ, среди полной вечерней тишины. Блѣдный матовый свѣтъ изъ-за облака лежалъ на нетронутой пеленѣ снѣга, вправо и влево отъ дороги.

Это было въ окрестностяхъ Дѣвичьяго Поля, за Zubовскимъ бульваромъ.

На облучкѣ сидѣлъ, спиной къ лошади, студентъ Шипилинъ, молодецки заломивъ старую фуражку назадъ, и еле держался на отвѣсѣ.

Въ саняхъ жались одна къ другой Божейрина и Мушина, въ башлыкахъ и шапочкахъ.

Разговоръ у нихъ шелъ со взрывами смѣха. Всѣмъ троимъ было „нестерпимо“ весело. Они вчера перевозили

въ эти края Липу, ночью, на четырехъ парныхъ извозчикахъ, взятыхъ у нѣмецкаго клуба.

Она выписалась, въ своей „меблировкѣ“, въ отъѣздъ, по курской дорогѣ, и теперь она въ безопасномъ мѣстѣ, у женщины-врача, по фамиліи Грунтъ, пріятельницы Натальи Николаевны Шатилиной. Лыжинъ, Кострицынъ и Воденягинъ составляли охрану; Шипилинъ ѣхалъ впереди съ Божеяриной.

Сегодня у нихъ тамъ вечеринка. Все свой народъ. Кажется, и Шатилина будетъ; они всѣ разомъ очень ее полюбили.

Грунтъ занимала нижній этажъ особняка, совсѣмъ на пустырѣ. Наверху — ясли, устроенныя по ея же мысли. Наверху Липа и будетъ, въ особой комнатѣ, спать, послѣ того, какъ дѣтей всѣхъ заберутъ, подъ вечеръ.

Дѣвочки везли на новоселье пирогъ отъ Филиппова и держали обѣ круглую картонку въ салфеткѣ. И вчера, и сегодня ихъ и студента подмывало особое чувство чего-то тайнаго и немножко опаснаго — для себя и для того, кого они „спасали“. Ихъ всѣхъ одинаково возмущала и „гнусность“ генерала. Божеярина, какъ болѣе смѣлая, строгая, уже нѣсколько разъ повторила вчера и сегодня:

— Ну, достался бы мнѣ такой генералъ, — я бы ему показала!

Онѣ знали, что Шипилинъ — бывалый, испытанный человекъ.

Мухина наивно разспрашивала его, когда они очутились въ „пустынныхъ“ мѣстахъ, про его сидѣнье въ Бутыркахъ.

— Лихіе дни были, — говорилъ студентъ.

— Хоть еще посидѣть? — полунасмѣшливо подсказала Божеярина.

— Пожалуй! Хоть въ ту же пору!

Обѣимъ онъ все сильнѣе нравился. У Кати, влюбчивой и наивной, всегда былъ романъ съ какимъ-нибудь товарищемъ-ученикомъ, даже по два разомъ — одинъ „восходящій“, другой „нисходящій“. Лея держала себя строго съ мужчинами и считала себя выше ихъ по уму и таланту. Такимъ студентомъ можетъ увлечься и она, но не раньше, чѣмъ будетъ на сценѣ и составить себѣ имя. Тогда и онъ кончитъ курсъ. Кандидату нечего важничать передъ настоящей артисткой съ репутаціей. А пока она къ нему благоволила съ отъѣнкомъ шутки, способна была

пройтись слегка и насчетъ его умѣнья выставить себя въ выгодномъ свѣтѣ.

Но сегодня они составляли дружескій союзъ, охваченные симпатіей къ Олимпіадѣ Дмитріевнѣ.

— Стойте!—крикнула Катя Мухина.—Мы никакъ проѣхали переулокъ.

Шипилинъ бойко оглянулся.

— Нѣтъ! Такъ! Такъ! Второй поворотъ вправо и третій домъ!—приказалъ онъ извозчику.

Онъ нарочно остановилъ за два дома до того особняка, гдѣ „хоронили“ Липу. Во всѣхъ этихъ пріемахъ видно было бывалаго жоака, охотника до всего тайнаго и запретнаго.

Катя понесла картонъ въ салфеткѣ; Лея шла позади.

Проникли они на крылечко гуськомъ. Дверь стояла отпертой. Они уже знали, что дверь направо ведетъ въ квартиру женщины-врача.

Отворила имъ очень опрятная, молодая горничная, одѣтая сидѣлкой.

Въ столовой, просторной комнатѣ, съ окнами на дворъ, было уже нѣсколько человѣкъ.

Липа разливала чай за хозяйку, не старую еще даму, въ черномъ шелковомъ платьѣ, сѣдую, съ брошкой и въ часахъ; лицо у нея было задумчиво-спокойное, съ остатками красоты. Она смотрѣла нѣмкой.

Кромѣ троихъ охранителей, ѣхавшихъ вчера въ арьергардѣ, когда перевозили Липу,—Воденягина, Кострицына и Лыжина,—посреди ихъ помѣщалась еще женщина лѣтъ за тридцать, некрасивая, по-провинціальному одѣтая, въ короткихъ волосахъ, плечистая, съ огромными черными глазами и умнымъ выраженіемъ эпергическаго, загорѣлаго лица. На ней небрежно сидѣла суконная кофточка. Она курила.

Пирогъ произвелъ впечатлѣніе. Катя тутъ же принялась его рѣзать.

Пріѣздъ новой компаніи прервалъ горячій разговоръ.

Студентъ и дѣвцы представились брюнеткѣ въ короткихъ волосахъ, а она широкимъ жестомъ головы привѣтствовала ихъ и сказала:

— Прошу любить да жаловать. А про васъ уже слышала. Такой молодежи бы побольше по пынѣшнему доблестному времени.

Кострицынъ обратился къ Шипилину и сказалъ:

— Вотъ судьба-то! Къ madame Грунтъ пріѣхала тоже погостить ея подруга, когда-то, по медицинскимъ курсамъ. И какъ бы вы думали—кто?

Шипилинъ пожалъ плечами.

— Не отгадаю, Иванъ Кузьмичъ.

— Не томите!—въ голосъ крикнули дѣвицы.

— Родная сестра господина Спондѣва... Римма Семеновна Петлина. И вотъ сейчасъ Римма Семеновна говорила намъ о братцѣ въ такомъ тонѣ, что и вамъ будетъ пріятно.

Деся и Катя навалились грудью на столъ и всѣ ушли въ слухъ. Липа ласкала ихъ взглядомъ; она похожа была на именинницу.

Воденягинъ приблизилъ голову къ Петлиной и спросилъ:

— И съ юности у братца были такія же наклонности?

— Всегда былъ лѣнивъ и подловать!—воскликнула она.—Мнѣ тяжело такъ говорить; но я отъ него, еще съ прошлаго года, отеклась. Покойный батюшка былъ чловѣкъ гуманный и терпимый. Его огорчалъ Ипполитка—я его всегда такъ звала. Вы вѣдь всѣ знаете, что это его настоящая фамилія Спондѣвъ, а не псевдонимъ. Батюшка, тогда пошла на это мода, отдалъ его не въ духовное училище, а въ гимназію. И шутя любилъ повторять: „фамилію-то нашу малограмотно пишутъ съ „ѣ“, а слѣдовало бы съ „е“, отъ греческаго слова...”

— Спондѣ!—весело и громко подсказалъ Кострицынъ.

— Именно. Онъ, бывало, говорить: „дѣти, вы должны быть обязательству своему крѣпки и хвалить Творца, ибо это слово значить двойко: мирный договоръ и возліяніе богамъ“. И вотъ какой возліятель вышелъ изъ моего братца! Не елѣя и вина, а вонючихъ чернилъ! Съ Олимпіадой Дмитріевной гаже уже нельзя поступить,—строго выговорила Петлина.—Но что онъ въ прошломъ году сдѣлалъ? Этому имени нѣтъ! Вы всѣ, господа, помните, какъ Борисъ Петровичъ,—она назвала имя извѣстнаго писателя,—заболѣлъ и очутился въ большой крайности... Чтò бы вы думали? Братецъ мой все разузналъ и въ первой же своей хроникѣ изволилъ въ пошлѣйшемъ тонѣ не то жалѣть, не то издѣваться надъ нимъ, его болѣзнью и бѣдностью. Я тогда въ Москву пріѣзжала. Разлетѣлся онъ ко мнѣ въ красномъ галстукѣ, съ капульчикомъ на лбу. Подношу ему нумеръ его мерзкой газетишки и спраши-

ваю: „Ты?“—„Я“,—говорить и нахально глядѣть въ оба. „Вонъ!—крикнула я ему.—Сейчасъ вонъ! Чтобы духу твоего не было!“ Такъ какъ бы вы думали—что онъ? Въ дверяхъ надѣлъ цилиндръ и, хихикая, говоритъ: „Тебя надо въ клинику Шарко свезти. Вѣдь это—моя профессія“. И удивительное дѣло, какъ онъ всю эту сцену не изобразилъ на другой же день!

— Такъ, такъ, — выговорилъ Воденягинъ, глядя бороду.—Совершенно такимъ же манеромъ и мнѣ отвѣчалъ.

— Богъ съ нимъ!—откликнулась Липа.—Все это было и быльемъ поросло.

Хозяйка квартиры медленно оглядѣла все общество и спокойно вымолвила:

— Есть низости, которыя и возмущать не могутъ.

— Нѣтъ, я съ тобой не согласна!—воскликнула Петлина, быстро обернувшись къ ней.—Развѣ можно мириться съ тѣмъ, что теперь вездѣ расплзается, точно масляное пятно?

Лыжинъ и Кострицынъ уже знали отъ Липы, что Петлина ушла отъ своего мужа, получившаго въ уѣздѣ мѣсто по „новымъ должностямъ“. Она не кончила на медицинскихъ курсахъ, захваченная, немного лѣтъ назадъ, эпидеміею, на которую послана была въ отрядѣ. Тѣмъ временемъ курсы закрыли, она вышла замужъ и осталась въ провинціи.

— Господа!—вдругъ вся вспыхнувъ, заговорила Петлина, и ея огромные глаза засыпали искры.—Когда мой супругъ началъ давать волю рукамъ и кричать каждый день: „пришелъ и на нашу улицу праздникъ“, я сказала себѣ: потерплю мѣсяць, два, полгода, и если это все такъ пойдетъ—брошу его. Дѣтей, къ счастью, нѣтъ... На старости лѣтъ пойду по чужимъ людямъ, но жить на изживеніи такого господина — избави Боже! Въ эти полгода онъ совсѣмъ освирипѣлъ. И знаете, какой лозунгъ у такихъ господъ? Вотъ какой: „Бей на отмашь чумазаго! Выворачивай ему скулы! Конецъ паршивой гуманности! Сокрушай выю простеца!“

Она, отъ первности, даже раскохоталась.

Лыжинъ поглядѣлъ на Кострицына. Тотъ сидѣлъ съ низко опущенной головой, и на него обращена была усмѣшка Воденягина. Молодежь вся замерла.

XVIII.

Позвонили въ сѣняхъ.

Всѣ вдругъ смолкли. Дѣвицы подняли голову. Шипилинъ отошелъ къ двери.

— Кого Богъ несетъ? — спросила Петлина, закуривая новую папиросу.

— За мной, можетъ-быть, — спокойно выговорила хозяйка и поднялась.

Черезъ минуту вошла Шатилина.

Всѣ облегченно вздохнули.

— Милая! — встрѣтила ее радостно Липа и обняла.

— Потянуло васъ повидать, только что управилась съ моими дѣвицами и работой.

— А какъ дѣти? — спросила Грунтъ. — Извините, я сегодня не могла заѣхать.

— Лучше. У Саши еще есть жарокъ; а Коля игралъ цѣлый день на коврѣ.

Шатилина сѣла около Лыжина въ уголкѣ и ея блестящіе умные глаза ласково поглядывали на него.

Она была застѣнчива и даже такой кружокъ немного стѣснялъ ее въ первыя минуты. Лыжинъ это вспомнилъ и завелъ съ ней особый разговоръ, вполголоса, подъ шумъ бесѣды, которая пошла все такой же широкой и шумной волной. Петлина была неистощима въ разсказахъ о томъ, что теперь дѣлается по деревнямъ, гдѣ царствуютъ такіе „наболѣшіе“, какъ ея супругъ.

— Смотрите, — сказала Шатилина Лыжину, указывая на столъ. — Вотъ вамъ три женщины... Грунтъ, Олимпиада Дмитріевна и я, многогрѣшная, и всѣ три — обломки одного и того же крушенія.

— И та также? — спросилъ шопотомъ Лыжинъ, указавъ головой на хозяйку квартиры.

— И она. Вы не знаете ея исторіи?

— Нѣтъ.

— Она пошла учиться медицинѣ изъ барышень... была дочь петербургскаго сановника. Много потратилась она на эту борьбу. Вы видите, какая она еще красивая. А тогда — подавно... Кончила курсъ. Влюбился въ нее офицеръ. И она не устояла. Жили хорошо. Она его любила честно, искренно. Но, разумѣется, съ каждымъ годомъ разнища развитія давала себя знать. Офицеръ былъ нервная натура, не глупъ, самолюбивъ. Засѣло ему въ голову,

что жена должна его презирать... Взялъ, да и застрѣлился. И застрѣлился-то гдѣ? На гауптвахтѣ, когда стоялъ въ караулѣ.

— Кто же знаетъ, что именно отъ этого? — спросилъ Лыжинъ.

— Никто не знаетъ доподлинно, но она такъ объяснила. А люди добавили. Офицеры его полка устроили демонстрацію противъ нея. Какъ бы вы думали? Не хотѣли даже тѣло отвезти къ ней на квартиру, а отъ себя похоронили. На, молю, полюбуйся! Ты довела своего мужа до самоубійства!

— Быть не можетъ!

— Такъ было, Юрій Петровичъ. Насилу уладили дѣло. Можете сами вообразить, что она въ тѣ дни и послѣ смерти пережила. Видите—лицо еще молодое, а волосы сѣдые. И посѣдѣла въ одну ночь.

Лыжинъ долго глядѣлъ на красивую, внушительную голову женщины-врача.

— Ничего!—бодрящимъ звукомъ вымолвилъ онъ и протянулъ Шатилиной руку.—Ничего, другъ мой! Жизнь свое возьметъ. И вы, я убѣжденъ въ этомъ, попадете опять на торную дорогу и будете прежней, жизнерадостной Натальей Николаевной.

— Мужъ не вернется. Да я и не желаю... ни для себя, ни для дѣтей. Такъ, бобылемъ, не проживешь.

— Полюбите... Только теперь уже выборъ будетъ другой.

— Охъ!—Шатилина махнула рукой.—Развѣ мы можемъ выбирать? У насъ вѣдь голова совсѣмъ не такая, какъ у васъ, господа, и вы всѣ обманываетесь. Никто изъ васъ не знаетъ женской натуры, никто.

Невольно взгляды Лыжина упали на блѣлую голову Кострицына.

„И этотъ, — подумалъ онъ, — въ согласіи съ тѣмъ, что сейчасъ сказала Шатилина, и этотъ, при всей своей книжной мудрости, не знаетъ совсѣмъ женщинъ и вдается въ сладкій обманъ“.

Кострицынъ, сквозь папирозный дымъ, поглядывалъ на Лину влюбленными глазами и тихо улыбался. Онъ совсѣмъ не слыхалъ, о чемъ горячо заспорили студентъ съ Воденягиннымъ.

Лыжинъ самъ чувствовалъ себя молодо и тепло, охваченный воздухомъ взаимной поддержки всего этого кружка. Опять передъ нимъ были члены точно тайнаго со-

общества, какъ тогда, въ поздній вечеръ, проведенный у Липы. Онъ уже не ежился отъ присутствія Воденягина. Обличительныя рѣчи Петлиной его не коробили. Ему забавно и весело было видѣть, какъ его „амбарный Сократъ“ вдругъ захваченъ жизнью, влюбленъ — и не шуточно, готовъ изъ-за Липы идти одинъ-на-одинъ на кого угодно.

И ему не хотѣлось вспоминать при этомъ, что онъ помогъ припрятать Липу отъ происковъ — кого же? Вѣдь Кишкетовъ былъ подосланъ Ниной, а Нина считаетъ его „своимъ человѣкомъ“; онъ долженъ будетъ встрѣчаться съ нею каждую недѣлю, быть любезнымъ, отвѣчать ей въ пріятельскомъ тонѣ, если она начнетъ съ нимъ откровенничать.

— Здѣсь ей будетъ совсѣмъ хорошо,—сказала ему Шатилина, наклонясь къ нему.—А переждемъ время, тогда она можетъ и ѣхать.

Лыжинъ кивнулъ слегка головой.

И точно подслушавъ ихъ разговоръ, Воденягинъ всталъ—закурить папиросу о пламя лампы—и вдругъ заговорилъ другимъ тономъ:

— Позвольте, господа, мы теперь здѣсь въ полномъ сборѣ. Вчера мнѣ ночью не спалось, и я началъ воображать себѣ, что я—этотъ милашка, генераль Кишкетовъ.

— Ха-ха!—разсмѣялась молодежь.

— Подождите. Оно забавно, быть-можетъ. Я вѣдь про него давно слышанъ... Хотя и не имѣлъ удовольствія встрѣчаться съ нимъ въ тѣхъ сферахъ, которыя достаточно изучилъ.

Шатилина и Лыжинъ стали прислушиваться.

— Ну, и что же?—спросила Липа, поднявъ глаза на Воденягина.

— Если такой индивидъ сталъ дѣлать посулы съ пристрастіемъ—значить, у него, кромѣ обычныхъ способовъ воздѣйствія, есть и еще что-нибудь.

— Что же?—крикнулъ Кострицынъ, и Лыжинъ замѣтилъ, что глаза его тревожно забѣгали.

— Положимъ, онъ могъ бы посодѣйствовать тому, что Олимпиаду Дмитріевну попросили бы удалиться изъ Москвы.

— Этого ему мало,—выговорила Липа, и ея брови сейчасъ же сдвинулись.

— Разумѣется,—подхватилъ Воденягинъ.—Онъ слиш-

комъ травленный волкъ. У него есть навѣрно особый камень за пазухой.

— Есть,—выговорила Липа.

— Какой же именно?—стремительно спросилъ Кострицынъ, пододвинувшись къ ней.—Ваше прошлое... изъ петербургской эпохи? Это мы знаемъ.

— Можетъ-быть, и документъ есть какой-нибудь,—добавила Петлина.

— Быть-можетъ,—глухо выговорила Липа.

— Но почему же у него именно въ рукахъ?—съ недоумѣмъ спросилъ Шипилинъ и отошелъ къ двери, гдѣ сталъ спиной, взявшись за ручку.

— Это, голубчикъ, безразлично: почему,—возразилъ Кострицынъ.

— Именно, — подтвердилъ Воденягинъ. — *Почему* — нельзя задавать въ научномъ мышленіи, а—*какимъ образомъ*. Да и этотъ второй вопросъ насъ не касается. Надо, какъ въ задачахъ, такъ ставить дѣло: у него есть искомый иксъ—и надо его добыть.

— Необходимо!—крикнулъ Кострицынъ и нервно заходилъ въ углу.

— Какъ же узнать — есть ли у него въ рукахъ что-нибудь фактическое?—такъ же горячо откликнулась Петлина.

— Въ этомъ-то и состоитъ задача — выждать психологическій моментъ и произнести дискурсъ съ-глазу-на-глазъ съ этимъ индивидомъ—такъ, чтобы истина всплыла.

— Какъ же? Съ ножомъ къ горлу?—сухо и отчетливо вымолвила Липа.

Всѣ смолкли секундъ на пять.

Лыжинъ поднялся со своего мѣста и подошелъ къ столу.

— Зачѣмъ такъ натягивать струну? — заговорилъ онъ, упирая обѣими ладонями въ столъ.—Олимпиада Дмитріевна поживетъ здѣсь, сколько ей нужно будетъ. И поѣдетъ въ провинцію, куда она уже собиралась.

— Погоди, другъ,—прервалъ его Кострицынъ.—Развѣ такой человекъ не способенъ и тамъ ее преслѣдовать? Олимпиада Дмитріевна!—окликнулъ онъ ее, приходя все въ большее волненіе.—Вѣдь у него тамъ и имѣніе есть?

— Какъ же, — отвѣтила Липа. — И заводъ. Потому-то онъ и попалъ туда, зимой, на выборы, когда мы познакомились. О, такой человекъ на всякую гнусность способенъ.

— Вотъ видите, госнода, — пачаль опять Воденягинъ тономъ учителя, доказывающаго теорему. — Тѣмъ паче! Стало, моя постановка задачи правильна: надо дѣйствовать такъ, какъ будто иксъ несомнѣнно находится въ числѣ величинъ уравненія.

Петлина подбѣжала къ Липѣ.

— Васъ только понапрасну пугаютъ. Утро вечера мудренѣе. Мы васъ не выдадимъ. Хоть дѣлный годъ можете изъ одного убѣжища въ другое переходить.

Она посмотрѣла на стѣнные часы.

— А теперь пора и разойтись. Вѣдь со двора-то виденъ свѣтъ, а въ этомъ домѣ ложатся рано.

Всѣ стали собираться. Кострицынъ отвелъ Лыжина въ уголъ и сказалъ ему на ухо:

— Вѣдь Воденягинъ-то правду говорить.

— Одно дѣло—говорить; другое дѣло—дѣйствовать.

— Такой способенъ и дѣйствовать, даромъ что онъ самъ на особомъ положеніи.

И, выходя на крыльцо, минутъ пять спустя, онъ какъ бы не своимъ голосомъ сказалъ пріятелю:

— Я знаю—что знаю!

XIX.

Въ кабинетѣ Захара Лукьяновича уже темнѣло. Онъ еще не звонилъ зажигать лампы.

Качаясь въ креслѣ, онъ курилъ въ сумеркахъ. Газета лежала на полу, брошенная имъ.

До обѣда ему нечего было дѣлать—читать не хотѣлось, идти наверхъ—также. Предстоялъ обѣдъ съ-глазу-на-глазъ съ Ниной.

Вчера князь простился съ ними. Онъ его удерживалъ всячески, но старикъ все повторялъ: „пора мнѣ въ сугробы, пора!“

Съ самой дуэли, князь ни разу не началъ съ нимъ говорить по этому поводу. Захаръ Лукьяновичъ еще тогда смутно догадывался, что диди уже что-то такое зналъ про увлечение племянницы. Быть-можетъ, засталъ ихъ въ тѣ часы, когда мужъ такъ беззаботно и увѣренно развѣзжалъ по своимъ дѣламъ, охраняя свободу пріемовъ своей жены.

Какая глупость и фанаберія!

Припоминалась ему не одинъ разъ исторія женитьбы Наполеона I на Маріи-Луизѣ Австрійской.

И онъ былъ „случайный человѣкъ“ и только во второй своей женѣ имѣлъ кровную принцессу, дочь римскаго цезаря, а раньше на всѣхъ женщинъ, которыхъ любилъ, смотрѣлъ сверху внизъ, даже и на Жозефину, послѣ того, какъ попалъ въ императоры.

То, что для того была Марія-Луиза, то для него—княжна Жеребьева-Зарайская. Въдъ старшая-то линія имѣтъ титулъ свѣтлости. Въдъ австрійскую-то принцессу выдали за всесильнаго властелина— все равно, что обѣдѣвшая княжна попала за купца-милліонщика. Самъ папаша навязалъ ее, чувствуя, что иначе придется совѣтъ „капуть“.

И какъ же повелъ себя Наполеонъ? Вотъ это—голова, вотъ это человѣкъ, понимающій женщину! Положимъ, онъ былъ уже не молодъ, однако, только что передъ тѣмъ имѣлъ любовную связь съ польской графиней и прижилъ отъ нея ребенка... Стало, въ себѣ могъ быть увѣренъ.

Однако, какъ же онъ повелъ себя? Сталъ держать жену въ почетномъ заключеніи. Ни единой минуты безъ надзора. Дать аудіенцію мужчинѣ, съ-глазу-на-глазъ, нечего и думать. Безсмѣнно четыре дежурныхъ дамы — „les dames rouges“—по двѣ у наружныхъ и внутреннихъ дверей, днемъ и ночью. Брильянтовъ, тряпокъ на милліоны, собаки, птицы, спектакли, музыка, прогулки — чего твоя душа просить,—только ни шагу по своей волѣ.

Тотъ зналъ женщинъ. Онѣ ему отдавались всѣ, безъ исключенія. Камердинеръ водилъ къ нему въ рабочую комнату герцогини и маркизъ—и онъ обращался съ ними, какъ съ проститутками. Зато и былъ трезвыхъ взглядовъ на бракъ и супружескую невѣрность.

Небось Захаръ Лукьяновичъ помнить — пожалуй, на иной вкусъ, и циническое — замѣчаніе его, сдѣланное въ государственномъ совѣтѣ, когда обсуждался вопросъ о проступкахъ противъ брачнаго союза.

„Messieurs,—сказать онъ во всеуслышаніе, какъ истинный мудрецъ-практикъ,—l'adultère—c'est une question de saпарé“.

Развѣ это не поразительная истина?

Теперь Захаръ Лукьяновичъ позналъ ее. И ему, по нѣскольку разъ на дню, представлялся великолѣпный диванъ Нины, подъ балдахиномъ, съ его безчисленными, расшитыми шелкомъ и золотомъ, подушками и валиками...

Князь такъ и ухалъ. Съ племянницей простился сучовато—это было замѣтно. Она—тоже. Между ними было,

вѣроятно, объясненіе, только врядъ ли она взяла во вниманіе, что онъ могъ ей сказать.

Захаръ Лукьяновичъ предложилъ ему, въ видѣ скромнаго намека, издать которое-нибудь изъ его сочиненій; старикъ поблагодарилъ его тронутымъ голосомъ, но прибавилъ:

— Нѣтъ! Мой голосъ покажется голосомъ изъ подземелья. Завѣщаю рукопись въ Публичную Библіотеку.

И вотъ теперь онъ одинъ, совсѣмъ одинъ въ домѣ. Все тотъ же вопросъ стоитъ передъ нимъ: „дошло ли между ними до настоящей связи или нѣтъ?“

Отвѣтить: „дошло“—онъ не можетъ; но ему отъ этого не легче. Она ѣздила къ нему въ отель—это несомнѣнно, хотя въ немъ, въ „калегвардѣ“, врядъ ли была настоящая влюбленность. Что-то онъ ни гу-гу! Другой бы, въ такомъ „разѣ“, или самъ, или черезъ пріятеля сталъ бы требовать:

„Вы, молъ, сами жену свою ославили на всю Москву, такъ не угодно ли вамъ дать ей разводъ“.

Однако—ничего! И она молчитъ. Ни единымъ звукомъ не выдаетъ себя: точно будто она до сихъ поръ ничего не слыхала.

Только ей не удастся его пересилить. Шалить!

Ославилъ ли онъ ее на всю Москву? Иначе онъ поступить не могъ. У него кровь въ жилахъ, и кровь не хуже сортомъ, чѣмъ у барона. Ему и то пріятно уже, что въ городѣ, не въ однихъ купеческихъ домахъ, а въ самыхъ старыхъ дворянскихъ, поведеніе его одобряютъ и во всемъ винятъ ее. Даже ея ближайшіе пріятели—Напон съ мужемъ—видимо отступились отъ нея.

А все-таки черезъ часъ надо будетъ идти наверхъ. Сегодня никто у нихъ изъ постороннихъ не обѣдаетъ.

Вошелъ дежурный официантъ.

— Иванъ Кузьмичъ!—доложилъ онъ.

— Проси.

Приходъ Кострицына его обрадовалъ. Можно будетъ оставить его обѣдать.

Встрѣтилъ онъ его особенно ласково и, спросивъ слегка—что въ амбарѣ, куда онъ сегодня не ѣздилъ, предложилъ сигару.

— Можеть, пройдетъ къ женѣ до обѣда? Вы вѣдь никуда не отозваны?

— Никуда, Захаръ Лукьяновичъ.

Кострицынъ сѣлъ бокомъ, въ неловкой позѣ. Липо его было плохо видно Кумачеву: тотъ сидѣлъ спиной къ свѣту лампы, зажженной лакеемъ въ углу.

— Вы ее найдете у себя. Она что-то все хохлится.

„Хитришь ты, братъ, со мной напрасно,—перебилъ его Кострицынъ, про себя,—насадила она тебѣ рога, и этого никакая дуэль не смоетъ“.

Будь онъ менѣе поглощенъ какимъ-то „своимъ дѣломъ“—онъ способенъ бы былъ сказать ему:

„Захаръ Лукьяновичъ, выгоните ее, отнимите дѣтей и дайте ей разводъ. Кромѣ горя и сраму, она вамъ ничего не доставитъ. Сами виноваты! Слишкомъ преклонялись!“

Кумачевъ игралъ ему „въ руку“. Онъ пріѣхалъ собственно не къ нему, а къ Антонинѣ Борисовнѣ, и всю дорогу, въ саняхъ, перебиралъ въ головѣ—какой предлогъ выдумать этому посѣщенію. Захаръ Лукьяновичъ оказался дома, и онъ зашелъ къ нему, смутно сознавая, что такъ будетъ ловчѣе.

Теперь онъ увѣреннѣе отправится къ Нинѣ. Мужу тяжело идти туда. Онъ и обѣдать-то его пригласилъ, чтобы не оставаться вдвоемъ.

Полчаса прошло для него незамѣтно въ кабинетѣ Антонины Борисовны.

Въ первый разъ—онъ могъ поклясться—въ первый разъ въ жизни онъ надѣлъ на себя личину, и это придало ему гораздо больше свободы въ разговорѣ съ нею. Онъ ее и презираетъ, и ненавидитъ—и пришелъ съ тайной цѣлью заставить ее проговориться. И это ни на минуту не омрачило его разсудка, а напротивъ, дѣлало блестяще и забавнѣе.

Нина часто смѣялась и даже сказала ему:

— Да какой вы веселый, Иванъ Кузьмичъ! И сколько знаете смѣшныхъ вещей!

Какъ-то само собою, безъ всякихъ хитросплетеній, повелъ онъ разговоръ и въ сторону генерала.

Она, видимо, обрадовалась тому, что пришелъ къ ней человѣкъ, сочувствующій ей.

И черезъ пять минутъ она сама проболталась.

— Эту мамзель, — дурачливо сказала она, — попросятъ оставить Москву.

Стало-быть, генераль еще у нея не былъ, или утаиваетъ отъ нея то, что Лина скрылась.

Это наполнило его злобнымъ чувствомъ, которое онъ

не хотѣлъ подавлять. Съ такой женщиной надо самому вооружиться коварствомъ хищнаго звѣря.

Скажи ему Лыжинъ: „Да ты, братъ, что твой Цезарь Борджиа“—онъ бы не затруднился отвѣтить: „Всякій человѣкъ долженъ побывать въ Борджиахъ; иначе онъ—презрѣнный рабъ слюннйской морали“.

— Антонина Борисовна,—заговорилъ онъ мягко и вполголоса, наклоняясь къ дивану,—можетъ-быть, вамъ угодно что-нибудь передать генералу? Письмо... или на словахъ... Я къ вашимъ услугамъ.

— Благодарствуйте!

Она такъ была возбуждена этимъ разговоромъ, что забыла все. Вѣдь она могла легко сообразить: не познакомилъ ли Лыжинъ и его съ этой мамзелью?

Но и тогда свою личину онъ еще бы плотнѣе придвинулъ на лицо и лицедействовалъ бы такъ же развязно.

— Это идея!—продолжала она.—Онъ что-то молчить. Письма не нужно... просто на словахъ... Вы вѣдь обѣдаете у насъ?

— Какъ же.

— Ну, такъ мы еще поговоримъ на свободѣ. Захаръ Лукьяновичъ поѣдетъ въ клубъ. Онъ вѣдь нынче ударился въ карты.

Послѣ обѣда онъ узнаетъ все, что ему нужно. Наверно, Кишкетовъ если не прямо, то намеками далъ ей почувствовать, есть ли въ его рукахъ что-нибудь фактическое по той исторіи, изъ-за которой Липа должна была когда-то скрыться за границу.

„Оба вы съ генераломъ, — думалъ Кострицынъ про себя,—одного поля ягода. Вамъ нечего стѣсняться другъ съ другомъ“.

И онъ страстно сталъ ждать того, что онъ еще „выудить“ у Нины.

XX.

Изъ квартиры Иды выносили сундуки и коробки.

Она, въ шубѣ и съ дорожной сумкой черезъ плечо, стояла посрединѣ гостиной и прощалась съ Лыжинымъ.

— Значить, не вернетесь сюда, голубушка?—спросилъ онъ, не выпуская ея руки.

— Нѣтъ.

— А для Елены Константиновны?.. Вѣдь она должна быть на-дняхъ.

— Я знаю.

И, наклонившись, Ида сказала вполголоса:

— Безъ меня ей будетъ свободнѣе. Въ этомъ помѣщеніи она можетъ оставаться еще двѣ недѣли.

— Такъ вы надѣетесь на вожделѣнный исходъ?

И онъ шутливымъ жестомъ показалъ, какъ возлагаютъ на голову вѣнецъ.

— Можетъ-быть, — грустно выговорила Ида, но глаза ея блеснули доброй улыбкой. — Вы ее не дразните.

— Съ какой стати? — возразилъ Лыжинъ. — Только въ такомъ бракѣ врядъ ли будетъ толкъ. Его она не передѣлаетъ; да и самой нельзя передѣлать себя на его фазонъ. Вдобавокъ, она будетъ адски ревновать его.

— Есть грѣшокъ, — сказала Ида по-русски.

— Тянетъ васъ развѣ такъ ужъ очень къ себѣ?

— Да, Юрій, тянетъ. Здѣсь все пойдеть и безъ меня. Вы скучать не будете. У васъ большое дѣло. Липу Углову спасаетъ цѣлое общество.

Она не договорила и, поведя на особый ладъ глазами, спросила вполголоса:

— Votre ami... le philosophe... Je crois, qu'il a un béguin sérieux pour elle?

Лыжинъ кивнулъ головой.

— Сдается и мнѣ.

— Il n'y a pas de philosophe qui tienne contre cette maudite passion, — выговорила она мягко.

— Такъ вы рѣшительно не позволяете проводить себя?

— Нѣтъ, Юрій, не надо. Ко мнѣ пріѣдете скоро?

— Непремѣнно. Я сдѣлаю крюкъ съ ближайшей мануфактуры.

— Vous savez, la belle fermière vous attend.

— Кто такая?

— Анисія Прохоровна, дочь моей арендаторши. Она о васъ мечтаетъ. Et vous, ami?

Оба тихо размѣялись и стали прощаться.

— Все готово, Лидія Павловна, — доложила Евгенія, укутанная ковровымъ платкомъ.

Лыжинъ сошелъ внизъ и усадилъ Иду въ карету.

Шелъ третій часъ. Она брала почтовый поѣздъ.

Медленно поднимался къ себѣ Лыжинъ. Отъѣздъ Иды оставлялъ его въ гораздо болѣешемъ одиночествѣ, нежели онъ думалъ. Въ домѣ Кумачевыхъ онъ рѣшительно склонился на сторону „самого“. Нину ему не было жаль и

его поведеніе съ Липой набрасывало на нее некрасивую тѣнь.

Кострицынъ куда-то уходилъ,—уходилъ въ страсть, и врядъ ли онъ, при всей своей діалектикѣ, останется вѣренъ дому Кумачевыхъ. Онъ слишкомъ взвинченъ противъ Нины. Ему невыносимо видѣть ее. Развѣ объяснится объ этомъ съ мужемъ, благо тотъ уже не состоитъ къ супругѣ своей въ прежнихъ отношеніяхъ.

У себя, въ кабинетѣ, Лыжинъ, за послѣдніе два мѣсяца, впервые почувствовалъ пустоту. Бѣхатъ ему по дѣлу—некуда... Спѣшныхъ занятій — нѣтъ, дѣлать визиты — не хочется.

Онъ прилежъ съ книгой на диванъ и въ головѣ его — лица и фигуры Иды, Липы Угловой, Кострицына, студента, Воденягина, четы Кумачевыхъ стали переплетаться. Читалъ онъ вяло, и его вѣки стали полегоньку слипаться.

— Дома?—раздался въ дверяхъ окликъ, возбужденный, очень громкій.

Лыжинъ сталъ приподниматься и спустилъ съ дивана ноги.

— Иванъ Кузьмичъ!

Кострицынъ болѣе вбѣжалъ, чѣмъ вошелъ, блѣднѣе обыкновеннаго, съ блестящими глазами; брови его безпрестанно поднимались и производили крупныя морщины. Волосы на лбу и вискахъ растрепались.

Такою Кострицына Лыжинъ никогда не видалъ.

— Я отъ него!..—вскричалъ онъ и, точно послѣ тяжелой работы, опустился въ кресло.

— Отъ кого?

— Отъ Кишкетова. Имѣлъ съ нимъ коллоквиумъ... одинъ-на-одинъ.

Онъ вскинулъ правой рукой.

— Нѣтъ, дружище, не воображалъ я, что во мнѣ сидитъ такой, какъ бы тебѣ сказать, конспираторъ, что ли, умѣющій, коли нужно, надѣвать личину и производить психическое давленіе.

Лыжинъ подсѣлъ къ нему и положилъ руку на его колѣно.

— Сократъ! Перестань говорить притчами. Я еще третьяго дня подумалъ, что ты что-то задумываешь такое. Конспираторъ... Неужели,—голосъ Лыжина упалъ,—ты съ нимъ покончилъ?

— Ха-ха! Ты думаешь, бацъ-бацъ?.. Нѣтъ, братъ, до этого не дошло, но...

— Могло дойти?

— Не знаю... Такіе гнуснецы—трусы. Имъ шкура ихъ слишкомъ дорога. Они вѣдь сладострастники и будутъ предаваться своему сатириазису до тѣхъ поръ, пока на нихъ броунъ-секаровскія впрыскиванія дѣйствуютъ.

— Значить, ты попугалъ его.

— *Есть, сэръ!*..—вскричалъ Кострицынъ и не выдержалъ, вскочилъ и заходилъ по комнатѣ.—И какъ я, другъ Юрій Петровичъ, ловко повелъ себя. Живетъ онъ въ меблированной квартирѣ, въ нижнемъ этажѣ. У него лакей, изъ бывшихъ денщиковъ. Я вхожу, сейчасъ ему бумажку въ руку и говорю: сбѣгайте мнѣ за папиросами въ лавку. Генералъ меня ждетъ. Доложите: отъ госпожи Бумачевой... А остальное ты можешь легко возстановить посредствомъ ассоціаціи идей. Вошелъ, произвелъ давленіе съ помощью нѣкотораго инструмента,—Кострицынъ ударилъ себя по карману пиджака,—и вотъ они здѣсь...

Онъ ткнулъ пальцемъ въ грудь, гдѣ внутренній карманъ.

— Кто они?

— Нѣкоторые документики. Ха-ха!

Въ его смѣхѣ дрожали почти истеричныя ноты.

— Насчетъ Олимпиады Дмитріевны?

— *Есть, сэръ!* И знаешь, друже, — Кострицынъ опять опустился въ кресло, — когда я сегодня отправился къ нему, развернулъ я „Мысли Марка Аврелія“. Я этого замороженнаго аскета не больно долюбиваю, но читаю, есть хорошія мысли и отличныя выраженія. А тутъ развернулъ, знаешь, по атавизму суетѣрія, — оно во всѣхъ насъ копошится, — и вотъ на какое изреченіе попалъ я. Изволь въ переводѣ и довольно точномъ: „Нравственное совершенство состоитъ въ томъ, чтобы проводить каждый день такъ, какъ бы онъ былъ послѣднимъ, безъ тревоги, безъ нерадѣнія, безъ притворства“. И вотъ такой день былъ для меня сегодняшній. Онъ могъ быть и послѣднимъ — случись у генерала подъ рукой такой же инструментъ, онъ могъ бы уложить меня на мѣстѣ. Но не уложилъ, а я его заставилъ сдѣлать то, что мнѣ угодно было. И такая удача, что и лакей-то замѣшкался съ покупкой папирсѣ, и когда я уходилъ, то его еще не было въ прихожей. Что, ловко твой амбарный Сократъ обработалъ все?

— Однако,—Лыжинъ опять положилъ ему руку на колено,—онъ можетъ тебѣ серьезно пагадить.

— Пушай! Я ничего не боюсь. Я живу, Юрій Петровичъ, всѣми фибрами трепещу, какъ никогда не жилъ и не трепеталъ... Личность моя поднялась на сто локтей. Я не презрѣнный кандидатишка, а что твой Магометъ, держащій вообразить себя пророкомъ и идти на завоеваніе всего міра. Ужъ если пошло на цитаты—вотъ гебѣ подлинное изреченіе изъ Корана, я его помню наизусть: „будь снисходителенъ, приказывай доброе и избѣгай невѣжды“. А я его такъ передѣлалъ: „будь жестокъ, приказывай гнуснѣцамъ и казни предателей“. Ха-ха!

Смѣхъ его не сразу остановился. Лыжинъ съ безпокойствомъ оглянулъ его.

— Послушай, Кострицынъ... Не переустыдилъ ли ты мѣры? Такія экспедиціи приличны были бы Воденягину и людямъ его покроя.

— А я чѣмъ хуже?—закричалъ Кострицынъ и выпрямился.—Ты помнишь... третьяго дня... Онъ былъ на волюскѣ отъ того, чтобы продѣлать то, что я продѣлалъ. А что ему эта женщина? Изъ одного принципа. Развѣ я могъ допустить постороннему человѣку пойти на это?.. Когда во мнѣ каждая жилка трепетала!..

— Иванъ Кузьмичъ! Да ты безумно влюбленъ въ нее! Кострицынъ замигалъ, и лицо его все передернуло.

— Ну да, люблю! Люблю!—крикнулъ онъ.—И если говорю тебѣ: никогда не любилъ еще—то не лгу! Люблю!—повторилъ онъ протяжно и страстно.—И положу на нее свою душу. И сдѣлаю изъ нея великую артистку! И подниму ея женскую личность до высшей грани!

— И люби!—грустно и тепло промолвилъ Лыжинъ, опустивъ голову.

Оба смодкли.

XXI.

Татьяна Егоровна Боярцева сидѣла въ спальнѣ, у лампы, и читала.

Утомившись немного, она сняла очки и провела ладонью по глазамъ.

Болѣзнь прошла, но оставила слабость и, почти каждую ночь, выте въ груди. Выѣзжать ей еще не позволяли, и это ее огорчало; она привыкла бывать въ церкви каждый день часто и по два раза.

Это его огорчило; но онъ не могъ еще наладить себя. Внутри его точно сидѣли какія-то зацѣпки.

— Довольна! Знаете, Романъ Денисовичъ, я и прежде не была охотница до Петербурга и его чинушей. А въ этотъ разъ мнѣ было какъ-то особенно противно.

— Воображаю!

— Что за претензія у всѣхъ, и какой отвратительный тонъ — или ноющій, или нахальный!.. Я иначе не могу сравнить Петербургъ, какъ съ становищемъ завоевателя, который водворился въ странѣ и мудритъ надъ ней.

— Ха-ха! Прекрасное сравненіе! Они только тамъ и дѣла дѣлаютъ, что мудрятъ надъ жизнью. А дѣлаетъ ее вся остальная Россія.

Еленѣ не казалось нисколько, что она отступаетъ по-немногу отъ своихъ взглядовъ и оцѣнокъ. Еще недавно она любила говорить, что Петербургъ — „единственный русскій городъ, гдѣ можно жить“.

И фраза, которую Боярцевъ только что употребилъ: „дѣлать жизнь“ — была для нея невыносима. Она не позволяла никому доказывать, что только мужикъ или чернорабочій, купецъ или промышленникъ „дѣлаютъ жизнь“. Она горячо отстаивала „интеллигенцію“ и высшій умственный трудъ, въ чемъ бы онъ ни проявлялся: въ управленіи, въ торговомъ и фабричномъ дѣлѣ, въ наукѣ, въ искусствѣ, въ социальныхъ идеяхъ.

— Лидія Павловна у себя въ усадьбѣ? Я не зналъ этого, а то бы заѣхалъ къ ней.

— Какъ же... Она здѣсь немного утомилась. Знаете, вѣдь она попала въ самое пекло.

Боярцевъ поглядѣлъ вопросительно.

— Сложная исторія!..

Елена не могла воздержаться. Она по натурѣ любила всякія исторіи, гдѣ любовь играетъ людьми, показываетъ ихъ въ настоящемъ свѣтѣ; однихъ преобразовываетъ, у другихъ будитъ самые низкіе позывы ихъ души.

Отъ Иды она знала, какъ ея племянница выказала себя насчетъ своей предполагаемой соперницы. Та ей успѣла написать и о томъ, какъ „спрятали“ Липу и какъ Кострицынъ „a eu le coup de foudre“.

Она, было, и пустилась говорить съ увлеченіемъ, но тутчасъ же сдержала себя. Ей стало совѣстно... На лицѣ Боярцева она успѣла подмѣтить черту около рта, нѣчто

въ родѣ жалостной усмѣшки. Такихъ суетныхъ разговоровъ онъ не любилъ.

— Ахъ, другъ мой! — воскликнула она и взяла его за руку. — Вотъ вамъ и любовь!

Она намекала на Нину Кумачеву, но что это, если не раздраженіе своего эротизма!

Онъ опустилъ голову.

„И этого не слѣдовало говорить“, — дала она на себя, мысленно, рѣзкій окрикъ.

Боярцевъ слышалъ про дуэль Кумачева съ Гольцемъ.

— Развѣ это серьезно? — спросилъ онъ ее вдумчиво.

— Я у нихъ еще не была и не знаю, что тамъ происходитъ. Но я не считаю Нину способной даже и на такъ-называемую незаконную любовь.

Онъ промолчалъ.

— Вы не считаете меня злоязычной, Романъ Денисовичъ? И право, я не кинула бы въ нее камнемъ, если бы она честно заявила мужу, что любитъ другого.

— Честно заявлять нельзя того, что, само по себѣ, нечестно, — вымолвилъ мягко Боярцевъ, не глядя на нее.

— Развѣ можно приказывать чувству?

— Можно бороться съ нимъ.

Какъ бы она крикнула, мѣсяцъ назадъ: „Это нестерпимый и лицемѣрный ригоризмъ!“

Теперь она смолчала. Онъ иначе не могъ говорить, и если бы онъ, женившись, полюбилъ другую женщину, навѣрно онъ вырвалъ бы съ корнемъ свое „грѣховное“ чувство.

Этотъ человѣкъ не броситъ никакой женщины, даже и недостойной, даже и такой, которая заставитъ его пройти черезъ муки ревности и оскорбленнаго мужского достоинства.

— Оставимъ это! — вымолвила Акридина и протянула ему руку.

XXII.

Чайный приборъ беспорядочно распозлся по столу. Никто не приходилъ его прибрать, и стрѣлка стѣнныхъ часовъ въ коридорѣ уже перешла за двѣнадцатъ.

Лампа догорала.

Елена, облокотившись о ручку дивана, сидѣла съ опущенными глазами и рука ея нервно перебирала бахромъ столовой салфетки.

На лицѣ Боярцева было замѣтно утомленіе.

— Нѣтъ,—говорила она порывисто и глухо,—вы слишкомъ сурово смотрите на жизнь чувства, другъ мой. Нельзя на все налагать какую-то эпитимію: за такой-то помыселъ столько земныхъ поклоновъ, за такой порывъ — столько.

— Я вовсе не такой изувѣръ, Елена Константиновна... Но то, что зовутъ часто жизнью чувства, только... только...

Онъ затруднился словомъ.

— Ужъ никакъ не чувственность!—воскликнула Аеридина. — Любовь настоящая, могучая, — прибавила она, и голосъ ея замѣтно дрогнулъ, — такая любовь не знаетъ никакихъ рамокъ и ярлыковъ. Она все освящаетъ и живитъ.

— Конечно. Но и мрачить, и дѣлаетъ человѣка рабомъ. И рождаетъ самый ужасный видъ себелюбія — любовный эгоизмъ, дѣлающій два существа врагами всего остального человѣчества. Пропадай оно, только бы пара любовниковъ могла упиваться своей страстью.

— Но развѣ жизнь не ужасная вещь, Боярцевъ? Нести ей бремя безъ такого, если хотите, безумія — слишкомъ тяжело, слишкомъ жестоко.

Голосъ ея сразу упалъ. Она низко опустила голову и продолжала точно про себя:

— И только она и дѣлаетъ способнымъ на всякую жертву. То, что казалось безумнымъ, немислимымъ, вдругъ является возможнымъ. Что дороже убѣжденій, выношенныхъ цѣною долгой-долгой борьбы? Ни за что бы не поступился ими! И въ другихъ-то не могъ допускать чего-либо не своего; все это было нѣчто чуждое или враждебное, возмутительное!

Боярцевъ началъ понимать, что она говоритъ про свою недавнюю фанатическую преданность взглядамъ и принципамъ, которые достались ей немалой борьбой, съ той поры, какъ она начала сознавать въ себѣ личность.

Тихое чувство умиленія проникло въ него. Мало того, что она такъ самоотверженно ходила за его матерью, съ каждымъ днемъ дѣлалась она мягче, терпѣливѣе и пылка въ уваженіе къ его вѣрованіямъ. Конечно, и сама она уже не разъ задумалась надъ тѣмъ, что онъ и мать его считаютъ высокимъ утѣшеніемъ и сладкимъ завѣтомъ земной жизни.

Жестоко и несправедливо было бы считать такое чув-



ство только блажью, чувственнымъ порывомъ, задоромъ женщины, не желающей состарѣться, не испытать любовныхъ наслаждений... Она уже говорила ему, не разъ, про первое супружество, гдѣ была только одна тихая дружба.

Онъ взялъ ее самъ за руку и пожалъ.

— Я не изувѣрь,—заговорилъ онъ.—Мнѣ не по душѣ все то, что ломаетъ натуру человѣка и только пугаетъ жестокой карой.. Помните, вы у меня нашли одного суроваго византійца... Козьмина?

— Помню,—отвѣтила Елена и вздрогнула.— Неужели вы раздѣляете его символъ вѣры?

— Нѣтъ, Елена Константиновна... Я только допускаю его. Но право, какъ такой человѣкъ ни похожъ на маньяка — будешь и къ нему терпимѣе, гляди, какъ вокругъ все распаталось. Нѣтъ удержу никакимъ поползновеніямъ звѣри, научившагося носить личину культуртрегера, какъ нѣмцы называютъ...

— Зачѣмъ думать только объ этомъ? — остановила его Елена.— Неужели люди, какъ мы съ вами, не заработали себѣ дорогого права хоть на одинъ мигъ улетѣть изъ той долины скорби, гдѣ кишать зло и грязь жизни? Только на одинъ мигъ! — протяжно повторила она.

Затуманенными глазами, точно сквозь дымку, видѣла она красивое мужское лицо, и пожатіе руки Боярцева усиливало ея тревогу.

Она близка была къ чему-то, чего она сама боялась.

Неужели мало еще она себя передѣлывала? Изъ пылкой, задорной спорщицы, вѣрующей въ свой научный авторитетъ, она превращается въ уступчивую, смиренную женщину, не дерзающую ни однимъ звукомъ противорѣчить ему.

И ему всего этого мало? И онъ не испытываетъ и подобія того, что, въ эту минуту, разливается по всѣмъ ея жиламъ и производитъ въ головѣ ея родъ опьяненія?

Не такъ давно надъ нею дѣлали опыты гипноза. Она оказалась не очень податливой, но все-таки не выдержала и начала впадать въ каталепсію. Она хорошо помнитъ, какое это состояніе, когда все, кромѣ одной точки, куда-то уплываетъ, и всѣмъ существомъ чувствуешь, какъ уходитъ воля, и сознание уже не въ силахъ управлять ею.

Теперь она проходитъ черезъ что-то похожее на гипнозъ. И ей не было уже стыдно за себя. Она вся тяну-

лась къ неизвѣданному блаженству. Хотя на одинъ мигъ да испытать его, всколыхнуть и мужчину — этого сдержаннаго и строгаго хранителя традицій, заразить его той же сладкой заразой.

— Елена Константиновна, — слышала она въ полубытьѣ его голосъ, — не считайте меня неспособнымъ чувствовать все благородство вашей натуры... Я глубоко тронутъ, повѣрьте мнѣ...

„Да, да, — думала Елена, замирая, — онъ хочетъ быть моимъ... только ему мѣшаетъ его сдержанность“.

— Повѣрьте, — продолжалъ онъ, и голосъ его дѣлался все нѣжнѣе, — такія вещи не забываются. Онѣ западаютъ въ душу. И я знаю — женщина, какъ *вы*, не могла бы замкнуться въ сухомъ матеріализмѣ. Прѣпастъ, какая была между нами еще не такъ давно, уже наполовину заполнена. Безъ общихъ вѣрованій одна страсть не въ силахъ позволить двумъ душамъ слиться во-едино. Пробужденіе было бы ужасно!

Елена смутно понимала, что онъ говоритъ. Она чувствовала только пожатіе его теплой и мягкой руки.

Его губы прикоснулись къ ея рукѣ. Она вся вздрогнула и инстинктивно отодвинулась отъ него.

Въ глазахъ ея все сильнѣе мутилось и въ груди стало жать... Ощущеніе, похожее на обжогъ, сѣднило ее.

Если она попуститъ себя, то выйдетъ что-то постыдное... если онъ и самъ не стремится къ тому же.

Она собрала послѣднія силы, выпрямилась и пролепетала:

— Боярцевъ! Я не умѣю разбирать... Зачѣмъ, зачѣмъ?.. Неужели и безъ словъ не видно...

Дальше она не могла говорить. Она чувствовала дрожь, и если бъ она не смолкла, то услышала бы, какъ у нея зубъ не попадаетъ на зубъ.

„Развѣ это уже не постыдно? — успѣла она спросить себя. — Почему? Какіе счеты?“

Боярцевъ еще разъ поцѣловалъ ея руку. На него нашло тихое умиленіе. Эта женщина дѣлалась ему очень близкой, но никакой особой тревоги онъ не испытывалъ.

Владѣй Елена собою хоть сколько-нибудь — она бы почувствовала, что къ *женщинѣ* его совсѣмъ не тягнетъ.

И онъ былъ слишкомъ честенъ, чтобъ подвинтить себя, позволить себѣ какой-нибудь возгласъ или жестъ, выше нотой того настроенія, въ которомъ онъ находился.

Руку она высвободила, машинально, не отдавая себѣ отчета въ своихъ движеніяхъ, потомъ откинула голову на спинку стула. Щеки ея поблѣднѣли, глаза совсѣмъ потухли.

Она какъ-то вся покачнулася въ сторону и охватила голову Боярцева; губы ея страстно и прерывисто стали цѣловать его въ волосы, выше лба; вся она дрожала и не могла ничего выговорить. А изъ глазъ текли двѣ крупныя слезы...

XXIII.

— Юрій Петровичъ сейчасъ будутъ,—доложилъ Акридиной коридорный, показавшись въ дверяхъ.

Елена, плохо причесанная, въ домашней кофточкѣ, ходила по гостиной большими шагами.

На маленькомъ письменномъ бюро лежало раскрытымъ письмо, только что полученное ею.

Два пятна выступили на ея щекахъ, и глаза, съ краснѣющими вѣками, сосредоточенно глядѣли въ одну точку.

Она сдѣлала нѣсколько концовъ и подошла къ бюро.

Ее тянуло къ письму. Она взяла его опять вздрагивающими пальцами, хотѣла прочесть—въ который разъ!—и съ сердцемъ бросила.

Рядомъ лежалъ и конвертъ безъ марки. Письмо было доставлено сегодня утромъ отъ Боярцева.

Принесли его въ одиннадцатомъ часу. Теперь двѣнадцать. Полтора часа она была одна, сама съ собою, и не выдержала.

Оставаться одной дольше — она испугалась. Женская слабость не шла ей на подмогу, слезы не являлись; истерика не хватала ее своими желѣзными когтями и не стала ее бить.

Она вспомнила о Лыжинѣ. Онъ вѣдь все-таки „свой“, хоть они съ нимъ и стали дальше другъ отъ друга. Съ нимъ она можетъ говорить понятнымъ имъ обоимъ языкомъ.

Да и что же ей скрытничать!

Была бы тутъ Ида—она бы не послала за нимъ.

Ѣхать къ ней? Она и поѣдетъ; завтра же, — можетъ, сегодня, съ курьерскимъ, но до того, она задохнется.

Лыжинъ тихо вошелъ: Елена даже не замѣтила, стоя спиной къ двери, у окна.

— А! Другъ Лыжинъ!

Возгласъ Елены и ея лицо сейчасъ же показали ему, что она прислала за нимъ неспроста.

Лыжинъ давно забылъ ея выходку и совершенно искренно желалъ ей добраго исхода въ ея чувствѣ къ Боярцеву.

— Что такое, голубушка?

Обѣ руки его протянулись къ ней.

— А то, Лыжинъ, что я не хочу милостыни, не хочу подачекъ.

Онъ ничего не понималъ. Елена — какъ всегда женщины въ сильномъ градусѣ душевнаго волненія — произносила вслухъ то, что у ней ройлось въ головѣ въ ту именно минуту.

— Присядемъ,—сказалъ онъ ей ласково и серьезно, и не выпуская ея руки, подвелъ къ дивану.

И, сама собою, всплыла въ его головѣ мысль: „Не выйти тебѣ изъ ампула наперсниковъ“.

— Не хочу!—съ дрожью въ голосѣ, почти гнѣвно, крикнула Елена.

— Объясните! —тихо и съ улыбкой выговорилъ онъ, поглядѣвъ на нее исподлобья.

— Что жъ тутъ объяснять?! Ваша пріятельница Акридина добилась своего! Ей нужно хлѣба, а ей подають камень, въ видѣ законнаго брака, цѣломудреннаго, по Домострою, вѣроятно! И подо всѣмъ этимъ какая противная дворянская *иррепрошабельность*!.. Помилуйте! Женщина увлечена нами, чуть не стояла на колѣняхъ, заслужила наше благоволеніе — именно благоволеніе, а не любовь—тѣмъ, что выходила нашу умирающую мать. Потомъ она, въ припадкѣ женской слабости, взяла и стала цѣловать насъ въ голову—больше вѣдь ничего не было!—сказала она Лыжину, потряхнувъ головой. — Мы допустили ее до этихъ порывовъ, чувствуя, однако, за нее нѣкоторое смущеніе. Вернувшись домой, мы все обдумали и написали ей письмо съ предложеніемъ руки и сердца, достойнаго чувству признательности.

Елена порывисто схватила письмо съ бюро и подала Лыжину.

— Не угодно ли? Читайте, читайте!

Лыжинъ взялъ, не очень увѣренно, письмо и, прежде чѣмъ пробѣжать его, спросилъ:

— Да нужно ли?

— Читайте, говорю вамъ, коли я желаю этого! Не можете же вы быть „plus royaliste que le roi!“



Письмо было на четырехъ страницахъ листа матовой бумаги; почеркъ крупный, барскій, очень твердый. Чувствовалось по рукѣ, что писалъ не увлеченный страстью мужчина, а хорошій человѣкъ, относящійся къ женщинѣ „съ благоволеніемъ“, какъ жѣтко выражалась Абридина.

Онъ просилъ ее быть его женой — довольно тепло, въ умныхъ и оригинальныхъ словахъ. Сквозь все проходилъ отбѣнокъ признательности за мать, признаніе ея благородной натуры и надежда на то, что они могутъ, не вынче — завтра, соединить свои души въ единствѣ высшаго пониманія жизни.

Подъ конецъ стояло и нѣсколько фразъ, гдѣ, мягко по формѣ и очень твердо по существу, Боярцевъ выгораживалъ свободу своего „я“, указывалъ на твердость своихъ „вѣрованій“ и намекалъ, что онъ не изъ тѣхъ людей, кто способенъ, подъ влияніемъ любовнаго увлеченія, — а увлеченія въ письмѣ не было никакого, — отступить отъ своего „завѣта“.

— Что? Вы поняли всю эту музыку?

Елена заходила опять по комнатамъ большими шагами, сложивъ на груди руки усиленнымъ, чисто женскимъ жестомъ.

— Но вѣдь фактъ остается фактомъ, голубушка, — началъ Лыжинъ, отложивъ письмо. — Онъ дѣлаетъ...

— Предложеніе? — крикнула Елена. — Поймите же, что я не хочу его милостыни. Я не желаю, чтобы онъ возстановлялъ мое достоинство въ моихъ собственныхъ глазахъ.

— Это натяжка!

— Нѣтъ, не натяжка! Ты изволила меня цѣловать. Я — поборникъ традицій и дворянской чести — дарю тебѣ законное право цѣловать меня, сколько хочешь! Ха-ха!

Смѣхъ вылетѣлъ изъ ея горла, сдавленный, рѣзкій.

Лыжину дѣлалось за нее жутко.

— Можно иначе посмотреть.

— Не хитрите, другъ, не лгите мнѣ въ глаза. Вы — такой чуткій и бывалый — развѣ вы не почували, чѣмъ вѣетъ отъ этого елейно-дворянскаго письма? Не можетъ быть! Но вы хотите мнѣ, какъ бывало въ дѣтствѣ, поднести ложку ревеню въ малиновомъ вареньѣ! Господи! — Она всплеснула руками, остановившись, какъ вкопанная, противъ дивана. — Господи! Налетѣла на меня страсть... Поздно... Положимъ. Не безобразно же поздно! Не ста-

рука и древняя. Мнѣ всего тридцать шесть. Вы это знаете! Объ одномъ молила судьбу—дай ты мнѣ хоть мѣсяцъ счастья, хоть недѣлю!.. Дай мнѣ знать, что такое, когда человекъ отдается тебѣ, когда ты закинула въ него искру—и вы оба забудете все и готовы умереть тутъ же, если это нужно. Одинъ только мигъ! Одинъ!

Елена подѣла къ нему и упала головой на его плечо. Рыданія душили ее и не могли прорваться.

— Не хочу я такого брака! Не желаю я подачки! Довольно и того, что я, какъ нѣмая раба, мѣла передъ нимъ, дѣлалась ренегаткой, выслушивала всѣ его рацеи на лампадномъ маслѣ. Зачѣмъ мнѣ такой бракъ? Что въ немъ будетъ безъ любви, настоящей, не моей одной, а насъ обоихъ,—что? Вѣчный раздоръ или постыдная измѣна всему, чѣмъ я до того жила, во что вѣрила, на что молилась!

— Послушайте! — остановилъ ее Лыжинъ и обнялъ, а свободной рукой сталъ гладить по ея рукѣ.—Вѣдь онъ не бѣжить отъ васъ. Любите! Въ бракъ или внѣ брака — развѣ это не все равно?

— Онъ допускаетъ до себя!.. Ха-ха! Ты и тѣмъ должна быть довольна. Ну, хорошо!.. Но онъ не допускаетъ свободной связи. Для него, прежде всего, обрядъ, традиція! А я этого не хочу, слышите ли вы, не хочу! Не хочу! — повторила она нѣсколько разъ и разрыдалась.

Голова ея вздрагивала отъ рыданій, лежа на плечѣ Лыжина.

— Смириться надо! — тихо выговорилъ Лыжинъ.—Голубушка! Нисская гордыня въ васъ!

— Не хочу! — повторила она съ усиленіемъ и опять, захлебнувшись въ рыданіяхъ, упала головой на подушку въ углу дивана и всхлипывала жалобно и глухо.

XXIV.

Студентъ Шинилинъ ходко подвигался по дорожкѣ аллен, ведущей къ университетскимъ клиникамъ, на Дѣвичьемъ-Полѣ. Онъ шелъ въ своемъ подержанномъ драповомъ пальто, безъ мѣхового воротника, и рыжеватой фуражкѣ, откинутой, какъ всегда, на затылокъ.

День стоялъ мягкій, немного хмурый.

Давно не бывалъ онъ на Дѣвичьемъ-Полѣ. Съ тѣхъ поръ вывели еще цѣлый корпусъ клиникъ по правую руку.

Шелъ онъ и смотрѣлъ вдаль, на цѣлый городокъ, точно въ сказкѣ выросшій въ одинъ день, на полѣ, еще недавно запущенномъ и изрытомъ выбоинами и низкими оврагами.

Желто-красный цвѣтъ кирпича преобладалъ въ зданіяхъ. Зеленая крыша и бѣлая штукатурка виднѣлись справа.

Помнить онъ то время, когда еще новичкомъ попалъ на открытіе первой по времени клиники — слѣва, стоявшей еще безъ штукатурки. Пріѣзжали „особы“ изъ Петербурга, было торжественное собраніе въ аудиторіи, много профессоровъ и практическихъ врачей, по поводу съѣзда, случившагося, какъ разъ къ тому времени, около новаго года.

Устроительницу величали и съ кафедръ, и за завтракомъ. Безконечные столы протянулись вдоль коридоровъ.

У него тогда чуть не вышло исторіи съ однимъ изъ „фертиковъ“, исполнившихъ добровольно обязанности пѣвчихъ въ мундирчикахъ съ иголки. Это его возмутило. За завтракомъ у него немного зашумѣло въ головѣ, но въ мѣру. И сидѣлъ онъ около дверей той комнаты, гдѣ угощались пѣвчіе. Одинъ изъ нихъ — самый противный для него „мундирчикъ“ — все выбѣгалъ, точно изъ засады, и прислушивался, къ какой „особѣ“ обращаются со здравицей, исчезалъ стремительно и тотчасъ же хоръ подхватывалъ „многая лѣта“.

На этотъ счетъ онъ и сталъ прохаживаться. За „фертиковъ“ кто-то заступился и вышла порядочная перестрѣлка. Поддерживали его не студенты, а пожилые господа — одинъ писатель и двое, пріѣхавшихъ изъ провинціи, психіатровъ.

Немудрено было предвидѣть, что онъ угодитъ въ Бутырки, что и случилось.

Съ тѣхъ поръ много пережилъ онъ и въ студенческой своей судьбѣ, и въ идеяхъ, и въ чувствахъ. Онъ уже не совсѣмъ тотъ же Николай Шипилинъ. Прѣжней „прямолинейности“ въ себѣ онъ уже не чувствуетъ и не стыдится этого. Конечно, онъ не доходитъ до такихъ „крайнихъ граней“, какъ его пріятель Кострицынъ, но сильно склоняется къ его „теоріи личности“, не долюбливаетъ пріѣвшихъ ему общихъ мѣстъ, которыми, до сихъ поръ, пробавляются тѣ изъ его сверстниковъ, кто считаетъ себя „чистыми“ хранителями традицій шестидесятихъ годовъ.

Онъ не отступникъ. Нѣтъ! А только хочетъ думать и поступать на свой страхъ, ничего не бояться и смотрѣть на науку, на искусство, на жизнь, на народъ трезво, смѣло, не припиливая непременно извѣстнаго ярлыка.

Съ такой внутренней свободой ему теперь гораздо вольнѣ дышится. Нѣтъ уже передъ глазами какой-то дымки, сквозь которую смотреть на все тѣ, кто себя „чистыми“ величаютъ. Это — фарисейство, сознательное или нѣтъ — все равно.

А когда нужно стать на сторону честнаго дѣла — онъ все тотъ же Шипилинъ. Какъ его радостно подмигало, когда „прятали“ Олимпиаду Дмитріевну! Всѣ тѣ дни у него на душѣ было „ликованіе“, точно онъ самъ все это продѣлалъ. Радъ онъ и за Кострицына. Видимое дѣло, тутъ кончится любовью. Иванъ Кузьмичъ и теперь уже „включуль“. Его узнать нельзя. Вотъ что страсть выкидываетъ! Горами двигаетъ. Кто бы могъ подумать, что такой „Сократъ“ — и вдругъ отправится къ генералу Кшишкетову и добьется своего — произведетъ „психическое давленіе“!

— Молодецъ! — громко выговорилъ Шипилинъ, ускоря шагъ.

Въ такомъ поведеніи, въ сущности, нѣтъ никакого противорѣчія его философіи. Что онъ проповѣдуетъ? Развитіе личности. Онъ полюбилъ женщину, ея натуру, талантъ — и сталъ на ея сторону, какъ онъ постоялъ бы и за себя, и совершенно такъ же, всѣми доступными ему средствами, сталъ бы бороться съ врагами.

Положимъ, и Воденягинъ способенъ на то же. Онъ и тревогу-то забилъ, тогда, на вечеринкѣ въ „Ясляхъ“. Однако, разговорись съ нимъ „по душамъ“, и сейчасъ же всплыветъ наверхъ все то, что такъ побѣдоносно громить Иванъ Кузьмичъ, что, въ концѣ концовъ, ведетъ къ рабству личности передъ навязанными запретами и повелѣніями, — къ „слюняйству“.

Съ этого пункта его, Шипилина, теперь никто не сдвинетъ.

Никто! Даже и другъ его Владимір Мечъ. Они имѣли, на-дняхъ, долгія ночныя бесѣды на эту тему. И тотъ его не переубѣдилъ.

Натура глубокая — Володя; но голова — квадратная, неподатливая. Слишкомъ въ немъ „нутро“ заѣдаетъ смѣлость отношенія къ жизни и накладываетъ на все печать

„душевнаго ковырянья“. Жизни онъ боится, женщинъ не знаетъ, на оперетку до сихъ поръ смотритъ какъ на что-то позорное и никогда не смѣется. Такимъ и останется.

Къ нему, въ клинику, и шель Шипилинъ. Не близкое мѣсто „пропонтировать“ туда; да онъ хорошій ходокъ и терпѣть не можетъ ждать конку и сидѣть въ каретѣ, гдѣ всякія салопницы торчатъ какъ „кикиморы“.

Володя просилъ его зайти за нимъ, по окончаніи визитаціи въ общихъ клиникахъ. Почему-то ему приспичило. Вышла у нихъ заминка въ отчетности, по суммѣ, израсходованной на пособія. Два „землячества“ вели свое дѣло сообща. Ни къ одному изъ нихъ Шипилинъ не принадлежалъ. Мечъ считался въ одномъ изъ нихъ и былъ довѣреннымъ лицомъ. Онъ—изъ юго-западныхъ губерній. Отецъ его—южно-руссъ; мать—родомъ поляка.

Въ подъѣздѣ одного изъ клиническихъ зданій Шипилинъ молодцовато взбѣжалъ и отдалъ унтеру палто въ обширныхъ сѣняхъ.

Лекціи отходили. Въ палатахъ еще работали студенты послѣднихъ годовъ. И въ сѣняхъ, и по коридорамъ не смолкалъ звукъ шаговъ, кучками и по-одиночкѣ двигались видмундиры съ голубыми воротниками, пробѣгали сидѣлки.

И по главной лѣстницѣ движеніе не прекращалось.

Шипилинъ зналъ, гдѣ ему подождать товарища.

Минутъ черезъ пять, не больше, Мечъ спустился сверху, сейчасъ же взялъ его подъ-руку и отвелъ въ сторонку, гдѣ они сѣли на подоконникъ.

Разговоръ ихъ пошелъ вполголоса.

Сюртуки были у нихъ разстегнуты. Мечъ держалъ себя очень опрятно и носилъ высокій жилетъ съ металлическими пуговицами.

Лицо у него, какъ всегда, было серьезно. Ничего особеннаго Шипилинъ въ его выраженіи не замѣтилъ.

— Въ чемъ же дѣло? — спросилъ онъ ласково и съ усмѣшкой взглянуть на товарища.

— Ты извини, Николай, — заговорилъ Мечъ, оглядываясь по сторонамъ. — Я тебя сюда вызвалъ.

— Не суть важно!

— Дежурный и сегодня. И домой скоро не попаду. У насъ третьягодня вышло безобразное галдѣнье... И такъ не могу. Уйду отъ нихъ!

— Изъ-за чего же сырѣ-боръ загорѣлся?

— Кажется, никто, — голосъ его дрогнулъ, — никто, — повторилъ онъ съ силой, — не смѣетъ меня заподозрить въ чемъ-нибудь... неблаговидномъ... хотя бы въ пустякахъ!

Онъ выговаривалъ слова съ усиленіемъ и очень отчетливо.

— Кто же въ этомъ сомнѣвается?

Тонъ Шипилина продолжалъ быть легкимъ и полусмѣливымъ.

— И вдругъ, изъ-за одного пособія нашлись двое господъ, которые стали дѣлать намеки на то, что я покривилъ душою. Подделка этихъ намековъ была самая нѣшняя.

— Въ какомъ вкусѣ?

— Въ патристическомъ. Ты не знаешь того студента. Его фамилія Козелло. Держится онъ съ однимъ изъ землячествъ потому, что онъ, по матери, хохоль. Отецъ былъ литовецъ. Имя—настоящее литовское. Но онъ—православный. И какъ бы ты думалъ? Тѣ двое господъ стали инсинуировать, что я помирволилъ „своему человѣчку“.

Черта горечи залегла на лицѣ около рта.

— Почему же это?—точно не хотѣлъ понять Шипилинъ.

— Видишь ли, я—ляхъ!.. Они пронюхали, что мать моя была католичка.

— И только-то?

Шипилинъ всталъ и поправилъ фуражку.

— Это гнусно! — глухо и страстно выговорилъ Мечъ.

— Плюнь, Володя! Какъ тебѣ не стыдно! Уйди, если тебѣ это надоѣло.

— Я и уйду! Ты соглашаешься, что оставаться въ доверенныхъ лицахъ нельзя.

— Плюнь — говорю тебѣ!.. Было бы это въ прежнія времена—мы бы этихъ молодчиковъ проучили. А теперь самое лучшее—оставить втуне.

Мечъ сидѣлъ, опустивъ голову, и лицо его не прояснялось.

XXV.

Совсѣмъ тихо въ клиникѣ. Кое-гдѣ горятъ лампы. По половику коридора прозвучали глухіе и скорые шаги сидѣлки.

Студентъ Мечъ только что сдѣлалъ перевязку ноги больному въ одной изъ хирургическихъ палатъ.

Больной былъ не опасный и скоро выпишется. Мечъ

занимался имъ все-таки очень старательно, какъ и всѣмъ, что онъ дѣлалъ.

Разговоръ съ Шипилинымъ оставилъ въ немъ горькій слѣдъ.

„Эхъ, Николай!—про себя повторялъ онъ, ходя по коридору замедленнымъ шагомъ, съ опущенной головой.— Эхъ, Николай! Для тебя все—пустяки! Очень ужъ ты форсистъ и въ себѣ увѣренъ! Хорошо тебѣ говорить: „плюнь!“

Онъ не могъ „плюнуть“ на то, что его мозжитъ уже который день.

Случай съ нимъ — не единственный. Такое время, и чѣмъ дальше, тѣмъ хуже!

Сколько онъ знаетъ фактовъ. Сотни! Они показываютъ кто нынче поднимаетъ голову; чѣмъ его ровесники и тѣ, что моложе, проникаются. Сухость, ловкачество, безпринципіе, а то такъ и просто ухарство, пошлость, и того хуже.

Развѣ онъ самъ не „влопывался“ въ грязныя исторіи, тоже изъ-за пособій, когда ручался за такихъ господъ, которые оказывались „червонными валетами“?

Одна такая исторія во всѣхъ подробностяхъ проходила передъ нимъ. Добрый малый, „душа-человѣкъ“ и на хорошемъ счету у профессоровъ, умѣлъ разжалобить хоть кого своимъ собственнымъ положеніемъ. И ему вѣрили, выхлопывали ему пособія, поручались за него... Чѣмъ же кончилось? Пошли по городу подложныя карточки и цѣлыя письма отъ извѣстныхъ лицъ къ богатымъ купцамъ... Поймался, наконецъ. Началось дѣло. Судебнаго слѣдователя онъ тоже разжалобилъ—тотъ указалъ ему на одного земляка, чтобы тотъ взялъ его на поруки. Выпустили его, и онъ на другой же день получилъ по фальшивому чеку двѣ тысячи рублей въ одной изъ конторъ Кузнецкаго-Моста, а черезъ четыре дня въ банкѣ чуть-было не получилъ по чеку въ восемь тысячъ. Тогда его засадили и будутъ судить.

Скажутъ: „всегда бывали мошенники, во всѣ эпохи“. Да! Но прежде такъ низко падали кутилы, безпутные барчуки. А вѣдь этотъ—изъ простаго званія, былъ на отличномъ счету, рефераты писалъ; всѣ считали его „симпатичнымъ“ малымъ, тихопькій, старательный по ученью, мягкій и уступчивый съ товарищами.

Замотался, говорили, женщина его запутала; такъ по-

кончи съ собою, какъ только тебя поймали съ поличнымъ. Нынѣшніе лгутъ, какъ закоренѣлые преступники, фальшиво каются, въ грудь себя бьютъ, сочиняютъ цѣлыя жалостныя исторіи. И какъ только выпустятъ ихъ на поруки—сейчасъ же фабриковать фальшивые чеки на тысячи рублей.

Онъ—„до гадости“ честный Владиміръ Мечъ—и вдругъ долженъ выносить намеки на то, что покривилъ душой въ пользу товарища „не чисто-русскаго происхожденія“. И онъ увѣренъ, что его и такіе господа, и даже другіе, болѣе порядочные, считаютъ „полячкомъ“.

Вѣдь это нынче чуть не бранное слово, немногимъ лучше „жидка“. Хорошо Шипилину говорить: „наплюй“. Ему никто не броситъ въ лицо обвиненія въ томъ, что онъ „не-русскій“... Ему—коренному москвичу по фамилии, по расті, по родителямъ.

И неужели онъ долженъ умышленно скрывать то, что его мать была полька! Если не захочетъ наживать себѣ въ послѣдствіи по службѣ разныхъ гадостей—благоразумнѣе будетъ скрывать.

„Какая гнусность!“—вскричалъ онъ про себя, и чувство почти физической тошноты засосало ему въ груди.

Да онъ и теперь, и давно уже, съ гимназіи, если не скрываетъ, то уклоняется отъ разговоровъ о своихъ родителяхъ, боясь, какъ бы какой-нибудь нахаль не выпалилъ ему:—„Такъ вы, значить, батенька, полуполячокъ?“

Если бъ не мать, онъ не зналъ бы ни одного звука на ея родномъ языкѣ. Она его учила, бывало, подъ вечеръ, послѣ того, какъ онъ приготовить всѣ уроки.

По отцу онъ южно-руссъ, но не „хохоль“, никакой въ себѣ не сознаетъ вражды и на великоруссовъ смотритъ такими же глазами,—даже больше съ ними ладить, чѣмъ съ хохлами.

И онъ долженъ подавлять въ себѣ то, что ему стало дорого черезъ мать. Уйти къ людямъ ея расы онъ тоже не можетъ. У него нѣтъ ихъ чувства къ родинѣ, ихъ преданій, завѣтовъ, надеждъ и горечи. Онъ и говорить-то научился плоховато, а въ университетѣ и совсѣмъ отсталъ отъ языка.

Не желая играть двойственную роль, онъ не сходится съ поляками, но не хочетъ также выдавать себя и за коренного русскаго. Когда онъ только что поступилъ въ студенты, еще не было такого „духа“, какъ теперь во

всемъ, что—расовая борьба. Это—какое-то повѣтріе. Глядишь, тотъ, кто пять лѣтъ назадъ даже похвалялся своими общегуманными чувствами, теперь пяти словъ не скажетъ, не выбранившись въ патриотическомъ вкусѣ.

Нѣсколько разъ возвращался Мечъ къ той минутѣ, когда ему на сходѣ сдѣлали оскорбительный намекъ. Можетъ-быть, случись это три-четыре года назадъ, онъ бы сумѣлъ осадить такихъ господъ и въ концѣ концовъ „плюнулъ бы“, какъ совѣтуетъ Шипилинъ. Теперь онъ рѣшительно не можетъ отдѣлаться отъ острой боли, которую ощущаетъ второй день вездѣ—въ палатахъ, въ аудиториі, на улицѣ, дома.

Будь жива его мать, узнай отъ него про это—она бы вся затряслась и навѣрно сказала бы ему:—„Ты долженъ былъ имъ отвѣтить: да, во мнѣ шляхетная кровь, и я ея не стыжусь!“

Но развѣ можно теперь пускать такіе возгласы? Тебя или на-смѣхъ поднимутъ, или наговорятъ пошлостей, изъза которыхъ надо всѣхъ вызывать на дуэль.

Дуэль?—какъ бы не такъ! Это не въ нынѣшнемъ духѣ. Обколотить кого-нибудь, вътеромъ одного, пожалуй!

Образъ матери усилилъ его душевное разстройство.

Ему стали приходиться на память давно имъ забытые звуки вдохновенной рѣчи... Вступленіе къ „Пану Тадеушу“. Онъ беззвучно началъ выговаривать воззваніе къ родитѣ. Яркія картины стародавней жизни метались передъ нимъ. Вѣковая литовская „пуща“, великолѣпный взмахъ творчества: сцена звѣрей въ глубинахъ дремучихъ дѣбрей... „Войскій“ съ его рогомъ, судья, Зося, старый ключникъ, ряса капуцина, подъ которой скрывался грѣшникъ Соплица,—зароились въ его головѣ.

И страстные ноты изъ знаменитаго стихотворенія подкрались къ нему:

„Danaidy! rzucalem w bezdeń...“

съ заключительными словами:

„I we łzach roztopiona dusze!“

И еще, и еще, столько сладкихъ звуковъ, отъ которыхъ дрожить въ груди и подступаютъ слезы.

Только что онъ сталъ припоминать маленькую элегію, всего въ какихъ-нибудь пять-шесть строкъ, и съ первыхъ звуковъ

„Polały się...“

двѣ крупныхъ слезы потекли по его щекамъ.

Онъ вынулъ платокъ и прошелся имъ по лицу. Ему не стало легче. Точно будто все, что въ его душѣ лежало подъ спудомъ, разомъ всплыло наверхъ. И такъ постыла дѣлалась ему вся его жизнь, ученье, будущая служба, недавніе годы наивныхъ идей и чувствъ, изъ-за чего онъ сидѣлъ въ Бутыркахъ и былъ удаленъ, вмѣстѣ съ Шипилинымъ, мытарства во время этого долгаго перерыва, постылыя хлопоты о вторичномъ принятіи въ студенты.

Все это представлялось ему такимъ печальнымъ вздоромъ. Вотъ на что слѣдовало бы „наплевать“, какъ предлагалъ Шипилинъ.

Сегодня онъ просилъ у ассистента хлороформу—съ нимъ вдругъ случилась схватка зубной боли. Тотъ хотѣлъ принести и забылъ.

Зубы успокоились—такъ же вдругъ, какъ это часто бываетъ; но про хлороформъ онъ почему-то вспомнилъ и спросилъ у прохаживавшагося по коридору служителя, дома ли ассистентъ.

— Они прошли къ себѣ.

„Попрошу,—подумалъ онъ,—на всякій случай. Ночью можетъ опять занять“.

И какъ будто у него отошло на душѣ отъ того, что онъ сейчасъ добудетъ у ассистента склянку со снадобьемъ, отъ котораго вся сознательная жизнь человека, послѣ нѣсколькихъ вдыханій, замираетъ и можетъ, безъ страданій, перейти въ небытіе, гдѣ нѣтъ ни страха, ни обиды, ни душевной боли, ни безвозвратныхъ потерь.

Поспѣшно повернулъ онъ къ комнатѣ ассистента.

XXVI.

Въ дверь къ Шипилину—онъ спалъ запершись—сильно стучались.

— Сейчасъ!—торопливо крикнулъ онъ, вскочилъ и подбѣжалъ, въ туфляхъ, къ двери.

— Что нужно?

— Къ вамъ, Николай Павловичъ,—отвѣтила его квартирная стѣмщица.—Нужно... Товарищъ...

Остальное онъ не разобралъ, накинулъ на себя пальто и отперъ дверь.

Въ передней, рядомъ съ хозяйкой, стоялъ его товарищъ Дезидеріевъ, на этотъ разъ въ поношенномъ студенческомъ пальто и съ вязанымъ шарфомъ на шеѣ.

— Что такое?—тревожно спросил Шипилинъ.

Дезидеріевъ, прямо въ калошахъ, полныхъ снѣгомъ, вошелъ къ нему.

— Бѣда, братъ, Шипилинъ! Бѣда!

— Да говори толкомъ!

— Мечъ... приказалъ долго жить, — съ усиленіемъ выговорилъ Дезидеріевъ.

Онъ всю дорогу обдумывалъ, какъ бы ему приготовить Шипилина къ этой вѣсти; хотѣлъ сначала сказать: опасно заболѣлъ, и дорогою открыть ужасную правду. Но онъ не совладалъ съ такимъ тонкимъ подходомъ и бухнулъ.

Съ Шипилина пальто слетѣло. Онъ кинулся къ Дезидеріеву и схватилъ его за обѣ руки.

— Ты съ ума сошелъ! Нынче, братъ, не первое апрѣля. Да и шутка тупая.

Лицо у Дезидеріева все потемнѣло. Волосы торчали въ разныя стороны.

— Правда?

— Правда!—чуть слышно промолвилъ Дезидеріевъ, отвернулся и, сядя у стола, отъ волненія забарабанилъ двумя широкими пальцами.

Шипилинъ вдругъ заплакалъ и, схватившись за голову, легъ на кровать. Плакалъ онъ долго, всхлипывая, молодо и глухо, потомъ всталъ и, все еще въ одномъ бѣльѣ, подселъ къ столу.

— Говори,—слезы еще мѣшали ему говорить,—говори скорѣе... Неужели онъ самъ съ собою покончилъ?

— Самъ.

— Да вѣдь я его вчера еще въ клиникѣ видѣлъ... Онъ просилъ придти.

Шипилинъ захохоталъ по комнатѣ.

— Вотъ оно—времечко! Какихъ-то два пошляка стали инсинуировать, что онъ, видите ли, полякъ и покривилъ душой насчетъ выдачи пособія.

— Вотъ оно что! — точно про себя вымолвилъ Дезидеріевъ.

— И что же?—боязливо спросил Шипилинъ.

— А ты одѣвайся. Пойдемъ... Я расскажу.

— Хорошо, — кротко сказалъ Шипилинъ, и началъ одѣваться.

— Вчера вернулся онъ поздно. Я, знаешь, проснулся и говорю про себя: „это Мечъ пришелъ, должно-быть,

спорить. Такъ будутъ говорить и умники—смѣлѣе, чѣмъ простецы. Но ты этому не вѣрь. Ближайшій поводъ ничего, самъ по себѣ, не значить, другъ! Можно было „наплевать“, какъ ты мнѣ вчера совѣтовалъ; а я не могъ. Изъ-за этой пустяковины, на твой аршинъ, выглянулъ на меня цѣлый безконечный рядъ пошлости, измѣнъ, нахальства, попиранія всего, что не освящено расовой враждой и торжествующимъ бездушіемъ.

„Прощай, Коля, и вспоминай не обо мнѣ, не о моихъ добродѣтеляхъ, а о моей смерти—больше ни о чемъ. Берегись, говорю я тебѣ въ послѣдній разъ, бойся самого себя, бойся будущихъ легкихъ успѣховъ, ты вѣдь склоненъ къ тому, чтобы добиваться ихъ. Жизни въ тебѣ много, и это—великій даръ; но жизнь сама по себѣ ничего не стоитъ. Этотъ выводъ меня пронялъ только сегодня, и я уношу съ собою свое „я“, о которомъ твой пріятель Иванъ Кузьмичъ такъ хлопочетъ. И ему передай мой привѣтъ и желаніе, упорно защищая личность, не загубить ее. Обнимаю тебя!.. Не поминай лихомъ“.

XXVII

До Москвы оставалось двѣ станціи.

Лыжинъ взялъ ближайшій поѣздъ, плохой, но онъ могъ его доставить къ ночи въ Москву. Въ отдѣленіи онъ сидѣлъ вдвоемъ, потомъ совершенно одинъ до самой Москвы.

Онъ уже телеграфировалъ Кумачеву, прося его подождать его дома, даже и поздно—поѣздъ долженъ былъ придти около одиннадцати часовъ.

Въ немъ такъ сильно было возбужденіе, что онъ, скинувъ съ себя шубу, шагаль между диванами, держась за ихъ спинки. И отъ шапки ему дѣлалось жарко.

Стряслось нѣчто, изъ-за чего онъ станетъ лицомъ къ лицу съ своимъ принципіаломъ и увидить, можно ли ему оставаться на его службѣ, или нѣтъ.

Захаръ Лукьяновичъ, четыре дня назадъ, попросилъ его къ себѣ, рано утромъ, и „конфиденціально“ сообщилъ ему, что на его второй, ткацкой, мануфактурѣ что-то не совсѣмъ ладно. Рабочіе начинаютъ волноваться противъ главнаго техника-директора, англичанина родомъ.

Съ нимъ Лыжинъ познакомился, но не входилъ въ его дѣло, не осматривалъ самыхъ мастерскихъ, не желая вы-

зывать въ томъ подозрѣніи, точно онъ все подглядываетъ, чтобы потомъ доносить Кумачеву, да онъ и не смыслить ничего въ самомъ производствѣ. Его дѣло было: наблюдать за общимъ хозяйствомъ обѣихъ мануфактуръ и земельныхъ угодій. На обѣихъ состояло по особому управляющему, которые завѣдывали рабочими, учетомъ жалованья, заборомъ въ лавкахъ, содержаніемъ всѣхъ заведеній, состоявшихъ при мануфактурахъ, скотнымъ дворомъ, конюшнями, экипажами, огромнымъ штатомъ всякой прислуги.

На ткацкой фабрикѣ управляющій показался Лыжину жестокатымъ насчетъ рабочихъ уже въ первый его объѣздъ. Но ихъ казармы, лавки, пекарни, больницы—все было въ исправности. Вопросы штрафовъ онъ не касался, и о немъ не было у нихъ и рѣчи. Зналъ онъ и отъ управляющаго, что „Архипъ Архипычъ“ — такъ передѣляли рабочіе по-русски имя и отчество англичанина, котораго звали *Арчибальдъ Ли*—„строгонекъ“ и „шутки съ нимъ плохія“.

Штрафы и переполнили чашу. Англичанинъ, съ годами богатѣя, — онъ имѣлъ, кромѣ большого жалованья, процентъ чистаго дохода, — становился все суровѣе. Ввелъ онъ, недавно, нѣсколько новыхъ видовъ производства и сталъ сильно выколачивать штрафы. По нѣкоторымъ книжкамъ приходилось до шестидесяти процентовъ заработной платы.

Тутъ-то и началось броженіе.

На фабрикѣ Лыжинъ, по просьбѣ Кумачева, долженъ былъ сначала „кедейно“ перетолковать съ управляющимъ и добыть отъ него самыя подробныя свѣдѣнія, дѣйствительно ли англичанинъ „перепустилъ мѣру“. Захаръ Лукьяновичъ не считалъ этой исторіи очень важной и думалъ, что управляющій слишкомъ „труса празднуетъ“. Тотъ, въ послѣднемъ своемъ донесеніи, писалъ, что „не отвѣчаетъ ни за что, если не будутъ затребованы команды“.

— Иначе,—сказалъ ему успокоительно Кумачевъ,—я бы васъ не обезпокоилъ, Юрій Петровичъ, а отправился бы собственной персоной.

Вообще Лыжинъ замѣтилъ, что Кумачевъ, съ самой дуэли, дѣлами занимается спустя рукава, и всѣ почти вечера просиживаетъ за сильной игрой, и у себя, и въ клубѣ.

Двое сутокъ, проведенныхъ Лыжинымъ на фабрикѣ, убѣдили его, что если Кумачевъ не разрѣшить скидки штрафовъ, а еще лучше—не удалить директора, то выйдетъ что-нибудь очень печальное. Онъ увидѣлъ, что въ управляющемъ, когда разговоръ дошелъ до сути, сидитъ самый настоящій „жохъ“, который только по наружности „мягко стелетъ“. Онъ не отрицалъ, что директоръ стро-говецъ, но высказался такъ:

— Безъ штрафовъ нельзя стоять мануфактурному дѣлу! Захаръ Лукьяновичъ это прекрасно *сами* знаютъ. Штрафы всѣ за дѣло, хотя и „сильненьки“. Ежели въ новыхъ видахъ производства на нихъ не поналечь, будетъ чистѣйшій убытокъ.

И онъ началъ ему это высчитывать и на счетахъ, и по книгамъ.

Спорить съ нимъ Лыжинъ не сталъ. Разспрашивать у рабочихъ Кумачевъ не разрѣшилъ ему. Они прислали къ нему вожакѣвъ изъ самыхъ толковыхъ и получающихъ большую задѣльную плату. Сначала онъ не хотѣлъ ихъ принять. Но это ему показалось слишкомъ уклончивымъ, и онъ толковалъ съ ними нѣсколько часовъ.

Одинъ изъ нихъ, молодой малый, грамотный, складно говорящій, изъ тѣхъ, что стоять при набивныхъ машин-нахъ, сказалъ ему на прощанье:

— Извольте передать Захару Лукьяновичу, мы не за себя однихъ хлопочемъ, а за *темную массу*, — онъ такъ и выразился, — тѣмъ просто хотъ въ гробъ ложись съ такими анаѣемскими штрафами. Директоръ совсѣмъ осата-нѣлъ. Онъ собирается уходить, у него капиталъ въ триста тысячъ, коли не больше... Такъ ему, на послѣдяхъ, все едино. Теперь еще, коли хозяинъ скинетъ хотъ половину штрафовъ, народъ присмирѣетъ. А нѣтъ—мы ни за что не ручаемся; объ этомъ и управляющій достаточно увѣ-домлень.

И такъ это было сказано вѣско, что онъ почувалъ, вчуѣъ, что дѣло рѣзкое. Свое впечатлѣнiе передалъ онъ упра-вляющему, тотъ ему, все съ усмѣшкой, сказалъ:

— Это вѣрно! Надо вызывать команду, и сейчасъ же, до всякаго явнаго оказательства. Коли прогуманствовать хотъ недѣлю—будетъ погромъ на большую сумму. Можетъ, и краснаго пѣтуха пустать.

Англичанинъ и ухомъ не повелъ, даже не пришелъ

поддороваться съ Лыжинымъ. А онъ не считъ нужнымъ убѣждать его.

— Директоръ тутъ ни при чемъ, — сказалъ ему управляющій. — Онъ только указываетъ, а утверждаемъ штрафы мы.

Черезъ полчаса предстоялъ ему „докладъ“ у Кумачева, и онъ надѣлся, что Захаръ Лукьяновичъ, съ своимъ недюжиннымъ умомъ, сообразить опасность и не будетъ ставить все на карту изъ-за упорства англичанина, который и безъ того самъ собирается уходить, къ ближайшему сроку контракта.

Двое сутокъ на фабрикѣ разстроили его гораздо сильнѣе, чѣмъ онъ ожидалъ. Онъ тутъ еще разъ, на крутомъ примѣрѣ, увидалъ, какъ дѣйствуютъ „молотъ“ и „наковальня“, по образному выраженію князя Иларіона, которое ему припомнилось. Капиталь—безпощадень. Это такая же стихійная сила, какъ и броженіе массы. Хоть „въ гробъ ложись“, а штрафъ у тебя вытянуть, и ты вмѣсто пяти рублей получишь только три.

Его личное положеніе какъ бы въ сторонѣ; а все-таки ему стало жутко, и чѣмъ больше онъ перебиралъ въ головѣ подробности такого неизбежнаго столкновенія, тѣмъ роль его въ „домѣ Кумачевыхъ“ выставлялась передъ нимъ въ болѣе двойственномъ свѣтѣ. Что это за служба? Что-то въ родѣ „синекуры“, бесполезной и лживой, мѣсто какого-то „офиціалиста“, какъ говорятъ поляки, при миллионщикѣ—купцѣ, желающемъ держать при себѣ столбовыхъ дворянъ въ качествѣ приспѣшниковъ.

Въ такихъ мысляхъ ѣхалъ онъ къ Кумачеву по опустѣвшимъ улицамъ и переулкамъ Москвы. За нимъ въ слани сани. Это его тоже покорибило.

„Офиціалистъ!“ — повторилъ онъ, и ему вспомнилось умное, худое лицо молодого мастера, главнаго вожака депутаціи, которую онъ принималъ. Его клонить на ихъ сторону, и вовсе не изъ страха за мощну „его степенства“.

Кумачева засталъ онъ въ кабинетѣ, за картами, съ игрокомъ Спѣшановымъ, однимъ изъ его секундантовъ. Они играли въ палки. На столикѣ стояла ваза съ бутылкой шампанскаго.

Захаръ Лукьяновичъ съ краской, проступившей въ его смуглыхъ щекахъ, принявъ его пріятельскимъ возгласомъ и сейчасъ же предложилъ „стаганчикъ холодненьбаго“, отъ котораго Лыжинъ отказался.

— Ну, что? — спросил онъ его, дѣлая перерывъ въ игрѣ. — Не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ?

Тонъ его показался Лыжину безцеремоннымъ.

— Какъ сказать! Я попросилъ бы васъ выслушать меня сейчасъ же. Дѣло рѣзкое.

И онъ взглянулъ бокомъ на Спѣшанова.

— Тутъ никакихъ секретовъ нѣтъ, — громко выговорилъ Кумачевъ. — Голубчикъ, — обратился онъ къ игроку, — извини. На четверть часика мы повременимъ. Полежи на диванѣ, родименькій.

— Ладно, — отвѣтилъ Спѣшановъ и потянулся.

Кумачевъ отвелъ Лыжина къ письменному столу.

— Ваша депеша очень ужъ была нервная, любезнѣйшій Юрій Петровичъ.

— Вы — хозяинъ, — заговорилъ Лыжинъ, — вамъ и книги въ руки. Но мое мнѣнiе таково: скинуть пятьдесятъ процентовъ, а еще лучше удалить директора или управляющаго, а то и обоихъ разомъ.

— Вы это серьезно? — сказалъ Кумачевъ и злобно усмѣхнулся.

Отъ него сильно пахнуло виномъ на Лыжина

— Безусловно!

— Ну, нѣтъ-съ! — точно выпалилъ онъ, грузно поднялся съ кресла и заходилъ по кабинету. — Слышалъ, Спѣшановъ?

— Слышалъ, — тягуче откликнулся игрокъ, зѣвнуль и еще разъ потянулся. — Анархистовъ разводить!

— Именно. Смѣху подобно! — продолжалъ Кумачевъ, выпрямляя свою широкую грудь. — Поблажать мерзавцамъ, которымъ у меня живетъ какъ у Христа за пазухой! И больницы, и школы, и разныя затѣи маменьки моей, и папушникъ имъ отпускаютъ себѣ въ убытокъ! Если бы даже штрафы и были строги, — онъ ближе подошелъ къ Лыжину, — то и тогда ни единой полушки не слѣдуетъ скидывать. Dura lex, sed lex! Штрафы законные, и ихъ мы имѣемъ право взимать. Иначе — анархія! Чистѣйшая анархія!

— А погромъ будетъ?.. — тихо и твердо спросилъ Лыжинъ.

— И очутятся на Владиміркѣ. Я скорѣе, любезнѣйшій Юрій Петровичъ, лишусь половины состоянiя, чѣмъ уступлю мое право. Онъ самъ будетъ у меня даромъ работать? Дастъ онъ мнѣ даромъ хоть одну полушку? Вы изволили

предложить: прогони директора! И плати ему неустойку въ тридцать тысячъ? Изъ-за пропойцъ, которые только и порываютъ, какъ бы имъ произвести буйство!

И, точно спохватившись, онъ отошелъ отъ стола и сказалъ, поднявъ голову:

— Извините-съ! Весьма вамъ благодаренъ за ваше одолженіе, за поѣздку. Но по доброй волѣ налагать на себя руки,—слуга покорный! Я не Людовикъ Шестнадцатый... Гуманность-то до чего его довела?

— Ха-ха!—разразился Спѣшановъ.

Лыжинъ замолчалъ и взялся за шапку.

XXVIII.

Онъ проснулся рано, только начало свѣтать, и его вчерашній разговоръ съ Кумачевымъ тотчасъ же охватилъ его всего.

Онъ не могъ больше лежать въ постели и, одѣвшись наскоро, заходилъ по кабинету.

Положимъ, Захаръ Лукьяновичъ вчера былъ возбужденъ крупной игрой — онъ, кажется, выигрывалъ — и шампанскимъ; но то, что и какъ онъ говорилъ, было такъ опредѣленно и такъ отвѣчало всему его душевному облику.

У „патрона“ съ подобной подладкой ему, Юрію Лыжину, не пристало находиться въ услуженіи.

Слѣдуетъ уйти — и какъ можно скорѣе: этотъ выводъ вытекалъ просто, безъ всякихъ дальнихъ разсужденій.

И ему стало вдругъ очень легко, точно онъ освободился отъ какой-нибудь тяжелой обузы.

За послѣднія двѣ недѣли весь этотъ домъ Кумачевыхъ дѣлался ему довольно-таки постылымъ. Нину онъ не могъ оправдывать ничѣмъ. Она пошла на порядочную „гнусность“ — какъ любятъ выражаться пріатели и пріятельницы Липы Угловой. Страсть тутъ ни при чемъ. Если бъ она отдалась барону, она ушла бы отъ мужа. Ревновать можно, но пускать въ ходъ доносы или что-то въ родъ этого...

Да и его „степенство“, Захаръ Лукьяновичъ, хотя онъ и вышелъ героемъ изъ всей этой исторіи, ведетъ съ женой какую-то чисто-купеческую „линію“. Нина должна кончить тѣмъ, что будетъ дѣлать его, Лыжина, судьей своего поведенія. А ему вовсе не желательно становиться между ними посредникомъ.

„Надо сегодня же заявить письмомъ“, — рѣшилъ-было

— Погромъ, стало-быть? — не безъ злораднаго чувства спросилъ Лыжинъ, и въ упоръ взглянулъ на Кумачева.

— Да-съ.

— Чтò я вамъ говорилъ вчера? Значить, ни я, ни даже вашъ управляющій труса не праздновали!

— Это не суть важно! — глухо и злобно выговорилъ Кумачевъ. — Я сейчасъ їду и требую усиленную команду.

— Вразумите вы его! — страстно обратилась Кумачева къ Лыжину. — Вїдь это прямо идти на душегубство!

— Мало ли чтò! — отозвался Кумачевъ.

— Когда можно сейчасъ же усмирить ихъ...

— Если уже не поздно, — добавилъ Лыжинъ. — Я вчера совѣтовалъ Захару Лукьяновичу.

— Прекрасный совѣтъ! Иначе сказать: прости имъ штрафы и прогони директора. И неустойку плати ему въ тридцать тысячъ.

„Ахъ ты аршинникъ!“ — подумалось Лыжину, и онъ покраснѣлъ, обиженный тономъ Кумачева.

— Ну, такъ у васъ будетъ полумилліонный погромъ! — выговорилъ онъ такъ же рѣзко, и опустился на диванъ, вытянувъ ноги.

— Непремѣнно! — вскричала Раиса Гордѣвна.

— Лучше во сто разъ погромъ, чѣмъ потакательство! Я стою на законной почвѣ. То, чтò дѣлается у насъ, — дѣлается вездѣ. Если уступать, то пристойнѣе подарить всю мануфактуру пьяной и буйной сволочи.

Лыжинъ не выдержалъ и поднялся.

— Ругательствами, Захаръ Лукьяновичъ, вы ничего не докажете. Мое дѣло — сторона. Я вамъ сдѣлалъ одолженіе, что їздилъ туда и высказалъ вамъ мой взглядъ. Теперь позвольте мнѣ, вотъ при вашей матушкѣ, заявить вамъ, что я не могу у васъ больше оставаться. Мой искусь конченъ. У насъ вѣдь контракта нѣтъ, и я васъ предупреждалъ.

Когда онъ это говорилъ, то все въ немъ дрожало; даже въ лицѣ, у рта и на вискахъ, пробѣгали нервныя струйки.

— Какъ угодно-съ! Это ваше дѣло!

У Кумачева точно чтò перехватило въ горлѣ, и онъ запустилъ обѣ руки въ карманы властнымъ и безцеремоннымъ жестомъ.

Въ дверь, безъ доклада, вошелъ Кострицынъ, держа въ рукахъ двѣ депеши.

— Я сейчасъ изъ амбара, — заговорилъ онъ, небрежно поклонившись Кумачеву, и подавъ руку Лыжину. — Рансѣ Гордѣевнѣ мое почтеніе!

— Оттуда? — спросилъ Кумачевъ и подошелъ къ нему.

— Особенныя!.. Я только что пріѣхалъ вчера вечеромъ, — обратился онъ въ сторону Лыжина.

Ранса Гордѣевна подошла къ сыну. Онъ вскрывалъ депеши.

— Чтò? — упавшимъ голосомъ спросила она.

— Превосходно! — вырвалось съ усиліемъ изъ гортани Захара Лукьяновича. — Анархія! Погромъ полный! Убытка было уже на триста тысячъ въ одинъ день. Вызвана команда.

Онъ бросилъ обѣ телеграммы. Ихъ взяла его мать и, опустившись, въ большомъ волненіи, на кресло, жадно перечитывала.

— Вы этого сами желали, — выговорилъ Лыжинъ и поглядѣлъ на Кострицына.

Тотъ отвѣтилъ ему взглядомъ, гдѣ была затаенная радость. „Такъ, молъ, и нужно супругу Антонины Борисовны“.

И въ эту минуту въ кабинетъ вошла Нина, въ пеньюарѣ, свѣжая и величавая.

— Чтò такое, Закки? — спросила она смѣло.

Кумачевъ пристально поглядѣлъ на нее и выговорилъ съ оттяжкой:

— Мужъ вашъ, Антонина Борисовна, стойтъ за свое право. На ткацкой мануфактурѣ бунтъ и погромъ. Маленька и вотъ господинъ Лыжинъ требовали отъ меня простить штрафы и прогнать директора. И вы того же мнѣнія?

— Я мнѣнія моего мужа, — торжественно сказала Нина, окинувъ взглядомъ свекровь и Лыжина, и протянула руку Захару Лукьяновичу.

Онъ привлекъ ее къ себѣ и вскричалъ:

— Въ добрый часъ! Такъ-то лучше!

XXIX.

Ямская пара подвезла почтовую открытую повозку къ домику, гдѣ все еще скрывалась Липа Углова.

Засыпанный снѣгомъ, выскочилъ Кострицынъ и, отряхнувшись, сказалъ ямщику:

— Ты, милый человекъ, подожди здѣсь маленько. Потомъ мы дохой поѣдемъ, на Мясницкую.

- Какъ угодно,—отвѣтилъ хмуρο ямщикъ.
- Будетъ на-водка здоровая,—добавилъ Кострицынъ.
- И на томъ спасибо.

Ямщикъ приподнялъ свою форменную высокую шапку. Шелъ шестой часъ. Кругомъ все было уже темно, и керосиновые фонари хмуρο мигали.

Кострицынъ еще разъ отряхнулся и осторожно вошелъ въ сѣни, освѣщенные лампочкой.

Въ „Яслихъ“ еще шла жизнь.

Онъ разсчитывалъ, что застанетъ Липу одну. Ея хозяйка навѣрно или наверху, или на практикѣ.

Ему отворила кухарка.

— Олимпиада Дмитриевна?—не совсѣмъ спокойно спросилъ онъ.

— Пожалуйста. Онъ у себя. Въ столовую пройдите. Я сейчасъ доложу... Какъ васъ, баринъ, занесло!

Кухарка стала отряхать его шубу.

— Минуточку... Я сейчасъ доложу. Онъ, никакъ, отдохнуть прилегли.

— Нездоровы?—спросилъ онъ, протирая платкомъ глаза.

— Нѣтъ... такъ. Я ихъ сегодня за чаемъ видѣла.

Кострицынъ прошелъ въ столовую, гдѣ горѣла висячая лампа.

Второй разъ ѣздилъ онъ въ уѣздъ. Теперь тамъ все готово, и если Липа желаетъ, хоть сегодня можно переѣхать. Его товарищъ по университету — парень хорошій, и жена его также. Они, безъ всякихъ лишнихъ разспросовъ, вызвались приютить „бѣглянку“. А оттуда, по нѣкоторомъ времени, можно будетъ и дальше отправиться. Коли на то пошло, и заграничный паспортъ выправить гдѣ-нибудь въ губернскомъ городѣ.

Дорога, полная ухабовъ, по старому шоссе, отколотила ему всѣ бока, но онъ не чувствовалъ утомленія и заходилъ по комнатѣ, управляя руками сбившіеся на лобъ волосы.

Ему пришлось подождать.

„Навѣрно ей неможется, — прервалъ онъ нить своихъ собственныхъ соображеній,—да и бездѣйствіе ее гнететъ. Все это—только палліативныя мѣры. Не то ей нужно“.

Онъ зналъ радикальное средство прекратить всѣ эти ходы — укрывательства и переѣзды съ мѣста на мѣсто. Если бъ генералъ Кишкетовъ и сталъ ей мстить изъ-за него, изъ-за того, что онъ вынудилъ его возвратить нѣ-

которые документы, тогда надо было бы имѣть дѣло прямо съ нимъ, съ Иваномъ Кострицынымъ. Нужды нѣтъ, что онъ не важная птица въ глазахъ *властей*. За себя онъ постоитъ, за себя и за ту, кто поручить ему навѣкъ защиту своей личности, свое достоинство и честь.

„Честь!—повторилъ онъ медленно, про себя. — Честь!“ Сколько будетъ злобныхъ прибаутокъ на этотъ счетъ—и не у одного такого Кишкетова, а у всѣхъ. Можетъ-быть, даже у Лыжина, его перваго, въ настоящее время, пріятеля, которому онъ обязанъ, прежде всего, тѣмъ, что тотъ такъ искренно принималъ участіе въ Липѣ.

„Люби!“—разрѣшилъ онъ ему на-дняхъ. Да! Но какъ люби?—„Добивайся взаимности, дѣлайся ея возлюбленнымъ. Она—актерка. У нея цѣлое прошедшее, и довольно легкое. Не ты первый, не ты послѣдній“.

Краска загорѣлась на его щекахъ. Онъ остановился у стола и оперся о него лѣвой рукой.

Лыжинъ, когда онъ ему откроетъ свою тайну, будетъ азвить:

„Батюшка, Иванъ Кузьмичъ! Такъ-то вы проводите въ жизни свою теорію личности, возмущившейся противъ всякаго рабскаго преклоненія передъ слюнявой моралью жертвы и самоотреченія? А это что же такое? Желаете возстановлять заблудшую овцу? Прикрывать своимъ именемъ ея прошедшее? Впадать въ непростительный самообманъ? Развѣ на то вы лелѣли свое „я“, чтобы донкихотствовать изъ-за какой-то шальной бабенки? Коли желаете ея обладать—добивайтесь, но не срамите себя“.

Вотъ что можетъ сказать даже благодушный и воспитанный Лыжинъ. А другіе какъ начнутъ квать!

Въ груди у него стало холодѣть.

„Да ты на что же самъ-то такъ разсчитываешь?“ — вдругъ осадилъ онъ себя.

Ему сдавалось, что сегодня, вотъ черезъ четверть часа, въ этой маленькой столовой произойдетъ нѣчто.

Развѣ Олимпиада Дмитриевна дала ему почувствовать, что онъ ей особенно дорогъ? Или онъ думаетъ поразить ее, осчастливить? Чѣмъ? Какая сласть раздѣлить его судьбу—судьбу шатуна, который ничего крупнаго не создастъ и даже не прогремитъ?

Какая претензія!

Правда, когда онъ прибѣжалъ къ ней отъ Кишкетова и вотъ на этотъ самый столъ кинулъ конвертъ съ бума-

гами, она обняла его, первая, поцѣловала въ голову и на ея прекрасныхъ глазахъ заблестѣли слезы.

— Вотъ вы какой! Вотъ вы какой! — повторяла она и долго-долго жала его руки.

Но что же изъ этого? Будь на его мѣстѣ Воденягинъ — порывъ ея благодарности сказался бы точно въ такихъ же формахъ. А развѣ она можетъ „воспылать“ къ Воденягину?

Это слово „воспылать“ бросило его опять въ жаръ — такъ онъ себѣ показался пошлѣ и преисполненъ самобытія.

Дверь отворилась изъ коридора.

— Иванъ Кузьмичъ! Голубчикъ! Простите. Я заспалась.

Вышла она къ нему въ фланелевомъ пеньюарѣ, съ полюбнаженными руками — онъ еще не видалъ ея въ немъ — и ея могучая коса была подобрана на маковѣ въ небрежный и красивый узелъ.

— Нездоровы? Скажите?..

Онъ взялъ ее за обѣ руки и глядѣлъ на нее радостно и тревожно вмѣстѣ.

— Нѣтъ. Такъ, голова все болитъ. Да и клонить ко сну... отъ ничего недѣланья, милый Иванъ Кузьмичъ. Одурь беретъ. Читаешь, читаешь...

— Затворница! — вскричалъ Кострицынъ и отвелъ ее къ буфету. — Конецъ вашему сидѣнью. Я прямо изъ уѣзда.

— Сюда? На почтовыхъ?

— Все устроилъ. Если угодно, хоть сегодня ночью совершимъ переходъ изъ земли халдейской въ землю ханаанскую.

Она опустила на стулъ. Сѣлъ и онъ — прямо противъ нея.

Липа провела рукой по лбу, и влюбленные глаза Кострицына слѣдили за этой прекрасной рукой, гдѣ оставалось, на двухъ пальцахъ, нѣсколько цѣнныхъ колецъ.

— Иванъ Кузьмичъ, — протянула она, — къ чему все это? Зачѣмъ вы меня спасаете? — съ горькой усмѣшкой добавила она. — Нѣтъ во мнѣ вѣры въ себя, нѣтъ и нѣтъ!

— Не извольте клеветать на себя! — почти вскрикнулъ онъ и схватилъ ея руки. — Я не позволю... Натура у васъ богатая. Надо дать ей свободный ходъ. Искусъ вашъ близится къ концу. Вотъ переѣдете къ моимъ пріятелямъ, поживете у нихъ... Тамъ будете готовиться. Въ васъ сидитъ душа и темпераментъ Рашели! Я въ это глубоко вѣрю... Дорогая моя!

— И-и!—протянула Липа.

На лицѣ ея все еще лежала тѣнь.

— Понимаю,—продолжалъ Кострицынъ, сразу сбавивъ тонъ, и голосъ его сталъ глуше.—Понимаю! Вамъ все это постыло. Вся эта канитель. Положимъ, у того пакостника когти обрѣзаны. Но васъ все-таки могутъ обезпокоить. Тутъ нужно было бы не то.

— А чтò?—спросила Липа.

Вопросъ ея былъ, по звуку своему, такъ простъ, что Кострицынъ совсѣмъ растерялся.

— Женщина... не можетъ сама бороться такъ, какъ мужчина,—пролепеталъ онъ, чувствуя, какъ уши у него горять.

— Ну такъ что же? — все такъ же просто спросила Липа, ласково взглянувъ на него, не отнимая руки.

— Олимпиада Дмитриевна! — голосъ у него перехватилъ. — Я прошу одного слова, одного. Вы лгать не способны. Опъ все еще вамъ... дорогъ?

— Кто онъ?—весело окликнула она.

— Тотъ... офицеръ.

— Ха-ха! Вотъ чтò выдумали, Иванъ Кузьмичъ!

Смѣхъ ея тотчасъ же оборвался.

— Значить, совсѣмъ ничего?

„Съ какой стати ты ее исповѣдуешь?“ — оборвалъ онъ себя.

— Полная пустышка!—шутливо вымолвила Липа.

„Дуракъ! Самомнительный уродъ!—бранилъ онъ себя.— Сжѣшь ли ты мечтать? Съ твоей-то рожей амбарнаго Соврата!“

— Генералъ уже имѣлъ дѣло со мною, — заговорилъ онъ, и почувствовалъ, что началъ не такъ. — Но вѣдь вы сегодня здѣсь, завтра васъ нѣтъ. И кто будетъ около васъ?

„Не то, не то!“ — почти съ ужасомъ повторялъ онъ про себя.

— Я не хочу вторгаться въ вашу жизнь, Олимпиада Дмитриевна. Но я весь тутъ. Возьмите меня! Не желаю играть роль великодушнаго Андроника! Нѣтъ! Знаю, и уродъ... Полюбить меня трудно.

— Почему?—спросила Липа и поглядѣла на него привѣтливо и съ милымъ недоумѣніемъ.

— Я весь тутъ!—шепталъ Кострицынъ и опустилъ голову низко, охваченный стыдомъ и смущеніемъ.— Не отталкивайте! Не добивайте!

Тутъ только она поняла и сказала ему тихо и просто:
— Спасибо! Милостыни я ни отъ кого не приняла бы, даже и теперь. Но это не милостыня... Я вижу...
Онъ сталъ безумно цѣловать ея руки.

XXX.

Самоваръ раздѣлялъ ихъ. Лыжинъ налилъ стаканъ и подалъ его Кострицыну, сидѣвшему противъ него, у чайнаго стола.

Лицо у Кострицына было очень красное и на лбу блестяли капельки. Комнаты натопили сильнѣе обыкновеннаго. Лампа прибавляла тепла. Лыжинъ сидѣлъ въ домашнемъ пиджакѣ. Ему сегодня немного нездоровилось, и онъ еще не выѣзжалъ съ утра.

— Значить, Иванъ Кузьмичъ, произойдетъ на этихъ дняхъ возложеніе вѣнцовъ, отъ „камене чѣстна“?

— Произойдетъ, друже, произойдетъ!

Кострицынъ смотрѣлъ немного сконфуженно. Онъ все еще ждалъ, что Лыжинъ вотъ-вотъ начнетъ его пронимать на тему „слюняйской морали“. Но тотъ до сихъ поръ ничего подобнаго не говоритъ. Онъ самъ находится въ возбужденіи послѣ ухода своего отъ Кумачева.

Дѣло было при Кострицынѣ.

Они не поднимали вопроса о томъ, правъ ли былъ „патронъ“, упорствуя въ своихъ хозяйскихъ принципахъ. Лыжину сдавалось, что Кострицынъ будетъ его въ известной степени защищать. Но тотъ ни однимъ звукомъ не выразилъ даже сожалѣнія о томъ, что онъ ушелъ отъ Кумачева.

Сдавалось ему и то, что и Кострицынъ долго не останется на службѣ у Кумачева, и вообще—въ Москвѣ. Въ подробности онъ еще не вдавался; но ясно, что если они на-дняхъ повѣнчаются съ Липой Угловой, гдѣ-то тамъ, въ уѣздѣ, то онъ при ней и останется тамъ, или оба уѣдутъ куда-нибудь въ далекую провинцію.

— Тебѣ особенныхъ хлопотъ не стоило добыть священника? — спросилъ Лыжинъ и веселѣе поглядѣлъ на пріятеля.

— Нѣтъ. Товарищъ помогъ. Онъ тамъ, въ уѣздѣ, сильную руку имѣеть... кандидатъ въ предводители. У него же на погостѣ. Да мы, другъ Юрій Петровичъ, легально, по документамъ. Она вѣдь по аттестату жила... Нынче этого

въ столицахъ недостаточно, а въ уѣздѣ сойдесть. И метрика у нея есть. У меня тоже все въ порядкѣ.

— Такъ ты желаешь, чтобы у васъ было непременно по два шафера? А?

— Ты не обидишь?..

— Да я, братъ, съ удовольствіемъ... А у Олимпиады Дмитріевны кто будетъ?

— Петренко... Знаешь, тотъ литераторикъ... душевный парень... И студентъ.

— Какой?

— Студентъ—одно слово. Студентъ по преимуществу. Пріятель мой Шипилинъ. Я, знаешь, и радъ, что онъ прійдетъ. Его распорядительская жилка затрепещетъ. Онъ и спичемъ насъ угоститъ! А то мнѣ его жалъ: хандрить бѣдняга... потерялъ перваго своего закадыку.

— А! Тотъ студентъ! Какъ, бишь, его?

— Владиміръ Мечъ.

Оба помолчали. Лыжину было извѣстно объ этомъ самоубійствѣ и даже, отъ Кострицына, содержаніе его письма къ Шипилину.

— Времецко!—глухо выговорилъ Лыжинъ и тряхнулъ головой.

— Пустяки, Юрій Петровичъ. Все это остатки больныхъ теченій... вотъ такой неестественный пессимизмъ! Личность надо воздѣлывать—вотъ чтò! Ядомъ да революверомъ ничего не докажешь, когда они обращены на самого себя. Такъ-то!

Кострицынъ всталъ и прошелся по комнатѣ.

— А знаешь, я тебя о чемъ попрошу, Юрій?

Онъ назвалъ такъ пріятеля въ первый разъ.

— Говори!

— Только ты меня, пожалуйста, на смѣхъ не подними!

— Кольца тебѣ обручальныя и свѣчи купить въ городѣ?

— Нѣтъ. Не то! Не удивляйся!

— Да говори.

— Пойти со мною.

— Сегодня-то я, на ночь, не хотѣлъ бы. Знобитъ меня немного.

— Здѣсь, здѣсь, въ номерахъ. Пойти къ господину Воденягину... Видишь, Олимпиада Дмитріевна просила зайти къ нему и еще разъ поблагодарить.

— А-а!—протянулъ Лыжинъ и изъ-за самовара поглядѣлъ на Кострицына съ усмѣшкой въ глазахъ.

— Можешь?

— Пойдемъ. Что жъ? Онъ себѣ вѣренъ.

— Весьма. Имѣеть полное право оставаться при своемъ credo и переть... противъ рожна!— вскричалъ весело Кострицынъ, обрадованный тѣмъ, что все у него обошлось „съ Юріемъ“ такъ безобидно и гладко.

Лыжинъ немножко оправился, и минутъ черезъ десять они спустились уже въ нижній коридоръ.

— Онъ дома,—тихо говорилъ Кострицынъ.—Я у швейцара справлялся, когда шель къ тебѣ.

Воденягинъ занималъ одну комнату, въ глубинѣ узкаго коридора, съ окномъ, выходившимъ во дворъ.

Они нашли его тоже за самоваромъ, въ своей неизмѣнной блузѣ, и не одного.

У него сидѣлъ гость, такихъ же почти лѣтъ, какъ онъ, полусѣдой, въ бородѣ, съ черепаховымъ ріпсе-пез, одѣтый скромно, въ длинноватый черный сюртукъ. Онъ смотрѣлъ скорѣе писателемъ, чѣмъ чиновникомъ.

— Позвольте васъ, господа, перезнакомить, — сказалъ Воденягинъ, видимо польщенный приходомъ пріятелей.

И онъ назвалъ гостя:

— Лядунцовъ, Сергѣй Сергѣевичъ, давнишній мой знакомецъ. Безвыѣздно прожилъ больше двадцати пяти лѣтъ на Западѣ.

При этомъ Воденягинъ такъ повелъ глазами, что они оба догадались, въ какомъ качествѣ Лядунцовъ провелъ „на Западѣ“ болѣе четверти вѣка.

Кострицынъ отвелъ хозяина къ печкѣ и вполголоса передалъ ему привѣтствіе Липы и ся желаніе проститься съ нимъ.

Подсѣвъ къ столу, Лыжинъ закурилъ и, всмотрѣвшись въ гостя, вдругъ что-то вспомнилъ.

— Извините,—заговорилъ онъ,—кажется, мы съ вами встрѣчались въ Женевѣ?

Лядунцовъ прищурился на него изъ-за стеколъ своего ріпсе-пез и повелъ носомъ.

— Можетъ-быть. Давненько, стало-быть?

— Да, лѣтъ пятнадцать назадъ. Помню даже, какъ я присутствовалъ при горячемъ спорѣ, гдѣ вы жестоко разносили автора „Съ того берега“, называли его „лжерадикаломъ“ и чуть ли не „презрѣннымъ буржуа“. Я еще собрался тогда возражать вамъ, да вы куда-то заторопились.

— Очень можетъ быть, — съ кислой усмѣшкой вымолвилъ Лядунцовъ.

Воденягинъ слышалъ ихъ разговоръ и, пожавъ руку Кострицыну, поспѣшно подошелъ къ нимъ.

— Какъ же, какъ же! — началъ онъ, и насмѣшливая нота зазвучала у него. — Сергѣй Сергѣевичъ тогда стоялъ на самомъ крайнемъ краю. И авторъ „Съ того берега“ былъ для него, конечно, чистокровный буржуа! Ха-ха! Ну, а теперь, вернувшись, по доброй волѣ, „съ гнилого Запада“, онъ находитъ въ своемъ отечествѣ все превосходнымъ, а городъ Москву — палладиумомъ высшей чело-вѣческой культуры!

— Чудесный городъ! — воскликнулъ Лядунцовъ тономъ чело-вѣка, которому нѣтъ никакого дѣла до того, чѣмъ его теперь считаютъ его бывшіе единомышленники.

— И лучше нашихъ порядковъ, — продолжалъ Воденягинъ, отхлебывая чай, — Сергѣй Сергѣевичъ не находитъ нигдѣ. А Европа, особенно французишки — ужъ о нѣмцахъ и толковать нечего — презрѣнная мразь!

— Да-съ, въ родѣ того, любезнѣйшій Воденягинъ! — отозвался Лядунцовъ, сохраняя тотъ же умышленно взвинченный тонъ.

— Мы съ нимъ, — Воденягинъ указалъ головой на гостя, — знавали другъ друга еще юношами, въ Питерѣ. Онъ кадетъ былъ, а я гимназію оканчивалъ. Вотъ и теперь случились сосѣдями по коридору. Зашелъ онъ ко мнѣ, думалъ и во мнѣ найти такую же метаморфозу... да знаете, по пословицѣ: горбатаго одна могила исправитъ. Хе-хе!

Лыжину стало немного неловко: онъ сохранилъ молодое свойство стѣсняться, когда разговоръ принималъ такой вотъ оттѣнокъ. Онъ вбокъ поглядѣлъ на своего пріятеля. Какъ, даже мѣсяцъ тому назадъ, Кострицынъ попалъ бы на Воденягина и сталъ бы защищать безусловную свободу всякихъ подобныхъ „метаморфозъ“.

Но онъ сидѣлъ смиренный.

— Все это — старья дрожжи въ васъ, батенька! — сказалъ Лядунцовъ хозяину. — Какъ французики говорить, вы — „vieux jeu“ или „de l'autre bateau“.

— Да, я старомодный, это точно! — откликнулся Воденягинъ уже съ явной безцеремонностью къ своему гостю.

Тотъ больше четверти часа не сидѣлъ.

Когда его шаги смолкли по коридору, Воденягинъ всталъ, скрипя своими сапогами, и окликнулъ ихъ обоихъ:

— Ась, господа? Хорошъ экземплярецъ?

— Онъ, значить, изъ раскаявшихся? — спросилъ тимо Лыжинъ.

— Изъ какихъ? — добивался Кострицынъ. — Изъ такихъ, изъ настоящихъ?

— Это было бы много лучше, — тяжело переводя дыханіе, отозвался Воденягинъ. — Такой бы и не посмѣлъ придти ко мнѣ. А онъ, знаете, изъ безобидныхъ. „Заблужденія свои я, молъ, созналъ, но никакими умствованіями на лонѣ отечества заниматься не буду, а хочу состоять въ мирныхъ обывателяхъ“. Я—*vieux jeu*! Это точно. А онъ — съ ближайшаго судна; *bateau* его — самаго послѣдняго рейса. Какъ попугай, болтаетъ на тему доктора Панглосса: „Москва бѣлокаменная есть земной рай, и всѣ, кто противъ нея, — изверги рода человѣческаго!“ Ну, скажите, Иванъ Кузьмичъ, вы хоть и всегда при особомъ мнѣніи — развѣ такіе не хуже?

— Совершенно вѣрно.

Лыжинъ не безъ удивленія посмотрѣлъ на Кострицына.

— Четверть вѣка бить въ одну доску и потомъ сдрейфить, по доброй волѣ, — это показываетъ, что въ головѣ всегда былъ сквозной вѣтеръ; воли хватало только на то, чтобы форсить, а не воевать за свой символъ вѣры!

— Bravo!

Воденягинъ захолопалъ въ ладоши.

— Я все это заявляю, — оговорился Кострицынъ, — оставаясь вѣрнымъ самому себѣ.

„Ой ли?“ — невольно подумалъ Лыжинъ; но возражать пріятелю не сталъ.

XXXI.

Никогда еще, по пути отъ Никольской къ Пречистенскому бульвару, Кострицынъ не испытывалъ того, что вздрагивало въ его груди и точно иглами показывало возбужденный мозгъ.

Онъ ѣхалъ къ Кумачевымъ и зналъ, что Захара Лукьяновича онъ дома не застанетъ, а одну только Антонину Борисовну. Сегодня ея „five o'clock“. Приѣмъ начнется черезъ четверть часа, и она, навѣрно, уже одѣта и готова къ приѣму.

Подѣзжая къ Боровицкимъ воротамъ — сколько разъ

его дрожжи или сани ныряли подъ башню за послѣдніе годы! — онъ ясно, точно хорошо заученный урокъ, вспомнилъ конецъ своей рѣшительной и горячей бесѣды съ Лыжинымъ, послѣ ухода отъ него Воденягина, являвшагося просить похлопотать за еврейчика-поэта, котораго гнали изъ Москвы.

Въ то же утро, въ трактирѣ, они пили съ Лыжинымъ брудершафтъ, и съ тѣхъ поръ ихъ пріятельство все закрѣплялось.

Черезъ день Юрій Петровичъ будетъ расписываться въ церкви села Шарапуха „по женихѣ“. И ближе у него теперь нѣтъ человѣка по всей Москвѣ, даже изъ товарищей по гимназін и двумъ факультетамъ, а наберется не одна дюжина и такихъ, съ кѣмъ онъ также на „ты“.

И ему вспомнились его собственныя слова, вылетѣвшія звонко и раскатисто тамъ, въ номерахъ, гдѣ живетъ Лыжинъ:

„И вдругъ, не пройдетъ года, и вы мнѣ бросите въ лицо: „Ты, амбарный Сократъ, наполни оптомъ гнилоу ученія душу человѣка въ ергахъ. Будь ты проклятъ!“

Этою онъ теперь не боится. Какъ бы не вышло наоборотъ? Его же отецъ дѣйствуетъ и въ немъ самомъ. Лыжинъ можетъ, отправляясь съ нимъ въ церковь, сказать ему:

„Что, братъ, Кострицынъ? Небось, твоя самодовлѣющая личность не выдержала, и ты, точно второй экземпляръ Воденягина, бросилъ самъ перчатку патрону, въ видѣ ухода отъ него по доброй волѣ? Не отбодрявайся тѣмъ, что ты не желаешь служить у мужа Нины Борисовны, почему и уходишь. Ничего ты мнѣ не сказалъ протестующаго насчетъ моего поведенія въ вопросѣ о бунтѣ рабочихъ; стало-быть, ты считаешь мой образъ дѣйствій хорошимъ. Или ты хитришь, а въ честной дружбѣ это не полагается“.

И какъ онъ отвѣтитъ ему передъ тѣмъ, какъ Лыжинъ возьмется за перо и будетъ писать подъ диктовку отпадѣка или старшаго причетника: „по женихѣ, кандидатъ правъ Юрій Петровичъ Лыжинъ“?

Неужели вся его „сократовская мудрость“ куда-то сгинула отъ перваго натиска жизни, оттого только, что онъ полюбилъ не на шутку? Поэтому только?

„Нѣтъ, — стремительно думалъ онъ, когда сани были около храма Спасителя, — не оттого только! И никакой въ

твоемъ другѣ Кострицынѣ нѣтъ измѣны своему основному пониманію добра и зла, морали и альтруизма. Никакой! Любовь — высокое бродило души! Она ведетъ къ подвигамъ, она окриляетъ. Она же ведетъ и къ рабству... Но онъ не рабствуетъ. Онъ и не жертвуетъ собою изъ-за униженной и оскорбленной, изъ-за падшаго существа! Къ чему его тинетъ, тѣ онъ и беретъ. Женщина его захватила и сама отдается ему. Въ ея талантливость онъ вѣритъ. Не изъ-за нея, а для себя онъ хочетъ сдѣлать поворотъ, бросить свою „амбарную“ службу. Довольно! Пора вернуться къ наукѣ, къ мышленію, вспомнить, что онъ — магистрантъ Кострицынъ. А то вѣдь и экзамена, пожалуй, не зачтутъ. Тема диссертации у него давно выбрана, но и только! Поѣдетъ онъ съ Липой на Волгу, туда, подалеже, къ Каспійскому морю, будетъ работать и надъ ея личностью, и надъ собственной“.

Доводы казались ему побѣдоносными, и предстоящій „разговорецъ“ съ великолѣпной Антониной Борисовной опять наполнилъ его веселымъ и злобнымъ ощущеніемъ. Иголки еще явственнѣе стали ему покалывать въ мозгъ.

Онъ — не рыцарь, не селадонъ. Его не проймешь окрикомъ: „Развѣ на женщинѣ можно вымещать свое чувство!“ Мало ли что! На такой не только можно, но и должно. Такая драпируется изяществомъ, породой, благородствомъ тона и порядочностью привычекъ, а сама способна на самую гнусную интригу. Если бъ онъ захотѣлъ рассказать все Кумачеву — тотъ, при всѣхъ своихъ охранительныхъ взглядахъ, тоже нашелъ бы, что такой образъ дѣйствій — низость.

Да вѣдь и онъ теперь уже не прежній рабъ своей суруги. Въ немъ проснулся „самъ“, „хозяинъ“, и при первой ея новой попыткѣ „вернуть хвостомъ“ — онъ покажетъ, каковъ въ немъ характерецъ.

Съ нимъ его поведеніе безупречно. Онъ везетъ письмо, гдѣ говорить ему прямо:

„Объясняться съ вами мнѣ тяжело. Противъ васъ я ничего не имѣю. Если бы кто-нибудь сказалъ, что я уйду отъ васъ въ критическую минуту, послѣ погрома на фабрику, я готовъ, вернувшись въ Москву на-дняхъ, остаться до тѣхъ поръ, пока вы не найдете мнѣ замѣстителя“.

Но онъ зналъ, что Кумачевъ слишкомъ гордъ, чтобы удерживать его.

У подѣзда еще не было ни одного экипажа, когда

Кострицынъ подѣхалъ къ палатамъ Кумачевыхъ. До начала пріема Нины оставалось ровно пятнадцать минутъ.

Онъ нашелъ ее все подъ тѣмъ же балдахиномъ, сіяющую и разодѣтую „до гадости“. Чувствовалось, что у мужа ея пошло съ нею „по-старому“.

Безъ всякихъ подходовъ, Кострицынъ вынулъ изъ кармана письмо.

— Захара Лукьяновича, — началъ онъ, — нѣтъ ни въ амбарѣ, ни дома... А я долженъ отлучиться на нѣсколько дней. Будьте добры передать ему.

Нина прищурилась на него и небрежно спросила:

— Развѣ это такъ экстренно?

И ея глаза досказали:

„Ты, милый мой, могъ бы положить письмо въ кабинетѣ, на столѣ“.

— Вотъ видите, Нина Борисовна, мнѣ хочется, чтобы письмо это попало къ Захару Лукьяновичу именно отъ васъ.

— Почему же?

— На то у меня есть причины.

Весь ея тонъ показывалъ ему, что она боится, какъ бы какая-нибудь барыня съ „Сивцева Вражка“ не застала у ней господина съ такой „рядской“ наружностью.

„Ладно, матушка! — подумалъ онъ, — ты ни о чемъ не догадываешься и про меня ничего доподлинно не знаешь, а я про тебя — достаточно“.

— Хорошо, — благосклоннѣе промолвила Нина и положила письмо на низенькій столикъ.

— А у меня къ вамъ есть порученіе, — заговорилъ Кострицынъ, и кровь прилила ему къ лицу, точно онъ проглотилъ рюмку крѣпчайшаго вина.

— Порученіе? Отъ кого?

— Отъ одной особы, которую вы не такъ давно встрѣтили... гдѣ ужъ — не могу вамъ сказать... вѣроятно, вы сами вспомните.

Нина не столько по голосу, сколько по глазамъ Кострицына, зачуяла нѣчто, вся выпрямилась и нервно перевела ногами, видными изъ-подъ оборокъ юбки.

— Отъ какой это особы? — протянула она.

— Отъ госпожи Угловой. Она по театру Днѣпровская... артистка.

— Что такое?

Плечи Нины передернулись, и она замѣтно измѣнилась въ лицѣ.

— Да такъ! Я знаю, что говорю, Нина Борисовна. И вы прекрасно знаете, у кого вы ее застали.

Она молчала. По вздрагиванію ея поздрей можно было бояться, что она позвонить и крикнуть лакею: „Вывести этого господина“.

— И мы всё—Лыжинъ, мой пріятель, и цѣлое общество хорошихъ людей и женщинъ—тоже фактически знаемъ, кто напустилъ на госпожу Углову нѣкого генерала.

— Вы Богъ знаетъ что говорите!—вырвалось у Нины.

Кострицынъ быстро всталъ и, плотно придвинувшись къ дивану, заговорилъ дробно и нервно:

— Я знаю, что я говорю, Нина Борисовна. Ваше доблестное поведеніе всѣми оцѣнено. И расскажи я все Захару Лукьяновичу—онъ бы васъ за это не одобрилъ. Онъ—охранитель; но такимъ поступкомъ не будетъ себя знаменовать.

Быстро вынулъ онъ изъ бокового кармана пакетъ.

— Вотъ эти бумаги я добылъ отъ генерала. Онъ могли очень повредить госпожѣ Угловой. Генералъ, съ вашей поддержкой, и меня можетъ потревожить. Но я хоть и простецъ, а не боюсь! За мной никакихъ проступковъ не значится. А затѣмъ—имѣю честь кланяться! Госпожа Углова просила передать вамъ свою признательность за такой благородный образъ дѣйствій. Она вамъ не мѣшаетъ владѣть тѣмъ, кого ей совсѣмъ не нужно!

Нина спустила ноги и, вся блѣдная, съ гнѣвными глазами, что-то хотѣла сказать; но въ дверяхъ показался какой-то гость, и Кострицынъ, съ поклономъ, вышелъ изъ кабинета.

XXXII.

Оттепель испортила дороги.

Попадая изъ одной „зажоры“ въ другую, пробирался Лыжинъ въ кибиткѣ и повернулъ съ проселка на шоссе. Въ полуверстѣ стоялъ домикъ Иды.

Онъ спѣшилъ къ ней. Ему хотѣлось попасть засвѣтло, къ обѣду. Лошаденки бѣжали порядочно; отъ ихъ мохнатыхъ спинъ и боковъ шелъ паръ.

Къ Идѣ Лыжинъ ѣхалъ изъ того имѣнія, гдѣ третьяго дня обвинчались Кострицынъ и Липа. Оттуда онъ и проводилъ ихъ до ближайшей желѣзнодорожной станціи.

„Амбарный Сократъ“ былъ, передъ вѣнчаніемъ, тихонь-

кій; но потомъ, за завтракомъ, разошелся, и всё его „слова и рѣчи“ клонились къ тому, чтобы Лыжинъ не считалъ его измѣнникомъ ученію о „самодовлѣющей личности“.

Не обошлось, конечно, и безъ античныхъ цитатъ. Одна, очень короткая, осталась въ памяти у Лыжина, хотя и была греческая. Иванъ Кузьмичъ развивалъ ту мысль, что жизнь надо брать такой, какой она намъ сама дается, не затѣмъ, чтобы „слюняйствовать“, а затѣмъ, чтобы заставлять ее „плясать по нашей же дудкѣ“. „Иной разъ, — добавилъ онъ, — слѣдуетъ довольствоваться, на первыхъ порахъ, и тѣмъ, что Маркъ-Аврелій любилъ называть греческимъ терминомъ, — Лыжинъ заставилъ пріятеля повторить ему эти слова: — *дейтеросъ плюсъ*, т.-е. „плаваніе второго сорта“, не на парусахъ, а на веслахъ“.

Но самъ онъ плылъ на всѣхъ парусахъ. Его красное, круглое лицо сіяло счастьемъ, и Липа цѣнитъ это. Въ ней Лыжинъ слышалъ другія ноты. Она точно почувала, что человѣкъ, такъ беззавѣтно отдавшійся ей, живя съ нею, перестанетъ быть „ни въ сихъ, ни въ оныхъ“. И сама она, видя вѣру въ ея талантливость, уже не говоритъ такъ горько о театрѣ.

Эта чета радовала его, и до самой той минуты, когда они всё обнялись и онъ ихъ посадилъ въ вагонъ, Лыжинъ совершенно забывалъ о себѣ.

Дорогой, проселкомъ, раздумье, въ нѣсколько пріемовъ, начинало его щемить. И теперь, подъѣзжая къ усадьбѣ своего другого друга — Иды, онъ не могъ сбросить тѣхъ же „оборотовъ на себя“. Это его какъ-то особенно обижало. Онъ вспомнилъ тотъ ноябрьскій полдень, всего три съ небольшимъ мѣсяца, когда онъ поднимался по Никольской и вдругъ задалъ себѣ вопросъ, увидавъ двоихъ студентовъ: „полно, самъ-то онъ пересталъ ли сдавать вѣчный свой экзаменъ?“

Теперь всё экзамены у него назади. Но и впереди — ничего. Уходя отъ Кумачева вышибъ его изъ колен. Дѣла у него нѣтъ, ничто его не притягиваетъ къ Москвѣ. Ѣдетъ онъ въ тотъ домикъ, гдѣ еще два полуживыхъ обломка, какъ и онъ — Ида и Елена, съ ея свѣжей язвой въ сердцѣ, и съ язвой, отъ которой врачеванія уже нѣтъ въ ея лѣта.

Ее болѣе жаль, чѣмъ Иду. Та съ истинной покорностью обрекла себя на полное отреченіе отъ того, что для всѣхъ женщинъ — смыслъ и сладость жизни.

Въѣзжая во дворъ, Лыжинъ увидалъ извозчиковъ горюхія сани—навѣрно со станціи. Собаки кинулись на его лошадей. На крыльцѣ сарайчика показался Финогенъ въ полушубкѣ. Онъ подбѣжалъ.

— Юрій Петровичъ! Съ пріѣздомъ! Лыжинъ удивился, что Финогенъ не назвалъ его „милостивый государь“.

— Кто у васъ? Финогенъ, высаживая его изъ кибитки, наклонился и вполне доложилъ:

— Господи... заграницный. Барыню на станціи встрѣтилъ наемникъ, а теперь визитъ имъ дѣлается... на легковомъ пріѣхалъ. Такимъ же манеромъ и въ обратный путь.

— Елена Константиновна здѣсь?—продолжалъ спрашивать Лыжинъ, входя въ сѣни.

— Какъ же-съ! Однако, никакъ на будущей недѣлѣ собираются. Въ передней висѣло мужское пальто. Изъ гостиной доходилъ разговоръ.

Въ гостяхъ у Иды—Елена сидѣла тутъ же—Лыжинъ нашель мужчину лѣтъ сорока, похожаго на иностранца. Доснящійся лобъ, съ проборомъ посрединѣ, обстриженные щеки, борода, множество мелкихъ морщинъ, монокль, одѣтъ въ обтяжку, въ цвѣтномъ галстукѣ. Сильными духами пахло отъ шелковаго цвѣтного платка, торчавшаго въ наружномъ боковомъ карманѣ его очень короткаго вестона.

Ида встрѣтила Лыжина у дверей, а Елена быстро встала.

— Юрій Петровичъ! Милый!

Такъ привѣтствовала его Елена. Ида, точно сконфуженная, молча пожала ему руку крѣпко-крѣпко и подвела къ гостю.

— Monsieur Мокшанинъ,—назвала она. Мокшанинъ, весь ушелъ въ плечи, по-прежнему и, кланяясь, весь ушелъ въ плечи, по-прежнему подумалъ бы: „не тотъ Мокшанинъ, во-второй разъ“.

— Да!.. Липа мнѣ писала.

Ида тихо улыбнулась и, вспомнивъ, что надо занимать гостя, обратилась къ нему.

— И вы опять прямо въ Парижъ?

Она спросила это по-французски.

Тотъ, шепеляво и подражательно по звуку, отвѣтилъ, что онъ проводитъ конецъ зимы на Ривьерѣ.

Не зная, кто этотъ Мокшанинъ, Лыжинъ сообразилъ, что онъ, вѣроятно, изъ того міра вивѣровъ, гдѣ Ида встрѣтила когда-то своего француза.

Точно въ подтвержденіе этого, гость выбросилъ монокль привычнымъ движеніемъ головы и заговорилъ, мигая и съ усмѣшкой поблеклаго рта:

— Просто страшно жить. Или покойники, или вотъ такія, какъ онъ,—Ида опустила глаза,—полуживыя муміи.

— Онъ совсѣмъ лишился ногъ?—спросила Елена.

— Еле движется на двухъ палкахъ. Сначала онъ упалъ въ руки Шарко... Немного стало получше. Полгода въ лѣчебницѣ. Потомъ все хуже и хуже. Наконецъ, это лѣчение... впрыскиваніями...

— Броунъ-Секара?—спросила Елена.

Ида все блѣднѣла и глаза ея ушли въ другую сторону.

— Oui, madame, les injections Brown-Séguard!.. Une fameuse blague, par exemple!

И въ блѣсоватыхъ глазахъ русскаго парижанина, вмѣстѣ со скептической усмѣшкой рта, Лыжинъ читалъ страхъ смерти, предательскій страхъ людей, ничего не знавшихъ, кромѣ женщинъ; трепеть закоренѣлыхъ и циническихъ сладострастниковъ.

Такимъ же долженъ быть теперь и тотъ французъ, пораженный атаксіей, котораго не воскресятъ никакія эмульсіи.

Русскій парижанинъ, попавъ на эту зарубку, долго еще говорилъ, такимъ же дѣланнымъ жаргономъ, о нервной болѣзни ихъ общаго знакомаго, моднаго писателя, который злоупотреблялъ наркотическими средствами—вдыхалъ эфиръ и принималъ внутрь „des drogues suggestives“, чтобы возбуждать себя для работы, „pour le travail créateur“.

„И для всего прочаго“,—прибавилъ отъ себя Лыжинъ.

Ему дѣлалось тошно отъ этого господина. Они съ нимъ были однихъ лѣтъ. Навѣрное, и тотъ—холостякъ. Не его изломанность и отсутствіе всякой связи съ какою бы то

ни было здоровой жизнью претили ему, а „подлый“ страхъ конца, дрожаніе за свое „поганое“ я, полнѣйшее бездушіе самаго гнилого пессимизма ненасытныхъ вивѣровъ. Отъ него точно отдавало плѣсенью и тиной болота. Даже такое физическое ощущеніе испытывалъ Лыжинъ, потянувъ носомъ раздражающій запахъ его духовъ.

И вотъ такому же „мужчинѣ“, только не копін, а французскому подлиннику, отдавалась Ида, ослѣпленная и жаждущая страсти, куда бы можно кинуться съ головой.

Два женскихъ крушенія метались передъ нимъ въ лицѣ этихъ подругъ. Можетъ-быть, и Елена думаетъ, въ ту минуту, то же, что и онъ. Если да, той ей еще невыносимѣе отъ сознанія, какъ выше стоитъ личность того, кого она полюбила, въ сравненіи съ такими представителями „de la haute vie“.

И она отказала ему, въ увлеченіи своей женской ненасытностью. Страсти ей надо было, а не признательности.

Тягуче прошло еще полчаса. Гостю надо было вернуться къ поѣзду. Онъ оставилъ свои вещи на станціи и сдѣлалъ визитъ Идѣ точно затѣмъ только, чтобы сообщить ей, какъ ихъ общій „ami“, въ качествѣ полумертвеца, безнадежно борется „avec cette coquine de mort“ и впрыскиваетъ въ себя ежедневно то, что онъ самъ называлъ „une fameuse blague“.

Оставшись втроемъ, они, стоя посреди гостинной, взялись за руки. На Идѣ все еще лица не было. Елена, взглянувъ на нее, силилась улыбнуться, и не выдержала. Боясь, что выдастъ свою душевную горечь, она спросила Лыжина, освободивъ руку:

— Вы у насъ ночуете, другъ?

— Ночую.

— Такъ я пойду распоряжусь. Ида, я у тебя на кушеткѣ буду спать, а онъ—въ моей комнатѣ.

Лыжинъ отвелъ Иду къ дивану, посадилъ и молча, чувствуя приливъ нѣжности, поцѣловалъ ее въ голову.

Двѣ слезы заблестѣли на ея рѣсницахъ.

— Бѣдная моя!—проронилъ онъ.

Они долго глядѣли другъ на друга, безъ словъ понимая, что у каждого на душѣ.

— Quelle épreuve! — промолвила наконецъ Ида. — Elle est salutaire.

— Хорошо бы!

— Та Ида умерла,—сказала она уже по-русски.—Она принимала за людей...

Русское выраженіе ей не давалось.

— Ходячіе трупы?

— Да, Юрій, да!

Точно облако прошло по ея безкровному лицу. Сегодня она всѣмъ своимъ существомъ познала, что для нея уже нѣтъ личнаго счастья. И то, что было, глянуло на нее своимъ искаженнымъ обликомъ.

XXXIII.

Вѣтеръ завывалъ, жалобной и жидкой нотой, на террасѣ, гдѣ талый снѣгъ еще высился толстымъ пластомъ.

Гостиная, съ своими голыми стѣнами, стояла тихая и печальная. Только въ углахъ растенія, совсѣмъ темныя въ полусвѣтѣ комнаты, дѣлали ее уютнѣе и красивѣе.

Елена сидѣла на табуретѣ передъ піанино. Одна ея рука бродила по клавишамъ. Она только что проиграла, медленно и съ тупой педалью, одинъ изъ извѣстныхъ романсовъ Рубинштейна. Присаживалась она къ инструменту только въ рѣдкія минуты и любила тихо говорить подъ мелодію.

Лыжинъ, облокотившійся о косякъ клавиатуры, былъ тутъ же.

Ида ушла въ другія комнаты позаботиться объ ужинѣ и помочь Евгеніи уладить Еленѣ постель въ своей спальнѣ.

Голосовъ не было слышно черезъ коридоръ, точно весь домъ стоялъ совсѣмъ пустой.

— Нѣтъ, другъ,—говорила Елена, и голосъ ея нѣтъ-нѣтъ да и вздрогнетъ отъ сдержаннаго чувства,—нѣтъ, я не стану больше унижаться. А подачки я не хочу.

— Но вѣдь, голубушка, онъ до сихъ поръ ничего не знаетъ и ждетъ.

— Нисколько! Развѣ такая бываетъ любовь? Я ничего не отвѣтила—и онъ понялъ. О! если бъ было иначе!—Елена перестала бродить по клавишамъ,—въ тотъ же день онъ прилетѣлъ бы. Одного звука довольно, когда въ насъ говоритъ страсть.

— Страсть! Страсть! Какъ будто вся прелесть въ ней!

— Не знаю, другъ, не знаю. Налетѣлъ на меня шквалъ, схватилъ меня. Поздновато... Но вѣдь я не лю-

била... Можетъ-быть, даже и не поздно... Я вѣдь не старуха еще.

— Какая же старуха!

— И къ чему меня несло? Къ вѣчному блаженству, что ли? Ха-ха-ха! Одинъ годъ, какое... мѣсяцъ, недѣля...

— Почему не мигъ?—подсказалъ Лыжинъ.

— Именно—мигъ! И я бы его знала, я бы испытала эту болѣзнь... чуму—„la peste“—такъ его зоветъ наша Ида, калѣка любви... Ну и что жъ!—Елена взялась рукой за верхній карнизъ піанино.— Не суждено было! Такъ и нечего толковать. Припадокъ былъ долгій и мучительный.

— Полно, прошелъ ли?

— Не пытайте меня, Лыжинъ. Это не хорошо.

— Голубушка! Развѣ я съ недобримъ чувствомъ?

— Ваша пріятельница Акридина не изъ такого, въ концѣ концовъ, тѣста! Надо встряхнуться.

Она подняла голову и остановилась взглядомъ на одномъ изъ оконъ.

— Онъ все повторялъ,—заговорила она съ оттѣнкомъ горечи и чуть замѣтнаго сарказма,— что такіа, какъ я, не знаютъ народа, не входятъ въ его душу, сверху внизъ просвѣщаютъ его, а про себя презираютъ; навязываютъ ему всякіе развѣдающіе плоды европейской культуры! Ладно!—вскричала она и поднялась совсѣмъ съ табурета.

Въ этомъ возгласѣ Лыжинъ слышалъ прежнюю Акридину.

— Ладно!—повторила она, не такъ громко, но съ бѣлымъ выраженіемъ въ звукѣ этого слова.— Романъ Денисовичъ! Господинъ предводитель дворянства! И мы умѣемъ работать для того же народа.

Она отошла къ печкѣ и, заложивъ руки за спину, окликнула:

— Лыжинъ!

— Что, голубушка?

— Я еще вамъ не говорила. Я задумала большую экспедицію.

— Куда?

— Въ Сибирь. Тамъ еще цѣлый непочатый уголь всего. Чуть не съ того времени, когда нѣмецъ Миллеръ—отецъ россійской исторіи—списывалъ тамъ акты по приказамъ цѣлымидесять лѣтъ.

— Не зимой же вы поѣдете?

— Скоро весна. Я съѣзжу въ Петербургъ, останусь тамъ до Святой, кое-кого заинтересую. У меня есть на примѣтѣ одинъ молодой купецъ. Родомъ оттуда же. Онъ настоящій набобъ. Съ одними купцами теперь и можно имѣть дѣло. А чинуши, дворяне только теоретизируютъ. Снарядить экспедицію у нихъ финансовъ не хватаетъ, всѣ растрасили на всякіе антикультурные пустяки.

„Да, да, — думалъ Лыжинъ, слушая ея возбужденную рѣчь, гдѣ прежняя Акридина выступала опять, — ты и экспедицію затѣнешь, въ пику ему или во имя его, это все равно. Ты его все еще безумно любишь и долго будешь болѣть этимъ недугомъ. Разъ женщина глотнула этого яда, она навѣки отравлена“.

— Tout est près! — раздался изъ коридора усталый и жалкій голосъ Иды. — Юрій!

— Вы меня?

— Да, на минутку сюда!

Онъ вышелъ въ темный коридоръ.

— Une surprise pour vous, — сказала ему Ида на ухо и беря его за руку.

— Что такое?

— La belle veuve est ici — à votre intention, cruel!

— Анисія Прохоровна?

— Да, — продолжала по-русски Ида. — Идите въ столовую. Она вамъ нальетъ водки. И мы съ Еленой позволимъ вамъ — vous mettre à votre aise. Можете надѣть и туфли.

Лыжинъ поцѣловалъ ея руку и заглянулъ въ столовую, весело освѣщенную.

Дочь арендаторши дѣйствительно была тамъ и усаживалась на отдѣльномъ столикѣ, закуску.

— Анисія Прохоровна! — звонко окликнулъ онъ ее.

— Ахъ, батюшки!

Она вся зардѣлась и въ смущеніи даже присѣла на стулъ.

— Здравствуйте! Какъ я радъ!

Лыжинъ взялъ ее за руки и поднялъ со стула.

— Юрій Петровичъ! — заговорила вдова смущенно и радостно. — Опять у насъ! Мы такъ вамъ всегда рады... И маленька...

— А она какъ поживаетъ?

— Маленько нездорова.

— Что у ней?

Анисья Прохоровна конфузливо повела головой.

— Знаете... Это, говорятъ, здоровая болѣзнь. Вередъ у ней вскочилъ на рукѣ.

— Ничего, пройдетъ. Она еще вся желѣзная.

— Не сглазьте! Водочки вамъ не налить ли?

— Налейте.

Лыжинъ присѣлъ около самаго столика съ закуской, и пока Козикина наливала ему изъ графинчика, онъ ее оглядѣлъ.

Какая она статная, благообразная женщина. Въ ней чувствуется „народный крикъ“, какъ выразился бы и народолюбивый предводитель Боярцевъ. И платье онъ узналъ—то самое, въ которомъ она была на праздникѣ открытія школы.

— Юрій Петровичъ,—спросила осторожно Анисья Прохоровна, медленно поднимая на него пышныя рѣсницы,— правда, говорятъ, вы отъ Кумачева-то ушли?

— Ушелъ.

— А землю-то съ лѣсомъ продали?

Его кольнуло въ сердце. Онъ почувствовалъ себя измѣнникомъ—не „прописамъ“, въ которыхъ извѣрился,—а землѣ, народу, въ лицѣ хоть этой вотъ умной, сильной и красивой женщины.

— Теперь не удержишь! — выговорилъ онъ и повелъ плечами.

Изъ трехъ женщинъ въ этомъ домикѣ, только эта и была для него женщиной. Будь у него земля, сѣлъ бы онъ здѣсь, и взялъ ее себѣ, и народилъ бы такихъ же статныхъ и сильныхъ дѣтей, какъ она.

— Спасибо! — почти сконфуженно проговорилъ онъ и пошелъ въ комнату, гдѣ ему приготовили постель.

И передъ нимъ стали вдругъ выплывать отдѣльныя фразы, сжатая, страстная, похожая на стихи псалтири. Онъ зналъ когда-то наизусть все обращеніе „къ дворянству“ того, чья бронзовая статуя слышала его послѣднюю исповѣдь не измѣнника, но отступника.

„Изъ вашихъ рядовъ вышли Пушкинъ и Лермонтовъ“. — „Къ вамъ первымъ мы и обращаемся“. — „Мы рабы, потому что мы господа“. — „Нельзя даже и говорить о правахъ человѣческихъ, будучи владѣльцами человѣческихъ душъ“. — „Учитесь, пока есть еще время“. — „Мы еще въ“

римъ въ васъ". — „Но торопитесь—время страдное. Ни одного часа терять нельзя“.

Лыжинъ, сидя облокотившись о столикъ у кровати, задумался глубоко, и думы его, связанной вереницей, потянули его сызнова туда, откуда онъ бѣжалъ.

„А теперь время не страдное?—спрашивалъ онъ себя.—Крѣпостныхъ нѣтъ, но сословіе, къ которому его учитель когда-то обращалъ это воззваніе, можетъ, если хочеть, занять мѣсто на вершинѣ, откуда будетъ свѣтить безбрежному океану народа. И никогда не кончится его страда“.

— Ami!—окликнулъ его голосъ Иды.—Vous êtes servi! Въ дверяхъ показалась голова Анисы Прохоровны и раздался ея звучный голосъ:

— Юрій Петровичъ, пожалуйста кушать!

И опять, при взглядѣ на эту женщину „простого званія“, его кольнуло за измѣну землѣ.

XXXIV.

У Кумачевыхъ отобѣдали.

Все общество собралось во второй гостиной. На почетномъ мѣстѣ сидѣлъ старикъ, за шестьдесятъ, широкій въ плечахъ, съ лицомъ Грознаго, какъ имъ гримируются актеры въ послѣднемъ актѣ „Василисы Мелентевой“: жидкая, сѣдѣющая борода, изрытое лицо, обнаженный лобъ, надвинутыя брови, насмѣшливый взглядъ узкихъ глазъ. Тѣломъ онъ казался худощавъ и свои длинныя ноги вытянулъ по ковру.

Всѣ мужчины были во фракахъ; онъ одинъ въ короткомъ пиджакѣ и не первой свѣжести.

Нина занимала уголь дивана, около его кресла, Захаръ Лукьяновичъ—напротивъ. Въ сторонѣ размѣстились Эсауловъ, Ковригинъ, Шахматовъ и еще молодой человѣкъ бѣлокурый, въ усахъ, бритый, довольно красивый, въ такихъ же очкахъ, какъ Шахматовъ, на видъ не то чиновникъ, не то адвокатъ. Онъ всѣхъ внимательнѣе слушалъ то, что говорилъ почтенный гость.

Гость приводился князю Иларіону Ивановичу двоюроднымъ братомъ. Какъ и всѣ члены старшаго „колѣна“, носилъ онъ титулъ „свѣтлѣйшаго“. Звали его Петръ Никитичъ. Онъ проѣзжалъ за границу, гдѣ и прежде жывалъ подолгу.

Хозяинъ въ почтительной, но свободной позѣ наклонилъ

голову впередъ. Своей посадкой онъ какъ бы говоритъ всѣмъ гостямъ:

„Вы видите, у насъ дяденька свѣтлѣйшій и такъ же богатъ, какъ и я, но мы и передъ нимъ унижаться не намѣрены“.

На свѣжестъ, нѣсколько поблѣднѣвшемъ обликѣ Нины, съ особымъ блескомъ, который шелъ отъ ея кожи даже и при вечернемъ освѣщеніи, застыла спокойная улыбка. Полоска искристыхъ зубовъ придавала новое выраженіе, гдѣ хорошо ее знающій человѣкъ прочелъ бы цѣлый итогъ всего того, что она пережила въ эту зиму. И ея глаза оглядывали медленно и спокойно гостей, останавливаясь на своеобразной фигурѣ князя Петра Никитича.

Онъ—ея дядя. Всѣмъ извѣстно, что это за человѣкъ, какого права, какого склада во всей своей личности. Это—полное олицетвореніе древне-русскаго удѣльнаго князя, считающаго себя равнымъ всѣмъ и каждому или, по меньшей мѣрѣ, именитаго дружинника, кому право „отъѣзда“, т. е. протеста противъ своего князя,—самое дорогое право. У него могутъ и должны быть „холопы“; но онъ скорѣе лишится „животишекъ“, чѣмъ въ челобитной назоветъ себя „холопъ твой Петрушка“.

И какъ его глухая, отрывистая и постоянно насмѣшливая рѣчь идетъ къ нему. Такъ, навѣрно, говорилъ и Грозный, когда издѣвался надъ крамольниками, которыхъ потомъ слалъ на лютую казнь, или въ Грановитой палатѣ „шпынялъ“ пословъ польскихъ и рыцарей Ливонскаго ордена, когда имъ приходилось плохо отъ его полчищъ, и они пріѣзжали просить мира и жалобно произносили пространныя рѣчи о разореніи своей земли его свирѣпыми инородцами.

И ей самой сдавалось, что она—царевна или дочь такого удѣльнаго князя, или вдовствующая княгиня, пріѣхавшая изъ своего удѣла, гдѣ она правитъ за малолѣтствомъ его внука, ея единороднаго сына, въ томъ древнемъ приволжскомъ городѣ, гдѣ еще держится, не прибранный хищною Москвой, „княжій столъ“.

Развѣ на такой высотѣ можно безпокоиться о случайностяхъ своего личнаго поведенія? Была правительница Елена Глинская, мать грознаго властелина, на котораго похожъ вотъ этотъ ея дядя, сидящій рядомъ съ нею. И она увлеклась. И при ней стоялъ любимецъ-временщикъ, Телепень-Оболенскій. Что жъ изъ этого? Но тотъ

обладалъ ею, какъ женщиной, и пользовался ея слабостью женщины.

Въ ея личномъ поведеніи—маленькая, совершенно ничтожная „pécadille“, о которой и вспоминать-то смѣшно, не то что уже сокрушаться. Могло все рухнуть, все, чѣмъ она снова владѣетъ; но не рухнуло. Она опять прежняя Нина, и на тѣхъ, кто глупо къ ней относится, она сама обращаетъ „нуль вниманія“. Ея родной дядя своимъ присутствіемъ все освящаетъ, и Захаръ Лукьяновичъ поклонилъ, вотъ уже больше мѣсяца, выдерживаніе своего купеческаго нрава. Они опять, фактически, мужъ и жена.

Князь продолжалъ говорить одинъ, и сарказмъ игралъ въ его зеленоватыхъ глазахъ.

— Какъ же намъ соперничать съ Западомъ по части производительности,—обратился онъ къ Кумачеву,—когда у насъ, по статистикѣ, на полтораста дней въ году праздниковъ?

— Совершенно вѣрно,—подтвердилъ Кумачевъ, съ наклономъ головы.

— Я еще изумляюсь, какъ господа фабриканты могутъ управляться со своими народамъ.

— Истинная каторга!—подтвердилъ Захаръ Лукьяновичъ.

И тотчасъ же онъ, поднявъ голову, посмотрѣлъ властнымъ хозяйскимъ взоромъ. „Со мною-де шутить не вкусно. Былъ у меня погромъ и стоилъ мнѣ четыреста тысячъ рублей. Я уперся и штрафовъ не убавилъ. И никогда не убавлю. Военская команда—не свой братъ. А пить-ѣсть надо православному крестьянству“.

Послѣ погрома онъ сократилъ всѣ „гуманности“ своей маменьки Раисы Гордѣевны.

— Только вѣдь посредствомъ вашихъ безобразныхъ запретительныхъ пошлинъ можно дешево продавать ситецъ и миткаль.

Князь былъ „фритредеръ“, но Захаръ Лукьяновичъ не смѣлъ вступать съ нимъ въ споръ ни по этому, ни по какому другому поводу.

— Да и вообще нашего рабочаго только господа пародолубы прославили образцовымъ. Чистѣйшее вранье! Я десятки лѣтъ хозяйничалъ, перепробовалъ всего... фабрики, хутора, искусственное луговоедство, разработку лѣсныхъ производствъ, скотоводство всякихъ видовъ, и раз-

мѣровъ — и сошелъ на нѣтъ. Русскому дворянину-земле-
владѣльцу, въ то безумное время, когда я имѣлъ удоволь-
ствіе хозяйничать, то-есть въ эпоху эмансипаціи, въ те-
ченіе цѣлой четверти вѣка нельзя было ничего ни пред-
принять, ни провести въ жизнь. Всѣ гарантіи пали, вся-
кій авторитетъ подкошенъ въ корень. Объ этомъ заднимъ
числомъ глупо плакать! Если теперь взялись немножко за
умъ — многое уже положено въ лоскъ! Но я не о томъ
веду рѣчь, господа. Рабочая способность нашего мужика —
а всѣ наши господа увіеры мужики — относится къ сред-
ней трудовой способности заграничнаго рабочаго какъ
одинъ къ тремъ. Я еще очень щедро кладу. Даже и наши
хваленые смоленскіе землекопы — чистѣйшая мразь въ
сравненіи съ поджарыми итальянцами, какихъ десятки
тысячъ работаютъ за границей въ туннеляхъ и на-
горныхъ желѣзныхъ дорогахъ. Чистѣйшая мразь! И вотъ
позвольте рассказать вамъ маленькій комическій инци-
дентъ изъ моего маленькаго же заграничнаго хозяйства...
При моей избенкѣ, — Кумачевъ зналъ, что эта „избенка“,
вила съ паркомъ, цѣнится въ полмилліона франковъ, —
на первыхъ порахъ случилось не мало земляныхъ работъ:
рвы, разрыхленіе почвы, дренажъ, всякая штука. — Князь
сдѣлалъ громкую передышку. — Нанимаю рабочихъ тоже
больше изъ породы „фүштра“: такъ я называю всякихъ
савойцевъ, южныхъ французовъ и швейцарцевъ изъ кан-
тона Тиччино. Фүштра! Чумазые, малаго роста, испытые,
ободренные — чистѣйшая фүштра!

Всѣ гости тихо размѣялись.

— А при мнѣ, надобно вамъ знать, состоялъ русскій
парень — Прошка. Тогда онъ впервые попадалъ къ „цицар-
цамъ“ — онъ такъ зоветъ всѣхъ, кто не нѣмецъ или не
чистый французъ.

Гости опять размѣялись.

— Подаетъ онъ мнѣ чай. Я его спрашиваю: „Ну, какъ
тамъ въ саду работаютъ?“ — „Да что, говорить, князь, они
только валаждаются. Срамъ смотрѣть!“ — „Какъ такъ?“ —
„Да такъ-съ... Ежели имъ урокъ заданъ, ни одинъ изъ
нихъ ни въ жисть не докончить къ вечеру. Они уже
чуть не съ пѣтуховъ копаются — и ни съ мѣста. Просто
охота разбирать, утереть имъ носъ, показать, какъ рос-
сійскій человѣкъ работаетъ.“ — „Что жъ! — говорю я ему, —
становись съ ними завтра чѣмъ свѣтъ, и посмотримъ, кто
раньше покончитъ урокъ. Я тебя освобожу на цѣлыхъ

четыре дня. Одного дня мало. Сгоряча ты ихъ сразу побьешь, а потомъ и сядешь на заднія лапы“.

Князь прибралъ ноги и подался впередъ туловищемъ. Его зеленоватые глаза заискрились. Разсказъ его подымалъ.

— И что же вышло, господа! Становится мой Прошка гоголемъ на свой урокъ. Выхожу я передъ завтракомъ въ паркъ—онъ уже отмахалъ двѣ трети. Ухмыляется, подмигиваетъ и киваетъ на „цицарцевъ“. Тѣ плетутся позади его на цѣлыхъ полдесятины.

— Вотъ видите!—отъликнулся докторъ Шахматовъ.

— Дайте срокъ. Въ первый день онъ кончилъ въ четыре часа пополудни. Во второй еле дошелъ съ ними ровень. Въ послѣдніе два дня они его обгоняли, и у него осталось работы на полсутокъ.

— Вѣрно!—сказалъ Кумачевъ. — Они могутъ работать, да не хотятъ.

— Нѣтъ-съ, любезнѣйшій Захаръ Лукьяновичъ! — возразилъ князь. — И не могутъ! У русака рыхлая конструкція. Онъ не жилистъ, нѣтъ въ немъ наслѣдственной выдержки всякаго фуштры. Тотъ, наконецъ, при всей своей дьявольской умѣренности, пьетъ всегда красное вино и ѣстъ колбасу; колбаса—мясо, а не рѣдька съ квасомъ.

Тутъ только князь злобно разразился дробнымъ смѣхомъ.

XXXV.

Передъ уходомъ князь, перемѣнивъ позу, обратился къ Эсаулову; за обѣдомъ тотъ съ нимъ не согласился въ чемъ-то.

— Вотъ вы изволили какъ бы защищать пресловутый принципъ самоуправленія,—началъ онъ медленно и болѣе барскимъ звукомъ.

— Не совѣмъ такъ, князь! — поправилъ, весь съежившись, Эсауловъ.

— Ои ѧ реи рѣс! Тридцать лѣтъ путешествія и безобразія показали, до чего дошли наши православные, предоставленные самосѣченію и самоспаизанію. Когда мы въ земствѣ—насъ всего было тогда пять-шесть человѣкъ, сохранившихъ здравый смыслъ — настаивали на необходимости возстановить законную опеку дворянина надъ мужикомъ—насъ побивали камнями. И забавно! Вашъ покорный слуга представилъ тогда записку... въ этомъ именно смыслѣ. Ее, разумѣется, осмѣяли; оставили шутомъ го-

роховымъ. И что же?.. Основная идея была—iota въ iоту—та самая, которая находится въ учрежденіи нашихъ доморощенныхъ шерифовъ.

— Шерифовъ!—подхватилъ вполголоса Кумачевъ, первый понявъ, кого князь называетъ иносказательно.

— Но все — заднимъ умомъ, когда уже никакіе шерифы ничего не исправятъ! То же самое и насчетъ пресловутой реформы суда. Тридцать лѣтъ назадъ я составилъ записку, гдѣ доказывалъ, что дальше суда, въ родѣ нѣмецкихъ шеффеновъ, у насъ безумно идти. Разумѣется, меня обили помоями. А теперь идея шеффеновъ на очереди. И опять будетъ послѣ ужина горчица. Ха-ха!

Князь поднялся и, немного нагнувшись къ племянницѣ, положилъ ей руку на плечо:

— Bonsoir, petitel! — сказалъ онъ ей; Захару Лукьяновичу подаль руку, а остальнымъ мужчинамъ сдѣлалъ легкой круговой поклонъ и повернулся быстрымъ поворотомъ.

Нина проводила его до дверей, мужъ ея пошелъ съ нимъ дальше.

Гости не нашли умѣстнымъ дѣлать какія-нибудь замѣчанія о князѣ, и только Ковригинъ, присѣвъ къ Нинѣ на диванъ, высказался своей шепелявой, изломанной дикцией:

— Très crâne, son altease princière, très crâne!

На это Нина отвѣтила однимъ возгласомъ:

— Oui — dà!

Кумачевъ вернулся довольный, съ тихой усмѣшкой на крупныхъ губахъ.

Шахматовъ подошелъ къ нему.

— Настоящій Рюриковичъ — вашъ дяденька, Захаръ Лукьяновичъ.

— Да, настоящій,—подтвердилъ Кумачевъ.

— Большая цѣльность взглядовъ, что такъ рѣдко въ русскомъ тѣри,—полунасмѣшливо выговорилъ Эсауловъ и подселъ къ Нинѣ, на мѣсто, оставленное ея дядей.

Ей не хотѣлось руководить разговоромъ. Она чувствовала пріятное утомленіе и была бы рада, если бы гости не засиживались.

Всѣ опять сѣли въ кружокъ. Молодой человекъ, такъ внимательно слушавшій князя,—его фамилія была Ненароковъ,—спросилъ Кумачева серьезно и дѣловито:

— Вѣдь князь, если не ошибаюсь, свѣтлѣйшій?

— Какъ же,—отвѣтилъ за Кумачева Шахматовъ.

— И вы, Ненароковъ, — спросилъ молодого человѣка Захаръ Лукьяновичъ, — если не ошибаюсь, должны находить многое, что говорилъ князь Петръ Никитичъ, весьма и весьма цѣннымъ, именно въ настоящее время?

— Въ особенности его взгляды на судъ и вопросъ возмездія.

Гости анали, что этотъ молодой человѣкъ — прїѣзжій изъ Петербурга, гдѣ и учился въ университетѣ. Захаръ Лукьяновичъ доставилъ ему мѣсто въ Москвѣ и предложилъ у себя дополнительныя занятія, въ родѣ какъ бы домашняго юрисконсульта.

— Это насчетъ смертной казни? — окликнулъ Шахматовъ, собиравшійся уходить.

— Да-съ. И насчетъ смертной казни. Вѣдь, согласитесь, профессоръ, — почтительно наклонился Ненароковъ въ сторону Шахматова, — и съ научной точки зрѣнія нераціонально сентиментальничать, разъ ватура преступника признана неисправимой. Такой членъ, пораженный гангреной, общество не только имѣетъ право, но положительно обязано отсѣкать. И въ этомъ вопросѣ Ломброзо безусловно правъ.

— Вы сами составили себѣ такое воззрѣніе, — учительскимъ тономъ отозвался Эсауловъ, — или вынесли его изъ аудиторіи?

— Изъ аудиторіи-съ, — убѣжденно и вѣско выговорилъ Ненароковъ. — Время гуманнаго франтовства кануло въ вѣчность. И наука, и польза государства сходятся въ этомъ пунктѣ безусловно.

„Такъ, такъ, — думалъ Кумачевъ и благосклонно поглядывалъ на молодого человѣка, прошедшаго новую школу. — Съ такими юнцами дѣло пойдетъ иначе. Ихъ стоить поощрять“.

Шахматовъ тоже былъ, повидимому, доволенъ направленіемъ молодого юриста. Прощаясь съ Захаромъ Лукьяновичемъ, онъ спросилъ:

— А что я давно не вижу у васъ вашего домашняго мудреца Кострицына и господина... какъ, бишь, его?

— Лыжина? — подсказалъ Кумачевъ и выпятилъ губы. — Оба удалились. Одинъ изволилъ поступить въ супруги актрисы сомнительнаго поведенія, а другой выказалъ себя достаточно краснымъ, когда у насъ вышло волненіе на мануфактурѣ. Будь вотъ у меня сей молодой человѣкъ —

Кумачевъ указаль на блондина—онъ, конечно бы, не сталъ на сторону бунтарей.

— Конечно, нѣтъ!—откликнулся молодой человѣкъ, и съ усиленнымъ наклономъ головы сталъ прощаться.

Нина сидѣла все на томъ же мѣстѣ. Провожать Шахматова пошелъ Кумачевъ. При ней остались на нѣсколько минутъ ея два кавалера—Эсауловъ и Ковригинъ.

Эсаулова она—не дальше, какъ третьягодня—сначала пріятельски пожурила за то, что онъ вздумалъ держать себя съ нею двойственно и говорить тономъ ментора, а потомъ поставила ему категорическій вопросъ: желаетъ онъ быть съ нею на прежней пріятельской ногѣ, но безъ всякихъ „репримандовъ“? Въ городѣ уже перестали говорить о дуэли. Гольцъ уѣхалъ въ полкъ. Рана не сдѣлаетъ его калѣкой. Съ мужемъ они попрежнему, и если въ ея столовой и салонахъ князь Петръ Никитичъ чувствуетъ себя какъ старшій родственникъ и, можетъ-быть, „sans danger“, то подавно каждый изъ московскихъ ея знакомыхъ—титлованныхъ или нѣтъ—будетъ себя чувствовать точно такъ же.

Эсауловъ улыбнулся и пропустилъ сквозь зубы, но съ особеннымъ выраженіемъ:

— Былъ вчера у Tonton. Она мнѣ изливалась.

— Въ чемъ?

— Насчетъ васъ.

Поближе присѣлъ и Ковригинъ и, прищуриваясь, глядѣлъ на Нину. Его руки отвѣсно лежали на груди, точно онъ ихъ нарочно показывалъ.

— И что же?—спросила Нина и выпрямилась.

— Ей, кажется, неловко.

— Je crois bien!—вырвалось у Нины. — Нельзя такъ дуться, безъ всякаго серьезнаго повода. Этого мало! Être indiscret et méchante... envers celle, dont elle se disait l'amie... до гробовой доски!—докончила она по-русски и повела ртомъ вбокъ.

— C'est ça, c'est ça!—произнесъ тономъ судьи Ковригинъ. — Nanon, Богъ знаетъ, какого тона дѣлается. Elle se rouille... со своимъ собачникомъ Платошей.

— Словомъ, она притихла?—спросила Нина, и чуть не сказала вслухъ то, что подумала: „мнѣ-де нечего терять, а она и ея супругъ потеряютъ открытый домъ, гдѣ они катались какъ сыръ въ маслѣ; да и денегъ всегда можно перехватить у Захара Лукьяновича“.



— Да, если хотите—притихла,—сказала Эсауловъ.

— Другими словами—она васъ прислала... Только вы ходите перетонить, мой другъ.

— C'est ça! — процѣдилъ Ковригинъ и въ носъ засмѣялся.

Эсауловъ хотѣлъ-было обидѣться, но не обидѣлся. Ссориться съ Ниной не было причины. Въ немъ, какъ въ холостякѣ, все еще признающемъ, что онъ „опасенъ для женщинъ“, надежда когда-нибудь сблизиться съ нею, незамѣтно и „подъ шумокъ“, усилилась съ тѣхъ поръ, какъ у ней была „исторія“. Она ему и какъ женщина стала больше нравиться.

— Можете ей сказать, — выговорила авторитетно Нина, — мой домъ всегда открытъ для нея. Но первая я прыгать не намѣрена.

— C'est ça! — рѣшилъ Ковригинъ, поднялся и сталъ цѣловать ея руку.

За нимъ и Эсауловъ. Оба ушли вмѣстѣ и въ дверяхъ встрѣтили Кумачева. Онъ, какъ достойный племянникъ Рюриковича, проводилъ ихъ до лѣстницы, хотя ни съ однимъ изъ нихъ не стоило особенно церемониться.

Захаръ Лукьяновичъ тихо подошелъ къ женѣ, взялъ ея руку и высоко поднесъ ее къ губамъ.

— Ты, я думаю, ужасно утомилась? — спросилъ онъ ласково, съ какимъ-то новымъ, точно отеческимъ оттѣнкомъ.

— Да, немножко.

— Поди, раздѣнься... Ты никого вечеромъ не ждешь?

— Нѣтъ, никого.

Этимъ вопросомъ онъ показывалъ, что попрежнему ограждаетъ независимость своей супруги: она можетъ принимать когда и кого ей угодно, и выѣзжать — такимъ же манеромъ. Чтò было, тò прошло. Она слишкомъ умна, чтобы другой разъ рисковать всѣмъ изъ-за какого-нибудь „верзили въ мѣдномъ шишакѣ съ птицей“.

Когда у нихъ дошло до объясненія — оно было всего въ три минуты. Нина, вздрагивающимъ — „нутрянымъ“, какъ онъ называлъ — голосомъ, сказала ему тогда:

— Барону Гольцу я никакихъ правъ на себя не давала. Прошу этому вѣрить.

Онъ и повѣрилъ. Будь она не замужемъ, даже дѣвицей подъ строгимъ надзоромъ — такая интрижка съ офицеромъ была бы пустячкомъ. Есть дѣвицы, что, по-аме-

рикански, флёртируютъ, до замужества, безчисленное число разъ.

— Отдохни!—сказалъ онъ такъ же мягко, поцѣловалъ ее въ лобъ и удалился къ себѣ.

Ему надо было поработать. Теперь онъ—предсѣдатель двухъ городскихъ комиссій, и ему на-дняхъ дали Владимира на шею. Погромъ на фабрикахъ, тѣ, какимъ молодцомъ онъ понесъ убытокъ чуть не въ полмилліона, и какъ онъ приструнилъ рабочихъ,—все это подняло его на двѣ головы въ глазахъ избирателей всѣхъ сословій.

„Съ ними ты прекрасно проживешь весь свой вѣкъ!“—думала Нина, провожая его замедленнымъ взглядомъ.

XXXVI.

На подавленномъ сугробахъ дворъ заушенной усадьбы только въ петухомъ флигелькѣ, гдѣ когда-то жилъ управляющій, виденъ былъ свѣтъ въ трехъ окнахъ.

Вѣтеръ вылъ и крутилъ свѣжнущую пургу, врываясь въ околицу съ дырявымъ частоколомъ. Деревня ютилась далеко, подъ горой. Уныло и жутко смотрѣла вся мѣстность.

Ворота стояли открытыми. Ихъ столбы давно повачнулись. Земская пара, позвякивая колокольчикомъ, поднялась слѣва и вѣхала въ ворота. Лошади съ трудомъ ступали по рыхлому снѣгу. Въ саняхъ сидѣлъ одинъ только сѣдокъ, ушедшій въ высоко поднятый воротникъ сибирской дахи.

У флигеля сани остановились, и колокольчикъ издалъ послѣдній надтреснутый звукъ.

Лыжинъ вылѣзъ и, съ трудомъ отыскивая въ полутьмѣ порошу, пошелъ къ крылечку. Сюда онъ попадалъ въ первый разъ.

Съ той зимы, когда онъ въ Москвѣ поступилъ на службу къ Кумачеву, прошло больше года.

Сюда онъ попадалъ въ первый разъ, и вѣхалъ съ послѣдней станціи желѣзной дороги.

На крылечко онъ вошелъ осторожно и съ трудомъ отворилъ дверь, обитую рогожей и примерзающую внизу.

Въ полутемной передней, со старинными ларями, онъ сталъ снимать свой ермакъ, такъ долго и честно послужившій ему.

Его обоняніемъ сейчасъ же овладѣлъ запахъ лѣкарствъ, комнаты, гдѣ лежитъ тяжело больной.

„Бѣдная!—подумалъ онъ.—Встанетъ ли?“

На легкій шумъ его прихода изъ первой комнаты-зальцы выбѣжала женщина съ платкомъ на головѣ, въ пальто. Лица онъ не могъ рассмотреть.

— Кто это? Ахъ! вы, Юрій Петровичъ?

Это была Леля Божеярина.

Она, уже недѣля, какъ жила съ Идой въ этомъ флигелькѣ. Обѣ ухаживали за Акридиной, заболѣвшей тифомъ. Ей пришлось просить отпускъ. Съ радостью отказалась она отъ самой „выигрышной“ роли.

— Чтѣ?—упавшимъ голосомъ спросилъ Лыжинъ.

— Тяжела... очень тяжела!

— Я послалъ отчаянную депешу доктору Гурьянову. Онъ будетъ.

— А!—радостно вскричала Леля, сдерживая звукъ.

— А теперь какъ она?

— Забылась. Температура—адская. Рѣдко приходитъ въ сознаніе. И ничего здѣсь не достать! Такая трущоба! Докторъ ѣздитъ только черезъ день. Лучше бы не ѣздилъ. За лѣкарствомъ послать—десять верстъ, да и то дрянъ!

Она говорила ему, вводя въ зальцу, гдѣ, за ширмами, стояла ея кровать. Стѣны, въ деревѣ, почернѣли. Мебель вся состояла изъ длиннаго дивана, стола и трехъ стульевъ. Свѣча, подъ абажуромъ, уныло освѣщала эту комнату, похожую на передбанникъ.

Изъ дверей въ слѣдующую комнату вышла Ида, въ темной блузѣ, съ головой, укутанной платкомъ, какъ и у Лели. Домишко нагрѣвался туго, и въ стѣны дуло во всѣхъ углахъ.

— Mon ami!

Они обнялись. Ида, глотая слезы, глубоко впалыми глазами приласкала его, взяла за руку и отвела къ дивану, сказавъ Лелѣ:

— Посидите около нея. Надо ставить термометръ, какъ только она придетъ въ себя.

По уходѣ Лели они оба съ полминуты молчали: слишкомъ много было у нихъ на душѣ и на языкѣ разспросовъ.

— Чтѣ она? —спросилъ Лыжинъ и поглядѣлъ въ ту сторону, гдѣ лежала тяжело-больная.

Ида только покачала головой и какъ будто что-то въ родѣ усмѣшки повело ея блѣдный ротъ.

— Неужели?

— Не знаю... Не могу надѣяться.

— Гурьяновъ будетъ.

— Спасибо.

Она протинула ему руку, горячую и сухую.

— Да и у васъ жаръ, голубушка!

— Нѣтъ. Это такъ... отъ печей.

— И вы ухлопаете себя, какъ она.

— Ничего!

— Своего рода самоубійство,—сказалъ Лыжинъ, опуская голову въ ладони рукъ, упертыхъ въ колѣна.

— Не знаю, другъ.

— Разумѣется. Все это—реваншъ тому елейному блондину.

— Можетъ-быть,—медленно промолвила Ида.

— И ея экспедиція въ Сибирь. Развѣ это не вызовъ, брошенный ему же: я-де покажу, какъ я изучаю народъ, съ какимъ чувствомъ и пониманіемъ. Тамъ она надорвала здоровье. Плевать схватила. А теперь этотъ объѣздъ доконалъ.

— C'est sublime!

— Кто говорить! Бѣда стряслась общенародная. Оставаться холоднымъ нельзя. Но она точно искала смерти. Другая бы взяла работу, положимъ, тяжелую, но не такую, гдѣ не заразиться нельзя. Стала бы развозить хлѣбъ, открывать столовые. А то прямо въ уѣздъ, гдѣ голодный тифъ валить всѣхъ—и взрослыхъ, и дѣтей.

— А вы? — остановила его Ида, точно желая иначе направить разговоръ.—Расскажите мнѣ, Юрій...

— Да чтò... Вотъ очутился тоже въ кухаряхъ. Деньги пока прибываютъ; не знаю, чтò дальше будетъ.

— Столовые хорошо идутъ?

— Это самое лучшее, чтò можно придумать.

— И не дорого?

— Рубли на полтора въ мѣсяцъ. Ъда до отвалу.

Ида тихо усмѣхнулась.

— Отъ васъ долженъ ѣхать сегодня же въ Софроновскую волость. Тамъ еще не налажено. Ночевать попаду къ лѣсничему. Туда съѣдутся и господа комиссары по работамъ. Знаете,—онъ наклонился и продолжалъ тише:— слышалъ я, что и Боярцевъ пошелъ въ эти комиссары. Если я его встрѣчу—сказать о ней?

Лыжинъ указалъ головой на дверь.

И опять они смолкли, прислушиваясь къ тому, чтò черезъ комнату, гдѣ лежала больная.

— Говорить,—сказалъ Лыжинъ.—Ея голосъ узнаю.

— Въ бреду... когда она начнетъ, то сейчасъ горячо спорить.

— Съ нимъ?

— Да. Иногда кричитъ: „Я докажу, я докажу! Пустите меня, пустите!“ Или начнетъ пѣть... по-итальянски... И голосъ такой сильный.

Половина дощатой двери отворилась. Леля окликнула:
— Господа! Лидія Павловна!

Лидія тотчасъ же подошла къ двери. Лыжинъ остался на мѣстѣ.

— Сильно мечется... Я ее не могу удержать. А Настасья ушла на порядокъ.

— Не могу ли я?—шопотомъ спросилъ Лыжинъ и поднялся.

Онъ пошелъ слѣдомъ за Идой. Леля уже держалась за дверь комнаты больной. Проходная комната была вся заставлена двумя кроватями, узкая и холодная, съ печью, отъ которой шелъ запахъ глины.

Въ дверяхъ Лыжинъ остановился.

На низкомъ диванѣ, занимавшемъ всю стѣну, лежала, разметавшись, Елена. Голова ея упиралась въ высоко поднятыя подушки. Замѣтная сѣдина смягчала цвѣтъ волосъ, стриженныхъ недѣли двѣ назадъ. Такъ она казалась еще болѣе похожей на мальчика.

Глаза возбужденно выходили изъ глубокихъ впадинъ и взглядъ бѣгалъ вправо и лѣво.

— Кто? Кто?—заговорила она и сдѣлала быстрое движеніе, точно хотѣла вскочить съ постели.

Леля схватила ее подъ мышки. Ида, у изголовья, наклонилась надъ нею.

— Лежи, милая, лежи! — тономъ мольбы заговорила она.

— Кто? — гнѣвно крикнула Елена. — Какая Іуліанія Вяземская? Какая?

И она, расхохотавшись, упала головой на подушку, плашмя.

„Іуліанія Вяземская“,—повторилъ про себя Лыжинъ, и тотчасъ же ему вспомнился, почти дословно, весь споръ Елены съ Боярцевымъ въ квартирѣ Иды. И тогда она иронически и задорно кинула Боярцеву вопросъ: „Что это еще за Іуліанія Вяземская?“

Въ воспаленномъ мозгу работало усиленно нѣсколько

ячеекъ, захваченныхъ однимъ стремленіемъ, однимъ образомъ того, кто ее выбилъ изъ колен.

Тяжелый воздухъ проникалъ въ грудь Лыжина. Тутъ можно было ежесекундно схватить заразу. Невольное жуткое чувство зашевелилось у него—что-то въ родѣ страха. Но онъ не успѣлъ его отчетливо сознать. Обѣ женщины стояли у постели. Больная уже не порывалась вскочить и бредъ стихъ. Она неопредѣленно промычала и, повернувшись къ стѣнѣ, тяжело задышала, съ носовымъ звукомъ, который прошелся по слуху Лыжина особенно жутко. Онъ слышалъ въ этомъ свистящемъ, хрипломъ дыханіи близость конца.

И ему вдругъ подумалось:

„Развѣ такъ не лучше будетъ? И чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше!“

Ему не стало жаль извѣстной Акридиной, ея ума, знаній, энергіи, плановъ, все новыхъ и новыхъ изслѣдованій.

Жизненный нервъ надорванъ. Если и встанетъ—будетъ влечить жалкую долю женщины, отравленной любовнымъ ядомъ.

Леля обернулась къ нему, и по ея лицу онъ понялъ, что ему лучше удалиться. Кажется, больную надо было раздѣть и обмыть.

Онъ радъ былъ тому, что полутемнота отъ дешевой лампочки не позволяла ему разглядѣть лица и тѣла Елены, и онъ еще не зналъ, какой это тифъ: простой, желудочный или пятнистый.

На цыпочкахъ выдвинулся онъ изъ комнаты, гдѣ его сверстница была въ когтяхъ заразнаго недуга.

XXXVII.

Небольшая деревянная станція съ плохенькимъ буфетомъ пустынно темнѣла среди волнистой снѣжной равнины. Вдали тянулася полоса хвойнаго лѣса.

Послѣдній поѣздъ давно ушелъ. Въ буфетѣ, за чайнымъ столомъ, сидѣлъ всего одинъ пассажиръ.

Лыжинъ завернулъ на станцію закусить и согрѣться, между двумя посѣщеніями деревень: тамъ надо было, какъ можно скорѣе, наладить столовую.

Онъ уѣхалъ изъ усадьбы, гдѣ лежала Елена, безъ надежды увидать ее. Болѣзнь вошла уже въ третью недѣлю, а признаки становились все зловѣщѣе. Ида выносила эту

грядущую потерю съ тихимъ мужествомъ. Ни одной слезы не проронила она, ни одного лишняго восклицанія не вырвалось у нея. Въ этой женщинѣ онъ уже не впервые распознавалъ чудесную душу и натуру, способную на подвиги, если бъ какая-нибудь высокая идея охватила ее своимъ пламенемъ.

Вотъ они оба почти ровесники, люди одной полосы—доживаютъ врознь. Такъ и дойдутъ до конца. А соединиться не тянетъ. Ида еще очень привлекательная женщина. Довольно ей страсти. Хорошее, испытанное чувство могло бы навѣки согрѣть ихъ обоихъ.

Но онъ не могъ бы настроить себя на сближеніе, за которымъ стоитъ сожителство, какое бы оно ни было—въ бракѣ или внѣ его. Ида слишкомъ долго была его товарищемъ, а теперь она вызывала въ немъ чувство, близкое къ сыновнему. Никого онъ такъ не жалѣлъ, да никого и не считалъ настолько выше себя по благородству и глубинѣ душевнаго склада. Это и мѣшало—больше, чѣмъ что-либо—влеченію къ женщинѣ.

Да и время было не такое.

Подползла грозная бѣда, и вотъ онъ по доброй волѣ, совершенно просто, безъ всякихъ вопросовъ и разфѣдающаго резонерства, очутился на службѣ народу. И ему ни разу съ тѣхъ поръ, какъ онъ ѣздитъ по деревнямъ, закупаетъ крупу и горохъ, капусту и картофель, собираетъ сходки и налаживаетъ хозяйство столовыхъ, буквально ни разу не пришло на умъ:

„Не опять ли онъ повернулъ къ прежнимъ поискамъ, къ тому состоянію, когда пустишь себѣ вошь въ ухо и пойдешь въ зипунѣ стукать лбомъ передъ своимъ идоломъ—мужикомъ?“

Онъ тотъ же Лыжинъ, что состоялъ на службѣ у „его степенства“ Захара Лукьяновича Кумачева и вступилъ въ дружбу съ „амбарнымъ Сократомъ“ — Иваномъ Кузьмичомъ Кострицынымъ.

Поджидая поѣздъ, Лыжинъ смутно надѣялся, что изъ Москвы подѣдетъ Гурьяновъ. Должны придти два поѣзда съ разныхъ сторонъ—съ сѣвера и съ юга—и встрѣтятся здѣсь. Московскій будетъ стоять всего десять минутъ, а южный останется дольше и придетъ первымъ.

Показались признаки приближенія второго поѣзда. Буфетчикъ сталъ за стойку. Дѣвица, у самовара, начала перемывать чашки. Лакей принесъ блюдо съ чѣмъ-то и

поставилъ его на столъ съ приборами. Въ окно Лыжину было видно, какъ порывѣлая шинель дежурнаго жандарма мелькала взадъ и впередъ.

Раздѣльно и мягко ударили въ сигнальный аппаратъ: поѣздъ вышелъ съ послѣдней станціи.

Лыжинъ допилъ свой стаканъ и прошелся взадъ и впередъ по залу.

Грудь локомотива показалась слѣва, выѣстъ съ порывистымъ и слитнымъ первымъ звонкомъ.

Потянулись пассажиры и жадно набросились на чай.

— Юрій Петровичъ! Дружище!

По громкому оклику Лыжинъ не сразу узналъ голосъ.

— Кострицынъ!

Они обнялись.

— Позвольте и мнѣ поцѣловать васъ.

Липа, въ мѣховой ротондѣ, повязанная оренбургскимъ платкомъ, раскрыла широко руки и обняла Лыжина.

— Куда? Откуда? — спрашивалъ онъ ихъ, отведя къ чайному столу.

— Сидемъ туда, въ уголокъ, — сказалъ Кострицынъ. — Намъ не къ спѣху. Мы вѣдь отсюда на обывательскихъ.

Они сѣли въ уголъ, отъ окна, около кіота.

Лыжинъ жалъ имъ руку и оглядывалъ то одного, то другого.

Липа пополнила и глаза получили прежній блескъ. По ея фигурѣ Лыжинъ догадался, что она беременна. Кострицынъ въ тулупчикѣ и въ сѣрой смушковой шапкѣ смотрѣлъ артельщикомъ — краснощекій, кудрявый на вискахъ, попрежнему юркій въ движеніяхъ.

— Куда? — переспросилъ Лыжинъ, держа ихъ за руки.

— Вотъ Липа пожелала навѣстить Елену Константиновну.

— И оттуда.

— И что жъ? — спросила Липа, и брови ея сдвинулись.

Лыжинъ опустилъ голову.

— Опасна?

— Да. Идутъ пріѣзда доктора Гурьянова.

— Тамъ Ида Павловна? — продолжала расспрашивать Липа.

— Тамъ.

— Какой видъ тифа? Пятнистый?

— Не знаю навѣрно. Но очень тяжела.

— Заразилась! — вырвалось у Липы.

Мужъ поглядѣлъ на нее и тихо сказалъ:

— Вѣдь ты же не боишься?

Въ его вопросѣ Лыжинъ почувствовалъ тревогу.

— Мнѣ ничего не сдѣлается.

— Тамъ и Лёля Божеярина, — добавилъ Лыжинъ.

— Вотъ видишь! — выговорила Липа, кивнувъ головой въ сторону мужа.

— Да вы сами-то откуда? — спросилъ Лыжинъ.

Больше двухъ мѣсяцевъ онъ ничего не зналъ о нихъ.

Годъ прошелъ у Липы въ устройствѣ ея амбулаторіи на хуторѣ. На сцену ее не тянуло, и она воевала съ мужемъ, въ котораго упорно засѣло желаніе создать изъ нея драматическую артистку. Самъ онъ усиленно работалъ надъ диссертацией, и они совсѣмъ собрались въ Москву печатать ее, когда были захвачены все тѣмъ же, что и Лыжина понесло въ деревню.

— Да, дружище, — рассказывалъ Кострицынъ, попивая съ блюдечка, — поѣздъ ушелъ, и они остались одни, — пригодились и мнѣ служба въ амбарѣ моего ученика Захара Лукьяновича, идущаго въ гору не по днямъ, а по часамъ. Когда мы съ Липой надумали организовать помощь, я тряхнулъ стариной и раздобылъ одного юнца, тоже изъ моихъ бывшихъ учениковъ, съ здоровущимъ капиталомъ. Винищемъ торгуешь, и кабаковъ у тятеньки, и складовъ — видимо-невидимо. Поналегъ на него и возжегъ патристическое чувство. А можетъ, и на тщеславіи уловилъ. Но какъ ни какъ, а на вѣскольکو вагоновъ хлѣба раскошеллся, и вотъ мы съ Липой ѣздили на югъ, въ Николаевъ, въ Ростовъ и Таганрогъ. Вѣсть о болѣзни Елены Константиновны захватила насъ въ самомъ развалѣ нашихъ разѣздовъ.

Кострицынъ уже зналъ про то, что Лыжинъ заводитъ столовую.

— Тѣмъ же кончимъ и мы, — говорилъ Кострицынъ, подувая на блюдечко, — но пока выдаетъ на руки. Липа сразу находила, что безъ общественныхъ трапезъ не обойдется. Какъ у спартанцевъ! Помнишь, Юрій Петровичъ, у Стобѣя: *гесіонтай пайтесъ энъ койно?* — вылетѣло изъ его сочныхъ, красныхъ губъ.

— Да вѣдь я не понимаю! — взмолился Лыжинъ.

— Онъ по этой части неисправимъ, — сказала Липа.

Всѣ весело и молодо разсмѣялись и тотчасъ же смолкли, разомъ вспомнивъ объ Еленѣ.

Опять прозвучало пять раздѣльныхъ сигналовъ.

— Вы какъ же отсюда?—спросилъ Лыжинъ.

— Батюшки! Вѣдь надо насчетъ лошадей.

Кострицынъ вскочилъ.

— Найдете. Здѣсь всегда есть пары двѣ-три, — успокоилъ его Лыжинъ.

И, нагнувшись къ Липѣ, шепнулъ ей:

— Ухабовъ и выбоинъ не бойтесь, Олимпиада Дмитриевна?

— Почему?

— Да развѣ вы не...

Она его поняла и, немного покраснѣвъ, отвѣтила:

— Ничего. Это здоровая болѣзнь.

Однимъ изъ первыхъ пассажировъ московскаго поѣзда вошелъ въ залъ докторъ Гурьяновъ.

Они окружили его. Лыжинъ долго пожималъ ему руку. Липа расцѣловалась съ нимъ. То, что ему успѣлъ сообщить Лыжинъ, видимо, смутило Гурьянова.

— Богъ милостивъ! Натура крижистая! Такія борются съ болѣзнию до послѣдней крайности.

Надо было добывать двѣ повозки—для Кострицыннхъ и Гурьянова. Лыжинъ, чтобы стряхнуть съ себя тяжелое чувство, опять налетѣвшее на него отъ разговора о болѣзни Елены, самъ пошелъ нанимать ямщиковъ. Кострицыны принялись угощать доктора чаемъ.

XXXVIII.

Немного въ сторонѣ отъ главнаго лѣснаго проѣзда, на полянкѣ, лѣтомъ полной зелени и цвѣтовъ, теперь покрытой все тѣмъ же снѣжнымъ пологомъ, красиво выступаетъ каменный одноэтажный домъ со службами и садикомъ.

Тутъ живетъ лѣсничій.

Часа въ три—солнце уже скрылось за вершины сосенъ—обывательская нара, въ открытыхъ пошевняхъ, подвезла Лыжина къ этой лѣсной усадьбѣ.

По дорогѣ къ тому селу, гдѣ у него была „штабъ-квартира“, онъ ѣхалъ въ первый разъ въ это лѣсничество. Онъ узналъ отъ урядника, что участкомъ завѣдуетъ нѣкто Грушинъ, и вспомнилъ, что когда-то, не такъ еще давно, они съ нимъ встрѣчались и какъ разъ въ самую курьезную полосу его жизни, незадолго до того перелома, ко-

торый оставилъ позади него исканія и опыты съ самимъ собою.

Будь это полтора года, даже годъ назадъ, ему, быть-можетъ, было бы нужно перебирать старое, а теперь ему положительно захотѣлось возобновить знакомство съ этимъ Грушинымъ. Вдобавокъ, сюда ожидали приѣзда комиссаровъ по общественнымъ работамъ. Должны были на-дняхъ начаться порубки и корчеванье, и всѣ ждали, что это сейчасъ же уменьшитъ число „ртовъ“ въ столовыхъ. О платѣ уже оповѣстили и пѣшихъ рабочихъ, и съ подводами. Лошадей можно будетъ спасти отъ голодовки и падежа, хоть и далеко не всѣхъ, даже и по окрестнымъ волостямъ.

Лѣсничій былъ дома.

Въ свѣтлой, просторной комнатѣ, съ широкимъ окномъ на балконъ, сидѣлъ Лыжинъ передъ хозяиномъ. Оба курили.

На Грушинѣ было служебное короткое сѣрое пальтецо; изъ-подъ воротника виднѣлась рубашка съ косымъ воротомъ.

Лыжинъ не сразу бы узналъ его. Изъ худого, почти безбородого студента онъ превратился въ осанистаго мужчину съ четырехугольной бородой и прекраснымъ цвѣтомъ лица; курчавые волосы онъ сильно запустилъ.

— Да, вотъ какъ жизнь-то вертитъ!—выговорилъ Лыжинъ.—Гдѣ она въ послѣдній разъ столкнула насъ и гдѣ—въ настоящій моментъ!

— Истинно!—пріятнымъ басомъ подтвердилъ Грушинъ.

Когда Лыжинъ проживалъ въ общинѣ, откуда ушелъ съ сильно расшатанной вѣрой во всякія такія „затѣи“, этотъ Грушинъ заѣзжалъ къ нимъ и присматривался недѣли двѣ къ ихъ жизни. И самъ онъ въ тѣ поры искалъ „исхода“ и не прочь былъ продѣлать суровый испусъ „интеллигентнаго рабочаго“. Тогда еще онъ былъ на послѣднемъ курсѣ въ Петровской академіи и мечталъ объ этомъ ко времени окончанія курса. На юго-востокъ заѣхалъ онъ съ Кавказа, куда его посылали лѣчиться, послѣ остраго воспаления печени, въ Эссентуки.

Однако, онъ въ общину не вернулся, и послѣ частной службы у одного князя, владѣющаго огромнымъ лѣсомъ за Волгой, получилъ казенное мѣсто.

— Помните, Юрій Петровичъ,—заговорилъ онъ, тряхнувъ своими кудрями,—женскіе экземпляры?

— Какъ же!

— Напримѣръ, Дуньку? А?

И онъ подмигнулъ Лыжину.

— Она, кажется, и сыграла роль искусительницы въ этомъ парадизѣ?

— Именно. Вѣдь все дѣло разгорѣлось положительно изъ-за нея; то-есть причины-то назрѣвали, но она представляла изъ себя бродило, химическій ферментъ.

— Съ кѣмъ же она?

— Съ Гудзенкой.

— Тотъ, хохоль, косая сажень въ плечахъ?

— Да, я полагаю, и не съ однимъ имъ, только онъ изъ-за нея на другихъ полѣзъ. Грѣшный человѣкъ, я тогда на вашихъ радѣніяхъ, когда Усачевъ произносилъ проповѣди, наблюдалъ за ней и, знаете, нарочно пускалъ въ ходъ глазенка.

— Переглядывались?

— Она меня не волновала... своими глазами и сахарными устами. И сейчасъ она начинала самый убійственный огонь. Такъ и кончилось. И гдѣ бы вы думали я ее встрѣтилъ?

— Гдѣ?—спросилъ, оживляясь, Лыжинъ.

— Въ Рыбинскѣ, весной, Периколу играла. И тамъ я узналъ, что она книгиня... татарская фамилія, Мурзаханова... что-то въ этомъ родѣ... Ушла она отъ мужа-офицера, такъ, ни съ того, ни съ сего. Скучно—и баста! И передъ тѣмъ, какъ попасть въ общину, чего-чего не попробовала, и въ сестрахъ милосердія, и сыръ училась варить гдѣ-то въ Ярославской губерніи. И кончила опереткой, и здоровущій купчина-мучникъ значился ея покровителемъ. Да!.. крутить всѣхъ насъ, и мужчинъ, и женщинъ, пока не наступитъ часъ сказать: стопъ!

— А для васъ онъ наступилъ?—спросилъ задумчивой нотой Лыжинъ.

— Что жъ, Юрій Петровичъ, — вы, быть-можетъ, про себя въ правѣ сказать, что окончательно подвели итоги. Это—дѣло лѣтъ. Я тоже порывался... Небось, помните, какіе мы съ вами разговоры вели, сидя на заваленкѣ, подъ вечеръ, послѣ ужина. Я гдѣ-гдѣ не побывалъ, даромъ что мнѣ всего двадцать шестой годъ пошелъ съ октября.

Лыжинъ зналъ, что лѣсничій родомъ сибирякъ.

— И тамъ, у себя,—Грушинъ провелъ въ воздухѣ ру

кой,—гнало меня на самый крайній край. Пріятели завелись изъ подневольныхъ жителей полярныхъ странъ.

— Вотъ какъ!

— Я въ Среднеколымскѣ гащивалъ подолгу, когда еще юнцомъ былъ. И къ чукчамъ ѣзжалъ не разъ. И вотъ тамъ меня одинъ человѣкъ на всю мою жизнь пронзилъ своимъ примѣромъ.

Ласковые глаза лѣсничаго слегка отуманились. Онъ опустилъ голову и сталъ говорить медленнѣе и тише звукомъ:

— Сколько лѣтъ онъ провелъ въ юртѣ, жевалъ струганую мерзлую рыбу и валялся въ безпамятствѣ отъ ежедневныхъ угаровъ. Холодина въ сорокъ градусовъ, мракъ по цѣлымъ мѣсяцамъ, вонь и чадъ отъ плошекъ съ тюленьимъ жиромъ. Годами словомъ человѣческимъ не съ кѣмъ переболвиться. Грудь слабая, нервы расшатаны до послѣдней степени—и выдержалъ, вернулся все съ тѣмъ же душевнымъ складомъ. Вотъ, часто, когда сидишь одинъ, скука начинаетъ засасывать, читать одурь возъметь. Ъхать некуда и нельзя—метель крутитъ. Графинчикъ съ настоящей какъ разъ очутится въ званіи притягательной отравы. И на душѣ такъ скверно: ты, молъ, на казенныхъ харчахъ, тебѣ туда и дорога—въ винтъ лупить съ урядникомъ да водку сосать съ утра до вечера. Вспомню о моемъ благопріятелѣ изъ Среднеколымска, и опять на душѣ легко, и сдается, что не одолѣть тебя ни сукъ, ни лѣни, ни сивухѣ.

Грушинъ ждалъ не сегодня—завтра пріѣзда комиссаровъ по лѣснымъ работамъ. Онъ уже готовилъ имъ ночлегъ и въ своемъ помѣщеніи, и во флигелѣ у кондуктора.

— Вамъ, Юрій Петровичъ, стѣсняться этимъ нечего,—говорилъ лѣсничій, когда Лыжинъ перевелъ разговоръ на эту тему.—Вы со мною въ спальнѣ; тамъ диванъ роскошный. А для нихъ здѣсь постелемъ и въ залѣ.

— Сколько ихъ будетъ?

— Кажись, трое. Одинъ, слышно, изъ гвардейцевъ, чуть не титулованный. И двое помѣщиковъ, одинъ изъ земскихъ начальниковъ пошелъ, а третій—предводитель... оттуда, изъ подмосковныхъ уѣздовъ.

— Фамилію знаете?

— Боюсь перепутать; кажется, Боярцевъ.

— Боярцевъ?—переспросилъ Лыжинъ и всталъ.

— А вы знакомы?

— Если это тотъ самый. Изъ Москвы?

— Да, москвичъ. И земскій-то начальникъ оттудова же.

Имя „Боярцевъ“ всколыхнуло въ Лыжинѣ все, съ чѣмъ онъ уѣхалъ изъ деревни, гдѣ, быть-можетъ, умирала въ ту минуту Елена Акридина. Онъ рѣшилъ остаться здѣсь даже и весь завтрашній день, до обѣда, подождать того, кто выбилъ изъ колен бѣдную Елену и толкнулъ ее на героическій видъ самоубійства, точно на добровольное исканіе заразы.

— А теперь пора и пожевать, Юрій Петровичъ,—пригласилъ лѣсничій и тоже всталъ.—Перейдемте въ столовую. Видите, какимъ я паномъ живу. Цѣлыхъ четыре аппарата подъ одного человѣка. Даже зазорно дѣлается... Только,—оттянулъ онъ,—хотите вѣрьте, хотите нѣтъ, я бы сейчасъ пошелъ къ вамъ въ помощники. Безъ разрѣшенія начальства этого нельзя, а теперь и подавно. Я обязанъ быть теперь самъ на чеку, давать указанія господамъ комиссарамъ. И слава тебѣ Господи! А то крѣпнись-крѣпнись, и всего-то тебя начнетъ разбирать отъ обилія лишняго досуга.

— Женитесь!—сказалъ Лыжинъ.

— На комъ? Ужъ не на Дунькѣ ли? Вотъ теперь я поджидаю господъ дворянъ. Она бы одновременно съ каждымъ изъ нихъ завела любовную игру. А у меня крови много, какъ разъ прилетѣть къ головѣ, и если бъ я ее спалалъ, я и ножъ всажу.

— Будто?

— Всажу! Можетъ, инстинктъ меня и воздерживаетъ, а кончишь тѣмъ, что обабишься... все лучше, чѣмъ съ чумазой кухаркой жить.

И болѣе весело, жестомъ руки, онъ пригласилъ Лыжина идти къ обѣду.

XXXIX.

За чаемъ, вечеромъ того же дня, сидѣли съ ними оба пріѣзжихъ комиссара.

Это были Боярцевъ и Ястребовъ, тотъ земскій начальникъ, котораго Лыжинъ видѣлъ на открытіи школы. Оба пріѣхали голодные и прозябшіе.

Боярцевъ смотрѣлъ все такъ же спокойно и немного торжественно. Ястребовъ спрашивалъ лѣсничаго обстоятельно. Онъ долженъ былъ начать работы въ этомъ самомъ лѣсу: Боярцевъ отправлялся на другой день дальше.

Ни тотъ, ни другой не выказывали особеннаго настроенія и какъ бы даже избѣгали разговора о народной бѣдѣ. Лыжинъ, наблюдая ихъ, счелъ это если не рисовкой, то чѣмъ-то въ родѣ пароля.

Боярцевъ, узнавъ, что Лыжинъ открываетъ въ ближайшей волости столовую, сталъ говорить съ нимъ объ этомъ мягко и сдержанно, въ довольно искреннемъ тонѣ, но съ какимъ-то трудно уловимымъ оттѣнкомъ, который ему не нравился.

Ястребовъ сначала только прислушивался къ ихъ разговору.

— Такъ-то такъ, — началъ онъ, точно вколачивая слова, — нужда большая... Только даровые харчи въ родѣ нищенства, и народъ избалуется въ лоскъ!

Лыжинъ переглянулся съ лѣсничимъ.

— Доводъ вашъ, — возразилъ онъ, точно его что внутри укололо, — уже избить извѣстнаго рода прессой.

Ястребовъ строго поглядѣлъ на него.

— Меня этимъ нельзя смутить, — отвѣтилъ онъ ему въ упоръ.

— А ваши работы? — впадая въ нервность, заговорилъ Лыжинъ. — Вѣдь и на нихъ можно поглядѣть, какъ на національныя мастерскія, какія были заведены комиссией Луи-Влана послѣ февральской революціи.

— Не совсѣмъ, — тихо замѣтилъ Боярцевъ. — Тамъ дѣйствовалъ принципъ, провозглашающій державное право рабочихъ на трудъ, во что бы то ни стало!

— А здѣсь, — продолжалъ Ястребовъ, — мы вызываемъ нуждающихся въ работѣ и платимъ. Они не нищіе и не бунтари, а трудовой народъ. Вотъ что-съ!

Лѣсничій, раскраснѣвшійся отъ чая, приподнялся и отошелъ къ печкѣ.

— Толку отъ этихъ работъ тоже не предвидится, — сказалъ онъ. — Кое-кто прокормится... да и то скверно, потому что мукѣ будутъ покупать втридорога; плата все-таки не важная. А подылка-то остается все одна и та же.

— Почему? — спросилъ за Ястребова Боярцевъ.

— А какъ же? Вѣдь ежели казна сама приходитъ на помощь и, такъ сказать, выдумываетъ работы, значитъ, она признаетъ право голоднаго на трудъ.

— Несомнѣнно! — откликнулся Лыжинъ и тоже всталъ. Ему не сидѣлось.

Ястребовъ глядѣлъ на лѣсничаго все такъ же строго. Въ его глазахъ можно было прочесть вопросъ:

„Какъ же ты, на службѣ, и позволяешь себѣ такъ разсуждать, милый мой?“

Щеки разгорѣлись и у Лыжина. Но онъ взглянулъ на обоихъ комиссаровъ, и внезапно его настроеніе, близкое ко взрыву, измѣнилось. Оба эти дворянина, каждый по-своему, хотѣть показать, что ихъ взгляды не измѣнить никакая народная бѣда,—и все-таки они служатъ этому народу, изъ-за него каждый изъ нихъ оставилъ должность и поѣхалъ мерзнуть на лѣсныхъ просѣкахъ, дурно спать, дурно ѣсть, возиться съ нарядчиками, всюду поспѣвать.

О себѣ самомъ онъ точно забылъ. Его уже такъ захватило дѣло, что онъ не могъ задавать себѣ никакихъ личныхъ вопросовъ. Бѣдствіе было на его глазахъ слишкомъ ярко и многообразно. Не расколаживалъ онъ себя и тѣмъ, что помощь, идущая черезъ его руки, „капля въ морѣ“. Тамъ, гдѣ онъ заводилъ столовые, тѣ, кому нечего было ѣсть, всѣ ходили по два раза на день, и ихъ было сорокъ процентовъ, а когда и шестьдесятъ. И всѣ были сыты и въ проектѣ, и въ дѣйствительности. Быть-можетъ, они ѣли лучше, чѣмъ ѣдятъ въ избахъ и въ обыкновенное, не голодное время. Но онъ и этимъ не смущался.

— Господа,—слышалъ онъ голосъ лѣсничаго.—Къ чему тутъ мудрствовать лукаво? Пришла бѣда—отворяй ворота. А если разбирать все до тонкости, то вы, въ два-три дня, потеряете всякую вѣру въ толковость и смыслъ того дѣла, для котораго пріѣхали сюда организовать національныя мастерскія.

— Несомнѣнно! — тѣмъ же вѣскимъ звукомъ подтвердилъ Лыжинъ.

Ему видѣлась, подъ висячей лампой, бѣлокурая красивая голова Боярцева. Бѣлый, вдумчивый, нѣсколько узковатый лобъ отражалъ на себѣ свѣтъ, смягченный матовымъ колпакомъ.

И ему впервые пришелъ вопросъ:

„Какъ же это я до сихъ поръ не скажу ему про болѣзнь Елены?“

Онъ пододвинулся къ нему тихо и, нагнувшись, сказалъ вполголоса:

— Романъ Денисовичъ... на два слова.

Оба отошли къ итальянскому окну, съ обмерзлыми углами рамъ.

— Вы знаете, гдѣ Елена Константиновна?

Боярцевъ замигалъ и оглянулъ его сверху до низу.

— Нѣтъ, давно ничего не знаю.

— Вы не слышали и о томъ, что она поѣхала бороться съ голоднымъ тифомъ мѣсяца два назадъ?

— Нѣтъ,—болѣе искренней нотой отозвался Боярцевъ.

— И сама заразилась. Теперь она недалеко отсюда... верстахъ въ пятидесяти лежитъ. Опасность все растеть.

Лыжину хотѣлось разглядѣть, какое выраженіе появится на лицѣ и въ глазахъ Боярцева. Лицо было серьезное, глаза полуопущены.

— Вы ее видѣли? — спросилъ Боярцевъ послѣ маленькой паузы.

— Она была въ бреду.

— И какого вы мнѣнія?

— Не знаю, встанетъ ли.

— Благодарю васъ! — болѣе искреннимъ звукомъ заговорилъ Боярцевъ и поднялся. — Вы будете добры, сообщите мнѣ, по какой дорогѣ можно туда попасть.

Въ Лыжинѣ проснулось-было недоброе желаніе сказать ему:

„Безумная любовь къ вамъ погнала ее на вѣрную смерть“.

Но чѣмъ же онъ былъ виноватъ?

— Кого-то Богъ несетъ? — вдругъ сказалъ лѣсничій у стола и оглянулся на окно.

Можно было отчетливо распознать звякъ колокольчика.

Черезъ нѣсколько минутъ въ переднюю вошли.

Хозяинъ выбѣжалъ туда.

— Здѣсь Лыжинъ, Юрій Петровичъ? — раздался вопросъ одного изъ пріѣзжихъ.

Лыжинъ не сразу узналъ голосъ Воденягина.

— Здѣсь.

— Мы къ нему... извините! — прибавилъ другой голосъ.

Его Лыжинъ и совсѣмъ не узналъ.

Онъ подошелъ къ дверямъ передней.

Служитель помогалъ пріѣзжимъ снять шубы и валенки, всѣ въ снѣгу.

Съ Воденягинымъ пріѣхалъ художникъ Лукошкинъ. Его лицо осталось въ памяти Лыжина, но голоса его онъ не помнилъ.

— Къ вамъ, Юрій Петровичъ, по дорогѣ на станцію.

Въ лицѣ Воденягина было что-то особенное.

— Откуда вы, господа? — спросилъ Лыжинъ.

— Мы вотъ съ Лукошкинымъ ѣздили производить опись голодающимъ и завернули навѣстить Елену Константиновну Акридину.

— И какъ же она?—подсказаль Лыжинъ.

— Приказала долго жить.

— Умерла!

Вѣсть эту Лыжинъ ждалъ съ-часу-на-часъ, но она его ударила въ сердце—онъ даже присѣлъ и взялся за голову.

— Умерла,—беззвучно повторилъ онъ.

— И докторъ Гурьяновъ не помогъ. Поздно было. Форма-то больно лютая схвачена была.

— Романъ Денисовичъ! — окликнулъ Лыжинъ, вводя пріѣзжихъ въ гостиную:—Елена Константиновна скончалась.

Онъ это сказалъ громко и раздѣльно, и въ немъ опять зашевелилось желаніе хоть этой вѣстью за что-то выместить на „елейномъ“ предводителѣ.

— Быть не можетъ!

Боярцевъ быстро всталъ и, опустивъ голову, истово перекрестился.

— Царство ей небесное!—выговорилъ онъ отчетливо.

Всѣ сѣли вокругъ стола. Лѣсничій началъ пить чаемъ новыхъ гостей.

— Гдѣ же будетъ погребеніе? — спросилъ Боярцевъ, оставшійся съ выраженіемъ лица, какое бываетъ въ домахъ покойниковъ.

— Отпѣваніе тамъ, а повезутъ въ Москву.

— Вы не вернетесь туда?—спросилъ Лыжинъ.

— Нѣтъ. Намъ сегодня же надо добраться до станціи, а тамъ начать объѣздъ. Къ вамъ, въ волость, заглянемъ. Поучиться! Придется и въ нашемъ районѣ завести столовую. Выдавать по рукамъ слишкомъ тягостно. Много грѣха на душу возьмешь.

— Да,—протянулъ со вздохомъ художникъ,—много!

— Вотъ мы съ нимъ,—Воденягинъ указаль на Лукошкина, — на той недѣлѣ такъ вотъ загубили одну душу. Притащился паренекъ—плачетъ, Христа ради молить — третій день маковой росинки. А мы говоримъ: подожди... Есть и старики безногіе, старухи, дѣти. И какъ бы вы думали—въ ту же ночь побрелъ онъ побираться, да и замерзъ отъ истощенія силъ. Находятся, однако, господа, кричащіе, что народъ балуется, и помогать ему даромъ—значить разводить анархистовъ!

Взглядъ Воденягина, точно противъ его воли, обратился въ сторону бывшаго земскаго начальника. Тотъ упорно молчалъ.

— Замерзъ!—повторилъ Лыжинъ, и смерть Елены отошла куда-то вдалъ, а въ его сердцѣ трепетало только умильное чувство къ женщинѣ, пошедшей, безъ оглядки, на заразную смерть, для того же народа.

XL.

Изъ вчерашнихъ гостей—Боярцевъ и Ястребовъ еще спали; Воденягинъ и художникъ уѣхали поздно ночью.

Чуть брезжилъ день. Лыжинъ проснулся въ шесть часовъ и въ темнотѣ лежалъ съ открытыми глазами. У другой стѣны спалъ Грушинъ. Его молодое, ровное дыханіе ритмически раздавалось въ темнотѣ.

Проснувшись, Лыжинъ почувствовалъ себя совершенно не такъ, какъ могъ бы ожидать. Первое, что онъ вспомнилъ, было: „Елена скончалась“. Но это не вызвало подавляющаго настроенія.

„Такъ лучше“,—сказалъ онъ мысленно, и не устыдился своихъ словъ.

Смерть его пріятельницы освѣтила ему все, что дѣлалось въ немъ и вокругъ него, на родинѣ—этой печальной, обреченной на вѣковые искусы родинѣ. Славная смерть, какъ тамъ ни суесловы! Даже и „амбарный Сократъ“ не посмѣлъ бы умничать и обзывать ее рабствомъ передъ прописью народничества. Небось, они, вмѣстѣ съ Липой, ѣздить тоже по деревнямъ, и Кострицынъ не стыдится; убѣжденъ и въ томъ, что онъ—не отступникъ передъ своей теоріей личности.

Можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ не отступникъ. Вѣдь онъ будетъ печатать диссертацию и займетъ каеэдру.

И всѣ они: Ида, Липа, Лёля Божеярина, Кострицынъ, Воденягинъ, художникъ Лукошкинъ, вотъ этотъ лѣсничій, даже Боярцевъ и Ястребовъ—изъ одного стана; во всѣхъ живетъ нѣчто выше теорій, кружковъ, прописей, направленства, личнаго задора—во всѣхъ. И въ покойницѣ оно жило. Полюби она своего елейнаго предводителя или нѣтъ—все равно, она точно такъ же могла бы очутиться въ грязной избѣ на полатахъ, гдѣ разметалась цѣлая семья въ голодномъ тифѣ.

А онъ самъ?

Вся его уже сорокалѣтняя жизнь — ему уже шелъ со-

рокъ третій—чрезвычайно отчетливо, широкими пластами наслоивалась передъ нимъ.

И сквозь всё эти наслоенія чего-чего не выдѣлывалъ онъ съ собой, ища правды и настоящаго „дѣланья жизни“! Вотъ онъ, тревожный умомъ гимназистъ, до глубокой ночи читаетъ запретныя книжки. Уже въ пятомъ классѣ онъ задумалъ покончить съ „безплодной“ наукой и идти къ „новымъ“ людямъ. Чуть горячки не схватилъ отъ внутреннего огня мысли и жажды подвига. Вотъ онъ студентъ, уже съ закоренѣлымъ возмущеніемъ всѣмъ, что „казенщина“ — лекціями многихъ профессоровъ, образомъ жизни своихъ родныхъ, изъ „руководящихъ“ классовъ, всѣмъ, что предлагало нѣчто среднее, разсудительное, достижимое, а не тянуло туда, въ безконечную даль душевныхъ блужданій. Умеръ отецъ. Умерла мать. Онъ любилъ ихъ, но ему сдѣлалось легче, когда ихъ не стало, потому что онъ не могъ ихъ не осуждать. Вотъ онъ на полной свободѣ. Уже и тогда онъ хотѣлъ служить знаніемъ и сердцемъ темной массѣ. Въ адвокаты онъ не пошелъ; не сталъ и жить около мужиковъ, служа имъ даровымъ совѣтчикомъ и вожакомъ.

Онъ искалъ послѣдняго слова общественной правды и разъ по крайней мѣрѣ восемь, въ теченіе двадцати лѣтъ, былъ фанатически убѣжденъ, что нашелъ ее. Опыты были не одни книжные. Двѣ трети его дворянскаго достатка ушли на нихъ. Кого и что только онъ не поддерживалъ, въ томъ числѣ и крестьянъ!..

По наклонной плоскости дошелъ онъ и до того, что его заграничный знакомый извилъ въ своихъ горячихъ обличеніяхъ. И онъ „пускалъ вошь въ ухо“ и „стукалъ лбомъ передъ мужицкимъ зипуномъ“.

Послѣдняя „ипостась“, какъ выразился бы Иванъ Кузьмичъ Кострицынъ, нашла его въ той общинѣ, куда лѣсничій Грушинъ заѣзжалъ студентомъ Петровской академіи.

Послѣ того произошелъ его душевный крахъ.

И что же?

Отчего у него, Юрія Лыжина, кающагося дворянина, — „какая старомодная и жадная кличка!“ — не было въ ту минуту никакой охоты предаваться горечи и самобичеванію?

Точно будто судьба, посылая на тотъ народъ, къ которому онъ то пылалъ влеченіемъ, то охладѣвалъ, такую

осязательную и жестокою бѣду, готовила ему это испытаніе, чтобы излѣчить окончательно, показать, что жизнь сильнѣе всякихъ вольныхъ и невольныхъ грѣховъ и блужданій.

Ему теперь легко. Чудовишно было бы возиться съ собою. Даже Кострицынъ—и тотъ захваченъ тѣмъ же потокомъ.

„Однако, неужели надо непременно что-нибудь роковое, стихійное: морь, голодъ, потопъ, трусь?—проговорилъ Лыжинъ умственно,—чтобы такихъ, какъ онъ, превратить въ людей, забывшихъ о себѣ, знающихъ, что надо дѣлать, кому помогать, съ чѣмъ бороться, о чемъ кричать на всю Русь?“

И этотъ вопросъ что-то не смутилъ его.

Не жалѣлъ онъ ничего и въ своемъ дальнемъ, и въ близкомъ прошломъ, и это чувство было самое радостное и сильное.

Ничего! Никакихъ поисковъ, глупостей, задора, опытовъ, самообмановъ,—ничего не жаль!

Развѣ человѣкъ можетъ управлять собою, какъ машиной, когда его толкаетъ въ ту или другую сторону? Почему? Зачѣмъ? Разглядить онъ тогда, когда придется проводить черту подо всѣми итогами жизни.

А тогда—впору умирать.

Грушинъ потянулся, крикнулъ и окликнулъ:

— Вы не спите, Юрій Петровичъ?

— Нѣтъ, давно проснулся.

— Пора вставать. Гостей отправить пораньше. Закусить имъ надо. А вы куда? Въ волость?

— Нѣтъ, я съѣзжу въ другое мѣсто. Вы слышали, Елена Константиновна скончалась. Я туда попаду еще засвѣтло, а завтра опять за работу.

Они стали подниматься. Оба комиссара еще спали. Ихъ пришлось разбудить. Лыжину не хотѣлось выходить къ Боарцеву. Говорить съ нимъ о смерти Елены—выйдетъ, точно онъ кланяться: „удостойте, молъ, посѣщеніемъ покойницу“. Захочетъ, и самъ догадается поклониться ей.

Онъ просидѣлъ въ спальнѣ лѣснаго, пока гости пили чай и собирались въ дорогу. Грушинъ забѣжалъ къ себѣ въ комнату—проститься съ Лыжинымъ.

— Вы къ генераламъ не выйдете?—спросилъ онъ вполголоса.

— Нѣтъ... Пускай думаютъ, что я сплю.

— Ладно... А вѣдь какъ тотъ строгій-то, изъ земскихъ

СЪ УБИЙЦЕЙ.

(повѣсть.)

„Ne cherchons pas les explications des catastrophes conjugales dans ce qui suit le mariage; elles sont toutes dans ce qui *précède*“.

A. Dumas-fils.

(Изъ частнаго письма).

I.

Его привезъ изъ крѣпости адвокатъ Завацкій.

Въ квартирѣ, гдѣ я вбивала каждый гвоздикъ, все было готово къ принятію Николая. Меня тянуло—точно я была загипнотизирована—въ сѣни, на лѣстницу, на крыльцо. Когда по звуку колесъ я узнала, что это *изъ* карета, я не выдержала и бросилась на лѣстницу.

Николай тяжело поднялся на предпоследнюю площадку.

У меня закружилась голова. Я очнулась у него на колѣняхъ. Маленькій диванчикъ площадки случился тутъ.

На меня съ испугомъ смотрѣло его милое, исхудалое лицо. Онъ очень измѣнился, очень: щеки впали и глаза красны. Волосы еще отросли. И весь онъ былъ такой трепетный. Въ рукѣ его—горячей и влажной—пробѣгали нервныя струйки.

— Полно, Дима! Я съ тобою! Я съ тобою! — повторялъ онъ.

Я обняла его... искала его губъ. Но онъ смутился... Тутъ же стоялъ Завацкій, въ длинномъ, модномъ пальто,

и поглядывать на насъ въ свое черепаховое рінсе-пезъ съ усмѣшкой... Меня это выраженіе покорило и мнѣ стало вдругъ стыдно, что я при чужомъ—на колѣняхъ у Николая.

Какъ это было глупо! Чего же мнѣ стыдиться? Онъ—мой мужъ. Цѣною какихъ нравственныхъ страданій приобрѣли мы право на ласку и любовь!

— Идемъ, идемъ!—шептала я, смущенная.

— Не стѣсняйтесь, — сказалъ Завацкій, отвернувшись къ периламъ площадки.

Въ передней мы, вмѣстѣ съ Ѳеней, стали стаскивать съ Николая пальто. На немъ все платье какъ-то странно сидѣло, точно онъ разучился одѣваться. И весь онъ казался разбитымъ, съ такимъ выраженіемъ глазъ, какого я еще не видала у него никогда. Не безумная радость, а что-то другое было въ нихъ, и это холодной капелькой капнуло мнѣ на сердце.

— Ты голоденъ?—спросила я, вводя его въ столовую.

Завтракъ былъ готовъ. Столъ аппетитно убранъ, и вся столовая смотрѣла такъ нарядно.

Я пригласила позавтракать и Завацкаго. Вѣдь онъ защитникъ. Его блестящая рѣчь подѣйствовала на судъ, и, вмѣсто годового заключенія въ крѣпости, Николая присудили только на шесть мѣсяцевъ. И въ эти полгода, и во время слѣдствія и суда Завацкій велъ себя какъ джентльменъ. Старался и меня утѣшать... Быть-можетъ, больше, чѣмъ я бы сама желала.

Адвокатъ принялся острить, разспрашивая Николая о его сидѣнн. Онъ собираетъ матеріалы для „психологіи узниковъ“, какъ онъ шуточно выразился. Николай отвѣчалъ вяло. Разговоръ вообще не клеился. Мнѣ стало досадно на то, что Завацкій не отказался завтракать. Правда, онъ, послѣ кофе, тотчасъ же ушелъ.

Мы остались одни. Была такая минута, когда мы, проводивъ Завацкаго до передней, вернулись въ кабинетъ Николая и остановились одинъ противъ другого. Мнѣ—я стояла спиной къ окнамъ—было видно все лицо Николая. Въ глазахъ его не зажглось искры. На поблѣднѣвшихъ губахъ явилась улыбка, и эта именно улыбка смутила меня.

Онъ протянулъ мнѣ руки какимъ-то неопредѣленнымъ жестомъ. Я обняла его и прижалась.

Тихо подвелъ онъ меня къ дивану. Мнѣ стало вдругъ

пеловко. Я не могла цѣловать его, а внутри у меня все дрожало отъ потребности ласки. И захотѣлось плакать, но не отъ радости.

— Вотъ ты и у себя,—сказала я, не находя *настоящаго слова*.

— Да, Дима,—отвѣтилъ онъ, держа меня за талию, но не крѣпко, не страстно, и даже не заглянулъ мнѣ въ лицо.

— Такъ я стосковалась, Николая... въ послѣдніе мѣсяцы особенно. Если бы не устройство квартиры—просто бы не знала, что съ собою дѣлать. А вѣдь мы могли видѣться.

Онъ взглянулъ на меня вбокъ и повелъ плечами.

— Ты знаешь, почему такъ вышло, Дима?

Я знаю! Потому что онъ не хотѣлъ этого. Мы были уже мужъ и жена, законно вѣнчаны, когда начался судъ надъ нимъ за дуэль съ моимъ первымъ мужемъ. И на судѣ Николай держалъ себя такъ, точно будто я не жена его. Моего имени почти и не упоминалъ. Въ крѣпости мы могли бы часто видаться, стоило только объ этомъ попросить. Вѣдь онъ былъ самый обыкновенный арестантъ. Сидѣть за дуэлы! Это не считается ни важнымъ, ни позорнымъ.

Николай написалъ мнѣ большое письмо, гдѣ настаивалъ на томъ, что будетъ „порядочиѣ“ не видаться... Почему порядочиѣ? Я протестовала. Но онъ опять сталъ убѣждать меня—написалъ цѣлую диссертацию. Я тогда подчинилась. Писала я ему въ первый мѣсяцъ каждый день. Потомъ я заболѣла... Потомъ надо было ѣхать по дѣламъ. Потомъ устраивала квартиру. Такъ прошло нѣсколько мѣсяцевъ... Николай сидѣлъ ровно полгода.

— Теперь,—сказала я,—никто уже насъ не разлучить. И ты—у себя, Николая. Посмотри, такъ ли я все устроила здѣсь? Ты вѣдь узнаешь свой кабинетъ?

Онъ оглянулъ комнату. Она была еще обширнѣе кабинета въ его холостой квартирѣ. Я прибавила новый шкафъ, нѣсколько креселъ, этажерокъ, столиковъ. Смотрѣло и солидно, и нарядно.

— Все очень мило,—выговорилъ онъ и поцѣловалъ мою руку.—Но эта квартира слишкомъ велика для насъ...

Онъ не договорилъ. Но я знаю, что его смущаетъ. Когда мы завтракали, онъ посматривалъ на отдѣлку столовой. Я ее измѣнила противъ той, что была въ квартирѣ

на Сергіевской. Но нѣкоторыя вещи онъ сейчасъ узналъ. Обстановка принадлежала наполовину мнѣ; ему это извѣстно. Спальню теперь не узнаешь, и у меня есть будуаръ. Для гостиной я обмѣнила мебель. Есть многое изъ его холостой квартиры. И все-таки его что-то смущаетъ.

— Зачѣмъ намъ такое помѣщеніе?—спросилъ онъ, помолчавъ, и взялъ меня за руку.

А я все еще чувствовала себя скованной. Такъ бы и прильнула къ нему, схватила бы его, подняла и стала прыгать отъ радости! Его тонъ, лицо — всего больше глаза—замораживали меня.

— На твои средства я, Дима, жить не согласенъ,—выговорилъ онъ съ усиленіемъ. — Заработка у меня нѣтъ... Мѣста я лишился...

— Все будетъ, Коля!.. Насъ двое... Только бы держаться такъ, вдвоемъ.

Я опять припала къ нему головой на плечо. Онъ поцѣловалъ меня въ волосы. Эта ласка согрѣла меня; но что-то, точно холодная змѣйка, проползло между нами.

Такъ провести первыя минуты, съ-глазу-на-глазъ, не ожидала я.

II.

Его продолжаетъ беспокоить то, что онъ теперь безъ собственнаго заработка. Это мнѣ очень непріятно. Съ какой стати раздражать себя, въ первые дни нашей жизни на свободѣ, такими преждевременными заботами?

Во-первыхъ, у него есть кое-какія сбереженія. Положимъ, не Богъ знаетъ что; но вѣдь онъ не нищій. Если онъ потерялъ мѣсто изъ-за дуэли съ моимъ первымъ мужемъ, то изъ этого не вытекаетъ, что ему теперь нѣтъ никакого хода. Въ послѣдніе мѣсяцы я почти не бывала нигдѣ и не знаю, что говорятъ про насъ въ тѣхъ кружкахъ, гдѣ насъ помнятъ; но я не думаю, чтобы на него именно падали какія-нибудь нареканія. На процессъ публики ему сочувствовала и, когда сдѣлался извѣстенъ приговоръ, очень многіе жалѣли о немъ: мнѣ это передавалъ Завацкій. Если кому досталось, то скорѣе мнѣ, да и то только отъ господина прокурора.

Стало-быть, что же ему бояться? У него есть сослуживцы, товарищи. Я увѣрена, что не пройдетъ и какого-нибудь мѣсяца—ему ничего не будетъ стоить получить мѣсто. Для этого, конечно, надо возобновить свои зна-

комства, а Николай, вотъ уже который день, почти нигде не выходить, жалуется на мигрени, запирается у себя въ кабинетѣ, что-то такое пишетъ. Я догадываюсь, что онъ велъ свой дневникъ, когда сидѣлъ въ крѣпости. Спросить объ этомъ мнѣ неловко.

И вообще я замѣчаю, что въ эти нѣсколько дней у насъ какъ-то не установилось настоящаго тона. Меня какъ будто что сдерживаетъ, чего прежде никогда не было, съ тѣхъ минутъ, какъ мы стали близки другъ къ другу. Вызывать его на объясненіе я просто не рѣшаюсь, не то что не хочу, а именно не рѣшаюсь. Что-то говорить мнѣ: „если ты разбередишь его душу, то можешь вызвать такой взрывъ, послѣ котораго не будетъ, пожалуй, никакого возврата къ прежнему“.

Наши завтраки и обѣды съ-глазу-на-глазъ проходятъ въ отрывочныхъ разговорахъ. Я, конечно, стараюсь ихъ оживлять, но, кажется, это стараніе чувствуется.

— Отчего ты не поводишься съ Еремѣевымъ?—спросила я его вчера за обѣдомъ.— Вѣдь ты былъ съ нимъ всегда въ очень хорошихъ отношеніяхъ... кажется, вы даже на ты?

— Да, на ты,—отвѣтилъ Николай какъ бы нехотя.

— Онъ человѣкъ со связями.

— Что ты хочешь сказать этимъ? Клянчить черезъ него мѣстечко!

— Почему же клянчить?

— Я не понимаю,—продолжалъ Николай, метнувъ на меня быстрый и раздраженный взглядъ,—я не понимаю,—повторилъ онъ,—какъ ты не можешь этого сообразить. Еремѣевъ занялъ мѣсто Ивана Андреевича.

Въ первый разъ Николай, по возвращеніи изъ крѣпости, назвалъ такъ Тарутину.

— Ну, такъ что жъ изъ этого?

Онъ пожалъ плечами и не сразу отвѣтилъ.

— Право, чѣмъ больше я вглядываюсь въ то, что составляетъ душу женщины, тѣмъ болѣе я убѣждаюсь, что у васъ какая-то особенная совѣсть.

Эти слова произнесены имъ были съ двойственной усмѣшкой, не рѣзко, не зло, по все же такъ, что меня всю передернуло.

Ничего подобнаго, годъ тому назадъ, онъ не въ состояніи былъ бы выговорить. Сколько разъ, въ тѣ свиданія, какія были у насъ, Николай съ такой убѣжденностью

и съ такимъ энтузіазмомъ преклонялся передъ женщиной, признавая за нею гораздо больше нравственной чуткости, доказывалъ, какъ большинство мужчинъ грубы въ своихъ инстинктахъ, какъ они мало достойны тѣхъ безза-вѣтныхъ привязанностей, какими мы ихъ очень часто награждаемъ, очертя голову.

Я ничего ему не возразила и только значительно поглядѣла на него.

Онъ понялъ этотъ взглядъ.

— Ты желаешь, чтобы я пошелъ къ моему товарищу, занимающему какъ разъ постъ Ивана Андреевича?..

— Это случайность!—вырвалось у меня.

— Въ жизни никакихъ нѣтъ случайностей, все держится за строгій законъ. По-научному это называется детерминизмомъ, тебѣ, конечно, извѣстенъ этотъ терминъ, а попросту—судьбою. И эта судьба—въ насъ самихъ, ни въ комъ больше. Во всякомъ случаѣ, согласишься, что мнѣ было бы крайне тяжело являться, хотя бы и къ пріятелю, съ задней мыслью похлопотать о мѣстечкѣ. И какъ разъ къ тому, кто сидитъ на мѣстѣ челоуѣка... убитаго мною.

Николай проронилъ эти два слова чуть слышно, но такимъ звукомъ, что я вся вспыхнула.

Протянулась длинная пауза.

Во мнѣ все закипѣло. Но не женская вздорность заставила меня возмутиться. Съ какой же стати любимый челоуѣкъ, знающій прекрасно, какъ онъ любимъ, хотя бы и обмолвился такими словами? Но онъ не обмолвился.

Да, онъ правъ. У мужчинъ тоже не та совѣсть, какъ у насъ. Никогда, никакая женщина, если только въ ней кроется капля привязанности, не позволила бы себѣ, въ такомъ точно положеніи, смутить любимое существо подобнымъ напоминаніемъ. Никогда!

Съ какой стати было произносить эти слова? Онъ убил моего перваго мужа?! Убилъ не изъ-за угла, а подставляя свою грудь на дуэли. Вѣдь не онъ его вызывалъ? Если Иванъ Андреевичъ оказался челоуѣкомъ, неспособнымъ великодушно отнестись къ тому, что произошло, то кто же въ этомъ виновать? Лучше было бы, если бъ мы продолжали цинически и пошло обманывать его, какъ дѣлается это въ безчисленныхъ „ménages à trois“? Я прожила съ нимъ нѣсколько лѣтъ честно, безукоризненно, и не знала любви. Онъ былъ, или считался, хорошимъ че-

ловѣкомъ, но что такое „хорошій человѣкъ“, когда онъ совершенно чуждъ вашему сердцу, когда это сердце заговорило, наконецъ, и захватило васъ страстью? Развѣ Николай не доказывалъ мнѣ сотни разъ, что этотъ мужъ не понимаетъ и не можетъ понять такой натуры, какъ моя, что мы имѣемъ полное нравственное право „устранить“ его, что наше поведеніе вполне безупречно, особенно съ той минуты, когда на откровенное признаніе жены, сказавшей ему, что она не можетъ уже больше быть его женою, онъ отвѣчалъ цѣлымъ рядомъ поступковъ, которые показывали, какая въ немъ крылась жесткая, безпощадная натура, не знающая ничего, кромѣ формальнаго чиновничьяго догмата.

Я первая попросила Ивана Андреевича возвратить мнѣ мою свободу. Онъ сталъ вымещать на мнѣ свои супружескія права и добился того, что я потеряла къ нему даже всякую жалость и то уваженіе, къ какому онъ прежде приучилъ меня. Потомъ Николай пошелъ къ нему и такъ же искренно, смѣло предложилъ возвратить мнѣ свободу. Между ними вышло столкновение. Если даже предположить, что Николай, по горячности, нанесъ ему оскорбленіе словомъ, все-таки же въ Иванѣ Андреевичѣ крылось рѣшеніе вызвать того, кто у него отбилъ жену. Такъ передавалъ мнѣ сцену Николай; такъ оно и должно было случиться.

Дуэль есть дуэль. Или оба цѣлы, или одинъ погибнетъ. Но спрашивается: кто изъ нихъ обоимъ сильнѣе жаждалъ смерти другого? Допускаю, что тотъ, кто, вульгарно выражаясь, отбилъ у мужа жену. Для него не было иного исхода. Если бы Иванъ Андреевичъ остался живъ, онъ, по доброй волѣ, не далъ бы мнѣ развода: онъ мнѣ это прямо сказалъ и въ первое наше объясненіе, и во всѣ слѣдующія.

Неужели Николай знаетъ и понимаетъ все это хуже меня? И все-таки у него вырвались эти неумѣстные, тяжелыя слова.

Я говорю „вырвались“. Полно, такъ ли? Хотя онъ произнесъ ихъ очень тихимъ голосомъ, но въ этомъ голосѣ я зачуяла какое-то особенное вздрагиваніе, говорившее о томъ, что онъ врядъ ли смотритъ на исходъ своей дуэли, какъ я на него смотрю.

— Если такъ разсуждать,—сказала я, съ трудомъ сдерживая свое волненіе,—то ты теперь не смѣешь ни съ



вѣмъ говорить о себѣ, искать занятій, мѣста, потому только, что у тебя была дуэль съ человѣкомъ, съ которымъ ты вмѣстѣ служилъ? Это очень странно. Наконецъ, если тебя это тревожить больше, чѣмъ слѣдовало бы, если тебѣ непріятно видѣть даже тѣхъ, кто, навѣрно, относился къ тебѣ хорошо, съ сочувствіемъ,—какая надобность сидѣть въ Петербургѣ? Мы могли бы уѣхать на мѣсяцъ, на два, куда тебѣ угодно, хочешь въ Крымъ, хочешь за границу. Ты высидѣлъ шесть мѣсяцевъ въ одной камерѣ, нервы твои, да и весь организмъ нуждается...

— Въ чемъ? Въ отдыхѣ?—спросилъ онъ, насмѣшливо улыбувшись.

— Не въ отдыхѣ, а въ другихъ впечатлѣніяхъ. Тамъ мы будемъ совсѣмъ одни, многое забудется...

— Покорно благодарю!—закричалъ онъ и почти злобно засмѣялся.—Что же это такое? Un voyage de pose? Этого еще не доставало! И на какія средства?..

— Николай, — прервала я, — тебѣ не грѣшно? Ты не можешь какихъ-нибудь два-три мѣсяца позволить мнѣ раздѣлить съ тобою то, что я имѣю?.. Я не понимаю такой щепетильности... между нами?—спросила я съ удивленіемъ.

— Конечно, конечно!—съ горечью подхватилъ онъ. — Женщины многого не понимаютъ. То, что для насъ — категорическое требованіе нашей совѣсти, то для нихъ — щепетильность!

И вставая изъ-за стола, онъ бросилъ мнѣ, уходя въ кабинетъ, возгласъ:

— Никогда я не позволю себѣ такой voyage de pose, никогда!

Слезы душили меня. Я была прикована къ стулу. Я боялась идти за нимъ и продолжать этотъ тяжелый, обидный разговоръ.

III.

Николай, наконецъ, пошелъ куда-то. Я не знаю куда. Вѣроятно, купить что-нибудь для своего письменнаго стола. Онъ несомнѣнно пишетъ дневникъ. Разрозненныхъ листковъ я не вижу на его столѣ... Можетъ-быть, у него кончилась вся тетрадь, и онъ начнетъ завтра-послѣзавтра новую.

Никто у насъ не бываетъ. День тянется-тянется. Мои знакомые, тѣ, кого я, годъ назадъ, принимала въ своей

гостиной, точно всё вымерли. Женщины... такъ-называемыя „пріятельницы“, ни одна меня не любила. Онѣ играютъ въ добродѣтельныхъ... И почти у каждой есть по любовнику. Моя главная вина не въ томъ, что я полюбила при живомъ мужѣ, а та, что полюбила человека бѣднаго, безъ солиднаго положенія, тогда какъ мужъ былъ съ состояніемъ и съ вѣсомъ. И я довела до того, что мужъ умеръ отъ раны, полученной на дуэли.

Мнѣ и не надо ихъ — этихъ фальшивыхъ и глупыхъ бабенокъ!

Но и мужья ихъ не являются.

Цѣлую недѣлю не былъ Завацкій. Сегодня пришелъ онъ въ отсутствіе Николая. Я ему почти обрадовалась.

— Вы совсѣмъ насъ забыли, — слегка упрекнула я его.

— Не хотѣлъ смущать васъ. Всего одна недѣля...

— Какая? Медовая?

— А то какая же?.. Вамъ обоимъ никого не нужно было. Провались вся вселенная!..

Должно-быть, я не воздержалась отъ двойственной усмѣшки.

Онъ подскѣлъ поближе и спросилъ, прищуривая глаза, сквозь стекла своего рінсе-пез:

— Развѣ не такъ?

Въ немъ есть что-то, мѣшающее мнѣ сблизиться съ нимъ, какъ съ добрымъ знакомымъ Николая, наконецъ, какъ съ его защитникомъ, который по-своему сумѣлъ значительно облѣпить его: вмѣсто года, Николай просидѣлъ только шесть мѣсяцевъ. Но въ Завацкомъ чувствую я какую-то смѣсь, не позволяющую мнѣ, до сихъ поръ, быть съ нимъ на вполне дружеской ногѣ. Теперь мнѣ бы нуженъ былъ умный пріятель; но только *пріятель* — не больше. Для этого у него есть и большая развитость, и знаніе людей. Можетъ-быть, онъ гораздо раньше меня сталъ понимать настоящую натуру Николая. Мнѣ не очень правилось то, какъ онъ говорилъ о немъ, когда мы бесѣдовали во время процесса. Въ немъ чувствуется слишкомъ явное сознаніе своего превосходства. Онъ — любитель женщинъ: это всѣмъ извѣстно, и, кажется, онъ только выдаетъ себя за холостого. Кто-то мнѣ говорилъ, что онъ рано женился и очень скоро разошелся съ женой. Въ томъ обществѣ, гдѣ онъ бываетъ, у него было много тайныхъ связей съ замужними женщинами... Кажется,

теперь онъ перешелъ уже къ другимъ, болѣе легкимъ побѣдамъ.

Въ Завацкомъ вы чувствуете всегда этотъ инстинктъ охотника... „un chasseur de femmes“, какъ выражаются французы. Впрочемъ, онъ и самъ себя называлъ при мнѣ *либертиномъ* и выговаривалъ это слово съ особеннымъ удовольствіемъ. Если къ нему относиться снисходительно, проще, то его манера съ вами—очень пріятна. Женщинъ онъ понимаетъ и неспособенъ задѣть васъ даже въ мелочахъ. Можетъ-быть, какъ умный человѣкъ, хорошо знающій жизнь, онъ дѣйствительно выработалъ себѣ широкій взглядъ на насъ всѣхъ... Только эта терпимость можетъ многимъ показаться оскорбительной...

Я совсѣмъ не такая ригористка; я думаю, что мужчина, какъ Завацкій, пѣнить чувство, страсть, увлеченіе, даже поэтический капризъ больше многихъ. Самъ онъ либертинъ; но это только недостатокъ натуры. Быть-можетъ, онъ внутренне ставитъ тѣхъ, кто способенъ на пылкое, захватывающее чувство, гораздо выше себя?..

— Послушайте, Завацкій, — начала я, не отвѣчая ему прямо на вопросъ о нашей „медовой“ недѣлѣ,—вы были такимъ талантливымъ защитникомъ моего мужа... Но были ли вы его наперсникомъ, слышали ли вы его настоящую исповѣдь?

Онъ немного откинулся на спинку дивана и снялъ ринсепез. Его крупныя, очень чувствennыя губы сложились въ неопредѣленную усмѣшку. Что-то было въ его короткой, полной фигурѣ и въ лысой круглой головѣ такое, что заставило меня сейчасъ же пожалѣть о моемъ вопросѣ.

Но назадъ нельзя уже было пятиться.

— Видите ли, Авдотья Петровна, когда Николай Аркадьевичъ сдѣлался моимъ кліентомъ, мы съ нимъ были въ хорошихъ отношеніяхъ, но дружеской связи между нами не было. Для меня, какъ для его защитника, мотивы его поступковъ не представляли ничего загадочнаго. То, что онъ мнѣ самъ говорилъ, вытекало, такъ сказать, изъ существа дѣла. Тогда,—протянулъ онъ съ особенной интонаціей,—Николай Аркадьевичъ находился въ очень сильномъ аффектѣ...

— Былъ сильно охваченъ страстью,—подсказала я.

— Ну, да, если угодно... однако,—онъ опять надѣлъ свое ринсепез,—позвольте мнѣ сейчасъ, не умничая, сдѣлать маленькое различіе. Употребляя педантское слово

„аффектъ“, я хочу этимъ сказать, что общее душевное состояніе Николая Аркадьевича было чрезвычайно возбужденное. Но я не употребилъ этотъ терминъ, какъ однозначій съ захватомъ любви, съ страстнымъ чувствомъ къ женщинѣ.

— Да, вотъ въ такомъ смыслѣ... — выговорила я, невольно смущенная.

— Изъ моихъ наблюденій надъ вашимъ мужемъ я позволю себѣ вывести то заключеніе, что это натура, въ одно и то же время, и прямолинейная, и склонная къ чисторусскому... простите за неизящество выраженія: къ большому душевному *ковыряню*.

— Какъ это вѣрно!

И тотчасъ же я упрекнула себя.

— Не будемъ разбрасываться, — продолжалъ Завацкій и, наклонившись ко мнѣ, ласково и вкрадчиво сталъ поглядывать на меня сквозь стекла своего рінсе-пез. — Вопросъ, заданный вами, я самъ себѣ нѣсколько разъ ставилъ, то-есть: высказывался ли Николай Аркадьевичъ въ нашихъ свиданіяхъ съ-глазу-на-глазъ такъ, чтобы это можно было принять за настоящую исповѣдь? Вполнѣ — не думаю. До суда, какъ я сейчасъ сказалъ, онъ былъ чрезвычайно взвинченъ и повторялъ то, что я могъ и самъ возстановить въ смыслѣ его психологіи — психологіи человѣка, выступившаго соперникомъ... вашего перваго мужа. Но на засѣданіи — васъ тамъ не было и отчетъ не даетъ вѣдь очень многого, — на засѣданіи, говорю я, въ тонѣ, именно въ тонѣ Николая Аркадьевича, въ маленькихъ, чуть-замѣтныхъ движеніяхъ, возгласахъ и недомолвкахъ было уже нѣчто иное.

— Что же именно? — порывисто спросила я.

— Прямолинейный человѣкъ уступилъ уже мѣсто тому типичному русскому моралисту и самоковырятелю, если позволите мнѣ такъ выразиться, который несомнѣнно сидитъ въ Николаѣ Аркадьевичѣ. Онъ не каялся, но и не оправдывалъ себя, какъ вы помните, въ заключительномъ своемъ словѣ, и мнѣ показалось даже, что моя защита вызвала въ немъ, тутъ же, на засѣданіи, потребность выдать себя еще больше, чѣмъ онъ сдѣлалъ. Въ сущности это былъ прекрасный приемъ. Ни одинъ адвокатъ не поступилъ бы ловчѣе; только у Николая Аркадьевича все это выходило изъ его душевнаго нутра. Стало-быть, уже въ моментъ произнесенія надъ нимъ приговора, который

въ публикѣ многихъ удивилъ, въ его душевномъ настроеніи произошла, такъ сказать, трещина.

Завацкій засмѣялся своимъ короткимъ, не очень пріятнымъ для меня смѣхомъ.

— А потомъ, вы бывали у него въ крѣпости?

— Всего два раза... Въ первый разъ разговоръ былъ чисто дѣловой и ему сильно нездоровилось, отъ невралгій онъ едва говорилъ.

— А во второй разъ?

— Во второй разъ, — Завацкій перевелъ духъ и немного прикусилъ нижнюю губу, — во второй разъ самоанализъ уже сильно похозяйствовалъ. Недавнее общее аффективное состояніе прошло, и передо мною былъ уже человекъ, уходящій въ себя... въ ущербъ своему чувству...

Я поняла, что онъ хотѣлъ этимъ сказать. Вотъ уже больше недѣли, какъ я начала разглядывать правду.

— Дорогая Авдотья Петровна, — заговорилъ Завацкій, протянувъ мнѣ свою бѣлую и пухленькую руку, — не вдавайтесь и вы въ русскій недугъ самоанализа. Сколько я васъ понимаю, вы — настоящая женщина. Въ васъ зажглось чувство и сдѣлалось главной пружиной всего вашего душевного я. Это — большое счастье! Говорю это, несмотря на мою репутацію. Неужели вамъ до сихъ поръ невдомекъ, что у насъ, въ русскомъ обществѣ, любовь въ какой бы то ни было формѣ, глубокой или легкой, не составляетъ настоящаго *культа*. Большинство русскихъ мужчинъ, даже имѣющихъ репутацію любителей женщинъ, все-таки женщину не любятъ такъ, какъ она этого заслуживаетъ. И этого мало — они не любятъ и любви... простите мнѣ этотъ плеоназмъ; но я не умѣю иначе выразиться.

— Это прекрасное выраженіе! — вскричала я и почувствовала, что вся краснѣю. — *Да, не любятъ любви!*

Множество вопросовъ толпилось въ моей головѣ; но мнѣ стало какъ бы неловко, почти страшно продолжать эту консультацію.

IV.

Въ первый разъ я ждала Николая до поздняго часа. Онъ уѣхалъ послѣ обѣда, ничего мнѣ не сказавъ.

Я работала, читала. На меня нашла одурь отъ жданья. И часу съ двѣнадцатаго стала я метаться по комнатамъ, подбѣгая къ окнамъ гостиной и кабинета, выходящимъ

на улицу: точно я могла разглядѣть изъ второго этажа—кто подъѣхалъ къ намъ.

Вчерашній разговоръ съ Завацкимъ весь пришелъ мнѣ и получилъ вдругъ какую-то особенную яркость и силу.

Вѣдь адвокатъ правъ, тысячу разъ правъ! Въ Николаѣ уже нѣтъ того мужчины, который готовъ былъ идти изъ-за меня на вѣрную смерть. Другой человекъ, съ чисто-русской болѣзнью *самоковырня* и морализма, началъ брать верхъ во время сидѣнья въ крѣпости.

Прямо Завацкій и въ этомъ: наши мужчины не любятъ женщины и не любятъ самаго чувства. Оно для нихъ—какой-то придатокъ, средство, а не цѣль, какъ для насъ.

Начинается нѣчто страшное и обидное для меня.

Было очень поздно. Я легла и, утомленная жданьемъ, задремала. Проснулась я не очень поздно... Кровать Николая пуста... Это меня испугало. Страхъ охватилъ меня ввезанно.

Николай не возвращался домой. Развѣ это могло случиться такъ оттого только, что онъ прокутилъ всю ночь? А если нѣтъ, то онъ покончилъ съ собою.

Мысль о возможности самоубійства пронизала меня впервые, и такъ стремительно... Я вскочила и въ одномъ бѣльи бросилась изъ спальни.

Прислуга уже проснулась. Я подбѣжала къ двери кабинета. Она была заперта изнутри... Я постучала довольно сильно... Отвѣта не было.

Сейчасъ же мнѣ представилась картина: Николай лежитъ на биванѣ съ прострѣленнымъ вискомъ. Я стала стучать и бить кулакомъ въ дверь.

Наконецъ, Николай отперъ... Онъ былъ полуодѣтъ, безъ сюртука и галстука; лицо землистое, волосы въ беспорядкѣ.

— Что такое? Зачѣмъ ты заперся?—закричала я и не выдержала—тутъ же заплакала.

Онъ лѣниво прошелся по комнатѣ и соннымъ голосомъ выговорилъ:

— Поздно вернулся вчера... Не хотѣлъ тебя беспокоить.

— Какъ же, ты такъ одѣтый и спалъ?

— Что же за бѣда?

— Я намучилась вчера... Ты ничего не сказалъ. Заснула я очень поздно...

— Что же тутъ такого особеннаго?.. Встрѣтилъ одного товарища... москвича... Мы поужинали, я его проводилъ въ гостиницу, и тамъ мы заговорились.

— Все это прекрасно, Николай... Но я только прошу: въ другой разъ не запирайтесь такъ въ кабинетѣ.

Можетъ-быть, отъ тревожной ночи, но я не могла подавить своей нервности и слезы тихо текли изъ моихъ глазъ.

Онъ поглядѣлъ на меня, стоя поодаль у письменнаго стола.

— Съ какой стати,—началъ онъ,—ты такъ волнуешься?.. Самая обыкновенная вещь. Я тебя же не хотѣлъ беспокоить.

— Это совсѣмъ не то!—почти закричала я.

— То-есть какъ же не то? — глухимъ и неискреннимъ тономъ спросилъ онъ.

— Да, не то, не то! Я вижу, куда это идетъ!

— Что это?—уже съ нѣкоторымъ раздраженіемъ переспросилъ Николай.

— Ты запираешься... тебя тяготитъ то, что у насъ общая спальня.

— Съ какой же стати?—началъ-было онъ.—Но я дѣйствительно боюсь беспокоить тебя. Сплю я въ общемъ плохо.

— Я этого не замѣчала.

— Потому что я не хотѣлъ тебя тревожить.

— Стало-быть, ты притворялся спящимъ?

— Если хочешь, да. Съ какой же стати сталъ бы я лишать тебя сна?

— Все это не то, Николай, — заговорила я, чувствуя какъ слезы опять начинаютъ меня душить.—Пожалуйста, не думай, что я, какъ пустая, взбалмошная бабенка, тревожусь изъ-за пустяковъ, подозреваю тебя! Ты свободенъ... ты можешь проводить вечера какъ тебѣ угодно... И если я дѣйствительно беспокоилась, то на это есть причины.

— Какія?

Онъ, въ разбитой и недовольной позѣ, присѣлъ у стола, опустивъ голову.

— Какія, какія?! Я теряюсь, Николай. Я не имѣю права допрашивать тебя... Только ты совсѣмъ другой. Въ тебѣ что-то такое происходитъ. Согласись самъ: развѣ мы такъ живемъ, какъ оба мечтали... по крайней мѣрѣ, какъ я имѣла поводъ мечтать? Я говорю не какъ смѣшная сентиментальная дамочка—ты знаешь, мнѣ не семнадцать, а тридцать лѣтъ. Намъ свела судьба—не зря, не по пустякамъ, мы были созданы другъ для друга. Когда чувство

охватило насъ обоихъ, у насъ не было ни минуты колебаній... Зачѣмъ я тебѣ все это повторяю! Ты это самъ прекрасно знаешь, — прибавила я, — и послѣ столькихъ испытаній, послѣ твоего полугодового сидѣнья въ крѣпости — и вдругъ, точно все рухнуло!

Голосъ мой упалъ; я была на волоскѣ отъ того, чтобы горько разрыдаться, быстро встала и начала ходить по кабинету. Николай продолжалъ сидѣть въ той же позѣ у стола.

— Что же по-твоему надо дѣлать?

Это было сказано не то что жестко, а деревянно и неискренно. Я подбѣжала къ нему и схватилась за спинку кресла.

— Зачѣмъ ты говоришь со мной такимъ тономъ, Коля? Это грѣшно, недостойно тебя. Недостойно нашей любви. Право, если бы кто видѣлъ, какъ мы переживаемъ нашъ медовый мѣсяцъ, то бы подумалъ одно изъ двухъ...

— Что такое? — чуть слышно спросилъ онъ, и недобрая усмѣшка повела его блѣдныя губы.

— А вотъ что: или ты тайно заподозрилъ меня въ чемъ-нибудь... я не знаю именно въ чемъ! Въ моей вѣрности къ тебѣ?.. Или же въ тебѣ самомъ что-нибудь произошло, въ твоей внутренней жизни. Но я чувствую, всѣмъ своимъ существомъ чувствую, что ты не тотъ человекъ, за которымъ я пошла. Вотъ ты говоришь мнѣ, что встрѣтилъ товарища и просидѣлъ съ нимъ въ ресторанѣ, и потомъ у него въ отелѣ до пѣтуховъ... Я была бы такъ рада этому... твоей встрѣчѣ съ товарищемъ, съ которымъ бы ты отвелъ себѣ душу. А я не могу этого... Я точно ревную къ нему... къ этому товарищу.

— Напрасно.

— Ты не хочешь знать почему? — спросила я порывисто, чувствуя, что все во мнѣ вздрагиваетъ.

— Скажи — узнаю.

— А потому, что этотъ невидимка... онъ отнялъ у меня то, что принадлежитъ мнѣ по праву нашей любви, нашей связи. Конечно, ты говорилъ ему о себѣ, о встрѣчѣ со мною, о дуэли, о сидѣньи въ крѣпости... А главное, ты долженъ былъ изливаться ему о томъ, что въ тебѣ въ пастоящую минуту происходитъ...

— Все это — преувеличенія, Дима.

— Какія преувеличенія, Николая? Неужели ты не понимаешь, что я теряюсь, что у меня точно нѣтъ земли



подъ ногами! Тебя начали угнетать какія-то совсѣмъ ненужныя соображенія: и насчетъ того, что ты живешь на чужой счетъ, и насчетъ мнѣнія о тебѣ общества. Я чувствую, что не въ силахъ успокоить тебя, разубѣдить. Ты никуда не хочешь идти, ни съ кѣмъ переговорить, а со мной ты избѣгаешь задушевной бесѣды...

— О чемъ же гворить?—спросилъ онъ, вставая, и повелъ плечами. — Я начинаю чувствовать, Дима, до какой степени трудно мужчинѣ и женщинѣ сойтись, сладиться на чемъ бы то ни было, какъ только они не охвачены инстинктомъ...

— Что ты называешь инстинктомъ? Самое дорогое, что у насъ есть съ тобой — нашу привязанность? Какъ тебѣ не стыдно!

Я разрыдалась и упала на диванъ. Николай не бросился меня успокаивать. Онъ отошелъ къ окну и долго не оборачивался. Это такъ меня кольнуло, что слезы остановились и въ груди заняло. Я оправилась и, продолжая сидѣть на диванѣ, послѣ длинной паузы, стала говорить спокойнѣе и совсѣмъ другимъ тономъ:

— Ну, хорошо. Я не буду нервничать. Я тебя слушаю, изложи мнѣ твою теорію. Ты что же хотѣлъ сказать? Что только чувственная страсть можетъ минутами превращать мужчину и женщину въ одно существо? Ты такъ безпощаденъ ко всякимъ clichés, къ общимъ мѣстамъ морали; а что же это такое, какъ не общее мѣсто?

— Ты не дала мнѣ докончить,—заговорилъ Николай, поворачиваясь отъ окна. — Ты преисполнена только своимъ женскимъ чувствомъ... Но дѣло идетъ вѣдь не о тебѣ, а обо мнѣ. Тебя обижаетъ то, что я какъ бы замкнулся въ себѣ... Стало-быть, ты желаешь проникнуть въ мою душу, вѣдь такъ?

— Развѣ я не имѣю на это права?

— О правахъ намъ не пристало спорить, Дима, — выговаривалъ онъ гораздо искреннѣе, чѣмъ все предыдущее, и голосомъ, и тономъ. — Какія права?..

— У насъ нѣтъ правъ другъ на друга?

— Тебѣ нельзя держаться на этой почвѣ,—промолвилъ онъ, покачавъ головой.

— Это почему?

— А потому, что для тебя, какъ и для всѣхъ почти женщинъ, все сводится къ своему аффекту.

Я вспомнила выраженіе Завацкаго... Мужчины не могут не педантствовать!

— А кто не признаетъ ничего выше своей страсти, поползновенія или похоти,—обронилъ онъ,—тотъ не долженъ выставлать идею права.

— Мы не на диспутъ, Николай!—закричала я съ пылающими щеками.—Зачѣмъ намъ спорить? Въ эту минуту ты ведешь себя со мною недостойно такого честнаго и прямого человѣка, какъ ты!

— Честный! Прямой!—повторилъ онъ и засмѣялся такъ громко и странно, что меня даже дрожь пробрала. — Ты бы лучше спросила меня самого, какого я мнѣнія въ настоящую минуту о собственной личности...

Отойдя къ двери, онъ взялся за ручку и выговорилъ упавшимъ, почти просительнымъ тономъ:

— Ради Бога, прекратимъ этотъ разговоръ. Позволь мнѣ умыться и переодѣнуть платье.

Онъ ушелъ. Я оставалась на диванѣ и въ груди чувствовала я все то же засасывающее нытье:

Я точно вышла изъ оцѣпенѣнія. „Что это такое?—внутренно повторяла я, — что это еще за новость? Почему этотъ дикій хохотъ? Развѣ онъ пересталъ себя даже считать просто честнымъ человѣкомъ? Стало-быть, я не могу уже судить и объ этомъ, знать, что за человѣкъ, котораго я полюбила?“

На письменномъ столѣ увидала я толстую переплетенную тетрадь и сейчасъ же подумала, что это—его дневникъ.

И такъ мнѣ тетрадь эта сдѣлалась ненавистна, что я подбѣжала къ столу, схватила ее и стала теревить. Но она была сдѣлана въ видѣ портфеля съ замочкомъ. Замокъ былъ запертъ. Я было рванула кожу. Мнѣ стало стыдно. Портфель-дневникъ выпалъ у меня изъ рукъ.

V.

Я уже предчувствовала, что Николай не хочетъ имѣть общей спальни. Маленькая инфлюэнца продолжалась съ нимъ четыре дня.

Онъ этимъ воспользовался и перешелъ въ кабинетъ, подѣлывая предлогомъ, чтобы меня не беспокоить.

Но это одинъ предлогъ. Ему тяжело со мною.

Въ немъ сильнѣе, чѣмъ я думала, всплылъ наружу холостякъ, женившійся подѣ сорокъ лѣтъ. Онъ какъ бы

совсѣмъ не созданъ для жизни вдвоемъ, для такой жизни, безъ которой не можетъ быть горячей супружеской связи. Ему до сихъ поръ точно не по себѣ быть въ интимныхъ отношеніяхъ съ женщиной, одѣваться при ней, умываться... И этого мало! Чувствуется, что женщина въ спальнѣ вызываетъ въ немъ брезгливое чувство. Онъ стѣсненъ и слишкомъ плохо скрываетъ это.

Завацкій тысячу разъ правъ, находя, что Николай — настоящій русский, не любить ни женщины, ни любви.

Боже мой! Развѣ я требую распущенности? Развѣ я бьюсь изъ-за того только, чтобы *обладать имъ*, какъ мужчиной? Мнѣ и самое слово-то это противно! Но кто любить, тотъ ищетъ постоянной близости, тому дорого то, что приноситъ съ собою жизнь душа-въ-душу.

А душа его уходитъ отъ меня.

Мнѣ стало такъ горько вчера ночью, что я не выдержала и пошла къ нему. Каюсь, только подъ предлогомъ узнать—не нужно ли ему чего-нибудь? Я слышала, что онъ покашливалъ.

Я тихонько пріотворила дверь кабинета. Тамъ было темно.

— Коля!—окликнула я.

Онъ не сразу отвѣтилъ.

— Ты вѣдь не спишь! Я слышала, что ты кашляешь. Не нужно ли тебѣ чего?

— Ничего не нужно, — выговорилъ онъ хрипло и недовольнымъ тономъ.

— Жара вѣтъ?

Я вошла въ кабинетъ и полуошупью придвинулась къ турецкому дивану, гдѣ онъ устроилъ свою постель.

Сознаюсь, мнѣ не слѣдовало дальше беспокоить его, „приставать“, какъ выражаются всѣ мужья, но я не могла справиться съ собою, да и не считала честнымъ скрывать отъ него горькіе вопросы, нахлынувшіе на меня особенно сильно съ тѣхъ поръ, какъ онъ, подъ предлогомъ своего нездоровья, сталъ жить холостой жизнью.

Николай повернулся къ спинкѣ дивана; я почувствовала это по легкому треску пружинъ.

Онъ своимъ движеніемъ хотѣлъ, вѣроятно, показать мнѣ, что мои вопросы тяготятъ его, а я продолжала „приставать“.

Такова, видно, наша женская доля: наталкиваться на невниманіе и упорство тѣхъ, кого мы любимъ. Только

мы не позволяемъ себѣ возводить это въ теорію и бросать имъ въ лицо низменность ихъ натуры.

— Я уйду,—кратко, почти сконфуженно вымолвила я; но не ушла, а, нащупавъ край дивана, гдѣ валякъ, присѣла.

— Тебѣ не спится?—спросила я.

— Немного забылся,—отвѣтилъ онъ тягучимъ, простуженнымъ голосомъ.—Теперь такъ лежалъ.

— Давно?

— Не знаю; не смотрѣлъ на часы.

— Не зажечь ли свѣчу?

— Нѣтъ, не надо... Только мнѣ непріятно, что ты все аскакиваешь. Съ какой стати утомлять себя? Вѣдь у меня нѣтъ ничего серьезнаго... Да и рискованно.

— Что рискованно?

— Инфлюэнца прилипчива... И ты слижешь...

— Мнѣ все равно!

Мой возгласъ былъ неумѣстенъ, я это знаю. Въ немъ Николай не могъ не почуять ѣдкаго упрека за его поведение. Какъ же съ этимъ быть? Душа—не машина. Легко говорить: „нужна воля, нужна выдержка!“ Мужчины любить это повторять, а сами на каждомъ шагу провираются. Они въ тысячу разъ несдержаннѣе насъ.

— Какая ты странная, Дима,—началъ Николай, какъ будто нехотя, не поворачивая ко мнѣ головы. — Ты видишь, я избѣгаю всякихъ поводовъ къ столкновеніямъ или, лучше сказать, къ неопытнымъ дризмамъ совместной жизни.

— Какія дризги? Какія неопытности?—порывисто вскричала я.—Я не понимаю: о чемъ ты говоришь!

— Ну, хорошо... извини меня. Я, быть-можетъ, самъ дурно на тебя дѣйствую. Не желая того, вызываю въ тебѣ беспокойство. Вспомни, что я никогда не жилъ... вдвоемъ,—выговорилъ онъ съ нѣкоторымъ усиліемъ.—У всякаго уже немолодого холостяка образуются привычки.

Эти слова Николая скорѣе обрадовали меня. Онъ самъ подтверждалъ мою мысль: холостякъ дѣйствительно свазался въ немъ, и въ этомъ нѣтъ еще ничего ужаснаго. Хорошо, если бъ подъ этимъ не крылось другого.

Но, видитъ Богъ, я не хотѣла его допрашивать!

— Прекрасно,—сказала я ему.—Я и не настаиваю. Тебя стѣсняетъ многое... ты привыкъ имѣть все отдѣльное... Жаль только, что ты мнѣ не сказалъ этого раньше. Я

могла бы взять другую квартиру и у тебя при кабинетѣ была бы еще комната...

— Мнѣ здѣсь очень удобно,—остановилъ онъ меня мѣнѣе мягко.— Я привыкъ лежать низко. Да и воздуху въ этой комнатѣ гораздо больше.

— Хорошо, хорошо!—поторопилась я согласиться.

Мнѣ надо было уходить, а внутри меня глодалъ какой-то червякъ. Я готова была крикнуть:

„Все это не то! Ты ушелъ отъ меня не въ одинъ этотъ кабинетъ, не матеріально... Въ тебѣ происходитъ нѣчто, и оно грозитъ чѣмъ-то зловѣщимъ нашему чувству“.

Такъ оно и вышло. Въ настоящую минуту я не могу даже припомнить, что я сказала, собравшись уходить отъ Николая. Вѣроятно, это было какое-нибудь одно слово или восклицаніе. Кажется, онъ отозвался на него тоже однимъ словомъ или звукомъ, который переполнилъ чашу.

И опять полились мои рѣчи. Я не хныкала, не придиралась къ нему, не позволяла себѣ гнѣвныхъ выходокъ, но я настаивала на томъ, что я права, что онъ ведетъ себя со мною болѣе чѣмъ странно, что онъ не можетъ не понимать, до какой степени это огорчаетъ и гнететъ меня.

— Вѣдь ты меня знаешь,—сказала я ему,—не со вчерашняго дня. У насъ есть большое прошедшее. Вотъ уже около двухъ лѣтъ, какъ мы полюбили другъ друга. Вспомни, какъ ты сближался со мною, что заставляло тебя всего больше сочувствовать мнѣ? То, что между мною и моимъ первымъ мужемъ была только внѣшняя связь. Я не упрекаю тебя за то, что такой мотивъ разговоровъ между замужней женщиной и другомъ дома—обыкновенный пріемъ ухаживанья, то, съ чего такъ часто начинаются романы нашихъ дамъ. Я не считаю тебя теперь, какъ не считала и тогда, хищникомъ, который пускаетъ въ ходъ избитый пріемъ ухаживанья. Я говорю только, что ты долженъ, болѣе чѣмъ кто-либо, понимать: до какой степени меня убиваетъ чувство отчужденности, въ какой я очутилась... и такъ неожиданно, такъ незаслуженно!

И вмѣсто прямого отвѣта на крикъ моей души, Николай самъ задалъ мнѣ вопросъ тономъ человѣка, который точно будто ждалъ случая накинуться на себя самого.

— Такъ по-твоему уходить,—спросилъ онъ меня съ дрожью въ голосѣ,—что я сближался съ тобою, при жизни твоего перваго мужа, какъ благородный рыцарь? Ха-ха-ха!

Этотъ дикій хохоть окатилъ меня нестерпимо жуткимъ ощущеніемъ.

— Въ томъ-то и заключается трагедія между мужчиной и женщиной, — продолжалъ Николай, приподнимаясь на локтяхъ, — что вы помогаете намъ лгать самими себѣ... Безъ васъ намъ легче обнажать передъ самими собою наши хищные инстинкты... А тутъ — насъ слушаютъ, благодарятъ насъ за сочувствіе, позволяютъ расцвѣтать на разные лады эту ложь и этотъ самообманъ!

— Что ты говоришь...

Я просто вся похолодѣла.

— То и говорю. Шесть мѣсяцевъ, проведенныхъ мною съ-глазу-на-глазъ съ собою и своей собственной совѣстью, прошли не даромъ... Не взыщи за то, что я показываю тебѣ въ настоящую минуту итоги этого сидѣнья... Хуже всего ложь!.. Нужды нѣтъ, что она была неумышленная, что она сказывалась въ формѣ постоянного и прогрессивнаго самообмана. Я отвѣчаю на твою аттестацію. Пеній на себя... ты вызвала во мнѣ отпоръ.

Онъ совѣмъ сѣлъ, облокотившись на подушки. Я видѣла въ полумѣ отъ уличнаго свѣта, какъ онъ началъ нервно жестикулировать.

— Нѣтъ, говорю я тебѣ. Ты, какъ настоящая женщина, когда страсть заговорила въ тебѣ, потеряла чутье правды... не распознала, что и я, въ сущности, былъ такой же хищникъ, какъ и большинство тѣхъ мужчинъ, кто доводитъ женщину до разрыва съ мужемъ. И, быть-можетъ, въ десять разъ хуже перваго попавшагося развратника, который и не станеть прикрываться никакими высшими мотивами и фразами. Да, я инстинктомъ зачуялъ, что тема твоего душевнаго одиночества самая благодарная, и мнѣ казалось, что я поступаю, какъ истинный рыцарь, а подкладка была все та же!

Я не дала ему досказать. Мнѣ было слишкомъ больно, больнѣе, чѣмъ если бъ онъ сталъ обличать меня, назвалъ бы меня развратницей, которая вовлекла его въ грязную связь съ женой чловѣка, не сдѣлавшаго ему никакого зла. Но это была новая вспышка все того же душевнаго процесса. Онъ опять воспользовался моимъ естественнымъ, неизбѣжнымъ вопросомъ, чтобы выставить себя, заднимъ числомъ, какъ хищника, разыгравшаго со мною, скучающей тридцатилѣтней барыней, пошлую комедію адюльтера.

И за него, и за насъ обоихъ мнѣ было невыносимо

обидно. Это являлось какимъ-то озорствомъ, если не временнымъ помраченіемъ, если не запоздалымъ припадкомъ того самоковирья, о которомъ говорилъ такъ тонко и проникательно Завацкій.

Мнѣ захотѣлось дать на него окрикъ, какъ на капризнаго больного, и сейчасъ же мнѣ стало его жаль. Какое-то смутное предчувствіе зашевелилось внутри.

Быть-можетъ, онъ нажилъ, во время шестимѣсячнаго сидѣнья, начало какого-нибудь нервнаго расстройства, и было бы неразумно, дико негодовать на него, даже возражать.

Эта мысль совсѣмъ меня парализовала. Я поднялась, подошла къ его изголовью и прикоснулась къ плечу.

— Ради Бога, замолчи, — сказала я ему умоляющимъ голосомъ. — Не разстраивай себя! Прости меня, я сама виновата. Почивай!

Николай не порывался больше говорить, но онъ сдѣлалъ жестъ, который я истолковала, какъ убѣжденіе въ томъ, что женщина, и всего болѣе я, неспособна понять его.

VI.

Два горькихъ разговора и никакого выхода. Мнѣ самой дѣлается слишкомъ тяжело приставать къ нему, но и выносить такое положеніе еще тяжелѣе.

Живемъ мы вмѣстѣ, въ одной квартирѣ, проводимъ нашъ медовый мѣсяцъ... И что это за жизнь? Мы точно арестанты... Онъ сидитъ у себя или уходитъ, всегда одинъ. Я тоже въ своемъ кабинетикѣ. Ни программы жизни, ни занятій, ни свѣтскихъ интересовъ—ничего!

На меня даже нашла какая-то оторопь, малодушный страхъ, я какъ будто не рѣшаюсь никому показаться на глаза... Положимъ, меня не очень привлекаютъ знакомые, но все-таки Николаю слѣдовало бы самому сдѣлать нѣсколько визитовъ вмѣстѣ со мною. А то мы точно какъ бѣглецы или преступники.

Онъ не занятъ, а голова его продолжаетъ болѣзненно работать.

И я также не могу, вотъ уже который день, освободиться отъ постоянного перебирания все однихъ и тѣхъ же вопросовъ. Сонъ у меня отвратительный, я забываюсь только на разсвѣтѣ. Мнѣ не хочется прибѣгать къ нарко-

тическимъ средствамъ, а придется; и, пожалуй, незамѣтно превратиться въ морфинистку.

Послѣдній разговоръ, ночью, у него въ кабинетѣ, сначала испугалъ меня за него... На меня пахнуло чѣмъ-то ненормальнымъ. Въ первый разъ я готова была увидѣть въ немъ чуть не психопата. Я и теперь думаю, что ему надо бы обратиться къ врачу. Но въ немъ есть много пассивнаго упорства, и эту сторону его натуры я совершенно проглядѣла. Такъ оно и всегда бываетъ съ нами, когда загорится въ насъ то, безъ чего, должно-быть, не прожить никакой женщины съ душой. Если я ему скажу:— „тебѣ бы посовѣтоваться съ врачом“,—онъ, разумѣется, не согласится. Какого врача рекомендовать ему? По общимъ болѣзнямъ—это ни къ чему не послужитъ, а указать спеціалиста по нервнымъ разстройствамъ—онъ пойметъ, что я заподозрила его въ психопатіи.

Психопатія! Этимъ словомъ теперь такъ злоупотребляютъ. Но для меня гораздо важнѣе: сначала попытаться, чтò происходитъ въ душѣ Николая возможнаго, допустимаго даже и безъ всякаго болѣзненнаго разстройства.

Въ послѣднемъ разговорѣ была опять вспышка его *мужской* совѣсти. Онъ обвиняетъ себя заднимъ числомъ. Онъ считаетъ свое сближеніе со мной совсѣмъ не такимъ честнымъ, какимъ я его считала и до сихъ поръ считаю. Это преувеличено, но безумно ли?—не знаю. Опять характеристика, сдѣланная Завацкимъ, припомнилась мнѣ, и я снова убѣждаюсь въ ея вѣрности.

Да, былъ такой моментъ, когда Николай увлекся мной. Тогда его чувство и поведеніе были *прямолинейны*, какъ выражается его адвокатъ. Но съ тѣхъ поръ прошло болѣе года... Дуэль и сидѣніе въ крѣпости вызвали броженіе, и вмѣсто страстно любящаго мужчины передо мной кающійся грѣшникъ.

Но полно, такъ ли? Одно ли это говорило въ немъ, когда онъ сталъ обличать себя, какъ хищника? Обвинялъ онъ себя, по себя ли одного?

Постараюсь распутать это, насколько позволяетъ мнѣ моя бѣдная *женская* голова. Пускай я несвободна; пускай я нахожусь въ рабствѣ у своего чувства, у своей страсти, но все-таки и у меня есть нѣкоторая логика.

Теперь онъ смотритъ на себя какъ на хищника, который впадалъ въ самообманъ. Что же это значитъ? Развѣ этимъ самымъ онъ не хочетъ сказать, что главная винов-

нида — я? Я во-время не остановила его, не распознала въ немъ „презрѣннаго инстинкта“. Онъ мнѣ не сказалъ ничего оскорбительнаго въ такомъ именно смыслѣ, но это чувствовалось. Не прекрати я разговоръ, навѣрно я услышала бы отъ него что-нибудь въ такомъ родѣ: — „женщина должна фатально помогать намъ во всемъ хищномъ, во всякой поблажкѣ нашей чувственности и самообману“.

И разъ въ немъ самомъ нѣтъ вѣры въ то, что наше сближеніе было неизбѣжно, что насъ влекло нѣчто, стоящее выше всякихъ фарисейскихъ запретовъ морали, онъ не можетъ ни чувствовать, ни разсуждать иначе.

Я дѣлаюсь для него сообщницей...

Неужели это такъ? И я въ какихъ-нибудь десять дней дошла до сознанія своего безсилія?..

Боже мой! Къ чему я все это перебираю? Видно, и я уже заразилась болѣзнью моего мужа. Вѣдь это прямо признаваться въ банкротствѣ. Стало-быть, я, какъ женщина, не могу, не умѣю привлечь его опять къ себѣ, заставить стряхнуть съ себя этотъ психопатическій маразмъ. Господи! Неужели такъ оно выходитъ? И это не временное разстройство, а начало глубокаго душевнаго переворота?

Не хочу съ этимъ соглашаться! Мы привыкли слишкомъ многое объяснять чисто-нравственными причинами. А дѣло тутъ часто гораздо проще и нейдетъ дальше матеріи. Я, слава Богу, не считаю себя истеричной. Зато сколько я уже знавала нервныхъ женщинъ, у которыхъ вся жизнь была испорчена оттого, что онѣ во-время не занялись собою... Запущенное малокровіе, неудачное материнство, глупый образъ жизни, и глядишь — психопатка готова!

Но какъ довести Николая до необходимости заняться собою? Не можетъ быть, чтобы я чего-нибудь не придумала, а пока я даю себѣ слово: не вызывать его ни на какой нервный разговоръ. Простуда его почти совсѣмъ уже прошла. Я не знаю, хорошо ли онъ спитъ, по крайней мѣрѣ, я не слышу отъ себя ночью ни малѣйшаго шороха. Онъ не ворочается, не зажигаетъ свѣчи, не ходитъ по комнатѣ.

Если же онъ самъ начнетъ опять обличать себя, я буду отвѣчать ему иначе, я напомню ему, не въ общихъ фразахъ, а подробно, если нужно, шагъ-за-шагомъ, какъ происходило наше сближеніе. Онъ долженъ будетъ сознаться, что мы не могли обманывать другъ друга или вдаваться

въ жалкій самообманъ. И въ эту минуту я готова была бы явиться передъ какимъ угодно судилищемъ и самымъ безпощаднымъ образомъ разобрать всѣ свои побужденія, мысли, поступки.

Я полюбила. Боже мой! Неужели мужчины не могутъ признать, что безъ какого-то электрическаго удара, когда все ваше существо преобразается—страсть немислима, и то, что они называютъ *чувственностью*, есть только неизбежная уступка нашей природѣ?! Развѣ женщина, способная любить, въ состояніи быть хищницей? Всегда ея чувство переживаетъ инстинктъ. Мужчина старѣетъ, дурнѣетъ, теряетъ въ глазахъ всѣхъ свой престижъ, но для нея одной онъ все тотъ же... и гораздо больше, чѣмъ женщина для мужчины.

Мой первый мужъ былъ только на два года старше Николая, красивѣе его, бодрѣ на видъ... Я знаю, что многимъ онъ серьезно нравился. Я и сама испытывала на себѣ его физическое обаяніе мужчины, до тѣхъ поръ, пока не узнала, что такое *дружная* любовь.

Мы сошлись съ Николаемъ вовсе не такъ, какъ онъ теперь представляеть. Никакихъ селадонскихъ утѣшеній и „подходовъ“ онъ не позволялъ себѣ. Какъ только я почувствовала, что и онъ любитъ, то сейчасъ же вся моя жизнь съ мужемъ представилась мнѣ пустой, безсознательно-лживой, лишенной поэзіи и высшей радости. Я не драпировалась, я не выдавала себя за жертву, за несчастную женщину, изнывающую отъ непониманія, эгоизма и грубости своего супруга и повелителя.

Онъ выказалъ себя жестче, ограниченнѣе, себялюбивѣе—потомъ, когда я предложила ему возвратить мнѣ мою свободу, но раньше, во время нашего сближенія съ Николаемъ, я никогда ни въ чемъ мужа не обвиняла. Я жила полусознательно.

А если это такъ, то какая я сообщница, какая я подстрекательница, и какой разумный поводъ имѣеть Николай считать меня сколько-нибудь виновной въ томъ, что онъ называетъ теперь своимъ хищничествомъ?

Боже мой! Если бъ въ немъ самомъ было то, чѣмъ онъ пыдалъ годъ тому назадъ, развѣ мыслимо было бы то, что теперь начинаетъ подѣлать нашу жизнь? Да, они не такъ созданы, какъ мы, и то, что для насъ—высшая радость, и сила, и обаяніе, то для нихъ—только пароксизмъ, припадокъ, блажь, что-то чуть не низменное и не живот-

ненное! Мы способны все простить и все перенести изъ-за чувства. Они ведутъ какую-то двойную бухгалтерію, для нихъ нужно, чтобы любовь не смѣла нарушать ихъ душевный покой, они не поступятся ей ничѣмъ, что составляетъ ихъ достоинство, безукоризненность ихъ поведения или даже ихъ совершенно условные взгляды и привычки.

И прежде я это понимала, но никогда еще не переживала этого такъ, какъ теперь.

Пожалуй, какой-нибудь дешевый моралистъ закричитъ: „Пришло *возмездіе*, и вы должны претерпѣть его!“

Возмездіе—за что? Все это фразы! Развѣ мы одни полюбили другъ друга въ тѣхъ же точно условіяхъ? Кто мѣшаетъ намъ отдаться тому счастью, какое мы взяли дорогой цѣной? Никто и ничто. У меня нѣтъ предубѣжденій, я не боюсь никакихъ пересудъ и гримасъ кумушекъ; но я и не желаю открывать у себя салонъ. Николай былъ не менѣе меня смѣлъ, онъ зналъ, на что онъ идетъ. Не изъ одной жалости ко мнѣ сошелся онъ со мной. Надо пользоваться тѣмъ, что добыто такой дорогой цѣной. Надо! Мы, женщины, это понимаемъ и чувствуемъ. А у мужчинъ другая логика.

Когда мы сближались съ нимъ—ни одинъ изъ насъ не хотѣлъ выгораживать своего поведения. Мы прекрасно знали, какимъ словомъ, даже въ самыхъ испорченныхъ кружкахъ, называютъ то, что между нами завязалось.

Потому-то мы и не хотѣли адюльтера съ его унижающей грязью и пошлостью. Его и не было, если формально не придираются. Довольно и того, что мнѣ, какъ вѣроятно десяткамъ и сотнямъ замужнихъ женщинъ, пришлось испытать, когда я въ первый разъ пошла объясняться съ Иваномъ Андреевичемъ. Вѣдь и онъ считалъ себя либеральнымъ мужемъ, и онъ говаривалъ, что за чувство, если оно искренно, никто не можетъ быть отвѣтственъ. А тутъ сейчасъ же слышались другіе звуки. И въ этомъ мужчины—сколько бы ни просуществовала земля—будутъ всегда вѣрны себѣ: ихъ увлеченія, какъ бы они ни были дрянны и пошлы, не могутъ представляться имъ такими, какъ увлеченія женщины, если она связана. Мнѣ теперь сдается, что въ мужчинахъ есть какой-то первородный грѣхъ возмутительной несправедливости, какъ только дѣло коснется женщины, ея чувства, ея правъ на счастье. Они этимъ самымъ выдаютъ себя, свои чисто-животненные инстинкты, свою неспособность подняться надъ грубой

подозрительностью, въ которой сквозить ихъ унижающій взглядъ на чувство любви.

VII.

Судьба или детерминизмъ, какъ любить выражаться Николай. Подаютъ мнѣ карточку: *Пелагея Герасимовна Кобрина*. Я въ первую минуту не сообразила, кто это, но вспомнила, что это моя когда-то старшая подруга по гимназіи Паша Клементьева. Мы съ ней не видались больше восьми лѣтъ, можетъ-быть, и цѣлыхъ десять. Она рано вышла замужъ и рано овдовѣла, поступила на медицинскіе курсы и потомъ получила степень въ Парижѣ. О ней даже писали въ тамошнихъ газетахъ. Кажется, она на годъ или на полтора старше меня.

Когда она вошла, мнѣ сразу показалось, точно будто это совсѣмъ другая личность. Въ памяти моей сохранилась фигура довольно красивой, худенькой блондинки, не очень большого роста, а теперь она—рослая, полная, даже очень полная женщина: лицо круглое, съ немного пухлыми щеками и, какъ мнѣ показалось, цвѣтъ кожи слишкомъ ровный. И глаза чуть-чуть подведены. На лбу модный хохоль. Шляпка огромная, со множествомъ цвѣтовъ и бантовъ, и дорогое шелковое платье. Отъ вздутыхъ рукавовъ фигура ея кажется еще болѣе мужественной.

Мы встрѣтились какъ подруги и заговорили на ты. И голосъ ея сдѣлался ниже, гуще, гораздо сильнѣе, чѣмъ прежде, немножко съ хрипотой. Сейчасъ видно, что Парижъ сильно прошелся по ней, особенно въ манерѣ говорить—сыпать слова увѣренно и рѣзковато.

Обо мнѣ она тоже ничего не знала и даже здѣсь въ Петербургѣ, за цѣлые полгода, ни отъ кого не слыхала. Теперь она обжилась и приобрѣла уже хорошую практику

— Ты по какой же спеціальности?—спросила я ее.

Она оглянула меня, какъ бы желая сказать этимъ взглядомъ: „какъ же ты не знаешь, кто я и на чемъ приобрѣла извѣстность“.

Я даже немножко сконфузилась.

— Я ученица Шарко,—сказала она мнѣ.

— И тамъ же получила степень?

— Тамъ.

— Значитъ, ты докторъ медицины парижскаго университета?

— 'turellement!—шутливо воскликнула она парижским жаргонным словомъ.

— Поздравляю.

И сейчас же меня пронизала мысль, что этотъ визитъ не спроста. Не спроста—для меня. У ней врядъ ли была какая-нибудь задняя мысль, кромѣ желанія расширить свои связи.

Особенной дружбы между нами не было, но мы ладили, одно время даже удалялись въ физическій кабинетъ и тамъ много болтали. Если она была ученицей Шарко, стало-быть, ея специальность — нервныя и душевныя болѣзни.

— Ты психіатръ?—спросила я, стараясь сдержать свое волненіе.

— Конечно.

Сейчасъ же я сообразила: чего же лучше, какъ не воспользоваться знакомствомъ съ ней, чаще приглашать ее къ обѣду?.. Она по профессіи должна быть наблюдательна... Въ какихъ-нибудь три-четыре недѣли она, и безъ моихъ указаній, составитъ себѣ мнѣніе о душевномъ настроеніи Николая.

— Ты за вторымъ мужемъ?—спросила меня Кобрина, и глаза ея, очень искусно подведенныя, игриво прищурились.

Значить, она слышала—кто мой мужъ и какое у меня прошедшее.

— Да, я вышла въ другой разъ.

Она наклонилась ко мнѣ и вполголоса, все съ той же миной, спросила:

— Ты, кажется, со мной стѣсняешься? Я безъ предразсудковъ.

Будь у ней другой тонъ—я бы не выдержала и стала бы ей изливаться. Но она, должно-быть, именно въ Парижѣ, приобрѣла что-то для меня чуждое. Я рисковала наткнуться на тотъ оттѣнокъ женской положительности, который наши барыни такъ хорошо себѣ усваиваютъ, проживши во Франціи, на полной волѣ.

Кобрина смотрѣла именно такой свободной женщиной. Можетъ-быть, у ней есть возлюбленный... Она сумѣетъ устроить свои любовныя дѣла такъ же ловко, какъ и все остальное.

— А ты давно вдовѣешь?—спросила я.

— Ахъ, Боже мой, я уже забыла даже, когда я овдовѣла.

— И держишься за свою свободу?

— Безусловно.

Мы сидѣли въ моемъ будуарѣ. Это было часу въ четвертомъ.

Вошелъ Николай. Онъ, кажется, не зналъ, что у меня гостя. Вѣроятно, онъ откуда-нибудь вернулся, потому что былъ одѣтъ не по-домашнему. Я сейчасъ же подмѣтила на его лбу извѣстную мнѣ черту недовольства. Онъ, должно-быть, хотѣлъ спросить меня о чемъ-нибудь. И видъ моей подруги, и ея тонъ заставили его сразу же сжаться. Онъ вообще и прежде былъ застѣнчивъ и не любилъ такихъ женщинъ, на которыхъ надо сейчасъ же обращать вниманіе. Я познакомила ихъ, сказала, что Кобрина — женщина-врачъ, учившаяся въ Парижѣ, но умышленно скрыла, что она ученица Шарко. Она могла, конечно, упомянуть объ этомъ въ разговорѣ, но могло случиться и по-другому.

Въ съезженной мозѣ сидѣлъ Николай и сначала отмалчивался.

Кобрина стала говорить о себѣ, о своихъ успѣхахъ, о томъ, что ей эти успѣхи достались гораздо труднѣе, чѣмъ женщинамъ, которыя учатся теперь въ Парижѣ.

— Тамъ и до сихъ поръ, — продолжала она, — студенчество парижскихъ школъ еще не помирилось съ тѣмъ, что женщины могутъ конкурировать съ нимъ. Французъ въ сущности презираетъ женщину во всемъ, что не ея особенное царство. Вы помните, — обратилась она къ Николаю, — еще не такъ давно происходили дивныя сцены и въ Ecole de médecine, и въ Сорбоннѣ, на лекціяхъ по исторіи литературы? Кто самъ не испытывалъ этого — не имѣетъ понятія о томъ, до какого цинизма могутъ всѣ эти милые молодые люди въ беретахъ доходить въ крикахъ, издѣвательствахъ, пѣсенкахъ... Que sais-je!..

— Тутъ, можетъ-быть, — сказалъ Николай, поглядывая на нее вбокъ, — кромѣ чувства профессиональнаго соперничества, есть и еще кое-что...

— Что же именно? — нѣсколько задорно спросила Кобрина.

— Да вотъ хотя бы въ скандалахъ въ парижской Сорбоннѣ... Тутъ какое же профессиональное соперничество? Приходятъ слушать лекціи литературы. А на дѣлѣ дамы —

насколько я могу судить по газетамъ—сдѣлали изъ нѣкоторыхъ аудиторій ярмарку тщеславія. По уставу, аудитория принадлежитъ настоящимъ слушателямъ—студентамъ и всѣмъ, кто связанъ съ университетомъ серьезными занятіями. Дамы овладѣли лучшими мѣстами, являются, конечно, расфранченными, — Николай посмотрѣлъ на ея шляпку, — конечно, болтаютъ, переглядываются, дѣлаютъ лектору дешевыя оваціи... Имъ непремѣнно нужно какого-нибудь... какъ бишь, имя того метафизическаго философа въ комедіи Пальерона?..

— *Le Bellac des dames*?—весело подсказала Кобрина. — Что же! Это, если хотите, правда. Всегда у такихъ дамъ были свои первые тенора по части философіи и литературы... Вы помните, что Беллякъ—это немножко шаржированный портретъ покойнаго профессора философіи Каро... Теперь пошли другіе, теперь любимцемъ сдѣлался господинъ Брюнетьеръ, — протянула она, поведя насмѣшливо своимъ крупнымъ ртомъ, тоже, какъ мнѣ кажется, немножко поддѣченнымъ.

И въ эту минуту я замѣтила, какъ Николай глядѣлъ именно на ея слишкомъ яркія губы.

— Стало-быть,—болѣе тревожно продолжалъ онъ,—вы сами допускаете, что у студенчества были и другіе мотивы?

— Но развѣ можно смѣшивать вздорныхъ дамочекъ... *des saillettes* — какъ ихъ называютъ тамъ — съ молодыми женщинами и дѣвушками, способными серьезно преслѣдовать свои цѣли... нисколько не хуже тѣхъ, между нами говоря, шлопаевъ, которые сидятъ по цѣлымъ днямъ въ *saboulots* Латинскаго квартала?..

— А что такое *saboulots*?—спросила я.

— Ты не знаешь?

— Да и я не знаю,—прибавилъ Николай.

— Пивныя, гдѣ прислуживаютъ женщины. Это — язва Латинскаго квартала и скандалисты всего больше наблюдаютъ изъ такихъ... *pilliers d'estaminet*.

— Можетъ-быть,—откликнулся Николай,—но вѣдь студенты, какъ они ни юны и ни безпорядочны, все-таки, въ концѣ концовъ, чувствуютъ, что тутъ дѣло идетъ о радикальной разницѣ...

— Въ чемъ?—перебила его Кобрина.—Въ натурѣ мужчины и женщины? Ха-ха-ха!

И обращаясь ко мнѣ, она, вскинувъ головой, спросила:

— Развѣ твой мужъ—*мизонинъ*?

— Ненавистникъ женщинъ, хотѣли вы сказать?

Николай всталъ и отошелъ къ моему письменному столу.

— Мой личный взглядъ тутъ не при чемъ, — продолжалъ онъ гораздо рѣзче. — Но возьмите вы ту самую дамскую аудиторію, о которой сейчасъ была рѣчь. Неужели вы думаете, что есть какая-нибудь существенная разница между этими, какъ вы ихъ называете, перепелками...

— И кѣмъ? — сухо и довольно строго остановила его Кобрина.

— И какой бы то ни было другой женской аудиторіей. Она можетъ быть болѣе подготовлена, сдавать экзамены, дѣлать даже операции или работать въ лабораторіяхъ, но психологія ея, и въ общемъ, и въ частностяхъ, останется та же самая. Всегда у ней будутъ фетиши: профессоръ ли, проповѣдникъ ли, теноръ или наѣздникъ въ циркѣ! Что парижская Сорбонна, что любой петербургскій институтъ благородныхъ дѣвицъ — факты женской психологіи будутъ принадлежать къ тому же порядку.

— Такъ вотъ какихъ взглядовъ твой мужъ?! — обратилась ко мнѣ Кобрина, и ея прищуренные глаза сказали: „Не поздравляю тебя“.

— Вы не думайте, что я слагаю оружіе передъ вашими доводами, — сказала она поднимаясь. — Если позволите, мы еще съ вами поговоримъ на эту тему.

Она встала, оправилась и, уходя, сказала Николаю:

— Женщинѣ нѣтъ никакой надобности отказываться отъ своей натуры. Оттого-то милые молодые люди въ беретахъ такъ и неистовствуютъ: до сихъ поръ она царила только какъ женщина, а теперь приходится тягаться съ ней и мозгами.

Проводивъ Кобрину, я вернулась къ себѣ и не нашла уже Николая. Онъ былъ въ кабинетѣ.

— Тебѣ нужно было что-нибудь?

— Я уже совсѣмъ забылъ, — отвѣтилъ онъ мнѣ упавшимъ голосомъ. — Эта профессиональная барыня — твоя подруга?

— Да, я, кажется, тебѣ о ней говорила.

— И она воображаетъ, что докторскій дипломъ переродилъ ее! Можетъ-быть, она написала прекрасную диссертацию, но пускай свѣжій человѣкъ войдетъ въ салонъ, гдѣ она изволить возсѣдать. Что она собою изображаетъ?

Бабѣ сильно за тридцать, щеки набѣлены, брови подерашены, да и губы также. Что мечется въ глаза во всемъ ея существѣ? Чѣмъ она хочетъ быть прежде всего, что возбуждать въ своихъ соперникахъ-мужчинахъ? Какому богу она служить? Да все тому же. Ха-ха-ха!

Я не стала ему возражать. Мнѣ было только очень, очень досадно, что Кобринъ произвелъ на него такое именно впечатлѣніе. Ей будетъ непріятно бывать у насъ... Николай способенъ заводить съ ней все такіе же раздражающіе разговоры; это ее будетъ монтировать и она — какъ врачъ, какъ специалистка по нервнымъ и душевнымъ болѣзнямъ — не въ состояніи будетъ наблюдать спокойно.

И тутъ неудача. Но сдается мнѣ, что никакой специалистъ не поможетъ тому, что надвигается на наше супружеское счастье.

VIII.

Около двухъ недѣль прошли спокойно, но это спокойствіе — только внѣшнее. Николай часто вызываетъ изъ дому. Кажется, онъ сталъ усиленно хлопотать о мѣстѣ... Я этому очень рада; бездѣйствіе довело бы его Богъ знаетъ до чего. Онъ мнѣ мало рассказываетъ кого видѣлъ. И вообще наши разговоры ведутся точно по обязанности.

Меня пугаетъ мысль о той безпомощности, въ какой я могу очутиться. Безпомощность и полное одиночество! Во мнѣ такое чувство, какъ будто вынули изъ моего существа всю сердцевину. Какъ будто моя личность совсѣмъ не существуетъ теперь и вдругъ я очутилась безъ всякой *своей* жизни.

Въ первое мое замужество жизнь проходила незамѣтно, иногда пестро, иногда болѣе однообразно. Жила, какъ и сотни другихъ обезпеченныхъ молодыхъ женщинъ. Любовь заставила меня тогда прозрѣть и почувствовать, до какой степени такая жизнь была суха и пуста.

„Старая пѣсня! — скажутъ мнѣ на это. — Всѣ невѣрныя жены такъ защищаютъ себя“. На это я отвѣчу, что я могла бы до тридцатилѣтняго возраста оставаться въ дѣвицахъ... Отъ этого ничего бы не измѣнилось въ содержаніи моей жизни; тогда она была бы только тоскливѣе и монотоннѣе.

Я знаю, стану повторять общія мѣста: „вы могли жить для общества, создать себѣ свои интересы, выбрать живую дѣятельность“... Но отчего-нибудь такъ вышло, что

я не оставила своей жизни такимъ именно образомъ. И не потому, чтобы я считала себя особенно пустой. Всякое живое дѣло требуетъ опять-таки любви, а она не являлась. Не любви и страсти, а идеи, что ли, преданности чему-нибудь, что считаешь цѣннымъ или, по крайней мѣрѣ, полезнымъ.

Наше сближеніе съ Николаемъ потому такъ и захватило меня, что мы не рисовались, не строили фразъ... Мы искали другъ друга безъ всякихъ постороннихъ цѣлей. Онъ полюбилъ во мнѣ женщину, а не отвлеченную идею, не общественнаго дѣятеля.

И вотъ теперь эта женщина точно перестала существовать для Николая и, какъ я сказала, изъ моей души точно вышли сердцевины. Но развѣ это говорить что-нибудь противъ самаго чувства? Кто же велѣлъ глушить его, впадать во что-то дикое? Если тутъ дѣйствительно происходить что-нибудь болѣзненное—надо принять мѣры.

Легко сказать! Николай избѣгаетъ всякихъ разговоровъ о своемъ здоровьи. Но я вижу, что онъ страшно худѣетъ, цвѣтъ лица продолжаетъ быть землистымъ; вѣроятно, страдаетъ бессонницей, можетъ-быть, принимаетъ въ сильныхъ дозахъ наркотическія средства. Теперь онъ устроилъ свою спальню въ кабинетѣ, и я не могу слѣдить ни за чѣмъ.

Съ третьяго дня онъ никуда не выѣзжалъ. Обыкновенно онъ встаетъ довольно рано. Часу въ одиннадцатомъ моя Оеня сказала мнѣ, что Николай Аркадьевичъ, должно-быть, очень мучится головой.

Я вошла въ кабинетъ, извиняясь за то, что его побеспокоила. Николай лежалъ одѣтый на кушеткѣ, съ закрытыми глазами.

Боли были такъ сильны въ правомъ вискѣ и въ темени, что онъ едва могъ говорить. Я настояла на томъ, чтобы онъ принялъ порошокъ, который на меня особенно хорошо дѣйствуетъ: въ немъ есть и антипиринъ, и кофеинъ. Боль продолжалась до обѣда; потомъ вдругъ, какъ это часто бываетъ, голова совсѣмъ прояснилась. Послѣ обѣда у него въ кабинетѣ я сидѣла у стола и читала ему вслухъ. Онъ ходилъ на другомъ концѣ комнаты. Лампа подъ абажуромъ оставляла половину ея въ полутьмѣ.

— Какъ это странно!—вдругъ какъ бы про себя выговорилъ онъ и остановился, глядя на ту стѣну, гдѣ виситъ только одна гравюра; обои въ кабинетѣ свѣтло-шо-



коладные, одноцвѣтные, безъ всякихъ рисунковъ, съ золотыми багетами по карнизу...

— Что такое?—спросила я.

— Ничего,—онъ повернулся, сдѣлавъ шага два и опять сталъ, глядя въ противоположный уголъ.

Это меня начало тревожить. Я положила на столъ книгу журнала, откуда читала ему, и подошла.

— Ты что-нибудь чувствуешь?

— Да, странная какая-то тревога... раздраженіе зрительнаго нерва.

— Вѣдь это бываетъ въ сильныхъ припадкахъ. Развѣ у тебя съ этого не начинается?

— Да, бываетъ... только совсѣмъ не такъ. Тогда является какая-то муть, пестритъ передъ глазами или застилаются предметы съ какого-нибудь края... А это совсѣмъ не то.

— Что же такое?

Я старалась быть спокойной.

— Обои одноцвѣтные,—продолжалъ онъ, вглядываясь въ стѣну,—а миѣ совсѣмъ отчетливо видны рисунки... листочки и цвѣты; я различаю довольно яркое окрашивание... то розоватые, то золотистые цвѣточки, полосы, гирлянды... И все это движется снизу вверхъ и непрерывно мелькаетъ...

— Закрой глаза и прилягъ на диванъ, лицомъ къ стѣнѣ... Можетъ-быть, все это и пройдетъ.

Николай тотчасъ же послушался. Это меня даже удивило. Онъ прилегъ на диванъ и повернулся лицомъ къ его спинкѣ.

— Теперь у меня глаза закрыты...

— И что же?

— Какъ будто немножко слабѣе, но все-таки видѣнія продолжаютъ.

— Можетъ-быть, отъ лѣкарства?

— Не знаю, только очень-очень неприятно. Лежать съ закрытыми глазами еще тяжелѣе.

Онъ замолчалъ. Протянулось нѣсколько минутъ. Я стояла выжидательно посрединѣ кабинета. Тревога моя не усилилась. Я успокоила себя тѣмъ, что это непременно должно быть въ связи съ припадкомъ невралгіи.

— Ахъ, Боже мой!—вдругъ вскрикнулъ Николай.—Куда дѣваться отъ этого?

И онъ сталъ метаться головой по валику дивана, схва-

ней жизни такой, какъ и у сотни петербуржцевъ. Онъ получилъ мѣсто скорѣе, чѣмъ самъ думалъ. И эта должность еще болѣе удалила его отъ меня. Только за обѣдомъ мы видимся, да изрѣдка за вечернимъ чаемъ.

Для меня уже не тайна, что Николай избѣгаетъ быть со мною съ-глазу-на-глазъ. Поэтому онъ и выноситъ Кобрину за обѣдомъ.

Я этимъ и объясняю всего больше, почему онъ поуспокоился насчетъ Кобриной. Если она ему и не симпатична, то все-таки же ея присутствіе избавляетъ отъ интимныхъ разговоровъ со мною.

Неужели это правда? Мы въ какихъ-нибудь нѣсколько недѣль дошли до подобныхъ отношеній? Безъ всякой серьезной причины. По крайней мѣрѣ, я не могу ее признать иначе, какъ временнымъ разстройствомъ Николая.

И обвинять себя въ томъ, что я устроила надъ нимъ какъ бы тайный надзоръ—рѣшительно не могу. Наконецъ, если бы онъ даже и догадывался, что я начинаю немного подозрѣвать, то и тогда суть дѣла не мѣняется. Напротивъ, я должна была воспользоваться такимъ случаемъ, какъ визитъ Кобриной. Сколько я себѣ ни ломаю голову—другого выхода нѣтъ. Отказаться отъ желанія выяснить болѣзненную причину переменъ въ Николаѣ—это значить идти на что-то въ десять разъ болѣе ужасное. Тогда мнѣ надо будетъ признать, что для него умерло все наше прошедшее...

Мы условились съ Кобриной видаться каждую недѣлю для разговоровъ о Николаѣ.

У насъ въ квартирѣ, даже въ его отсутствіе, никакихъ особенныхъ совѣщаній не бываетъ.

Когда она садится передо мною у своего письменнаго стола въ чисто мужскомъ докторскомъ кабинетѣ, у ней сразу мѣняется тонъ и лицо дѣлается старше и серьезнѣе. За границей пріобрѣла она этотъ тонъ большой увѣренности въ себѣ и такого же самообладанія.

— Я боюсь,—начала я,—что Николай подозрѣваетъ насъ въ уговорѣ. Развѣ ты не замѣтила, напримѣръ, въ послѣдній разъ, что онъ нѣтъ-нѣтъ за обѣдомъ да взглянетъ на тебя полунасмѣшливо? Но всегда въ такую минуту, когда ты говоришь со мной и повернешь голову. Онъ этой мипой хочетъ какъ бы сказать: „не думайте, что я ни о чемъ не догадываюсь“.



— Ну, такъ что жъ изъ этого? — увѣренно возразила Кобрина. — Самый обыкновенный фактъ! Въ немъ происходитъ вотъ что: онъ съ каждымъ днемъ все сильнѣе убѣждается, что душевное его состояніе вполне нормально... И ему, можетъ-быть, кажется даже забавной моя роль... И пускай! Только бы онъ не закусиль удила и не сталъ бы тебѣ дѣлать спены изъ-за меня.

— Нѣтъ, въ послѣдніе десять дней онъ почти ничего не говорилъ о тебѣ.

— Это—тоже признакъ. Онъ считаетъ и же своего достоинства выводить меня на чистую воду. Но развѣ ты не замѣчаешь, что каждый разъ онъ такъ или иначе возвращается къ одной и той же темѣ: внутренній антагонизмъ между мужчиной и женщиной—глубокая разниа между совѣстью того и другой!

— Какъ же не замѣчать!

— И даже я нахожу въ немъ большую виртуозность по этой части. Онъ заводитъ рѣчь совсѣмъ о другихъ вещахъ. Повидимому, дѣло идетъ вовсе не о женщинѣ, не объ ея натурѣ, а, вникая хорошенько, видишь, что это все новыя иллюстраціи одной и той же мысли.

— И ты уже подозреваешь тутъ зародышъ настоящей болѣзни?—спросила я, внезапно охваченная страхомъ.

— Почва есть... для меня это не подлежитъ сомнѣнію...

— Почва для чего?

— Для того, что французы называютъ: *manie raisonnée*.

— Но вѣдь это грозитъ безуміемъ?!..

— И да, и нѣтъ, смотря по натурѣ. Есть примѣры, что индивиды съ такимъ расположеніемъ живутъ всю жизнь на свободѣ. Они могутъ заниматься своими дѣлами, служить или ничего не дѣлать, жуировать, и во всемъ остальномъ они разсуждаютъ здраво. Память ихъ не парализована, логическая способность — также. И даже въ своемъ пунктикѣ они не говорятъ ничего безумнаго въ тѣсномъ смыслѣ слова. Иногда это бываетъ въ родѣ повѣтрія... *une contagion*! Въ обществѣ вдругъ оказывается много экземпляровъ, тропутыхъ такимъ повѣтріемъ. Да вотъ, чтобы далеко не ходить, у васъ теперь въ Петербургѣ, да и вездѣ въ провинціи, есть такой видъ коллективной резонирующей маніи.

— Что же это такое?

— Іудобоя! И прежде было не мало ненавистниковъ

еврейской расы; но въ послѣдніе годы это чувство обострилось. Я не хочу читать тебѣ лекціи о причинахъ такого настроенія; я беру только примѣръ, выгодный для меня въ эту минуту.

Она откинула голову назадъ, сидя въ своемъ большомъ креслѣ, и жестъ правой руки показывалъ, какъ ей въ эту минуту пріятно сознавать свой умъ и наблюдательность. И въ самомъ дѣлѣ она могла бы сейчасъ сѣсть на кафедрѣ и прекрасно читать. Но ея умъ и знаніе не подсказывали ей того, какъ ей говорить *со мною*. Моя сердечная рана какъ бы не существовала для нея.

— И вотъ мы видимъ, — продолжала Кобрина тономъ настоящей французской *conférencière*, — что, здѣсь и тамъ, разные индивиды, склонные къ болѣзненному резонерству, получаютъ усиленный зарядъ и іудеобіи дѣлается у нихъ постояннымъ аффектомъ. Такой антисемитъ, если только вы съ нимъ разъ поговорили, когда бы и гдѣ бы вамъ потомъ ни встрѣтился въ обществѣ, — не можетъ буквально раскрыть ротъ, чтобы третье или четвертое слово его не было окрашено въ тотъ же колоритъ. Попадаются даже и такіе, что не въ силахъ говорить рѣшительно ни о чемъ другомъ. И мы въ правѣ считать это почвой для *manie raisonnée*. Такіе маньяки могутъ слыть за совершенно нормальныхъ до тѣхъ поръ, пока въ ихъ обличеніяхъ есть подобіе логической связи...

— Все это такъ, — остановила я Кобрину, — можетъ-быть, тутъ и нѣтъ прямой опасности. Мужъ мой не сойдетъ съ ума, а будетъ только переходить отъ одного такого пунктика къ другому...

— И это возможно.

— Но ты пойми, — продолжала я, охваченная волненіемъ, и слезы выступили у меня на глазахъ, — пойми, что для меня выше всего наша сердечная связь, чувство, рѣшившее нашу судьбу съ Николаемъ! То, что ты сейчасъ сказала, только кажется менѣ ужаснымъ, чѣмъ возможность настоящаго безумія. Но для меня, какъ для женщины, это, пожалуй, еще ужаснѣе. Одно изъ двухъ: или это только начало неизлѣчимой болѣзни съ роковымъ исходомъ, или же... какъ бы это сказать... болѣе хроническое состояніе. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ что же предстоитъ намъ? Ты теперь моя...

— Сообщница? — подсказала Кобрина.

— Да... лучше сказать союзница; отъ тебя я жду чего-



нибудь вѣрнаго. Позволь мнѣ высказать тебѣ еще разъ то, что каждый день мучить меня. Скажи мнѣ: развѣ ты не видишь, какая огромная разниа между нашими мужчинами и заграничными, особенно французамъ?

— Конечно, вижу.

— Я тебѣ передавала, какъ защитникъ Николая, Завацкій, опредѣляетъ...

— Самоковырянье?!—вскричала она весело.

— Да, но это слово не даетъ еще полного объясненія. Припомни, кажется, года два тому назадъ, а можетъ и больше—ты еще была въ Парижѣ...

— Тогда это было передъ моимъ отъѣздомъ. Я здѣсь уже больше полутора года.

— Ну, такъ вотъ помнишь, на какомъ-то тамъ театрикѣ поставили „Грозу“ Островскаго?..

— Какъ же не помнить! Была даже на этомъ спектаклѣ.

— А я читала только рецензїи. И не помню уже, гдѣ и какой фельетонистъ—кажется, онъ говорилъ не за себя одного, а за всю публику... Такъ вотъ онъ изумлялся въ юмористическомъ тонѣ тому, какъ у насъ, русскихъ, въ нашей драмѣ неизбѣжный мотивъ, это — *раскаяніе*. На немъ все держится и къ нему все сводится. Онъ очень ловко провелъ параллель между героемъ пьесы Толстого „Власть тьмы“ и Катериной въ „Грозѣ“... А мнѣ, когда я читала эту статейку, припомнилась еще и третья, чисто-русская пьеса: „Горькая судьбина“ Писемскаго. И тамъ раскаяніе на особенный ладъ, который французамъ, особенно твоимъ парижанамъ, кажется чѣмъ-то мистическимъ и даже дикимъ.

— И что же!—подхватила Кобрина съ авторитетнымъ жестомъ.—Мои парижане по-своему правы. Когда-то, дѣвочкой, я проливала слезы, глядя на эту истеричку Катерину; а въ Парижѣ мнѣ ея поведеніе показалось дѣйствительно чѣмъ-то до дикости первобытнымъ!

— Положимъ такъ,—продолжала я.—Но ты—врачъ, прежде всего ты должна брать факты, какъ они есть. Первобытно, дико,—все, что тебѣ угодно, но оно такъ. И развратный крестьянскій паренъ, и мой Николай могутъ очутиться родными братьями; разъ въ нихъ запала какая-то капля душевнаго яда—и все исчезаетъ: связь женщины тяготитъ ихъ, они видятъ въ ней только источникъ нравственнаго паденія...

— Та-та-та!—прервала меня Кобрина и энергическимъ

жестомъ положила ногу на ногу. — Въ тебѣ самой, мой милый другъ, та же закваска... Вы всѣ, русскія барыни—сентиментальщицы, извини меня. У васъ тоже своего рода манія: безконечно говорить о чувствахъ. Милая моя, ты мнѣ все толкуешь о нравственномъ переворотѣ... это метафизика... извращенный идеализмъ.

— Однако, ты, какъ психіатръ, не можешь отрицать того, что душевныя болѣзни происходятъ и отъ чисто-нравственныхъ ударовъ?

— Ну, такъ что жъ изъ этого слѣдуетъ? Но гдѣ же этотъ ударъ въ жизни твоего мужа? Ты была женой другого, вы полюбили другъ друга разомъ, съ первымъ твоимъ мужемъ у Николая Аркадьевича не было никакой особенной вражды. И ты, и онъ шли напроломъ, дѣйствовали смѣло и откровенно.

— А дуэль со смертельнымъ исходомъ?

— Что же тутъ такого особеннаго?—спросила Кобрина и въ тонѣ ея вопроса слышалась настоящая парижанка, для которой все это было такъ ясно и просто. — Дѣло понятное, — продолжала она тономъ председателя суда, дѣлающаго свое резюме, — если предположить, что нервный организмъ твоего мужа былъ уже склоненъ къ чисторусскому душевному ковырняню. Онъ полгода высидѣлъ въ крѣпости—это не шутка. Чѣмъ онъ питалъ свой мозгъ? Разъ у него была склонность къ самоуглубленію—настоящая органическая причина должна была существовать.

— Если ты права, какъ же быть?

— Какъ быть—мы это рѣшимъ; только дай мнѣ время. Это не то, что прописать рецептъ отъ мигрени. Правильный діагнозъ составляется изъ сотни мелкихъ фактовъ. А тебѣ мой совѣтъ,—закончила она вставая,—слѣди за самой собою, а то ты вдашься въ такую же манію. Ты молодая женщина, красивая, живая, умная, тебѣ хочется возвратить любимаго человѣка къ прежнему чувству... *Agis en conséquence!* Надо вести свою линію, какъ вы здѣсь говорите, безъ борьбы ничего не дается. Надо вѣрить въ себя, въ свой престижъ женщины, а не считать себя жертвой, не мучить себя, не находиться въ постоянномъ тяжеломъ напряженіи. *Que diable!* Возьми и ты себя въ руки и, прежде всего, показывай своему мужу, что ты не намѣрена кланчить у него, какъ милостыню, нѣжность и ласку.

Консультація кончилась. Все, что Кобрина говорила,



было, съ ея точки зрѣнія, умно и послѣдовательно. Но мы не понимаемъ другъ друга. Я ушла отъ нея еще болѣе безпомощной.

Х.

Николай опять сталъ мучиться невралгіями.

Онъ до обѣда лежалъ и за столомъ почти ничего не ѣлъ. Вечеромъ онъ куда-то ѣздилъ и вернулся рано. Я хотѣла предложить ему почитать что-нибудь вслухъ и вошла въ кабинетъ. Онъ сидѣлъ у стола, въ большомъ креслѣ, съ низко опущенной головой. Руки болтались по обѣимъ сторонамъ ручекъ. Мнѣ показалось, что съ нимъ дурно. Я тревожно окликнула его еще отъ двери и подбѣжала.

— Что съ тобою, Николая?

Онъ тяжело поднялъ голову и поглядѣлъ на меня какимъ-то дикимъ взглядомъ.

„Господи!—внутренно воскликнула я.—Начинается!“

Меня неудержимо охватило убѣжденіе въ томъ, что онъ помутился... вотъ теперь, или сейчасъ, до моего прихода.

— Ничего,—отвѣтилъ онъ и положилъ руки на колѣни съ жестомъ нравственно потрясеннаго человѣка.

Я присѣла на табуретъ тутъ же у стола. Мнѣ такъ хотѣлось схватить его за руку или взять его голову и приласкать. И я не смѣла. Я боялась вызвать какую-нибудь дивную выходку.

— Скажи мнѣ, ради Бога, Николая,—чуть слышно начала я,—что съ тобой? Ты бы легъ. Не послать ли за докторомъ?

— За какимъ? — злобно сверкнувъ глазами, воскликнулъ онъ.—Не за твоей ли франтихой?

— За кѣмъ угодно.

— У меня ничего не болитъ... голова ясна.

— Но ты такъ подавленъ... измученъ.

— Измученъ! — повторилъ онъ мои слова и, быстро нагнувшись ко мнѣ, схватилъ меня за руку.

Я вздрогнула отъ радости.

— Коля!

И прильнула къ его рукѣ головой.

— Ты знаешь, — заговорилъ онъ точно совѣмъ не своимъ голосомъ.—Ты знаешь, онѣ меня преслѣдуютъ.

— Кто?

— Фигуры... и одно лицо... всегда одно... головка... зрачки расширены и кровь на висках... струится...

— О чемъ ты, Коля?

— Ну да, ну да! Вы всё скажете: „лѣчитесь! Это нервное расстройство“. А это только крикъ совѣсти...

И вдругъ онъ схватился за лицо руками и зарыдалъ, глухо, не всхлипывая. Его поводили вздрагиванья.

— Что ты, Коля!

Я хотѣла обнять его.

Николай еще ниже опустилъ голову въ ладони и стихъ. По щекамъ текли слезы. Лицо было мертвенно-блѣдно.

Онъ опять схватилъ мою руку.

— Я не могу таить... Дима! Меня это задущить! Ты должна все знать.

— Не надо, не надо!—истерически вскрикнула я.

— Ты должна все знать, — повторилъ онъ жалобной нотой.—Вотъ какъ было дѣло.

Я еще не понимала, о чемъ онъ говорить, но заставить его замолчать—не могла.

— Онъ стоитъ передо мною всегда, какъ живой, только что я закрою глаза. И видится мнѣ поляна... и стволъ березы справа... И пятна талаго снѣга... На немъ была короткая синяя визитка... и голова его вырѣзывалась на свѣтлой полосѣ неба... Вотъ мы сходимся... секунданты кричатъ: разъ, два, три! Стрѣлять мы имѣли право въ промежутки этихъ трехъ сигналовъ... У меня зрѣніе особенное. Я видѣлъ малѣйшую складку на его лбу, когда онъ приближался къ барьеру... Не доходя до него — ты слышишь, на ходу — онъ выстрѣлилъ. Но взглядъ его... такъ и пронизалъ меня. Въ этомъ взглядѣ было явное презрѣніе ко мнѣ... Онъ говорилъ: „ты подло укралъ у меня жену... Ты не стоишь и того, чтобъ уложить тебя на мѣстѣ...“ И онъ выстрѣлилъ на воздухъ... такъ выстрѣлилъ, что секундантамъ не было это замѣтно. Но я видѣлъ... и подошелъ къ барьеру... и на двухъ-аршинномъ разстояніи сталъ цѣлить прямо въ високъ... прямо...

— Быть не можетъ!—крикнула я.—Ты мнѣ не говорилъ этого... тогда... тотчасъ послѣ дуэли.

— Я скрылъ... я былъ подлый лжецъ...

— Ты тогда не лгалъ!

— Что жъ, я выдумалъ это? Дима! Дима! Какъ это гнусно! Какъ это гнусно!

— Ты имѣлъ право...



— На что право?—точно съ ужасомъ прошепталъ онъ.

— Онъ тебя вызвалъ своимъ взглядомъ... тѣмъ, что онъ нарочно не дѣлилъ въ тебя. Ты — мужчина. Ты его смертельный соперникъ.

— Замолчи! Ради Создателя, замолчи!—крикнулъ онъ.— Имѣлъ право! Какое? Оттого, что мужъ твой смѣрилъ меня взглядомъ честнаго человѣка, а имѣлъ право предательски убить его?

— Предательски! На дуэли?

— Да, предательски.

— Дуэль есть—дуэль.

— Не говори этого! Не смѣй говорить!—гнѣвно крикнулъ онъ.—Это гнуснѣе, чѣмъ зарѣзать человѣка изъ-за угла, чтобы ограбить его. Быть самому воромъ, быть уличеннымъ въ воровствѣ, въ скверномъ поступкѣ, въ посягательствахъ...

— На что? — опять не выдержала я. — Я тебя полюбила! Ты забываешь, что я личность. Что ты говоришь? Опомнись!.

— Дима! — прервалъ онъ меня и протянулъ ко мнѣ обѣ руки. — Дима! Опомнись и ты! Пойми, какъ гадко, какъ глубоко безстыдно то, что мы дѣлали послѣ, тотчасъ же послѣ того, какъ я убилъ твоего мужа... Убилъ злодѣйски... Не защищая свою кожу, а изъ самаго отвратительнаго побужденія... Что мы дѣлали?

Онъ снова охватилъ ладонями лицо и зарыдалъ.

И я была, наконецъ, потрясена его страданіемъ. Я не могла считать его безумнымъ; слишкомъ все это было сильно и убѣжденно. Каждое слово вылетало изъ самой глубины его измученной груди.

Я сама стала плакать, глотая свои слезы.

— Что мы дѣлали? Въ тотъ же день! Въ ту же ночь!

Мнѣ представилась моя комната въ отелѣ, куда я перѣѣхала, куда я убѣжала. У меня не было вида на жительство. Иванъ Андреевичъ отказалъ мнѣ въ немъ; но я тайно жаловалась на него, и начальство меня не беспокоило.

Николай пріѣхалъ прямо ко мнѣ. И это была моя первая безумная ночь съ нимъ.

— Мы какъ звѣри,—слышался мнѣ прерывистый, плачущій звукъ его голоса, — какъ звѣри отдавались другъ другу. А онъ у себя, одинъ, смертельно раненый, хрипѣлъ въ агоніи. Господи! Какой ужасъ!

Онъ весь дрожалъ. И я была сражена этой картиной.

— Кто же довелъ и тебя до такой гнусности? Кто, коли не я? И мы забыли все! Ни проблеска совѣсти! Это называется любовь? Вѣдь, да? А она все искупляетъ, все оправдываетъ? Не правда ли?... Ну, говори, говори... Приведи мнѣ хоть одинъ доводъ... Хоть одинъ...

Я не могла выговорить ни одного слова. И я вся дрожала. Но внутри у меня все возмущалось противъ такихъ обвиненій. Наша любовь была оклеветана имъ, растоптана, брошена въ какую-то грязную лужу. Если бы я могла говорить, я бы подавила его „доводами“, на которые онъ вызывалъ меня.

— Ты молчишь? Ты сознала только теперь, Дима, что мы стали сообщниками кроваваго и грязнаго дѣла? Да! Кроваваго... Оно начало душить меня черезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ я попалъ въ крѣпость... Но и на судъ меня уже мучило что-то. Мой франтъ-защитникъ не понималъ меня... Того, что уже сквозило въ моемъ словѣ судьямъ. Онъ навѣрно счелъ это ловкимъ приѣмомъ... Для смягченія кары... Кровь и грязь... все подступали, все поднимались, и я барахтался въ нихъ. И мозгъ не выдержалъ. Мнѣ, какъ Борису Годунову... стали казаться кровавыя фигуры и головы, головы безъ конца... Отъ нихъ можно излѣчиться... А отъ этого — онъ ударилъ себя въ грудь — вылѣчиться нельзя. Это требуетъ искупленія...

„Какого?“ хотѣла я вскрикнуть и не могла.

— Мы прощаемся, Дима,—выговорилъ Николай, и руки его опустились, голова откинулась назадъ.

— Зачѣмъ прощаемся?—вымолвила я съ усиленіемъ.

— Ты не понимаешь? Поймешь! Я долженъ искупить. Я не въ силахъ, пойми же въ послѣдній разъ: не въ силахъ я выносить... Изстрадался! — протянулъ онъ жалобно.—А ты не понимаешь! — повторилъ онъ подавляющей нотой жалости и горечи.

— Уйди! Уйди!—чуть слышно вымолвилъ онъ.—Умоляю тебя. Я все сказалъ. И больше ни слова, ни звука... пока вытерплю.

И движеніе его руки показывало, что мое присутствіе тяжело для него, невыносимо.

Я поднялась.

XI.

Къ кому же мнѣ было идти, какъ не къ его адвокату? Такой тонкій человѣкъ, какъ Завацкій, не могъ не подмѣтить, въ то время, когда онъ бесѣдовалъ съ своимъ кліентомъ до суда, было ли на его совѣсти хоть что-нибудь, указывающее на то, что я выслушала отъ Николая.

Я была такъ нравственно измучена и потрясена, что не сразу могла совладать съ собою... Со мной сдѣлался припадокъ, кажется, первый въ моей жизни, по крайней мѣрѣ такой именно. Завацкій не растерялся... Онъ очень скоро привелъ меня въ чувство, усадилъ въ кресло и не позволилъ говорить до тѣхъ поръ, пока я хоть сколько-нибудь не успокоюсь.

И тутъ, когда мнѣ нужно было передать, какъ можно яснѣе и вѣрнѣе, то, что я услышала отъ Николая, я почувствовала приливъ душевныхъ силъ; слезы уже не мѣшали мнѣ; я не путалась въ словахъ и нѣкоторыя фразы Николая выговорила, точно я ихъ выучила наизусть. Это меня даже изумило.

Завацкій слушалъ, сидя около меня, съ низко опущенной головой, ни разу не остановилъ ни вопросомъ, ни замѣчаніемъ.

— Что это такое? — спросила я, докончивъ свой докладъ. — Есть ли въ этомъ хотя подобіе фактическаго сдержанія?

Онъ сначала подумалъ.

— Мнѣ, Авдотья Петровна, почти невозможно отвѣчать на вашъ вопросъ, по крайней мѣрѣ въ эту минуту... Какъ происходило дѣло на дуэли — могли знать только секунданты и врачъ. И ихъ показанія значатся въ процессѣ — вы ихъ читали. Я ихъ помню если не дословно, то довольно хорошо.

— Тамъ ничего подобнаго нѣтъ.

Завацкій сжалъ губы и прищурился.

— Позвольте,—заговорилъ онъ, нѣсколько другимъ тономъ,—мнѣ вспомнилась фраза, гдѣ былъ какъ будто намекъ... Это—въ показаніи одного изъ секундантовъ Ивана Андреевича.

— Какой же это намекъ? Я не помню его. Вчера я ночью нѣсколько разъ перечитала отчетъ процесса, придиралась къ каждой фразѣ, и ничего не нашла.

— Говорю вамъ, это былъ одинъ легкій намекъ... Онъ могъ и не попасть въ отчетъ. Теперь я припоминаю, что у меня явилось даже опасеніе: не хочетъ ли свидѣтель поиграть на какой-нибудь инсинуаціи.

— Развѣ онъ что-нибудь подобное сказалъ?

— Нѣтъ, онъ намекнулъ только, что Иванъ Андреевичъ держалъ себя, какъ человѣкъ, не желавшій серьезнаго исхода.

— Это не такъ!—воскликнула я.— Въ сценѣ объясненія съ Николаемъ, какъ онъ велъ себя, выказалъ такую жесткость, такой эгоизмъ, наконецъ, онъ оскорбилъ Николая. Тому нельзя было не вызвать его. Дуэль была неизбежна.

— На нашъ съ вами взглядъ, — замѣтилъ Завацкій съ усмѣшкой.— Судъ посмотрѣлъ иначе: для него и для всѣхъ сторонниковъ вашего перваго мужа Иванъ Андреевичъ былъ жертва. У него отняли жену и явились къ нему требовать категорически, чтобы онъ отъ нея отказался по доброй волѣ. Если же идти дальше, то выходить такъ, что мужъ долженъ былъ, чтобы обезпечить вамъ выходъ замужъ, принять вину на себя.

— Ни я, ни Николай никогда этого не требовали.

— Я знаю, что не требовали, но я становлюсь въ настоящую минуту на почву обвиненія. Какъ вы съ Николаемъ Аркадьевичемъ вели себя? Правильный исходъ, какой представлялся, это—открытый бракъ. Будь у васъ другіе мотивы—и у васъ, и у него—тогда вы или пошли бы на тайную супружескую невѣрность, а онъ на такое же тайное или явное положеніе вашего возлюбленнаго, или же вы, безъ всякихъ объясненій съ мужемъ, ушли бы отъ него. Не правда ли?

— Но зачѣмъ намъ все это перебирать, Семенъ Семеновичъ?—почти закричала я.—Я хочу знать одно: было ли на самомъ дѣлѣ что-нибудь похожее на то, что выросло теперь въ глазахъ моего мужа въ нѣчто страшное, что сдѣлало его мученикомъ своей совѣсти?

— Повторяю опять, Авдотья Петровна: объективно засвидѣтельствовать это я не имѣю никакой возможности. Николай Аркадьевичъ говорилъ со мной, какъ со своимъ защитникомъ. Впрочемъ, вы припомните то, что я вамъ сообщалъ не такъ давно... То же повторю и теперь... Сначала въ немъ дѣйствовалъ аффектъ и не было никакого раздвоенія. Потомъ, въ залѣ суда и нѣсколько раньше,

начался какой-то процессъ самоуглубленія и, какъ я, кажется, тогда позволилъ себѣ назвать, самоковырня.

— Но если такъ, то вѣдь это, можетъ-быть, не что иное, какъ результатъ постоянной работы мысли на одну тему.

И тутъ я ему призналась, что, вотъ уже нѣсколько недѣль, какъ Кобрина наблюдаетъ Николая; привела ему и то, что она говорила о такъ-называемой *разсуждающей маніи*.

— И это возможно,—выговорилъ онъ значительно.—Но тутъ я опять-таки нахожусь въ пассивномъ положеніи. Мужа вашего я за послѣднее время совсѣмъ почти не видалъ... Разъ только встрѣтились съ нимъ на улицѣ. Мы остановились, перекинулись нѣсколькими словами. Онъ мнѣ показался и физически очень измѣнившимся: поху-дѣлъ, цвѣтъ лица нездоровый и даже во взглядѣ что-то тревожное. На мои вопросы онъ отвѣчалъ какъ-то уклончиво; вообще, если бъ я былъ обидчивѣе, я бы подумалъ, что онъ хочетъ отъ меня отдѣлаться.

— Вотъ видите!

— Да... но, дорогая Авдотья Петровна, пынче вѣдь словомъ *психопатія* нестерпимо злоупотребляютъ! Вѣроятно, и ваша пріятельница, госпожа Кобрина, какъ многіе психіатры, склонна каждаго произвести въ умалишен-ные? Вѣдь у специалистовъ есть также склонность къ тому, что ваша пріятельница называетъ *разсуждающей маніей*. Читали вы когда-нибудь „Записки доктора Крупова“?

— Нѣтъ, не читала.

— Остроумная пещь, и до сихъ поръ не потеряла своей соли. Кто-то мнѣ говорилъ, вернувшись изъ Италіи, что и знаменитый Ломброзо, сочинившій исторію о томъ, что гений и безуміе одно и то же, во всѣхъ талантливыхъ людяхъ подозрѣваетъ примѣсь умственной разстройственности и готовъ чуть не каждаго признать кандидатомъ или въ сумасшедшій домъ, или на каторгу...

— Ахъ, Завацкій,—перебила я,—оставимъ мы все это... я знаю, что вы очень умны и начитаны... Но развѣ вы не чувствуете, что въ моей жизни происходитъ что-то страшное? Вы видите, что я беспомощна, я теряюсь, я не вижу, какъ мнѣ возратить прежняго Николая. Какъ я ни бьюсь—я не могу выйти изъ этой дилеммы: или Николай дѣлается душевнымъ больнымъ и намъ грозитъ его прав-ственная смерть, или же тутъ дѣйствительно страдающъ

совѣсти — и для меня, какъ для женщины, это едва ли еще не ужаснѣе!..

Завацкій посмотрѣлъ на меня пристально.

— Вы скажете, что это отвратительный эгоизмъ! — закричала я. — Пускай, дескать, онъ лучше сойдетъ съ ума, чѣмъ я его потеряю здороваго, но охладѣвшаго ко мнѣ?..

— Напротивъ, я васъ очень хорошо понимаю... для васъ, какъ для женщины, вторая вѣроятность альтернативы, пожалуй, еще ужаснѣе.

— Допустимъ, — продолжала я уже вся пылающая, — допустимъ, что въ немъ только работа совѣсти. Но я-то въ чемъ же виновата? А выходитъ какъ будто, что виновница я! Онъ мнѣ не сказалъ еще ни разу: „ты вовлекла меня въ постыдное дѣло“, но это я чувствую. И вся его послѣдняя исповѣдь... Онъ плакалъ, ломалъ руки, клеймилъ себя, точно послѣдняго злодѣя... А подъ этимъ я чуяла что-то другое...

— Что же еще, Авдотья Петровна? — остановилъ меня Завацкій. — Не упадите и вы въ болѣзненный анализъ.

— Что — спрашиваете вы? Я вамъ не могу сейчасъ опредѣлить такъ, чтобы вы приняли это за что-нибудь серьезное, но я знаю, что оно такъ.

Тутъ я почувствовала, что нашъ разговоръ ушелъ въ сторону; вѣдь я прибѣжала къ Завацкому, ища совѣта и поддержки — и сама запуталась.

— Простите, Семенъ Семеновичъ, — сказала я уже совсѣмъ упавшимъ голосомъ. — Я буду молчать. Говорите вы, дайте мнѣ какую-нибудь нить! Если бъ я бросилась не къ вамъ, а къ Кобриной — она, конечно бы, какъ специалистка, увидала во вчерашней сценѣ новый признакъ, подтверждающій ея діагнозъ. Но вы не согласны злоупотреблять словомъ психопатія. Вы знаете жизнь, вы умный человѣкъ, къ Николаю вы относитесь хорошо, спокойно; надѣюсь, и ко мнѣ такъ же.

Онъ взялъ меня за руку, пожалъ ее и сталъ глядѣть на меня ласково, но опять съ тѣмъ оттѣнкомъ неизбѣжной игривости, который мнѣ показался неумѣстнымъ въ такомъ умномъ человѣкѣ и въ подобную минуту.

— Авдотья Петровна, — заговорилъ онъ гораздо слабѣе и медленнѣе, — вы — настоящая женщина! Для васъ потеря чувства — самое высшее несчастье. Это тѣмъ сильнѣе, что вы долго, слишкомъ долго жили безъ любви. Какъ же вамъ теперь быть? Во всякомъ случаѣ — не осложнять ни-



чего. Мужъ вашъ находится теперь въ новомъ аффектѣ; онъ переживаетъ пароксизмъ раскаянія, годъ спустя послѣ того, какъ его пуля смертельно ранила его соперника. Съ русскими натурами все возможно. Спросите вы самое себя, какъ слѣдуетъ, строго: что для васъ страшнѣе — то ли, что онъ дѣйствительно, какъ онъ называетъ, умышленно убилъ своего великодушнаго соперника, или то, что вы лишаетесь его любви? Развѣ второе для васъ не страшнѣе?

— Страшнѣе, — прошептала я.

— Вотъ видите. Такъ оно и должно быть въ каждой настоящей женщинѣ. Я это говорю безъ всякаго Сеничкина яда, — сказалъ Завацкій, засмѣявшись своимъ короткимъ, непріятнымъ для меня смѣхомъ. — Онъ — убійца? Разумѣется, если смотрѣть на это прямолинейно, евангельски. Да и какъ могло быть иначе? Если онъ тогда страстно любилъ васъ, желалъ вами обладать — ему нужно было, во что бы то ни стало, устранить мужа. Предположимъ даже, что Иванъ Андреевичъ повеликодушничалъ такъ очевидно, что нельзя было его противнику не замѣтить этого. Даже самое это великодушіе могло только вызвать въ немъ лишній импульсъ гнѣва. Онъ могъ почувствовать въ этомъ желаніе показать ему, что онъ не стоить даже выстрѣла. Такъ, вѣроятно, и было, и только теперь, по прошествіи года, вдавшись въ процессъ самоанализа, онъ оцѣниваетъ это иначе, и, конечно, никому — ни вамъ, ни мнѣ, ни вашей пріятельницѣ-психиатру — не удастся разубѣдить его въ этомъ до тѣхъ поръ, пока онъ не переживетъ того, что въ немъ происходитъ.

— Вы правы, — проронила я.

— Предположимъ даже, что онъ завтра, или чрезъ полгода, или черезъ годъ, совершитъ настоящее уголовное преступленіе — зарѣжетъ кого-нибудь или застрѣлитъ, въ припадкѣ запальчивости или изъ мести. Придумайте сами какой угодно случай. Вѣдь вы раздѣлите его судьбу навѣрно. Для всѣхъ онъ будетъ преступникъ, а для васъ — нѣтъ, особенно если этотъ преступникъ любитъ васъ. Даже если бъ онъ теперь сдѣлался дѣйствительно убійцей — вы все-таки пойдете за нимъ, хотя и чувствуете, что онъ уже не тотъ, что прежде, пойдете потому, что страсть въ васъ не перегорѣла.

— Но какъ же мнѣ поступать? На что мнѣ надѣяться?

— Надо переждать, Авдотья Петровна, берегите себя, —

онъ опять взялъ меня за руку,—подумайте; передъ вами еще долгая жизнь, вы молоды...

„Красивы“,—прибавила я мысленно.

— Не тратьтесь такъ на всѣ эти волненія. Вы въ первомъ замужествѣ жили безъ любви... Теперь вы опять въ одиночествѣ. Если ужъ не удастся вамъ вернуть къ себѣ прежняго Николая Аркадьевича—изъ-за чего же вамъ-то хирѣть и увядать?

Взглядъ Завацкаго досказывалъ остальное. Я отдернула руку. Мнѣ было горько за всю эту ненужную консультацию. Но я воздержалась отъ всякаго рѣзкаго слова.

— И это все?—спросила я.

— Нѣтъ, не все. Если ваша пріятельница права и въ Николаѣ Аркадьевичѣ начинается серьезный психопатическій процессъ, тогда дѣйствуйте въ его же интересахъ. Выздоровѣетъ онъ—верните его къ себѣ... а нѣтъ—помиритеcь съ этимъ, какъ всѣ мы должны помириться со смертію, и не убивайте себя понапрасну, а сохраните въ себѣ способность отдаваться чувству, не обрекайте себя на ненужное мученичество.

И опять выраженіе его глазъ досказало остальное.

XII.

Протянулось болѣе недѣли затишья. Николай какъ будто пришелъ въ себя и сталъ одумываться. Никакихъ выходокъ, никакихъ обличеній самого себя. За обѣдомъ ровный разговоръ въ мягкомъ тонѣ. Какъ будто даже онъ самъ усиленно избѣгаетъ всего, что можетъ дать ему поводъ обличать себя.

И я стала надѣяться. Съ каждымъ днемъ росла во мнѣ потребность ласки; меня все сильнѣе влекло къ нему. Не скрываю: влекло, какъ влюбленную женщину. Мое одиночество глодало меня. Каждую ночь я прислушивалась—спитъ онъ или нѣтъ. Вотъ онъ придетъ, и протянетъ ко мнѣ руки, и возьметъ меня. И мы оба все забудемъ вмигъ: его вольное и невольное безуміе. Пойдетъ та жизнь, которая, какъ лучезарная звѣзда, манила меня съ той минуты, когда я впервые сказала ему, что люблю его.

Но онъ не шелъ. Это было сильнѣе меня. Я сама пошла къ нему. Онъ уже заснулъ. Я разбудила его, бросилась на колѣни у его изголовья, обвила его шею руками и стала цѣловать... Я не могла ничего говорить, вся дрожала, и только отрывистые звуки вылетали изъ гортани, не



то вздохи, не то рыданія. Въ головѣ у меня совсѣмъ помутилось.

Отрезвленіе было быстрое. Когда я пришла въ себя—я сидѣла у его ногъ, съ такимъ чувствомъ, точно меня въ чемъ-то позорномъ уличили и оттолкнули.

Лица Николая я не видѣла. Онъ не зажегъ свѣчи. Только голосъ его доходилъ до меня, его переливы и раскаты разносились надо мною и хлестали меня, какъ презрѣнную блудницу.

— Не могу я, не могу! — говорилъ Николай сначала задыхающимся голосомъ. — Не могу я отвѣчать на твои ласки, Дима! Мнѣ гадко и страшно за тебя, за насъ обоихъ.

— Не надо, не надо мнѣ твоихъ окриковъ!

Въ первую минуту я была еще въ силахъ выговорить это.

— Я не того хочу! Приди въ себя, дай мнѣ хоть проблескъ счастья! За что же отталкивать меня, точно я самая послѣдняя развратница?..

Губы мои вздрагивали, и я не могла докончить.

Николай приподнялся и порывистымъ движеніемъ приблизилъ ко мнѣ голову. Я чувствовала, какъ все его тѣло поводило нервные подергиванья.

— Такъ что же такое, — гнѣвно и громко вскричалъ онъ, — я-то для тебя? Ты, стало-быть, забыла то, что вотъ въ этой самой комнатѣ, не больше, какъ десять дней назадъ, я говорилъ тебѣ? Что же это комедія была, выдумка, рисовка? Или я душевно больной? Такимъ, вѣроятно, твоя ученая пріятельница меня и считаетъ. Ты думаешь, я не замѣчалъ ничего? Прекрасно все понялъ и сообразилъ: она предавалась исподтишка наблюденіямъ надъ психіатрическимъ субъектомъ. На здоровье! Но если я сумасшедшій, то твое поведеніе еще ужаснѣе. Ты пришла зачѣмъ? Разбудить чувственный инстинктъ въ сумасшедшемъ? Вѣдь это чудовищно!

— Я не считаю тебя такимъ, — чуть слышно промолвила я.

— Не считаешь? Тогда что же выходитъ? Пойми, какая пропасть между вами и нами. Ты выслушала мою исповѣдь. Если ты не считаешь меня помѣшаннымъ, то не имѣешь и никакого права смотрѣть на то, въ чемъ я безповоротно убѣжденъ, какъ на пустую выдумку. Ты слышишь: я называю себя добровольнымъ и злостнымъ

убійцей твоего перваго мужа, и никакіе психіатры, никакіе франты-адвокаты, никакія соблазнительницы въ мірѣ не разубѣдятъ меня въ этомъ, и пока голосъ моей совѣсти не замеръ—онъ сильнѣе всего остального.

— Все это лишнее! — растерянно выговорила я. — Ты самъ хочешь убить въ себѣ всякое чувство къ той, которая отдалась тебѣ вся... беззавѣтно...

— Молчи!—глухо вскрикнулъ онъ.—Ради Бога, молчи! Не выставляй своей души въ такомъ цинически обнаженномъ видѣ... И выходитъ, что я не ошибался, и ты—какъ и всѣ остальные женщины. Для васъ выше всего—выше Бога, чести, правды, идеи—инстинктъ!..

— Я люблю тебя, Николай!—почти съ воплемъ вырвалось у меня.—Люблю! Люблю! Не клевети, не оскорбляй! Ты мнѣ дорогъ, вся твоя душа... все твое!

— Что же дорого-то во мнѣ? Тѣло мое? Черты лица? Носъ, глаза, ростъ, все сложеніе? Твой первый мужъ былъ гораздо красивѣе меня. Стало-быть, душа, какъ ты говоришь? Что же это такое душа? Вѣдь она изъ чего-нибудь состоитъ, а? Изъ какихъ-нибудь свойствъ? Ты вообразила себѣ, что встрѣтила избранную натуру, человѣка съ высокой душой, а вышло, что онъ самый заурядный себялюбецъ и хищникъ, и только дожидался случая показать, на что онъ способенъ. Дима! Ты слышала мою исповѣдь. Второй разъ я ее повторять не стану. Теперь не обо мнѣ рѣчь идетъ, а о тебѣ. Неужели ты—разъ моя исповѣдь не бредъ сумасшедшаго—неужели ты сама не почувствовала такой боли, такого потрясенія, при которыхъ любовной страсти нѣтъ больше мѣста? Но зачѣмъ я спрашиваю? У меня налицо голая правда. Ты сама себя выдала. Такъ и должно быть для всякой истинной женщины! Сколько разъ, читая отчеты объ уголовныхъ процессахъ вездѣ, и за границей, и у насъ, я чувствовалъ, до какой степени для женщины безразлично: кто ее любить и кого она любить. Злодѣй или закоренѣлый мошенникъ возбуждаетъ во всѣхъ отвращеніе вплоть до сыщиковъ, а она готова жизнь свою положить за него! И силошь и рядомъ онъ ее билъ, торговалъ ею, всячески унижалъ... И—ничего, все забыто!.. Этотъ злодѣй, этотъ мошенникъ будетъ ея кумиромъ до тѣхъ поръ, пока въ ней говоритъ инстинктъ.

Эти слова Николая были точно страшнымъ откликомъ того, что я слышала на-дняхъ отъ его защитника.



— И ты, какъ другія! Ни одного проблеска совѣсти... Я далъ тебѣ время, я ждалъ. Въ эти десять дней ты могла придти къ какому-нибудь выводу... А ты даже не старалась меня разубѣдить. Для тебя что было, то прошло! Для тебя моя исповѣдь—мужская блажь, лишнее доказательство того, что мужчины не умѣютъ любить.

— Не умѣютъ!—повторила я.

— Ну, да! А вы умѣете! Вотъ это-то ваше умѣние и мрачить нашу совѣсть.

Николай произнесъ послѣднія слова ослабѣвшимъ голосомъ и упалъ головой на подушку.

— Довольно!—чуть слышно выговорилъ онъ.

И отъ этихъ прерывающихся звуковъ я вздрагивала сильнѣе, чѣмъ отъ раскатовъ его голоса.

— Мнѣ тяжело, прошу, оставь меня. Намъ не о чемъ больше говорить, не унижая себя. Еще одинъ шагъ, и ты совсѣмъ пропадешь въ собственныхъ глазахъ. Убийца, какимъ я себя считаю, не можетъ быть твоимъ возлюбленнымъ.

Онъ повернулся головой къ спинкѣ дивана и смолкъ. Это былъ мой приговоръ. Я сидѣла, какъ истуканъ. Никакого слова больше не находила я въ себѣ. Меня убивала моя жалкая безпомощность, какъ женщины, еще не такъ давно любимой этимъ самымъ человекомъ.

Чего же легче было—броситься къ нему, дать ходъ чувству, которое клокотало во мнѣ, когда я проникла къ нему въ кабинетъ? Но это было бесполезно. Николай правъ: какъ бы женщина ни отдавалась своему чувству—есть предѣлъ для всего. Къ чему идти на новый стыдъ, на лишнее посрамленіе?

Рыдать, цѣловать его ноги, умолять... о чемъ? Чтобы онъ мнѣ, какъ милостыню, кинулъ ласку?

Такъ я просидѣла... сколько времени—не могу сказать. Я вся захламѣла и на щекахъ чувствовала свѣжесть застывающихъ слезъ. Какъ пьяная, пошатываясь, добралась я до моей спальни и повалилась на постель.

Припадка не было, ни истерики, ни обморока. Напротивъ, черезъ нѣсколько минутъ голова стала страшно ясной—должно-быть, такъ бываетъ съ тѣми, кто выслушиваетъ смертный приговоръ. Послѣ самыхъ тяжелыхъ терзаній души все проясняется и смотришь безстрастно на свою судьбу. Приговорили васъ къ смертной казни, и вы тутъ только въ силахъ обсудить: стоить ли вамъ еще на-

дѣяться на что-нибудь, подавать просьбу объ отпѣнѣ приговора или о помилованіи. Позднѣе, быть-можетъ, жажда жизни возьметъ верхъ, и осужденный оттягиваетъ приближеніе рокового дня; но въ эту минуту у него нѣтъ никакихъ иллюзій и пустыхъ тревогъ.

Почти то же испытала и я, лежа съ открытыми глазами на моей засвѣжѣвшей постели.

Приговоръ произнесенъ и скоро будетъ казнь. Въ какой формѣ—я не знаю, да это и безразлично! Онъ не вернется ко мнѣ. Что онъ съ собою сдѣлаетъ—тоже не знаю. Фактически—что же онъ можетъ съ собою сдѣлать для искупленія того, что онъ считаетъ своимъ злодѣйствомъ? Вѣдь это не простое уголовное преступленіе. Пошелъ бы онъ къ прокурору и заявилъ, что убійца—онъ. Что же бы тогда было? И тогда дали бы какой-нибудь ходъ дѣлу только въ томъ случаѣ, если бъ за него пострадалъ другой; а иначе не все ли равно? Наконецъ, если бъ даже онъ убилъ моего перваго мужа, придя къ нему въ кабинетъ, или изъ-за угла, на прогулкѣ, на лѣстницѣ? Присяжные могли бы его оправдать... И тогда, сколько онъ ни кайся, все-таки его никуда бы не сослали! А тутъ и подавно. Завадкому вспомнилось про какой-то намекъ одного изъ секундантовъ. Призовите этого секунданта, допросите его теперь: навѣрно онъ дастъ уклончивый отвѣтъ. Наконецъ, это могло ему только показаться. Грозный судья Николая—его собственная совѣсть, и ничего больше...

Вотъ совершенно такъ разсуждала я, лежа съ открытыми глазами... И никогда еще я такъ связано и послѣдовательно не думала на такія чисто-мужскія темы.

Да, что онъ съ собою сдѣлаетъ—я не знаю. Но онъ для меня погибъ... И я предметъ его если не ненависти, то уничтожающей жалости, какъ существо съ такой низменной душевной жизнью!..

Можетъ-быть, онъ мнѣ предложить разойтись мирно, безъ новыхъ раздражительныхъ сценъ. Разойтись—какъ? Въ его теперешнемъ настроеніи онъ не разведется... Для этого надо продѣлывать многое, на что онъ ни подъ какимъ видомъ не пойдеть. Онъ не возьметъ на себя вины въ вымышленномъ нарушеніи супружеской вѣрности... не позволить и мнѣ взять на себя того же.

Да и зачѣмъ мнѣ свобода? Чтобы опять, полюбивъ кого-нибудь, налагать на себя узы? Любовь точно подстерегла



меня изъ-за угла и предательски бросила въ какую-то яму, откуда нельзя выбраться на Божій свѣтъ. Полюбишь—и опять вырастетъ передъ тобой и любимымъ человекомъ стѣна, опять скажется та глубокая рознь между нами и ими, о какой я никогда прежде не думала.

Гдѣ же мое счастье? Когда оно было? Въ короткія минуты самообмана? Вѣдь если вѣрить Николаю—одинъ инстинктъ говорилъ въ насъ...

И новая любовь, будь она мыслима для меня, уже не спасетъ отъ раздвоенія... Душа моя, быть-можетъ, навѣкъ отравлена...

Что же мнѣ дѣлать? Чего ждать? Ждать исхода пассивно. Я жалка и безпомощна, какъ женщина. Не могу я ничего сдѣлать и для Николая. Мнѣ надо быть приготовленной ко всему...

XIII.

Подкралась весна, а мы все еще въ городѣ. Въ моемъ теперешнемъ настроеніи я ни о чемъ не могла хорошенько подумать. На дворѣ май, а дачи у насъ нѣтъ. Я даже не знаю, гдѣ и какъ проведемъ мы лѣто. Каюсь, это моя оплошность. Но теперь развѣ не все равно? Меня преслѣдуетъ увѣренность въ томъ, что не нынче—завтра должно что-то случиться.

Я было заговорила съ Николаемъ о дачѣ... Еще не поздно, можно было бы найти гдѣ-нибудь не въ очень бойкихъ мѣстахъ. Онъ сказалъ, что ѣзда каждый день въ городъ для него несносна.

— По крайней мѣрѣ, поѣхать хоть на море, въ Выборгъ или въ Либаву, попозднѣе, въ іюль. Можешь ли ты получить отпускъ?—спросила я его.

— Не знаю... не думаю...

Кобрина поселилась въ Павловскѣ и приглашала меня навѣстить ее. Я сейчасъ же поѣхала. Мы съ ней не видѣлись около двухъ недѣль. Она еще не знала, что было между мною и Николаемъ въ послѣдніе дни.

День выдался прелестный. Я поѣхала послѣ завтрака. По дорогѣ все уже зеленѣло и такъ вольно дышалось. Я сидѣла въ отдѣленіи вагона одна. И такая заговорила во мнѣ потребность сбросить съ себя мое нестерпимое душевное состояніе! Сколько времени я не слыхала живого, веселаго разговора, сколько времени не смѣялась.

Поѣхала я, зная, что придется опять говорить о томъ же, разбереживать свою рану...

Въ Царскомъ вошло ко мнѣ цѣлое общество: нарядныя молодыя женщины и двое военныхъ. Всѣ они разомъ болтали, смѣялись; видно было, какъ имъ радостно жилось въ ту минуту... Игривыя мины, влюбленные взгляды, молодой, задорный, беззаботный смѣхъ—все это такъ и мелькало передо мной, такъ и искрилось. Переѣздъ прошелъ мгновенно.

Я предупредила Кобрину депешей, и она встрѣтила меня на вокзалѣ очень нарядная, вся въ бантахъ и прошивкахъ; на огромной соломенной шляпѣ цѣлый цвѣтникъ; въ глазахъ игра женщины, не только довольной своимъ положеніемъ, но и живущей во всю... Мы это сейчасъ чувствуемъ.

„Навѣрно у ней начинается романъ“,—подумала я, пожимая ей руку.

Это былъ тотъ часъ, когда на площадѣ въ кіоскѣ играетъ военный оркестръ музыки,—часъ дѣтей, гувернантокъ и нянекъ. Вся площадка была весело освѣщена солнцемъ. Инструменты солдатъ ярко блестѣли. Играли такую же веселую польку. Группы дѣтей пестрѣли тамъ и сямъ: розовый, красный, голубой, желтый цвѣта переливали на солнцѣ.

— Не правда ли, какъ у насъ хорошо? — спросила Кобрина.—Хочешь ты остаться въ паркѣ или мы пойдемъ прямо ко мнѣ?

— Погуляемъ.

Когда мы перешли мостикъ и стали пересѣкать луговину по направленію ко дворцу, Кобрина, взглянувъ на меня, остановилась.

— Навѣрное есть что-нибудь новое... съ твоимъ мужемъ?

— Да, только не будемъ объ этомъ сейчасъ же говорить.

— Разумѣется. Ты слишкомъ ушла сама въ роль несчастной жены. Страхни съ себя это, милая! Que diable! Надо же немножко и о себѣ подумать! Ты, такая молодая, красивая, смотри, на что ты похожа. Между нами говоря, на моихъ глазахъ ты постарѣла на нѣсколько лѣтъ. И совсѣмъ не занимаешься собою! — Она оглядѣла мой туалетъ.—Если бъ кто-нибудь сейчасъ прошелъ и его спросить: кто изъ насъ просто свѣтская женщина и кто



работникъ-специалистъ, женщина-врачъ въ русскомъ вкусь,—прибавила она со смѣхомъ,—ужь, конечно, не меня примутъ за врача.

Мы спустились къ рѣчкѣ и тамъ присѣли на скамейку въ тѣни.

И тутъ опять меня охватило чувство приближенія чего-то рокового.

— Я бы и рада,—сказала я Кобриной,—уйти куда-нибудь... отдаться другимъ впечатлѣнiямъ, но я безсильна, я боюсь...

— Что Николай Аркадьевичъ кончитъ серьезнымъ душевнымъ разстройствомъ?—спросила Кобрина уже тономъ психіатра.

— Что онъ произнесетъ самъ себѣ приговоръ.

— Въ какомъ смыслѣ? Съ собой покончить? Не надо его допускать. Если у тебя есть факты, показывающіе, что онъ близокъ къ такому исходу, слѣдуетъ принять энергическія мѣры. Что же ты не начинаешь дѣйствовать? Чего же ты ждешь? Вѣдь съ такимъ больнымъ надо Osborne принять. Это не то, что острая болѣзнь, которая свалитъ тебѣ человѣка. Тутъ слѣдуетъ поступать осторожно, но энергично. Милая моя Дима! Я тебѣ ничего не навязываю, если ты недостаточно довѣряешь мнѣ. Желаетъ, я обращусь къ хорошему консультанту по моей специальности? Боишься ты приготовить твоего мужа—поручи это мнѣ: я сумѣю обойтись съ нимъ, какъ слѣдуетъ... какъ указываетъ мнѣ долгъ врача и требованія науки,—прибавила она опять тономъ парижской *conférencière*.

— Сказать тебѣ всю правду?

— Сдѣлай одолженіе.

— Я не считаю его настоящимъ душевно-больнымъ.

— Та-та-та! Это ужь ты предоставь намъ. Настоящій — не настоящій, но онъ на прямой дорогѣ къ чему-нибудь весьма опредѣленному. Всего вѣроятнѣе,—сказала она, сдвинувъ немного свои слегка подведенныя брови,—тутъ готовится просто-напросто: *pejné*.

— Что это такое значить? Я не понимаю.

— Извини, это я по студенческой парижской привычкѣ. Мы такъ называемъ болѣзнь, конечно, тебѣ извѣстную. По-русски слѣдовало бы сказать: *пенé*...

— Оставимъ мы эту игру словъ,—перебила я ее.

Мнѣ стало слишкомъ жутко.

— Не нервничай, моя милая Дима, — успокоительно

протянула Кобрина.—А то я тебя начну серьезно лѣчить. Что же дѣлать, есть болѣзни; мы, врачи, ихъ не выдумываемъ. Въ нашей практикѣ эта болѣзнь теперь самая частая. Это—прогрессивный параличъ. По-французски она называется *paralysie générale*, вотъ почему и говорить: *pégé*.

— И у тебя есть основаніе думать, что Николай...

— Не утверждаю положительно, но это очень, очень вѣроятно. А если оно такъ, то врядъ ли тебѣ нужно бояться за то, что онъ покончитъ съ собою самъ... За періодомъ подавленности можетъ явиться періодъ большого возбужденія и даже непремѣнно настанетъ, если у него дѣйствительно эта болѣзнь. Тогда онъ покажется тебѣ совершенно возрожденнымъ. Явится необычайная бойкость, пылъ... въ томъ числѣ и любовный пылъ...

Она остановилась на нѣсколько секундъ и продолжала:

— А можетъ быть такой періодъ возбужденія и покончился уже... и вотъ въ этотъ-то періодъ и могла произойти ваша любовная исторія.

— Какъ?—спросила я и вся задрожала. — То, что рѣшило мою судьбу, что мнѣ открыло новую жизнь, было не что иное, какъ начало неизлѣчимой нервной болѣзни?

Я готова была разрыдаться, но сдѣлала надъ собою усиліе.

— Милая моя, я не утверждаю это, но это допустимо... Наука не шутитъ, у ней есть свои итоги; періодъ возбужденія долженъ быть въ исторіи этой болѣзни. Тогда, глядя по натурѣ и способностямъ, можетъ быть и любовная страсть, или, по крайней мѣрѣ, нѣчто похожее на нее, и развѣзды, и проекты, а у людей съ талантомъ усиленная творческая работа... Это буки-азъ-ба... *Chaque savant sait ça!* Но во всякомъ случаѣ надо принимать мѣры. Подобное несчастье можетъ всегда случиться... Такъ неужели изъ того, что твой мужъ дѣйствительно заболѣлъ прогрессивнымъ параличомъ, ты-то сама должна обрекать себя на двойную каторгу? Встряхнись!

— Но пойми, — вскричала я, — что Николай для меня—все!

— А если бы онъ смертельно заболѣлъ и умеръ?—сказала Кобрина. — Одно изъ двухъ: или ты бы умерла съ горя, или ты пережила бы эту потерю... *Et tu aurais pris ta part de vie... et de jouissances*,—прибавила она, вкусно выговаривая послѣднее слово.

Эта женщина не можетъ меня понимать; у ней слиш-



комъ много разсудительности и здороваго себялюбія. Она можетъ только мнѣ оказать содѣйствіе, какъ умный врачъ-специалистъ. Какъ показать ей силу и глубину моей безъисходной бѣды?..

— Полно, Дима, — начала Кобрина другимъ тономъ, и лицо ея приняло опять то выраженіе, съ какимъ она меня встрѣтила на вокзалѣ. — Я имѣю право, и какъ пріятельница твоя, и какъ врачъ, запретить тебѣ такіе разговоры. Если ты согласна дѣйствовать, я къ твоимъ услугамъ, а пока поживемъ хоть немножко сами по себѣ... Ты пріѣхала подышать воздухомъ, погулять, видѣть вокругъ себя жизнь, веселыя лица... И знаешь, что я тебѣ скажу, — она прищурилась, — у меня здѣсь пріятный сосѣдъ. Мы съ нимъ очень скоро подружились... Отгадай кто?

— Право, не умѣю.

— Завацкій, тотъ самый Завацкій, про котораго ты мнѣ какъ-то говорила... защитникъ твоего мужа. *C'est un homme très bien!* — протянула она, совсѣмъ какъ выговариваютъ это слово французенки. — Умница, понимаетъ жизнь, много видѣлъ... во всемъ такой вкусъ. Умѣетъ цѣнить въ женщинѣ все, что въ ней есть выдающагося.

„Такъ и есть, — подумала я, — у нихъ начинается любовная игра, а можетъ-быть, они уже и совсѣмъ близки“.

— Онъ знаетъ, что ты пріѣдешь, — продолжала такъ же оживленно Кобрина, — и я, на всякій случай, сказала ему, что въ началѣ пятаго онъ можетъ насъ застать на фермѣ. Вѣдь ты обѣдаешь у меня?

— Нѣтъ, я должна вернуться.

— Полно, пошла депешу. Право, это лучше! Вы слишкомъ много вмѣстѣ... Наконецъ, если ужъ тебя такъ потянетъ домой, ты успѣешь. Идемъ.

На фермѣ мы не ждали Завацкаго больше десяти минутъ. Онъ явился немного запыхавшійся, такой розовый, свѣжій, сіяющій. По ихъ взглядамъ и тону сейчасъ же можно было почувствовать уже большую интимность. И онъ, и она отлично подходятъ другъ къ другу. Врядъ ли они кончатъ бракомъ. Да имъ и не нужно: они слишкомъ дорожатъ свободой и умѣютъ брать изъ жизни все самое доступное. Завацкій держался со мной въ ея присутствіи какъ преданный другъ дома, съ такимъ оттѣнкомъ, какъ будто я, какъ женщина, для него никогда не существовала. Это меня нисколько не задѣвало и даже не смѣшило. Все это чрезвычайно поцѣпно: такой виверъ и лю-

битель женщинъ не станетъ тратить своего ума и ловкости, разъ онъ увидѣлъ, что женщина, которая могла бы ему нравиться, такъ поглощена своей нелѣпой любовью къ законному мужу.

— Такъ, стало-быть, вы не переѣдете на дачу?—спросилъ меня Завацкій.—И вашему мужу ничего—заставлять васъ оставаться въ городской духотѣ?

— Она будетъ къ намъ часто ѣздить, — отвѣтила за меня Кобрина.

— И прекрасно!—вскричалъ онъ.— Мы въ васъ поднимаемъ тонъ жизнерадостности, дорогая Авдотья Петровна. Зачѣмъ же вамъ себя изводить?

— Je me tue à le lui démontrer! — дурачливо выговорила Кобрина.

— Пускай супругъ,—продолжалъ Завацкій въ томъ же тонѣ, — чувствуетъ почаше сладость одиночества. Самое лучшее средство—отнять у него возможность предаваться своему самоанализу вслухъ, дѣлать васъ подневольной наперсницей своихъ болѣзненныхъ изліяній.

Я ничего не возразила, но мнѣ очень скоро стало тяжело съ ними. Какъ бы я на нихъ ни смотрѣла, но они все-таки переживали минуты взаимнаго влеченія, и я была тутъ лишняя. Чѣмъ скорѣе я удалюсь, тѣмъ имъ будетъ привольнѣе. Они отправятся туда, гдѣ имъ никто не будетъ мѣшать, будутъ цѣловаться, тѣшить другъ друга своимъ умомъ, острыми шутками, взаимной лестью.

Вмѣсто облегченія, я получила новый и неожиданный ударъ. Тоска душевнаго одиночества разлилась по мнѣ, а впереди—что-то неизбѣжное, точно зіяющая пропасть.

Черезъ нѣсколько минутъ я уже заторопилась и просила ихъ не провожать меня на желѣзную дорогу.

XIV.

— Кто тамъ?—испуганно окликнула я.

Это было въ моей спальнѣ. Я засидѣлась съ книгой. Сна у меня не было, я знала, что не засну раньше разсвѣта. Наступили бѣлыя ночи, и онѣ еще сильнѣе подерживали мою бессонницу. Вошелъ Николай, одѣтый, но въ туфляхъ, очень блѣдный. Выраженіе лица—небывалое: какое-то особое, спокойное, на губахъ тихая, жуткая улыбка, глаза вспыхиваютъ лихорадочно.

— Ты еще не спишь?—спросила я, откладывая книгу на столикъ.



— Вѣдь и у тебя нѣтъ сна, — сказалъ онъ такъ же странно - спокойно, какъ странно было выраженіе его лица. — У меня, ты знаешь, убійственный слухъ; я слышалъ, какъ ты перелистываешь листы.

Тутъ только я замѣтила, что у него въ лѣвой рукѣ книга въ переплетѣ, довольно старомъ, и еще тетрадь. Тотчасъ же узнала я въ этой тетради, переплетенной въ сафьянъ, съ замочкомъ, ненавистный мнѣ дневникъ.

— У насъ обоихъ нѣтъ сна, Дима, — продолжалъ онъ все такъ же спокойно и какъ бы чутьчку сладковатымъ тономъ. — Минута самая благопріятная.

— Для чего? — порывисто спросила я.

— Вотъ ты сейчасъ узнаешь для чего. Зачѣмъ торопиться...

Онъ пододвинулъ низкое кресло и сѣлъ въ него, въ позѣ человѣка, собирающагося что-то такое читать или рассказывать... Сафьянную тетрадь съ замочкомъ отложилъ онъ на тотъ столикъ, гдѣ стояла свѣча подъ абу-журомъ.

А книгу взялъ и сначала положилъ на колѣни. Сидѣлъ онъ немного согнувшись, но въ позѣ не напряженной, покойной.

Въ комнатѣ бѣловатый свѣтъ съ приближеніемъ заридѣлалъ пламя свѣчи чуть замѣтнымъ. Мнѣ эта двойственность освѣщенія сдѣлалась какъ-то жуткой, и я погасила свѣчу. Я не хотѣла малодушно настраивать себя и не могла воздержаться отъ внутренней дрожи. Голова моя, ясная, даже заходоѣлая, подсказывала мнѣ, что этотъ приходъ не проста, что я услышу и увижу что-нибудь дѣйствительно роковое... и послѣднее. Есть такія минуты ясновидѣнія. Все, что произойдетъ, — только подробности того, въ чемъ вы уже впередъ увѣрены.

— Дима, — началъ онъ, приподнявъ слегка голову и глядя на меня вбокъ, — ты, сколько мнѣ извѣстно, философскихъ книжекъ не читала?

Вопросъ былъ странный, совершенно неумѣстный, его можно было счесть за выходку помѣшаннаго, но я не подозрѣвала въ немъ безумія.

Слишкомъ твердъ и разуменъ былъ самый звукъ этихъ въ сущности незначительныхъ словъ.

— Читала кое-что... Давно уже, еще дѣвушкой, когда мы въ выпускномъ классѣ увлекались именами англійскихъ писателей: Льюиса, Герберта Спенсера... Больше

именами. Но кое-что я помню изъ „Физиологіи обыденной жизни“, изъ статей Спенсера; мнѣ теперь припомнилось, что всего раньше по-русски появился переводъ его статей изданія Тиблена... Кажется такъ?

Я сама чувствовала, что готова разговориться, начать припоминать, что именно я знаю... затѣмъ только, чтобы что-то оттянуть, продлить, и въ то же время сознавала бесполезность такой уловки.

— Тѣ англичане,—отвѣтилъ мнѣ Николай, поведя правымъ плечомъ по своей привычкѣ,—мало занимались душой... Это представители такъ-называемаго здраваго смысла... увѣренные въ себѣ позитивисты. А другихъ, старыхъ, очень старыхъ мудрецовъ, ты, конечно, не читала?

— Не помню... врядъ ли... кое-что осталось, конечно, въ памяти... имена...

— Какія же, напимѣръ?

Я засмѣялась, и этотъ смѣхъ отдался у меня внутри, какъ что-то глубоко-малодушное... Этотъ смѣхъ былъ похожъ на свистъ труса, который пробирается по темному переулку и дрожитъ какъ бы кто на него не напалъ изъ-за угла.

— Ты меня экзаменуешь, Николя? — выговорила я поллушутливо.

— Экзаменъ не страшенъ, Дима. Я тебѣ самъ помогу. Конечно, слыхала про древнихъ философовъ?..

— Разумѣется! Не такая же я ничегонезнайка. Кому же неизвѣстно, кто былъ... ну хоть Сократъ, Платонъ...

Николай схватилъ меня за руку и въ этомъ прикосновеніи его свѣжей, почти холодной руки было что-то не передаваемое словами. Такія движенія бываютъ только въ самыя высшія минуты, переживаемыя человѣкомъ.

— Сократъ! Платонъ!—повторилъ Николай.—Какъ это хорошо, что ты сама вспомнила ихъ первыхъ... Во всемъ есть судьба,—какъ бы про себя сказалъ онъ.

И вслѣдъ за тѣмъ онъ развернулъ книгу въ потертомъ переплетѣ большого формата.

— Вотъ видишь, Дима, этотъ томъ—русскій переводъ сочиненій какъ разъ одного изъ этихъ двухъ мудрецовъ. Другой самъ ничего не писалъ при жизни...

— Сократъ?—спросила я.

— Ты и это знаешь! Его ученики записывали то, чему онъ училъ устно. Самый гениальный ученикъ его былъ Платонъ.

Мы никогда не говорили такъ съ Николаемъ и на подобныя темы. Прежде, когда мы сближались, было у насъ не мало разговоровъ о разныхъ вопросахъ женской жизни... нерѣдко о романахъ, о какой-нибудь умной критической статьѣ; почти всегда мы оба волновались, перебивали другъ друга или онъ произносилъ длинные, горячіе монологи. Теперь это было что-то совсѣмъ особенное... Я готова была поддерживать эту странную бесѣду до безконечности, только бы отдалить неизбѣжную минуту...

— Припомни,—продолжалъ Николай,—за что и какъ умеръ Сократъ?

Я обрадовалась такому вопросу и, точно бывало въ гимназіи, духомъ отвѣтила ему:

— Его обвинили въ невѣріи и осудили на смерть; онъ долженъ былъ выпить ядъ... цикуту,—прибавила я, обрадовавшись и тому, что вспомнила, что именно выпилъ Сократъ.

— Совершенно вѣрно; и вотъ у Платона есть чудесная защита своего великаго учителя... Она такъ и называется „Апология Сократа“. Я ее перечитываю каждый день... въ послѣднее время,—прибавилъ онъ,—я прошу тебя прочесть ее хоть одинъ разъ, но такъ, какъ читаютъ предсмертное слово самаго дорогого человѣка.

„Начинается!“—совсѣмъ захолодѣвъ, вскричала я мысленно.

А лицо Николая, совсѣмъ поднявшаго голову, было не только спокойно, но какъ-то торжественно; что-то въ родѣ умиленія виднѣлось въ его глазахъ. Это выраженіе можно было опять-таки признать за безуміе; но меня страшило не безуміе, а что-то другое. Да и никогда онъ такъ тихо, задумчиво не говорилъ; никогда не слышалось такого глубокаго убѣжденія въ каждомъ его звукѣ.

— Платонъ,—продолжалъ онъ,—и другіе ученики Сократа окружали его ложе въ день исполненія приговора... И тутъ я тебѣ долженъ разъяснить одну подробность. Сократъ просидѣлъ цѣлый мѣсяцъ въ тюрьмѣ, а обыкновенно казнъ происходила тотчасъ послѣ приговора или въ очень скоромъ времени. Тутъ же вышло такое обстоятельство: каждый годъ Аѣины посылали корабль съ дарами оракулу въ Делосъ, и обычай не позволялъ никого предавать смерти до тѣхъ поръ, пока галера не вернется оттуда. Сократъ и долженъ былъ въ тюрьмѣ ждать ея возвращенія. Лишніи мѣки—скажешь ты. А этотъ искусъ—

самый свѣтлый, самый великій моментъ его жизни. Онъ готовилъ себя къ смерти безстрашно, ея приближеніе дало только поводъ ученикамъ понять все величіе его души. Они молили его не разъ бѣжать; хотѣли доставить за него выкупъ... Онъ не соглашался. И вотъ, когда уже смерть холодила его члены, что онъ сказалъ имъ между прочимъ...

Николай отыскалъ страницу. Въ комнатѣ было уже настолько свѣтло, что онъ могъ безъ труда прочесть:

— „...время намъ разстаться: я долженъ идти на смерть, вы останетесь наслаждаться жизнью. Кому изъ насъ достался лучшій удѣлъ—это тайна для всѣхъ насъ; оно извѣстно одному Богу“.

Онъ медленно закрылъ книгу и сидѣлъ съ наклоненнымъ впередъ туловищемъ, глядя на меня пристально, но не сурово, а кротко, и опять съ оттѣнкомъ какого-то жуткаго умиленія.

Тутъ я уже не могла овладѣть собою.

— Николя! Что ты хочешь сказать всѣмъ этимъ? Вѣдь ты не просто пришелъ съ этой книгой... и вонъ съ той тетрадью. Я знаю, что въ ней...

— Въ ней записано все то, что тебѣ слѣдуетъ знать, Дима,—отвѣтилъ онъ торжественнымъ тономъ.—Этотъ разговоръ—последній.

— Какъ последний?—закричала я.—Ты хочешь...

— Я хочу примириться съ собою. Вотъ чего я хочу.

— Но чѣмъ, чѣмъ? Договори!..

— Всякое злодѣйское дѣло должно быть искуплено.

Онъ сдѣлалъ жестъ правой рукой, какъ бы предупреждая меня.

— Дай мнѣ докончить. Ты прекрасно понимаешь, о чемъ я говорю. Искупленія другого нѣтъ, какъ добровольный выходъ... изъ жизни.

Эти два слова сковали меня. Я что-то хотѣла вымолвить и не могла. Въ глазахъ стало мутиться.

— Я не хочу,—продолжалъ Николай горячѣе и держа меня сильно за руку,—я не хочу довольствоваться раскаяніемъ на словахъ... Вѣдь и меня почти что оправдали... Что такое просидѣть нѣсколько мѣсяцевъ въ одной комнатѣ? Но это сидѣнье и помогло мнѣ понять все, дойти до искупающаго приговора надъ самимъ собою...

Онъ отнялъ руку, взялъ тетрадь и подалъ ее мнѣ.

— Храни это у себя. Тутъ есть и ключикъ. Я прошу тебя только не отпирать этой тетради до тѣхъ поръ...

Онъ усмѣхнулся и добавилъ:

— Пока не вернется галера.

Чуть живая отъ ужаса, я опустила на колѣни и упала головой на ручку его кресла. Мои руки судорожно старались схватить его. И мнѣ слышались его слова: тихія, трепетныя, проникавшія въ меня, какъ что-то уже не здѣшнее:

— Полно, Дима! Неужели жизнь сама по себѣ такъ драгоценна? Вѣдь это жалкое заблужденіе. И развѣ ты можешь сдѣлать ее для меня другою? Ни ты, и никто на свѣтѣ!—повторилъ онъ.—Я тебя не заставляю искать того же исхода. Но вдумайся, когда ты прочтешь вонъ ту тетрадь... Уйди въ свою совѣсть женщины... Быть-можетъ, я и не правъ, быть-можетъ, между нами и вами и нѣтъ такой пропасти... Тѣмъ лучше. Тогда ты будешь знать, что тебѣ съ собою дѣлать.

Что онъ мнѣ дальше говорилъ, я не слыхала. Я лишилась чувствъ.

XV.

Я исполнила все, что онъ требовалъ. Ему не было дѣла до моихъ мукъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня происходила казнь надъ самимъ собою человека, взявшаго всю мою душу, а я безсильно, въ смертельной тоскѣ и ужасѣ, ждала, когда онъ покончитъ съ собою.

Николай сказалъ мнѣ:

— Стучаться ко мнѣ бесполезно. Я не отопру.

Долго ли онъ страдалъ, я не знаю. Кажется, ядъ подействовалъ почти мгновенно. Онъ не хотѣлъ даже проститься со мною еще разъ. И опять, какъ истинный маньякъ, со своимъ Сократомъ! Тотъ, видите ли, попросилъ увести отъ него жену, чтобы она криками и ревомъ не нарушала красоты и величія его разставанія съ жизнью.

Боже! Какъ они рисуются! Сколько въ нихъ жестокости и бездушія!

Да, я все выполнила. Что мнѣ стоило ждать той минуты, когда, по его росписанію, я могла войти въ кабинетъ,—этого не перескажешь!..

Меня замертво отнесли опять въ спальню. Но я нашла силъ всѣмъ заняться. Полиція, прокуроръ, гробовщики,

панихиды. Господи! Какая ненужная агонія! Лучше самой умереть.

И что жь! Я не лгу, не храбрюсь заднимъ числомъ. Когда гробъ вынесли и я рухнулась на полъ и пришла въ себя только послѣ часового обморока, я не хотѣла жить. Если бы у меня хватило тогда силъ дотащиться до кабинета—я бы перерыла всѣ ящики, чтобы найти ту склянку, откуда онъ выпилъ свою смерть.

Я была охвачена отвращеніемъ къ жизни и осталась жить до тѣхъ поръ, пока не прочту, по его же приказанію, ту тетрадь въ сафьянномъ переплетѣ, куда онъ вносилъ исторію нашего брака.

Да, Николай былъ маньякъ. Это для меня неопровержимо-ясно. Мнѣ нѣтъ надобности отдавать его дневникъ Кобриной—я и безъ нея вижу это и знаю.

Но его манія—не простое безуміе. Все въ исповѣди Николая показываетъ, какъ онъ низко ставилъ мою любовь, какъ тяготился, съ первыхъ дней нашей связи, тѣмъ, что для меня вобрало въ себя всю красу и весь смыслъ жизни...

И *они* смѣютъ, эти маньяки своего мужского высокомерія и жалкаго резонерства, считать насъ низшими существами, обличать насъ въ томъ, что у насъ своя *женская*, низменная совѣсть!

Лучше быть совсѣмъ безъ совѣсти, чѣмъ не знать страсти, не знать ея восторговъ, не знать единой радости жизни, единой и все искупляющей.

Слѣпые, жалкіе маньяки! Вы никогда не поймете этого.

ГОРЛЕНКИ.

(РАЗСКАЗЪ.)

I.

У старинной кладбищенской церкви стояла извозчичья пролетка. Нищій, съ открытой лысой головой, ждалъ въ узкой калиткѣ, примыкавшей къ каменнымъ воротамъ.

Свѣжее, ведряное утро играло на крестахъ памятниковъ и церкви, выглядывавшей изъ-за чащи старыхъ липъ и клёновъ.

Въ теплой церкви, у лѣваго придѣла, служили панихиду. На правомъ придѣлѣ шла передѣлка. Потолокъ, сводчатый и расписной, былъ наполовину закрытъ досками маляровъ.

Только что отошла обѣдня, и молещики всѣ почти разбрелись. У выхода стояли двѣ нищенки съ красными лицами старыхъ пьяницъ. Староста запираетъ свой шкафъ со свѣчами. Въ глубинѣ, за печкой того придѣла, гдѣ служили панихиду, темнѣли двѣ одноцвѣтныя фигуры старушекъ изъ обывательницъ сосѣдней улицы.

Ближе къ амвону стояли рядомъ, точно взяли за руку, гимназистъ лѣтъ шестнадцати и такого же на видъ возраста дѣвушка въ короткой накидкѣ и темной соломенной шляпѣ. Полосатое лѣтнее платье носила она вершка на два выше обыкновенной длины для взрослыхъ.

Служили священникъ и дьяконъ, безъ дьячка.

Гимназистъ не крестился и смотрѣлъ въ эту минуту на лицо священника, обернувшагося къ нему въ пол-оборота.

Лицо это не нравилось ему: широкое, пухлое, въ вес-

нушкахъ, съ рыжеватой бородой. Очки сжимали его виски и дѣлали общее выраженіе смѣшнымъ и неподходящимъ ни къ мѣсту, ни къ облаченію. Онъ смахивалъ на какого-нибудь писца. Желтые, рѣзко обрѣзанные волосы, еще не успѣвшіе отрасти, топорщились изъ-подъ старой рясы, сшитой на другой совсѣмъ мужской станъ.

Братъ—это были братъ и сестра—чувствовалъ, что у него подступаютъ слезы, и въ груди начинало слегка ныть. Чтобы не расплакаться, онъ усиленно смотрѣлъ на священника—на его широкое лицо финскаго типа, очки и жесткія пряди волосъ.

Равнодушное и туповатое лицо очень ему не нравилось. Было въ немъ что-то совершенно неподходящее къ службѣ и къ ихъ настроенію. Каждый день служить онъ по нѣскольку такихъ панихидъ и литій, и въ церкви, и на могилахъ. Голосъ у него—въ носъ, жидкій, невнушительный и неискренній. Вова,—такъ звали брата,—продолжалъ усиленно смотрѣть на лицо священника, чтобы задержать въ себѣ слезы... Но очки и носъ стали его такъ раздражать, что онъ поднималъ голову въ сторону потолка и досокъ, съ которыхъ маляры должны были расписывать его... Сверху виднѣлось облако, изъ котораго смотрѣло „Око“.

Дьяконъ—худой, съ голосомъ, точно выходившимъ изъ котла—сильно кадилъ и переминался въ своихъ огромныхъ сапогахъ, поднимая правой рукой ораръ, закапанный воскомъ.

Съ такимъ хорошимъ настроеніемъ пришли они сюда съ сестрой, Мисенькой! Правда, мысль отслужить панихиду по нянѣ пришла ей... Онъ было возразилъ: „Ей и безъ этого хорошо“, но Мися его пристыдила.

О религіи они рѣдко говорили. Мисѣ не хотѣлось, чтобы Вова считалъ ее ханжой. И она не считала его „нигилистомъ“. Но во всемъ, что отзывается вѣрой и обрядомъ, Вова давно уже не тотъ мальчуганъ, который, бывало, вставалъ ночью и тайкомъ бѣгалъ съ нею къ утренѣ.

Мися, слушая, какъ дьяконъ завелъ о „вѣчномъ покоѣ“, замигала, и слезинки потекли по щекамъ ея продолговатаго, миловиднаго лица съ легкимъ розоватымъ загаромъ... Она стала усиленно креститься.

Братъ ея не заплакалъ и только зажмурилъ глаза, чтобы не глядѣть ни на облако съ „Окомъ“ на сводча-

томъ потолокъ сосѣдняго придѣла, ни на лицо священника, ни на его волосы сосульками и очки, вдавившіяся въ переносицу.

Вовѣ хотѣлось, чтобы панихида была скорѣе кончена.

Но будетъ еще литія—на могилѣ: такъ просила Мися.

Когда они, минуту съ десять спустя, стояли около деревянной рѣшетки и смотрѣли на чугунный крестъ надъ могилой няни—имъ обоимъ сдѣлалось веселѣе... Запахъ ладана не разстраивалъ ихъ на воздухъ; кругомъ—березы и липы зеленѣли надъ памятниками; солнце то и дѣло выглядывало изъ-за нихъ и даже пекло ихъ въ затылокъ.

Литію справили въ нѣсколько минутъ.

Мисенька опустилась надъ дерномъ могилы. Вова дотронулся только рукой до земли, какъ дѣлають большіе, чтобы не класть, какъ слѣдуетъ, земного поклона.

Ему предстояла непріятная обязанность—онъ взялъ ее на себя — заплатить священникамъ. И на исповѣди ему всегда бывало это непріятно. Но онъ не хотѣлъ выказывать такого малодушія передъ сестрой. Во всемъ, что они дѣлали вмѣстѣ, онъ ставилъ себя мужчиной, старшимъ.

Послѣдній возгласъ дьякона замеръ въ утреннемъ воздухѣ.

Вова приблизился къ батюшкѣ и всунулъ ему въ руку желтенькую. Тотъ—все съ тѣмъ же безстрастнымъ выраженіемъ толстаго лица—припряталъ бумажку подъ край ризы привычнымъ движеніемъ руки.

Дошла очередь до отца-дьякона. Вова рѣшилъ съ Мисей—они платили изъ своихъ карманныхъ денегъ,—что дьякону довольно и полтинника.

Серебряную мелочь держалъ Вова въ кулакѣ лѣвой руки. Неловкимъ жестомъ перевелъ онъ деньги изъ лѣвой руки въ правую и торопливо отдалъ ихъ дьякону.

Тотъ зажалъ мелочь въ своей мозолистой рукѣ, потомъ разжалъ и вбокъ, не стѣсняясь нисколько, посмотрѣлъ, сколько именно тамъ денегъ, съ такимъ видомъ, что если бъ ихъ было меньше, онъ попросилъ бы и добавить.

Мися не замѣтила этого. Она опять прослезилась и вынула поспѣшно носовой платокъ.

Священники ушли, шагая широко между могилами. Ихъ ждала новая панихида.

— Пойдемъ!—полушопотомъ сказалъ Вова, нагнувшись къ сестрѣ, и прикоснулся губами къ ея шеѣ.

Она обернулась, вся въ слезахъ, и большими голубыми глазами приласкала его.

— Вотъ ужъ и два года протекло!—проговорила она, оправляя прядь волосъ, выбившихся у ней изъ-подъ шляпки.

— Да, два года!—повторилъ ея братъ.

Они пошли медленно, по той же тропинкѣ, между памятниками, къ воротамъ.

Старушка-няня выходила ихъ обоихъ и умерла ровно два года назадъ, отъ водяной. Хоронили ее они же. Мать ихъ не пріѣхала на кладбище, была нездорова — какъ почти всегда, какъ и теперь: не лежала въ постели, а не считала себя здоровой и сидѣла дома.

Никто уже не любилъ ихъ съ тѣхъ поръ такъ, какъ любила няня. Къ матери они оба лънули; но она слаба, не выноситъ долгаго разговора, любить быть одна, цѣлые дни проводить на кушеткѣ.

Съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ въ живыхъ няни, никто уже не зоветъ ихъ „горленками“. Она дала имъ это прозвище.

Съ первыхъ годовъ дѣтства, они, точно близнецы, живутъ душа въ душу и все „воркуютъ, ровно горленки“. Эти слова няни припомнились имъ обоимъ, когда они уже подходили къ воротамъ. И послѣ ея смерти они такъ же дружны, но иногда не то что ссорятся, а спорятъ. Доходитъ у нихъ и до слезъ. Прослезится Мися, а братъ назоветъ ее плаксой и всегда уйдетъ, хлопнувъ дверью. При жизни няни—никогда, ни единого раза не выходило у нихъ размолвки; по крайней мѣрѣ, съ тѣхъ поръ, какъ поступили въ гимназію. Даже и маленькими не дрались. Это повторяла имъ всегда все та же няня.

II.

Пониже кладбища, въ сторонѣ отъ дамбы, черезъ оврагъ, разросся кустарникъ вдоль нѣсколькихъ балокъ.

Братъ и сестра, возвращаясь домой пѣшкомъ, спустились въ этотъ оврагъ. Имъ захотѣлось спуститься туда. Бывало, когда няня брала ихъ съ собою въ „полевою“, — такъ она называла кладбищенскую церковь,—они бѣгали по склонамъ оврага, цѣплялись за кусты, искали самыхъ укромныхъ закоулковъ.

Недавно тутъ устроили что-то въ родѣ садика. Въ самомъ низу, въ тѣни балокъ, бесѣдка, обвитая зеленью,

съ листьями, начинавшими краснѣть—въ этомъ году раньше обыкновеннаго: шли послѣдніе дни августа.

Еще глубже и совсѣмъ въ тѣни стояла скамейка.

Они сбѣжали къ ней и сѣли.

Имъ хотѣлось говорить, и они оба боялись начать разговоръ.

Вчера Мися, прощаясь съ нимъ, — они оба жили въ мезонинѣ,—сказала ему:

— Вова, я бы хотѣла тебѣ сказать одну вещь... Ты не разсердишься?

И, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, у ней вздрогнули ноздри.

— Ну, ужъ на ночь нечего! — отвѣтилъ онъ, предчувствуя, что выйдетъ каксе-нибудь объясненіе.

— Завтра, вотъ послѣ панихиды по нянѣ. Да?

— Хорошо.

Но у Миси осталось такое чувство, что брату ея, съ нѣкоторыхъ поръ, непріятны ея „приставанья“.

Ужъ онъ не разъ говорилъ ей:

— Ахъ, сестренка, ты все — по книжкѣ. Смотри, совсѣмъ будешь дѣвуля... классная дама.

Это ее огорчаетъ, но она не можетъ хитрить съ нимъ, считаетъ безчестнымъ не сговориться съ нимъ въ томъ, что начинается мозжить ее.

— Ты нынче въ гости собираешься? — спросилъ Вова, сидя съ опущенной головою и хлыстикомъ проводя по песку.

— Можетъ-быть... Къ Анечкѣ. Они собираются пить чай къ Асафу-схимнику. Ты не поѣдешь?

— Скучно мнѣ съ дѣвчонками! — выговорилъ Вова и сдѣлалъ гримасу.

— Онѣ мнѣ ровесницы,—промолвила Мися.

Ее начинало тяготить то, что между ними что-то залегло и они оба уклоняются отъ „настоящаго“ разговора.

— Вова...—заговорила она тише и поглядѣла на него вбокъ.

„Ну, такъ и есть! — подумалъ онъ. — Сейчасъ начнетъ поднимать вопросы“.

Къ этому „подниманью вопросовъ“ онъ самъ давно ее приучилъ, когда ей было не больше двѣнадцати лѣтъ.

Тогда онъ развивалъ ее, гордился тѣмъ, что она его „выученица“—во всемъ: въ урокахъ, въ чтеніи, во вкусахъ, въ манерѣ разсуждать, въ выборѣ пріятельницъ.

А теперь ему иногда не по себѣ.

Мися очень ужъ до всего допытывается, пристаётъ. Нельзя же во всемъ идти напроломъ... И, наконецъ, — она многого не понимаетъ... Съ тѣхъ поръ, какъ при ней нѣтъ больше гувернантки, она ужасно какъ „пропахла“ гимназией.

Онъ находитъ, что она стала negliжировать языками. Читаетъ она много, но не старается говорить. Мать ихъ не можетъ долго разговаривать; отецъ ей не разъ уже замѣчалъ, что она не дѣлаетъ успѣховъ. Когда онъ начнетъ съ ней говорить по-французски — она, точно нарочно, отвѣтитъ всегда по-русски.

Положимъ, и онъ не очень любитъ французить; но онъ — „мужчина“. А она — дѣвушка-подростокъ. Вѣдь ее будутъ вывозить. Не пойдетъ же она въ телеграфистки или въ приказчицы въ магазинъ „Муравейникъ“? Да и тамъ нынче — какія франтики, а одна такъ и рѣжетъ съ барынями по-французски.

Они помолчали; но по блѣднымъ щекамъ Мисы прошла струйка нервной дрожи. Она опять вбокъ оглянула брата.

— Да, — выговорила она еще тише. — Няни не стало... И прежней жизни уже нѣтъ.

— Разумѣется, — уклончиво отвѣтилъ гимназистъ.

— Миѣ, Вова, неприятно, ты вчера не далъ досказать...

— Что такое?

Въ вопросѣ брата зазвучало смущеніе.

— Насчетъ... Элоизы Христофоровны.

— Ну-у...

Этотъ звукъ „ну-у“ показался Миѣ грубымъ. Никогда Вова такъ не говорилъ.

— Послушай! — она прижалась къ нему и заглянула ему въ глаза. — Вѣдь нельзя же уклоняться... Ты — честный... Мы всегда жили душа въ душу!

На глазахъ ея заблестѣли двѣ крупныя слезы.

Братъ хотѣлъ перебить ее и сказать, что она дѣлается плаксой.

Но Мися сдержала слезы и, все въ томъ же положеніи, продолжала болѣе твердымъ голосомъ:

— Я давно уже догадывалась, Вова... У меня никогда не лежала душа къ этой женщинѣ... А теперь я знаю...

— Что ты знаешь?

— И ты знаешь... Только не хочешь сознаться.

— Въ чемъ сознаваться-то?

— Ахъ, Вова!

Мися отклонилась немного отъ брата и опустила голову.

— Ты съ ней дружилъ.

— Почему же дружилъ?

— Что же оправдываться... Ходилъ къ ней въ гости.

— Не думалъ... А она меня сама приглашала... Оставивъ на крыльцѣ или въ садикѣ...

— Подарки ты отъ нея принималъ.

— Съ какой стати ты это говоришь?

Глаза его сердито блеснули.

— А какъ же? Отъ кого у тебя книга „Самообразование“ Смайльса съ золотымъ обрѣзомъ? Это она тебѣ подарила.

— Подарила, подарила! — почти передразнилъ гимназистъ.—Просто дала читать.

— Книга у тебя уже больше года лежитъ.

— Да скажи, — заговорилъ онъ нервно и съ жестами обѣихъ рукъ, — скажи на милость — изъ-за чего я буду съ ней ссориться? Она ко мнѣ ласкова... спрашиваетъ... даетъ книжки и вообще понимаетъ меня. Что жъ? Папа придирается... мама тоже раздражительна... Иногда Богъ знаетъ чего боится. И, наконецъ, часто никто и не подумаетъ, что намъ обоимъ нужно... изъ платья... изъ бѣлья... Что жъ? Элоиза Христофоровна—женщина умная и развитая. И во все умѣетъ войти.

— Вотъ она тебя... и подкупила.

— Глупости говоришь! — крикнулъ гимназистъ, всталъ и сдѣлалъ два шага къ обрыву узкой площадки, гдѣ они сидѣли.

— Не кричи на меня! — тихо, но твердо выговорила сестра его.—Это—не доказательство... Ея расчетъ—ясный: притянуть къ себѣ насъ обоихъ и показать, что она гораздо больше о насъ заботится, чѣмъ родная мать. Какъ же ты не видишь, куда она пробирается?..

— Куда?

Мися взглянула на него своими большими глазами, гдѣ слезинки оставили еще слѣды.

— Доведетъ папу до того, что онъ на ней женится.

— При жизни матери?

— Заставить дать разводъ... Развѣ это трудно?.. Это теперь дѣлается вездѣ.

— Вздоръ какой! Сколько лѣтъ она живетъ тутъ!..

— А! вотъ видишь, Вова! Ты проговорился. Ты, значить, давно понимаешь все... то, въ чемъ я убѣдилась только на-дняхъ.

У него на губахъ зажглась фраза:

„Скажите, пожалуйста,—какая наивная!“

Но его уже смущали „приставанія“ сестры. Онъ чуялъ, что она, по-своему, права, потому что больше его любитъ мать и оскорблена за нее.

А развѣ онъ самъ—пошлякъ? Или способенъ „ломать идіота“ и увѣрять, что онъ не понимаетъ, кто для его отца Элоиза Христофоровна.

Онъ ничего не отвѣтилъ.

III.

Да, они жили душа въ душу вплоть до этого лѣта. Ихъ дразнили товарищи и товарки въ мужской и женской гимназіи. Старшіе, мать, отецъ, пріятели отца, называли ихъ „inséparables“ или „сіамскіе близнецы“.

А теперь вотъ имъ нужно объясняться.

И братъ сознавалъ, что сестра не можетъ оставить такъ, безъ разговора, того, что ее мозжитъ.

Но почему же она „воображаетъ“, что онъ, Владиміръ Майоровъ, съ его душой и мыслями, способенъ подло зажмуривать глаза на то, что нехорошо, что способно возмутить ихъ обоихъ?

Ну да, онъ сталъ—больше года, даже около двухъ лѣтъ—догадываться.

Его отецъ очень близокъ съ Элоизой Христофоровной. Не дальше, какъ весной, во время экзаменовъ, готовился онъ у товарища своего Ситнова, ночевалъ у него на квартирѣ, и только что разсвѣло, когда они собрались уже читать, тотъ спрашиваетъ его:

— Майоровъ... Отецъ твой, говорятъ, живетъ съ вашей жилищей, съ нѣмкой?

Ему бы слѣдовало сейчасъ же крикнуть:

„Какъ смѣешь такъ говорить?“

А онъ стерпѣлъ и не сразу отвѣтилъ.

Что же тутъ горячиться, когда всѣ это знаютъ, весь городъ?

Когда онъ сталъ захаживать къ Элоизѣ Христофоровнѣ? Еще мальчишкой, по четырнадцатому году, а теперь ему семнадцать. Черезъ годъ онъ студентъ. Въ то время онъ ни о чемъ, какъ слѣдуетъ, не догадывался. Она стала



съ нимъ разговаривать, къ себѣ приглашала. Дѣлала и подарочки, но самыя маленькіе—книжку или какую-нибудь фотографію.

Правда и то, что съ этого лѣта, когда отецъ къ нему придирался или не хотѣлъ въ пустякахъ побаловать его,—онъ просилъ сдѣлать ему новый китель,—онъ говорилъ объ этомъ Элоизѣ Христофоровнѣ.

Тотъ же товарищъ спросилъ его:

— Что жъ... эта нѣмка у него на *держаниі*?

Товарищъ—изъ мѣщанъ—говорилъ грубо и употреблялъ всегда свои выраженія.

Но и тутъ какъ же было обижаться или обругать его? О *такихъ вещахъ* въ гимназій говорятъ, особенно въ старшихъ классахъ. Кто же не знаетъ—какая у кого интрига, между барышнями и молодыми людьми, или у замужнихъ. Все извѣстно, отъ губернатора до послѣдней телеграфистки.

Смѣшно напускать на себя гоноръ.

Сейчасъ получишь въ отвѣтъ:

— Нечего ломаться... Ты, небось, отлично знаешь...

Или уже такъ глупъ...

Вотъ и все. Больше у него на совѣсти ничего нѣтъ—никакой „подлости“.

Нехорошо, неприятно и обидно за мать... Но вѣдь она это давно знаетъ: онъ въ этомъ увѣренъ. Мать все нездорова, съ припадками

Онъ хотѣлъ-было сказать про себя:

„И отца тоже надо извинить...“

Однако удержался.

Братъ и сестра давно уже шли по дорогѣ къ себѣ и молчали.

Тамъ, въ оврагѣ, онъ ей сказалъ:

— Мися... зачѣмъ же теперь, въ день памяти няни, разстраивать себя такимъ разговоромъ?

Она замолчала и первая поднялась съ мѣста.

Теперь она не дуется—такихъ замашекъ у нея нѣтъ,—а считаетъ себя обиженной тѣмъ, что онъ уклонился отъ объясненія.

На полпути имъ надо было пересѣчь городской садъ. Можно пройти и въ сторонѣ; но прямѣе по саду, отъ однихъ воротъ до другихъ.

Мися шла ускоренно и не совсѣмъ рядомъ, съ наклоненной головой, и смотрѣла себѣ подъ ноги.

- Вова!—окликнула она брата, не поднимая головы.
- Чтò тебѣ?
- Пойдемъ садомъ.
- Изволь.

Въ саду—прудъ, запущенный. Но онъ имъ милъ, потому что тамъ они игравали, чуть не каждый день, и по зимамъ, когда жили поблизости, до покупки отцомъ дома.

„Спать за свое возьмется!“—досадливо подумалъ Вова.

Дорожка, полная щебня съ горбылями, привела ихъ къ тому мѣсту, гдѣ еще недавно стояла старинная круглая бесѣдка, пришедшая въ ветхость. Подъ парой рябинъ, съ переплетенными стволами, пріютилась скамейка.

Сестра, ничего не говоря, сѣла.

Сѣлъ и братъ.

Ему захотѣлось курить. На улицѣ было опасно—надзоръ и лѣтомъ былъ довольно строгій. Но тутъ, въ саду, совсѣмъ не видать прохожихъ—можно себѣ позволить.

Онъ закурилъ и тотчасъ же сплюнулъ.

Мися покосилась на него. Ей не очень нравилось то, что братъ пріобрѣтаетъ привычку часто сплевывать, когда курить. Но она еще ни разу ему насчетъ этого не замѣчала.

— Вова,—начала она спокойно и смотрѣла въ эту минуту на зеленѣющую плѣсень воды въ прудѣ,—ты, пожалуйста, не думай, что я хочу забираться въ твою душу. Но я не могу молчать—ты извини. Тебѣ непріятно было, что я заговорила объ *этомъ* тамъ... тотчасъ послѣ панихиды... Прости... это, дѣйствительно, было...

Она искала слова.

— Не время,—выговорила она съ нѣкоторымъ усиліемъ.

— Ты опять!

— Нѣтъ, дай мнѣ кончить... Всего одну минуту, милый.

Она положила ему руку на плечо.

— Только минуту.

— Ну, врядъ ли!—шутливо возразилъ онъ и улыбнулся ей глазами.

— Не больше двухъ... Клянусь тебѣ. Погоди, только не перебивай меня. Что жъ *это* перебирать... Ты отлично понимаешь. И я—не маленькая. Я не хотѣла бы ничего ни видѣть, ни слышать; но вѣдь этого нельзя... Вова, согласись самъ...

— Двѣ минуты уже прошли.

— Оставь!.. Пожалуйста, умоляю тебя... Это—очень важно, — протянула она, блѣднѣя. — Не знаю, какъ ты могъ помириться. Можетъ-быть, ты гораздо умнѣе и терпимѣе меня... Но для меня теперь необходимо выяснить...

Она путалась.

— Да что ты все высокимъ слогомъ выражаешься... Это—книжка! Точно Гамлетъ... въ юбкѣ.

— Вова! Это очень, очень дурно.

Щеки ея запылали. Она вскочила со скамейки и, обдергивая края шляпки, прошла взадъ и впередъ передъ братомъ.

— Да полно... Потомъ.

— Сегодня я не скажу ни слова. Но свое поведеніе я не могу, ты пойми, не могу...

— Вотъ видишь—все пыжишься и слова выискиваешь.

Но онъ больше не сталъ подсмѣиваться. Ему сдѣлалось жаль сестры.

Онъ тоже всталъ и, подойдя къ ней, сказалъ:

— Прощу вѣрить и мнѣ... Я ни на какую подлость не шелъ до сихъ поръ, и не пойду. А мы съ тобой между отцомъ и матерью становиться не будемъ. На это мы не имѣемъ права—пойми и ты меня. И во всякомъ случаѣ, если ты что-нибудь такое надумаешь... или захочешь свое поведеніе измѣнить, что ли... ты тогда мнѣ скажи. А теперь у тебя только такъ... нервы, что ли... Измѣнить мы ничего, сударыня, не можемъ, такъ-то! А теперь пойдемъ. У меня подъ ложечкой засосало... Чаю смерть какъ хочется.

Мися закрыла глаза и, сдѣлавъ усиліе, чтобы удержать слезы, молча пошла впередъ.

IV.

Розоватый, штукатуренный домъ съ мезониномъ украшенъ дворянскимъ гербомъ и короной изъ бѣлаго алебастра. Уже съ четверть часа стоитъ на перекресткѣ фазтонъ на шинахъ, запряженный парой сѣрыхъ съ пристяжкой. Онъ дожидается выхода на крыльцо барина, Павла Андреевича Майорова, владѣльца дома и отца Вовы и Мисы.

Кабинетъ Павла Андреевича, тотчасъ изъ дверей налѣво, очень большая комната съ альковомъ, гдѣ стоитъ кровать. Онъ давно уже не спитъ въ спальнѣ, помѣщающейся въ мезонинѣ, такъ что внизу онъ одинъ, и только

къ обѣду собирается вся семья, да и то Марѳа Петровна часто не спускается сверху.

Въ исходѣ одиннадцатаго Павелъ Андреевичъ, одѣвшись къ выѣзду, пристѣлъ къ серебряному зеркалу туалетнаго столика.

Онъ старательно выщипывалъ сѣдые волоски изъ бакенбартъ, расчесанныхъ на двѣ длинныя пряди.

Сохранился онъ на рѣдкость. Ему за сорокъ лѣтъ, а на видъ не больше тридцати-пяти; высокій, плечистый, очень франтоватый. Бѣлокурые волосы немного порѣдѣли на лбу. Въ голубыхъ глазахъ, въ губахъ, сочныхъ и красиво сложенныхъ, въ кругломъ подбородкѣ—чувственность и слабость воли, незамѣтная сразу ни въ рослой, худощавой посадкѣ туловища, ни въ общемъ обликѣ красивой головы.

Чуть замѣтныя морщинки у слегка прищуренныхъ глазъ придавали ему характерное выраженіе челоуѣка, бывшаго всегда слабымъ къ женщинамъ.

Отойдя отъ туалетнаго столика, Павелъ Андреевичъ еще разъ поправилъ свой бѣлый батистовый галстукъ, по московско-провинціальной модѣ, и взглянулъ въ окно, готовъ ли экипажъ.

Онъ не былъ лошадаытникъ, любилъ только хорошую выѣздку и нарядную закладку. Свой фаэтонъ-дрожки, по особому рисунку, заказывалъ онъ у Маркова, въ Москвѣ, и такой только у него и былъ во всемъ городѣ... Надъ нимъ кое-кто изъ знакомыхъ подтрунивалъ, говоря: „Павелъ Андреевичъ у насъ, что твой полицеймейстеръ: на парѣ съ пристяжкой ѣздитъ“.

Онъ это зналъ. Но за нимъ уже установилась прочная репутація франтовства—настоящаго, дворянскаго.

Павелъ Андреевичъ зналъ, что онъ „даетъ тонъ“ всему городу въ вопросахъ изящества и моды. Ни у кого нѣтъ такого бѣлья, обуви, шляпъ, канцелярскихъ принадлежностей, такихъ сигаръ и такого краснаго портвейна.

Кучеромъ своимъ онъ очень доволенъ: непьющій, ѣздитъ молодцовато и безъ бѣшеной гонки, лошадей любитъ, смыслить въ нихъ, чего про себя Павелъ Андреевичъ не можетъ сказать: ему приводилось не разъ провираться на лошадиныхъ „съ аттестатами“, въ которыхъ будто бы были несомнѣнные породистыя „крѣви“.

Утромъ, между кофеемъ и сословнымъ банкомъ, гдѣ Майоровъ уже второе трехлѣтіе директоръ-предсѣдатель,



у него есть полчаса совершенно свободного времени. Газету онъ читаетъ за кофеемъ и очень скоро, не любитъ передовыхъ статей, пробѣгаетъ только телеграммы и фельетонъ, если это не о скучныхъ матеріяхъ.

И всего бы лучше проводить эти полчаса во флигелѣ его дома, куда можно пройти и дворомъ, и съ улицы, у Элоизы Христофоровны Ленгольдъ, ихъ жилицы, уже болѣе пяти лѣтъ.

Но... такъ онъ не любитъ дѣлать. Безъ соблюденія декорума онъ ничего не позволяетъ себѣ. Не станетъ онъ „афишироваться“ передъ прислугой или передъ сосѣдями.

Въ теченіе дня—другое дѣло. Кучеръ уже знаетъ, что изъ банка, сдѣлавъ два-три визита, баринъ ѣдетъ домой по другой улицѣ, снизу, и остановитъ прикажетъ, каждый разъ, у подъѣзда флигеля, выходящаго въ переулокъ.

Изъ дому нельзя никакъ видѣть, что у подъѣзда: барскія дрожки или сани зимой. Оттуда баринъ скажетъ ему:

— Можешь откладывать, Сергѣй!

Тамъ Павелъ Андреевичъ обѣдаетъ—не каждый день—и всегда скажетъ дома, чтобы его не ждали.

Вѣроятно, тамъ же онъ и отдыхаетъ. Но этого доподлинно никто не можетъ знать. Вечеромъ онъ въ клубѣ, изо-дня-въ-день, кромѣ вечеровъ въ гостяхъ или театрѣ. Возвращается онъ поздно, никогда не раньше двухъ,—прямо ли изъ клуба, или изъ флигеля, тоже никто не знаетъ. Кучера онъ отпускаетъ почти всегда и беретъ извозчика,—жалѣетъ его, особенно когда начнутся кислая погода или морозы.

И такъ идетъ уже болѣе пяти лѣтъ. Вначалѣ предосторожности были еще больше.

Въ этомъ онъ полагаетъ свою высшую порядочность. Чтò бы кто ни болталъ въ обществѣ, но никто не скажетъ, что Майоровъ ведетъ себя какъ циникъ.

Вонъ генералъ Пашиппый, тотъ знать никого не хочетъ. Завелъ себѣ „помпадуршу“—жену подчиненнаго ему лѣкаря—и днюетъ, и поцуетъ у ней. Его коляска стоитъ—стоитъ у ея подъѣзда. И всѣ это знаютъ. Вздумается ему ѣхать съ нею за городъ, въ лѣсъ—онъ ѣдетъ, также на глазахъ у всѣхъ. А дома у него жена и шестеро дѣтей—сынъ офицеръ, дочь старшая кончила курсъ.

А его „тужурка“—какъ любить выражаться клубные

остряки—такъ нахальна, что всюду лѣзетъ впередъ,—на благотворительныхъ базарахъ, въ дворянскомъ собраніи затмеваетъ всѣхъ и еле кланяется генеральшѣ. Для нея всегда выведутъ такой павильонъ, съ такой драпировкой, что даже неприлично. И самъ генераль, сѣдой, лысый, шестидесятилѣтній старикъ, стоитъ у прилавка и зазываетъ мужичинъ выпить шампанскаго, по два рубля за бокалъ.

Вотъ это цинизмъ!

А Павелъ Андреевичъ ничего подобнаго себѣ не позволить никогда, пока жива его жена. Въ немъ порядочность и тактъ и наслѣдственны, и даны заведеніемъ, гдѣ онъ воспитывался. Это—сословное заведеніе, самое первое въ Петербургѣ. Правда, онъ не кончилъ курса и на министерской службѣ не могъ имѣть настоящаго хода; но до сихъ поръ въ немъ узнаютъ питомца этого заведенія, и на его письменномъ столѣ стоитъ фотографическій портретъ, гдѣ онъ снятъ воспитанникомъ подготовительнаго училища, въ курточкѣ, съ отложнымъ воротникомъ.

Жилица флигеля въ первые два года была знакома съ его женой. Но потомъ это знакомство сошло на нѣтъ, безъ всякаго разрыва, безъ малѣйшей непріятности. Дальше визитовъ оно и не шло. А потомъ Марѳа Петровна стала болѣзненна, никуда почти не ѣздитъ, одну зиму пролѣчилась въ Москвѣ. Съ тѣхъ поръ она, можетъ-быть, и догадывается; но ни до какихъ сценъ онъ ее не допускалъ и не допустить.

А Элоиза Христофоровна живетъ до-нельзя скромно. У ней есть двѣ-три пріятельницы, нѣсколько знакомыхъ дамъ. Мужчинъ она почти что не принимаетъ, хотя онъ на этомъ совсѣмъ не настаиваетъ. Ее онъ не можетъ ревновать, до такой степени она честна и безупречна, и преисполнена такта и душевнаго спокойствія, тихой веселости, умѣнья занять его—все свойства драгоцѣнныя въ женщинѣ.

V.

Къ женѣ онъ не поднимается.

Къ чему? Марѳа Петровна навѣрно еще лежитъ или бродитъ по мезонину, вялая и кислая, плохо причесанная, въ несвѣжемъ пеньюарѣ, а то и въ кофѣ.

Онъ давно не дѣлаетъ ей никакихъ замѣчаній насчетъ ея туалета, привычекъ, расположенія духа, занятій. Хорошо уже и то, что всю зиму она была пободръе. Еще



лучше было бы, если бы эту зиму она провела гдѣ-нибудь на югѣ, въ Ялтѣ или въ Меравѣ.

Но Марѳа Петровна не захотѣла разставаться съ дѣтьми.

Какъ будто она ими много занимается!

Вотъ уже больше года, какъ при Мисѣ нѣтъ гувернантки. Она плохо говоритъ по-французски, по-англійски совсѣмъ, кажется, забыла; а ребенкомъ, когда при ней жила англичанка-бонна, болтала удивительно бойко и съ прекраснымъ произношеніемъ. Мать съ ней постоянно говоритъ по-русски. Ходить она къ какой-то учительницѣ-француженкѣ; но толку изъ всего этого онъ видитъ мало.

Съ дѣтьми мать очень рѣдко обѣдаетъ. Она ѣстъ въ неопредѣленные часы. Только онъ, когда обѣдаетъ дома, настаиваетъ, чтобы дѣти приходили къ столу ровно въ пять, а не ѣли бы беспорядочно, когда вздумается.

Павелъ Андреевичъ подошелъ еще разъ къ открытому окну и увидалъ, какъ его дѣти—Вова и Миса—переходятъ черезъ улицу къ воротамъ.

Они всегда возвращались домой съ задняго, а не съ параднаго крыльца, что онъ тоже не долюбивалъ.

Онъ окликнулъ изъ окна:

— Дѣти!

Миса первая подняла голову и подбѣжала къ окну, довольно низкому. За ней подошелъ Вова, въ фуражкѣ.

— Здравствуй, папа!—звонко прозвучалъ ея вздрагивающій голосъ.

— Откуда?

— Съ кладбища... Нынче память няни.

Вова, подойдя, переминался.

— И ты былъ?—спросилъ отецъ.

— Какъ же, папа.

— То-то.

И Павелъ Андреевичъ, въ сторону дочери, добавилъ:

— Одной, безъ брата, не слѣдуетъ ходить... особенно въ такія дальнія мѣста.

— Развѣ это далеко? Мы и не замѣтили, какъ дошли.

— Ну, хорошо... Ты у мамы была? Какъ ея здоровье?

— Я теперь—къ ней.

— Ну, хорошо.

Онъ отвернулся и кивнулъ имъ обоимъ головой.

Часы показывали безъ пяти минутъ одиннадцать. Ему бы надо было повидаться съ Элопзой Христофоровной, спросить ее—не хочетъ ли она, чтобы онъ заѣхалъ въ

гастрономическій магазинъ; привезли, кажется, свѣжую абрикосовую пастилу и копченую стерлядь съ Суры. Она всегда стѣсняется, когда онъ даритъ ей сюрпризомъ.

Но онъ не зайдетъ. Декорумъ — не пустое для него дѣло, разъ онъ рѣшилъ, что такъ лучше и для него, и для нея. Она очень ему признательна за такой тактъ и умѣнье жить.

Онъ позвонилъ и приказалъ вошедшему лакею, пожилому и чисто выбритому, подавать. Пристяжная, молодая лошадь, давно уже прыгала на мѣстѣ и задирала коренника.

На заднемъ крыльцѣ Вова и Мися остановились, точно имъ обоимъ пришла одна и та же мысль.

— Ты къ мамѣ?—спросилъ братъ.

— А ты не зайдешь?

— Позднѣе... Мнѣ до завтрака надо еще въ одно мѣсто... Я только захвачу книжку.

— Мама вдругъ спроситъ о тебѣ...

— Скажи—къ товарищу ушелъ.

Братъ вошелъ первый въ заднюю прихожую, откуда шла лѣсенка въ комнаты антресоля, а сестра поднялась по другой лѣстницѣ, изъ коридора въ антресоль, гдѣ жила Марѳа Петровна.

Площадка раздѣляла антресоль на двѣ большія комнаты. Одна служила Марѳѣ Петровнѣ спальнѣй, окнами на дворъ, а другая—ея кабинетомъ, гдѣ она проводила часть дня, больше лежа на кушеткѣ.

Мися заглянула тихонько въ спальню.

Тамъ еще стоялъ полусвѣтъ отъ спущенныхъ шторъ. Воздухъ пропитанъ былъ запахомъ папиросъ.

Мать ея еще лежала на кровати, въ альковѣ, гдѣ было еще совсѣмъ темно.

— Кто тамъ?—спросила Марѳа Петровна разслабленнымъ голосомъ.

— Это я, мама... Къ тебѣ можно?

— Нѣтъ, мой другъ, я еще лежу... Позови ко мнѣ Наташу... Теплой воды мнѣ нужно. Никогда она не принесетъ въ-время.

— Какъ ты себя чувствуешь?

— Голова глупая... Папа уѣхалъ?

— Кажется, уѣхалъ.

— Приди ко мнѣ... туда... послѣ... такъ черезъ полчаса. А теперъ позови Наташу.



Дочь прошла въ маленькую комнатку горничной. Наташи тамъ не оказалось.

Надо было спуститься внизъ. Она желала бы во всемъ быть полезной матери, только это не всегда удавалось ей. Марѳа Петровна часто не можетъ справиться со своими нервами. Тогда ей все въ тягость.

Сегодня Мися хотѣла бы прильнуть къ ней. Сегодня ей особенно жаль свою мать. Ей до сихъ поръ не было за нее такъ обидно.

Теперь она уже не въ силахъ уклоняться отъ того, чтобы все выяснить.

Она ни во что не будетъ вмѣшиваться, но она должна сначала убѣдиться, что мать ея понимаетъ свое положеніе и мирится съ нимъ... Если же она страдаетъ, то такъ не можетъ и не должно идти.

Внизу Мися поторопила Наташу, рыхлую молодую дѣвушку, франтиху и веряху вмѣстѣ, въ модныхъ рукавахъ съ буфами голубого платья и въ нечистомъ фартукѣ, съ лицомъ арфистки изъ трактирнаго хора.

Опять поднялась Мися въ свою комнатку мезонина. Она жила рядомъ съ братомъ. У него было просторнѣе. Но до сихъ поръ она любила свою „келью“, держала ее чисто и разводила на подоконникѣ разныя „деревца“: лимонныя черенки, жасмины; иногда сажала простой лукъ, его зелень ей нравилась.

Войдя въ комнатку, она присѣла къ окну и тихо заплакала—размолвка съ братомъ и все, что она за послѣдніе два дня передумала, подкатили ей къ горлу, точно клубокъ, и она не стала сдерживать тихихъ слезъ.

Подъ самымъ потолкомъ у нея былъ соловей. Онъ дремалъ утромъ и теперь, заслышавъ шумъ, завопилъ, по безъ всякихъ звуковъ: для него уже прошла пора пѣть.

VI.

— Къ тебѣ можно, мама? — спросила Мися, часомъ позднѣе, заглядывая въ кабинетъ матери, гдѣ та пила кофе у окна.

Марѳа Петровна сидѣла въ мягкомъ креслѣ изъ кртона, съ головой, прислоненной къ спинкѣ.

Она была въ батистовомъ пеньюарѣ, надѣтомъ небрежно, и съ кружевной косыпкой на головѣ.

Мисю огорчало то, что мать, еще недавно такая интересная, ужасно постарѣла и совсѣмъ не занимается со-

бою. Прежнее выраженіе ея длинныхъ свѣтло-карихъ глазъ исчезло. Теперь глаза, съ красными вѣками, часто мигаютъ и слезятся. Цвѣтъ лица бурый, съ множествомъ морщинокъ. И она знаетъ, что мать ея, отъ бессонницы, принимаетъ часто разныя „ѣдкія“ лѣкарства—хлораль и еще какіе-то порошки. У нея „неврастенія“ — болѣзнь, отъ которой, кажется, ничѣмъ нельзя освободиться, сколько ни лѣчись.

— Какъ ты сегодня, мама?

Мися этого не спросила бы; но она знаетъ, что мать ея любитъ, чтобы ее пожалѣли.

— Въ глазахъ какое-то чувство странное... Точно сѣтка.

— Это, можетъ-быть, начало мигрени.

— Можетъ-быть... Ну, что ты мнѣ скажешь?

Марѳа Петровна протянула къ ней руку. Мися прильнула къ ней.

— Мы были съ Вовой на кладбищѣ.

— Да? Ну что жъ! Хорошо... Память няни? Вова гдѣ?

— Онъ ушелъ куда-то. Я не знаю...

— Сегодня я могу съ вами позавтракать внизу... Какъ это несносно, что у насъ, изъ-за меня, такой безпорядокъ... Надо все-таки садиться въ одинъ и тотъ же часъ. А то это точно трактирь.

— Мы почти всегда въ половинѣ перваго.

— Это поздно.

Марѳа Петровна поморщилась.

Всегда выходило уже такъ—послѣ нѣсколькихъ минутъ разговора Мися чувствовала, что мать ея точно тяготится ея присутствіемъ. Захочется ей что-нибудь рассказать, спросить ея мнѣніе или просто излиться—она обо что-то упирается. Въ глазахъ матери какой-то туманъ, ей какъ бы непріятно слушать.

Но сегодня она, несмотря на начало мигрени, не прочь поговорить.

— Хорошо, мамочка, я буду настаивать, чтобы Вова возвращался аккуратно. Да вѣдь онъ часто дома — по утрамъ.

— Ты у меня все одна,—начала Марѳа Петровна болѣе искренно и немного унылымъ звукомъ.—Надо бы къ тебѣ взять кого-нибудь.

— Гувернантку? Нѣтъ, мамочка!—живо вскричала Мися и, ставъ на колѣни у кресла матери, положила голову на



край ручки.—Зачѣмъ? Мнѣ всего одинъ годъ остается... Я ужъ большая.

— Для практики языка, мой другъ. Да и нельзя же тебѣ ходить все одной... И быть постоянно одной.

— Я не одна, мама... А Вова?

— Съ нимъ ты приучаешься къ тону гимназистовъ.

— Тебѣ самой, мама, нужно бы компаньонку.

— Ахъ, нѣтъ! Это — отвращеніе. Только въ тягость будетъ.

— Читать вслухъ...

— Чтеніе меня раздражаетъ, голубчикъ. Я о тебѣ говорю, — съ вялой настойчивостью заговорила Марѳа Петровна. — Но это надо обдумать... Павелъ Андреевичъ слишкомъ занятъ.

— Чѣмъ же папа такъ занятъ? — съ живостью возразила Мися. — Днемъ онъ въ банкѣ, а потомъ совершенно свободенъ. И вечера проводитъ внѣ дома.

Марѳа Петровна взглянула на дочь вбокъ и нервно поправила на рѣдѣющихъ волосахъ кружевную косынку.

— Папа воленъ проводить время, какъ ему угодно, — сентенціозно выговорила она.

— Я знаю, мама.

— Съ какой же стати ты это сказала? — еще нервнѣе спросила Марѳа Петровна.

Мися хотѣла опять припасть къ матери, но ея блѣдныя щеки вздрогнули. Тонъ матери обижалъ ее. Она была за нее оскорблена, и ее же какъ бы ловить на неделикатности, на желаніи уличить отца.

Не уличаетъ она его, а хочетъ знать, наконецъ, какъ ей мать смотреть на свое собственное положеніе.

Неужели она сознательно и по доброй волѣ способна унижать себя?

Развѣ мать ей виновата въ томъ, что стала слаба здоровьемъ, что она постарѣла и не можетъ, попрежнему, заниматься туалетомъ, не играетъ на фортепьяно, — а она, прекрасная музыкантша, не бываетъ почти вигдѣ, должна бѣдить лѣчиться на воды?

И вотъ она же окачиваетъ ее, какъ холодной водой, такимъ замѣчаніемъ.

Мися отодвинулась отъ кресла и встала.

— Мама, — заговорила она, подавляя слезы, — ты меня не поняла.

— Чего же тутъ не понимать? Съ какой стати ты —

дѣвочка, почти дѣвчонка — позволяешь себѣ обсуждать то, какъ твой отецъ и гдѣ,—протянула Марѳа Петровна,—проводить свое время?

— Я не сказала—гдѣ!.. Мамочка, я не говорила—гдѣ...

Слезы брызнули изъ свѣтлыхъ, большихъ глазъ дѣвушки, и она отвернулась—еще дѣтскимъ жестомъ—точно хотѣла убіжать и спрятаться въ уголъ.

— Пожалуйста, безъ хныканья.

— Мама, мама... я не заслужила...

— Чего?

Марѳа Петровна привстала въ креслѣ и тотчасъ же взялась за високъ.

— Ты меня только разстраиваешь... Я и безъ того ничего не понимаю отъ боли.

— Мама!—Мися опять подбѣжала къ креслу.—Мнѣ за тебя обидно... горько...

— Что такое?

Отуманенные глаза Марѳы Петровны зажглись.

— Ты—все одна... Папа...

Какъ бы она излила все, что у ней накопило на сердцѣ! Она бы схватила маму за голову, стала бы цѣловать ее и на ушко сказала бы ей, какъ ей жаль ее, какъ она страдаетъ отъ того, что вонъ тамъ, во флигелѣ, въ ея домѣ, какая-то нѣмка дурного поведенія смѣетъ такъ нахально отнимать у нея мужа, а у нихъ отца!

— Что папа? — повторила Марѳа Петровна и совсѣмъ поднялась съ кресла.—Вы, кажется, съ ума сошли, Марья Павловна?.. Вы позволяете себѣ какіе-то точно... намеки. Какъ тебѣ на мысль взбрело становиться между твоими родителями? Развѣ я когда-нибудь подавала тебѣ поводъ?.. Сказала я въ твоемъ присутствіи что-нибудь невыгодное для твоего отца? Какъ же ты, дѣвчонка, смѣешь?

Марѳа Петровна схватилась обѣими руками за голову и пошла колеблющейся походкой къ выходной двери.

— Не желаю тебя видѣть... ни сегодня, ни завтра... И если ты чистосердечно не покаешься въ твоей глупой и возмутительной выходкѣ...

Она не договорила и, схватившись за високъ, точно простонала и захлопнула за собой дверь.

Посредины комнаты Мися стояла какъ пришибленная. Ей надо было разрыдаться, чтобы слезы совсѣмъ не задушили ее. Никогда еще не испытывала она такой горечи.



Вотъ что она найдетъ въ своей матери, какую оцѣнку ея чувства, ея душевнаго протеста за нее же!

Не „дѣвчонка“ страдаетъ въ ней, а дѣвушка, отлично все понимающая, готовая на всякій благородный порывъ.

И такая награда!

VII.

У Вовы въ городѣ довольно обширное знакомство—не въ семейныхъ „хорошихъ“ домахъ, а больше съ молодыми людьми и съ нѣкоторыми „разночинцами“, — какъ выражается иногда, съ безгливой усмѣшкой, его отецъ.

Во время вакацій онъ каждый день — до обѣда или вечеркомъ—непремѣнно навѣститъ кого-нибудь изъ своихъ пріятелей.

Его влечетъ къ нимъ то, что они обращаются съ нимъ какъ съ взрослымъ, — точно онъ студентъ или офицеръ. Нѣкоторые даже особенно почтительно, немножко снизу вверхъ, напримѣръ, купчикъ Сырейщиковъ, сынъ канатнаго фабриканта и пароходчика, „давшій стрелка“ изъ гимназіи, какъ только онъ перешелъ въ тотъ классъ, гдѣ начался греческій языкъ. Дальше третьяго склоненія онъ не могъ одолѣть грамматики и до сихъ поръ, съ ужасомъ и не безъ комизма, повторяетъ обозначеніе словъ, имѣющихъ удареніе на разныхъ слогахъ. Онъ не забылъ ихъ потому, что называетъ такъ живыхъ людей. Одного приказчика онъ прозвалъ „окситононъ“, а городского, у нихъ, на перекресткѣ—„периспѳенонъ“. До сихъ поръ онъ съ улыбкой, когда при немъ произносятъ слово „баритонъ“, переглянется съ Вовой — я-де не забылъ, что такое это слово значить въ той же греческой грамматикѣ.

Съ Вовой онъ познакомился на рыбной ловлѣ. Они закидывали тѣню—и съ тѣхъ поръ стали пріятелями. Онъ же свелъ его съ молодымъ актеромъ, — мѣстнымъ уроженцемъ изъ мѣщанскихъ дѣтей, исключеннымъ изъ реальнаго училища. Фамилія актера — Телкинъ, но онъ сочинилъ себѣ двойное имя — Брянскій-Волгинъ, въ память двухъ столичныхъ артистовъ. Малый онъ — чудной, немного какъ бы тронутый, тронутъ на томъ, что никто не понимаетъ такъ, какъ онъ, „принца датскаго“. Онъ служилъ уже въ провинціи, но пидѣ удержаться не могъ. Теперь живетъ здѣсь—у него мать, имѣющая домикъ — въ ожиданіи ангажемента въ Ростовъ-на-Дону—такъ, по крайней мѣрѣ, онъ увѣрялъ.

Сегодня, послѣ размолвки съ Мисей, — первой въ ихъ жизни, — Вова почувствовалъ приливъ влеченія къ этому Гамлету. Захотѣлось уйти съ нимъ въ особенные разговоры, не думать все о томъ же. Да онъ и общалъ ему завернуть на-днихъ — послушать, какъ онъ будетъ „за-ново“ произносить монологи.

У Брянскаго—Вова для краткости такъ его звалъ—въ садикѣ ему всегда пріятно, не похоже на то, что онъ живетъ въ обыкновенной мѣщанской обстановкѣ. Мать актера никогда не показывается. Подъ вишнями—теперь онъ уже совсѣмъ созрѣли—такъ пріятно сидѣть въ тѣни. Если ему будетъ забавно — онъ не вернется завтракать. Онъ знаетъ сестру: она будетъ взглядывать на него жалобно, и если онъ всплыветъ—непремѣнно разругается.

Путь его лежалъ въ сторону рѣки. По крутой тропинкѣ поднялся онъ къ обрыву, гдѣ стоитъ старинная, приземистая церковь „Жень-Муроносицъ“, и съ площадки взялъ въ узкій проулокъ, шедшій опять въ гору.

Всю эту мѣстность, изрытую и холмистую, съ закоулками, заросшими лопухомъ и крапивой, онъ очень любилъ. Когда былъ помоложе—захаживалъ сюда съ книжкой и забирался на самыя вышки, откуда видна рѣка и подгородный монастырь, съ византийскими луковичными главами, на фонѣ липоваго густого сада.

Но размолвка съ сестрой нѣтъ-нѣтъ, да и всплыветъ у него внутри,—точно въ груди, а не въ головѣ.

Разумѣется, онъ по своему правъ, и она должна его понять. Разъ онъ никакой „подлости“ не дѣлаетъ — нечего и поднимать исторію.

Когда онъ уходилъ изъ дому, ему вздумалось даже: не зайти ли къ Элоизѣ Христофоровнѣ за однимъ романомъ, который она ему предлагала недавно. Но онъ сдержалъ себя. Нарочно, изъ озорства, онъ ничего не станетъ дѣлать, но и передъ сестрой не будетъ прыгать.

„Надо быть мужчиной!“ — повторялъ онъ, поднимаясь на вышку къ домику актера. Вотъ и глухая калитка съ скамеечкой, и другая, всегда полуоткрытая.

Онъ вошелъ въ нее и крикнулъ сейчасъ же собакѣ-овчаркѣ, запрыгавшей на цѣпи:

— Султанка! Тудѣ!

Изъ она выставилось здоровое, краснощекое лицо еще не очень пожилой женщины—матери актера, въ сѣдѣющихъ волосахъ и въ затрапезномъ ситцевомъ халатѣ.



— Вы къ Витѣ?.. Онъ никакъ въ саду... въ бесѣдкѣ...
Пожалуйте.

Мать смотрѣла на своего сына, какъ на „полоумненькаго“, но, по слабости своей, снисходила, только бы онъ совсѣмъ не свихнулся отъ своего театральства. Она его и упростила „завывать“ не въ мезонинѣ, надъ ея головой, а въ саду.

Вова нашелъ пріятеля подъ тѣнью липъ; въ шелковой голубой блузѣ и большихъ охотничьихъ сапогахъ, развалившимся въ соломенномъ креслѣ.

Его сразу можно было признать за актера: бритое, очень блѣдное и худое лицо, довольно красивое, съ растеряннымъ, взглядомъ темныхъ глазъ и большимъ ртомъ, который онъ привыкъ, по-актерски, кривить, часто переводя толстоватыми губами. Волосы вились и были отпущены ниже ушей. На видъ ему было лѣтъ за двадцать.

— А!.. Господинъ классикъ! Добро пожаловать!—крикнулъ онъ Вовѣ, баритономъ, съ басовыми, искусственными нотами.

Правой рукой онъ смялъ газету и бросилъ ее на землю, а лѣвую подаль Вовѣ особымъ жестомъ и ладонью внаружи.

— Прохлаждаетесь?—спросилъ Вова.—Я думалъ—роль проходили.

— Нѣтъ! Презрѣнныхъ газетчиковъ читалъ. Вотъ ёрники! Вотъ безпардонные писаки! Надъ артистами издѣваются, точно надъ презрѣнными рабами... Разумѣется, лучше идти въ приказчики на пароходную баржу, чѣмъ лицедействовать!..

Онъ сплонулъ и перекошилъ глаза на газету, брошенную имъ на землю.

— Стоить волноваться!.. О васъ что ль? — спросилъ Вова, сядя рядомъ на скамью.

— Нѣтъ, не обо мнѣ... Но это все равно. Какая возможность войти въ душу дѣйствующаго лица, когда ни одинъ рецензентшика самъ не понимаетъ, чего ему нужно отъ артиста, не понимаетъ того, какъ артистъ посмотрѣлъ на свою задачу... Эхъ!

— Вамъ что же до этого, — возразилъ Вова тономъ взрослого,—вы такъ входите въ роль... Пускай ругаются.

— Не то, Владиміръ Павловичъ, не это одно... Мнѣ самому явились сомнѣнія.

— Насчетъ чего?

Вова не считалъ его полоумнымъ, а немножко страннымъ, да и то тогда, когда онъ увлекается ролью Гамлета. Сегодня тонъ у него былъ огорченный, но гораздо проще.

— Насчетъ чего?—повторилъ актеръ.— А насчетъ того, какого держаться тона. Понимаете? Что заложить въ свою декламацию, грунтъ какой?.. Я хотѣлъ съ юныхъ лѣтъ быть реальнымъ артистомъ. Прежде всего, чтобы душа была видна, чтобы каждая въ ней жилка трепетала.

„Что жъ,—думалъ Вова, слушая пріятеля,—онъ отлично говорить. Я такъ не сумѣлъ бы, а онъ—сынъ мѣщанки“.

Это его даже укололо!

VIII.

Актеръ быстро поднялся съ кресла и зашагалъ по бесѣдкѣ.

— Вотъ какая штука, Владиміръ Павловичъ!.. Припято смѣяться надъ тѣмъ, какъ Несчастливцевъ въ „Лѣсѣ“ говорить про „основаніе“.

— Какое основаніе? — спросилъ Вова, выдавшій пьесу Островскаго давно.

— Музыкальное... такъ сказать. Играющій Гамлета долженъ быть басъ. Такъ Несчастливцевъ доказываетъ. И онъ правъ. Басъ не басъ, можетъ быть и баритонъ, не въ томъ дѣло. А говорить пелзля обыкновеннымъ образомъ... Простоты одной недостаточно!..

— Что жъ? По нотамъ, что ли, пѣть? По-каратыгински?—спросилъ Вова, не мало читавшій о театрѣ и разныхъ манерахъ игры.

— Простота-то, Владиміръ Павловичъ, хуже воровства. На что ужъ я въ Гамлетѣ реально изображаю терзанія души. Но мнѣ до сихъ поръ невдомекъ было, что надо другую музыку рѣчи пустить... Понимаете?

— Какъ же это?

— А такъ!.. Смѣяться надъ этимъ нечего. Прежде первые актеры—хоть бы Каратыгина взять—каждую фразу иначе произносили. Нынче издѣваются надъ словами: „Цей подъ ножомъ Прокопа Лянунова!“—а вѣдь ихъ надо произнести на особый манеръ. И прежде въ самой простой фразѣ музыка была: „И вижу тебя, Заруцкій, да и тебя, Ржевскій“... А начини-ка теперь—на смѣхъ подымуть. Я, Владиміръ Павловичъ, ни Сальвини, ни Росси не удо-



стоился видѣть, но навѣрняка у нихъ нотка музыкальная. По-итальянски это обязательно... а почему не у насъ?

Онъ присѣлъ къ Вовѣ и, наклонивъ голову, заговорилъ менѣе возбужденно:

— Мечтаю я объ Эдипѣ.

— Учите роль?

— Нѣтъ!.. У насъ въ боевомъ репертуарѣ его нѣтъ. Новаго перевода я не читалъ, а есть старинный. Вотъ положеніе-то. Стоитъ гамлетовскаго. Вы, небось, должны помнить.

— Нѣтъ, я знаю,—оговорился Вова, слегка краснѣя,— только содержаніе.

— Вы вѣдь счастливецъ: по-гречески можете читать. У васъ трагиковъ-то проходили ужъ?

— Въ седьмомъ будутъ... кажется, отрывки.

— Видите!

Актеръ всталъ и отошелъ ко входу въ бесѣдку, образованную двумя вишневыми деревьями.

— Греки-то стихи свои нараспѣвъ читали... съ музыкой. Это доподлинно извѣстно.

— Да,—подтвердилъ серьезно Вова.—Рэпсоды распѣвали.

— Рэпсоды?

— Пѣвцы... гомеровскіе. Дѣлали паузы и играли на китарахъ... на цитрахъ, по-нынѣшнему.

— Вотъ видите! Значитъ, держались размѣренной рѣчи?

— Разумѣется... Гекзаметръ иначе пельзя читать.

— Вы, небось, умѣете? — блеснувъ глазами, спросилъ актеръ.

— Умѣю... Только это, по-моему, одна затѣя: нашего брата ловить на короткихъ и длинныхъ.

— Ну, я не согласенъ. Музыка! Вотъ куда надо идти. Чтобы каждое чувство выливалось въ нотѣ.

— Для этого пѣніе въ оперѣ есть.

— То само собою. Вы, голубчикъ, что-нибудь знаете наизусть... изъ гекзаметровъ?

— Знаю.

— Напримѣръ?

— Ну, изъ Одиссеи... что ли.

— Батюшка, продекламируйте, какъ слѣдуетъ, со всѣми долгими и короткими. Хоть одинъ стихъ.

Вова закинулъ немного голову — такъ онъ всегда припоминалъ — и началъ произносить, усиленно отбивая стопы:

— „Андра—мой—эннепэ—мўса—по—лётропонъ—ос-
малл пблль“...

— Чудесно! Точно елей проливаете!—вскричалъ актеръ
и взбилъ себѣ волосы на правомъ вискѣ. — Повторите-ка
еще, Бога ради!

Вова повторилъ поскорѣе.

— Вѣдь, небось, этому надо учиться? А такъ, просто,
безъ... какъ это у васъ называется?

— Скандировки?

— Ну, да... выйдетъ совсѣмъ не то!

— Выйдетъ такъ:

Вова прочелъ съ обыкновенными паузами:

— „Андра мой, эннепэ, мўса, полётропонъ, осмалл,
поллль“...

— То, да не то... И чѣмъ же греки-то хуже насъ были,
Владиміръ Павловичъ? Все вѣдь отъ нихъ пошло... искус-
ство, театръ?.. Такъ ли?

— Такъ.

Актеръ говорилъ умно, и это какъ бы задѣвало Вову.
Отчего же онъ, какъ истый школьникъ, не находилъ до
сихъ поръ никакой красоты въ греческомъ гекзаметрѣ и,
вообще, не дѣлалъ изъ своего знанія языка никакого при-
ятнаго употребленія?.. Могъ бы и теперь, не дожидаясь
заванія седьмого класса, добыть себѣ этого самаго „Эдипа-
царя“ и начать его читать, для себя, хотя бы и загля-
дывая въ словарь.

Вѣдь онъ не какой-нибудь заурядный „реалистъ“, знаю-
щій свою химію и механику. Онъ—классикъ, ему дорога
въ университетъ, и онъ мечтаетъ уже о томъ, какъ вер-
нется сюда, на будущій годъ, съ голубымъ воротникомъ
и при шпагѣ.

— Теперь все измелъчало, — продолжалъ волноваться
Брянскій, то вскакивая, то присаживаясь къ нему, — а въ
древнемъ-то театрѣ не такъ играли, ничего не боялись—
ни декламации нараспѣвъ, ни криковъ... Гдѣ-то я читалъ,
что въ одной трагедіи герой воетъ вѣдь отъ боли... Таеъ-
то! А съ этой простотой мы совсѣмъ поглупѣли.

Онъ трихнулъ своими кудрями и съ быстрымъ пере-
ходомъ въ другой тонъ, спросилъ Вову:

— Не хотите ли пойти покалякать къ Сырейщикову?
У него бы и закусили?

„Мися ждетъ“, — подумалъ сейчасъ же Вова, но ему не
стало жалко сестры. Позавтракаетъ одна.



— Пожалуй. Онъ изъ Москвы вернулся?

— Нѣтъ, бѣгалъ на отцовскомъ пароходѣ... Слышно, по газетамъ, на Волгѣ пловучій театръ устраиваютъ.

— Какъ пловучій?

Вона оживленно всталъ, и они пошли по аллеямъ изъ кустовъ малины въ глубь сада.

— Домъ цѣлый, въ видѣ башни, со сценой. И на буксирѣ его возить будутъ. Комнаты для артистовъ... Сегодня дадутъ спектакль въ Казани, завтра въ Чебоксарахъ, и такъ въ каждомъ поволжскомъ городѣ.

— Идея богатая!

— Еще бы!

— Вотъ бы вамъ, Брянскій! Чего бы лучше?.. Это вѣдь сосѣтѣ будетъ?

— Должно полагать! Только я не очень этими товарищами восхищаюсь!.. Сейчасъ пойдутъ раздоры да умичанье. Одно слово—семибоярщина... Ужъ лучше антрепренеръ. Онъ—неучъ, кабатчикъ, плутага, но коль скоро я у него первый сюжетъ—никто надо мной командовать не станетъ.

Съ этимъ Вова согласился. Въ собственномъ дѣлѣ надо быть мужчиной. Ты чувствуешь себя артистомъ и гни въ свою сторону. Ни передъ кѣмъ не прыгай: мало ли что товарищество!

И Мися норовитъ все свести къ жизни душа въ душу, чтобы ни въ чемъ не идти иначе, какъ въ ногу. А это въ сущности—умичанье и тиранство.

— У Сырейщикова мы навѣрняка найдемъ еще кого-нибудь. Дароносцева, небось, знаете?

— Видалъ.

— Навѣрняка тамъ... Можетъ, и фотографъ Гадюкинъ завернетъ. Я такъ, какъ есть, пойду. Только крылатку накинута... Подождите меня минутку... Я сейчасъ.

Актеръ побѣжалъ на заднее крыльцо.

IX.

На балконѣ у купеческаго сына Сырейщикова собралось цѣлое общество послѣ закуски, еще стоявшей на столѣ первой комнаты.

Онъ занималъ весь мезонинъ отцовскаго дома.

Самъ онъ—краснощекій, кудрявый блондинъ, пестро и чрезвычайно старательно одѣтый, съ полной шеей, точно

у жепщины, съ отложнымъ воротничкомъ — приглашалъ гостей подышать „чистымъ воздухомъ“ и разсаживалъ ихъ.

Фасадъ выходилъ въ садъ, гдѣ липы стояли густыми кучами подь самымъ балкономъ.

Сырейщиковъ со всѣми своими гостями обращался ласково и съ отѣнкомъ почтенія — такъ же какъ и съ Вовой: его онъ даже отличалъ немного, какъ сына настоящаго „барина“, да еще директора земельного банка, избраннаго дворянами. Онъ очень часто изливался Вовѣ въ своихъ „особенныхъ чувствахъ“ къ нему.

У него было влеченіе къ „интеллигенціи“ — къ актерамъ, писателямъ, ко всѣмъ, кто въ ихъ городѣ жилъ подь надзоромъ, ко всякимъ заѣзжимъ знаменитостямъ, вплоть до клоуновъ цирка, которыхъ онъ всегда угощалъ, но скрывалъ это отъ тѣхъ, кого уважалъ и побаивался. Въ Брянскомъ-Волгинѣ онъ признавалъ талантъ потому именно, что онъ немножко „съ придурью“. Онъ читалъ книгу Ломброзо: „Геній и безуміе“, какъ и много другихъ книгъ „самаго послѣдняго привоза“, — такъ острилъ надъ нимъ одинъ изъ учителей гимназіи, который помнилъ его успѣхи въ греческомъ языкѣ.

Кромѣ Вовы и актера, закусывали у Сырейщикова еще двое: фотографъ Гадюкинъ — молодой малый, обросшій весь черной бородой, вплоть до половины щекъ, смуглый и съ глазами навывать, плотный и небрежно одѣтый, съ запахомъ зэира. Его дѣла шли еще плоховато. Онъ тоже льнулъ къ интеллигенціи. Сегодня онъ забѣжалъ къ Сырейщикову насчетъ портрета, заказаннаго ему „въ натуральную величину“, — и тотъ удержалъ его.

Недавнимъ гостемъ — и Сырейщиковъ очень за нимъ ухаживалъ — былъ живущій „не по своей волѣ“ съ прошлой зимы и работавшій по статистикѣ Дароносцевъ, о которомъ говорилъ Вовѣ Брянскій. И Вову онъ интересовалъ. Дароносцевъ пришелъ къ концу закуски, и хозяинъ не успѣлъ или не догадался познакомить съ нимъ Вову особенно. Онъ только угощалъ его, повторяя, что сейчасъ можно оборудовать стерлядку по-американски, отъ чего Дароносцевъ отказался.

Статистикъ смотрѣлъ еще нестарымъ дьякономъ — высовій, вершковъ больше десяти, худой, борода съ рыжиной и взбитые, какъ пѣна, также рыжеватые волосы. Лицомъ красивый; крупный носъ и насмѣшливыя губы



придавали ему почти постоянное выраженіе умной и без-
церемонной усмѣшки.

Онъ весь былъ въ парусинѣ и безъ галстука, въ ру-
башкѣ съ расшитымъ воротомъ.

— Сигарочку не угодно ли кому? — угощаль Сырей-
щиковъ.—Флегонтъ Кузьмичъ!

— Спасибо... Я свои папиросы люблю.

— А наливочки, господа! Еще по рюмкѣ. Маменька
клубничкой настояла. Превосхо-одна!..—пропѣлъ Сырей-
щиковъ и даже подмигнулъ правымъ глазомъ.

— Это можно,—отозвался статистикъ.—И сигарку со-
благоволите.

— А ты не хочешь?—спросилъ хозяинъ у актера.

— Нѣтъ... Меня отъ куренья отшибло.

— А вамъ, Владиміръ Павловичъ?

Вова немного стѣснялся. Ему льстило то, что его счи-
тають „совсѣмъ мужчиной“; но присутствіе статистика
какъ-то смущало его. Да онъ и папиросы-то курилъ
рѣдко, больше для виду. А тутъ еще, пожалуй, мутить
будетъ.

— Наливочки повторить?

— Ужъ не знаю.

Онъ, закусывая, выпилъ уже рюмку хересу и рюмку
другой наливки. Щеки у него и безъ того пылали.

— Я мигомъ, господа.

Сырейщиковъ побѣждалъ въ комнаты, очень довольный,
что у него такая отборная компанія и цѣнить его уго-
щеніе.

— Ну, что же, Степанъ Ѳеодоровичъ, — спросилъ фото-
графъ, подсаживаясь къ статистiku, — много поѣздили
этимъ лѣтомъ?

— Не мало.

Голосъ у Даропосцева былъ басовой, отзывавшійся се-
минаріей.

— Въ заволжскихъ трущобахъ, небось?

— Именно.

— И какъ нашли состояніе оныхъ палестинъ?

— Да вездѣ одно и то же: скудость большая въ
крестьянствѣ, самодурство набольшихъ, порютъ здорово,
вездѣ кулачество; господа дворяне или отсутствуютъ по
заграницамъ, или проѣдаютъ свои ссуды. А ссуды вездѣ
по самымъ облыжнымъ оцѣнкамъ даны.

Актеръ прислушался. Онъ считалъ благородство своей

души—на высотѣ Гамлета и любилъ обличительные разговоры. И Вова, заслышавъ слова о ссудахъ дворянамъ, тоже пододвинулся.

Не въ первый разъ доходили и до него городскіе толки, что въ банкѣ, гдѣ отецъ былъ главнымъ „воротилой“, много имѣній остается на рукахъ у банка, и за нихъ, на торгахъ, не даютъ той цѣны, какую банкъ назначилъ. Стало-быть, оцѣнки были дѣланы слишкомъ большія.

Но онъ не могъ въ это входить, не хотѣлъ обвинять отца. Мало ли что толкуютъ въ городѣ про всякаго, кто на виду.

Слова статистика задѣли его.

Онъ спросилъ, не безъ волненія, ни къ кому прямо не обращаясь:

— Стало-быть... цѣны пали?

— Ничуть не бывало, — отвѣтилъ Дароносцевъ, улыбувшись вкось, и положилъ ногу на ногу. — Въ банкѣ—шахеръ-махерство.

Фотографъ не зналъ, что Вова—сынъ Павла Андреевича Майорова; актеръ не вникъ въ это—у него въ головѣ всегда было что-нибудь свое, дополнительное къ разговору, какой вели при немъ.

Шумно влетѣлъ на балконъ хозяинъ съ ящичкомъ сигаръ и со столикомъ.

— Такъ удобнѣе будетъ... господа!.. Я сейчасъ и наливку, и рюмки. А вотъ и сигары. Рекомендую... По-испански... называются: „Лосъ эрманосъ“. Что такое значить—не могу объяснить; но звонко выходить.

И онъ опять убѣждалъ.

— То-есть, какое же шахеръ-махерство? — спросилъ Вова, чувствуя, что у него въ ушахъ зазвенѣло.

Его интересовали такіе, какъ этотъ Дароносцевъ. Но зачѣмъ же вдругъ, безъ всякихъ доказательствъ, обвинять, въ чемъ—въ мошенничествѣ?

— Да самое простое. По пословицѣ—рука руку моетъ... Первый у насъ въ банкѣ ловкачъ—директоръ-предсѣдатель. Какъ же ему другимъ не мирволить, коли онъ себѣ въ художниковской волости такую лѣсную дачу приобрѣлъ за треть цѣны?

Первое движеніе Вовы было встать и крикнуть:

„Вы не смѣете такъ! Этотъ директоръ — мой отецъ, Павелъ Андреевичъ Майоровъ, и я вамъ не позволю про него говорить, какъ про жулика!“

Но онъ ничего не крикнулъ, а только всталъ въ сильномъ возбужденіи, которое не могъ и не хотѣлъ сдержать.

Х.

Сырейщиковъ снова влетѣлъ съ бутылкой наливки и рюмками.

Его суетливость и купеческіе приемы угощенія показались Вовѣ противными, и вообще вся эта „компанія“, въ которой онъ льнулъ.

— Вы о чемъ это?—спросилъ статистика хозяинъ.

— Да вотъ насчетъ гешефтмахерства господъ сословныхъ заправилъ банка, — съ оттяжкой выговорилъ Дароносцевъ, отхлебнувъ изъ рюмки, и на особый ладъ крякнулъ, переглянувшись съ остальными.

— Однако... позвольте...—губы Вовы дрогнули и онъ всталъ прямо противъ Дароносцева.—Такъ нельзя-съ.

— Чего?—довольно безцеремонно спросилъ тотъ.

— Такъ нельзя... обвинять и порочить людей.

— Почему же, коли на это есть несомнѣнные факты?

Хозяинъ понялъ, въ чемъ дѣло, наклонился къ Дароносцеву и полугромко сказалъ, указавъ глазами на Вову:

— Господинъ Майоровъ, сынокъ Павла Андреевича.

— А-а! — протянулъ Дароносцевъ и крупнѣе усмѣхнулся.— Я не зналъ... не зналъ, что вы — сынокъ господина директора. Ваше сыновнее чувство я не желалъ задѣвать; но вы—тоже не дитя. Пора и вникать въ то, что вокругъ васъ творится.

Остальные гости смущенно промолчали. Хозяинъ взялъ Вову за плечи и сталъ ихъ жать.

— Владиміръ Павловичъ... вы извините, голубчикъ... Степанъ Фёдоровичъ не хотѣлъ ничего такого... чтобы васъ, значить, задѣть или тамъ что.

Вова отстранилъ его и остался на томъ же мѣстѣ, противъ Дароносцева, продолжавшаго улыбаться.

— Знаю-съ. Господинъ Дароносцевъ сдѣлалъ это... безъ намѣренія... Но не въ томъ дѣло-съ...

Онъ сталъ, противъ воли, прибавлять частицу „съ“, чувствуя, что волненіе его не улеглось.

У него уже мелькнула мысль:

„Будь это во Франціи или будь онъ офицеръ или юнкеръ, онъ бы сразу осадилъ этого злоязычника, который кичится тѣмъ, что онъ подъ надзоромъ и по деравнямъ ѣздитъ. Да, любой юнкеръ крикнулъ бы ему:—

„Извольте взять свои слова назадъ, а если нѣтъ, то вотъ вамъ моя карточка!“

Но теперь уже глупо будетъ такъ повести себя, разъ это перешло въ разговоръ, въ споръ.

Онъ не могъ сразу найти, въ какомъ смыслѣ дать отпоръ этому „семинару“, воображающему, что онъ—защитникъ высшей честности.

— Выпейте, голубчикъ, наливочки!—приставалъ хозяинъ.

— Оставьте меня съ вашей наливкой!

Вова отвелъ его даже рукой и сталъ блѣднѣть.

— Позвольте вамъ вотъ что сказать, — началъ онъ, сдѣлавъ шагъ назадъ, но все еще противъ самого Дароносцева. — Случись тутъ или не случись сынъ Павла Андреевича, а такъ нельзя-съ!.. Оттого, что я посмотрю на себя, какъ на обличителя—такъ и давай про всѣхъ какъ про грабителей говорить. Мой отецъ у всѣхъ на виду. Ему довѣряютъ... А сплетенъ и всякой клеветы... въ газетахъ не оберешься.

— Голубчикъ!—бросился къ нему Сырейщиковъ. — Вы напрасно... Вы напрасно...

— Про это я самъ знаю. Я вашей компаніи растривать не хочу... Господинъ Дароносцевъ своихъ словъ вѣдь не возьметъ назадъ?

Этотъ вопросъ пронесся среди молчанія.

— Вы это меня спрашиваете? — откликнулся не сразу статистикъ. — Въ одномъ я могу повиниться и передъ хозяиномъ, и передъ вами, хотя вина моя невольная: при васъ не слѣдовало говорить — вотъ и все.

Дароносцевъ всталъ и отошелъ къ периламъ.

— Такъ и мнѣ здѣсь нечего дѣлать! — уже крикнулъ Вова. — Вы, Брянскій, остаетесь?

— Что жъ!.. И я пойду.

Какъ хозяинъ ли упрашивалъ: выпить и все обратить въ шутку—Вова сбѣжалъ поспѣшно внизъ. За нимъ спустился и актеръ, не проронившій все время ни слова.

Первые шаги по улицѣ они прошли молча. Вова не смотрѣлъ на актера. Онъ отдавался тому, что въ немъ происходило.

Худо ли, хорошо ли, но онъ повелъ себя какъ мужчина, а не какъ мальчуганъ, при которомъ можно безнаказанно говорить такъ про его отца.

— Владиміръ Павловичъ!—глухо окликнулъ его актеръ.



— Что вамъ?

— Я васъ понимаю.

Брянскій остано­вился посре­динѣ тротуара.

Остано­вился и Вова.

— Понимаю!—повторилъ Брянскій.—Я не буду входить въ разборъ вопроса по существу... но вхожу въ душу сына. Она должна быть неприкосновенна... Принцъ датскій до тѣхъ поръ былъ цѣльный человѣкъ, пока его сыновнее чувство не было затронуто... Что же! Этому семинару надо было дать отпоръ. Очень ужъ эти господа зазнались. Вѣдь и въ искусство лѣзутъ тоже со своей мѣркой. И ничего-то не смыслятъ!

„Ну, поѣхало!“—воскликнулъ про себя Вова и двинулся опять по тротуару.

Актеръ попадалъ на одну изъ своихъ зарубокъ.

— Вы куда?—спросилъ его Вова.—Домой?

— Нѣтъ, засидѣлся... Хочу зайти къ Стружкнну въ трактиръ, на бильярдъ партію-другую... Не желаете ли и вы?

— Нѣтъ. Я домой.

Они простились на углу Московской улицы, а Вова пошелъ все въ гору и сталъ задерживать ходъ.

Щеки его уже не такъ горѣли. Въ головѣ стало яснѣе, и его точно подмывало что-то пріятное, новое. Сознаніе, что онъ заступился за отца, приблизило его къ нему. Нельзя человѣку жить какъ ему хочется... Всѣ суютъ носъ, сплетничаютъ, обвиняютъ, допытываются. Въ городѣ—статистикъ и ему подобные... Даже Мися начинаетъ выѣшиваться совсѣмъ не въ свое дѣло, точно она какой-то Гамлетъ. Еще недоставало того, чтобы она явилась къ отцу, какъ принцъ датскій, и начала его усовѣщивать.

Все теперь тамъ, въ домѣ, казалось Вовѣ понятнымъ. Что жъ! Ну, положимъ, нѣмка—пріятельница отца; такъ вѣдь это должно быть извѣстно ихъ матери. Мать—большая, нервная; отцу съ ней тоскливо. Не будь этой Элоизы Христофоровны—другая бы явилась. Онъ на нее не разоряется, коли имѣнія покупаетъ, а если и обезпечить—такъ какъ же иначе?

Ему такъ пріятно и ново было чувствовать и разсуждать не по-мальчишески, а какъ настоящему мужчннѣ—терпимо, съ пониманіемъ людей и всѣхъ ихъ слабостей.

Онъ вспомнилъ прибаутку покойной пняи:

„Всѣ, батюшка, люди, всѣ—человѣки“

Вотъ что слѣдовало бы его сестрѣ почаще вспоминать. Спускаясь по Московской улицѣ, онъ такъ ушелъ въ себя, что пропустилъ поворотъ къ ихъ дому, и долженъ былъ взять назадъ.

XI.

Элоиза Христофоровна между завтракомъ и обѣдомъ работала или читала у окна, поджидая возвращенія Павла Андреевича изъ банка.

Вова это зналъ. Онъ, какъ бы нарочно, перешелъ улицу за нѣсколькими шагами отъ флигеля, гдѣ жила „нѣмка“.

Если она ему поклонится и окликнетъ изъ окна, онъ зайдетъ къ ней непременно и попроситъ книжку.

Еще издали онъ разглядѣлъ бѣлокурую молодую голову Элоизы Христофоровны, всегда аккуратно причесанной, съ кучкой на маковкѣ. Она читала у окна, въ свѣтлой шелковой кофтѣ съ высокимъ воротникомъ. Талія, еще стройная и тонкая, стянута желтымъ кушакомъ съ мысомъ. Ему видны были только голова и плечи, не очень пышныя, но красивыя, немного приподнятыя вверхъ подъ широкими буфами рукавовъ.

Это бѣлокурое лицо, съ нѣжными румянцемъ и пріятнымъ загибомъ короткаго носа, всегда привѣтливо улыбалось ему и свѣтло-сѣрые глаза, спокойные и чуть-чуть высматривающіе, дополняли эту улыбку.

Онъ поклонился первый, переходя на тротуаръ.

— Здравствуйте, Вольдемаръ!—раздался звучный, вздрагивающій голосъ Элоизы Христофоровны.

Передъ окномъ Вова спросилъ не очень громко:

— Можно зайти за книгой... тотъ романъ... вы говорили, Элоиза Христофоровна?

— Очень рада. Зайдите.

Вошелъ онъ съ переулка, съ параднаго крыльца. Ему отворила горничная, тоже нѣмка, чистенькая, въ фартучкѣ, такъ же по-модному причесанная, какъ и ея барыня.

И она улыбнулась ему, и въ ея узкихъ карихъ глазахъ онъ могъ бы прочесть заигрыванье, какъ будто они говорили: „какой ты плохой! большой, а не желаешь хоть немножко побалагурить со мною!“

Мися давно не могла выносить этой горничной, и онъ до сихъ поръ, когда она ему попадалась, хмурился.

Но тутъ онъ ласково взглянулъ на нее и первый выговорилъ:

— Здравствуйте!

У Элоизы Христофоровны во всѣхъ комнатахъ была особенная чистота. И все какъ-то блестяло: мебель, картины по стѣнамъ, вещицы на столикахъ въ ея будуарѣ, гдѣ она сидѣла, у окна. И пахло куреньемъ, освѣжающимъ и очень пріятнымъ. Растенія стояли въ углахъ; окна и двери были драпированы недорогими восточными одѣялами.

Невольно сравнилъ онъ этотъ порядокъ и эту чистоту съ тѣмъ, какъ держались у его матери комнаты мезонина.

— Благодарю, что зашли,—встрѣтила его Элоиза Христофоровна и даже приподнялась. — Садитесь... Книжка давно васъ ждетъ.

Она говорила ровно, веселымъ тономъ, съ чуть замѣтными остановками.

— У васъ здѣсь какъ прохладно, — выговорилъ Вова, озираясь, и присѣлъ также къ окну.

— Гдѣ побывали?.. Ходили на рѣку, купались?

— Нѣтъ... Я былъ въ гостяхъ.

Лицо его было все еще красно. Вѣроятно, вино и наливка, выпитыя имъ, давали духъ.

Что-то промелькнуло въ глазахъ и въ усмѣшкѣ Элоизы Христофоровны.

Она отложила книгу на столикъ и, выправивъ свой бюстъ, поправила прическу движеніемъ пальцевъ съ блестящей кожей, въ кольцахъ. Руки у нея были холенныя и красивыя.

— Что жъ... гдѣ-нибудь у вашихъ товарищей... Тамъ и завтракали?

Элоиза Христофоровна прошла въ взглядомъ по возбужденному лицу Вовы.

Онъ ей вообще нравился. Въ немъ она не чуяла той заслонки, какъ въ сестрѣ его, сознавая впередъ, что если ей судьба пошлетъ быть законной женой Павла Андреевича, со своимъ будущимъ пасынкомъ она поладитъ легче, чѣмъ съ падчерицей.

— Да, завтракалъ... тутъ у одного купчика.

— Развѣ такое общество васъ интересуетъ?

Тонъ вопроса былъ не строгій, а дружескій.

— Видите ли... Элоиза Христофоровна, у него соби-

рается... кое-кто изъ интересныхъ личностей. Онъ любитъ угостить.

— А-а! — протянула она и усмѣхнулась, совсѣмъ уже по-пріятельски.—Вы, Вольдемаръ, и угощались?

— Признаться сказать... я пожалѣлъ, что пошелъ туда.

Она не спросила „почему“, а только глядѣла на него выжидательно.

Это очень понравилось Вовѣ. Ему надо было излиться. Ихъ соединяло чувство къ одному человѣку. Она пойметъ и одѣлать поведеніе сына, который не могъ не заступиться за отца.

— Видите ли...

— Да вы, пожалуйста, не рассказывайте, Вольдемаръ, если вамъ это непріятно.

— Нѣтъ! Почему? Только, пожалуйста, это между нами.

— О! Я скромная!.. Вы меня совсѣмъ не знаете.

— Конечно, конечно... Не передавайте... папѣ.

— Павлу Андреевичу? Съ какой стати!

Она чуть замѣтно повела плечами.

— Я прошу васъ быть со мною какъ съ хорошимъ товарищемъ. У васъ могутъ быть свои тайны. Вы уже не ребенокъ.

Глаза ея игриво блеснули.

— Нѣтъ, это совсѣмъ не то... Это не касается моей жизни по гимназін... или вообще какой-нибудь исторіи.

Смущеніе начало овладѣвать имъ; но взяло верхъ желаніе рассказать ей, какъ онъ повелъ себя у Сырейщикова.

Уже не путаясь въ словахъ, быстро, горячимъ тономъ рассказалъ онъ, что вышло на балконѣ у купчика.

— Согласитесь сами, Элоиза Христофоровна, — закончилъ Вова и заходилъ по комнатѣ, — я не могъ стерпѣть. Моего отца я не стану судить и разбирать его поведеніе.

— Еще бы! — вырвалось у Элоизы Христофоровны, и щеки ея стали розовѣть.

— Ему довѣряетъ все общество, всѣ, кто его выбиралъ. Но я—его сынъ, и только у насъ такъ... можно сказать. свински ведутъ себя господа...

Онъ искалъ слова.

— Господа интеллигенты, воображающіе, что они—солъ земли.

Этой тирадой онъ остался очень доволенъ, въ особен-



ности словами: „соль земли“. И ни одной секунды ему не было неловко оттого, что сидитъ онъ у пріятельницы своего отца, которая, при жизни его матери, заняла ея мѣсто и въ сердцѣ, если не во всемъ домѣ.

Она его понимала и не можетъ не оцѣнить его поступка.

XII.

— Милый Вольдемаръ!

Элоиза Христофоровна подошла къ нему очень быстро и поцѣловала въ лобъ.

Этого онъ не ожидалъ и густо покраснѣлъ.

— Милый! — повторила она. — Это очень... очень хорошо съ вашей стороны... Я всегда считала васъ съ благородной душой.

Вова молчалъ. Онъ былъ тронутъ, и его вовсе не дернуло то чувство, что такъ оцѣнила его не родная мать, а подруга его отца.

Что жъ! Тѣмъ хуже! Мися, конечно, могла бы понять благородство его поступка, но, онъ ее знаетъ, она начала бы болтать лишнее. Стала бы, пожалуй, говорить въ кисло-огорченномъ тонѣ, что отца нельзя оправдать, если онъ, дѣйствительно, купилъ за безцѣнокъ землю, заложенную въ его же банкъ.

— Только, пожалуйста... Элоиза Христофоровна... не говорите папѣ.

— Не скажу, не скажу... Я не хочу его тревожить... И безъ того онъ знаетъ, что сплетничаютъ про него всюду, по всему городу. Но вы этимъ не должны смущаться, Вольдемаръ... И должны продолжать вѣрить вашему отцу.

Она тоже заходила по комнатѣ. Вова слѣдилъ за нею глазами, и ему она все больше нравилась: такая она умная и все понимающая, красивая, свѣжая и нарядная.

„Что жъ! Отцу можно только позавидовать!“ — подумалъ онъ и не смутился такой мыслью, не подумалъ тотчасъ же о Мисѣ, какъ дѣлалъ до сихъ поръ всегда, думая про себя.

— Не хотите ли... чаю? Или варенья съ холодной водой?—спросила все такъ же оживленно Элоиза Христофоровна.

— Мерсі... Къ чаю я слабости не имѣю.

— Есть у меня водлянка... свѣжая... изъ черной смородины.

— Позвольте.

Она позвонила. Пришла та же горничная, и она ей приказала по-нѣмцки.

Пріятное волненіе Вовы продолжалось; только онъ не находилъ уже, о чемъ ему говорить дальше съ Элоизой Христофоровной... Онъ вспомнилъ о книжкѣ, о томъ романѣ, за которымъ, собственно, и зашелъ.

— Вы кончили романъ?—спросилъ онъ, возвращаясь къ окну.—Я могу и подождать.

— Возьмите, возьмите... Очень интересно... А вы по-французски читаете, Вольдемаръ?

— Читаю... но не всякій языкъ понимаю.

— Отчего же вы неглижируете языками? Если угодно, мы могли бы читать вмѣстѣ. Это самая лучшая практика... У меня порядочное произношеніе.

— Я очень радъ... Только вслухъ я по-французски не приученъ.

— Надо начинать... Такой вы представительный юноша—вамъ неловко будетъ потомъ въ обществѣ безъ языка.

— Нынче это такъ не требуется, какъ когда-то...

— Не скажите!.. Почему же не знать языка, если есть возможность. Вашъ папа всегда объ этомъ говорить, и ему очень неприятно, что при сестрѣ вашей никого нѣтъ теперь. И она отстаетъ отъ языка.

— Да, Мися немногимъ бойчѣе меня.

— Вотъ видите. И это очень-очень жаль. А потомъ уже поздно будетъ. Выйдетъ изъ гимназій—надо выѣзжать.

Все, что она говорила, онъ находилъ сегодня очень дѣльнымъ.

Съ Мисей они любили „полиберальничать“ насчетъ французскаго „прононса“. Но вѣдь почему же и отказываться отъ знанія языка? Вотъ и онъ могъ бы читать всякія книжки, а теперь ему надо лазить въ лексиконъ, и онъ кончить тѣмъ, что совсѣмъ забросить.

Эта „нѣмка“—умная и съ тактомъ, нечего и говорить. Она не желаетъ вмѣшиваться не въ свое дѣло. Но она заботливо думаетъ о нихъ обоихъ и отлично знаетъ, что отцу нравится, что онъ желалъ бы видѣть въ своихъ дѣтяхъ.



Вова понял тутъ яснѣе, чѣмъ прежде, что мать его, по болѣзненности и отъ своего характера, хоть и любила отца, не умѣла ему угодить въ самомъ существенномъ, не занималась и дѣтьми „какъ слѣдуетъ“.

— Вы правы, Элоиза Христофоровна, — сказалъ онъ, отхлебывая изъ стакана водянку, поданную горничной.

— Я очень, очень рада, Вольдемаръ, что вы согласны со мною... Хотите начать теперь... читать?

— Да я, право, не привыкъ. Вамъ будетъ скучно.

— Нисколько!

Своей легкой походкой—очень молодой женщины—подшла она къ этажеркѣ и достала оттуда желтый томикъ. Это былъ романъ Альфонса Додэ.

— Ну вотъ, начните... Я возьму питье и буду васъ останавливать только на... серьезныхъ ошибкахъ. Если хотите, приходите ко мнѣ хоть каждый день, вотъ въ это же время, или лучше немного пораньше, послѣ нашего завтрака.

Ему стало немного конфузно передъ нею. За произношеніе онъ еще не такъ боялся; но читать живо, безъ запинки онъ не могъ.

— Что же... я слушаю!—раздался веселый и ободряющій возгласъ.

Онъ началъ, отхлебнувъ еще разъ изъ стакана.

Произносилъ онъ порядочно, но слишкомъ мягко и съ разными русскими оттѣнками въ выговариваніи гласныхъ.

Элоиза Христофоровна слушала нѣсколько минутъ, наклонивъ голову надъ своей работой... На ея губахъ застыла снисходительная усмѣшка.

Она была родомъ нѣмка, но провела нѣсколько лѣтъ во французской Швейцаріи, въ семействѣ богатыхъ людей, у которыхъ, до замужества, жила въ качествѣ полу-гувернантки, полукомпаньонки. Выговоръ у нея былъ хорошій, но немного жестковатый, похожій на то, какъ говорятъ въ Лозаннѣ и Вевѣ; но среди русскихъ дамъ, въ провинціи и гдѣ угодно,—она могла сойти за иностранку, когда говорила по-французски. Нѣмецкаго акцента у нея не было никакого и по-русски.

— Плохо?—наивнымъ звукомъ спросилъ Вова.—Гнусно?

— Почему же?... Только у васъ нѣтъ никакой практики... И потому, позвольте сейчасъ же указать вамъ, Вольдемаръ... вы только не обижайтесь.

— Съ какой же стати, Элоиза Христофоровна?

— Какъ у многихъ русскихъ... И барышни, и барыни наши такъ произносятъ... У васъ всѣ гласныя на одинъ фасонъ.

Она слегка разсмѣялась, но это его не задѣло.

— То-есть какъ же это?

— Гласная „е“... она вѣдь различно произносится, смотря по знаку... Надо иначе развѣвать ротъ.

— Это точно.

— А у русскихъ все одно „е“, хотя бы стоялъ accent circonflèxe.

— Я это зналъ... Только славянская рыхлость мѣшала. Они оба разсмѣялись. Вовѣ стало очень весело.

XIII.

Съ крыльца позвонили.

— Это папá!—сказала Элоиза Христофоровна.

Вова смолкъ, опять густо покраснѣлъ и всталъ тотчасъ же.

Уходить было уже поздно. Какъ посмотреть на это отецъ—онъ не могъ знать навѣрно.

Но смущеніе свое Вова подавилъ. Что жъ такое! Навѣрно отецъ уже зналъ, что они съ Элоизой Христофоровной знакомы не со вчерашняго дня.

„Стало-быть, чего же тутъ „дрейфить“,—выразился онъ мысленно любимымъ гимназическимъ словомъ.

Элоиза Христофоровна пошла навстрѣчу къ Павлу Андреевичу, и Вова, оставшись въ гостиной, прошелся немного по ковру и поправилъ волосы, взглянувъ издали въ стѣнное зеркало.

Отецъ его что-то сказалъ вполголоса, и она ему отвѣтила такъ же.

— Здравствуй, Вова! — раздался на порогѣ гостиной пріятный басокъ Павла Андреевича.

Вова не подошелъ къ нему къ рукѣ; онъ этого не дѣлалъ, да и отецъ не требовалъ. Онъ только, на особый ладъ, выпрямился, стоя у круглаго стола съ лампой и альбомами.

— Читаетъ вамъ вслухъ, Элоиза Христофоровна? — спросилъ Павелъ Андреевичъ съ улыбкой одобренія.

— Да, и, право, очень недурно.

Она сказала это нѣсколько возбужденно и потеряла руки.

— Что жъ, продолжай, я слушаю.



При отцѣ Вовѣ совсѣмъ не хотѣлось читать. Элоиза Христофоровна это поняла.

— Зачѣмъ же его конфузить! — сказала она тономъ бѣловницы-матери.

— Какой вздоръ!

Майоровъ сѣлъ и закурилъ папиросу. Онъ и самъ былъ немного стѣсненъ, но ловко скрывалъ это.

— Что жъ, Вольдемаръ, рѣшаетесь?

— Я думаю, довольно, — отвѣтилъ Вова, взглянувъ бокомъ на отца.

— Какъ знаешь, — благодушно выговорилъ отецъ. — Ты долженъ быть благодаренъ Элоизѣ Христофоровнѣ за ея доброту. И если ты не воспользуешься ея указаніями — вини себя. А языками пренебрегать не слѣдуетъ. Вотъ и сестра твоя неглижируетъ...

Павель Андреевичъ остановился. Дочь можно было и не поминать въ этой гостиной, у своей „подруги“. Наверно, уже и сынъ догадывается о многомъ. Малый совсѣмъ возмужалъ, подбородокъ обросъ пушкомъ и усики пробиваются... Но Элоиза Христофоровна — женщина съ „чудеснымъ *savoir faire*“. Она только подготовитъ почву дальнѣйшаго своего положенія въ семействѣ.

— Хотите заняться завтра, такъ около часа?

— Съ удовольствіемъ, — торопливо выговорилъ Вова и такъ же торопливо пожалъ ей руку. — До свиданія, папа! — сказалъ онъ отцу, не глядя на него, когда проходилъ къ двери въ залу.

— Вы не возьмете съ собою книжки? — окликнула его Элоиза Христофоровна.

— Ахъ, да, пожалуйста.

— Вы можете просмотрѣть дальше.

Онъ взялъ томикъ и захватилъ свою фуражку, брошенную на подоконникъ.

Только въ передней онъ почувствовалъ себя вольнѣе. Нѣмка спросила его:

— Вы пройдете дворомъ или на улицу?

Выйти заднимъ крыльцомъ — Мися можетъ увидать его изъ окна своей комнатки. Мать не увидитъ.

Да что же такое, если сестра и увидитъ... Ничего постыднаго онъ не сдѣлалъ и не сдѣлаетъ.

— Я дворомъ пройду, — твердо выговорилъ онъ.

Горничная провела его въ заднія сѣнцы. Дверь стояла незапертой. Онъ сбѣжалъ со ступенекъ крылечка и до-

вольно смѣло поднялъ глаза на одно изъ небольшихъ оконъ антресоля.

У окна могла сидѣть Мися.

Лица ея онъ не замѣтилъ, и ему, все-таки, стало отъ этого легче.

Онъ прошелъ заднимъ же крыльцомъ большого дома и поднялся къ себѣ, тихо ступая по ступенькамъ узкой лѣсенки, дѣлавшей три поворота.

Ихъ комнатки раздѣляла узкая площадка. Сестра, навѣрно, сидитъ—читаетъ. Врядъ ли у матери. Та не выносить, чтобы кто-нибудь подолгу оставался при ней.

Войдя къ себѣ, онъ прислушался.

Никого! Мися, можетъ-быть, внизу, въ гостиной или въ угловой. Она любитъ просторъ и прохладу и читаетъ гдѣ-нибудь.

Въ комнатѣ у него было мало порядка, но онъ не любилъ, чтобы прибирали то, что у него висѣло по стѣнамъ или лежало на столѣ. Когда начинались классы, онъ сиживалъ здѣсь, послѣ обѣда, за урокомъ; остальной вечеръ всегда почти проводилъ у Миси, или съ нею, внизу, въ столовой.

Его потянуло ко сну. Завтракъ, выпитое вино, „исторія“ съ статистикомъ, визитъ Элоизѣ Христофоровнѣ и встрѣча съ отцомъ вызвали въ немъ только теперь какую-то истому.

Не раздѣваясь, Вова повалился на кровать, надъ которой, по боковой стѣнѣ, висѣлъ кабинетный портретъ, гдѣ онъ сидѣлъ съ сестрой въ вагонѣ. Они такъ снялись прошлой зимой. Это означало тогда, что если они уѣдутъ отсюда, то уѣдутъ непременно вмѣстѣ.

Засыпая, онъ сейчасъ же увидалъ себя на балконѣ купчика Сырейщикова, въ позѣ нападенія на „семинара“, и это его наполнило сладкимъ чувствомъ своего превосходства. Въ полузабытьѣ, сообразилъ онъ, что Элоиза Христофоровна навѣрно скажетъ отцу про то, какъ онъ велъ себя съ семинаромъ. Отецъ, конечно, пойметъ благородство его поведенія.

Что-то, однако, прошлось по его душѣ совсѣмъ другого рода.

Неужели онъ вступилъ въ пріятельство съ этой нѣмкой? Вѣдь кто же она? Ее считаютъ всѣ — и Сырейщиковъ, и Брянский, и фотографъ, и Дироносцевъ — „содер-



жанкой“. Такъ говорить весь городъ, и глупо было бы наивничать.

— Мало ли что!—выговорилъ онъ громко, но уже во снѣ...

Въ комнатѣ стояла душная тишина жаркаго дня. Ни одинаго звука не раздавалось изъ-за площадки. И въ мезонинѣ все было тихо. Марѳа Петровна, послѣ приѣма какого-то наркотическаго лѣкарства, отъ острой боли въ вискѣ, забылась въ креслѣ.

Весь домъ какъ вымеръ, и на улицѣ только баба съ вишними музыкально выкрикивала свой товаръ.

Ея крикъ не разбудилъ Вову.

XIV.

Но Мися сидѣла у себя, все слышала и все видѣла.

Она видѣла, какъ ея братъ спустился съ задняго крыльца отъ „нѣмки“, и какъ онъ взглянулъ вверхъ, на окна антресоля. Она слышала его шаги по лѣстницѣ и приходъ въ комнату, и то, какъ онъ бросился на кровать, заснулъ тотчасъ же и началъ немного всхрапывать.

Къ завтраку она долго ждала его... И должна была ѣсть одна—кажется, въ первый разъ за все лѣто.

Мать ея за нею прислала почитать ей газету, но слушать не захотѣла больше четверти часа, нашла, что она „комкаетъ“ слова. Это бы ее не очень огорчило, но вдругъ она спросила ее:

— Гдѣ Вова?

— Онъ ушелъ въ гости.

— А не тамъ—во флигелѣ?

Ей, стало-быть, извѣстно, что Вова знакомъ съ нѣмкой!

И, кажется, она этимъ не возмущается. Ей точно хотѣлось что-нибудь узнать про нѣмку черезъ Вову, а его она, вѣроятно, стѣсняется выпрашивать.

Съ этимъ Мися не можетъ помириться.

Мама—такая безупречная и вѣрная жена—влюблена до сихъ поръ въ отца, и вдругъ допускаетъ все это. И точно рада была бы, если бъ Вова рассказалъ ей что-нибудь про нѣмку. Прежде этого не было. Какъ же ей, Мисѣ, выражать матери свое чувство, когда та не желаетъ, чтобы она позволяла себѣ хоть малѣйшій намекъ на ея оскорбительное положеніе, какъ жены и матери?

Мися неподвижно сидѣла поодаль отъ окна, откуда она могла, однако, видѣть, какъ Вова сходилъ съ задняго крыльца флигеля.

Это ее рѣзнуло, точно ножомъ. Вся размолвка съ братомъ съ новой силой начала мозжить ее.

Вотъ они—„гёрленки“, два голубя, жившіе до сегодня душа въ душу! У нихъ слово „виѣстѣ“ значило все. И вдругъ, въ одинъ день, это *все* покачнулось. И она не можетъ уступить,—не можетъ, а не то что не хочетъ.

До сихъ поръ братъ каждую свою мысль и каждое побужденіе сейчасъ ей показывалъ и зналъ напередъ, что она его поддержитъ. Бывали между ними споры, но такъ, въ пустякахъ, и она всегда уступитъ.

А тутъ — не то! Отъ него чѣмъ-то совсѣмъ другимъ повѣяло. Она чувствуетъ—чѣмъ. Ему надоѣло благородно на все смотрѣть, строго за собою слѣдить—это глупо, наивно, хорошо для „дѣвчонокъ“, какъ она... Развѣ нынче такъ живутъ и такъ чувствуютъ? Никто не хочетъ себя стѣснять, вмѣшиваться въ то, что его не касается, только бы ему самому было хорошо.

Да, она знаетъ... Начни она изливаться какой-нибудь умнейшій подругѣ по гимназіи — та ей, навѣрно, скажетъ:

— Какое тебѣ дѣло? Съ какой стати ты судишь поведение твоего отца? Это ни съ чѣмъ не сообразно.

Всѣ почти такія въ ея классѣ. Поэтому она ни съ кѣмъ особенно и не дружитъ. Да и зачѣмъ ей были подруги, когда Вова ей замѣнялъ ихъ всѣхъ? Развѣ она побѣжитъ къ которой-нибудь изъ нихъ жаловаться?.. На кого? На Вову? Станетъ молчать—будетъ жить одна.

Она не могла выдержать и тихонько, на цыпочкахъ, подошла къ своей кроваткѣ съ кисейными занавѣсками и легла, чего она днемъ никогда не дѣлала. Ей надо было уйти хоть за эти кисейныя занавѣски, закрыть глаза, не смотрѣть и на свою комнату, которою она такъ занималась. Теперь все въ этой комнатѣ — письменный столикъ, этажерки, картины, шкафъ съ зеркаломъ,—все ей напоминало, что прежней жизни не будетъ—она, эта жизнь, отошла, канула.

И плакать Мися уже не могла. Прежней мягкости она въ себѣ не чувствовала. Ее не тянетъ перебѣжать площадку, къ Вовѣ, разбудить его поцѣлуемъ, броситься къ нему на шею, просить прощенія за все, что между ними вышло горькаго.

Что-то держать ее внутри. Не злость, даже не обида, а огорченіе за него, за Вову. Какое озорство съ его сто-

роны! Послѣ такого разговора, куда она положила всю свою душу, и пойти нарочно къ нѣмкѣ, сидѣть тамъ сколько времени и вернуться заднимъ крыльцомъ!

„На-де, смотри, я тебя не испугался. Ты — глупая дѣвчонка, и я не позволю тебѣ вмѣшиваться въ мое поведеніе“.

До сихъ поръ Мися вѣрила, что вся ея жизнь пройдетъ рука объ руку съ братомъ. Кончить она курсъ въ одинъ годъ съ Вовой. Потомъ они поѣдутъ въ Москву — онъ въ студенты, она — въ педагогички или на курсы, которые читаются въ музеѣ, на Лубянской площади. Будутъ возвращаться домой раза по четыре въ годъ: лѣтомъ, на святки, на Масленицу и къ Святой.

Она любила до сихъ поръ брата своего больше матери. Оставить ее одну она заранѣе рѣшалась, но почему? Потому что мать не требуетъ за собой особеннаго ухода, она часто тяготеетъ ими — и ей, и Вовой, всякимъ разговоромъ; съ трудомъ выносить, чтобы у нея „торчали пердъ глазами“.

Но все-таки она стоитъ за мать свою, за ея достоинство; она не можетъ лгать самой себѣ и поддаваться тому, что на ея взглядъ гадко.

Теперь она точно прозрѣла. Ужъ и въ гимназіи ее коробить отъ разговоровъ многихъ подругъ. Со всѣмъ мирятся, только бы у нихъ туалеты были, да возили ихъ туда, гдѣ весело. И во всемъ городѣ то же самое. Не остережешься — и сама оплошлѣешь. Она вѣрила, какъ въ крѣпкую стѣну, въ благородную натуру своего близнеца по духу — Вовы, а теперь она будетъ одна, совсѣмъ одна.

Мать не поддержитъ ее. Она не хочетъ, чтобы дочь ея вмѣшивалась въ то, что ей не слѣдуетъ ни знать, ни трогать.

Какое же положеніе будетъ она занимать между отцомъ и матерью? Неужели и она станетъ дружить съ „нѣмкой“, проводить у нея вечера, ѣсть ея лакомства, принимать отъ нея подарки, говорить съ ней для практики по-французски или играть въ четыре руки?

„Никогда!“ — воскликнула про себя Мися, и вся содрогнулась и даже схватила себя обѣими руками за похолодѣвшія щеки.

Если дойти до такой „гадости“, то будешь со всѣмъ, со всѣмъ мириться.

А Вова, ея Вова, сидитъ тамъ! Навѣрно, нѣмка его

угостила чѣмъ-нибудь, или дала книжку—онъ и прежде съ ней разговаривалъ и приносилъ отъ нея книжки, но не такъ открыто, не съ такимъ озорствомъ.

Чувство душевнаго одиночества входило въ нее, точно особаго рода зловѣщій холодъ; но слезы оставались въ горлѣ. Вова могъ бы радоваться: онъ считалъ ее „плаксою“, а эта плакса лежала теперь съ сухими глазами. Разрыдайся она, ей было бы легче, хотя ничего бы не измѣнилось, ничего!

И вдругъ Мися вскочила съ кровати.

Пора было идти внизъ обѣдать. Можетъ-быть, мать сойдетъ внизъ, или отецъ придетъ домой къ обѣду отъ своей нѣмки.

XV.

Обѣдали внизу. Марѳа Петровна надѣла другой капотъ и голову покрыла кружевной косынкой, поновѣе. Она почему-то думала, что Павелъ Андреевичъ будетъ обѣдать дома.

Но онъ не пришелъ. Мися спустилась внизъ первая. Она умыла себѣ лицо и слегка напудрила его: боялась, что глаза у нея покажутся очень красными. Лакей принесъ суповую чашку и поднялся къ барынѣ доложить.

Вова, съ заспаннымъ и хмурымъ лицомъ, показался въ дверяхъ столовой. Онъ надѣлъ парусинную блузу и немного поправилъ волосы.

Мися взглянула на него вбокъ. Если бъ онъ улыбнулся ей, смѣшливо, какъ прежде, съ забавнымъ выраженіемъ глазъ, ей только понятнымъ, она бы подбѣжала, не выдержала бы характера.

Но онъ поморщился отъ солнца, подошелъ къ окну и спустилъ штору.

Они оба молчали.

„Неужели такъ и будетъ?“—подумала Мися, и сердце ей сжалось. Она не любила брата, совсѣмъ, совсѣмъ не любила. Ей сдѣлалось противно въ этомъ домѣ. И мать свою она не смѣла жалѣть.

Это ей не касается. Она—дѣвчонка, подростокъ... Ей неприлично даже и показывать видъ, что она о чѣмъ-нибудь догадывается, хотя „это“ длится нѣсколько лѣтъ, и весь городъ знаетъ, на какую унижительную роль соглашается ее мать. Но вѣдь все „шито-крыто“, все прилично. Чего же еще?



Ее такъ захватили эти мысли, что она машинально пододвинулась къ столу.

Въ дверяхъ показалась Марѳа Петровна. Лицо у нея было менѣе нервное и больное, чѣмъ сегодня утромъ.

— Папа не будетъ?—сказала она тономъ полувопроса.

Она знала, что въ тѣ дни, когда Павелъ Андреевичъ обѣдаетъ дома, онъ возвращается гораздо раньше.

Сѣли за столъ молча. Лакей служилъ, тихо ступая по паркетному полу.

— Ты, Володя,—обратилась къ сыну Марѳа Петровна,— гдѣ же сегодня побывалъ?

Она сказала это довольно ласково.

Мися, пагнувшись надъ тарелкой супа, не удержалась, кинула быстрый взглядъ на брата.

Вова наморщилъ лобъ и, проглотивъ кусокъ хлѣба, небрежно выговорилъ:

— Заходилъ къ товарищамъ.

Про свое знакомство съ актеромъ и купчикомъ Сырейчиковымъ онъ не рассказывалъ матери.

Изъ какого-то ухарства онъ прибавилъ:

— А теперь спалъ... отъ жары! Разомлѣлъ!

Горничная уже доложила Марѳѣ Петровнѣ, что молодой баринъ спустился съ задняго крыльца отъ нѣмки... Она и раньше знала, что Элоиза Христофоровна разговариваетъ съ ея сыномъ.

Сегодня утромъ она осадила Мисю, и теперь ей захотѣлось показать имъ обоимъ, что она все прекрасно знаетъ и не хочетъ, чтобы ея дѣти считали ее жертвой или душой. Подъ этимъ сидѣло и желаніе сохранить въ ихъ глазахъ „престижъ отца“.

Но она не сразу нашла переходъ къ такому разговору. Ея голова, отуманенная наркотическими средствами, плохо работала.

— Ты видѣлъ папу?—спросила она Вову, когда лакей пошелъ за вторымъ блюдомъ.

— Видѣлъ,—отвѣтилъ онъ глухо.

Мисю всю обдало внутреннимъ жаромъ, и она усиленно начала глотать корочку черного хлѣба.

— Гдѣ же ты видѣлъ его?—спросила Марѳа Петровна и пристально взглянула на сына.

Мися закрыла глаза и мысленно выговорила:

„Вотъ теперь и расскажи—гдѣ“.

Но она испугалась за Вову, и жуткое чувство ожиданія чего-нибудь „нехорошаго“ сжало ей сердце.

— Ты заходилъ къ мадамъ Ленгольдъ? — подсказала Марѳа Петровна.

— Да, — отвѣтилъ Вова, точно онъ съ трудомъ что-то проглотилъ.

— У нея были гости?

— Нѣтъ, никого.

— Что же ты у нея дѣлалъ?

— Она книгу одну хотѣла мнѣ дать.

— Какую?

— Одинъ французскій романъ. И заставила прочитать ей вслухъ.

„Зачѣмъ она объ этомъ спрашиваетъ? — съ тѣмъ же жуткимъ чувствомъ подумала Мися и опять закрыла глаза. — Развѣ ей это пристало?“

— Что же, это для тебя полезно.

Лакей внесъ второе блюдо, и разговоръ минуты на двѣ смолкъ.

— Папа огорчается, — начала Марѳа Петровна, — вы можете оба отстать отъ французскаго языка... И тебѣ, Мися, надо бы читать вслухъ. Я ничего противъ этого не имѣю.

И она поглядѣла на Мисю почти недовольнымъ взглядомъ.

Внутри у Миси вскипѣло. Въ вискахъ „затрепетали бабочки“, — какъ она называла нервное ощущеніе, часто бывающее у нея.

— Ты желаешь, стало-быть, — спросила она съ дрожью въ голосъ, — чтобы я посѣщала мадамъ Ленгольдъ?

— Кто же тебѣ это сказалъ?

Щеки Марѳы Петровны пошли пятнами.

— Довольно и того, что Вова дѣлаетъ ей визиты.

Ноздри Миси расширились и вздрагивали.

— Ну и что жъ? — съ внезапной разсерженностью спросила Марѳа Петровна.

— Я не желаю... съ ней знакомиться.

— Кто жъ тебѣ это говорить? Кто?

Марѳа Петровна приподняла правую руку съ вилокъ.

— Я не понимаю, мама, какъ можно...

— Что такое?

Голосъ Марѳы Петровны сдѣлался визгливъ.

— Я не понимаю, мама...



Мися закусила удила. Она должна была высказать все, что ее душило.

— Что ты не понимаешь?.. Ты съ ума сошла!.. Дѣвчонка, Богъ знаетъ, что себѣ позволяетъ!

— Но что же я, мама!..

Слезы уже задрожали въ горлѣ Мисы.

— Молчать! Ступай вонъ! Не хочу и съ тобой обѣдать.

Мися поблѣднѣла; слезы остановились. Она быстро встала и положила салфетку на столъ.

— Ты меня не понимаешь!

— Я тебя не понимаю!.. Очень хорошо понимаю. Иди! Я тебѣ приказываю!

— Я иду, мама.

Мися бросила взглядъ на брата. Тотъ сидѣлъ, опустивъ глаза. Ему было не по себѣ; но онъ, не безъ рѣзкости, выговорилъ про себя:

„По дѣломъ! Не суйся!.. Глупить такъ нельзя“.

Мися, не вынимая платка, вышла изъ столовой, и только на темной площадкѣ, откуда поднимается лѣстница, закрыла лицо руками. Обида обожгла ее, и горькое чувство отъ измѣны брата.

XVI.

Отошла поздняя обѣдня. По тѣневому тротуару, вдоль длиннаго зданія съ арками, выходившаго однимъ фасомъ на большую площадь, Вова лѣниво пробирался въ общественную читальню.

Онъ несъ двѣ книги, держа ихъ въ кулакѣ. Погода стояла жаркая, и весь онъ былъ въ парусинѣ, вплоть до форменной фуражки съ серебряными листьями значка.

Второй день онъ запоемъ читаетъ. Въ домѣ ему тошно вездѣ, кромѣ своей комнаты. Съ Мисей они не говорятъ. Она тоже заперлась у себя, сказывается больной и къ матери—просить прощенія—нейдетъ... Отца дома нѣтъ до поздней ночи.

Къ нѣмкѣ онъ не ходитъ читать вслухъ. Ему, послѣ неожиданно разразившейся бури за обѣдомъ, третьяго дня, стало самому жутко.

Положимъ, сестра опять сама „нарвалась“ безъ всякаго толку и смысла. Но и мать—зачѣмъ она его стала спрашивать про Элоизу Христофоровну?

Послѣ того, какъ они остались одни за столомъ и мать немного успокоилась, она продолжала его выпрашивать.

Прежде ничего подобного не бывало... Ей хотѣлось узнать, какая у „нѣмки“ обстановка и, главное, какъ она одѣта, смотреть ли вблизи такой же свѣжей и молодой, какъ издали.

Она вся разгорѣлась, спрашивая объ этомъ. Сначала онъ находилъ, что это со стороны матери не глупо: показать, что она ничего не знаетъ и знать не хочетъ, а просто разговариваетъ о ихъ „жилищѣ“. Ни однимъ словомъ она не дала ему понять, что ей непріятно его знакомство съ Элоизой Христофоровной. Напротивъ! Она бы, кажется, желала, чтобъ онъ и почаще заѣзжалъ туда и рассказывалъ ей про все.

Это его кольнуло. Ему пришлось рассказать потомъ про свою встрѣчу съ отцомъ и передать весь разговоръ насчетъ чтенія вслухъ по-французски. И когда онъ говорилъ, то внутри у него шевелилось чувство, что это не ладно, и мать напрасно входитъ въ такія подробности.

Онъ никакъ бы не хотѣлъ „шпіонить“ на отца, а если такъ пойдетъ, то ему придется, не сегодня—завтра, попросить мать, чтобы она его не выспрашивала, или перестать бывать у Элоизы Христофоровны.

Все это особенно какъ-то мозжило его сегодня утромъ, а онъ проснулся рано и сейчасъ же принялся дочитывать одну изъ двухъ книгъ, которыя несъ теперь въ библіотеку.

Онъ повернулъ въ улицу и поднялся на высокое крыльцо, откуда вела крутая деревянная лѣстница во второй этажъ, гдѣ помѣщалась библіотека.

— Прохоръ Евсеичъ пришелъ? — спросилъ онъ унтера въ прихожей.

— Здѣсь, пожалуйста.

Въ первой залѣ, длинной и узкой, за конторкой, у окна, высилась голова старика, совсѣмъ бѣлая, съ такой же бѣлой бородой. Онъ нагнулся надъ конторкой и что-то смотрѣлъ въ книгѣ.

Читало за большимъ столомъ, въ лѣвомъ углу, чело-вѣка три—все мужчины.

Вова на цыпочкахъ подошелъ къ конторкѣ и поздоровался со старикомъ.

Тотъ изглянулъ на него изъ-подъ серебряныхъ очковъ въ тяжелой оправѣ и ласково, шамкающимъ голосомъ выговорилъ:

— Скоро читаешь, голубчикъ.

Этот Прохоръ Евсеичъ сдѣлался завѣдующимъ городской читальней изъ книжниковъ, держалъ самъ маленькую библіотеку для чтенія больше тридцати лѣтъ и зналъ весь городъ; гимназистамъ и посѣтителямъ попроще говорилъ „ты“. Вова бѣгалъ къ нему лѣтъ съ десяти, и теперь Прохоръ Евсеичъ давалъ ему книжки и на домъ, противъ правилъ читальни, зная, что онъ не затеряетъ. Принесенные Вовой два тома были нумера одного прошлогодняго журнала.

Старикъ всталъ со своего табурета и, длинный, немного сутуловатый, въ сюртукѣ мѣщанскаго покроя и безъ бѣлья, подошелъ къ нему и, при поворотѣ, своимъ жидкимъ голосомъ спросилъ:

— Что возьмешь?.. Новенькаго-то не проси... И такъ мени, намени, попечитель заругалъ.

У него былъ мѣстный говоръ на „онъ“. Глазами становился онъ плохъ, но еще могъ сразу отличить какую-то книжку, взглянувъ на корешокъ.

Они стояли у окна.

Одинъ изъ читавшихъ газету — брюнетъ съ курчавой головой и четырехугольной бородкой, въ сѣрой визитѣ — поднялъ голову и первый поклонился Вовѣ, а потомъ отложилъ газету и подошелъ къ нему.

Это былъ писатель, жившій въ городѣ „не по своей волѣ“, какъ выражался о немъ купчикъ Сырейчиковъ, который и познакомилъ ихъ. Фамилія его Карасевъ.

Вова немного побаивался этого писателя и уважалъ его издали. Въ журналахъ печатались его рассказы и очерки. „Направленіе“ его нравилось Вовѣ и характеръ таланта. Онъ давно бы сталъ къ нему захаживать, да побаивался, какъ бы не узнать отца и не сдѣлалъ ему выговора за то, что онъ водится съ „незаконнымъ народомъ“.

Ему польстилъ поклонъ Карасева. Другой бы первымъ не сталъ кланяться гимназисту, хотя бы и сыну Павла Андреевича Майорова. Карасевъ ни передъ кѣмъ шапки не ломалъ, хотя по тону разговора былъ мягокъ, и его тонъ Вовѣ также очень нравился.

— Здравствуйте, здравствуйте!

Карасевъ пожалъ ему руку и, указывая своими умными и привѣтливыми глазами на старика-библіотекаря, прибавилъ:

— У дѣдушки умственной пищи пришли попросить?..

Онъ, небось, знаетъ, что кому выбрать. О каждой книжкѣ доложить все до тонкости.

— Еще бы!—возбужденно подтвердилъ Вова.

Карасевъ протянулъ руку къ ближайшей полкѣ, на высотѣ его плеча—онъ вершка на два былъ ниже Вовы—и вынулъ запыленный томикъ въ кожаномъ переплетѣ.

— Дѣдушка,—спросилъ онъ шутливо, развертывая томикъ,—что это такое за господинъ Алипановъ, изъ какихъ-такихъ сочинителей?

Старикъ приподнялъ свои густыя брови и, прищуривъ глаза, заговорилъ шопотомъ:

— Такой былъ сочинитель... Книжки эти—„Досуги для дѣтей“.

— Вѣрно, вѣрно. Какого года?

— Должно, сорокового, либо сорокъ перваго.

— Вотъ память-то!—воскликнулъ писатель, подмигнувъ Вовѣ.—Не намъ чета.

— Помню,—продолжалъ такимъ же шопотомъ библио-текаръ.—И стишки которые помню.

— Изъ этого самаго господина Алипанова?—спросилъ Карасевъ.

— Изъ него... И Бѣлинскій, никакъ, прохаживался на его счетъ. Дай Богъ памяти.

Прохоръ Евсеичъ взялся жилистой рукой за ручку окна и проговорилъ:

Какъ лѣтня настали
Прекрасны деньки,
Въ лѣсу вырастали
Младые грибки!

По тогдашнему времени и это годилось. Нынче вѣдь малолѣтки-то избаловались хорошими книжками.

— Хе-хе!—сдержанно разсмѣялся Карасевъ и поставилъ томикъ на полку.

Вову очень потянуло душой къ этому писателю.

XVII.

Подъ ними спускался крутой обрывъ бульвара.

Карасевъ курилъ и глядѣлъ внизъ, на откосъ, гдѣ дернъ уже пожелтѣлъ, къ концу жаркаго лѣта.

Вова вышелъ вмѣстѣ съ нимъ изъ читальни. Писатель началъ съ нимъ разговаривать особенно мягко, спрашивать, что онъ читаетъ и куда собирается поступить по окончаніи курса гимназіи. И какъ будто онъ уже слы-



шалъ про то, что произошло у Сырейщикова: статистикъ Дароносцевъ долженъ быть изъ его пріятелей.

И Вовѣ, въ эту минуту, сильно захотѣлось высказаться Карасеву, услышать отъ него, одобрить онъ его или нѣтъ.

Но онъ не рѣшался сразу.

— Старина-то нашъ, Прохоръ Евсеевичъ, — заговорилъ Карасевъ, — много на своемъ вѣку народу просвѣтилъ. Могла бы и его губернская тина затянуть; по нынѣшнимъ временамъ, я на него смотрю какъ на настоящаго просвѣтителя... На Бѣлинскаго до сихъ поръ молится.

— Да, — выговорилъ Вова, и у него дрогнуло въ груди отъ душевнаго усилия, — такой Прохоръ Евсеевичъ куда выше стойтъ многихъ здѣшнихъ умниковъ... даже изъ интеллигенціи.

Онъ дѣлалъ намекъ на „семивара“, на статистика Дароносцева, и хотѣлъ, чтобы такъ его и понялъ Карасевъ.

Тотъ взглянулъ на него вбокъ и чуть-чуть усмѣхнулся.

— О какой вы интеллигенціи говорите? — спросилъ онъ мягко, но очень серьезной интонаціей.

— Да хотя бы и о тѣхъ, которые считаютъ себя солью земли, — задорнѣе сказалъ Вова и сталъ краснѣть.

Но ему хотѣлось излиться по душѣ; только онъ не посмѣлъ сдѣлать это сразу.

— Видите ли, — продолжалъ онъ однимъ духомъ, — вотъ хоть бы вашъ знакомый, господинъ Дароносцевъ.

— Онъ чѣмъ же вамъ не угодилъ?

Взглядъ Карасева, брошенный на Вову, былъ не безъ добродушнаго лукавства.

Вова не вынесъ этого взгляда, еще болѣе зардѣлся и, опять однимъ духомъ, рассказалъ всю сцену свою съ статистикомъ... Вышло у него порывисто, несовсѣмъ складно, но очень искренно, и Карасевъ сталъ улыбаться все ласковѣе и ласковѣе, подувая на щепель своей папиросы.

— Вотъ какъ я поступилъ... И я желалъ бы выслушать ваше мнѣніе. Я васъ уважаю по тому, что вы пишете... Но скажите на милость, — какъ бы господинъ Дароносцевъ ни считалъ себя честнѣе и умнѣе всѣхъ, какъ же позволять себѣ такіа вещи? Вѣдь это клевета!.. За это и по суду отвѣчаютъ!

Вова всталъ и отошелъ къ самому обрыву. Щеки его продолжали пылать... Въ груди сперлось, и онъ, въ эту минуту, опять заново негодовалъ на дерзкаго „семи-

нара“, и не боялся даже того, что его не одобрить Карасевъ.

— Послушайте,—Карасевъ началъ очень тихо,—развѣ Дароносцевъ зналъ, что вы сынъ Павла Андреевича Майорова?

— Положимъ, и не зналъ!—Вова опять присѣлъ на скамью,—но что жъ изъ этого? Развѣ можно такіа сплетни выдавать за истинную правду?.. Позвольте васъ спросить: честно ли это?

Лобъ Карасева, у переносицы, наморщился.

— Честно,—отвѣтилъ онъ тихо, но очень твердо, и поднялъ голову.

— Не понимаю-сь,—отвѣтилъ Вова и нарочно поставилъ частицу „съ“, что онъ обыкновенно считалъ „хамствомъ“.

— Онъ ѣздилъ по всей губерніи. Ему хорошо извѣстны факты. Дѣйствія вашего батюшки онъ оцѣниваетъ съ общественной стороны. Многое нельзя доказать, до поры до времени, что несомнѣнно для людей знающихъ и честныхъ.

Тонъ этого отвѣта былъ мягкій, но Вова почувалъ подъ этой мягкостью нѣчто безповоротное.

— И вы такъ же смотрите на моего отца?—спросилъ онъ и пристально сталъ глядѣть на Карасева.

— Зачѣмъ же вы сами ставите челоуѣка въ тяжелое положеніе — говорить вещи, печальныя для васъ, какъ для сына... Я не имѣю такихъ данныхъ, какъ у моего пріятеля Дароносцева... Можетъ-быть, я и не высказался бы такъ рѣзко, даже и знай я все, что ему извѣстно. У меня — натура другая... Вы вступились за отца... Чувство понятное... и хорошее. Но правда — остается правдой.

Карасевъ не договорилъ и смолкъ.

„Другими словами,—тотчасъ же подумалъ Вова,—отецъ мой—воръ“...

Щеки его быстро стали блѣднѣть, и глаза онъ отвелъ въ сторону, усиленно мигая.

„Чего добился?.. Чего?“—бросилъ онъ самому себѣ почти презрительный окрикъ.

— Чувствъ ваше уважаю,—слышался ему голосъ Карасева,—но вадю, и въ ваши лѣта, готовиться къ тому, какіе въ жизни насъ ожидаютъ сюрпризы. Дароносцевъ васъ понялъ бы лучше всякаго другого... Но людямъ, ко-

торые испытали много, какъ онъ, своимъ горбомъ продѣлали всѣ прелести нашихъ порядковъ, тѣмъ простительнѣе и не стѣсняться въ пріятельскомъ кругу.

Карасевъ опять не договорилъ.

Вова сидѣлъ уже опустивъ голову, и дыханіе его было слышно.

— Однако,—заговорилъ онъ глухо и не поднимая головы,—этакъ что же ждетъ тебя впереди? Сегодня господинъ Дароносцевъ, завтра какой-нибудь карапузикъ-второклассникъ хватить тебѣ прямо въ лицо — твой отецъ такой-сякой. И въ банкѣ тамъ всѣ проворовались. Соблазнительно! Нечего сказать!

Онъ машинально сплюнулъ.

На душѣ у него было очень скверно. Опять онъ нарывался, и уже по своей винѣ, на нѣчто, чего нельзя даже отпихнуть горячей выходкой, какъ было на балконѣ у Сырейщикова.

Онъ боялся поставить себѣ мысленно вопросъ: „а если онъ правду говорить, и твой отецъ воровскимъ образомъ наживался, — какъ же ты-то будешь съ этимъ мириться?“

— Вопросы совѣсти пора и вамъ рѣшать, — выговорилъ Карасевъ, и тонъ его не звучалъ учительствомъ, проповѣдью; такъ бы сказалъ и человѣкъ, чувствующій, что его товарищу тяжело, но не желающій кривить душой.

— Что жъ! И на томъ спасибо!

Вова всталъ и приподнять фуражку.

— Куда же вы бѣжите? Потолковали бы... Извините, что разстроилъ васъ... Жизнь—дѣло рѣзкое. Хотите сами себя познать,—а вамъ уже пора,—вотъ и увидите: способны вы на открытую борьбу, или уступочки, компромиссы вамъ пріятнѣе.

— Мое почтеніе!

Вова сразу не протянулъ Карасеву руки.

Тотъ сдѣлалъ это первый.

— Вы, когда захотите поговорить объ этомъ, заверните. Я всегда дома послѣ обѣда... пораньше, часу въ шестомъ.

— Благодарю васъ,—сказалъ Вова торопливо и глухо.

Онъ не могъ самъ распознать, какое чувство говорило въ немъ сильнѣе, но себя онъ презиралъ за что-то и готовъ былъ бы расплакаться, какъ „плакса“ Мися.

Мысль о сестрѣ пронизала его подъ конецъ.

XVIII.

Павелъ Андреевичъ, передъ выѣздомъ, позвонилъ.

— Барышня пикуда не уходила?

— Никакъ нѣтъ-съ,—отвѣтилъ лакей.

— Позовите ее ко мнѣ.

Мися третій день сидѣла въ своей комнатѣ и не шла просить прощенія у матери.

Вчера Павелъ Андреевичъ обѣдалъ дома и спросилъ, почему нѣтъ Миси. Марѳа Петровна рассказала ему все въ очень нервномъ тонѣ, но такъ, что ему неясно было, въ чемъ же именно провинилась его дочь.

Онъ терпѣть не могъ исторій. И безъ этого его положеніе становилось деликатнымъ. Дѣти подросли. Сынъ—совсѣмъ уже молодой человѣкъ, и дочь—дѣвица. Что-то тутъ неладно, въ этой опалѣ Миси. Навѣрно, замѣшалась Элоиза Христофоровна. Разспросить Вову онъ не считалъ порядочнымъ. Въ дѣтяхъ своихъ онъ всегда поддерживалъ уважительное отношеніе къ ихъ матери.

Мися появилась въ дверяхъ кабинета, блѣдная, небрежно причесанная. Это Павлу Андреевичу не понравилось.

— Здравствуй, папа,—грустно, но не боязливо выговорила она и поцѣловала его въ плечо.

— Здравствуй... Ты нездорова?

— Нѣтъ, ничего.

— Присядь.

Онъ указалъ ей рукой на диванчикъ, куда и сама сѣла.

— Чѣмъ ты огорчила татапа?—спросилъ онъ довольно мягко, но съ наморщеннымъ лбомъ.

— Я не знаю... Никакой грубости... я не позволяла себѣ... Увѣрю тебя...

— Однако...

— Увѣрю тебя.

Еще третьяго дня она рѣшила объясниться съ отцомъ, и если бъ онъ ее не позвалъ, она сама бы пошла къ нему.

Допытываться Павлу Андреевичу было рискованно... Онъ уже чувствовалъ, что дочь его обо многомъ думаетъ и давно записалась въ разрядъ „восторженныхъ“ натуръ.

— Ты долженъ знать, за что разгнѣвалась мама.

— Почему же я долженъ? — брезгливо переспросилъ Павелъ Андреевичъ.

Взглядъ дочери остановился на немъ, сухой и возбужденный. Ему становилось невозможнымъ молчать.

— Все равно, папа, я хотѣла и безъ того поговорить съ тобой.

— О чемъ?

— Мнѣ слишкомъ тяжело оставаться здѣсь.

— Гдѣ здѣсь? Что это за тонъ?

— Ты меня понимаешь... Я не маленькая... Если я начала страдать... за мать мою...

— Страдать?

Павелъ Андреевичъ всталъ и весь стряхнулся. Щеки его нервно вздрогнули.

— Съ какой стати ты все это говоришь?

— Если тебѣ не нравится... я могу и замолчать.

Такого тона онъ еще не слыхалъ отъ дочери.

— Мама, — продолжала Мися и тоже встала, — не поняла, или не хотѣла понять моего чувства. Но я не могу притворяться. Ты считаешь себя безупречнымъ... А мнѣ за мать стало обидно... И я позволила себѣ это показать. Пожалуйста, не допрашивай меня. Ты долженъ самъ понять, на что я намекаю...

— Что это такое? Ты просто Богъ знаетъ что говоришь!

Павелъ Андреевичъ отошелъ къ окну и опустилъ штору, точно затѣмъ, чтобы смягчить звуки ихъ разговора.

Мися стояла у дивана въ напряженной позѣ, опустивъ голову, и правой рукой нервно теребила бахромѣ сафьянной обивки.

— Я не могу иначе говорить, папа, — вымолвила она, сдерживая наплывъ слезъ.

Но заплакать она не хотѣла, ни подъ какимъ видомъ, что бы ни пришлось ей испытать.

— Тебѣ надо всячески успокаивать твою мать, — заговорилъ Павелъ Андреевичъ, чувствуя, что у него изъ-подъ ногъ ускользаетъ почва. — А ты только ее разстраиваешь неумѣстными разговорами. И съ какой стати берешь ты на себя такую роль?.. *C'est à puffer de rire!* Дѣвчурка, и является какимъ-то Гамлетомъ! Въ какой это нелѣпой книжкѣ ты вычитала?.. Я и понимать-то отказываюсь твои намеки. *A-t-on jamais vu!*..

Онъ отошелъ къ угловому окну и обернулся къ дочери спиной.

Ему было уже досадно на себя за то, что онъ повелъ себя совсѣмъ не такъ—сталъ давать окрики и можетъ вызвать со стороны этой нервной дѣвчонки что-нибудь и еще болѣе рѣзкое, послѣ чего выйдетъ непріятнѣйшая сцена.

Столько времени онъ держится съ величайшимъ тактомъ и не допускалъ ни до чего подобнаго. И теперь, съ первыхъ же словъ этой дѣвчонки, ему бы слѣдовало взять совершенно другой тонъ и обратить все въ шутку. Такъ и совѣтовала ему, вчера вечеромъ, Элоиза Христофоровна. Будь она на его мѣстѣ, она сумѣла бы повести себя не такъ: давно поставила бы Мисю попросить прощенія у матери. Она очень цѣнитъ то, что Марѳа Петровна поняла, какъ ей себя вести, и показала дочери, что судить о поведеніи ея отца она ей, ни подъ какимъ видомъ, не позволить.

Эти мысли быстро заройлись въ его головѣ, но по всему тѣлу его разлилось уже раздраженіе и щеки продолжали вздрагивать.

Онъ обернулся лицомъ къ дочери и, выйдя на середину кабинета, поднялъ правую руку съ вытянутымъ указательнымъ пальцемъ.

— Я тебѣ приказываю пойти попросить прощенія у папаша. И объявляю тебѣ, что пикакихъ твоихъ нелѣпыхъ объясненій и намековъ слушать не хочу и запрещаю обращаться ко мнѣ съ чѣмъ-либо подобнымъ.

Это было совсѣмъ не то, какъ бы слѣдовало покончить, но Павелъ Андреевичъ не смогъ сдержать себя.

Мися не поднимала головы, только отняла пальцы отъ бахромы, и грудь ея стала замѣтно колыхаться.

— Какъ тебѣ угодно, папа,—заговорила она раздѣльно и тихо, но настойчиво.—Я въ такихъ условіяхъ не могу оставаться.

— Что?! — уже закричалъ Павелъ Андреевичъ и весь вспыхнулъ.

Онъ подбѣжалъ къ Мисѣ, взялъ ее за руку и началъ трясти.

— Повтори, что ты сказала?

— Я сказала, что въ такихъ условіяхъ я оставаться не могу... Передъ матерью я извинюсь... Она больная... И я ее раздражила... Что жъ дѣлать! Она меня не по-

няла... Но я говорю про себя... Другая бы со всѣмъ мирилась... а я не могу!..

— Какъ ты смѣешь! — еще громче крикнулъ Павелъ Андреевичъ и продолжалъ трясти руку дочери.

Мися не выдержала, и взрывъ рыданій пронесся жалобной и звонкой нотой.

XIX. .

Вова слышалъ, какъ лакей пришелъ звать сестру внизъ, „къ барину“.

Онъ проснулся самъ не свой послѣ вчерашняго разговора съ писателемъ Карасевымъ. Съ Мисей онъ ничего не говорилъ; но къ вечеру его начало разбирать желаніе войти въ ея комнату. Пересилило самолюбіе. Онъ не пошелъ къ ней.

Но сегодня, когда ее вызвали внизъ, онъ не могъ усидѣть и спустился въ залу.

Подслушивать онъ не хотѣлъ, отошелъ къ окну, первому отъ двери, и присѣлъ на стулъ. Ему хотѣлось быть тутъ „наготовѣ“.

Упорство Миси передъ матерью онъ находилъ сначала „ни съ чѣмъ несообразнымъ“; но теперь жалость закралась въ него.

И за себя ему дѣлалось стыдно.

Какъ бы тамъ ни было, но сестра его осталась вѣрна сама себѣ. Чтò ее возмущало, то и продолжаетъ ее возмущать. Все она на себя взяла. Онъ отъ нея совсѣмъ отшатнулся, и который день, точно врагъ ея и трусь... И ему самому со вчерашняго дня не по себѣ. Чтò ему на прощанье сказалъ Карасевъ? *Такой* человѣкъ зря говорить не станетъ. Если онъ самъ хочетъ остаться честнымъ, когда поведеніе его отца—по банковскимъ дѣламъ—сдѣлается притчей всего города и произойдетъ крахъ,—а объ этомъ уже толкуютъ,—какъ тогда онъ будетъ себя чувствовать? Отецъ не чужой ему; но развѣ любовь его къ сестрѣ не была до сихъ поръ самымъ сильнымъ чувствомъ?

Точно такъ же и насчетъ поведенія отца съ ихъ матерью.

Не слѣдовало Мисѣ соваться впередъ и становиться судьей того, какъ отецъ ведетъ себя; но *чувствовать* она могла. Она дѣвушка. Для нея слишкомъ обидно за мать. Мися—чистая въ своихъ мысляхъ и правилахъ. Она не

похожа на другихъ дѣвушекъ ея лѣтъ, изъ ея товаровъ. Инымъ—травы не расти, только бы имъ послаще жило. Не то что отцы, а матери ихъ легкаго поведенія, и онѣ отлично понимаютъ, кто изъ друзей дома находится съ матерью въ близкихъ отношеніяхъ. А онѣ отъ такихъ друзей конфеты да подарочки принимаютъ.

Жалость къ сестрѣ все росла въ Вовѣ. Онъ притихъ на своемъ стулѣ, и сердце у него застучало въ груди, когда вдругъ раздался возгласъ Павла Андреевича, потомъ другой, третій. Дверь была плотно затворена, и Вова не могъ отчетливо слышать всѣхъ словъ, но ясно, что отецъ въ первый разъ такъ закричалъ на Мисю. За что же? За то, что она не проситъ прощенія у матери?.. Не за одно это; а за то, что она не хочетъ помириться съ униженнымъ положеніемъ матери, за Элоизу Христофоровну.

А онъ, ея братъ и другъ, ея Вова, дружить съ нѣмой, сидитъ у нея въ гостяхъ, принимаетъ отъ нея угощеніе, да еще дѣлаетъ все точно на зло своей Мисѣ.

Онъ всталъ, быстро подошелъ къ двери въ кабинетъ, не смягчая шума своихъ шаговъ. Ему сдѣлалось вдругъ невыносимо стыдно за себя и такъ же невыносимо повлекло туда—стать за сестру, выказать себя такимъ, каковы всегда былъ съ нею, съ ранняго дѣтства.

И его еще сильнѣе схватилъ за сердце жалобный взрывъ рыданій.

Ни одной секунды Вова не колебался, сильнымъ движеніемъ отворилъ дверь, вошелъ въ кабинетъ и, весь блѣдный и трепетный, остановился въ портьерѣ, держа рукой, откинутой за спину, ручку дверной половины.

Павелъ Андреевичъ сначала немного оторопѣлъ. Этотъ внезапный приходъ сына могъ и повернуть въ сторону его раздраженіе, и усилить его.

— Вотъ и прекрасно! — крикнулъ онъ дочери, но уже менѣе гнѣвно. — Твой братъ можетъ быть свидѣтелемъ того, какъ ты отвратительно ведешь себя... Что жъ! Развѣ онъ не старше тебя? Или глупѣе? Испорченнѣе? А почему же онъ не позволяетъ себѣ ничего подобнаго? А? Почему?

Опять что-то кольнуло Павла Андреевича и подсказало ему, что этого не слѣдовало говорить; но онъ, во всей этой сценѣ, потерялъ свой тонкій тактъ, которымъ столько лѣтъ гордился во всѣхъ случаяхъ жизни.



Мисю душили рыданія. Она безпомощно опустилась на диванъ, и голова ея упала на спинку.

— Папа, — заговорилъ Вова, съ трудомъ владѣя своимъ голосомъ, — за что же ты такъ на нее? Мися, перестань! — Вова наклонился къ ней и взялъ ее за плечи, — перестань!

Ему стремительно захотѣлось обнять ее и расцѣловать, показать ей, что онъ виноватъ передъ ней, что она честная и смѣлая, что никогда и ни передъ кѣмъ онъ не отдастъ ее въ обиду.

Мися внезапно притихла. Она слышала въ голосѣ брата добрыя ноты, и это ее неожиданно обдало струей тепла и бодрости.

— Какъ же ты, — все еще задорно спросилъ Павелъ Андреевичъ, — смотришь на поведеніе своей сестры? А?

Вова приподнял Мисю, и они теперь стали бокъ-о-бокъ. Ихъ руки искали одна другую.

— Я не могу судить, — выговорилъ Вова, и брови его нахмурились, — только мама... и тогда, за объдомъ, разсердилась такъ, вдругъ... Ничего особеннаго Мися не сказала.

— Значить, и ты способенъ былъ на нелѣпыя выходки? — вскрикнулъ Павелъ Андреевичъ.

— Отецъ, — перебила его Мися, и слово „отецъ“ зазвучало у ней особенно, — я и при братѣ повторяю тебѣ: мнѣ тяжело у насъ... Я не могу ничего измѣнить. Но не могу и лгать... Не могу, не могу! — выговорила она, близкая опять къ высшему напряженію нервовъ.

Но ея рука уже лежала въ рукѣ Вовы, и она чувствовала пожатіе.

Братъ вернулся къ ней. Онъ ее поддержитъ, онъ пойдетъ съ ней вмѣстѣ, какъ было до сихъ поръ... Вова самъ понял ее и приближалъ, слышавъ взрывъ ея рыданій.

Глаза ея блестя... По щекамъ еще текли слезы, но голову держала она высоко и не боялась гнѣвныхъ взглядовъ отца.

— Если ты сейчасъ же не пойдешь къ матери, — глухо крикнулъ Павелъ Андреевичъ, — и не попросишь у нея прощенія, ты будешь имѣть дѣло со мной...

Мися встрѣтила взглядъ Вовы.

„Поди, не упирайся, — говорилъ этотъ взглядъ, — а потомъ мы будемъ вмѣстѣ съ тобой, и что ты сдѣлаешь, го и я“.

— Изволь... я пойду, — сказала Мися, послѣ нѣсколькихъ секундъ молчанія. — Изволь... Но я не хочу лгать, папа, и не могу иначе чувствовать.

Опять взглядъ Вовы остановилъ ее.

— Сейчасъ отправляйся къ татамъ!

Павель Андреевичъ указалъ рукой на дверь, отошелъ къ окну и поднялъ штору.

Какъ только Мися съ братомъ вышла въ залу, — она бросилась къ Вовѣ на шею и, судорожно обнимая его, съ новымъ наплывомъ слезъ, прошептала:

— Вова! Вова!.. Ты со мной!.. Мы опять вмѣстѣ!

— Вмѣстѣ! — повторилъ и онъ, и поцѣловалъ ее въ голову...

XX.

Вова съ Мисей шли вдоль березъ старой „большой“ дороги. Въ полуверстѣ бѣлѣла часовня съ низкимъ заборчикомъ въ сторону крутого берега рѣки — ихъ родной рѣки. Они любили ходить гулять въ это мѣсто даже зимою.

Закатъ блѣднѣлъ и солнце стояло только на полъ-аршина отъ окраины береговой полосы.

Имъ можно было попасть еще засвѣтло въ монастырь, куда тропинка, среди огуречной бахчи, спускается къ оградѣ съ нѣсколькими башнями, отъ того мѣста, гдѣ стоитъ часовня „Асафа-Схимника“. Тамъ, давно-давно, жилъ монахъ въ кельѣ и ложился спать въ гробъ. Когда онъ умеръ, на мѣстѣ кельи поставили часовню и много ходило богомольцевъ. И до сихъ поръ приходятъ поклониться его могилѣ на монастырскомъ кладбищѣ.

Мися, въ соломенной шляпѣ и свѣтлой кофточкѣ, и Вова, въ парусинной блузѣ, двигались гуськомъ. Сестра шла впереди. Они сдѣлали больше десяти верстъ взадъ и впередъ. Оба они были хорошіе ходоки.

Дойдя до часовни, стоявшей саженьхъ въ трехъ отъ дороги, они присѣли на ступеньки входа.

Съ минуту они молчали.

Справа, по большой дорогѣ, поднималась длинная фура, запряженная парой. Изъ отверстій холщеваго верха выглядывали ребятишки... Мужчина, видомъ мѣщанинъ, въ картузѣ и поношенной чуйкѣ, шелъ рядомъ, приваивая вожжи къ облучку.

Братъ и сестра переглянулись.

— Вотъ видишь,—весело сказала она,—мы за три версты отъ дому, и еще пойдѣмъ куда хотимъ... Только захотѣть надо.

Черезъ пять минутъ они подошли къ спуску, откуда монастырскія башни и главы церкви со старыми поливными черепицами выглядывали изъ-за густой и темной зелени вѣковыхъ липъ.

Благовѣсть уже непрерывной волной дрожала въ воздухѣ; отъ огородовъ шли пряные запахи овощей. Гдѣ-то крикала дергачъ. Надъ ними низко-низко пронеслись стрижи.

И имъ обоимъ вспомнилось то утро, когда они стояли на могилѣ няни и слушали литію. Няня испугалась бы того, что они хотятъ натворить... испугалась бы за нихъ, по поняла бы и не осудила.

Они шли книзу, плотно прижавшись другъ къ другу, по узкой и крутой тропинкѣ, и на душѣ ихъ трепетало что-то совсѣмъ новое. Сегодня они кидались въ жизнь; радостное и жуткое чувство пахнуло на нихъ отъ того—что будетъ.

БИБЛИОТЕКА ГОРЬКОГО

28

Stanford University Libraries



3 6105 009 633 418

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

--	--

